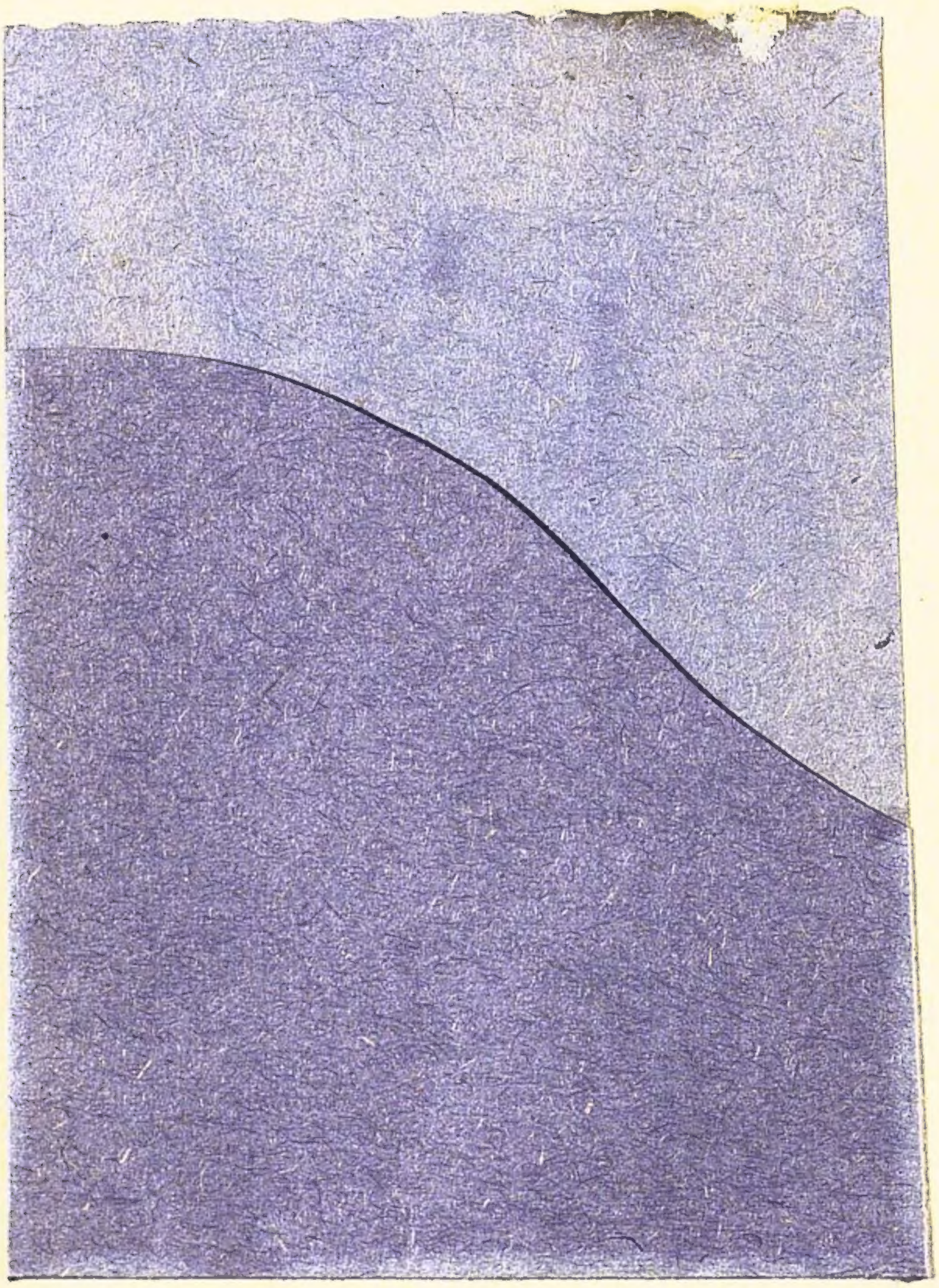
КБ 34
С 79

Стеклов
Михаил
Александрович
Бакунин
т. 1
и, 1926.



СРОК ВОЗВРАТА КНИГИ.

5 - ЯНВАРЯ 19[illegible]

[illegible] ЯНВАР[illegible] 19[illegible]

-5. МАРТА 19[illegible]

25. ДЕКАБРЯ 1928

-5. ОКТЯБРЯ 1939

5/XI - 29 г.

5/XII - 29 г.

5 I 1930 г.

-2 ФЕВ[illegible]

6 [illegible] 30

26 МАЯ 1936

-1. ЕНТЯБРЯ 1936

9/I - 34

Ю. СТЕКЛОВ

КБ
34
С79

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАКУНИН

ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОМ ПЕРВЫЙ
1814–1861

ИЗД-ВО
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
1926

КБ
34
С 79
850

335.8:92(Ба)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ю. СТЕКЛОВ

Михаил Александрович
БАКУНИН

ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1814—1876

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

1814—1861

Юность.—Молодые годы.—Гегелианский период.—Жизнь за границей.—Превращение в революционера.—Участие в революции 1848—49 г.г.—Суд, тюрьма и ссылка.—Побег из Сибири.

Издание второе, исправленное и дополненное

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ
Инв № 56012

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА 1926

Q.3.
3758

Государственная публичная
БИБЛИОТЕКА
Исторический

Главлит № 50.999. Тираж 3.000.

27-я тип. „Красная Печать“ при Из-ве Ком. Академии. Москва, Остоженка, 10.

„Мишелъ во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки,— это вечно движущее начало, лежащее в глубине его духа".

Белинский.

„Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление везде,—в кругу московской молодежи, в аудитории берлинского университета, между коммунистами Вейтлинга, монтаньярами Коссидьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, где он исчез за страшными стенами Алексеевского равелина,—делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходят ни современный мир, ни история".

Герцен.

ПРЕДИСЛОВИЕ

К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемая теперь читателям работа написана мною в главных и существенных чертах за границей в 1913—14 году и должна была выйти в свет к столетней годовщине со дня рождения Бакунина. На знаю, удалось ли бы ей в то время пройти через кавдинские ущелья царской цензуры, но выпустить ее в 1914 году мне не удалось. Отрывки из этой работы были опубликованы мною, во-первых, в виде немецкой брошюры «Michael Bakunin. Ein Lebensbild. Von Georg Steklow» (128 страниц), изданной в 1913 году в Штуттгарте Дицем, т.-е. партийным издательством германской социал-демократической партии, а во-вторых, в виде целого ряда статей в русских журналах и других изданиях. Сюда относятся статьи: «Социально-политические воззрения Бакунина» в «Современном Мире», 1914 г., №№ 2 и 3; «Маркс и Бакунин» в «Просвещении», 1914 г., №№ 5 и 6; «Последние годы Бакунина» в «Голосе Минувшего», 1914 г., № 5; «Бакунин и франко-прусская война» в «Голосе Минувшего», 1914 г., № 5; «М. А. Бакунин» в сборнике «Борцы за социализм», 1919 г., изд. „Денницы". Кроме того, о Бакунине я говорил в своих статьях „Политическая деятельность К. Маркса" и „Маркс и анархисты" в коллективном сборнике „Памяти К. Маркса". Пет. 1908 (частью перепечатанном в 1918 г. издательством Пет. Совдепа), а также в своей книге „Интернационал", части 1 и 2, изд. Пет. Совета 1918 г. Что русские, писавшие впоследствии о Бакунине, черпали щедрой рукой из этих статей и этюдов, не всегда указывая на источник и повторяя при этом допущенные мною ошибки, это само собою разумеется...

Я ничуть не жалею о том, что мне до сих пор не удалось опубликовать этой работы. Напротив, этим обстоятельством я

могу быть лишь доволен. Дело в том, что только революция 1917 года, вскрывшая тайники царских архивов, предоставила в распоряжение исследователей материалы, бывшие до тех пор недоступными. О существовании некоторых из этих документов историки знали, но содержание их оставалось неизвестным: такова, например, знаменитая «Исповедь». Но есть и другие документы, о существовании которых историки даже и не подозревали: таковы прошения Бакунина, подававшиеся им из крепости и Сибири, в том числе прошение его о помиловании; таковы его письма, относящиеся к тому же времени и бросающие новый свет на настроение Бакунина и рассматриваемый период. Только с того момента, как эти документы стали доступны для исследователей, получилась возможность написать более или менее полную и точную биографию Бакунина. В этом отношении предлагаемая теперь читателю биография знаменитого революционера является безусловно наиболее полной.

В ней впервые использован ряд материалов, которых не имелось в распоряжении прежних биографов Бакунина. Так, здесь широко использована его «Исповедь», сообщающая множество аутентичных сведений о духовном росте Бакунина в 40-е годы, о первых шагах его политической работы, об его деятельности во время революции 1848—49 г.г.,—деятельности, относительно которой до сих пор циркулировали, главным образом, не точные данные, а легенды, созданные врагами или неумеренными поклонниками неугомонного бунтаря. И читатель в частности с изумлением узнает, что первым основоположником идеи Советской власти, этой политической формы диктатуры пролетариата, оказывается не кто иной, как создатель бунтарского анархизма Бакунин. Кроме того, в этой книге использовано во всем существенном «Дело» Третьего Отделения о Бакунине, дающее массу совершенно неизвестных до сих пор сведений о жизни Бакунина за границей в 40-е годы, об его пребывании в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, об его жизни в Сибири и об его побеге оттуда, а отчасти и об его работе в Швеции во время польского восстания.

Уже одно это оправдывало бы появление новой биографии Бакунина. Но дело в том, что таких работ и вовсе не существует. О Бакунине имеется бесчисленное множество брошюр, журнальных и газетных статей на всевозможных языках, но в подавляющем большинстве случаев они не могут и в отда-

ленной степени претендовать на значение мало-мальски полной, точной и научной биографии своего героя. Уже не говоря о том, что большинству авторов была совершенно недоступна русская литература о Бакунине, без которой невозможно писать о нем, они не знали и его собственных, хотя бы главных сочинений, остававшихся до последнего времени или вовсе не опубликованными, или же разбросанными в газетах и исчезнувших из обращения брошюрах [1]). При этом в большинстве случаев это краткие отрывки и наброски, в которых авторы дают свободный полет своей фантазии и повторяют одни и те же набившие оскомину исторические легенды.

Имеется, впрочем, одна солидная и даже очень солидная работа о Бакунине: это – биография его, написанная австрийским анархистом, доктором Максом Неттлау. Из нее-то за последнее время (да и то по большей части из вторых рук) черпают люди, пишущие о Бакунине и принимающие без критики на веру все, что благоугодно было заявить автору бакунинского жизнеописания. Но при всей нашей готовности отдать справедливость трудолюбию М. Неттлау, постаравшемуся собрать все доступные ему сведения о Бакунине и ухлопавшему на это массу сил и энергии, мы все же должны признать, что работа его не свободна от целого ряда серьезных недостатков.

Во-первых, работа М. Неттлау совершенно недоступна широкой публике. Она состоит из трех томов, которые сам автор написал собственной рукой и затем размножил в пятидесяти экземплярах, разосланных им по главным библиотекам мира [2]). Можно преклоняться перед самопожертвованием автора, который, из любви к своему герою и к своему труду, не остановился перед такой кропотливой и даже мучительной работой. Но от этого дело ничуть не меняется: книга его остается доступной только для специалистов, да и то не для всех, ибо мало у кого хватает энергии прочесть все колоссальные тома Неттлау. Написаны они в основном по-немецки, но автор обыкновенно приводит выдержки и цитаты на языке оригинала, при

---

[1]) Написанные по-французски сочинения Бакунина начали выходить в Париже с 1895 года (1 том под ред. Неттлау, остальные—под ред. Гильома). До 1914 г. вышло шесть томов.

[2]) Один экземпляр этой книги имеется и в Ленинградской публичной библиотеке.

чем для транскрипции русских слов он изобрел даже особую азбуку. Это бы еще ничего, но, во-первых, книга написана убийственно мелким и неразборчивым почерком, делающим чтение ее (даже с лупою) мучительным до крайности, а во-вторых,—и это, пожалуй, главное—материал расположен здесь в хаотическом беспорядке, с примечаниями к тексту и с примечаниями к примечаниям, с добавлениями и с дополнениями к добавлениям и т. п. Это об'ясняется тем, что автор по мере накопления материала механически пристраивал к главному корпусу флигеля, балкончики и т. д., так что все здание получило крайне пестрый и беспорядочный характер и ориентироваться в нем чрезвычайно трудно. При таком способе работы неудивительно, что примечания и добавления у Неттлау зачастую противоречат основному тексту, и тот, кто вздумал бы пользоваться его работой, не прочитав ее целиком, рискует очутиться в неприятном положении и ссылаться на факты, через сотню страниц опровергнутые самим автором.

Далее, вся работа Неттлау проникнута духом крайней тенденциозности, делающей ее источником довольно ненадежным. Автор—убежденный анархист. Оценка и описание событий, характеристика Бакунина, его друзей и противников—все это представлено в книге Неттлау с узко-партийной точки зрения и страдает всеми недостатками анархической предвзятости. В то время как Бакунин и его единомышленники изображаются в самых розовых красках, его враги, в особенности Маркс и марксисты, выставляются в самом мрачном свете и мажутся сплошь самой что ни на есть черной смолой. Все это страшно испортило работу Неттлау и сделало ее главным свалочным местом всех анархических басен и клевет и вместе с тем одним из главных источников дальнейших анархических легенд и злопыхательств.

Наконец, Неттлау в момент составления биографии Бакунина не мог пользоваться целым рядом важнейших материалов, который был опубликован лишь впоследствии. Особенно это относится к русским материалам. Так, у него не могло быть в распоряжении богатого собрания писем Бакунина и его близких, опубликованных А. Корниловым, а также документов, содержащихся в русских архивах и сделавшихся доступными для исследователей лишь в самое последнее время.

По всем этим соображениям книга Неттлау [1]) не только не является последним словом в биографии Бакунина, но может быть признана лишь ее первоначальным наброском, богатым сборником материалов—притом разноценного качества и доступных только немногим счастливцам. Она не только не делает излишним появление дальнейших работ в этом направлении, но, наоборот, делает его прямо необходимым.

Предлагаемой работой я и хотел заполнить этот пробел в исторической литературе и дать такую биографию Бакунина, которая, с одной стороны, включала бы все, по крайней мере, наиболее существенные материалы о нем, а с другой—была бы составлена в возможно более об'ективном духе. Мне кажется, что только коммунист и притом русский может выполнить такую работу: Бакунин, конечно,—интернациональная фигура, один из немногих русских политических деятелей, игравших всемирно-историческую роль; но вместе с тем это фигура чисто национальная, русский человек со всеми присущими ему достоинствами и недостатками как личного, так и социального свойства. Бакунин является основоположником не только европейского анархизма, но и русского народнического бунтарства, а через него и русской социал-демократии, из которой вышла Коммунистическая партия. Надлежащим образом понять его, и как индивидуальность, и как общественный тип, может, мне кажется, только русский коммунист, т.-е. человек, с одной стороны, знакомый с русской социальной обстановкой, а с другой—оперирующий правильным социологическим методом, методом марксизма.

Удалось ли мне справиться с взятой на себя задачей, не мне судить. Одно я могу сказать с уверенностью: я старался быть об'ективным. Должен прибавить, что появившиеся до сих пор мои работы о Бакунине были признаны об'ективными и со стороны марксистов (как Ф. Меринг), и со стороны анархистов

---

[1]) Кроме указанных трех томов биографии Бакунина, Неттлау составил еще три дополнительных тома. Но до сих пор он держит их у себя и только один раз, насколько мне известно, предоставил их в пользование Гильому, когда последний писал свою книгу по истории Первого Интернационала. Таким образом даже для специалистов эта вторая работа, собственно говоря, не существует, кроме трех извлеченных из нее автором статей, опубликованных им в «Архиве Грюнберга".

(как Гильом). Теперь, после русской революции, когда установление Советской власти разрешило старый спор между марксистами и анархистами о завоевании власти и о диктатуре пролетариата в пользу первых и заставило наиболее вдумчивых анархистов признать правоту революционного коммунизма, такое об'ективное отношение к Бакунину становится еще более легким и осуществимым. К Бакунину до сих пор в марксистской литературе относились невполне справедливо—и это было понятно в разгар полемики. А между тем Бакунин, при всех своих промахах, заслуживает лучшего к себе отношения. Представить эту интересную и выдающуюся фигуру в возможно более верном историческом свете—вот какую задачу я поставил себе в этой книге.

Настоящая работа состоит из трех частей. Первый том содержит жизнеописание Бакунина до его побега из Сибири; второй—его жизнь от этого побега до смерти; третий—характеристику и критику его воззрений. Работа в общем закончена, и если не помешают технические условия, то второй и третий томы выйдут вскоре за первым, надеюсь, даже в течение нынешнего года.

Москва.
5 мая 1920 года.

ПРЕДИСЛОВИЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

В то время, когда выходило первое издание настоящей книги, наша страна системою блокады была отрезана от остального мира. Вследствие этого я лишен был возможности использовать целый ряд источников, находящихся за границей. С тех пор сношения между Советской Республикой и другими государствами восстановились, и таким образом получилась возможность достать новые материалы, которых не было в моем распоряжении, когда я составлял текст первого издания.

Три года тому назад комиссия по изданию сочинений русских «классиков революции», созданная по инициативе и под председательством Л. Б. Каменева, поручила мне подготовить к печати полное собрание сочинений и писем М. А. Бакунина. Я горячо принялся за эту работу, которая в основных чертах может почитаться сейчас законченной, и если до сих пор не начала выходить в свет, то лишь потому, что Госиздат не решается по финансовым соображениям приступить к такому сравнительно большому изданию (примерно 12 томов, в общем около 300 печатных листов). Во всяком случае важнейшие из собранных мною материалов я использую для биографии Бакунина, первый том которой в новом издании сейчас и предлагается читателям.

Далее, за время, протекшее с 1920 года, начали шире разрабатываться богатые материалы наших архивов. В частности относительно Бакунина и его эпохи опубликовано много интересных данных. Наконец, в нынешнем году вышел второй том работы А. Корнилова о семействе Бакуниных под заглавием «Годы странствий Михаила Бакунина». В этом томе опубликованы новые данные для биографии М. А. Бакунина, почерпнутые из Премухинского архива, который до сих пор считался пропавшим, но на деле оказался в распоряжении А. Корнилова

и П. Щеголева. Часть архива, содержащая письма Бакунина до его от'езда за границу в 1840 году, была предоставлена в мое распоряжение в оригиналах; остальные я пока знаю лишь по работе А. Корнилова.

Все эти материалы были использованы мною для настоящего издания. Таким образом, оно выходит в значительно дополненном и расширенном виде. Мне не пришлось существенно изменять тех положений и оценок, которые мною высказаны были в первом издании настоящей книги, но целый ряд дат был уточнен, а некоторые стороны биографии Бакунина, относящиеся к жизни его за границей и в крепости, выступили в более ясном освещении.

Из документов, вошедших в самых важных своих частях в настоящее издание, но до сих пор неизвестных в русской литературе, укажу статьи Бакунина во французских газетах, его открытое письмо гр. Дюшателю, письма его к А. Руге, Зольгеру, А. Беккеру, семье Фохт, Рейхелю и пр., а также его письма из Кенигштейнской крепости, не говоря уже о новых материалах из Премухинского архива. Таким образом, читатель, даже знакомый с первым изданием этой книги, найдет в настоящем ее издании немало новых материалов, характеризующих как личность великого бунтаря, так и его эпоху.

В 1926 году исполняется 50 летие со дня смерти М. А. Бакунина. Было бы желательно иметь к этому времени новую его биографию, принадлежащую перу русского исследователя. Удастся ли мне к сроку выполнить эту задачу, не знаю, но с своей стороны сделаю для этого все возможное.

Ю. Стеклов.

30 августа 1925 г.
Москва.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

МОЛОДОСТЬ БАКУНИНА.

1. В ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ.

Михаил Александрович Бакунин родился 8/20 мая 1814 года в селе Премухине Новоторжского уезда Тверской губ. в старинной родовитой дворянской семье [1]), по преданию происходившей от польского короля Стефана Батория. Отец его, Александр Михайлович, некогда служил по дипломатической части, был атташе при русском посольстве во Флоренции и Неаполе, где жил, не выезжая в Россию, с 8 до 35 лет, а затем, выйдя в отставку, поселился в своем поместье. Сорока трех лет он женился на сравнительно молодой светской красавице Варваре Александровне Муравьевой, дочери бригадира артиллерии Александра Федоровича Муравьева.

Через нее Бакунин был в родстве с семейством Муравьевых, давших России, с одной стороны, Михаила Николаевича Муравьева-Виленского, известного усмирителя польского восстания на Литве и прозванного «вешателем», а также Николая Николаевича Муравьева-Амурского, впоследствии сыгравшего некоторую роль в жизни Бакунина, а с другой—целый ряд выдающихся людей, принявших участие в революционном движении декабристов: известный деятель декабристского движения Никита Михайлович Муравьев, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы и Артамон Захарович Муравьев были ее троюродными братьями по отцу.

Мать свою Бакунин не любил: эта была черствая и полная реакционных предрассудков женщина. Зато он с большою любовью и уважением относился к своему отцу.

Уже в зрелом возрасте, вступив сознательно на революционный путь, в прощальном письме к братьям и сестрам от 17/29 марта 1845 года Бакунин не находит для матери других слов, кроме проклятия, обвиняя ее в растлевающем влиянии на

---

[1]) Брат его деда был министром иностранных дел при Екатерине II.

всю семью, в том числе и на отца, у которого, по его мнению, имелись задатки для другой жизни. «Родители испортили всю вашу жизнь,—говорит он сестрам и братьям,—они убили вас (разумеется, морально.—*Ю. С.*). Что отец? Мне жаль его; он также был способен к другой жизни. Жив ли он еще? Я напишу ему скоро последнее прощальное письмо, без всякой практической, своекорыстной цели, но только для того, чтобы проститься с ним и сказать ему несколько слов любви и прощения. Мать же нашу я проклинаю, для нее в моей душе нет места другим чувствам кроме ненависти и самого глубокого, решительного презрения — не за себя, а за вас, которых она погубила». И те же чувства к матери он снова выражает в письме от 1 мая 1845 года: «Вы должны быть вместе, должны быть счастливы наперекор врагам или, лучше сказать, врагу нашему—матери, для которой в душе моей нет другого чувства, кроме проклятий и самого глубокого презрения. Она—источник нечистоты в нашем семействе, ее присутствие, ее существование есть уже оскорбление святыни, она отравила жизнь моих сестер — вот за что я ее проклинаю».

Только спустя много лет, уже сидя в крепости, он примирился с матерью. Но к отцу, несмотря на разницу взглядов и частые ссоры с ним, он с самого начала относился иначе. Даже такой человек, как Белинский, был о старике Бакунине высокого мнения. По выражению Белинского, Александр Михайлович «был одним из тех людей, благословенных богом при рождении, которые родятся со всем, что составляет высшего духовного человека».

Сам М. Бакунин отзывается о своем отце следующим образом:

«Мой отец,—говорит он в «Histoire de ma vie»,—был человек большого ума, очень образованный, даже ученый, очень либеральный, очень филантропичный, деист, но никак не атеист, свободомыслящий, находился в сношении со всеми философскими и научными силами Европы и вследствие этого был, конечно, по образу мыслей противоположен тому, чем жила и дышала в его время Россия».

Правда, мнение о том, что Александр Михайлович был либерального образа мыслей (повторяемое Бакуниным в своей автобиографии) [1]), следует принимать с большой осторожностью.

---

[1]) «Histoire de ma vie» (История моей жизни) представляет незаконченный набросок; напечатан в журнале «La Société Nouvelie» 1896 г., сентябрь, в Брюсселе.

В молодости он, быть может, и либеральничал: он примыкал даже к одному из первых декабристских обществ, председателем которого его хотели выбрать, но это было еще в то время, когда цели будущих заговорщиков не определились, и об'единение имело скорее культурническо-просветительный характер. По убеждениям он был консерватором и монархистом, так как, живя во время французской революции в Париже (он был даже свидетелем взятия Бастилии) и потом в Неаполе, изведал, как говорит С. Н. Муравьев, «кровавые неудобства перехода верховной власти в руки людей, не облада щих другими качествами, кроме свободомыслия». Он считал, что «всенародное участие в управлении страною есть мечта, навеянная нам микроскопическими республиками древней Греции», и скорее всего являлся сторонником просвещенного абсолютизма.

По природным качествам он был умен, даже талантлив и притом, по свидетельству многих, европейски образован. Писал по тому времени недурные стихотворения. Он был ценимым собеседником и при дворе великой княгини Екатерины Павловны (сестра Александра I), жившей в Твери, где он также одно время проживал после женитьбы.

Но если А. М. Бакунин и был консерватором, то во всяком случае не обскурантом по образцу большинства тогдашних помещиков. Служба его не привлекала, и он поселился в деревне. Занявшись сельским хозяйством и воспитанием детей, Александр Михайлович пошел по обычной дворянской дороге. У него было 1.000 душ крепостных, а вместе с крестьянами, принадлежавшими его жене, даже 1.200, т.-е. он был крупным помещиком; но, вопреки легенде, он и не думал отпускать своих крестьян на волю и был убежденным крепостником.

Кроме Михаила (старшего), А. Бакунин имел еще 5 сыновей и 5 дочерей. Некоторые из братьев Михаила (Александр, Алексей, Николай, Павел) впоследствии были деятелями крестьянской реформы и работали в земстве; а Николай и Алексей, из которых первый был членом губернского присутствия, а второй—уездным предводителем дворянства, в феврале 1862 г. с 11 другими тверскими дворянами письменно заявили губернскому по крестьянским делам присутствию, что впредь намерены руководствоваться воззрениями и убеждениями, несогласными с положением 19 февраля, так как всякий другой образ действий считают враждебным обществу. За это они были

преданы суду Сената и заключены в Петропавловскую крепость; впоследствии они лишены были права занимать общественные должности. Забегая вперед, скажем, что при всем своем либерализме и философских интересах (как Павел) братья не очень-то заботливо относились к Михаилу и, когда он сделался эмигрантом, часто оставляли его на произвол судьбы, чем ставили его в крайне тяжелое материальное положение и принуждали обращаться к помощи посторонних людей (как Руге, Фохт, Герцен, Тургенев и пр.). На почве этого систематического безденежья, обусловленного, между прочим, и безучастным отношением родных, и создалось убеждение в бесцеремонном отношении Бакунина к чужим средствам.

Сестры М. Бакунина были очень милые, симпатичные и тонко развитые девушки. К старшему брату питали они большое уважение и необыкновенную любовь. Вся семья была музыкальна. Мишель учился играть на скрипке, остальные члены обширного семейства — на фортепьяно.

Музыкою Мишель увлекался с юных лет. Письма его, относящиеся к 30-м годам, переполнены указаниями на посещавшиеся им концерты и на могучее впечатление, которое производили на него Моцарт («Реквием»), Россини, Шуберт, Бетховен и др. Музыка возбуждала в нем жизнедеятельность и революционное настроение. В письмах из-за границы он также много говорит о своем увлечении музыкой. И даже в письмах из крепости он не раз возвращается к тому же предмету. В письме к родным от 16 мая 1852 года он между прочим говорит: «Музыка была и есть мое любимое искусство. Она пробуждала во мне всегда религиозное [1]) чувство, веру в жизнь и охоту к жизни. Я люблю ее даже более цигар, а это много сказать. Вот в таком порядке: сперва музыка, потом цигары или папиросы из турец-

---

[1]) Разумеется, в письме из крепости он не мог выражаться иначе. По его юношеской переписке мы знаем, что она возбуждала в нем и религиозное (в бакунинском смысле), и революционное настроение: это, впрочем, видно и из следующих слов о „вере в жизнь и охоте к жизни“. Это видно и из письма его к родным от 5 марта 1833 года. В этом письме Бакунин рассказывает о посещении им одного концерта: „в особенный восторг привела меня «Буря» Бетховена. После кузина сказала мне, что, взглянув на меня, она была испугана выражением моего лица, когда я слушал эту музыку. Казалось, что я готов уничтожить весь мир“. Это мало похоже на религиозное настроение.

кого табаку, потом книги, а потом уже хлеб насущный. Ты видишь, в каком почете стоит у меня музыка». И он нисколько не преувеличивал, ибо ему же принадлежит фраза, что все пройдет и разрушится, а девятая симфония Бетховена останется навеки. На этой отчасти почве у него впоследствии и произошло сближение с Рейхелем и Р. Вагнером.

Детские годы всей семьи Александра Михайловича, в том числе и Мишеля, протекли в Премухине в мирной обстановке уютного «дворянского гнезда» и оставили у детей на всю жизнь теплое, прямо благоговейное воспоминание. Так, в Берлине Мишель вместе с сестрой Варварой распевали по вечерам премухинские песни, «из которых почти каждая напоминала какое-либо обстоятельство из их общей жизни». «Я всегда, — прибавляет Бакунин [1]),—с каким-то горьким, грустным наслаждением погружаюсь в этое живое прошедшее, в котором мы вместе становились людьми—путем познавания истины, путем необходимых заблуждений, путем святых ошибок любви, страданий, радости и веры в лучшее, святое назначение человека». И даже очутившись в сутолоке парижской жизни, уже в качестве политического эмигранта, Бакунин предается воспоминаниям о Премухине, которые «живы в нем и не лишились силы волновать его душу и проникать ее любовью и верою». Эти воспоминания —его «лучшее сокровище, они хранят и поддерживают» его [2]). Картины этой жизни носились еще перед Бакуниным в минуту тяжелой болезни перед смертью. О них же он с умилением вспоминал и в Алексеевском равелине.

В письме от 9 февраля 1852 года из Петропавловской крепости Бакунин, обращаясь к сестре Варваре, снова переживает мелочи премухинской жизни, воспоминаниями о которых он упивался в суровом заключении.

«Помнишь, — пишет он, — как мы вставали рано по утрам перед заутреней и гуляли по нашему милому премухинскому саду и любовались паутинами, расстилавшимися по листьям и между деревьями, и ходили на мельницу смотреть, как мельник вынимал рыбу; помнишь, как по вечерам при лунном сиянии мы прохаживались гуртом подле сараев и пели: «Tout est calme et touf dort» [3]) или «Au clair

---

[1]) Письмо сестрам от 4—16 декабря 1840 года.
[2]) Письмо сестрам и братьям от 1 мая 1845 года.
[3]) „Все утихло и уснуло".

Государственная публичная БИБЛИОТЕКА Историческая 2

de la lune» [1]) ? Помнишь, как по зимним вечерам с папенькою мы читали Robinson Suisse [2]), и ты была влюблена в Фрица; помнишь, как ты ревела, задавив своего ручного воробья, и как мы его торжественно хоронили, и как тетенька Варвара Михайловна качала головкой, смотря на твои горькие слезы,—и как ты обиделась, когда Borhert осмелился написать покойному воробью эпитафью? Не знаю, помнишь ли ты все это, но я ничего не позабыл, и, когда я вспоминаю время нашего детства, мне становится свежо на душе».

«Самым счастливым временем нашей премухинской жизни,— вспоминает 23-летний Мишель,– были для нас наши детские годы; во мне остались еще живы все впечатления моего детства...

«Вы,— обращается он к отцу,— слились с самыми лучшими воспоминаниями нашего детства. Вы редко бранили и, кажется, ни разу не наказывали нас, но мысль, что вы узнаете о каком-нибудь нашем поступкє, мысль, что вы рассердитесь на нас, приводила нас в ужас. Я помню, с какою любовью, с какою снисходительностью и с каким горячим вниманием вы слушали нашу детскую болтовню. Я помню, как мы были счастливы, когда мы приносили вам пойманную нами бабочку или найденный и до сих пор невиданный цветок. Я никогда не забуду этих вечерних прогулок на пильный завод или в Костюшино, где вы нам рассказывали какой-нибудь исторический анекдот или сказку, где вы заставляли нас отыскивать редкое у нас растение...

«Помню еще один лунный вечер: небо было чисто и усеяно звездами, мы шли в Мытницкую рощу и вы рассказывали нам историю солнца, месяца, туч, грома, молнии и т. д. Помню один летний день, в который я хорошо учился, и вы были довольны мною и вы помогли мне устроить мост к нашему маленькому острову... Помню, как один раз, гоняясь за бабочками в отсутствии маменьки, мы позабыли, что наступило время обеда, и что вы ждете нас, как мы испугались, когда мы об этом вспомнили и нашли вас, сидящего за столом и уже обедавшего. Вы нам не сказали ни слова, встали прежде нас, и мы были этим так испуганы, мы не знали, что делать; после же обеда, отдохнувши, вы позвали нас гулять и говорили с нами, как будто ни в чем не бывало, и мы были так изумлены вашею добротою.

---

[1]) „При лунном свете“ (французская детская песенка).

[2]) „Швейцарский Робинзон“ (известная книга для детей).

так счастливы и так веселы... Наконец, я помню эти зимние вечера, в которые мы всегда читали «Rubinson Crousoe» 1), и это было для нас таким великим, таким неограниченным наслаждением.

«Потом наступал Великий пост, и мы вмѣсте с вами говели, и Страстная неделя имела для нас что-то неиз'яснимое, торжественное... Эта святая торжественность, нарисованная на вашем лице, эти черные ризы, эта мрачная и грустная служба, поздняя всенощная, после всенощной мы приходили в гостиную, которая не была еще освещена, Варенька садилась за фортепьяно и брала аккорды, вы говорили нам о страданиях, о божественной святости Спасителя... Потом, когда подавали свечи, мы вместе читали Евангелие... Наступала среда, и мы вместе исповедывались и после исповеди собирались вечером к ужину, и было так тихо, так свято, так божественно... Мы не понимали тогда, но чувствовали, что совершается что-то великое... Вы, маменька, сестры,—все мы были в одной комнате; тут не было никого постороннего, никто не разрушал своим неуместным присутствием этой святой гармонии... Потом в четверг мы причащались, потом мытье образов, двенадцать евангелий, Страстная пятница, крашение и делание мраморных яиц; субботняя заутреня, где мы все вместе ходили к плащанице; потом заутреня Светлого Воскресения, ожидание восхода солнца, возвращение весны,—о, все это слилось, неразрывно слилось с нашей жизнью... Эти происшествия кажутся ничтожными, но они глубоко вошли в душу, они оставили в нас неизгладимые воспоминания...

«Да, батюшка, воспоминание о вас и любовь к вам, премухинский дом, сад и окружности, любовь и природа и наслаждение природою и детство наше,—все это составляет наше неот'емлемое сокровище и чуть ли не лучшую эпоху жизни нашего семейства»...

Такое теплое воспоминание осталось у Мишеля о годах детства. Культурная атмосфера, царившая в премухинском уголке и созданная Александром Михайловичем, человеком по-своему просвещенным и мягким, сделала его семью притягательным центром для таких людей, как Станкевич, Белинский, которые чувствовали себя в Премухине, как в раю.

За время своего детства, т. е. до 14 лет, живя в Премухине, Мишель получил под руководством отца и одного дяди

1) „Робинзон Крузо".

начальное образование. Он хорошо выучился говорить по-французски и кое-как понимать по-немецки и по-английски, отец преподавал ему и старшим сестрам древнюю историю по Боссюэ и заставлял читать Тита Ливия и Плутарха во французском переводе. С дядей он занимался арифметикой, алгеброй и геометрией. Александр Михайлович, много путешествовавший, часто рассказывал детям о том, что пришлось ему видеть в разных странах. С этих пор и зародилась у Мишеля мечта совершить путешествие по чужим краям.

2. НАЧАЛО УМСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА.

Родители пожелали избрать для своего первенца Михаила военную карьеру и по достижении им 14-летнего возраста отправили его в Петербург, в Артиллерийское училище, куда он, после нескольких месяцев подготовки под наблюдением дяди П. А. Нилова, поступил осенью 1829 года. Жизнь в учебном заведении ему не понравилась, и впоследствии он считал ее вредной для своего нравственного и умственного развития. Он говорил, что умело лгать и обманывать считалось среди юнкеров похвальным делом, и что он также этому научился. В училище он впервые узнал всю черную, грязную и мелкую сторону жизни. Под влиянием товарищеской среды, относившейся к религии легкомысленно, охладели и его религиозные чувства. Традиционные верования подорвал, совершенно того не желая, его дядя Нилов, заставлявший Мишеля читать вслух Четьи-Минеи и без рассуждений, на веру принимать все там написанное.

Нельзя сказать, что за годы своего пребывания в училище Михаил ровно ничего не делал, кое-что, хотя, правда, не очень много, он читал и даже составлял по прочитанному конспекты. Учился он неплохо, а по части наук математических выказал даже большие способности.

В то время (в 1831 г.) Бакунин был горячим патриотом, подобно массе дворян, шовинизм которых был раздут польским восстанием. Припомним, что даже великий Пушкин, друг Мицкевича, сочинил тогда свою патриотически-реакционную оду «Клеветникам России», направленную против поляков и выражающую настроение тогдашних правящих сфер. В одном письме к родителям Бакунин говорит о русских, что они не похожи на французов, что русские любят свое отечество, обожают государя, воля которого для них закон, и что не найдется ни

одного русского, который не пожертвовал бы жизнью ради блага царя и родины.

Характерно, что уже во время пребывания в училище у Бакунина начало проявляться его легкомысленное отношение к деньгам, которое условия эмигрантской жизни впоследствии могли только усилить; он начал входить в долги, а товарищи заставляли его подписывать векселя, что вызывало протесты и упреки со стороны отца. Вот где начала развиваться его привычка, общая всему русскому дворянству, вскормленному рабским трудом и государственной казной.

В январе 1833 года, т.-е. в возрасте 18 лет, Бакунин был произведен в офицеры (прапорщики) и переехал из училища на частную квартиру. Но ему еще приходилось посещать офицерские классы, соответствующие позднейшей артиллерийской академии. Это начало самостоятельной жизни, в связи с первой любовью, дало юноше первый серьезный толчок к духовному самоопределению. В августе 1833 г. Бакунин съездил в родное Премухино, а осенью того же года попал в сферу влияния Николая Назарьевича Муравьева, отца будущего генерал-губернатора Восточной Сибири, Н. Н. Муравьева-Амурского. Под его влиянием в молодом офицере произошел умственный переворот, «интеллектуальная революция» [1]). С этого времени Бакунин и начинает свою борьбу с семейным деспотизмом.

В нем проснулись свободолюбивые стремления, хотя еще и смутные, и умственные запросы, хотя еще и неопределенные.

В светской жизни он разочаровался. Танцы, балы не привлекали его. Он почувствовал пустоту жизни, стал искать, чем бы ее заполнить, и, наконец, пришел к убеждению, что интеллектуальные способности—драгоценный дар, отличающий человека, и что развитие их и проистекающая отсюда интеллектуальная жизнь одни способны дать человеку счастье. Его начало тянуть к науке, проснулись философские запросы,— словом, в нем началось духовное брожение.

Этот душевный переворот, переживавшийся молодым Бакуниным, являлся отражением глубокого внутреннего брожения, происходившего тогда в передовых кругах молодого дворянства. Старые начала, на которых зиждились крепостное право и цар-

---

[1]) Около того же времени он находился также под влиянием Сергея Муравьева, своего двоюродного дяди по матери, который был старше его на 5 лет.

ское самодержавие, начинали уже давать трещины, но были еще достаточно сильны для преодоления всякого активного противодействия. Однако они уже обанкротились в идейном отношении и держались только грубой силой. Восстание декабристов было подавлено, но оппозиция крепостному режиму из открытого состояния перешла в состояние скрытое. С поражением декабристов политическая оппозиция не умерла, она только переменила форму. Стремление к новому общественному устройству не исчезло, но ушло вглубь. Как заметил Герцен, гром пушек на Сенатской площади в Петербурге разбудил целое поколение. К этому поколению, впоследствии получившему название «людей 40-х годов», принадлежал и Бакунин. И характерно, что его духовное пробуждение началось приблизительно около того же времени, когда начали складываться в Москве и Петербурге передовые кружки Герцена, Станкевича и др.

Понятно, что при таких условиях Бакунину уже трудно стало уживаться с бездушной атмосферой военного училища эпохи Николая I. В начале 1834 года у него произошло столкновение с начальником училища, генералом Сухозанетом, которому юный офицер ответил недостаточно почтительно. И вот, не дожидаясь окончания курса офицерских классов, Бакунина поспешили перевести в одну из армейских артиллерийских бригад, квартировавших в Западном крае. В своей «Исповеди», написанной через 17 лет в Алексеевском равелине и окрашенной покаянным настроением [1]), Бакунин рассказывает об этом периоде своей жизни в следующих выражениях:

«Я учился три года в Артиллерийском училище, был произведен в офицеры в 19 году от рождения, а в конце четвертого года своего учения, бывши в первом офицерском классе, влюбился [2]), сбился с толку, перестал учиться; выдержал экзамен самым постыдным образом или, лучше сказать, совсем не выдержал его, а за это был отправлен служить в Литву

---

[1]) См. часть IV.

[2]) Повидимому, речь идет здесь об увлечении Бакунина кузиной Марией Воейковой, о котором рассказывается в его письмах, относящихся к 1833 году. Однако, судя по письму Мишеля к отцу от 20 декабря 1837 года, этот инцидент оказал на юного Бакунина благотворное влияние: „Это чувство,—пишет Мишель,—хотя и призрачное, хотя и совершенно детское, было первым решительным пробуждением моей духовности. Оно возобновило меня, очистив душу мою от ржавчины,

с определением, чтоб в продолжение трех лет меня обходили чином и до подпоручичьего чина ни в отставку, ни в отпуск не отпускали.—Таким образом, моя служебная карьера испортилась в самом начале моею собственною виною и несмотря на истинно отеческое попечение обо мне Михаила Михайловича Коваьки, бывшего тогда командиром Артиллерийского училища».

Попав в среду «маленького гарнизона» с его узкими жизненными интересами, очутившись среди сослуживцев, знавших только водку и карты, общительный юноша сильно тяготился вынужденным одиночеством. «Человек рожден для общества,—писал он в письме от 4/X 1834 г.—Самовольное уединение почти всегда тождественно с эгоизмом, а эгоист может ли быть счастлив»? Скучая и тоскуя в провинциальной глуши, он по целым дням валялся в халате на постели. Уже тогда он начал задумываться над целью своей жизни, над смыслом своего существования и над тем местом, какое ему «предопределено занимать в общей беспредельной машине» (письмо от 19/XII 1834 г.). Занятий по службе было мало, и он стал заниматься наукой, возобновляя в памяти все то, что знал раньше. Бакунин занимается физикой, географией, русским языком, русской историей, которой особенно интересуется, и впервые знакомится с несколькими философскими книгами [2]).

Передвигаясь со своей бригадой, Бакунин попал в Вильну, где на балах началось его первое знакомство с польским обществом. В Гродненской губернии он познакомился со своим двоюродным дядей, Михаилом Николаевичем Муравьевым, впоследствии известным усмирителем, а тогда гродненским губернато-

---

покрывшей ее во время моего пребывания в Артиллерийском училище. Жизнь, сильная, благородная жизнь заиграла во мне. Я, до тех пор ленившийся, до тех пор не заботившийся о своей будущности, я решился работать над собою, переделать себя".

Чувство Мишеля к Воейковой скоро уступило место другим столь же мимолетным и неглубоким увлечениям. В начале 1834 г. он уже иронически вспоминает об этом своем увлечении.

[1]) Впоследствии в письме к отцу (от 23 марта 1840 г.) Бакунин с ужасом вспоминает о своей тогдашней жизни: „Я был послан в Литву, и там дух мой погрузился в еще худшее состояние; грязная, бездейственная апатия и каменное равнодушие ко всему его окружающему превратились почти в его вторую природу, и я б совершенно погиб, если б во мне не сохранилась одна святая божественная искра,—и эта искра была: *бессознательная, почти инстинктивная жажда знания*" (подчеркнуто Бакуниным).

ром, который старался внушить молодому офицеру презрение к полякам. Но его усилия были тщетны. Напротив, зрелище несчастной страны, грубо попираемой солдатским сапогом, должно было возбудить в чувствительной душе юноши совсем другие чувства; оно должно было вселить в нее ненависть к деспотизму и сочувствие к угнетаемым [1]). Очень возможно, что впечатления, вынесенные Бакуниным из его вынужденного пребывания в Польше, не остались без влияния на его решение снять с себя по возможности скорее офицерский мундир. Во всяком случае Бакунин, чувствовавший в себе крупные задатки и мечтавший о более высоком призвании, не мог удовлетвориться карьерой поручика, прозябающего в гиблом местечке и муштрующего бессловесных солдат. Командированный в Тверь для ремонта лошадей для бригады «прапорщик Бакунин» на службу уже не вернулся и 1 декабря 1835 г. был уволен со службы «по собственному желанию».

3. УХОД С ДВОРЯНСКОЙ ДОРОЖКИ.

Родители не могли, разумеется, примириться с тем, что их старший сын так быстро закончил свое служебное поприще. Пользуясь своими связями, отец пытался пристроить его на гражданской службе. Тверской губернатор, граф Толстой, предложил Бакунину место чиновника особых поручений. Но тот решительно отверг это лестное предложение,—его влекли уже другие интересы. Правда, он не помышлял еще тогда о революционной деятельности, но он решил посвятить себя науке.

Осенью 1835 года Бакунин проводил время то в Твери, то в Премухине с родными. Это был период решительного перелома в жизни будущего агитатора. 13 марта 1835 г., когда Бакунин был еще офицером, он познакомися с Н. В. Станкевичем, молодым философом, сгруппировавшим вокруг себя в Москве несколько прогрессивно-настроенных молодых людей, многие из которых сыграли затем выдающуюся роль в умственном развитии русского общества.

---

[1]) В документе, относящемся к более позднему времени, а именно в письме в редакцию газеты „Le Constitutionnel“, написанном в феврале 1846 года, т.-е. когда Бакунин уже был революционером, он, говоря о гонениях царского правительства на поляков, ссылается на свое личное свидетельство. „Сообщенные мною вам факты,—говорит он,—известны мне лично, так как я провел некоторое время на Литве в качестве офицера“.

Станкевич был на 7 месяцев старше Бакунина и, несмотря на то, что ему было лишь 22 года, успел блестяще окончить Московский университет. Обладая большими знаниями, проникнутый внешним и внутренним благородством, «Станкевич любил,—как говорит его биограф Анненков,—общество, танцы, новые знакомства и людской говор... Ему всегда было необходимо видеть много людей так же, как необходимо много мыслить про себя». На окружающих его людей Станкевич оказывал благотворное влияние.

Чтобы понять все чарующее обаяние его личности, достаточно вспомнить восторженный отзыв о нем Бакунина, данный им много лет спустя, уже после смерти Станкевича. «Его внутреннее существо,—пишет Бакунин,—*полностью* проявлялось, во-первых, в его отношении к друзьям, а затем ко всем тем, кто имел счастье к нему приблизиться, поистине счастье, потому что было невозможно жить подле него и не чувствовать себя в некотором смысле улучшенным и облагороженным. В его присутствии подлая и тривиальная мысль и дурной инстинкт казались невозможными. Под его влиянием самые обыденные люди становились выдающимися» [1]).

Аксаков говорит о Станкевиче так: «Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была *чистая мысль*. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать".

По окончании университета, живя летом 1834 г. в деревне, Станкевич главным образом занимался древней историей и философией Шеллинга. В конце января 1835 г. он снова приезжает в Москву. К этому времени относится его увлечение сестрой Мишеля, Любовью Александровной, моложе которой он был на два года. С сестрами Бакунина он, вероятно, познакомился у Беер [2]), притом значительно раньше своего знакомства с Мишелем. Бакунин произвел на Станкевича самое благоприятное впечатление. Летом 1835 г. они переписывались, при чем в одном письме к Неверову Станкевич говорит, что эта переписка доставляет ему большое удовольствие. А в письме от

---

[1]) „Кнуто-Германская Империя" (Bacounine, Oeuvres, т. III, стр. 398).

[2]) Хорошие знакомые Бакунина, жившие в Москве.

26 октября, написанном после поездки Станкевича в Премухино, он называет Бакунина «чистой, благородной душой».

К этому времени и надо отнести начало благоприятного философского влияния Станкевича на Бакунина. В том же письме к Неверову есть указание на то, что Мишель решил заниматься философией. Его внимание привлекла господствовавшая в то время в Европе и начавшая проникать в Россию немецкая идеалистическая философия. Бакунин стал лелеять мысль о том, чтобы всецело посвятить себя этой науке, и решил готовиться к профессуре. По всей вероятности, уже тогда он приступил к изучению «Критики чистого разума» Канта. И все время, проведенное Бакуниным у родных, он по целым дням сидел с трубкой и книгами взаперти; особенно возмущала его при этом необходимость провожать сестер на балы в Тверь.

Мишеля сердило это не только потому, что он вообще не любил светских развлечений, а также еще и по той причине, что он ревновал сестер к светским молодым людям. Надо заметить, что одну из своих сестер, именно Татьяну, он любил как-то особенно нежно. «Не знаю,—пишет он сам в одном письме,—как назвать мое чувство к Танюше, знаю только, что оно породило во мне ревность, и ревность эта изглодала всю мою душу; она привела меня почти к полному крушению».

«Не могу решить,—писал впоследствии Белинский (15 ноября 1837 г.),—естественно ли твое чувство, это мог бы решить только один Гегель, а не мы; как бы то ни было, только твое чувство меня пугает, кажется мне уродливым, чудовищным; но оно есть в тебе, Мишель, потому что резность есть пробный и необманный признак этого чувства» [1]).

---

[1]) Повидимому, Мишель питал к Татьяне чувство более сильное, чем обычная братская любовь. Любопытно, что, намекая на этот факт или на толки, связанные с его отношением к Татьяне, Мишель в письме с увозившего его в Германию парохода от 4 июля 1840 года вдруг приводит стих: „Законы осуждают предмет моей любви“ и, как бы желая поставить точку над i, прибавляет: „Танюша, это к тебе относится“. Впоследствии Бакунин мечтал о том, чтобы выписать Татьяну к себе за границу, где она должна была вести его хозяйство. А в письме от 4 ноября 1842 года он, обращаясь к Татьяне, говорит: „Танюша, неужели ты в самом деле позабыла меня? Ты сказала нынешним летом, что если бы ты не была моей сестрой, ты полюбила бы меня. Я говорю то же самое: я люблю тебя, друг, глубоко люблю. Бедная девочка, нам не далось с тобою счастье; что делать? Покоримся судьбе—судьбы божьи неисповедимы“.

Но в сущности в этом чувстве, почему-то пугавшем Белинского, сказалась, вероятно, просто исключительность натуры Бакунина, стремившегося господствовать всюду безраздельно и не терпевшего соперничества. Скрытые в нем и бродившие колоссальные внутренние силы не находили исхода и по временам выливались в уродливые формы, как мы увидим и в других случаях.

В узкой же семейной сфере премухинского житья-бытья эти силы, конечно, не могли найти выхода. И Бакунин «бунтовал», вел мелкую домашнюю войну и рвался вон из душившей его обывательской обстановки. Ему не хотелось, как он говорил, «умереть духовно и ограничиться приемом гостей, шарканьем в гостиных с проводом сестер на балы». И он воспользовался столкновением с родными, чтобы бежать из дома в тогдашний умственный центр России – в Москву.

Готовясь к профессуре, он собирался поступить вольнослушателем в университет, а затем поехать за границу. Отец, ссылаясь на отсутствие средств, отказался исполнить его желание. Бакунин с горя запил на неделю, а затем покинул отчий кров [1]). В начале 1835 г. он уехал в Москву. Впоследствии этот внезапный от'езд его получил шуточное название «бегства из Мекки в Медину».

---

[1]) По поводу этой ссоры, которую отец об'яснял желанием Бакунина деспотически „господствовать в семействе“, старик, между прочим, писал сыну относительно его планов самостоятельной жизни: „Ты не бережешь и легко занимаешь деньги, не зная, чем и когда платить будешь“. А сестра Татьяна тогда же писала ему: „Ты—эгоист, ты считаешь себя гением и любишь только льстецов... У тебя никогда не будет друзей, потому что ты не переносишь людей, которые решаются говорить тебе правду“. Во время припадков самобичевания, связанных с происходившим в нем духовным переломом в начале 40-х годов, Бакунин говорил о себе приблизительно то же самое. „Я хорошо знаю,—пишет он в письме от 8/20 ноября 1842 г. из Дрездена,—что моя натура груба, моя внешность сурова и отталкивающа“. А в письме от 1 мая 1845 г. из Парижа он подтверждает свою склонность к деспотическому господству, относя ее только к прошлому времени: „Я сам в старину,—пишет он,—несмотря на мою страстную любовь к свободе, имел большую наклонность к деспотизму и часто мучил и притеснял бедных сестер: спроси об этом Танюшу, она всегда была первая бунтовщица и осмелилась даже раз в Баховкине назвать меня деспотом. Но теперь я переменился“ и т. д.

4. В МОСКВЕ.

В Москве Бакунин побывал у попечителя Московского округа, гр. С. Г. Строганова, и, кроме разрешения давать частные уроки математики и физики, получил от него предложение перевести немецкий учебник истории Шмидта. При этом он выкинул характерную для него штуку, показывающую, с каким вызывающим презрением он уже и тогда относился к дворянской спеси и светским предрассудкам: свои визитные карточки с указанием профессии («учитель математики») он занес своим аристократическим дядюшкам, чем их шокировал, но зато заслужил одобрение Белинского.

В письме от 8 марта 1836 г. он с восторгом сообщает: «Я начал вести трудовую жизнь. Я много работаю, я делаю большие успехи, я в своей сфере, я живу». Одновременно с этим он занимался со Станкевичем философией и историей. Герцен в своих воспоминаниях следующим образом говорит о московской жизни Бакунина: «Получив отставку, Б. приехал в Москву; с этого времени (около 36 г.) началась для Бакунина серьезная жизнь. Он прежде ничем не занимался, ничего не читал и едва ли знал по-немецки. С большими диалектическими способностями, с упорным, настойчивым даром мышления, он блуждал без плана и компаса в фантастических построениях и аутодидактических попытках. Станкевич понял его таланты и засадил его за философию. Бакунин по Канту и Фихте выучился по-немецки» (Герцен. «Былое и Думы», ч. IV, гл. XXV, 1840—47).

Как мы знаем, сам Бакунин чрезвычайно ценил Станкевича. В последствии, в сочинении «Кнуто-Германская Империя», он называл его своим учителем, точнее создателем (créateur), а также учителем Белинского, скромно умалчивая о собственном влиянии на последнего. Однако было бы неверно думать, что до встречи со Станкевичем Бакунин был совершенно зеленым юношей. И Герцен в своем дневнике безусловно недооценивает его подготовки. Конечно, до 1835 г. с немецкой идеалистической философией он был еще совершенно незнаком, разве лишь косвенно и притом слегка, через сочинения Веневитинова, которые попались ему в 1833 г. Но во всяком случае он много читал и главным образом думал. Его мысль усиленно работала над выработкой миросозерцания. Особенно его внимание привлекал вопрос о назначении человека.

Доказательством того, что у Бакунина еще до окончательного знакомства со Станкевичем сложилась известная система довольно продуманных взглядов, служит письмо к его приятельнице Наталье Андреевне Беер от 7 мая 1835 г., написанное, как и многие другие письма Бакунина, по-французски. Начало письма имеет предметом дружбу. «Сладко найти,—пишет он,—прибежище в сердце друга, прекрасно иметь возможность изливать в него свои печали и надежды, прекрасно сливаться с ним воедино (s'identifier avec lui) и иметь возможность, по крайней мере, перед ним проявлять признак жизни, когда благоразумие требует удерживаться от участия во внешней жизни. *Но мне не позволено предаваться этому всецело, погружаться в эту единственную радость. Нет, мое призвание совершенно другое. Я—человек обстоятельств, и рука божия начертала в моем сердце эти священные слова, которые обнимают все мое существование: «Он не будет жить для себя». Я хочу осуществить это прекрасное будущее, я сделаюсь достоин его!* [1]). Быть в состоянии всем пожертвовать для этой священной цели—вот мое единственное честолюбие! Не думайте, чтобы я ошибался, когда я сказал Вам, что всякое другое счастье для меня закрыто. Нет, это—истина, которую я чувствую, которую я постигаю, в которой я убедился *познанием собственного существа*. Жизнь человека, подобно жизни человечества, есть последовательное и прогрессивное развитие всех чувств и всех идей. Это—вечное стремление части к своему целому, и повторение здесь невозможно. Это—только любопытное путешествие для тех, которые не имеют собственного самосознания. Это—масса чудесных вещей, которые, не будучи между собой связаны идеей совершенствования и высшей необходимости, образуют бесформенное собрание любопытных фактов, которые поражают воображение и ласкают чувства слепого путешественника. Но для тех, которые действительно чувствуют жизнь, которые познают ее по биению ее пульса, это не фантазия; не факты и не обстоятельства их поражают, но идея, которую они выражают! А каковы же главные идеи жизни? Это—любовь к людям, к человечеству и стремление ко Всему, к совершенствованию. И эти три идеи суть лишь различные выражения одной творческой, вечной, нетленной идеи—бога.

---

[1]) Курсив мой.

Все другие идеи суть лишь эпизоды несчастной победы материи над идеей. Бог, проявившись в природе, сотворил животное и вдунул в него божественную искру—часть этой высокой идеи, так хорошо выраженной гармонией мира. И это животное сделалось человеком, который получил свою цель—в боге и средства—в природе. Что же такое человечество? Бог, вложенный в материю. Жизнь его—стремление к свободе, к соединению со Всем; выражение его жизни—любовь, этот основной элемент Предвечного. Это—дружественные частицы, разделенные одна от другой, силою материи отделенные от их высокого Источника! Вот откуда происходит симпатия одного человека к другому, человека ко всему роду человеческому, человека к совершенствованию человечества. Они дают друг другу руку, чтобы сбросить иго материи, они сильны единением, ибо чем больше их число, тем могущественнее их идея, тем более они приближаются к богу. Единение мужа с женой дает совершенную гармонию. Это—единое существо, заключающееся в двух существованиях. Таким образом, жизнь человеческая есть вечная борьба идеи с формой, это—последовательный, прогрессивный ход победы бога над материей. И могут ли повторяться те же победы и те же деяния, которые к ним ведут, и к чему бы послужили подобные повторения? То же относится и к (отдельному) человеку...» [1]).

Читая этот отрывок, мы видим перед собой целое юношеское миросозерцание, отличительными чертами которого

---

[1]) Эта цитата, равно как и большинство других цитат из юношеской переписки Бакунина, для первого издания была мною заимствована из книги А. Корнилова „Молодые годы М. Бакунина". Москва, 1915 г.

В этой книге, а также в ее продолжении, вышедшем в 1925 году под заглавием „Годы странствий Михаила Бакунина" и охватывающем период с 1840 по 1857 год, собран богатейший материал из семейного (премухинского) архива Бакуниных. В 1920 году, когда вышло первое издание моей книги, все, в том числе и я, считали премухинский архив погибшим. Впоследствии оказалось, что это неверно и что премухинский архив находится в распоряжении А. Корнилова и П. Щеголева. Когда я приступил к подготовке полного собрания сочинений и писем М. А. Бакунина, мне удалось раздобыть оригиналы этой переписки (пока, к сожалению, только до 1840 года). Надеюсь, что рано или поздно мне удастся опубликовать полностью как эти письма Бакунина, так и все другие его письма, какие я уже успел и еще успею собрать.

являются дуализм и философский идеализм, послуживший к быстрому сближению Бакунина со Станкевичем. Приведенный отрывок противоречит общепринятому мнению, что до знакомства со Станкевичем Бакунин был совершенно необразованным, «молоденьким,—как говорит Венгеров,—артиллерийским поручиком, вышедшим в отставку... и не знавшим, что с собою делать». Напротив, это был довольно начитанный и много продумавший молодой человек, который уже сознавал свои крупные силы и имел мистическое предчувствие той роли, которую ему предстоит сыграть в истории человечества.

5. ФИХТЕАНСКИЙ ПЕРИОД и ПЕРВЫЙ БУНТ ПРОТИВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Повышенное настроение, овладевшее Бакуниным в период духовного роста, могло только усилиться от общения с такими идеалистически настроенными людьми, как Станкевич и Белинский. Не следует забывать, что в 30-е годы, т.-е. в десятилетие, следовавшее за неудачным восстанием декабристов, освободительные порывы прогрессивных слоев русского общества, лишенные возможности проявиться на политической арене, были силою загнаны внутрь. Таким образом эти стремления обратились на духовное самоуглубление и вылились в смутное порывание к чему-то высокому и прекрасному, — тем более острое, чем меньше в нем было возможности практического применения, — к разрешению вопросов о смысле жизни, назначении человека, его задачах на земле и т. п. И чем глубже скрыты были эти стремления, чем абстрактнее была совершенно, повидимому, оторванная от действительности форма, в которую они облекались, тем более напряженный характер они имели, тем сильнее они захватывали душу, тем интенсивнее работали они в головах людей. Это был период, в течение которого страсти, не находившие практического выхода, достигали необычайного напряжения и силы, подобно пару в закрытом котле.

Сближение со Станкевичем оказало сильное влияние на дальнейшее развитие Бакунина и с новою силою толкнуло его по уже намеченному пути. Возобновив в Москве свое знакомство со Станкевичем, Бакунин все теснее сходился с ним (одно время они даже жили вместе) и с его кружком.

Кружок, центром которого был Станкевич, сгруппировался вокруг него еще в университете в 1831—1832 г.г. В развитии

русской общественности XIX века он сыграл роль такую же крупную, как и существовавший одновременно с ним кружок Герцена—Огарева. В конце 50-х годов Герцен дал кружку Станкевича следующую оценку: «Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства... в них было наследие 14-го декабря».

В кружке Станкевича изучали главным образом немецкую философию и литературу. Читали Гёте, Шиллера, Жана-Поля Рихтера, Гофмана. Самой любимой книгой Бакунина была «Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde» [1]) Беттины фон-Арним (Елизаветы Брентано). Что же касается кружка Герцена — Огарева, то он черпал свое настроение из французской революционной литературы и утопистов (особенно сен-симонистов). О взаимоотношениях обоих кружков Герцен (в «Былом и Думах») говорит: «Между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондёрами и французами, мы их — сентименталистами и немцами».

Такая противоположность этих кружков отражала общее умонастроение тогдашней русской интеллигенции, одна часть которой находилась под влиянием французской материалистической мысли, другая—немецкой идеалистической. Французское направление было старше и породило декабристов, но и немецкое течение проникло в русское общество до образования кружка Станкевича. В 20-х годах носителем немецких взглядов был кружок так называемых «любомудров» во главе с первым пионером русского шеллингианства, московским профессором физики М. Г. Павловым, Одоевским и Веневитиновым, с произведениями которого, как мы видели, Бакунин был несколько знаком. Станкевич и его друзья по кружку были учениками Павлова и в особенности другого профессора-шеллингианца, Надеждина. Кружок Станкевича продолжал дело, начатое «любомудрами».

Ко времени вступления Бакунина в кружок к нему принадлежали Клюшников, С. Строев, А. Беер [2]), Красов, Ефремов, Неверов, Петров, К. С. Аксаков (члены, сблизившиеся еще на

---

[1]) „Переписка Гете с ребенком".

[2]) С его сестрами Бакунин был в дружбе.

студенческой скамье) и примкнувшие к кружку позднее В. П. Боткин, В. Г. Белинский и Т. Н. Грановский. Со всеми этими людьми Бакунин познакомился и сошелся через кружок. Более, чем с другими, он сблизился с В. Белинским, с которым он некоторое время жил вместе. Известно, какое влияние имел Бакунин на великого русского критика, воззрения которого развивались под сильнейшим воздействием Мишеля. Ниже мы увидим примеры этого.

Друзья по кружку встречались почти ежедневно. Больше всего интересовал их вопрос о назначении человека, над которым Бакунин задумывался еще до своего вступления в кружок. Но в то время, как его взгляды носили характер дуалистический, взгляды Станкевича и некоторых его друзей носили к тому времени уже монистический, близкий к шеллингианству характер. Ко времени вступления в кружок Белинского, Боткина, Бакунина старые члены кружка имели уже общее представление о философии, почерпнутое из вторых и третьих рук, и приступали к изучению первоисточников. Станкевич прежде всего (1834 г.) взялся за Шеллинга («System des transzendentalen Idealismus» [1]), но потом ему пришлось обратиться к изучению Канта, а затем и Фихте. Как уже упомянуто, осенью 1835 г. (октябрь—ноябрь), после посещения Премухина Станкевичем, Бакунин также приступил к изучению «Критики чистого разума».

В сочинение Канта, по причине целого ряда переживаемых им неприятностей, он едва ли особенно углубился. Это соображение доказывается и его тогдашней перепиской, на которой не чувствуется влияния Канта. Но общее представление о кантовской системе он безусловно имел и, вероятно, довольно ясно представлял себе ход системы Канта. В Москве Бакунин от Канта перешел к Фихте и начал изучать его сочинение «О назначении ученых» и «Anweisung zum seligen Leben» («Наставление к блаженной жизни»), трактат по философии религии. Вообще в это время направление его мысли приобретает религиозный оттенок.

Надо полагать, что это религиозное увлечение не осталось без влияния на его дальнейшее развитие, хотя впоследствии оно перешло в свою противоположность, превратившись в бое-

---

[1]) „Система трансцендентального идеализма".

вой атеизм. Во всяком случае тот интерес, который Бакунин всегда проявлял к вопросам религии, даже тогда, когда он поставил себе целью энергически бороться с ней, вероятно, восходит своими корнями к рассматриваемому периоду его московской жизни.

Взгляды Фихте на жизнь, как на стремление к блаженству, и на любовь, как основу жизни, совпадали с тогдашними взглядами самого Бакунина и вполне отвечали его настроению. И революционные воззрения Фихте, и характерная для немецкого философа идея учительства, в силу которой ученый есть учитель жизни и чуть ли не пророк, гармонировали с самыми заветными стремлениями его молодого последователя [1]).

В письме к сестрам от 28—29 февраля 1836 г. Бакунин, между прочим, пишет: ..«Наконец я дошел до этого, я сознал всю пустоту этих желаний, я сознал, что вне духовного мира нет истинной жизни, что она не должна иметь другой цели. Путь, может быть, безотрадный, но зато достойный человека!.. Итак, я для света ничтожное творение, нуль, учитель математики, а для себя собственно, для друзей, меня понимающих, я стал гораздо выше прежнего, я убил мелкий эгоизм самосохранения, я стряхнул с себя иго предрассудков, я—человек!»

И дальше Бакунин продолжает: «Любить, действовать под влиянием какой-нибудь мысли, согретой чувством, — вот задача жизни». «Но что любить и как любить, что значит любить?» — ставит в упор вопрос Бакунин. И дальше он смелой рукой беспощадно опрокидывает ходячие кумиры, бичует обывательскую пошлость, отвергает казенный патриотизм. Высокое понятие любви, этого основного назначения человека, профанируется современным обществом. «Что такое любовь в свете? — Чувство взаимной пользы, облеченное в тридцать две китайских учтивости. Что значит у нас любовь к отечеству? — Холодная, затверженная из Карамзина фраза без всякого настоящего значения. Что значит любовь к человечеству? — Затверженные слова евангелия: любите друг друга как самих себя. Любовь к науке? —

---

[1]) Из пяти лекций „О назначении ученых“, читанных Фихте в 1794 г., Бакунин перевел четыре (напечатаны в XXIX части „Телескопа“ за 1836 год).

Желание прослыть ученым. Любовь семейная?—Привычки и обязанности. Любовь к богу? -Боязнь ада и желание рая. Вот вам любовь вашего общества, вот вам жизнь его»,—с негодованием восклицает молодой энтузиаст. Ради этого общества он должен жертвовать самыми светлыми своими мечтами, самыми заветными своими стремлениями? Никогда! «Что мне до его (общества) существования? Пусть оно падает, я ни шагу не сделаю, чтобы поддержать его».

Нет, это общество с его мелочными интересами и фальшью чуждо и враждебно Бакунину. «Я навсегда оторвался от света, от общества, я—простой математический учитель. Пора домой, пора сосредоточиться!» И, углубившись в себя, сосредоточившись, Бакунин находит смысл своей жизни. «Цель жизни,—говорит он,—предмет истинной любви—бог. Не тот бог, которому молятся в церквах; не тот, которому думают нравиться унижением перед ним; не тот, который отдельно от мира судит живых и мертвых,—нет! Но тот, который живет в человечестве; тот, который возвышается с возвышением человека; тот, который языком Иисуса Христа произнес священные слова Евангелия; тот, который говорит в поэте».

Не признавая никаких половинчатых решений, молодой идеалист не хочет удовольствоваться относительной истиной. Будущий непримиримый бунтарь, проникшись идеями Фихте, с презрением относится ко всем человеческим отношениям, «закованным в догматические формы» (выражение из письма к отцу от 29 февраля 1836 г.). Уже теперь сказывается бурный темперамент будущего апостола всеобщей анархии.

«Нет прав, нет обязанностей,—пишет он во второй половине февраля 1836 г. сестре Варваре,—есть лишь любовь, абсолютная, и когда есть любовь, нет обязанностей. Обязанность исключает любовь, а все, что исключает любовь, — преступно, бесчестно. С моей точки зрения, нет родителей, я отрицаю своих, я не нуждаюсь в их любви, я не пойду выпрашивать их любовь ценою унижения моего достоинства, я всегда назову низким то, что низко, презренным то, что презренно, я не признаю за ними никакого права на меня и отнюдь не нахожу себя обязанным валяться у них в ногах, чтобы выпросить у них позволение быть человеком; *я* **уже** *человек, потому что хочу им быть, потому что я призван им быть. У меня нет другой цели, как быть человеком, и я разбиваю все, что мешает мне*

итти к ней [1]). Да будут прокляты все эти условия, выкованные унижением человека; да будут прокляты все эти относительные идеи, которые не имеют смысла и, тем не менее, ограничивают волю! *Нужно разбивать все фальшивое без жалости и без исключения, чтобы истина торжествовала, и она восторжествует* [2]). Ее царство придет, и все те, кто были слабы, и все те, кто испугались несчастных призраков, которые их опутывают, и все те, кто не имели смелости ими пренебречь, и все те, кто остановились на полпути, и все те, кто торговались с истиной, не будут приобщены к ее торжеству; они будут содрогаться от своих ошибок, они будут оплакивать свою слабость».

«Нет, добрые друзья мои, я более не делаю уступок, они едва не убили меня, они приводят меня в апатию, *а моя внутренняя жизнь—все мое счастье; это центр, от которого я никогда не отойду. Истина безусловная, а не примененная к тем или другим обстоятельствам,—вот мой девиз*» [3]).

Бакунин знает, что новаторов, особенно же сторонников абсолютной истины, ждут страдания, однако это его не пугает [4]). Бессознательность и апатия не должны быть назначением человека, достойного этого имени; его стремления не должны быть абстрактными и оторванными от действительной жизни, а должны ставить себе полне определенные практические цели «Назначение человека, — пишет он сестре Варваре 9 марта 1836 г.,—вовсе не состоит в том, чтобы страдать, сложа руки, на земле, в надежде заслужить мифологический рай. Его назначение скорей перенести это небо, этого бога, которого он заключает в себе, на землю, возвысить практическую жизнь, поднять землю до неба—вот его высокая миссия. Пусть же он будет ее достоин, пусть он одушевляется ее священным характером во всех своих действиях, в малейших своих отношениях, пусть он изгонит из своего существования все, что не согласуется с его священным происхождением!»

---

[1]) [2]) [3]) Курсив мой. Слово „уже“ в первой отмеченной курсивом фразе подчеркнуто у Бакунина.

[4]) Родительским инстинктом отец его сразу почувствовал, что Мишель, отказавшись от торной дорожки обычной дворянской карьеры, стал на рискованный путь. Уже в начале 1836 г., после внезапного отъезда Бакунина из родительского дома, отец писал Мишелю: „Всякий из нас должен по званию своему служить верою и правдою государю и отечеству. Дорога эта, если не блистательная, то безопасная, а на той, которую ты избираешь, много кочек и ухабов“. Старик угадал верно.

Как мы видим, здесь в метафизически-абстрактных выражениях, свойственных тогдашней немецкой идеалистической философии, в сущности сформулированы многие из тех воззрений и устремлений, которые впоследствии отличали Бакунина как вождя анархизма. В жизнеописаниях Бакунина мы часто встречаем выражение удивления по поводу быстро проделанной им в 1840—1842 г.г. эволюции, когда он, под влиянием неизвестных и как бы необ'яснимых причин, якобы внезапно превратился из абстрактного идеалиста в крайнего революционера и бунтовщика. Но его юношеская корреспонденция, впервые опубликованная А. Корниловым и оставшаяся неизвестной для его прежних биографов [1]), показывает, что стремление к абсолюту, разрыв с традициями, презрение к закоснелым формам и догмам, стремление перенести небо на землю, требование беспощадного разрушения всего ложного, всего мешающего творчеству новой жизни, титанические порывы, гордая вера в свои силы и в свое высокое историческое призвание присущи были Бакунину с первых дней его сознательного существования. Знакомство с европейской жизнью, погружение с головой в практическую борьбу только помогли ему облечь эти смутные стремления плотью и кровью и побудили его точнее сформулировать свои воззрения и выразить их не в терминах идеалистической философии, а в терминах юридической и политико-экономической действительности. Разумеется, это был длительный процесс, разумеется, окончательно его взгляды сложились не сразу, и, как мы ниже увидим, Бакунин лишь постепенно и с большими колебаниями пришел к своему анархическому мировоззрению. Но, повторяем, зародыши его стремлений и симпатий, равно как вера в свои силы и призвание, жили уже в душе молодого Бакунина с того самого момента, когда он начал становиться на ноги.

6. ПЕРВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОПЫТКА.

Едва ознакомившись с взглядами Фихте, Бакунин, как человек с действенной жилкой, не довольствующийся теоретическим умозрением, а готовый немедленно перейти от слов

---

[1]) До сих пор об юношеских годах М. Бакунина было известно то, что о нем сообщалось Герценом, Анненковым, отчасти в переписке Белинского и т. п., но все это, конечно, не может заменить того богатого материала, который дают подлинные письма Мишеля.

к делу, от теории к практике, сейчас же начал применять эти взгляды на деле — сначала в узком кругу родных и знакомых, в частности сестер Беер, с которыми он был в большой дружбе и к которым одно время был даже ближе, чем к собственной семье. Сестры Беер были первыми его ученицами, с ними Бакунин сблизился в тяжелую минуту жизни одной из них (Наталии), переживавшей в марте 1837 года разрыв со Станкевичем. Среди сестер Беер Бакунин пользовался непререкаемым авторитетом и сделался их незаменимым советником. О силе первого впечатления, произведенного Бакуниным на Наталью Беер, можно судить по ее восторженному письму к Любови Александровне Бакуниной, выдержку из которого мы приводим ниже.

Но к этой дружбе не примешивался элемент физической любви,—по крайней мере, со стороны Бакунина. Правда, сестры одна за другой влюблялись в пылкого красивого проповедника, но он умел очень мягко и деликатно сам выходить и выводить из неловкого положения, оставаясь их другом и наставником и сохраняя их дружбу и уважение. Эта была любопытная страничка из истории «любви идеалистов 30-х годов». Отношения с сестрами Беер, как и с родными сестрами Бакунина, основывались у него на общих духовных интересах и одинаковом настроении.

Изредка, впрочем, молодой Бакунин позволял себе увлекаться, но и то не очень сильно: шишка любви была в нем, повидимому, слабо развита [1]); вся энергия этого мощного организма уходила на головную работу и на кипение социальной страсти. В начале 1834 г. Бакунин познакомился в Москве со своим двоюродным дядей (по матери) Александром Николаевичем Муравьевым, одним из основателей «Союза Спасения». Впрочем, к этому моменту политический радикализм старого «декабриста» сильно поблек, и он превратился в умеренного либерала с мистическо-христианским оттенком. Оба произвели друг на друга хорошее впечатление. Бакунин начал бывать у дяди и в результате увлекся его дочерью, Софьей. «Софья Александровна, — писал он сестрам,— прекрасная девушка и — смотрите, только не смейтесь—во мне что-то расшевелилось и рас-

---

[1]) Его рассказ (в „Исповеди“) о своей первой любви в бытность юнкером, повидимому, к М. А. Воейковой (см. выше) мы считаем сильно преувеличенным; вряд ли то было серьезное чувство духовного увлечения.

шевелилось не в шутку. Что, удивились? Ничего, ничего— молчание! Я об этом напишу больше, когда сам пойму все яснее». В другом письме мы читаем: «Впрочем, я не прочь и от любви, только чтобы она не мешала главному и заняла свое законное место, а если она захочет овладеть всем существом моим, так ее в сторону!»

Из этого увлечения Бакунина ничего не вышло. При всей пылкости его темперамента, эта сторона жизни не играла у него никакой роли. Чувствуя в себе громадные силы, мечтая о великом будущем, решивши посвятить свою жизнь не личным, а общественным интересам, Бакунин не давал в себе развиться чувству любви к женщине, а, может быть, это делалось у него естественно, без всякого насилия над собою. Друзья его знали эту черту в характере Бакунина, и Герцен говорит по этому поводу следующее: «Он (Бакунин) был молод, красив, любил находить прозелитов между женщинами; многие были в восторге от него, и тем не менее ни одна женщина не играла большой роли в жизни этого революционера-аскета: его любовь, его страсть принадлежали иному» [1]). Так, когда в конце 1838 года одна из сестер Беер, Александра, влюбилась в Бакунина и написала ему страстное письмо, Мишель в дружеской и шутливой, но вместе с тем крайне деликатной форме ответил ей, что его ревнивая жена (т.-е. философия, наука) просила передать, что только она имеет на него право. Этот инцидент произошел одновременно с увлечением Бакунина Муравьевой.

Столь же равнодушным к женщинам остался Бакунин и за границей. В своих письмах Бакунин сам иногда подшучивает над этой своей чертой. То он шутя сообщает о своей готовности влюбиться в дочь немецкого профессора типа Гретхен; то летом 1842 г., возвращаясь к теме о любви к женщине, иронически сообщает: «Я недавно ездил за несколько миль от Дрездена в маленький городок, в котором живет семейство, знакомство которого я сделал в Дрездене. Это, видишь ли, милый братец, была попытка влюбиться,— но нет, не влюбился. Никак не мог, несмотря на все старание свое. Уж я настраивал, настраивал себя, да уж никак не мог чувствительно настроиться». А в письме, относящемся к ноябрю 1842 г., когда Бакунин твердо решил вступить на революционный путь, он,

---

[1]) Герцен. Соч., т. VI, стр. 478 (изд. под редакцией М. Лемке).

повидимому, окончательно поставил крест над этим вопросом, что для него вряд ли сопряжено было с каким-либо насилием над своею натурою. «Что же касается до нее, — пишет он, — то еще не встретил, да, вероятно, не встречу. Знаете ли, друзья, я почти отказался от нее. По крайней мере, особенно искать не буду. Двум господам служить нельзя, а я хочу хорошо служить своему господину (читай: революции—*Ю. С.*) Что будет, то будет» [1]).

Эту же черту отмечает Тургенев в Рудине, в котором он пытался изобразить молодого Бакунина [2]).

Ко времени сближения Бакунина с сестрами Беер (в 1836 г.) относится зарождение у Бакунина плана основать замкнутое религиозное братство, в состав которого должны были войти сестры Беер и его собственные сестры, а также вспышка страсти со стороны Наталии Беер к Мишелю; ее он сумел успокоить, сохранив с нею прежние дружеские отношения. Применение Бакуниным взглядов Фихте к своей семье выразилось в его борьбе за «освобождение» сестры Вареньки, т.-е. за расторжение ее брака с Дьяковым, с точки зрения Мишеля—неудачного. Варенька вышла замуж в 1834 г., а в 1835 г. у нее родился сын. Сам Дьяков не представлял из себя ничего особенного: он был простым, недалеким человеком. Безнравственным Мишель считал брак потому, что между Варенькой и Дьяковым не было духовного сближения [3]).

«Борьба за Вареньку», явившаяся причиной целого ряда семейных неприятностей, послужила к временному охлаждению

---

[1]) Что касается сообщения Бакунина в письме из Парижа от 17—29 марта 1845 г. о „страстной любви“ к какой-то таинственной порабощенной незнакомке, то я, в отличие от А. Корнилова, усматриваю в этих словах не проявление любви к живой женщине, а аллегорическое выражение решимости служить делу освобождения порабощенного народа (об этом см. ниже).

[2]) На этой же черте Бакунина, вероятно, основывался Катков, когда в ссоре с Мишелем бросил ему сильно задевшее его слово „скопец“ (см. ниже).—В „Деле“ III Отделения о Бакунине, в числе отобранных у него при аресте в 1849 г. бумаг, имеется несколько писем (1848 года) от сестры эмигранта Сазонова, М. И. Полудинской, которая, как видно из этих писем и как отмечают жандармы, тоже была влюблена в Бакунина, тогда как последний был к ней, повидимому, равнодушен.

[3]) Мережковский использовал эту семейную драму в своей пьесе „Романтики“.

отношений Бакунина с сестрами [1]). Но переписка, завязавшаяся у Мишеля с любимой сестрой Татьяной, снова сближает его с семьей. В письме Татьяны, относящемся к апрелю (1836 г.), говорится об окончательном примирении Мишеля со всеми сестрами. Отношения налаживаются великолепные, и в начале июня он приезжает в Премухино. Недалеко от Премухина живут и Беер, которые видятся с Бакуниным. Сестры обожают Мишеля, начинают проникаться его воззрениями и поддаваться его горячей проповеди. Молодой пропагандист доводит своих последовательниц и сам доходит с ними до какого-то восторженного, чисто шиллеровского настроения.

Так, в письме Татьяны к Мишелю, посланном в Тверь (куда Бакунин на время уезжает в начале августа), мы читаем: «Мое сердце так полно пламенной любви к этому богу, которого ты учишь нас постигать, к тебе, ко всем моим друзьям, наконец, ко всем созданиям, которые стремятся к общей с нами цели—к этой возвышенной цели, к этой божественной любви, которую без тебя я нескоро могла бы понять, как ни сознаю ее в настоящее время». В сохранившемся письме Любови Александровны, адресованном также в Тверь, говорится о том влиянии, которое оказывал Мишель на сестер: «Ты нам дал новую жизнь, ты помог нам увидеть цель нашего существования». В том же письме приписка Вареньки говорит: «В самом деле, Миша, я не знаю, как успел ты сделаться таким незаменимым. Да благословит тебя Небо!».

Письма сестер привели Бакунина в восторг, и в ответном письме от 10 августа он восклицает: «Наконец-то нашел я эту небесную гармонию в своем собственном семействе. Я нашел это чистое и святое спокойствие, столь полное жизни, столь полное любви, это спокойствие, столь полное будущего, которое я в нем искал. Вы теперь мои, вы—мои сестры не только по инстинктивным законам природы, но и по жизни душ наших, ибо они родственны между собою, по тожественности наших целей, которые вечны!..

«О, я не боюсь теперь внешнего мира. Я в нем нашел то, что было для меня необходимо, я в нем нашел более, чем он обыкновенно дает: отголосок сердец ваших, любовь бескорыст-

---

[1]) Мишель добился развода Варвары с мужем, но через несколько лет она, к его неудовольствию, снова вернулась к Дьякову.

ную, святую; я нашел в нем души золотые, которые также не от мира сего, которые принадлежат вечности...

«Друзья мои, земля уже не есть наше отечество, счастье наше — небесное; жизнь наша—небесная; движения душ наших не ищут земли, не ищут ее наслаждений...

«*Абсолютная свобода и абсолютная любовь—вот наша цель; освобождение человечества и всего мира — вот наше назначение*» [1]).

В последних строках звучат уже новые нотки в мировоззрении Бакунина. От замкнутости и самоуглубления он переходит к деятельной любви к миру и к людям.

7. БАКУНИН и БЕЛИНСКИЙ.

В конце августа (1836 г.) Бакунин возвращается в Премухино. Туда же приезжает по его приглашению человек, с которым он познакомился и сдружился в кружке Станкевича: Виссарион Григорьевич Белинский. Описание первого впечатления Белинского от нового знакомства и рассказ о начале их дружбы мы находим в его письме от 24 октября 1838 г. Сначала Бакунин даже не понравился Белинскому, но мощь его духа, пыл юной души скоро покорили ему нового друга. «Я,—писал Белинский,—познакомился с тобою в 36 году [2]). Твоя непосредственность не привлекла меня к тебе — она даже решительно не нравилась мне, но меня пленило кипение жизни, беспокойный дух, живое стремление к истине, отчасти и *идеальное* (подчеркнуто в подлиннике) твое положение к твоему семейству. И ты был для меня явлением интересным и прекрасным... Другие причины завязали еще более нашу дружбу... Я стремился к высокому, ты также, следовательно—ты мне друг... Сверх того имя твоих сестер глухо и таинственно носилось в нашем кружке, как осуществление таинства жизни,—и я, увидев тебя в первый раз, с трепетом пожал тебе руку, *как их брату* (подчеркнуто в подлиннике)... Ты перевел несколько лекций Фихте для «Телескопа», и в этом переводе я увидел какое-то инстинктуальное знание языка русского, которому ты никогда не учился, увидел жизнь, силу, энергию, способность передавать другим свои глубокие впечатления. Я стал смотреть на тебя, как на спутника по одной дороге со мною, хотя ты шел своею. Все это еще

---

[1]) Курсив мой.

[2]) В действительности—в 1835 г.

более возвысило тебя в моих глазах, — и должно было возвысить,—и я все более смотрел на тебя, как на друга»...

Когда Бакунин уезжал в Премухино, он, прощаясь с Белинским, пригласил его к себе. Белинский со свойственной ему манерой на все реагировать страстно говорит, что от такого приглашения у него потемнело в глазах и земля загорелась под ногами. В письмах Бакунин все настоятельнее повторял свое приглашение, и, в конце концов, поездка Белинского в Премухино состоялась. В то время Белинскому было 25 лет; он был на три года старше Бакунина (род. в 1811 г.), но имя его уже было довольно известно в русской журналистике. Напечатаны уже были его «Литературные мечтания» и статья «О повестях Гоголя и о русской повести вообще». Зимою 1835/36 г. Белинский заменял Надеждина, уехавшего на 7 месяцев за границу, в редакции популярного тогда журнала «Телескоп».

Белинский был человеком мятущимся и беспокойным. Перед поездкой к Бакунину ему пришлось пережить много личных тревог. В Премухине, которое славилось в кружке Станкевича своею таинственною прелестью, он хотел забыться и успокоиться. Но это ему не удалось, хотя он и старался подавлять в себе треволнения. Неумолимый самоанализ, страстное самобичевание, копание в своей душе продолжали терзать его и здесь. В сравнении с сестрами Бакунина, которых он по свойственной ему привычке сильно идеализировал, Белинский считал себя человеком ничтожным и низменным. Его мучило сознание своих нравственных недостатков. Тяжело действовали также на Белинского неприязненное отношение к нему старика Бакунина и столкновения с Мишелем, который по непонятным для Белинского причинам начал вдруг враждебно к нему относиться. Мишель при сестрах неделикатно подшучивал над ним и поднимал его на смех. Но вместе с тем в Премухине Белинский пережил много приятных и счастливых минут. В нем зародилась любовь к Александре Александровне Бакуниной. Мишель сразу этого не заметил. Ему казалось, что Белинский неравнодушен к Татьяне, к которой, как известно, он питал особенную любовь. И вот Мишель испугался, как бы Татьяна не воспылала таким же чувством к Белинскому. Этой ревностью и вызваны были его усиленные нападки на Белинского, что раз'яснилось только впоследствии. В то время Белинский, искренно и горячо любивший Мишеля, не мог понять причины такого отношения. Позже

(в 1838 г.) друзья об'яснились, и Белинский признался, что он с своей стороны ревновал Александру ко всем и даже к Мишелю.

Однако время, проведенное Белинским у Бакуниных и в общении с Мишелем, не прошло бесследно для его умственного развития. Мишель много способствовал сформированию его мировоззрения и оказал на него сильное идейное влияние. А ведь Белинский был на 3 года старше Бакунина и к рассматриваемому времени являлся уже довольно видной фигурой в русской литературе.

«Когда я приехал в Премухино, — говорит Белинский (21 мая 1837 г.),— ты открыл мне новый мир—мир мысли,—я был изумлен, подобно мольерову «Мещанину в дворянстве», который удивился, когда он узнал от учителя, что он говорит прозою. Я написал несколько статей, обративших на меня внимание, и никак не подозревал, чтобы развитые в них идеи—были идеи a priori. Ты первый показал и доказал мне, что мышление есть нечто целое, нечто одно, что в нем нет ничего особенного и случайного, но все выходит из одного общего лона, которое есть бог, сам себя открывающий в творении». В других письмах Белинский говорит о том глубоком духовном брожении, которое возбудила в нем горячая проповедь Михаила Бакунина. «Тебе удалось пробудить меня от моего постыдного усыпления и указать мне на новый для меня мир идеи; правда, я этого никогда не забуду: ты много, много сделал для меня»[1]) (28/VI 1837). «Ты возжег во мне новое пламя, развил в росток то, что во мне было зерном» (конец июля 1838). «Много, много мыслей услышал от тебя первого» (10/IX 1838). «Ты не навязал на меня свой авторитет, его наложило на меня могущество твоей мысли, бесконечность твоего созерцания. Много я теперь понимаю глубоко и понимаю через тебя» (окт. 1838 г.).

Таким образом, великий критик и публицист, оказавший такое колоссальное влияние на развитие революционных идей в России, прямо признает, что духовно он окончательно сформировался под влиянием Бакунина. В лице Белинского (как это

[1]) А в каком духе уже тогда Бакунин толковал самые отвлеченные философские системы, видно из того, что под его влиянием Белинский, как он сам впоследствии признавал, „фихтеанизм понял как робеспьеризм и в новой теории чуял запах крови“. Это очень важно запомнить, чтобы понять, сколько живой жизни пульсировало под самой абстрактной оболочкой, в которую молодой Бакунин облекал свои смутно бродившие инстинкты и свою философскую проповедь.

повторялось и в ряде других случаев) Бакунин посредственно влиял на развитие русского общественного движения даже тогда, когда большинство не подозревало еще о его существовании. Уже теперь видно было, что роль Бакунина не столько в литературной пропаганде в собственном смысле (это делали другие, на которых он влиял), сколько в личном влиянии на окружающих, в устной проповеди, в переписке, в беседе, которые затем другими претворялись в форму литературных выступлений. И впоследствии, в период расцвета его политической деятельности, его литературные работы играли далеко не главную роль, представляя простое повторение и продолжение его устных и письменных бесед с его последователями и учениками. Бакунин способствовал выработке личностей, характеров и воззрений, рассыпая семена своей мысли направо и налево, предоставляя им самостоятельно всходить и часто забывая о них, чтобы наброситься на новое дело.

Конец 1836 г., после от'езда из Премухина, был тяжелым и неприятным как для семьи Бакуниных, так и для Мишеля и его друзей Белинского и Станкевича, который стал несчастным женихом Любови Александровны. В то время как последняя отдалась ему всем своим существом, он сомневался в истинности своего чувства. Мишель принял деятельное участие в этой истории. Но и для него самого конец 1836 года был временем понижения энергии, временем «падения», как выражались в кружке Станкевича. Приблизительно такое же настроение переживал и Белинский. Мишель в этот период своей жизни занимался мало и вел рассеянный образ жизни. Он «утратил абсолютную любовь, которая составляла все его существование, и сделался существом эгоистическим, жалким» (выражение из его письма). Однако Мишель раньше обоих друзей скинул с себя тяжелое настроение, и в январе 1837 года началось его «восстание», совпавшее с временем приступления его к изучению философии Гегеля. Это был период «под'ема и духовного воскресения».

«Золотая середина давит меня, у меня к ней отвращение»... «Теперь я вернулся к самому себе, — пишет он в феврале, — я снова чувствую, снова люблю глубоко...

«Дорогие друзья, у меня пламенная натура, чувства мои кипучи, это доказывает, что лишь абсолютная жизнь может дать мне счастье, которое может спасти мое достоинство...

«О, я способен к большим делам—я это чувствую, но для этого мне нужно забыть самого себя, ибо в противном случае мой эгоизм убьет мою миссию».

В письмах Бакунина за первую половину 1837 г. уже заметно влияние гегелевской философии, хотя еще преобладает фихтеанство. Он начинает говорить уже гегелевскими терминами.

5/IV 1838 г. он писал сестрам, с которыми поддерживал тогда оживленную переписку: «Я чувствую в себе много, очень много сил и элементов. Я знаю: я сделаю что-нибудь; но мне предлежит еще долгий тяжелый путь до достижения моей действительности, и я не боюсь этого. Чем более ощущений, чем сильнее борьба, тем глубже гармония и примирение».

Семейные неприятности и материальные затруднения мешали Бакунину основательно засесть за штудирование Гегеля. К весне 1837 г. возрождается надежда Мишеля поехать в Германию, в Берлин, в эти Афины на Шпрее, эту Мекку поклонников немецкого идеализма. Туда ехал Станкевич, здоровье которого было сильно расстроено, лечиться. Бакунин просил своего приятеля взять его с собой и помочь ему в денежном отношении. Но Станкевич, не имевший больших средств, не мог оказать просимой помощи, и поездка снова не состоялась. Тогда Бакунин решил углубиться в изучение Гегеля и летом 1837 г. поехал в Премухино.

8. ГЕГЕЛЬ И „РАЗУМНАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ“.

О внимательном и добросовестном изучении Мишелем философии Гегеля свидетельствуют сохранившиеся конспекты прочитанных им произведений философа. Первый из таких конспектов был начат 28 июня. Конспекты отличаются подробностью, точностью в передаче смысла прочитанного, аккуратностью, но они не закончены. Первым сочинением Гегеля, к которому приступил Бакунин, была «Феноменология Духа». Но она показалась Бакунину слишком трудной, и он взялся за «Логику». После «Логики» Бакунин перешел к «Философии религии», а затем снова принялся за «Феноменологию». Но понимание этого произведения давалось ему с трудом, и «Феноменологию» он, видимо, снова не осилил. Однако он упорно старался ее понять, и о его настойчивости свидетельствуют шесть последовательно составленных конспектов первой главы. Впоследствии он, в кон-

це концов, «Феноменологию» прочел. Прочтены им были также и остальные части «Энциклопедии». Но еще осенью 1837 г. он «просмотрел», как говорит Белинский, «Философию права» Гегеля (впрочем, это свидетельство не очень достоверно).

Бакунин, как мы видели, в начале своей сознательной жизни держался философского дуализма. Но такая система по существу противоречила его характеру и его темпераменту. Инстинктивно его тянуло к монизму, к единству. Гегель, между прочим, привлек его симпатии, равно как и симпатии его друзей, монистическим духом своей философии, которая была последним словом философского идеализма. По Гегелю истинное познание есть тождество суб'екта и об'екта, познающего и познаваемого. Истина раскрывается в живом процессе абсолютной идеи, развивающей из себя все многообразие об'ективного и суб'ективного бытия, материи и мысли. Законы мира и законы разума тождественны. Весь мировой процесс есть последовательное раскрытие абсолютного, которое достигает высшей своей ступени в человеке, в человеческом обществе, в государстве.

Бакунину и его друзьям, особенно Белинскому, показалось, что эта философия, наконец, открывает им все тайны бытия и дает ответ «на вопросы души», «мир и гармонию душе», как выражается Белинский, разрешает все сомнения, наконец, доставляет высшее оправдание их существованию и социальному состоянию, в частности их политическому бессилию.

Знаменитое положение Гегеля «все действительное разумно, все разумное действительно» сразу произвело на Бакунина колоссальное впечатление[1]). И это не удивительно, если припомнить, что Бакунин все стремился к абсолюту, все искал философского камня, который сразу способен был бы об'яснить ему законы вселенной и указать смысл жизни [2]). Интересно, что Бакунин

---

[1]) Герцен рассказывает в своих мемуарах, что Бакунин после Канта и Фихте „принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совершенстве, и кому не проповедовал он ее потом? Нам (т.-е. кружку Герцена) и Белинскому, дамам и Прудону".

[2]) Впоследствии, на склоне лет, Бакунин иронически относился к своему увлечению гегелианством в годы юности. Познакомившись в середине 60-х годов с Вырубовым, который тогда носился с позитивной философией О. Конта, Бакунин с добродушной насмешкой писал: „Он порет горячку во имя Конта, как я порол ее во имя Гегеля".

с самого начала довольно правильно схватил (судя по конспектам) [1]) смысл этого положения, раз'ясненный Гегелем в своей «Энциклопедии».

В «Энциклопедии» Гегель раз'ясняет, что в его системе под действительностью понимается вовсе не все существующее, вовсе не всякая повседневная действительность, которая может быть случайною и призрачною. Гейне остроумно рассказывает, что в интимных беседах Гегель давал понять, что если прусская, например, монархия представляет одну «действительность», то и направленное против нее революционное движение тоже является, хотя и другой, действительностью. И если все действительное разумно, то ведь и все разумное, по Гегелю, действительно. Следовательно, самые крайние революционные учения, поскольку они «разумны», являются вполне «действительными». Как правильно замечает Герцен, гегелевская формула есть просто-напросто выражение закона достаточного основания или причинности и вполне вмещается в рамки исторического детерминизма. Ему можно по произволу придать и самое консервативное, и самое революционное истолкование.

Сам Гегель, который в частных беседах с близкими учениками с хитрой улыбкой на устах раскрывал тайный смысл своего учения, перед внешним миром выступал с иными толкованиями. Если его эсотерическому учению свойствен был революционный характер (впоследствии развитый левыми гегелианцами), то эксотическое его учение, особенно в устах его продолжателей на профессорской кафедре, проникнуто было не только консерватизмом, но подчас и сервилизмом. Оно подлаживалось к сильным мира сего, к властям предержащим и служило к оправданию мерзостей прусского абсолютизма и к прославлению прекрасной германской действительности. Само собою разумеется, что от этого недостатка тем более не свободны были русские гегелианцы. Знаменитая формула Гегеля, в конце концов, приводила их к примирению с действительностью не в философском, а в самом повседневном смысле этого слова, российской действительностью времен Николая I.

А в первое время, казалось, Бакунин правильно нащупал нерв гегелевской формулы и системы.

---

[1]) Один из этих конспектов по „Энциклопедии“ Гегеля напечатан в книге А. Корнилова „Молодые годы Бакунина“, стр. 697—710.

В своих «Записках» от 4/XI 1837 г. Бакунин, резюмируя свои впечатления от системы Гегеля, пишет: «Жизнь есть блаженство; жить — значит понимать, понимать жизнь. *Нет зла, все благо*; только ограничение есть зло, ограничение духовного глаза. Все сущее есть жизнь Духа; все проникнуто Духом; нет ничего вне Духа... Человек есть сознательное существо. Сознание есть освобождение. Степень сознания человека есть степень его свободы, степень его человеческости, любви, а следовательно, степень его блаженства... Он—смертное существо, он—раб, он—даже ничто, как индивид. Он имеет действительность только как род и покорен необходимым законам этого рода. Но сознание освобождает его от этой необходимости, делает его самодеятельным, свободным, вечным существом».

Но Бакунин беспомощно путается в истолковании системы. Он проводит знак равенства между разумным и бесстрастным отношением к истории. «Поверьте мне,—пишет он в марте 1838 г. сестрам,—жизнь—прекрасная вещь, глядите только вперед и не оглядывайтесь назад, или оглядывайтесь назад только тогда, когда, находясь в истине и, следовательно, и в гармонии, вы делаетесь способными смотреть на прошедшее бесстрастными, т.-е. разумными глазами, и когда вы делаетесь способными понять прошедшее, как необходимый путь, приведший вас к настоящему». В этих словах элементы квиетизма перемешаны с элементами исторического детерминизма.

Не менее интересно другое письмо, написанное Бакуниным около того же времени и посвященное об'яснению термина «действительность» в гегелевском его понимании. «Понять и полюбить действительность,—говорит Бакунин,—вот все назначение человека. Я говорю здесь не о том, что обыкновенно понимают под словом действительность: стул, стол, собака, Варвара Дмитриевна, Александра Ивановна (премухинские приживалки),—все это мертвая, призрачная, а не живая и не истинная действительность. И в нас также есть призрачная действительность—это рассудок, когда, выйдя из своей законной сферы—из сферы познавания конечных предметов, он заходит в сферу бесконечного... Освобождение от рассудка есть мысль, основанная на откровении... Посредница между этими двумя противоположными элементами нашей жизни (т.-е. рассудком и откровением) есть мысль, которая вырывает ум наш из конечного определения рассудка и преображает его в разум, для

которого нет противоречий и для которого все благо и все прекрасно».

Итак, существующее, имеющее достаточное основание, превращается у Бакунина в благое и прекрасное, т.-е. оправдывается и идеализируется. Здесь мы имеем уже дело с шуйцей гегелианства, с примирением с действительностью, с подчинением ей, т.-е. с непониманием ее противоречивого, двойственного, диалектического характера. Здесь мы имеем уже зародыш того консервативного, примиренческого, фаталистического истолкования гегелевской формулы, которое так ярко выразилось в первой статье Бакунина и было доведено до абсурда в относящихся к этому периоду статьях Белинского, скоро зашедшего еще дальше своего учителя.

Едва знакомясь с философией Гегеля и проникаясь новыми взглядами, наш прирожденный пропагандист уже спешит посвятить в них своих друзей. Собственно говоря, первым русским гегелианцем следовало бы признать Станкевича, который, кажется, и побудил Бакунина приступить к изучению гегелевской философии. Но Бакунин, как более блестящий человек, обладавший вдобавок крупными диалектическими способностями, ударом слова и, главное, кипучей страстью прозелитизма, быстро занял в кружке роль непререкаемого пророка и глашатая новой истины.

Герцен рассказывает об этом так: «Станкевич натолкнул его на изучение философии [1]). Быстрота, с которой Бакунин, мало знавший тогда немецкий язык, усвоил идеи Канта и Гегеля и овладел вполне как диалектическим методом, так и умозрительным содержанием их произведений, была прямо изумительна. Через два года после своего приезда в Москву он опередил своих друзей до такой степени, что они обращались к нему, если встречали какие-либо трудности. Бакунин имел чудесный дар развивать самые отвлеченные тезисы с такой ясностью, что они становились доступными каждому, притом ничего не теряя в своей идейной глубине...

«Бакунин мог говорить целыми часами, спорить с вечера до утра, не утомляясь, не теряя ни диалектической нити разговора, ни полной убедительности. И он был всегда готов комментировать, раз'яснять, повторять без малейшего догматизма. Этот

---

[1]) Это, как мы знаем, не совсем точно. Герцен хочет сказать „гегелевской философии“.

человек родился миссионером, пропагандистом, проповедником. Независимость, автономия разума—вот что было тогда его лозунгом, и во имя освобождения мысли он вел свою войну с религией и со всеми авторитетами» [1]).

Анненков также об'ясняет успех Бакунина в кружке его популяризаторским и импровизаторским талантом. «Дилетант, обратившийся в ревностного исследователя, вскоре приобрел дар блестящего изложения, который сообщал ему нечто похожее на роль провозвестника философских истин. К нему прибегали при всяком недоразумении, затруднительном вопросе, случайном перерыве идей, и пояснительная речь его текла блестящей импровизацией. Разумеется, тут не могло быть какого-либо самобытного учения, да никто и не думал о том, но он обладал особенным *даром*, *похожим на творчество* [2]), именно даром перерабатывать все вычитанное и узнанное в собственную мысль, так что он сам казался почти изобретателем и родоначальником поясняемого им метода. Роль зодчего, которую человек этот играл в отношении каждого, так или иначе накопившего сырой, необделанный материал, имела своего рода неизбежные и тяжкие условия. Вся жизнь являлась пред ним сквозь призму отвлечения, и только тогда говорил он о ней с поразительным увлечением, когда она была переведена в идею. Все случайное, мгновенное, самобытное жизни было ему гораздо менее доступно, хотя усилиями обширного, действительно необыкновенного ума он успевал возводить до понятия убегающие поэтические черты жизни и таким образом овладевать ими, но при этом они уже многое теряли, и иногда то самое, что составляет их существенную особенность».

Особенное влияние оказал Бакунин снова на Белинского, с которым он в конце 1837 г. поселился вместе. Великий критик познакомился с философией Гегеля, главным образом, из бесед с Бакуниным, излагая впоследствии результаты этих бесед в своих статьях и популяризуя эти взгляды в массе. Таким образом, и здесь Бакунин через своих друзей и последователей сыграл крупную роль в истории русской литературы.

В рассматриваемый момент главный интерес его жизни сосредоточивался на изучении и пропаганде философии Гегеля.

---

[1]) Герцен. „Михаил Бакунин“ (Письмо к Мишле), 1851 г. Собрание соч., под ред. Лемке, т. VI, стр. 447.

[2]) Курсив мой.

Бакунин продолжал мечтать об ученой карьере, но, конечно, не этим об'ясняется его горячее отношение к философии. Подобно другим своим сверстникам и друзьям, Бакунин искал в философии разрешения мучивших его вопросов, увлекался прикладной стороной философских систем. Для нас теперь кажется странным это горячее увлечение чисто абстрактной теорией. Но для людей 30-х и 40-х годов философия Гегеля играла почти такую же роль, как для нас система марксизма.

По признанию Тургенєва, тоже члена этого кружка, тогдашние русские гегельянцы меньше всего искали в философии чисто теоретической, отвлеченной истины [1]); их гораздо больше занимала прикладная сторона философских систем, заменявших тогда, благодаря условиям русской действительности, политические доктрины, и они думали найти в них прямой ответ на мучившие их проклятые вопросы русской жизни, в частности, на вопросы общественной деятельности. Неудивительно, что Бакунин и его единомышленники так горячо отнеслись к новому идейному увлечению.

Замечательно, что николаевское правительство косо смотрело на эти философские увлечения молодежи. Ему естественно не нравилось все, не подходившее под казенный ранжир и выделявшееся из общего уровня обывательского прозябания, но вместе с тем оно инстинктивно чувствовало опасность европейской философии для основных устоев тогдашней правительственной системы. В 1843 году, когда Бакунин уже считался опасным государственным преступником и когда на него начали поступать доносы от русских дипломатических агентов за границей, Третье Отделение завело о нем «дело» и начало собирать сведения о его родных. Тогдашний тверской губернатор, тайный советник Бакунин, между прочим, сообщал по начальству относительно брата Мишеля, Алексея, что последний «воспитывался в Московском университете и одарен хорошим умом, но странен (как и некоторые из его братьев и сестры) образом мыслей, обращением и мечтательностью; что, любя все отвлеченное, он занимается изучением систем новейших философов, чем и выводит себя из круга обыкновенных людей, и что хотя умствованиями своими, совершенно противными правилам и

---

[1]) „Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления“, говорит Тургенев в своих воспоминаниях, относящихся к рассматриваемому периоду.

образу мыслей его родителей, он, а равно и братья его и сестры нередко нарушали семейное спокойствие, но, тем не менее, ни от кого не слышно было, чтобы они искали приноровить свои философские системы к нашему правительству или нашим узаконениям».

Вот чего боялось Третье Отделение [1]). На самом деле наши гегельянцы старались «приноровить свои философские системы к нашему правительству и нашим узаконениям», но делали это, по крайней мере, в первое время, в духе совершенно безобидном для существовавшего строя. Это, впрочем, не мешало им предаваться своему делу с величайшим увлечением. Рассказывая впоследствии (в «Былом и Думах») об этом периоде и указав, что члены гегельянского кружка требовали от всякого новичка безоговорочного признания основных положений Гегеля, Герцен в следующих полушутливых, полусерьезных выражениях изображает их страстное отношение к принципам гегелевской философии:

«Толковали они о них беспрестанно. Нет параграфа во всех трех частях гегелевской логики, в двух—его эстетики, энциклопедии и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности» и об ее «по-себе-бытии». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и в других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Это увлечение гегельянством порой доходило у членов кружка до наивно-трогательных проявлений. Молодые люди так преисполнялись учением берлинского философа, что у них отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое понимание простых вещей, над которым так гениально смеялся Гете в своем

---

[1]) Интересно, что в 1819 году русский посол в Саксонии, Шредер, донося министру иностранных дел Нессельроде об аресте Бакунина после дрезденского восстания и о найденных у него бумагах крайне революционного содержания, прибавлял: „Вот плоды философии Гегеля, которые Бакунин вкушал в Берлине". Шредер не знал, что от гегельянского древа Бакунин вкусил уже в Москве за десять лет до того.

разговоре Мефистофеля со студентом. Все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной, алгебраической тенью. Во всем этом была своеобразная наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народности в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку, «к гемюту» или к «трагическому в сердце».

Вот как сам Бакунин уже на склоне лет (в 1873 г.) оценивал философию Гегеля и ее значение в истории.

«Гегель, приглашенный прусским правительством еще в 1818 г. занять кафедру Фихте, умер в конце 1831 г. Но он оставил после себя в берлинском, кенигсбергском и галльском университетах целую школу молодых профессоров, издателей его сочинений и горячих приверженцев и толкователей его учения. Благодаря их неутомимым стараниям, учение это распространилось скоро не только в целой Германии, но во многих других странах Европы, даже во Франции, куда оно было перенесено совсем изуродованное Виктором Кузеном. Оно приковало к Берлину, как к живому источнику нового света, чтобы не сказать нового откровения, множество умов немецких и ненемецких. Кто не жил в то время, тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что *вечно искомый абсолют наконец найден* и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине[1]).

«Философия Гегеля в истории развития человеческой мысли была в самом деле явлением значительным. Она была послед-

---

[1]) Здесь Бакунин, несомненно, припоминал через 40 почти лет свое юношеское увлечение Гегелем. В своей „Исповеди", написанной в Петропавловской крепости в 1851 г., Бакунин прямо указывал на причину своего пылкого увлечения философией: „Оставив военную службу, я выучился по-немецки и бросился с радостью на изучение германской философии, от которой ждал *света и спасенья*". Курсив мой.

ним и окончательным словом того пантеистического и абстрактно-гуманитарного движения германского духа, которое началось творениями Лессинга и достигло всестороннего развития в творениях Гете: движение, создавшее мир бесконечно широкий, богатый, высокий и будто бы вполне рациональный, но остававшийся столь же чуждым земле, жизни, действительности, сколько был чужд христианскому, богословскому небу. Вследствие этого этот мир, как фата-моргана, не достигая неба и не касаясь земли, вися между небом и землею, обратил самую жизнь своих приверженцев, своих рефлектирующих и поэтизирующих обитателей в непрерывную вереницу сомнамбулических представлений и опытов, сделал их никуда негодными для жизни или, что еще хуже, осудил их делать в мире действительном совершенно противное тому, что они обожали в поэтическом или метафизическом идеале [1]).

«Таким образом об'ясняется изумительный и довольно общий факт, поражающий нас еще поныне в Германии, что горячие поклонники Лессинга, Шиллера, Гете [2]), Канта, Фихте и Гегеля могли и до сих пор могут служить покорными и даже охотными исполнителями далеко не гуманных и не либеральных мер, предписываемых им правительствами. Можно даже сказать вообще, что чем возвышеннее идеальный мир немца, тем уродливее и пошлее его жизнь и его действия в живой действительности.

«Окончательным завершением этого высоко-идеального мира была философия Гегеля. Она вполне выразила и об'яснила его своими метафизическими построениями и категориями и тем самым убила его, придя путем железной логики к окончательному сознанию его и своей собственной бесконечной несостоятельности, недействительности и, говоря проще, пустоты» [3]).

---

[1]) Возможно, что здесь Бакунин вспомнил о своем толковании „разумной действительности“, побуждавшем его и Белинского одно время мириться с действительностью николаевской России.

[2]) Теперь уже Бакунин не отделяет Шиллера от Гете и не противопоставляет одного другому, как делал это в конце 30-х годов, в разгар увлечения „разумной действительностью“ и в период анафемствования всякой оппозиции существующему порядку.

[3]) Бакунин. „Государственность и Анархия“. Ленингр., 1918 г. стр. 230—231.

Особенно занимал наших гегельянцев в рассматриваемый период вопрос об отношении к действительности, и именно тогдашней русской действительности, которая слишком больно давала себя чувствовать всем передовым людям. Нечего удивляться, что большинство из них, в частности члены станкевичевского кружка и Бакунин в том числе, в соответствии с придавленностью прогрессивных элементов в 30-е и 40-е годы, отвечали на этот вопрос в смысле примирения с действительностью, бороться с которой они в массе все равно не могли. Формула Гегеля, истолкованная ими вначале в духе квиетизма, кстати пришла им в данном случае на помощь и доставила видимость философского оправдания их политическому бессилию и вытекавшему отсюда политическому индифферентизму.

Свои тогдашние взгляды по этому вопросу, которые отнюдь, впрочем, не были его личным достоянием, а выражали настроение кружка, Бакунин изложил в своем предисловии к переведенным им «Гимназическим речам» Гегеля, напечатанным в журнале «Московский Наблюдатель», выходившем тогда под редакцией Белинского [1]). В этой статье, о которой Бакунин впоследствии не любил вспоминать, но которая в известном смысле представляла как бы манифест его кружка, он изложил свое понимание незадолго до того усвоенного им принципа разумности всего действительного, вернее, существующего. Он резко нападает на «пустую болтовню» (имеется в виду оппозиция), составляющую результат «ужасной, бессмысленной анархии умов, которая составляет главную болезнь нашего нового поколения». Он обрушивается на материализм, это «торжество неодухотворенной плоти». Материализм, восставший против христианства, привел к умственному и нравственному растлению французского народа, и «революция была необходимым последствием этого духовного развращения». С особенной силой обвиняет он материализм в подрыве религиозного чувства, в разрушении религии, а «где нет религии, там не может быть государства», ибо «религия есть субстанция, сущность жизни всякого государства».

---

[1]) Статья Бакунина перепечатана С. Венгеровым в приложении к 4 тому изданного под его редакцией «Полного собрания соч. Белинского» (стр. 484 – 492).

Бакунин выискивает революционный, критический дух в самых сокровенных закоулках и торжественно разоблачает его. Всякая оппозиция существующему осуждается безоговорочно. Только «конечный рассудок» мешает человеку видеть, «что в жизни все прекрасно, все благо, и что самые страдания в ней необходимы, как очищение духа, как переход его от тьмы к свету, к просветлению». С этой точки зрения отвергается всякая критика создавшихся общественных и политических отношений. Шиллер обвиняется в «прекраснодушии» (самооскаблении, поясняет Бакунин), а, как известно, прекраснодушие в глазах правоверного гегельянца было смертным грехом; в своих «прекраснодушных драмах» («Разбойники» и «Коварство и Любовь») он позволил себе «восстать против общественного порядка»; однако «богатая субстанция Шиллера вынесла его из отвлеченности, из этого мира пустых призраков, и каждый новый год его жизни был шагом к примирению с действительностью». «Молодая Германия», т.-е. направленное против абсолютизма оппозиционное движение, об'является «смешной» за то, что она «хотела переделать свое умное отечество по своим детским фантазиям». Столь же смешным об'является сенсимонизм и другие утопические школы—несомненно, по той же причине.

Болезнь материализма и неверия распространилась из Франции по другим странам и заразила даже, «к несчастью», Россию, где юное поколение воспитывается не на благочестиво-немецкий, а на фривольно-французский лад. «Мудрено ли,—горестно вопрошает наш поклонник разумной действительности,—что подобное воспитание образует не крепкого и действительного русского человека, преданного царю и отечеству, а что-то такое среднее, бесцветное и бесхарактерное?» [1]). Даже Пушкин временно поддался тлетворному влиянию революционного духа, но во-время спохватился и стал добрым патриотом.

---

[1]) Характеризуя в письме к А. А. Беер от 30 марта 1839 г. своего брата Николая, Бакунин пишет о нем: „Николай – славный человек; он не заражен нашею общею русскою ленью и бездеятельностью и, с другой стороны, не загрязнен также пошлым французским романтизмом и либерализмом. Он весь предан царю и отечеству—он истый русский и верно пойдет далеко—в нем верный и крепкий практический ум". Эта характеристика вплоть до буквальных выражений повторяет отдельные места статьи М. Бакунина.

Так как действительность, в конце концов, всегда побеждает, то борьба против нее служит признаком духовной пустоты, напротив, примирение с нею является свидетельством мудрости. «Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности; восставать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени. И Гегель, и Гете—главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться, что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны, что в знании царствует строгая дисциплина и что без этой дисциплины нет знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною русскою действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительными русскими людьми».

Таковы были тогдашние взгляды Бакунина в момент упоения обретенной истиной примирения с действительностью [1]). Если мы сравним их с теми взглядами, которые он впоследствии высказывал в качестве вождя анархического крыла Интернационала, мы заметим между теми и другими значительное сходство, а зачастую даже буквальное повторение выражений. Только там, где молодой гегельянец, видевший тогда одну сторону действительности или, говоря словами Маркса, «заднюю истории», ставил в 30-х годах плюс, апостол всемирного разрушения, усмотревший другую сторону действительности и пытавшийся опе-

---

[1]) По поводу литературных выступлений Белинского (а значит, и Бакунина), посвященных истолкованию гегелевского положения, Станкевич в начале февраля 1840 г. писал Грановскому: „Известия о литературных трудах и понятиях наших знакомых неутешительны. Что им дался Шиллер? Что за ненависть? Так как они не понимают, что такое действительность, то я думаю, что они уважают *слово*, сказанное Гегелем. А если авторитет его силен у них, то пусть прочтут, что он говорит о Шиллере в Эстетике в разных местах, также о Валленштейне в мелких сочинениях. А о действительности пусть прочтут в Логике, что действительность, в смысле непосредственности, внешнего бытия, есть случайность, что действительность, в ее истине, есть *Разум*, Дух“ (Переписка Станкевича, изд. Анненковым).

реться на нее, ставил минус. Все грехи, которые он прежде взваливал на материализм, он впоследствии приписывал—и на этот раз с гораздо большим правом—идеализму. Если прежде идеалом поэта был для него «олимпиец» Гете, с высоты своего величия не замечавший страданий непросвещенной черни, тогда как Шиллер осмеивался за склонность к протесту против существующего порядка, то впоследствии, напротив, бунтовщики всячески прославляются, а бунт об'является основной чертой человеческой природы. Если прежде религия бралась Бакуниным под свою защиту за то, что без нее немыслимо существование государства, то впоследствии именно за это против нее об'является крестовый поход, и само государство предается беспощадной анафеме («бог и государство» — самые ненавистные для Бакунина-анархиста понятия). Но основная мысль об их неразрывной связи [1]) остается и даже образует основу анархического мировоззрения Бакунина. Пройдена дуга в 180 градусов, но движение мысли совершается по той же окружности [2]).

---

[1]) Это настолько бросается в глаза при чтении анархических произведений Бакунина, что К. Кафиеро и Э. Реклю, желая придумать отсутствовавшее заглавие для одной из найденных его рукописей (см. том III), дали ей в сущности нелепое заглавие „Бог и государство", под которым этот отрывок до сих пор гуляет по белу свету на всех языках.

[2]) Вторая философская статья Бакунина „О философии", напечатанная в „Отечественных Записках" 1840 г. (т. IX, стр. 51—78) и оставшаяся в печати без окончания, не представляет уже особого интереса. Это обыкновенная, легко и живо написанная статья философа-идеалиста, исходяшая из тожества об'ективной и суб'ективной мысли, основывающаяся на том, что действительный мир представляет не что иное, как осуществленную, реализированную мысль и пытающаяся доказать, что философия познает абсолютную, т.-е. единую необходимую, всеобщую и бесконечную истину, осуществляющуюся в многоразличии и в конечности действительного мира. Интересно в этой статье лишь место, примыкающее по содержанию к направлению предисловия Бакунина к гимназическим речам Гегеля, а именно заявление, что во Франции философию отожествляют с резонерством, безбожием и либерализмом, тогда как истинная философия „никогда не будет безбожною и анархическою, потому что сущность ее жизни и ее движения состоит в искании бога и вечного, разумного порядка" (стр. 57). Кстати, в настоящее время мы располагаем рукописью второй статьи Бакунина о философии, почему-то не помещенной в свое время в „Отечественных Записках". Мы опубликуем ее в полном собрании сочинений и писем Бакунина, которое мы подготовляем к печати.

Что Бакунин и в годы своего абстрактного идеализма [1]) и даже в период «примирения с действительностью» был в сущности революционером [2]) по инстинкту и заложенным в глубине его души симпатиям, видно (сверх вышеприведенных доказательств) еще из ряда других фактов. Так, одною из причин его ссоры с Белинским в 1838 г., помимо разногласий насчет редактирования «Московского Наблюдателя», было поступление Белинского на службу в Константиновский Межевой Институт преподавателем русского языка и словесности. Белинский об'яснял это своей крайней материальной нуждой, достигшей к этому времени своего апогея; но Бакунин никак не мог переварить этого факта.

Другой факт еще более характерен в этом отношении. В то время, как Герцен постоянно возился с славянофилами, хотя и находил, что от них пахнет застенком и рваными ноздрями, что они в политике реакционеры, а в религии изуверы, и что, попади в их руки власть, они заткнут за пояс Третье Отделение, Бакунин был последовательнее: он не выносил этих хан-

---

[1]) Об идеалистической философии и литературе первой трети XIX века, периода идеалистической реакции против духа французской революции и просветительной философии XVIII столетия, Бакунин в начале 70-х годов выражался резко отрицательно. „Созданная этой школой литература,—говорит он,—была истинным царством привидений и призраков. Она не выносила дневного света и могла существовать лишь в сумерках. Она не выносила и грубого прикосновения масс: это была литература нежных, деликатных, избранных душ, стремившихся к своему небесному отечеству и живущих на земле против воли. Политика, вопросы дня внушали ей ужас и презрение, но когда ей случалось говорить о них, она выказывала себя откровенно-реакционной, держа руку церкви против дерзости свободомыслящих, стоя за королей против народов и за всех аристократов против грубой уличной черни. В общем в этой школе преобладало почти полное равнодушие к политическим вопросам. В облаках, среди которых она витала, можно было различить лишь два реальных явления: быстрое развитие буржуазного материализма и безудержное разнуздание индивидуального тщеславия“ („Кнуто-Германская Империя“, Пет., 1919, стр. 216).

[2]) Интересно, что в письме к издателям „Колокола“ от 3 мая 1867 года, перепечатанном в его переписке с Герценом и Огаревым, Бакунин утверждает, что он был революционером с тех пор, как помнит себя. Эти слова следует понимать в смысле инстинктивной революционности, ибо в то время, о котором упоминает здесь Бакунин (конец 30-х годов), он далеко не был сознательным революционером, а скорее консерватором или безразличным в политических вопросах человеком.

жей и предшественников современного черносотенства и избегал встречаться с ними, ибо чувствовал, что у него с этими господами не может быть общей почвы. Более того, он свою последовательность, а по мнению слабохарактерных людей—нетерпимость, простер до того, что уговаривал своих приятелей не якшаться с славянофилами [1]). Так он поступил с Грановским при встрече с ним в начале 1840 г., что, конечно, не понравилось умеренно-либеральному профессору и на что он поспешил пожаловаться Станкевичу. «Вчера у нас была схватка с Бакуниным. Он дал мне понять, что я дурно делаю, посещая общество Киреевских. Странный человек! Я понимаю теперь, что Боткин и Белинский называют его абсолютистом». Авторитетом будущего реакционного обжоры В. Боткина Грановский еще вправе был прикрываться, но ссылку на Белинского нельзя назвать удачной. «Неистовый Виссарион» мог ошибаться и делать политические промахи по честному убеждению, но он был политически столь же, если не более нетерпим, чем Бакунин, и именно ему принадлежит знаменитое выражение: «я—иудей и с филистимлянами за одним столом сидеть не могу».

Встречаться с людьми, враждебными ему по духу, Бакунин не хотел, несмотря на то, что он в это время тосковал и даже боялся «опошлиться» в атмосфере тогдашней жизни московских кружков, где пели, играли, спорили, закусывали и выпивали. В то время в Москве было несколько, если можно так выразиться, литературных салонов, из которых особенно известны были

---

[1]) В. Полонский пытается оспорить мой вывод, находя, что я здесь „туманю историческую перспективу". „Причины неприязни Бакунина к тогдашним славянофилам,—говорит он („Бакунин", т. 1. 2-е изд., стр. 49),—лежали не там, где их думает найти Ю. М. Стеклов. а в области все тех же философских настроений". И далее В. Полонский даже высказывает предположение, что Бакунину неприятно было встречаться с „такими острыми диалектиками, как А. С. Хомяков или . . . Киреевский", противниками, которые „были не чета Белинскому или Боткину". Об'яснение—более чем слабое, которое В. Полонский вдобавок ровно ничем не подтверждает. А между тем даже из сообщения Грановского ясно вытекает смысл неприязни Бакунина к славянофильскому кружку. Но у нас есть и непосредственное свидетельство самого Бакунина. Это—письмо его к издателям „Колокола". выдержку из которого мы приводим ниже. Здесь Бакунин определенно устанавливает, что „разномыслие, так глубоко разделявшее" его с славянофилами и даже с таким передовым из них, как К. С. Аксаков, было п о л и т и ч е с к о г о характера.

журфиксы у автора знаменитого «Философского письма» Чаадаева и вечера у братьев Киреевских, где велись беседы и диспуты на литературные, философские и политические темы. Но аристократическая, чопорная обстановка у Чаадаева претила натуре Бакунина, а собраний у славянофилов Киреевских, где, на ряду с приятелями Бакунина, Боткиным, Аксаковым, Грановским, бывали такие реакционеры, как Погодин, Хомяков, Шевырев, Бакунин не долюбливал. Более того, как мы видели, он считал даже недопустимым встречаться с этими людьми. Правда, у него самого не было еще тогда определенно сложившихся политических убеждений, но, несомненно, были уже революционные инстинкты. Зато он сблизился в это время с кружком старых приятелей Герцена, группировавшихся в рассматриваемый момент вокруг Огарева [1]). С Герценом и Огаревым Бакунин к весне 1840 г. сошелся по-приятельски и был с ними на «ты». А между тем, как известно, Герцен и Огарев издавна были политическими радикалами («французами»), и Герцен жестоко полемизировал с Бакуниным и Белинским по поводу их политического квиетизма и фаталистического примирения с «разумной действительностью». Отсюда можно заключить, что к началу 1840 г. Бакунин в политике стал склоняться к более радикальным взглядам.

Впрочем, сам Бакунин, даже в предисловии к «Гимназическим речам» Гегеля, высказывался осторожно и в общих выражениях относительно русской действительности конца 30-х годов. Зная его увлекающийся и последовательный характер, мы имеем право предполагать, что в беседах с друзьями он заходил тогда гораздо дальше. Но крайние выводы из его проповеди сделал Белинский, доходивший в этом отношении до Геркулесовых столбов. «Неистовый Виссарион», как прозвали пылкого критика его друзья, по самой беззаветности своей чистой натуры неспособен был ни к дипломатическим умолчаниям, ни к осторожности, ни к недоговоренности.

Герцен, вернувшийся в 1839 г. из ссылки, был поражен воззрениями, царившими в кружке Станкевича.

«Новые знакомые приняли меня,—рассказывает он,—требуя принятия феноменологии и логики Гегеля и притом по их толкованию». Заинтересовавшись философией великого идеалиста,

---

[1]) Герцен не мог еще жить в Москве вследствие полицейского запрета.

благодаря полемическим схваткам с новыми друзьями, особенно с Бакуниным, Герцен сам приступил к ее изучению, но в результате ознакомления с нею пришел к совершенно другим выводам, близко напоминавшим выводы левых гегельянцев. «Философская фраза,—говорит он,—наделавшая больше всего вреда, и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов... Но если... существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана». Поэтому Герцен нашел, что Гегель гораздо ближе к революционерам, чем к своим (консервативным) последователям: «таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Гегеля—алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, быть может, с намерением дурно формулирована» [1]).

Но Белинский, с азартом усвоивший в тот период философию квиетизма, давшую временное успокоение его мятежной душе, слышать ничего не хотел. И вот между ним и Герценом произошел тогда такой разговор, переданный первым:

«Знаете ли вы, что с вашей точки зрения,—сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

«Без всякого сомнения,—отвечал Белинский, и прочел мне *Бородинскую годовщину* Пушкина.

«Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, об'яснить, *заговорить*, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недо-

---

[1]) Сочин. (загр. изд.), т. VII, стр 120—128.—Впоследствии Бакунин тоже должен был признать, что „настоящая суть“ учения Гегеля—это „беспощадное отрицание“ (так выражается он в „Государственности и Анархии“, написанной в 1873 году; см. петерб. издание 1918 г., стр. 232). К этому выводу он, вероятно, пришел уже в Берлине под влиянием левых гегельянцев, которым он в указанном месте и приписывает заслугу доказательства этой мысли.

вольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал *Бородинской годовщиной*[1]).

«Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин, хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей».

До таких преувеличений Бакунин никогда не доходил. Имеются даже указания, что, вопреки свидетельству Герцена, в своих воспоминаниях часто путавшего события и даты, он гораздо раньше восстал против крайностей увлекающегося Виссариона. Так, когда взгляды Белинского на действительность, на примирение с ней, на фатальную бесплодность борьбы с ней и даже на предосудительность таких попыток окончательно определились к осени 1838 г., Бакунин решительно отказался признать их правильность.

В ответе своем на письмо Белинского от 10 сентября 1838 г. он прямо восстает и против «действительности» своего друга с ее «железными когтями и железными челюстями», и против его взгляда на Шиллера как на пустого, отвлеченного фразера (хотя в своей вышеизложенной статье он проводил именно почти такую же оценку великого немецкого поэта).

9. ЧЕРТЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДОГО БАКУНИНА.

Но выработкой собственного мировоззрения Бакунин, по самой сущности своего темперамента, не мог ограничиться. Уже тогда сказалась в нем та черта, которую впоследствии с таким талантом изобразил Герцен. Ему нужны были сторонники, ему нужны были единомышленники, сочувствующие, хор, который мог бы его поддерживать и на который он мог бы влиять. Страсть к пропаганде была прирожденной его чертой. Но и сторонников, теоретических единомышленников для него было мало: надо было их организовать, сплотить, об'единить, сгруппировать

---

[1]) Статьи Белинского „Бородинская годовщина", „Очерки Бородинского сражения" и „Менцель", см. в IV т. „Собрания сочинений" под редакцией С. Венгерова.

в верную церковь, трепетно и благоговейно внимающую гласу учителя. Как мы видели, уже осенью 1835 г., когда он жил еще в Твери и не читал еще «Anweisung» Фихте, у него составился план образования своеобразного *замкнутого религиозного братства*, в состав которого он предполагал включить, на ряду с сестрами Беер, своих собственных сестер и братьев. В дальнейшем, когда туманный идеалист превратился в бунтаря, он начал основывать революционные братства, национальные и интернациональные. Но идея, стремления были те же.

А влиять на людей, пробуждать в их душе высокие стремления, зажигать их огнем вдохновения этот прирожденный «ловец человеков» умел и тогда, когда был еще зеленым юношей. Вот как выражалась о нем и о действии его проповеди его приятельница Наталия Беер в письме от 15 марта 1835 г. (Бакунину тогда не исполнилось еще 21 года)[1]): «Это один из тех людей, которых сила характера и пыл души могут многое... Его присутствие произвело на меня действие, в котором я никогда не буду в состоянии отдать вам полный отчет. Это был хаос, пропасть чувств, идей, которые меня совершенно потрясли; тысячу раз я принималась обдумывать, углублять эти вещи, и всякий раз я терялась в их лабиринте. О, это потому, что сердце и голова Мишеля—это такие лабиринты, в которых нескоро найдешь руководящую нить, и искры, которые вспыхивают время от времени (ибо его сердце и голова—из огня), вам также незаметно воспламеняют сердце и голову».

Скажут, что это слова молодой экзальтированной девушки, быстро поддавшейся проповеди юного пропагандиста. Но вот перед нами рассказ зрелого человека, ученого профессора санскритского языка Губернатиса (правда, ему тогда было всего 25 лет). Бакунин встретился с ним, когда жил во Флоренции в 1864 г. и пытался основать свое первое тайное революционное «братство». Губернатис сначала упирался, не желая поддаться влиянию Бакунина и принять его анархические теории вместе с практическими планами. «Тогда,—рассказывает Губернатис[2]),—он (Бакунин) пустил в ход все свое красноречие, не

---

[1]) Кстати, не с нее ли писал Тургенев портрет Наталии в „Рудине“?

[2]) Рассказ этот помещен в автобиографическом предисловии де-Губернатиса к его „Биографическому словарю современных писателей“, Флоренция, 1880 г. (Цит. у Драгоманова в предисловии к „Переписке“ Бакунина, изд. в 1895 г. в Женеве и у М. Неттлау).

малое, и убедил меня, что, в виду мрачного заговора государств на зло общества, необходимо противопоставить (ему) другой заговор... Великий змий окружил меня с этой минуты своими фатальными кольцами; я немного противился еще, но, наконец, об'явил, что если дело пойдет на социальную революцию непосредственную, то я вступлю в тайное общество. Я возвратился домой в час пополуночи, попробовал лечь в постель, чтобы заснуть, но напрасно. Новые мысли так волновали мой мозг, что не давали мне лежать. Я встал с постели, ходил туда и сюда в страшном возбуждении по моим двум комнатам, ставшим отныне слишком тесными для нового одушевления (furore), которое овладело мною, обвиняя гнусность и бесполезность моей прошлой жизни, но об'являя громко и быстро самому себе, что я был бы тем более гнусен, если бы остался еще один час дольше, с моими чувствами республиканскими и даже революционными, в моей официальной должности».

Под влиянием Бакунина Губернатис отказался от государственнной службы и вступил в тайное братство. Правда, он скоро порвал с революционной деятельностью, но в данном случае это нас не интересует. Для нас важно отметить, каким влиянием Бакунин пользовался даже на людей, психологически чуждых революции.

На эту же сторону его личности указывает и Тургенев в своем романе «Рудин», в котором он пытался вывести молодого Бакунина, хотя впоследствии от этого отпирался, когда роман вызвал протесты друзей Мишеля. Рудин случайно заезжает в имение к взбалмошной богатой помещице, где своей дельефной индивидуальностью и своим горячим словом сразу завоевывает симпатии молодежи, хозяйской дочери Натальи и учителя Басистова. «У Басистова чуть дыхание не захватило, он сидел, сидел все время с раскрытым ртом и выпученными глазами—слушал, слушал, как отроду не слушал никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской и потемнело, и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел, и заблистал». Рудин говорил о том, что «придает вечное значение временной жизни человека». Тургенев также подчеркивает тот замечательный факт, что после беседы Бакунина сон бежал с глаз потрясенных слушателей. «Басистов целую ночь не спал и не раздевался; он до самого утра все писал письмо к одному своему товарищу в Москву, а Наталья, хотя и разделась

и легла в постель, но тоже ни на минуту не уснула и не закрывала даже глаз. Подперши голову рукою, она глядела пристально в темноту; лихорадочно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто приподнимал ее грудь». Уезжая из гостеприимного дома после скандала с Наталией, Рудин по дороге заводит с провожающим его Басистовым разговор о свободе. «Басистов стиснул руку Рудину, и сердце честного юноши забилось сильно в его растроганной груди. До самой станции говорил Рудин о достоинстве человека, о значении истинной свободы (любимые темы молодого Бакунина) — говорил горячо, благородно и правдиво,— и, когда наступило мгновение разлуки, Басистов не выдержал бросился ему на шею и зарыдал. У самого Рудина полились слезы». И неудивительно, что воспоминание о Рудине навсегда осталось для Басистова самым светлым лучом в его жизни, и впоследствии он говорил о нем: «А что касается до влияния Рудина, клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания тебя переворачивал, зажигал тебя!»

Какое впечатление Бакунин в молодости производил на людей, с ним соприкасавшихся, хотя бы и далеко не согласных с ним, видно из посвященного ему стихотворения К. С. Аксакова. Характерно уж одно заглавие этого стихотворения. Бакунин представляется поэту в виде отважного бойца за идею, за обетованную землю, которому предстоят суровые сечи, но которого ждет зато желанная победа. Вот какие образы связывались в уме поэта с фигурой юного Бакунина, молодого, пылкого проповедника и бойца.

По поводу своих отношений к К. Аксакову Бакунин лет 30 спустя [1]) вспоминал его в следующих теплых выражениях: «Я знал близко и любил и уважал от души... Константина Сергеевича, несмотря на все разномыслие, так глубоко разделявшее нас. Я был с тех пор, как себя помню, революционером [2]), он, несмотря на горячее, истинно героическое сердце, жертвуя беспрестанно своею природой теории, был послушным славянофилом и смиренным православным христианином, ...что, однако, никогда не мешало ему быть в высшем значении этого слова

[1]) В письме к издателям „Колокола“ от 3 мая 1867 г.
[2]) Выше мы уже говорили, как следует понимать эти слова.

порядочным человеком, не мешало ставить общечеловеческие законы и коренные инстинкты выше всего на свете, выше даже самого патриотизма».

Неудивительно, что на такого человека бурная натура Бакунина с ее порывами ввысь произвела сильное впечатление, выразившееся в указанном стихотворении. В виду того, что оно широкой публике неизвестно, мы приводим его целиком.

1838

МОЛОДОЙ КРЕСТОНОСЕЦ

М. А. БАКУНИНУ

Вновь крестовые походы,
Вновь волнуется земля,
И торопятся народы
Бросить родины поля.
И, снедаемый, томимый
Непонятною мечтой,
Покидает край родимый
Крестоносец молодой.
Бьется сердце молодое;
Перед ним вдали, как сон,
Все небесное, святое,
Все, чем в жизни дышит он.
И от Запада к Востоку,
Меч и посох под рукой,
Он идет к стране далекой,
Крестоносец молодой.
О, Восток, о, край избранный,
Край таинственных чудес,
Полный сил, благоуханный,
Полный благости небес,
Где все живо, где все веет
Звуком арфы золотой,
Пред тобой благоговеет
Крестоносец молодой!
О, прости, мой замок гордый,
На обрыве у скалы,

Пусть, шумя, в твой камень твердый
Бьют свирепые валы.
Чья-то светлая могила
Там сияет предо мной,
Ей несет младые силы
Крестоносец молодой.
Переплыл он Понт суровый,
Совершен далекий путь;
Он вступил на берег новый,
И отрадней дышит грудь.
И Восток его встречает
Полной неги красотой,
Но ее не замечает
Крестоносец молодой.
Он идет,—и вот священный
Засиял Ерусалим.
На колени, умиленный,
Упадает он пред ним,
Полный радости и страха,
И прекрасною главой
Преклоняется до праха
Крестоносец молодой.
Скоро первый отзыв брани
Огласил кругом места,
И бегут магометане
От защитников Креста.
Ты ворвался в бой кипящий,
И высоко над толпой
Виден был твой меч блестящий,
Крестоносец молодой.
Кончен бой; враги сокрылись,
Заперлися ворота,
Ночь отрадная спустилась
На священные места.
Бледный месяц тихо всходит.
На Сион взглянуть святой
Из шатра один выходит
Крестоносец молодой.
Там, у врат Ерусалима,
Где Сионский ключ бежит,

Одинока, недвижима
Дева юная стоит.
С белых плеч ее нисходят
Кудри темною волной.
К ней с участием подходит
Крестоносец молодой.

— «О, скажи мне, что с тобою,
Что на сердце залегло,
Что глубокою тоскою
Омрачить твой взор могло?
Но печалию своею
Не смущай души покой!»
Дева смотрит: перед нею
Крестоносец молодой.

— «С жизнью дал нам примиренье
Наш Господь, взойдя на крест,
Есть печали утоленье,
На земле блаженство есть.
У поклонников Пророка
Вырвать гроб его святой
Из страны пришел далекой
Крестоносец молодой».

И предчувствием неясным
Девы грудь теперь полна.
Перед юношей прекрасным,
Как в плену, стоит она.
Льются речи вдохновенья,
Полны истины живой,
Весь исполнен чарованья
Крестоносец молодой.

Совершилось: он подругу
Встретил там, в чужом краю.
Передал младому другу
Жизнь прекрасную свою.
И блаженствует беспечно
Просветленною душой—
Будь же счастлив бесконечно,
Крестоносец молодой!..

8 апреля, Москва.

Кроме того, в рукописи имеется вторая редакция всего стихотворения, первая строфа которой совпадает с напечатанною выше. Вот этот вариант:

Ясен свод над ним лазурный,
Тихо жизнь его летит,
Но зачем тревогой бурной
Вся душа его кипит?
Грустно стало, тесно воле—
Впереди отрадный бой—
Время—в путь, что медлить доле,
Крестоносец молодой?
Плащ крестовый знаменитый
Он накинул на плечо,
И горят его ланиты,
Сердце бьется горячо.
Кровь по жилам, точно лава,
Льется пламенной струей,—
Добрый путь тебе и слава,
Крестоносец молодой!
Перед ним, как друг желанный,
В очарованной дали
Край волшебный, край избранный,
Полный неги и любви.
Дышит весь, благоухает
Юга пламенной красой,
И трепещет и пылает
Крестоносец молодой.
Победителю наградой
Эта дивная страна,
И небесною отрадой
Грудь бесстрашного полна.
Скоро вспыхнет пламень стали...
Но все тихо, кончен бой,—
Ты достиг своих желаний,
Крестоносец молодой!
Пьет из чаши он глубокой
И любви, и красоты,
Перед ним страна (далеко)
Все рассыпала цветы.

Он блаженствует беспечно
Просветленною душой,—
Будь же счастлив бесконечно,
Крестоносец молодой! [1])

В своем романе «Рудин» Тургенев, на ряду с положительными и высокими чертами своего героя, изображает многие его отрицательные и мелкие стороны. Правда, Тургенев, который в качестве умеренного и уравновешенного либерала никогда органически неспособен был понять натуру Бакунина и даже пытался в «Рудине» выставить всю его деятельность, в том числе и деятельность в 1848 г., пустой и бесцельной, в своем романе впал в пасквиль и в свое время возбудил негодование в друзьях Бакунина за это шаржированное описание [2]). Следует, впрочем, признать, что некоторые отмеченные им недостатки действительно присущи были Бакунину, хотя и не играли в его жизни такой определяющей роли и не занимали в его характере такого места, как это рисует Тургенев. На первом плане стоят несколько халатное отношение к чужой собственности, отсутствие усидчивости в работе, склонность к господ-

---

[1]) Сочинения К. С. Аксакова, СПБ., 1915, т. I, стр. 23—26 и 640.

[2]) Тургенев со свойственной ему бесхарактерностью то отрицал, то признавал, что в Рудине он хотел вывести Бакунина. В письме от 28 сентября 1862 г. к украинской писательнице М. А. Маркович (Марко-Вовчок) он говорил: „Что за человек Бакунин, спрашиваете вы? *Я в Рудине представил довольно верный его портрет*: теперь это—Рудин, не убитый на баррикаде“ (В. В. Данилов. „Комментарии к роману И. С. Тургенева „Рудин“. Москва, 1918, стр. 32).

Имеется и другое признание Тургенева, показывающее, что при писании Рудина он преследовал цель выставить Бакунина в неблагоприятном свете: „В Рудине я действительно хотел изобразить Бакунина, но только мне не удалось: Рудин вышел вместе и выше, и ниже его. Бакунин был выше по способностям, по таланту, но ниже (!) по характеру. Рудин все-таки хоть погиб на баррикаде, а Бакунин и на это был неспособен (!!)“, („Тургеневский сборник“, СПБ. 1916, стр. 95).

Герцен находил, что Рудин напоминает Бакунина только отдельными чертами. Но это не значит, что Тургенев не хотел изобразить в Рудине Бакунина, а показывает лишь, что портрет ему не удался, ибо психология Бакунина слишком чужда была Тургеневу. Вот как выражается по этому поводу Герцен: „Говорят, будто Тургенев в „Рудине“ хотел нарисовать портрет Бакунина. Но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой, создал Рудина по своему образу и подобию. Рудин—Тургенев 2-ой наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина („М. Б. и

ству над личностью своих близких, желание вмешиваться в их интимную жизнь и т. п. От этого Бакунину часто приходилось страдать. Правда, когда Тургенев говорит, что «Бакунин, занявший у него деньги, распространяет о нем самые пошлые и гадкие клеветы» (письмо к Герцену от 21 марта—2 апреля 1864 г.), или когда Герцен в письме к Огареву заявляет, что Бакунин «всегда любил быть стоком сплетен», то оба они сильно преувеличивают просто потому, что злятся на Бакунина за обличение их либеральных увлечений. Но, несомненно, эти отрицательные черты у Бакунина были. Только, чтобы понять их, их нужно поставить в совершенно не ту перспективу, в которую их ставили его противники и недруги.

Конечно, Бакунин несколько легкомысленно относился к денежному вопросу. И Руге, и Фохт, и Герцен, и Тургенев в своих письмах или воспоминаниях—все так или иначе упоминают об этой стороне его характера. Но следует иметь в виду, что Бакунин, принадлежавший к той породе людей, которые «чужую крышу кроют, а свою раскрывают», и, сверх того, не получавший регулярной помощи от родных, всегда нуждался в деньгах. При своих талантах он легко мог бы раздобывать

Польское Дело". Сборник посмертных сочинений, Женева). Интересен отзыв о „Рудине" Н. Г. Чернышевского, который, конечно, не мог не знать, кого хотел Тургенев вывести в лице героя своего романа. „Существенное значение последней повести г. Тургенева,—пишет Чернышевский („Современник", 1856 г., № 3),—ее идея: изобразить тип некоторых людей, стоявших еще недавно в главе умственного и жизненного движения, постепенно охватывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более значительный круг в лучшей и наиболее свежей части нашего общества. Эти люди имели большое значение, оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или слабые стороны. Они, вообще говоря, оказывались несостоятельны при практическом приложении своих идей к делу,—отчасти потому, что, развившись более помощью отвлеченного мышления, нежели жизни, которая давала для их воззрений и чувств одни отрицательные элементы, они действительно жили более всего головою; перевес головы был иногда так велик, что нарушал гармонию в их деятельности, хотя нельзя сказать, чтобы у них сухо было сердце и холодна кровь. Эту отрицательную сторону полно и прекрасно изобразил г. Тургенев. Не столь ясно и точно выставлена им положительная сторона в типе Рудиных". Чернышевский, относясь отрицательно к недостаткам идеалистов 40-х годов, в то же время правильно указал, что революционного значения Бакунина Тургенев не понял и не отметил.

нужные средства, если бы интересовался устройством личного благополучия. Но в том-то и дело, что о себе и своих удобствах он никогда не думал, а отдавал свои силы на пропаганду своих идей, на общее дело. При этом Бакунин, бесцеремонно—на мещанский взгляд—занимавший деньги у знакомых, с еще большей легкостью отдавал их нуждающимся. И так делал он и в молодости, и в старости, когда у средних людей, даже вообще склонных к бессребренничеству, невольно развивается известная потребность в комфорте, в устройстве своего угла. Раз только в своей жизни Бакунин поддался этому неодолимому и естественному влечению, и как горько пришлось ему потом расплачиваться за эту минутную слабость! [1]).

Хорошо знавший его Герцен писал о нем в 1851 г., когда Бакунин сидел в Шлиссельбургской крепости: «Оставляя родину, Бакунин ни разу не задумался над тем, что он отказывается от крупного наследства. Он никогда не думал и о том, где он завтра будет обедать. Если у него было немного денег, он их расходовал, не считая, безрассудно, или раздавал их другим. Если денег не было, он нисколько не унывал и смеялся над этим со своими друзьями. Он умел сводить свои потребности почти к нулю, отказывал себе во всем и не только не особенно жаловался, но и действительно страдал меньше, чем другие: к недостатку денег он относился, как к болезни» [2]).

А в написанной спустя полтора десятка лет статье «М. Бакунин и польское дело» Герцен [3]) снова останавливается на этой черте своего друга, вызывавшей столько кривотолков. «В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный Bohémien с rue de Bourgogne [4]), без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей, без заботы об уплате, с той простотой, с какой он сам отдает всякому последние деньги, отделив от них, что следует, на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил: он родился быть великим бродягой, великим бездомником. Если бы

---

[1]) См. ниже (в 3-м томе) инцидент с „Баронатой“ в Локарно.

[2]) „Михаил Бакунин“ (письмо к Мишле). Герцен. Соч., VI, стр. 487.

[3]) Сборник посмертных статей, заграничное издание.

[4]) „Цыган (бродяга) с Бургонской улицы“. На этой улице жил Бакунин в Париже в 1847 г.

его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаланд Наполеону о боге: «Sire [1]), в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве». В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан».

Да и кто обвинял Бакунина в бесцеремонном отношении к чужой собственности? По большей части заскорузлые эгоисты, жившие только для своей утробы, как В. Боткин, и никогда ничего не сделавшие для ближнего, хотя бы этот ближний был ближним в буквальном смысле слова, т.-е. близким товарищем. Головачева-Панаева [2]), знавшая бакунинский кружок, рассказывает в своих воспоминаниях (стр. 137—138) следующий эпизод, имевший место в Париже в 40-х годах: «Раз за обедом он (Боткин) стал укорять в попрошайстве Бакунина, который, не получая денег из России, сидел без копейки и занял у него 50 франков. Меня это страшно возмутило, и я высказала, что приятелям Бакунина стыдно не помочь ему, когда они сами тратят по 100 рублей на ужины и на обеды для первой встречной на улице француженки. Все пришли в изумление от моих слов. Но, главное, все присутствующие знали, что Бакунин потому сидел без копейки, что спас одно русское семейство от голодной смерти; он заплатил долг соотечественника, который давно уже жил в Париже на трудовые гроши, но заболел, пролежал больной два месяца, вследствие чего задолжал, и его хотели посадить в тюрьму; тогда жена и дети должны были бы итти просить милостыню».

Белинский, который при всей своей нужде был человеком строго щепетильным в денежных вопросах и не хотел прибегать к помощи друзей, даже нуждаясь в отдыхе и подтачиваемый страшной болезнью (впрочем, эти друзья проявляли по отношению к нему то же преступное равнодушие, что и к Бакунину),—Белинский прекрасно знал эту черту Бакунина. Но посмотрите, с каким глубоким пониманием и всепрощением этот действительно моральный человек относился к недостатку своего товарища. Заказанного ему перевода истории Шмидта

---

[1]) Государь.

[2]) Жена журналиста Панаева, издававшего „Современник".

Бакунин так и не выполнил, поглощенный более важными на его взгляд вопросами, т.-е. изучением и пропагандой Гегеля [1]), и Белинский много бранился с ним по поводу его безалаберности; но, в конце концов, он как будто признал, что к Мишелю нельзя прилагать общую житейскую мерку. В письме от 1 ноября 1837 г. он пишет своему другу: «Прекрасная душа, неразумное легкомысленное дитя, часто совсем пустой малый в своей внешней жизни, ты, Мишель, высокая душа, олицетворенная мощь в своей внутренней жизни». Впоследствии, уже после произошедшей между ними ссоры, Белинский оправдывал его не одним избытком внутренней жизни, но и в самых условиях его внешней жизни находил такие стороны, которые оправдывали его безалаберность. В письме от 12 (24) октября 1838 г. Белинский писал ему: «Ты, Мишель, составил себе громкую известность попрошайки и человека, живущего на чужой счет... Но я понимаю твое легкомыслие и легкость в попрошайстве: их источник—твое *идеальное прекраснодушие*. Да, тебе спросить у другого: «Нет ли у тебя денег?»—все равно, что спросить: «Нет ли у тебя щепок?», и ты берешь деньги как щепки; но зато ты и отдаешь их как щепки». И далее Белинский напоминает, что Бакунин обыкновенно сам предлагал приятелям деньги, не дожидаясь, пока те попросят, оставляя себе «полтину на четверку табаку и двугривенный на извозчика». Буквально то же самое, что говорит Герцен. Белинский прежде видел даже в этой черте величие Бакунина (и до известной степепи он был, может быть, прав), но впоследствии стал смотреть на дело проще: «Все дело и вся разница были в том, что я понимал цену этого проклятого металла, трудность доставать его, а ты—нет».

Во всяком случае Белинский прекрасно знал, что Бакунин с такой же, если не с большей легкостью отдает, чем берет, тогда как хулители Бакунина предпочитали об этой стороне вопроса обыкновенно умалчивать. В конце 1838 г., вспоминая о начале их дружбы, он писал своему другу: «Ты приехал, переехал ко мне, разделил со мною все, что у тебя было, и еще так, что большую часть предоставил мне. Я тратил твои деньги, и это было для меня пыткой, но не потому,

---

[1]) Это отчасти напоминает историю с начатым и незаконченным переводом Маркса (см. ниже, в третьем томе).

чтобы меня тяготило твое одолжение, а потому, что меня тяготило твое положение, будущность которого была очень плоха со стороны внешней, в которой без денег плохо. Ты предвидел поездку в Премухино и хотел уберечь нужную для нее сумму денег. Я тебе сказал, что их нет, что нам нечем жить, и ты вместо того, чтобы сделать хоть какую-нубудь гримасу, в грустном раздумье стал ходить по комнате и петь «без разума люди», что я очень любил слушать. Никогда я не видал от тебя столько любви ко мне, в твоей непосредственности столько благородства, в твоей душе такого широкого размета, во всей твоей индивидуальности, и внутренней, и внешней, такой поэзии, такой *львообразности*, как в этот день. Воспоминание о нем всегда будет живо во мне, и под этою формою ты всегда будешь существовать для меня».

Вероятнее всего, это легкомысленное отношение к денежному вопросу было одним из пороков, унаследованных Бакуниным от того класса, к которому он принадлежал по рождению. Уже во время пребывания в военном училище у Бакунина, как мы видели, начало проявляться то легкое отношение к деньгам, которое условия эмигрантской жизни впоследствии могли только усилить. Эта черта была ему обща со всем русским дворянством, привыкшим жить чужими трудами, легко добывать нужные средства и так же легко их проматывать. По крайней мере, разночинец Белинский, который принужден был с ранних лет в поте лица своего зарабатывать хлеб свой, смотрел на этот вопрос иначе.

Тот же класс крепостников-рабовладельцев и государственных кормленщиков наделили его халатностью и ленью, неспособностью к усидчивой и упорной работе, от которых Бакунину самому много приходилось страдать. Впрочем, впоследствии здесь играли роль и условия эмигрантской жизни, и вынужденные переезды с места на место, и занятие революционными делами, которые каждый раз отвлекали его внимание в другую сторону. Благодаря этому Бакунину не удалось закончить ни одной своей более или менее крупной работы, и большинство его трудов имеет вид разрозненных и необработанных отрывков. Одному критику, сделавшему как-то замечание насчет такого характера его работ, Бакунин ответил: «Самая моя жизнь не более, как отрывок». И он был, конечно, прав.

Тургенев отмечает еще другую черту в характере своего героя: склонность вмешиваться в интимные дела своих друзей

(Станкевича, Боткина, Каткова и пр.) и неуживчивость, в результате которой Рудин расходился со своими приятелями, превращая их в своих врагов. Эти черты действительно присущи были Бакунину, но, ничуть не желая скрывать или затушевывать этих свойств Бакунина, биограф его должен об'яснить их общим его характером и вставить их в надлежащую перспективу.

Бакунин с юных лет был пророком, пропагандистом, миссионером. Уже в ранней молодости, во время знаменитых «всенощных бдений» в Москве, когда Бакунин посвящал своих друзей в тайны гегелевской философии, он пленял и очаровывал их мощным кипением своего духа, снедавшим его внутренним беспокойством (которое еще сильнее развито было в Белинском) и горячим стремлением к истине, в поклонении которой он не допускал никаких компромиссов, никаких недоговоренностей, никаких уступок. Этой черте он не изменял всю свою жизнь. Именно потому, что он сам кипел и горел, он заражал других и властно вел их за собою. Эта властность, присущая пророкам, в конце концов, начинала тяготить его друзей.

Этим об'ясняется, что влияние Бакунина не всегда было прочным и продолжительным. Сплошь и рядом друзья его ссорились с ним [1]) и отходили от него: так было в Москве в 30-х годах, в начале общественной деятельности Бакунина, так было в 60-х и 70-х годах в Европе, когда его политическая работа подходила к концу. И это до известной степени понятно. Чем горячее относился Бакунин к своим идейным увлечениям, тем резче он требовал от своих последователей безоговорочного принятия проповедуемых им идей. Подобно всякому пророку, основателю секты, учителю церкви, уверенному в том, что он обладает настоящей истиной, он был нетерпим и требовал от своих единомышленников полного согласия с ним. А меняя свои взгляды, он требовал, чтобы это проделывали и его друзья, и чтобы они без критики шли за ним по новому избранному им пути, а в случае их сопротивления приходил в ярость [2]).

---

[1]) Боткин писал Бакунину 15 октября 1838 г.: „Ты до сих пор не любил примирять, а только мастер был разрывать".

[2]) Отмечая эту черту, Белинский писал Бакунину в известном письме от 20 июня 1838 г.: „Переходя в новый момент, ты требовал, чтобы и мы переходили в него, и ненавидел нас, видя, что мы—в своем моменте, а не в твоем".

Тою же проповеднической исключительностью Бакунина об'ясняется склонность его вмешиваться в частные и интимные дела своих друзей. Бакунин и сам готов был всегда уйти с головой в «дело» (которое он в разные периоды жизни понимал, конечно, различно), отказаться ради этого «дела» от всех своих личных интересов, но он требовал того же от своих друзей. Человек должен был отдаться весь делу, подчинить все свои личные стремления его интересам, ибо оно, на взгляд Бакунина, не терпело соперничества. С возрастом, с житейским опытом эта черта Бакунина смягчилась, но в юные его годы, при свойственной им угловатости, она была резка и вызывала отпор.

Здесь действовала еще всегда присущая Бакунину практическая, агитационная жилка. Бакунин никогда не был просто проповедником, как Станкевич, просто теоретиком, как Герцен, просто литератором, как Белинский. Нет, он был в первую голову агитатором и организатором. Устная и письменная проповедь (последняя имела у него даже подчиненный характер) служила ему лишь орудием для подготовки элементов действия. Пропаганда имела для него служебное значение. Мы видели уже, что он с юных лет мечтал о создании какой-то не то секты, не то кружка верных. Спокойным теоретическим анализом, созерцанием развертывающейся на его глазах истории, абстрактной оценкой действительности Бакунин по самой сущности своего темперамента удовольствоваться не мог. Он непременно должен был вмешаться в самую гущу жизни, стать в ее первых рядах, занять центральный пост. Никогда не оставлял его этот порыв к практической деятельности,—все равно, носила ли она грандиозно-исторический или мелочно-повседневный характер. Для Бакунина не существовало мелочей, ибо для него они входили в общий план работы. Как настоящий практик, он прекрасно сознавал, что из таких мелочей складывается жизнь и возникают крупные исторические события. И то, что людям с кабинетной или теоретической складкой могло казаться пустяком, мелочью, ненужностью, для Бакунина представлялось важным, существенным, чреватым последствиями. Люди неверующие, холодные и скептически настроенные могли усматривать в бакунинской шумихе и хлопотах простую непоседливость, склонность к суетливости и даже сплетням,—Бакунин смотрел на это иначе. Понятно, что в своей практической работе и возне Бакунин совершал ряд промахов и ошибок,

подчас трагического, а подчас комического свойства. Но он не унывал, не унимался и сейчас же принимался снова плести порванную сеть.

Это смешение великого с мелочным, трагического со смешным делало то, что характер Бакунина был соткан из противоречий. Поклонник неограниченной свободы, анархист с момента окончательного сформирования его политических взглядов, он в то же время отличался необычайной властностью и диктаторскими стремлениями. Проповедник высоко-нравственных начал и пламенный борец за человеческое достоинство, он не всегда проявлял особую разборчивость в средствах и в борьбе с противником прибегал к таким приемам, против которых резко протестовал, когда они применялись по отношению к нему самому. Такие противоречия, разумеется, в большей или меньшей степени присущи каждому человеку, но так как в Бакунине все принимало громадный, резкий характер, то в нем эти противоречия особенно ярко били в глаза и особенно резали.

Прекрасно изучивший его Белинский в письме от 12—24 октября 1838 г. метко охарактеризовал эти противоречия в бакунинской натуре. «Всегда признавал,—пишет неистовый Виссарион,—и теперь признаю я в тебе благородную, львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечные чувства, огромный ум, но в то же время признавал и признаю чудовищное самолюбие, мелкость в отношениях с друзьями, ребячество, леность, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе на счет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других [1]). Для меня эти противоречия составляют единое целое, одного человека. Ты—богатое соединение самых прекрасных моментов, которые еще находятся в брожении и требуют большой разработки. Не мертвый абстракт, не логический труп, а олицетворенная философия Спинозы: ты пламенеешь неистощимою любовью к богу, но к богу как субстанции всего сущего, как к общему, оторванному от частных явлений, и еще никогда не любил ты

---

[1]) Ирония истории захотела, чтобы спустя 30 лет Бакунин в значительной мере повторил эти похвалы и упреки (за исключением, впрочем, „ребячества“ и „лености“) по адресу своего учителя, а затем врага, Карла Маркса (см. ниже).

суб'екты и образы индивидуальные. Как в индийском пантеизме живет один Брама, все рождающий и все пожирающий, а частное есть жертва и игрушка Брамы,—так и *для тебя идея выше человека* [1]), его образ мыслей выше его непосредственности, и ты приносишь его на жертву всерождающему и всепожирающему Браме своему.

«Между нами есть что-то общее,—это разрушительный элемент... Сила, дикая мощь, беспокойное, тревожное и глубокое движение духа, беспрестанное стремление вдаль, без удовлетворения настоящим моментом, даже ненависть и к настоящему моменту, и к себе самому в настоящем моменте, порывание к общему вне частных явлений—вот твоя характеристика; к этому надо еще присовокупить недостаток задушевности; Gemüthlichkeit, нежности, если можно так выразиться, в отношениях с людьми, близкими к тебе... От этого-то ты так давил собою всех, и любовь к тебе всех и всякого была каким (-то) трудом. По крайней мере, я не умею иначе выразить моего чувства к тебе, как *любовью, которая похожа на ненависть, и ненавистью, которая похожа на любовь*... Не подумай, чтобы я отрицал в тебе любовь; нет, я знаю, в сокровенной глубине твоего духа скрыт неиссякаемый источник любви; но эта любовь пока еще устремлена на абсолют, как на субстанцию, а не на явления. Твоя кровь горяча и жива, но она (если можно употребить такое сравнение) течет у тебя не в жилах, а в духе твоем».

Итак, Белинский упрекает Бакунина в головном характере его увлечений, в отсутствии сердечности и простого отношения к людям, в которых он видел только орудие идеи. Но интереснее то, что Белинский прозорливо подметил основную черту бакунинского интеллекта: беспрерывное кипение и брожение его духа. В этом же замечательном письме он говорил: «В моих глазах ты есть не что иное, *как выражение хаотического брожения элементов*. Твое «я» силится выработаться, но (так) как ему суждено выработаться в огромных формах, то естественно, что эта разработка для тебя болезненна: в ней *разрушение делается для созидания*, гниение для новой производительности».

Так удачно характеризовал проницательный товарищ тот могучий процесс творческого брожения, который совершался

---

[1]) Курсив мой.

в духовном мире молодого Бакунина. И кто знает, когда через четыре года Бакунин, придя к определенному революционному миросозерцанию, выдвинул свою знаменитую формулу: «страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть», он, быть может, бессознательно для себя, вспомнил вещие слова своего друга, что в душе его «разрушение делается для созидания»!

Сознание крупных достоинств Бакунина заставляло его друзей терпеть его деспотические склонности. Однако диктаторские замашки Бакунина, требовавшего от своих друзей безусловного согласия с ним во всех деталях, даже когда он менял свои взгляды, приводили к частым конфликтам между ними. В частности Белинский жалуется на то, что ему приходилось «стонать» под бакунинским авторитетом. Однако он прибавляет, что хотя этот авторитет и был тяжел для него, однако был необходим. «Нет, Мишель,—пишет он,—ты не навязал на меня свой авторитет; его наложило на меня *могущество твоей мысли, бесконечность твоего созерцания*. Теперь я знаю твои достоинства, знаю и твои недостатки: на первые—смотрю с любовью и уважением, на вторые—с снисхождением, как на зло необходимое и—я верю этому—преходящее... Я верю твоему прекрасному призванию, верю, что ты достигнешь своей высокой цели. В тебе играет глубокая, могучая жизнь, твое созерцание бесконечно, твоя сила громадна».

10. ССОРА С БЕЛИНСКИМ И СТОЛКНОВЕНИЕ С КАТКОВЫМ.

Неудивительно, что по мере того, как Белинский все более становился на собственные ноги, отношения у него с Бакуниным начали портиться. К концу 1838 г. между ними произошел решительный конфликт.

Причиной конфликта послужило отчасти отрицательное отношение Бакунина к поступлению Белинского на государственную службу (учителем Константиновского Межевого Института), но главным образом спор о том, кому руководить журналом «Московский Наблюдатель». Типограф Степанов, купивший его у прежнего владельца еще весною 1838 г., пригласил в редакторы журнала Белинского. Белинский был в восторге: как раз в это время он сильно нуждался, давал уроки и ему

хотелось стать ближе к литературной работе. Вначале Бакунин ничего не имел против редакторства Белинского и даже собирался сам сотрудничать в журнале. Так, в письме к Беерам от 13 марта он писал: «Теперь-то запоют соловьи: Виссарион написал уже длинную и красноречивую песнь и я также. Моя статья будет первая и под нею написано: Михаил Бакунин». Статья Бакунина была напечатана в первом номере журнала. Казалось, все шло хорошо. Но Бакунин вдруг заявил Белинскому, что считает его совершенно неподготовленным к редактированию журнала по недостатку в нем «об'ективного наполнения». И такую точку зрения Бакунин стал пропагандировать и старался убедить в этом других членов кружка, что удалось ему, например, относительно Боткина.

Начались сплетни, пересуды, дрязги. «Я почувствовал,—пишет 12 октября 1838 г. Белинский,—что против меня образуется сепаративная коалиция, что обо мне начинаются толки и пересуды, что моя особа подвергается анализу. Месяцем раньше это меня зарезало бы, но во мне уже совершился великий прогресс духа, и я в первый раз сознал свою силу, самобытность и *действительность (свою*, Мишель). Ты приходишь ко мне и об'ясняешь, что не имеем права печататься по недостатку об'ективного наполнения и действительности, а главное потому, что ни один из нас не может определить ни музыки, ни поэзии так, чтобы после нас никому не осталось об этом сказать ни слова. Но ты поздно пришел ко мне с этими идеями и не расчел, что они могли быть истинны только для тебя, как выражение твоего моментального состояния. Моя диалектика была слаба перед твоею, но во мне были уже слишком сильны, глубоки и *действительны* некоторые убеждения, и я делал свое без помехи, с жаром и энергией, нимало не чувствуя влияния твоих построений».

Таким образом, мы видим, что на Белинского доводы Бакунина не подействовали. Белинский к тому времени умственно созрел и не хотел уже подчиняться тягостному авторитету своего друга. Ссора тянулась довольно долго, но постепенно недоразумения сгладились, при чем инициативу примирения взял на себя Белинский.

После личного свидания примирение состоялось, но первые, чистые, дружеские отношения уже не могли восстановиться. тем более, что сплетни, видимо, продолжались. Белинскому показа-

лось, что Бакунин хочет господствовать над его волей; Бакунин же был, повидимому, неприятно поражен тем, что недавний его поклонник начинает станозиться самостоятельным и не принимает попрежнему с благоговением слов учителя. По поводу презрительного отзыва Бакунина о том, что «Васинька с Висяшей (т.-е. Боткин с Белинским) вздумали меня учить», Белинский писал ему: «Ведь мы охотно учились у тебя. Авторитет и дружба—вода и огонь, вещи разнородные и враждебные. Равенство—условие дружбы. Пока мне нужен был твой авторитет, я нес его и не почитал авторитетом, а восставал только против непосредственности, когда она была несносна. Когда же авторитет более стал ненужным, тогда он сделался тяжким, обидным и унизительным игом, и я сбросил, стряхнул его» (письмо от 12/X 1838 г.).

Новые попытки Бакунина подчинить Белинского своему авторитету вызвали новый, еще более острый конфликт. Белинский охотно признавал, что Бакунин много сделал для его умственного развития, он попрежнему любил Мишеля и верил в его великое призвание, но решительно не хотел подчиняться его воле. Ссора между ними продолжалась всю зиму 1838—39 года. А весною 1839 г. оба они обратились с письмами к Станкевичу, как бы признавая его своим арбитром.

Белинский писал Станкевичу: «С весны я пробудился для новой жизни, решил, что каков бы я ни был, но я *сам по себе,* что ругать себя и кланяться другим глупо и смешно, что у всякого свое призвание, своя дорога в жизни. Ему (Бакунину) это крайне не понравилось, и он с удивлением увидел, что во мне самостоятельность, сила и что на мне верхом ездить опасно: сшибу, да еще копытом лягну». А в другом письме он сообщает: «Я пишу ему (Бакунину), что прекраснодушные и идеальные комедии мне надоели. Спор о простоте играл тут важную роль. Я ему говорил, что о боге, об искусстве можно рассуждать с философской точки зрения, но о достоинстве холодной телятины должно говорить просто. Он мне ответил, что бунт против идеальности есть бунт против бога, что я погибаю, делаюсь добрым малым в смысле bon vivant и bon camarade [1]) и пр. А я только хочу бросить претензии быть великим человеком, а хочу быть со всеми, как все».

Как тут не узнать Бакунина с его стремлением к абсолюту, к последовательности во всех сферах жизни, но, вместе с тем,

[1]) Благодушный обыватель и славный парень.

и со стремлением возводить всякий житейский пустяк на высоту важного вопроса, от решения которого в ту или иную сторону зависит чуть ли не судьба мира! Именно эта черта заставляла его вечно поучать своих друзей, вмешиваться (и не всегда, повидимому, с должной деликатностью) в их интимные дела и решать их непременно с точки зрения логики Гегеля.

Со своей стороны Бакунин писал Станкевичу от 13 марта 1839 г.:

«Белинский совсем оторвался от нас; я, Боткин, Катков сделались предметом его ненависти; и если верить его словам, то он даже презирает меня и Боткина; я первый подпал его гневу, он упрекает меня, во услышание всем, в ужасных преступлениях, в маккиавелизме, в подлости и т. д...

«Грустно расставаться с человеком, которого любил, которому привык поверять все, что тяготило и радовало душу, любовь и доверенность которого сделались уже необходимостью, ежедневною привычкою. Но еще грустнее расстаться с ним таким образом. А Виссарион забросал и еще до сих пор забрасывает нас грязью везде, где только может. Я слышал, что он недавно ходил к Бееровым для того, чтобы об'явить им нашу подлость. Слышал также, что он и тебе писал, милый Николай; может быть, он взвел на нас бог знает какие нелепости...

«Он дошел до того, что всякий пошлый, действительный человек стал для него идеалом...

«Грустно за него, в нем так много благородного, так много святых элементов, его душа — широкая душа. Знаешь, что, несмотря на все его несправедливости ко мне, несмотря на грязные проявления этих несправедливостей, я не переставал любить его, не переставал принимать в нем самое живое участие, я знаю, что теперь мне невозможно сойтись с ним, но я дорого дал бы, если бы мог восстановить с ним старые отношения».

Полного примирения и сближения старых друзей так и не произошло, и Бакунин лишился дружбы самого выдающегося из членов кружка. Но это была не единственная ссора этого неугомонного и властного проповедника.

Еще более резкий конфликт произошел у него, между прочим, с Катковым. Будущий литературный выразитель злейшей реакции в молодых годах либеральничал напропалую и тоже принадлежал к бакунинско-герценовскому кругу. С Бакуниным он

был в самых хороших отношениях и в 1839 году назвал его даже «одним из самых близких ему людей». Но в следующем году они резко разошлись. Бакунин вмешался в какую-то интимную историю Каткова и, как сообщает биограф последнего, Неведенский, «распустил какую-то сплетню, в которой не один Катков был замешан» (повидимому, дело касалось отношений Каткова к первой жене Огарева, Марии Львовне).

Столкновение между ними произошло на квартире Белинского, который в письме от 12—14 августа 1840 года рассказывает об этом следующим образом: «(Он) пришел в мой кабинет, где и встретился с Катковым лицом к лицу. Катков начал благодарить его за его участие в его истории. Бакунин, как внезапно опаленный огнем небесным, попятился назад и затем вышел в спальню и сел на диван, говоря с изменившимся лицом и голосом и с притворным равнодушием: «фактецов, фактецов, фактецов, я желал бы фактецов, милостивый государь!» — «Какие тут факты! Вы продавали меня по мелочи, Вы—подлец, сударь!»—Бакунин вскочил: «Сам ты подлец!»—«Скопец!»—Это подействовало на него сильнее подлеца: он вздрогнул, как от электрического удара. Катков толкнул его с явным намерением затеять драку... Бакунин бросился к палке, завязалась борьба. Я не помню, что со мной было,—кричу только: господа, господа, что вы, перестаньте,—а сам стою на пороге и ни с места. Бакунин отворачивает лицо и действует руками, не глядя на Каткова; улучив минуту, он поражает Каткова поперек спины подаренным ему тобою (Боткиным) бамбуком, но с этим порывом силы и храбрости его оставили и та, и другая — и Катков дал ему две оплеухи. Положение Бакунина было позорно. Катков лез к нему прямо со своим лицом, а Бакунин изогнулся в дугу, чтобы спрятать свою рожу. Во время борьбы он вскричал: «Если так, то будем стреляться с Вами!» Погодя немного, Катков сказал: «Послушайте, милостивый государь, если в Вас есть хоть капля теплой крови, не забудьте, что вы сказали».

Катков просил Белинского быть его секундантом. Этот факт и издевательский тон, которым Белинский описывает дикую сцену драки, ясно показывает, что в этот момент Белинский относился к Бакунину крайне враждебно.

Надо сказать, что Бакунин проявил больше справедливости к Белинскому, чем последний к Мишелю. В письме из Берлина от 13 — 25 июля 1840 г., будучи еще под живым впечатлением

тяжелых дрязг, омрачивших его последнее пребывание в Петербурге, Бакунин, вспоминая о своих посещениях Белинского, говорит: «Последнее свидание наше вполне убедило меня в том, что мы совершенно разошлись с ним. Было время, когда мы могли понимать друг друга, когда в наших существованиях было что-то единое, нераздельное; теперь же мы потеряли друг друга из созерцания; мы идем совершенно противоположными путями. Не знаю, как он обо мне думает, но я никогда не перестану думать и быть уверенным, что, при всем его внешнем цинизме и несмотря на совершенно ложное направление, которому он теперь следует, в нем много глубокого, святого. Мне грустно за него, потому что он глубоко страдает; он — мученик обстоятельств и своего ложного направления. В данный момент это — неудавшаяся жизнь; но наступит момент, — я в этом глубоко уверен, — когда он найдет осуществление более полное и более отвечающее его глубокой натуре».

Впрочем, дуэль с Катковым так и не состоялась, что дало повод врагам Бакунина инсинуировать по его адресу и даже обвинять его в трусости [1]). Для всякого, кто знает Бакунина, последнее обвинение вряд ли покажется основательным. Вероятно, его уклонение от дуэли об'яснялось просто тем, что в глубине души он считал себя виноватым в происшедшей истории. На следующий же день после описанной безобразной сцены Бакунин письменно извинился перед Катковым. Тем не менее, Бакунин продолжал считать дуэль необходимой, но просил отложить ее до Берлина, куда собирался и Катков. Однако в Берлине настроение у Бакунина изменилось: во-первых, на него сильно подействовала смерть Станкевича, о которой он узнал в Берлине; затем к нему приехала туда сестра Варвара, считавшая его в тот момент своей единственной опорой; наконец, в Берлине его захватили новые идейные интересы, в сравнении с которыми все русские дрязги должны были представляться ему слишком мелкими и жалкими. Как бы то ни было, он признал дуэль бессмысленной и решил совершенно примириться с Катковым, что и произошло на деле.

---

[1]) Интересно, что аналогичная история случилась с Бакуниным еще в феврале 1836 г. Платя дань предрассудкам своей среды, он вызвал на дуэль В. К. Ржевского (впоследствии мужа Н. А. Беер), но это был чисто-офицерский фарс, который ничем не кончился.

Правда, от всего инцидента остается какой-то неприятный осадок, но не забудем, что люди, готовые в тот момент забросать Бакунина камнями, впоследствии забыли про этот грустный, хотя в сущности пустой и мальчишеский случай и вернули ему все свое уважение, как те же Огарев, Герцен, Белинский. Мнение же таких господ, как Катков и ему подобные, конечно, для нас не может быть интересно.

11. ОТ'ЕЗД ЗА ГРАНИЦУ.

Незадолго до этого печального инцидента, 20 апреля 1840 года, Бакунин обратился с дружеским, душевным письмом к Герцену и Огареву, располагавшим большими средствами, прося их ссудить ему две тысячи рублей, необходимые ему для поездки за границу, куда он давно рвался всей душой.

«Любезный Герцен! Приехав сюда, я нашел в отце моем согласие на мой от'езд в Берлин и готовность помочь мне деньгами. Но так как дела его, вследствие неурожая и мелководья, находятся в маленьком расстройстве, то он не может мне дать теперь ничего другого, кроме обещания... Я жду духовного перерождения и крещения от этого путешествия, я чувствую в себе так много сильной и глубокой возможности и еще так мало осуществил, что каждая лишняя копейка для меня будет важна, как новое средство к достижению моей цели. И потому я прошу тебя и друзей твоих, если вам это только возможно, дать мне две тысячи рублей...

«Было бы глупо умереть, не сделав ничего путного...

«Ты видишь, Герцен, что я обращаюсь к тебе прямо и просто, без всяких околичностей и отложив в сторону все 52 китайские церемонии. Я делаю это потому, что я беру у вас деньги не для удовлетворения каких-нибудь глупых и пустых фантазий, но для достижения человеческой и единственной цели моей жизни. Кроме того, хоть наше знакомство началось недавно, но мне нужно было немного времени для того, чтобы полюбить тебя от души, и для того, чтобы сознать, что в наших духовных и задушевных направлениях есть много общего и что я могу обратиться к тебе, не боясь недоразумений...

«Поверьте, что я всеми силами буду стараться оправдать ваше доверие и что я употреблю все заключающиеся во мне средства для того, чтобы стать живым, действительно духовным

человеком, полезным не только для себя одного, но и отечеству и всем окружающим меня людям!»

Бакунин буквально задыхался в создавшейся вокруг него обстановке. Он чувствовал, что опускается, и что ему грозит духовная гибель, если он не вырвется на широкий простор европейской жизни. В начале 1840 года он писал Станкевичу: «Вся моя жизнь и все мое достоинство состояли в какой-то абстрактной силе духа,—да и та разбилась о грязные мелочи моей семейной ежедневности и пустых семейных и дружеских междуусобий, а, может быть, и о свое собственное ничтожество». Значит, у Бакунина под влиянием всех неудач начинает прокрадываться разочарование в собственных силах. Он сообщает Станкевичу, что делает «последнее усилие для того, чтобы как-нибудь попасть в Берлин, от которого ожидает перерождения, крещения от воды и духа»; если и эта попытка не удастся, Бакунин готов отказаться от своих порывов и пойти по обычной дорожке. Конечно, такой исход для Бакунина был органически немыслим, но его слова показывают, что он находился тогда в состоянии, близком к отчаянию.

С какой страстностью Бакунин рвался за границу и какое значение в своей судьбе он придавал этой поездке, видно из другого его письма к Станкевичу от 13 мая 1839 года (того самого письма, в котором он сообщает ему о ссоре с Белинским): «Я имею право,—пишет Бакунин,—пожертвовать своей физической жизнью и с радостью пожертвую ею для сестер и для отца; но не имею права жертвовать своею духовной жизнью, своим спасением. И потому зимой жди меня, если ты еще будешь в Берлине... Если отец мой ничего не даст, если у меня не будет более 500 рублей годового дохода, то и это не остановит меня. Я поеду с пятьюстами рублей и буду есть хлеб да воду, жить на чердаке и ходить в старом сюртуке с тем только, чтобы учиться в Берлине. Я должен это сделать, потому что в успехе для меня заключается разрешение вопроса о жизни и смерти».

Друзья оказали ему просимую помощь, и Бакунин, как показала дальнейшая его жизнь, вполне выполнил свои обещания. Можно смело сказать, что этот расход Огарева и Герцена на заграничную поездку Бакунина был самой продуктивной из всех сделанных ими затрат.

Но в тот момент, после ссоры Бакунина с Боткиным и Катковым, друзья были страшно против него восстановлены, а честный Огарев даже жалел об оказанной ему поддержке. 24 августа 1840 года Огарев писал Герцену: «Что за продолжение боя у Каткова с Бакуниным, и почему окончание дурно? Об'ясни. Я уже придумал: вероятно, один другого ударил в рожу, а тот обтерся. Мне ужасно жалко, что я протянул руку помощи этому длинному гаду. Поведение его относительно Боткина так низко, что выразить нельзя. Надеюсь, что не худо будет не только от него отстать, но даже напрямик отказать во всяком остальном вспомоществовании. Это такой человек, которому гадко руку протянуть; умно же ты сделал, что не сблизился с ним сердцем!» И далее он называет Бакунина «подлецом». Отголоски этих дрязг еще в конце 1842 года были так сильны, что Герцен, прочитав статью Бакунина в «Deutsche Jahrbücher» (о ней ниже), записал в своем дневнике о нем: «Талант и дрянной характер».

Впрочем, Герцен, несмотря на то, что по характеру был более резок, чем Огарев, в данном случае проявил по отношению к Бакунину больше чуткости. Рассказывая своим родным о своем «тяжелом, томительном чувстве», которое он испытывал во время последнего пребывания в Петербурге, Мишель в письме с парохода от 4/VII 1840 года прибавлял, что он «несколько отдохнул душою в обществе Герцена и его жены». А в письме к Беерам из Берлина от 13—25 июля 1840 года Бакунин выражаетса еще определеннее: «Герцен, особливо жена его, были моею отрадою в Петербурге. Он—прекрасный, умный, благородный человек, а она—святое, любящее, истинно женственное существо. Я был дома с ними».

Деликатное отношение Герценов Бакунин должен был особенно оценить в одну из самых тяжелых минут своей жизни, когда самые старые и, казалось бы, близкие друзья от него отвернулись в результате ссоры в сущности мальчишеского характера.

А между тем из всех трех замешанных в эту свару лиц Бакунин был единственный порядочный человек. Боткин скоро оказался жалким трусом и реакционером, занятым лишь своим пищеварением. А Катков сделался одной из вреднейших и антипатичнейших фигур в истории русского общественного развития. Своим резким отзывом Огарев попал, таким образом, пальцем

в небо. Впоследствии, спустя много лет, он сделался последователем Бакунина [1]) и даже отделился в целом ряде вопросов от Герцена, не соглашавшегося со слишком революционными взглядами и затеями первого. Но это случилось только четверть века спустя. А пока Бакунин уезжал за границу в обстановке не очень-то приятной.

Последний месяц перед от'ездом в чужие края Бакунин провел в Премухине. Эти последние дни, проведенные им в семейной обстановке, он прожил в большой дружбе с братьями и сестрами и в полном примирении с родителями. Чувствовал ли он, что больше ему не суждено возвращаться в родную уютную среду, неизвестно; но в тот момент он всеми силами рвался оттуда вон, на простор европейской жизни.

Из России в Германию Бакунин выехал на пароходе из Петербурга, куда он прибыл с этой целью на три дня. Здесь-то, на второй день его приезда, когда он зашел дружески попрощаться с Белинским, и произошло его столкновение с Катковым, которое должно было окончательно отравить его душевное настроение перед оставлением родины.

Недавний духовный руководитель кружка уехал из России совершенно одиноким. При его от'езде присутствовал только Герцен.

«Из всех друзей,—пишет последний [2]), — я один провожал его до Кронштадта. Едва только пароход вышел из устья Невы, на нас обрушился один из бешеных балтийских шквалов, сопровождаемых потоками холодного дождя. Капитан принужден был повернуть обратно. Это возвращение произвело на нас

---

[1]) Но в первое время своего пребывания за границей Бакунин питал к Огареву крайне враждебное чувство, несомненно, в связи с отношением Огарева к инциденту с Катковым. В письме к брату Алексею, относящемуся к лету 1842 года, Бакунин в таких выражениях рассказывает о проезде „мошенника Огарева“ (sic!) через Дрезден: „Паша (т.-е. брат Бакунина, Павел) встретил его на террасе и сначала не узнал. Огарев подал ему руку и сказал: „Вы не узнаете меня?“ Павел начал было тоже подавать ему руку, да на половине дороги, узнав его, опустил ее и, ни слова не говоря, отвернулся. Огарев же с горя стал есть рака, да и уехал на другой день по утру. Я в тот же день приехал, а его нет,—что делать? Денег нет ни копейки, а потому поймать его невозможно. Вот и отложил кровавое мщение до первой встречи,—когда она случится, не знаю“. Несмотря на шутливый тон, здесь явно сквозит вражда к Огареву, которую Бакунин внушил и своим родным.

[2]) М. Бакунин (письмо к Мишле). Соч., VI, 478—9.

обоих чрезвычайно тяжелое впечатление [1]). Бакунин грустно смотрел, как снова приближался к нам петербургский берег, который он думал оставить за собой на долгие годы, с его набережной, усеянной зловещими фигурами солдат, таможенными, полицейскими офицерами и шпионами, дрожавшими от холода под своими поношенными зонтиками.

«Было ли это предзнаменованием, указанием провидения? Подобное обстоятельство удержало Кромвеля, когда он садился на корабль, чтобы плыть в Америку. Но Кромвель покидал «старую Англию» и в глубине души был в восторге, что нашел предлог в ней остаться. Бакунин же покидал новый город царей. Ах, нужно видеть безмерный восторг, радость, слезы на глазах каждый раз, когда русский переезжает границы своего отечества и думает, что теперь он находится вне власти своего царя!..

«Бакунин не захотел спуститься на берег, он предпочел дождаться часа от'езда в своей каюте на пароходе.

«Я оставил его, и мне все еще помнится его высокая, крупная фигура, закутанная в черный плащ и поливаемая неумолимым дождем; помнится, как он стоял на передней палубе судна и махал мне в последний раз своей шляпой, когда я входил в поперечную улицу».

Не только умственные интересы, не только сознание своих сил и предчувствие великого будущего влекли Бакунина за границу. Его личные отношения за последнее время сложились так, что он не мог больше оставаться в России. Он чувствовал, что разменивается на мелочи, «опошляется» и опускается. Самочувствие у него было тогда крайне тяжелое и, быть-может, отчасти этим об'ясняются его неуживчивость, сварливость, готовность делать из мухи слона и ссоры с друзьями. С последними отношения создались настолько острые, что Бакунин задыхался в этой атмосфере враждебности и отчужденности. В частности, у него окончательно испорти́лись отношения с Белинским.

---

[1]) Аналогичная история случилась и с Герценом при его от'езде за границу. Прусский пограничный вахмистр засунул куда-то его паспорт, и Герцен с ужасом думал, что ему придется вернуться в Россию для новых хлопот. В эпоху самодержавия передовые русские не с особенной радостью возвращались в пределы своего сурового отечества. См. „Былое и Думы“ Герцена.

После описанной выше ссоры Бакунин снова встретился с Белинским в Петербурге, куда приехал в 1839 году для устройства некоторых своих дел. Старые приятели снова было сблизились, но затем снова рассорились, при чем на этот раз чувства их (по крайней мере, со стороны Белинского) перешли в настоящую ненависть. Дело дошло до того, что Белинский готов был вызвать Бакунина на дуэль и честил своего бывшего учителя и друга такими эпитетами, как «гнусный, подлый, эгоист, фразер, дьявол в философских перьях» [1]). В письмах к друзьям Белинский забыл в горячности все, что он прежде говорил о достоинствах и недостатках Мишеля, обвинял его в неискренности, ходульности и сожалел о его вредном влиянии на окружающих, в частности, на своих сестер (возможно, что здесь сказались отголоски неудачной премухинской любви Белинского). В письме к Боткину от 16 мая 1839 г. Белинский пишет про Бакунина: «Он для меня решенная загадка: абстрактный герой, рожденный на свою и на чужую гибель, человек с чудесной головой, но решительно без сердца и притом с кровью протухшей соленой трески».

И неистовый Виссарион, одинаково пылкий в любви и ненависти, проводил своего бывшего друга за границу следующими безжалостными словами: «Когда он уезжал из Петербурга за границу, — писал Белинский Боткину 4 октября 1840 г., — его провожал не я, не Катков, даже не Языков и Панаев, но Г—н (т.-е. Герцен), произведенный им за 1.000 руб. ассигнациями в спекулятивные натуры. Но этим не кончилось; оная натура говорит, что его можно уважать за ум, но не любить, и что по письмам московских друзей видно, что они даже плохо уважают его... Мишель думал, что, кроме глубокой натуры и гения, необходимы для удостаиваемых его дружбы еще одинаковый взгляд на погоду и одинаковый вкус даже к гречневой каше — условие sine qua non! [2]) Вот как оправдала жизнь его абстрактные, лишенные жизненного соку и теплоты воззрения».

Таким злым напутствием проводил старый друг Бакунина, готовившегося вступить в новый, плодотворный период своего существования. Но скоро друзьям пришлось признать, что они во многом ошибались в своих скороспелых заключениях, и

---

[1]) Иванов-Разумник высказывает предположение, что в своей статье о Чацком Белинский имел в виду Бакунина.

[2]) Безусловно необходимое.

убедиться, что его «абстрактные воззрения» далеко не лишены были «жизненного соку и теплоты».

И через несколько лет Герцену пришлось писать о нем иначе. «В этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса. Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником, главой партии, секты, иересиархом, бойцом. Поставьте его куда хотите, только в крайний край, анабаптистом, якобинцем, товарищем Анах. Клотца, другом Гракха Бабефа [1])—и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов.

Но здесь, под гнетом власти царской,

Колумб без Америки и корабля, он, послужив против воли года два в артиллерии, да года два в московском гегелизме, торопится оставить край, в котором мысль преследовалась, как дурное намерение, и независимое слово, как оскорбление общественной нравственности. Вырвавшись в 1840 году из России, он в нее не возвращался до тех пор, пока пикет австрийских драгун не сдал его русскому жандармскому офицеру в 1849 году».

---

1) Анахарсис Клотц—крайний революционер во время Великой французской революции; казнен вместе с Гебером и Шометом в 1794 году. Гракх Бабеф—великий революционер, основатель революционного коммунизма; казнен в 1796 году.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БАКУНИН ЗА ГРАНИЦЕЙ.

1. БЕРЛИНСКАЯ ЖИЗНЬ БАКУНИНА.

Итак, Бакунину удалось, наконец, осуществить свою давнишнюю мечту, вырваться из гнетущей атмосферы николаевской России, уйти от опошляющих кружковых дрязг и приобщиться к самому источнику немецкой философии.

Едва вырвавшись из угнетающей петербургской обстановки, едва очутившись на пароходе, Бакунин уже начинает освобождаться от тягостного впечатления этих мелочных дрязг и даже сверху вниз смотреть на их участников. «Да, милые, добрые друзья, — пишет он своим родным в письме от 4 июля 1840 г.,—все глупое, пошлое и мелочное, все это исчезло из моей памяти. Осталось только существенное, только то, что действительно входило в мое развитие, в мою внутреннюю жизнь». Впоследствии же, когда он решительно стал на революционный путь, Бакунин уже с нескрываемым чувством своего превосходства вспоминал о своих «московских друзьях», которые, говоря его словами в письме от 8 — 20 ноября 1842 года из Дрездена, «впрочем, совершенно вышли из моей памяти, как предмет, недостойный моего внимания, и о которых мне здесь, в моем кругу, при моих занятиях и при моем направлении, право некогда и нет ни малейшего повода думать, потому что они мне все, извините мне эту гордость, являются как маленькие букашки».

А еще позже, уже помирившись с Боткиным и Белинским, написавшими ему дружеские письма под впечатлением статьи Жюля Елизара (см. ниже), Бакунин, освободившийся, как ему казалось, от «теорий» и ставший на почву «практического дела», да еще революционного, с добродушной насмешкой вспоминает о бесконечных и бесплодных «спорах» и словопрениях тогдашних российских либеральных и радикальных интеллигентов.

«Что Москва?—пишет он брату Павлу весною 1843 года.—Может быть, ты теперь в ней? Что Елагины? Грановский, старые, молодые профессоры? Болтают, чай, не на живот, а на смерть, конструируют от нечего делать, братец ты мой! Эх, народец!»

Насмешку над абстрактной болтовней русских о свободе и идеалах мы встречаем и в письме Бакунина к Эмме Гервег от 18 октября 1847 года из Парижа. «Разве,—пишет там Бакунин,—вы не устали от русских, и разве вам не надоело это бесплодное воодушевление, эта платоническая любовь к свободе, прекрасные мечтания, уносящие в голубую высь всех этих симпатий и стремлений, которые только там, далеко, в Турции, да и то едва ли через два-три столетия, найдут свое осуществление?»

Все это происходило позже. В рассматриваемый же нами момент сам Бакунин был еще вполне во власти отвлеченных «теорий» и беспредметных порывов, хотя и отличался от большинства друзей своим бурным революционным темпераментом.

Уезжая за границу, Бакунин вряд ли ставил себе какие либо определенные политические цели. Он хотел только основательно заняться своим самообразованием, а в особенности ознакомиться с тогдашней немецкой наукой и в частности с философией. Если судить по его письмам к отцу, написанным до от'езда за границу, Бакунин в то время мечтал еще об ученой карьере и надеялся современем вернуться в Россию и там получить профессорское место [1]). Но, конечно, не эти

[1]) Что Мишель уже тогда не был „зеленым студентом“, а человеком со сложившейся мыслью, видно хотя бы из отзыва, который дал о нем Грановский, встретившийся с ним осенью 1839 г. и бывший тогда уже солидным ученым. Бакунин просил Грановского растолковать ему какое-то место из „Логики“ Гегеля, но из завязавшейся между ними беседы по философским вопросам выяснилось, что молодой Бакунин в философском отношении опередил будущего популярного московского профессора. Какое впечатление произвел тогда Бакунин на несклонного к увлечениям и преувеличениям, уравновешенного Грановского, видно из письма последнего к Станкевичу. „В науке,—писал Грановский,—он может совершить великое (без тебя он много сделал истинно спекулятивный талант), но в сферах деятельной жизни он никуда не годится. Для него нет суб'ектов, а все об'екты. Чудная натура! Может быть, без этих недостатков она не была бы так сильна. Любить его теплым чувством нельзя, но он у каждого вынудит удивление, уважение и участие. Что из него будет? Дай бог ему скорее попасть в Берлин, а оттуда в определенный круг деятельности—иначе его убьет внутренняя работа. Разлады с собою и с миром у него каждый день сильнее“.

практические соображения занимали молодого Бакунина; его неотразимо влекли к себе чисто-идейные интересы, желание увидеть воочию немецких профессоров, познакомиться с ними, дышать с ними одним воздухом, слушать их живое слово, приобщиться к европейской науке и жизни, представлявшейся особенно заманчивою из той глухой тюрьмы, в которую Николай I превратил тогдашнюю Россию.

В письме к родным из Гамбурга от 8/20 июля 1840 года Бакунин так формулирует свои ожидания от поездки в Германию: «Теперь спешу в Берлин, где должна начаться моя новая жизнь. Я уверен, что мне будет хорошо там, потому что я всей душою предамся науке, *а наука для меня не только одно отвлеченное знание, но и жизнь вместе...* [1]). Мне было нехорошо, я был болен и чувствую теперь, что мне необходимо крещение, я жду этого возрождения в Берлине и, кажется, найду в нем то, чего ищу».

Германия произвела на Бакунина «чудное впечатление». «Она даст мне то, что мне нужно,—пишет он родным.—Я достигну в ней своей цели». После трехмесячного пребывания в Берлине энтузиазм Мишеля не угас. «Скоро начнутся лекции,—пишет он родным в середине октября 1840 г.—Я примусь живо, весело и крепко за работу. Она уж и теперь славно идет. Логику я понимаю и буду еще лучше понимать. Мне легко и весело на душе. Здесь можно все узнать, и я все узнаю». Он узнал больше, чам даже рассчитывал...

Теперь даже трудно представить себе, с каким страстным интересом тогдашняя русская передовая молодежь относилась к немецкой философии и в частности к гегельянству. Красноречивое описание этого увлечения оставил нам Герцен. И можно представить себе, какой энтузиазм проявлял в этой области пылкий двадцатишестилетний Бакунин, и с каким чувством он вступил в храм науки в Афинах-на-Шпрее, куда он рвался с первых моментов своего сознательного существования. Он бегал на лекции, читал, спорил, волновался и вообще переживал медовый месяц своей образовательной жизни. Кат-

---

[1]) Курсив мой.

ков [1]), слушавший лекции в берлинском университете одновременно с Бакуниным и И. Тургеневым, оставил нам описание тогдашнего житья-бытья русских студентов в Берлине и того увлечения, с которым они относились к своему делу. Особенным успехом из числа профессоров пользовался тогда среди русских слушателей Вердер, учитель Станкевича и Грановского. Его призывы к благородному мышлению и свободному творчеству, несмотря на их абстрактную форму, сильно действовали на впечатлительных юношей и приводили их в экстатический восторг [2]). В честь любимых профессоров молодежь устраивала факельцуги, при чем Бакунин принимал в них самое горячее участие и кричал «hoch!» («ура») громче всех.

Вскоре по приезде в Берлин он написал Герцену большое письмо (23 октября 1840 г.), по которому мы можем судить о его тогдашней жизни. «Вы, верно, захочете знать,—писал он,—как я провел эти три месяца. Большая часть времени была посвящена заботам. Сестра, о которой я уже тебе говорил, здесь с сыном, и к тому же больная, так что в продолжение

---

[1]) После ссоры 1840 г. Катков, видимо, помирился с Бакуниным; по крайней мере, в 1841 г. он рекомендовал его Краевскому, как человека, могущего писать философские статьи для „Отечественных Записок“.

[2]) Разумеется, Бакунин поспешил свести личное знакомство с Вердером. „Мы познакомились с Вердером,—пишет он уже в письме от 9 августа 1840 г., т.-е. недели через две по приезде в Берлин.—Это прекрасный человек. Он был у нас несколько раз“. Повидимому, Бакунин своим бурнопламенным темпераментом столь же сильно поразил мирного германского профессора, как раньше в Москве—Грановского. В письме от 22 октября—3 ноября 1841 г. Мишель, рассказывая о своем визите к Вердеру, по возвращении в Берлин из Дрездена, пишет: „Был у Вердера, который встретил меня с открытыми об'ятиями, говоря, что ему давно было нужно видеться со мною, для того, чтобы освежиться в моей Rücksichtslosigkeit (т.-е. беспардонности, как впоследствии выражался сам Бакунин; А. Корнилов почему-то переводит здесь „неуважении“!)... Я от него многого, многого ожидаю. Его Логика (напечатанная до Quantität) — глубокая вещь: она воскресила систему Гегеля, которая в старых представителях своих, как философия, чуть было не заснула на своих лаврах, а в новых представителях пустилась в аферы, т.-е. в критику, а критика по натуре своей противоречит свободному и глубокому спекулятивному мышлению“. Отсюда мы кстати видим, что *вначале Бакунин под влиянием школьной науки относился весьма отрицательно к левым гегельянцам и к их критической работе.*

некоторого времени я боялся даже за ее жизнь» [1]). В этом письме, с одной стороны, отразился его еще прочный тогда идеализм. «А что, Герцен, вот и Станкевича нет; единственный человек, одно непосредственное присутствие которого заставляло верить в идею,—этот человек оставил нас; его смерть еще более убедила меня в необходимости бессмертия индивидуального духа» [2]). Вместе с тем, в Бакунине сильна была глубокая вера в науку, под которой подразумевалась тогда, главным образом, философия да еще в ее идеалистической, гегельянской форме: «Веришь ли или сомневаешься? Я думаю, что и то, и другое вместе,—это общее состояние духа. Приезжай скорее сюда; наука разрешит все сомнения или, по крайней мере, покажет путь, на котором они должны разрешиться». С другой стороны, в нем уже намечается интерес к политической жизни Германии и некоторое недовольство ее пустотой: «Немцы ужасные филистеры; если бы 10-я часть их богатого духовного сознания перешла в жизнь, то они были бы прекрасные люди, но до сих пор—увы!—пресмешной народ. Вот тебе две надписи, прочитанные мною на домах во время последних празднеств. На одной нарисован прусский орел, а под ним портной гладит, под портным же написано:

Unter deinen Flügeln
Kann ich ruhig bügeln [3]).

«А на другом транспаранте:

Es lebe hoch das Königspaar
Und, wenn es möglich ist, zwei tausend Jahr.

---

[1]) Речь идет о сестре Мишеля Варваре Дьяковой, на руках которой скончался в ночь с 24 на 25 июня 1840 г. в Нови Н. Станкевич и которая после того переехала в Берлин, где встретилась с братом.

[2]) В письме к родным от 9 августа 1840 г. Бакунин говорит. „Станкевич, этот святой, благородный человек, нас оставил. Я не знаю, как, но его смерть не угнетает меня,—напротив, она внушает мне возвышенную веру и крепость. Его бессмертный дух парит над нами—он передал нам священное значение и неизмеримо глубокий смысл своей жизни, как бы единую цель, к которой мы все теперь должны стремиться, и которой осуществление будет неисчерпаемым источником душевной любви и неги. Он к нам ближе теперь, чем когда-либо, он нас не оставил“ и т. д.

[3]) Под твоими крыльями я могу спокойно гладить.

Doch wenn es auch unmöglich scheint,
So ist es doch recht gut geméint [1]).

«А на третьем:

Ein preussisch Herz, ein gutes Bier,
Was wollen Sie noch mehr von mir? [2])

«и много других различных острот».

Несмотря на «великие и многосложные заботы» (выражение самого Бакунина), он за упомянутые три месяца успел прочесть и крепко усвоить «Логику» Гегеля до «количества» (Quantität) и познакомился с некоторыми видными берлинскими профессорами, в том числе с упомянутым учеником Гегеля—Вердером [3]). По уже цитированному письму к Герцену можно судить, что Бакунин собирался слушать следующие курсы:

Werder (Вердер) I. Логика. История новой философии.

Hotho (Гото). Эстетика.

Vatke (Ватке). Очеловечивание бога (Menschenwerdung Gottes).

Физика,

а также хотел заниматься фехтованием и верховой ездой.

По всей вероятности, именно эти лекции он и слушал, относясь к своему делу с большой аккуратностью и усердием. Дома же, кроме этого, он изучал новейшую историю.

---

[1]) Да здравствует королевская чета, если возможно, тысячу лет. А если это кажется невозможным, то все же пожелание подсказано хорошим чувством.

[2]) Прусское сердце, хорошее пиво, чего вам больше нужно?

[3]) Кроме проф. Вердера, Бакунин познакомился также с известным тогда философом Шеллингом. Знакомство это состоялось 17/29 октября 1841 г. по возвращении Мишеля из Дрездена. В цитированном выше письме о визите к Вердеру Бакунин рассказывает и о посещении им Шеллинга: „Отправился к Шеллингу для того, чтобы взять у него номер (повидимому, для посещения лекций—*Ю. С.*)... Говорил с ним о моих занятиях, о том, что он будет читать,—все это в продолжение получаса. Он пригласил меня приходить к нему, и я постараюсь поближе познакомиться с ним... Вы не можете вообразить себе, с каким нетерпением я жду лекций Шеллинга. В продолжение лета я много читал его и нашел в нем такую неизмеримую глубину жизни, творческого мышления, что уверен, что он и теперь откроет нам много глубокого“. Эти ожидания Бакунина и высокая оценка, которую он дает произведениям Шеллинга, лишний раз показывают, как далеко Бакунин стоял тогда от левого гегельянства и вообще от критической философии.

Некоторое понятие об умственных интересах и занятиях Бакунина дает его переписка с родными, относящаяся к этому периоду [1]).

Превратившись в германского студента «для избежания многих неприятностей и для свободного слушания лекций» [2]), Бакунин свел «несколько хороших знакомств» как с немцами, так и с проживавшими в Берлине русскими (особенно сдружился он с И. С. Тургеневым) и принялся за работу.

Но у Бакунина работа не имела абстрактного, от жизни оторванного, гелертерского характера. Она была тесно связана со всеми устремлениями его внутренней природы, с его бесформенным, но живым и горячим порывом к чему-то великому и высокому, словом, с невыяснившимися устремлениями к революционной деятельности. Сообщая в письме от 4—16 ноября 1840 года сестрам о своих усиленных занятиях, Мишель спешит прибавить: «Мои занятия не есть педантическое собирание полезных, но мертвых знаний, а религиозное и искреннейшее стремление всего моего существа к истине». Уже тогда, надо полагать, и для него самого ясно было, что ученой карьеры не видать ему никогда, да для нее он и не был создан. Его ждало другое будущее, более славное.

Утро и время после обеда уходили у него на слушание лекций и домашние занятия. Занимался он, разумеется, преимущественно философией, но интересовался и другими предметами, так как в течение 1841 года круг его идейных интересов расширился. В письме от 22 октября—3 ноября 1841 г. он сообщает, что в 1842 году собирается слушать логику у Вердера, «философию откровения» у Шеллинга, историю нового времени у Ранке и, кроме того, будет заниматься *политическою экономиею* и латинским языком. Обращаем внимание читателя на это первое упоминание Мишелем о политической экономии: достаточно было ему провести год за границей, чтобы у него пробудился интерес к социальным вопросам, которые до тех пор стояли в стороне от его внимания.

---

[1]) Опубликовано во втором томе работы покойного А. Корнилова, вышедшем в издании Ленгиза в 1925 году под заглавием „Годы странствий Михаила Бакунина“. Ценность этого сборника интересных документов из премухинского архива теряет от того, что А. Корнилов, подобно другим русским исследователям Бакунина, не знаком с иностранной литературой предмета.

[2]) Письмо к родителям от 30 октября—11 ноября 1840 года.

В другом письме, относящемся к тому же времени [1]), Мишель сообщает, что всю дорогу от Дрездена до Лейпцига читал книгу известного христианского демократа аббата Ламеннэ «Политика народа» и восторгался ею. Во время чтения этой книги, пишет Мишель, ему пришло в голову «много хороших мыслей о том, как теперь должно заниматься историей и политикой. Нынешнею зимою,—прибавляет он,—я непременно стану осуществлять их. И это занятие мне тем ближе к сердцу, что именно теперь настало время, когда политика есть религия и религия—политика». То обстоятельство, что такие мысли пришли на ум Бакунину именно после прочтения книги аббата Ламеннэ, осуждавшего, хотя и с христианской точки зрения, тяжелое положение пролетариата в буржуазном обществе [2]), показывает пробуждение в Бакунине интереса к социальным и политическим вопросам, а его определение политики и религии, с другой стороны, показывает, как мало религии было в том, что называл этим именем Мишель и что в сущности было политикой, но в соответствии с тогдашними общественными условиями России облекалось в своеобразные мистические формы.

В письме, датированном 20 января—4 февраля 1842 года, мы видим дальнейший шаг вперед: от слов Бакунин переходит к делу. «Занимаюсь философией, историей и политической экономией», — сообщает он. Повидимому, знакомство с радикальной публикою (Бакунин упоминает только А. Руге и Стрюбинга-Мюллера) толкнуло его в сторону общественных наук. В письме от 6 ноября 1842 года он сообщает о чтении известной книги Лоренца Штейна о социалистическом и коммуни-

---

[1]) Письмо к сестре Варваре и брату Павлу (также приехавшему в Берлин для занятий по философии) от 15—27 октября 1841 г.

[2]) Симпатию к Ламеннэ Бакунин сохранил и позже, когда стал уже анархистом. В одной неопубликованной рукописи он пишет про него: „Ламеннэ... подобно де-Местру начал с ортодоксального и фанатического католицизма. Затем он впал в велеречивый деизм, весьма схожий с деизмом Маццини, на которого он бесспорно повлиял. Но более счастливый, чем Маццини, наученный страшными событиями, июньской революцией (1848 г.), свидетелем которой он был и значение которой он понял лучше Маццини, он к концу своей жизни открыто стал революционным социалистом, а если бы он жил дольше, то, без сомнения, сделался бы таким же, как мы, материалистом и атеистом". Цит. у Max-Nettlau—„Der Vorfrühling der Anarchie", Berlin, 1925 г., стр. 200.

стическом движении во Франции. Впрочем, это относится уже к тому моменту, когда Бакунин окончательно решил стать на революционный путь, не возвращаться в Россию и сделаться политическим эмигрантом (об этом ниже) [1]).

С берлинской жизнью знакомил Бакунина, Тургенева и других русских, приезжавших в Германию получить философское крещение, Мюллер-Стрюбинг, в начале 30-х годов приговоренный к смертной казни, замененной ему 5-летним тюремным заключением, за участие в тайных студенческих обществах и амнистированный в 1839 г. [2]).

Описывая тогдашнее настроение русских берлинцев, Герцен говорит: «Знание Гете, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. *Философия* музыки была на первом плане. Разумеется, о Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как, напр., «Всемогущество божие», «Атлас» и т. п. Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое» [3]).

Виргилий философского чистилища, как называет Герцен Мюллера-Стрюбинга, вводил северных неофитов в берлинскую жизнь и разом открывал им двери в святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipes (чистого мышления и немецкого кабака). Русские с наслаждением бегали за своим руководителем в душные пивные; буршикозная жизнь приводила их

---

[1]) В письме из Цюриха от 13—25 мая 1843 г. Мишель советует брату Павлу заниматься политической экономией. „Прочти всего Сея, Адама Смита, все, что можешь. *Теперь я почти единственно занимаюсь только этим*“. Впрочем, из позднейших его признаний видно, что особенно много он в этом отношении не преуспел.

[2]) Впоследствии (после 1848—9 г.) эмигрант и друг Герцена, подробно им описанный (между прочим, под инициалами М.-С.).

[3]) Что насчет „политического“ Герцен преувеличивает, видно из того, что несколькими же строками ниже он сообщает о распевании вольнодумных стихотворений.

в восторг, и скверный табачный дым Германии был им сладок и приятен. Особенно славилась тогда в Берлине учено-литературная пивная Стеели. Здесь, окруженный отставными актерами и начинающими писателями, а также русскими, Мюллер-Стрюбинг по целым часам проповедывал о Каульбахе и Корнелиусе, о том, как пел в этот вечер Лаблаш в королевской опере, о том, как мысль губит стихотворение и портит картину, убивая их непосредственность. Постоянными посетителями кабачка были Ауербах и несколько берлинских профессоров, одно лицезрение которых было уже верхом блаженства для тогдашних русских. Помимо философских споров, посетители пивной занимались еще декламированием вольнодумных стихотворений. И русские, попавшие впервые за границу, чувствовали себя в этой атмосфере, как на седьмом небе.

Кроме того, Бакунин и другие русские собирались довольно часто у кого-нибудь из своих для чтения вслух или для бесед на различные темы. Читались как новые литературные произведения, так и главным образом произведения классические, напр., сочинения Шекспира—последние под руководством того же Мюллера-Стрюбинга [1]). Что касается бесед, то в общем тон их был еще самый умеренный. На вечере у одной образованной русской дамы (Е. П. Фроловой) Станкевич поднял вопрос о крепостном праве, но в духе далеко не революционном. Он высказал уверенность, что правительство рано или поздно снимет с народа крепостное ярмо, но народ и тогда не будет способен к участию в управлении общественными делами в виду умственной отсталости, а потому прежде, чем говорить о привлечении масс к государственному управлению, надлежит желать освобождения крестьян и распространения в их среде образования (из воспоминаний Неверова, «Р. Ст.»). Таких же умеренных взглядов на крестьянский вопрос держался в то время и Тургенев; да и сам Бакунин (по свидетельству своего товарища по берлинскому университету, остзейского барона Б. У. Ф., «Р. Ст.», 1884, май), заходивший в своих желаниях гораздо дальше Тургенева, смотрел на освобождение крестьян, как на дело далекого будущего.

---

[1]) См. письма Бакунина от 4—16 дек. 1840 г. и от 23 янв.—4 февр. 1842 г.

2. ПРОБУЖДЕНИЕ В БАКУНИНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ.

В Берлине Бакунин особенно сдружился с Тургеневым. Поселившись вместе на одной квартире, недалеко от сестры Варвары, Тургенев и Бакунин вместе бегали на лекции, на концерты (оба страстно любили музыку), участвовали в общих чтениях и беседах, а чаще всего занимались и беседовали вдвоем, как говорит Мишель, «обо всем, и о серьезных, и смешных, и трогательных предметах». Что Мишель произвел на Тургенева такое же сильное впечатление, как и на других своих друзей, видно из письма Тургенева от 8 сентября 1840 года [1]), где он писал:

«Как для меня значителен 40-й год! Как много я пережил в девять месяцев!.. Я приехал в Берлин, предался науке,— первые звезды зажглись на моем небе—и, наконец, я узнал тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич—и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан, я едва ли могу сказать—и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и недовольно еще утихли, чтоб вылиться в слова... Michel! Нам надо будет заняться древними языками. Нам надо будет работать, усердно работать в течение зимы. Я надеюсь, мы проведем ее прекрасно. Университет, занятия, а вечером будем сходиться у твоей сестры, ходить слушать хорошую музыку, составим чтения; Вердер будет к нам приходить. Постой, дай перечесть, сколько месяцев наслаждения, с 1 октября по 1 мая—7 месяцев, 210 дней. Весной я должен ехать в Россию—непременно. Но осенью я снова возвращусь. Ты дай мне письма к своим: как я желаю хоть видеть их. Скажи им обо мне, как о человеке, который тебя любит: больше ничего [2]). Ты не поверишь, как я счастлив, что могу говорить тебе «ты». У меня на заглавном листе моей Энциклопедии написано: Станкевич скончался 24 июня 1840 г., а ниже: я познакомился с Бакуниным 20 июля 1840 г. Изо всей моей прежней жизни я не хочу вынести других воспоминаний. У меня всего было два друга—и первого звали Michel. Он умер:

---

[1]) Напечатано в декабрьской книжке „Русской Мысли“ за 1912 г. и перепечатано у Корнилова—„Годы странствий“, стр. 51.

[2]) В России Тургенев действительно сошелся с родными Бакунина, при чем у него даже разыгрался в 1842 г. неудачный роман с сестрой и любимицей Мишеля, Татьяной.

мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет—и он умер. Но ты будешь жить, и я буду жить, и, может быть, оба недаром».

С своей стороны Мишель, в письме к братьям и сестрам от 3—15 мая 1841 г., оповещая их о предстоящем от'езде Тургенева в Россию, следующим образом выражался о своем новом друге: «После вас, Бееровых[1]) и Станкевича он—единственный человек, с которым я действительно сошелся. Назвав его своим другом, я не употребляю всуе этого священного и так редко оправдываемого слова. Он делил с нами здесь и радость, и горе. В продолжение целой зимы мы жили с ним почти в одной комнате, целые дни от 6 час. утра и до позднего вечера были неразлучны и работали вместе—и это не только что не ослабило, но, напротив, укрепило нашу связь. Каждый вечер проводили мы вместе с Варенькою и втроем с нею пережили чудные минуты. Варенька говорит, что она полюбила его как брата. От него у нас не было ни одной тайны... Я знаю, вы его полюбите».

Тургенев, повидимому, преувеличивая те средства, которыми он при жизни матери мог располагать, несколько легкомысленно обещал Бакунину дать ему взаймы столько денег, сколько Мишелю и брату его Павлу (тоже собиравшемуся за границу) нужно будет для прожития в течение известного, довольно продолжительного, времени. Братья обязывались вернуть долг, когда будут обладать собственным имением. Впоследствии, отчасти на почве излишнего доверия к обещаниям Тургенева, Бакунину, впавшему в неоплатные долги, пришлось пережить немало мучительных минут. Это, впрочем, не ослабило его личной приязни к Тургеневу. Даже после того, как Бакунин окончательно решил стать на путь революционной борьбы, и выяснилась глубокая пропасть, лежавшая между новыми воззрениями Бакунина и умеренными взглядами Тургенева, Мишель в «Инструкции Тургеневу», составленной перед возвращением последнего (вместе с Павлом Бакуниным) в Россию в ноябре 1842 года, расставался с ним в следующих прочувствованных выражениях:

«Прощай и ты, друг! С тобой мы еще дольше не увидимся. Мы идем совершенно разными, противоположными путями. Не

---

[1]) Бакунин всегда употреблял фамилию Беер в таком руссифицированном виде.

позабывай меня—я тебя никогда не позабуду, никогда, никогда не перестану действительно, конкретно любить тебя и верить тебе. Когда ты позабудешь, я подумаю, что ты умер. Хорошо, что мы еще раз виделись; мы узнали друг друга,—и я уверен, что где бы нам ни пришлось встретиться, в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы пожмем друг другу руку. Неужели мы в самом деле не увидимся прежде пяти лет? Как мы тогда увидимся? Что расскажем друг другу? Может быть, много горького,—может быть, неудачи, несчастья? Но я уверен, что мы проживем жизнь нашу человечески, — и это главное. Это наша обязанность. Остальное зависит от случая или от провидения,—не знаю, но только не от нас самих. Итак, дай мне еще раз руку!»

Бакунину пришлось свидеться с Тургеневым лишь через много лет после написания этих прочувствованных строк. Но когда Бакунин сидел в царских тюрьмах, Тургенев выпустил роман «Рудин», в котором изобразил Бакунина в довольно отрицательном свете, с своей точки зрения чрезвычайно умеренного помещика-обывателя. Окончательно разошлись старые друзья в 60-х годах, когда выяснилась полная непримиримость их политических взглядов и общественных симпатий [1]).

А пока что, проживая в Берлине в 1840—1841 г.г., оба приятеля стояли приблизительно на той же точке зрения и имели общие интересы, в гораздо меньшей степени политические, чем чисто философские и литературные. Впрочем, только приблизительно, ибо то, что для людей, подобных Тургеневу, было только известного рода духовным гурманством, Бакунинным переживалось чрезвычайно глубоко и постепенно производило в его душе полный переворот. Уже в том письме, где Бакунин говорит о готовности Тургенева ссудить ему деньги, т.-е. через несколько месяцев пребывания в Берлине, Бакунин сообщает брату о процессе внутреннего перерождения, который в нем совершается.

«Во мне,—пишет Мишель,—происходит новый переворот. Я вступил в новую фазу, пыль спадает, и в душе моей устанавливается ясность и сила. Нынешней зимой я жил полною значения жизнью. Возрождение, которого я так жаждал,

---

[1]) На этой почве Тургенев, впрочем, разошелся тогда не только с крайним Бакуниным, но и с более умеренным Герценом.

уже начинает мощно сказываться в моей душе. Старческое настроение, столь меня угнетавшее, прошло. Я снова чувствую себя юным и полным жизни; моя старая вера и сила как бы снова оживают, и все это усилено и обогащено рассудительностью, которую я приобрел в труднейшие часы моей жизни[1]). Жизнь прекрасна, хотя тяжела, и именно потому, что она тяжела, она прекрасна и истинна. Вера и мужество—вот ее лозунги, мужество в последовательности. Да охранит нас бог от всякого жалкого примиренчества: лучше быть последовательно абстрактным, чем преуспевать в конкретном мире с помощью этого немощного примиренчества».

Все это, конечно, чрезвычайно неопределенно, но свидетельствует о воскресении старой веры Бакунина. Эта вера скоро должна была найти под собою почву, на которой «абстрактные» порывы к свободе и торжеству разума сочетаются с правильным пониманием «конкретной» действительности. Такое примирение обоих начал Бакунин скоро нашел на почве революционной критики действительности и борьбы с царящим режимом.

В своей, уже цитированной нами, «Исповеди» перед Николаем I Бакунин подтверждает, что в первое время своего пребывания за границей он относился довольно безразлично к политическим вопросам и стал увлекаться ими лишь по мере своего разочарования в идеалистической философии.

«В первом году моего пребывания за границею и в начале второго, — говорит Бакунин,—я был еще чужд, равно как и прежде в России, всем политическим вопросам, которые даже презирал, смотря на них с высоты философской абстракции. Мое равнодушие к ним простиралось так далеко, что я не хотел даже брать газет в руки. Занимался же науками, особенно германскою метафизикою, в которую был погружен исключительно, почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя, кроме категорий Гегеля. Впрочем, сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и тщетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и

---

[1]) У А. Корнилова (а также у В. Полонского, который обыкновенно заимствует у него перевод, не справляясь с оригиналом) это место, как и многие другие, переведено неверно.

скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье. Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жальче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами. Она мне, наконец, опротивела, я перестал ею заниматься. Таким образом, излечившись от германской метафизики, я не излечился, однако, от жажды нового, от желанья и надежды снискать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действий. Несчастная мысль не возвращаться в Россию уже начинала мелькать в уме моем: я оставил философию и бросился в политику».

Указание Бакунина на то, что в первый год своего пребывания за границей он не брал даже в руки газет, опровергается его же собственными письмами. Так, в письме от 28 августа—9 сентября 1840 года, т.-е. очень скоро после приезда в Берлин, Мишель сообщает, что он ежедневно ходит в кондитерскую и читает там газеты. Аналогичное указание мы встречаем в письме от 15—27 октября 1841 г., в котором Бакунин рассказывает, что, приехав в Галле и побывав там у проф. Шаллера [1]), он вслед затем «пошел читать газеты, прочитал все старое и новое». Последнее сообщение относится, впрочем, уже к периоду знакомства с А. Руге, которое, несомненно, оказало на Бакунина известное влияние в смысле его полевения не только философского, но и политического.

С Арнольдом Руге, одним из тогдашних литературных вождей философского и политического радикализма, Бакунин познакомился осенью 1841 года в Дрездене, куда он приехал вместе с сестрой Варварой и братом Павлом после трехмесячного пребывания в Эмсе. Руге произвел сильное впечатление на Мишеля, к тому времени далеко еще не освободившегося от неопределенности философских и политических воззрений и лишь нащупывавшего свою жизненную дорогу. «Я,—пишет Бакунин в письме к родным от 22 октября—3 ноября 1841 г.,—

---

[1]) Этот Шаллер написал книгу против сочинения Д. Штрауса о Христе. Бакунина Шаллер „не вполне удовлетворил“ (письмо от 22 октября—3 ноября 1841 г.). Еще бы, Мишель начал уже „леветь“.

познакомился в Дрездене с доктором Руге, издателем Deutsche (прежде они назывались Hallische) Jahrbücher [1]). Он—интересный, замечательный человек; замечателен более как журналист, как человек необыкновенно твердой воли и ясностью своего рассудка, чем спекулятивною способностью. Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического. Разумеется, что вследствие этого он впадает в большие односторонности во всем, что касается религии, искусства и философии. Но во многих других отношениях эта односторонность и абстрактное направление его приносит немцам большую пользу, вырывая их из гнилой, золотой и неподвижной середины, в которой они так давно покоятся».

Если сначала Руге показался Бакунину чересчур радикальным и «односторонним», то постепенно эти взаимоотношения коренным образом изменились. Руге застыл на позиции буржуазного, философского и политического радикализма, вдобавок весьма умеренного, тогда как Бакунин быстро шел вперед и начал склоняться к радикализму и в социальных вопросах. Года через три они на этой почве резко разошлись, но и до того, уже через год после их первого знакомства, пылкому Мишелю пришлось спасать Руге от пессимизма и толкать его в сторону более радикальных решений. Так, в письме к брату Павлу и Тургеневу, относящемся к середине ноября 1842 года, Бакунин сообщает: «Вчера был у меня Руге целый вечер... Путешествие в Берлин было ему очень полезно: он испытал и знает теперь всю пустоту и безысходность негативных теоретиков. Он совершенно освободился от теоретического опьянения, в котором так долго пребывал, и видит действительность во всей ее жалкой наготе. Вчера он пришел ко мне унылый, с поникшею головою и с самыми черными мыслями. Я ободрил, оживил его; я сказал ему, что именно теперь настало время, где он должен доказать самому себе, что его твердость—действительная твердость, и что его вера и его призвание—действительные вера и призвание. Доказал ему, что переход из ложного и обманчивого мира теории необходимо должен быть сопряжен с болью и страданием; напомнил ему фразу из своей статьи: партия отрицания должна от неопределенной сферы фантазии обратиться к действительности,—к той действитель-

---

[1]) „Немецкий (прежде Галльский) Ежегодник“. В этом именно журнале через год и появилась первая революционная статья Бакунина.

ности, в которой она должна жить, *страдать* и, в конце концов, победить. Он согласился, что мои пророчества сбываются. Мы много говорили о том, что мы должны вновь переучиваться и начать реформу с самих себя; что мы должны сами освободиться и начать новую жизнь для того, чтобы освободить других и влить в них новую жизнь. Мы с ним в первый раз так горячо, плодоносно и тепло говорили, и оба чувствовали, что мы расстались друзьями. Он решился дать Deut. Jahrb. (Немецкому Ежегоднику) новое, совершенно другое направление,—и я обещал ему работать и помогать ему, сколько могу и как умею. Видите, друзья, работы много, деятельность предстоит широкая!»

Здесь Бакунин выступает перед нами в качестве человека, уже достаточно сформировавшегося, склонного к радикализму не только в теории, но и на практике. Однако процесс, посредством которого Бакунин за два года из правоверного гегелианца и более или менее индифферентного к политике человека превратился в революционера как в философской, так и в политической области, для нас неясен. Та переписка, которая сохранилась в премухинском архиве и в значительной своей части опубликована во второй книге А. Корнилова («Годы странствий Михаила Бакунина»), не дает возможности выяснить этот вопрос с большей или меньшей степенью достоверности. Письма Бакунина к его заграничным друзьям и знакомым, по крайней мере, те, которые в настоящее время известны, начинаются с 1843 года, т.-е. относятся к периоду, когда он уже стал революционером и эмигрантом. То, что он сообщает об изменении своего миросозерцания в «Исповеди», также недостаточно и содержит очень мало конкретных и точных указаний. Одно можно с уверенностью сказать, а именно, что под влиянием воспоминаний о виденном в России и впечатлений от Европы в течение 1841 и первой половины 1842 года воззрения Бакунина начинают постепенно принимать все более определенные очертания, развиваясь в сторону политического радикализма. С одной стороны, тут действовали условия тогдашней русской жизни, которые делали всякого честного и активного человека революционером, с другой—тогдашняя обстановка европейской жизни, шедшей на всех парах к революции 1848 года.

Уже в России круг, среди которого вращался молодой Бакунин, отличался передовыми стремлениями. В какую бы

туманную философскую оболочку ни кутали люди 30-х и 40-х годов свои взгляды, они во всяком случае об'ективно были оппозиционны царившему самодержавию и особенно враждебны крепостному праву, сковывавшему развитие России. Если Белинскому понадобилось несколько месяцев жизни в Петербурге, вблизи источников самодержавной мерзости, для того, чтобы раз навсегда отрешиться от своих наивно-квиетистских взглядов и от своего политического безразличия, то Бакунину для этого тоже потребовалось не особенно много времени. Традиции декабристов, несмотря на жестокое подавление их движения, не заглохли среди передовых элементов русского общества. Самодержавие, православие, крепостное право—все эти основные устои тогдашней русской общественной жизни были безвозвратно осуждены в головах мыслящих русских людей. Правда, не все приходили к радикальным политическим воззрениям одинаковым путем. Кружок Герцена, например, с самого начала был проникнут духом политической оппозиции и сочувствием к французской мысли, тогда как кружок Станкевича, к которому принадлежал Бакунин, развивался под влиянием германской мысли, и участники его сначала склонялись если не к оправданию русской действительности, то к политическому индифферентизму. Но это различие скоро сгладилось, и наиболее активные члены станкевичевского кружка—Белинский и Бакунин в первую голову—приблизились по основным вопросам к взглядам кружка Герцена-Огарева. А тогдашняя русская жизнь, особенно обстановка николаевской эпохи, разгул самой дикой реакции, наступившей после подавления восстания 14 декабря 1825 года и еще обострившейся после революции 1830 года в Западной Европе и после польского восстания 1831 г., могли только питать и усиливать настроение политической оппозиции. Под тяжелым слоем льда, которым Николай I сковал Россию, все же продолжала теплиться жизнь, не потухала искра мысли, и пробивались новые, хотя и слабые ростки возрождения.

Оппозиционное настроение передовых общественных верхов отвечало непрекращающемуся волнению в крестьянских низах. Крестьянство в николаевскую эпоху, несмотря на полицейские свирепости, было далеко не спокойно. Волнения вспыхивали то в одном, то в другом месте. Слухи о воле, вопреки жестоким преследованиям и правительственным раз'яснениям, упорно распространялись среди крепостных. Особенную силу получило

крестьянское движение в 40-е годы. И у пылких людей могло создаться впечатление, что Россия находится накануне грандиозного взрыва или, по крайней мере, широкого стихийного восстания задавленных крестьян.

Впечатления европейской жизни могли только усилить это революционное настроение и ожидание близкого переворота. Европа переживала тогда критический период назревания революции. После подавления революционных движений 20-х и 30-х годов приближался новый вал, которому суждено было в 1848 году захлестнуть все европейские троны. Италия не переставала бороться за национальную независимость и об'единение; Франция бурлила как котел, подготовляя социальные выступления пролетариата; и сама богобоязненная и филистерская Германия собиралась нарушить свою репутацию лойяльности. В Германии началась и крепла борьба буржуазии против полу-феодальной монархии. В самой буржуазии выделилось левое, редикальное крыло с республиканскими тенденциями и смутно-социалистическими симпатиями, питавшимися из обильного источника утопических школ и начинавшего поднимать голову революционного коммунизма. И эта школа радикалов, особенно группа «берлинских молодых», с которыми у Бакунина установились связи, подвергла пересмотру все господствовавшие воззрения, в том числе и философскую систему Гегеля. Появилась школа «левых гегельянцев», дававшая философское выражение назревавшим революционным стремлениям.

Понятно, что при своем темпераменте Бакунин не мог остаться в стороне от этого движения. Теперь, под влиянием европейской жизни, его смутные стремления начинают оформляться.

Если в России Бакунин был просто гегельянцем, то здесь, в Берлине, он начал примыкать к левым гегельянцам, которые, как известно, не удовлетворяясь прусско-ортодоксальными выводами учителя, сделали из его положений крайние выводы. Это было время Фейербаха и «критической критики». Диалектика Гегеля, получившая двуличное применение в руках самого основателя системы, превратилась под руками его последователей в мощный таран, которым они старались разрушить все старое и противоречащее разуму.

Об этой борьбе внутри гегельянского лагеря Бакунин (после общей характеристики гегелевской философии, приведенной нами в I главе) говорит в 1873 г. следующее:

«Школа Гегеля, как известно, разделилась на две противоположные партии, при чем, разумеется, между ними образовалась и третья, средняя, партия, о которой, впрочем, здесь говорить нечего. Одна из них, именно консервативная партия, нашла в новой философии оправдание и узаконение всего существующего, ухватившись за известное изречение Гегеля: «Все действительное разумно». Эта партия создала так называемую официальную философию прусской монархии, уже представленной самим Гегелем как идеал политического устройства.

«Но противоположная партия так называемых *революционных* гегельянцев оказалась последовательнее самого Гегеля и несравненно смелее его; она сорвала с его учения консервативную маску и представила во всей наготе беспощадное отрицание, составляющее его настоящую суть. Во главе этой партии стал знаменитый Фейербах, доведший логическую последовательность не только до полнейшего отрицания всего божественного мира, но даже до отрицания и самой метафизики. Далее он итти не мог. Сам все-таки метафизик, он должен был уступить место своим законным преемникам, представителям школы материалистов или реалистов, большая часть которых, впрочем, как, например, г.г. Бюхнер, Маркс и др., не умели и не умеют освободиться от преобладания метафизической абстрактной мысли» [1]).

Бакунин быстро усвоил себе дух нового критического направления, к которому он был подготовлен всем своим предшествующим развитием, и на этой почве близко сошелся с Арнольдом Руге, которого очаровал своей простотой и умом.

Об этом периоде жизни Бакунина Герцен (конечно, с чужих слов) передает следующее: «Бакунин изумил сначала берлинских профессоров своим воодушевлением, талантом и смелостью выводов, до которых он решался доходить [2]), но скоро соскучился и разорвал с квиетизмом немецкой науки. Бакунин не видел другого средства кроме борьбы, чтобы уничтожить противоречие между мыслью и делом; он все более и более становился революционером. Он примкнул к числу молодых

---

[1]) Бакунин. „Государственность и Анархия". Петерб., 1919 г., стр. 231—232.

[2]) Это указание Герцена подтверждается приведенным выше рассказом Бакунина о его визите к Вердеру, который ждал освежения от бакунинской „беспардонности".

литераторов, которые в «Галльских Летописях» (Halle'sche Jahrbücher), редактируемых Арнольдом Руге, протестовали против бесплодной, аристократической, бесчеловечной системы понимания науки, введенной немецкими профессорами, против их бегства в область *абсолютного*, против их бессердечной невозмутимости, не желающей принимать никакого участия в трудах и тревогах современного человечества» [1]).

Впоследствии Бакунин, уже будучи революционером, в одном документе, относящемся к 1848—49 году, описал свою эволюцию от правоверного гегельянства к положительно-революционному миросозерцанию. Мы имеем в виду отобранное у него среди других бумаг при аресте 10 мая 1849 года письмо к гр Илиодору Сторчевскому в Бреславле. Вот что говорится в относящейся сюда части письма:

«Вы ошибаетесь, если думаете, что я не верю в Бога; но я совершенно отказался от постижения его с помощью науки и теории. Было время, когда я исключительно занимался одной философией. В продолжение нескольких лет подряд я не имел другой цели, кроме науки, голова моя была наполнена самыми пустыми отвлеченностями, и если бы вы меня встретили тогда, вы бы без сомнения стали смеяться над моими нелепыми претензиями и над моим непонятным разглагольствованием: я мыслил только об абсолюте и не мог произнести ни слова без самых абстрактных выражений: суб'ект, об'ект, самостановление идеи и пр., и пр. Был даже момент безумия, когда мне казалось, что я нечто понимаю и знаю; но, вернувшись вскоре к рассудку и к жизни, я, в конце-концов, убедился, что жизнь, любовь и действие могут быть поняты только посредством жизни, любви и действия. Тогда я окончательно отказался от трансцендентального знания—denn grau ist alle Theorie [2])—и, очертя голову, окунулся в практическую жизнь. Мне сдается, что вы чересчур презираете землю, мой друг. Истина, бесконечность в такой же мере обретаются в бесконечно малом, как и в бесконечно великом, и микроскоп может столь же хорошо помочь нам открыть их, как и телескоп. *Я ищу Бога в людях, в их свободе, а теперь я ищу Бога в революции* [3]). Блажен я, если смогу хоть отчасти способствовать освобожде-

---

[1]) Герцен—„М. Бакунин (письмо к Мишле)". Соч., VI, стр. 480.
[2]) „Ибо всякая теория—сера".
[3]) Подчеркнуто в подлиннике.

нию славян, освобождению моего отечества, блажен, если смогу умереть за свободу поляков и русских» [1]).

А в Исповеди (1851 г.) Бакунин, рассказав о своем разочаровании в гегелевской философии и о пробуждении в нем политических интересов, продолжает:

«Находясь в сем переходном состоянии, я переселился из Берлина в Дрезден; стал читать политические журналы. Со вступлением на престол ныне царствующего прусского короля, Германия приняла новое направление: король своими речами, обещаниями, нововведеньями взволновал, привел в движение не только Пруссию, но и все прочие немецкие земли; так что D-r Ruge [2]) не без основания прозвал его первым германским революционером,—простите, Государь, что я выражаюсь так смело, говоря о венценосной особе.—Тогда появилось в Германии множество брошюр, журналов, политических стихотворений,—и я читал все с жадностью. В это же время в первый раз услышалось слово о коммунизме; вышла книга: «Die Socialisten in Frankreich» доктора Stein [3]), произведшая почти таксе же сильное и общее впечатление, как прежде книга доктора Strauss „Das Leben Jesu“ [4]), а мне открывшая новый мир, в который я бросился со всею пылкостью алчущего и жаждущего. Мне казалось, что я слышу возвещенье новой благодати, откровенье новой религии возвышенья, достоинства, счастья, освобожденья всего человеческого рода; я стал читать сочиненья французских демократов и социалистов и проглотил все, что мог только достать в Дрездене».

3. ПЕРВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ.

Раз начавшись, эволюция взглядов Бакунина влево не останавливалась. При этом, как уже было отмечено, она шла

---

[1]) Этот документ, пересланный в копии русским посланником в Саксонии, Шрейдером, министру иностранных дел Нессельроде, а последним—шефу жандармов, имеется в „Деле“ Третьего Отделения о Бакунине (часть II). Письмо написано по-французски; мы даем его в переводе.

[2]) Д-р Руге.

[3]) Речь идет о популярной в то время двухтомной работе Лоренца Штейна—Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs, 1842 (Социализм и коммунизм в современной Франции).

[4]) Штраус—„Жизнь Иисуса“.

параллельно с общей эволюцией тогдашней европейской и особенно германской мысли, которая в рассматриваемый период переживала процесс обострения и определенного политического левения. В философских терминах тогда находила себе выражение борьба политическая, подобно тому, как в России она велась в терминах литературных. Новые политические взгляды Бакунина в резкой и определенной форме выражены были в его наделавшей шуму статье о положении дел в Германии [1]).

---

[1]) Каковы были первые литературные выступления Бакунина, в настоящее время трудно установить. Возможно, что первой его работой за рассматриваемый период была именно статья J. Elysard'a. Так можно судить и по Исповеди Бакунина. Во всяком случае знаменитая лево-гегельянская брошюра«Schelling und die Offenbarung»(„Шеллинг и Откровение"), которую с легкой руки А. Руге, так долго приписывали Бакунину, на самом деле принадлежит не ему, а Ф. Энгельсу. Эту ошибку повторил и я в своей немецкой книжке о Бакунине 1913 г. Брошюра Энгельса вышла анонимно в Лейпциге в 1842 г. Полное ее заглавие: «Schelling und die Offenbarung. Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie» („Шеллинг и Откровение. Критика новейшего реакционного покушения на свободную философию"). Она была направлена против мистицизма Шеллинга „второй манеры", которая особенно проявилась в курсе лекций, читанных философом в ноябре 1841 года. Рекомендуя Розенкранцу эту брошюру, Руге писал ему в апреле 1842 г.: „Она принадлежит русскому, Бакунину, который теперь живет здесь. Подумай только, этот симпатичный молодой человек превосходит всех старых ослов в Берлине! Но я думаю, что Бакунин, которого я знаю и очень охотно принимаю у себя, не будет рад, если станет известно, что он ее автор, хотя бы вследствие положения дел в России. Он современем уедет в Москву, может быть, в университет (профессором)". (Ruge's Briefwechsel und Tagebücher, 1886, I, стр. 273). Трудно понять, откуда произошла эта ошибка; невозможно допустить, чтобы Бакунин решился мистифицировать своего приятеля; столь же мало вероятно, чтобы он скрывал от Руге настоящее имя автора брошюры, если только его знал (а он по своим связям мог его знать). Так или иначе, но эту ошибку вслед за Руге повторили Драгоманов, Неттлау и др., которым приходилось писать о Бакунине. Ныне Густав Майер неопровержимо доказал, что брошюра о Шеллинге написана Освальдом, вращавшимся тогда в радикальных кружках (на что, между прочим, указывали Людвиг Ноак в своей книге о философии романтики и Куно Фишер в своей книге о Шеллинге), и что Освальд был никто иной, как юный Фридрих Энгельс (ему тогда было 22 года). См. Gustav Mayer. Ein Pseudonym v. Friedrich Engels (Archiv für die Geschichte des Sozialismus und die Arbeiterbewegung, 1913 г., 1 Heft, стр. 86—89) и предисловие Н. Рязанова к переписке Маркса и Энгельса, начатой печатанием в приложении к „Совр. Миру" за 1914 г.; см. также 2-ой том сочинений Маркса и Энгельса под ред. Д. Рязанова, ГИЗ, 1923.

Статью эту он напечатал в журнале Руге, сначала издававшего в Галле «Hall'esche Jahrbücher», а затем, после закрытия этого свободомыслящего и радикального издания прусским правительством, основавшего в Дрездене прямое его продолжение под названием Deutsche Jahrbücher». В №№ 247—251 от 17—21 октября 1842 г. этого журнала (стр. 985—1002) и появилась знаменитая статья Бакунина за подписью: Jules Elysard «Die Reaction in Deutschland. Ein Fragment v. einem Franzosen» (Жюль Элизар, «Реакция в Германии. Отрывок, составленный французом»). Этой статье, в которой, по верному замечанию Руге, выражался весь характер Бакунина и содержалось «дальнейшее развитие его мышления до социал-демократического (?) включительно», предпослано было следующее любопытное примечание редакции:

«Мы даем здесь не просто замечательную вещь; это новый значительный факт. Дилетантов и несамостоятельных последователей, вроде Кузена и других, немецкая философия уже и раньше производила за границей; но людей, философски переросших немецких философов и политиков, до сих пор вне наших пределов не встречалось. Таким образом, заграница срывает с нас и теоретический венец; и мы смеем надеяться, что новый факт, а именно тот, что француз понимает и рассматривает немецкую философию, как философию «точного наблюдения», так и философию «правильной середины» и «крайности», сбросит не одного соню с увенчанной миртами лежанки. Быть может, Жюль Элизар прав, когда предсказывает нам великую практическую будущность; но он, конечно, ошибся в нас, если его пример не заставит нас отказаться от теоретического высокомерия, добровольно отречься от нашей привилегии и—страшно сказать—сделаться французами» [1]).

Как справедливо заметил впоследствии Руге (в своих воспоминаниях о М. Бакунине, помещенных в «Neue Freie Presse» за 1876 г., №№ 4344—4345), только в научной оболочке, в общих философских терминах можно было тогда писать с такой резкостью и откровенностью, как это сделал Бакунин, смело предвещавший гибель старому порядку. Цензор, видимо, не понял смысла статьи, и красный карандаш его

---

[1]) Французами, то-есть революционерами не только в мысли, но и на практике.

остался на этот раз без употребления. Статья эта была как бы криком петуха, возвещавшего близость резолюционного утра и движения 1848 г.

Начинается она, как трубным звуком, следующими словами: «Свобода, реализация свободы,—кто станет отрицать, что это слово занимает теперь первое место в историческом порядке дня?» А, ведь, как указывает Руге, бакунинская реализация свободы есть «просто-напросто революция».

Далее Бакунин подвергает анализу существующие в Германии политические направления и, отвергая все промежуточные тенденции, признает серьезное значение лишь за реакционной партией и за ее антиподом—демократией. Господство консервативной партии он отказывается признать случайным: «Я,—говорит он,—не придаю случайности действительного значения в истории, история представляет свободное, но вместе с тем необходимое развитие свободного духа». Говоря о том, что консерваторы готовы стереть демократов с лица земли, он задает себе вопрос, будет ли демократия отвечать тем же, и замечает: «Нет, это было бы недостойно того великого дела, орудиями которого мы являемся. Великий принцип, служению которому мы себя посвятили, дает нам среди других выгод еще прекрасное преимущество—быть справедливыми и беспристрастными без ущерба для нашего дела» [1]).

Консерваторам, «позитивистам», защитникам существующего Бакунин противопоставляет отрицание, которое он находит в девизе французской революции – Liberté, égalité, fraternité (свобода, равенство, братство), заключающем в себе «полное уничтожение существующего политического и социального мира», а также в возникающих в Англии и во Франции революционно-социалистических союзах, которые «противостоят теперешнему политическому миру, как нечто совершенно чуждое, и черпают жизнь из нозых, для него неизвестных источников».

Бакунин приветствует первые проявления социалистического движения в народных массах, справедливо усматривая в них залог пробуждения и освобождения человечества. «Народ,—говорит он,—бедный класс, который уже, без сомнения,

---

[1]) Эту гуманность Бакунин сохранил и впоследствии, когда усвоил социально-революционные воззрения.

представляет большинство человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему рождению, по условиям своей жизни осужден на неимущее состояние, на невежество, а вместе с тем и на фактическое рабство,—этот класс, который собственно и есть настоящий народ, принимает везде угрожающее положение, начинает считать ряды своих врагов, слабые по сравнению с ним, и требовать практического приложения своих прав, уже признанных всеми за ним. Все народы и люди уже исполнены известным предчувствием, и всякий, чьи только органы не парализованы, смотрит с трепетным ожиданием навстречу приближающейся будущности, которая произнесет слово освобождения. Даже в России, в этом беспредельном, покрытом снегом царстве, которое мы так мало знаем и которому, может быть, предстоит великая будущность,—даже в России собираются тяжелые, грозу предвещающие, тучи. О, воздух полон, чреват бурями!

«И потому мы взываем к вам, заблудшим братьям: покайтесь, покайтесь! Царство Божие близко! Мы говорим позитивистам: откройте ваши духовные очи, предоставьте мертвым хоронить своих мертвых и убедитесь, наконец, что духа вечно юного, вечно новорожденного нечего искать в обрушившихся развалинах... Дайте нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно творящий источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть (Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust)».

«Где был красный карандаш профессора Ваксмута (цензора),—восклицает Руге,—когда он пропускал эти места?» Но если цензор умудрился не заметить разрушительных и революционных начал бакунинской статьи-прокламации, то единомышленники автора сразу постигли ее сокровенный, да притом довольно открыто выраженный смысл и оценили ее по достоинству.

Но при этом мало кто из друзей и знакомых Бакунина знал, что именно он—автор разбираемой статьи. И это понятно: тогдашняя прусская полиция шутить не любила, а Бакунин, как иностранец, да еще русский, был совершенно бесправным человеком. Герцен в 1843 г. 7 января отметил в Дневнике: «В одном из последних №№ (Deutsche Jahrbücher) была статья

Jules Elysard о современном духе реакции в Германии. Художественно-превосходная статья. И это чуть ли не первый француз (которого я знаю), понявший Гегеля и германское мышление. Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый в обладании симпатий в настоящем и всего мира в будущем; он протягивает руку консерватистам, как имеющий власть, раскрывает им с неимоверной ясностью смысл их анахронического стремления и зовет в человечество. Вся статья от доски до доски замечательна».

Но скоро Герцен узнал, кто такой J. Elysard, и занес в свой дневник следующие строки: «Весть об Jules Elysard. Он смывает прежние грехи свои. Я совершенно примирился с ним» (28 января 1843 г.). А через несколько дней по получении письма от Бакунина: «Он умом дошел до того, чтобы выйти из паутины, в которой сидел» (15 февраля).

Этими словами Герцен констатировал, что здоровая натура Бакунина взяла верх над его былыми увлечениями, навеянными ложно истолкованной философией Гегеля. Вместе с тем он признал, что личные недостатки Бакунина бледнеют перед его заслугами и искупаются тою прогрессивною ролью, которую он призван был играть в истории человечества. Со своей стороны честный Белинский, узнав о новой эволюции и деятельности своего старого друга, поспешил с ним помириться и написал ему письмо: «Странно,—писал он Боткину 7 ноября 1842 г.,—мы, я и Мишель, искали бога по разным путям и сошлись в одном храме. Я знаю, что он разошелся с Вердером, знаю, что он принадлежит к левой стороне гегельянства, знаком с Р. (т.-е. с Руге) и понимает жалкого заживо умершего романтика Шеллинга [1]). М. (т.-е. Мишель) во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки, — это вечно движущееся начало, лежащее в глубине его духа».

Написал Мишелю и Боткин. В письме к брату Павлу, относящемся к весне 1843 года, Бакунин упоминает об этих письмах, повидимому, оказавшихся для него приятным сюрпризом, и

---

[1]) Вероятно, Белинский имеет здесь в виду упомянутую выше анонимную брошюру против Шеллинга, которую тогда приписывали Бакунину. Видимо, друзья внимательно следили за жизнью Мишеля.

о воспоследовавшем за сим примирении со старыми приятелями: «Я,— говорит Бакунин,— самым неожиданным образом получил письмо от Белинского [1]) и Боткина; я отвечал им и, позабыв все старое, с радостью подал им руку. Ты увидишь Боткина, поклонись и пожми ему руку за меня». Впоследствии в Париже Мишель встречался и с Боткиным, и с Белинским. Но вряд ли старые интимные отношения могли между ними восстановиться, тем более, что Мишель решительно пошел по революционному пути, которого Боткин панически боялся и в который измученный Белинский мало верил.

Интересно, что за время своего пребывания в Берлине, в начале 40-х годов, Бакунин встретился (может быть, и более, чем один раз) с Н. В. Гоголем.« Гоголь,—говорит Шенрок,—враждебно и насмешливо относился к Бакунину, с которым несколько раз встречался во время своих путешествий за границей». Антипатия Гоголя к Бакунину проглядывает и в письме от 27 сент. 1841 г. [2]).

В письме к Языкову из Дрездена, на которое ссылается Шенрок, сказано следующее: «Дорожное спокойствие было смущено перелазкой из коляски в паровой воз, где, как сон в руку, встретились Б*** и весьма жесткие деревянные лавки. То и другое было страх неловко... Но мы в Дрездене». Нам известно еще одно место в письмах Гоголя, где он упоминает о Бакунине; именно в письме к тому же Языкову из Мюнхена от 28 мая 1843 года. «Здесь я узнал довольно печальную историю о Бакунине. Сей философ наделал просто глупостей, и положение его жалко. В Берлине он не ужился—и выехал, куда не помню, как мне рассказывают, по причине, что не мог иметь никакого серьезного влияния. Вздумал он,—с какою целью, бог ведает,—для того, чтобы услужить новым философам Берлина и Шеллингу, написать в каком-то журнале статью на гегелистов, которых уничтожил вовсе и обвинил в самом революционном направлении (!). Статья произвела негодование. Прусский король запретил жур-

---

[1]) Белинский после этого начал даже снова ездить в Премухино к родным Бакунина.

[2]) „Николай Васильевич Гоголь в его неизданных письмах“. Сообщили В. И. Шенрок и А. А. Гатцук. „Русская Старина“, 1889 г., январь, Т. 61; перепечатано в собрании сочинений Гоголя. Издание Кулеша, т. V, стр. 450.

нал [1]) и донес о сем русскому правительству. Бакунин должен был скрыться и теперь, говорят, в Цюрихе, всеконечно без всяких обеспечений в будущем. Все это узнал я от Попова, московского кандидата, слушающего в Берлине лекции».

Что Гоголь, окончательно подпавший под власть реакционных идей и с головой погрузившийся в мистическое мракобесие, относился отрицательно к революционеру Бакунину, это, впрочем, вполне естественно.

Судя по воспоминаниям Ралли, Бакунин еще в Берлине обратил на себя внимание полиции: «Проживая в Берлине и занимаясь философией, я тогда и не думал, что мои философские писания [2]) набросят на меня тень неблагонадежности; напротив, было время, когда я даже серьезно думал подготовиться для университетской кафедры, и если бы не русское посольство в Берлине да его шпионы, очень может быть, что я так бы и застрял на немецкой философии; скверные слухи про мою неблагонадежность дошли даже до моего брата, который сообщил мне, что я нахожусь на самом скверном счету в Петербурге.

---

[1]) Речь идет, повидимому, о „Deutsche Jahrbücher", закрытых в 1843 году, и о статье Ж. Элизара. Но Гоголь излагает ее содержание совершенно неверно и, как видно, понятия не имеет ни о ней, ни вообще о состоянии европейской мысли в рассматриваемое время. О людях и делах он судит по досужим пересудам и сплетням. Факты у него перепутаны. Статья Ж. Элизара появилась уже после от'езда Бакунина из Берлина, но возможно, что Гоголь имеет в виду какую-нибудь другую статью Бакунина, может быть в „Halle'sche Jahrbücher", где он, кажется, сотрудничал. Во всяком случае, только круглым невежеством русского сатирика в области философии и партийной борьбы того времени можно об'яснить странное утверждение Гоголя, что Бакунин мог напасть на гегелианцев в интересах Шеллинга, и что прусский король за это обиделся. В своей „Исповеди" Бакунин тоже об'яснял закрытие журнала Руге появлением своей статьи. „Познакомившись,—говорит он, — вскоре (т.-е. после пробуждения в нем интереса к политическим вопросам) с D-r Arnold Ruge, издававшим тогда „Die Deutschen Jahrbücher", журнал, находившийся в это время почти в таком же переходе из философии в политику, я написал для него философски-революционерную статью под заглавием: „Die Parteien in Deutschland" (Бакунин приводит заглавие неточно) под псевдонимом Jules Elysard; и так несчастлива и тяжела была рука моя с самого начала, что лишь только появилась эта статья, то и самый журнал запретили".

[2]) Повидимому, именно статья Жюля Элизара. Все это, как и приведенные выше слова Гоголя, показывает, что авторство Бакунина скоро стало всем известно.

Это меня побудило покинуть Берлин, а потом я и покатился уж по этой дорожке. Так-то нужно благодарить полицию нашу, что она меня отрезвила во-время от немецкой философии».

4. ЖРЕБИЙ БРОШЕН!

Из Берлина Бакунин осенью 1842 года удалился в Дрезден, где в это время жил также его брат Павел. Арнольд Руге рассказывает об этом периоде жизни Бакунина: «Телом и душою отдался Бакунин немецкому умственному движению 30-х и 40-х годов, после того как в Берлине он не только познакомился с философией Гегеля, но и усвоил еще живую диалектику, эту творческую душу вселенной. Он посещал меня в Дрездене, где я издавал «Немецкий Ежегодник» («Deutsche Jahrbücher»), и соглашался со мной, что теория оправдывается практикой, и что наступает революционное время. Я с ним очень подружился и честно защищал его, когда он стал подозрителен русской дипломатии, а пребывание в Дрездене для него стало опасным».

В Дрездене Бакунин познакомился с музыкантом Адольфом Рейхелем, который стал одним из его лучших друзей [1]).

«В 1842 году,—рассказывает Рейхель в своих воспоминаниях о Бакунине,—один общий знакомый представил мне трех молодых русских, которые все три поразили меня своим необычайным ростом. Это были Михаил и Павел Бакунины и Иван Тургенев, который впоследствии приобрел такую известность своими замечательными романами. Михаил скоро сумел увлекательной силой своей речи завоевать мою симпатию и симпатию моей старшей сестры, которую он и сохранил верно и преданно до самой своей смерти. Когда, вскоре после того, Тургенев и Павел возвратились в Россию, он (Михаил) предпочел продолжать свое пребывание за границей» [2]).

У Рейхеля Бакунин бывал часто и просиживал здесь целыми часами, слушая его игру, особенно произведения Бетховена. Ста-

---

[1]) Этот Рейхель впоследствии женился на Марии Каспаровне Эрн которая была другом дома Герцена и позже служила посредницей между ним и Россией, много помогая ему в деле распространения изданий Вольной Русской Типографии. Герцен хорошо знал Марию Каспаровну еще в России. В доме Рейхелей Бакунин, как мы увидим, и умер.

[2]) Воспоминания А. Рейхеля о Бакунине появились в приложении (Supplément) к №№ 10—12 анархического журнала „La Révolte“.

тья в «Deutsche Jahrbücher», появившаяся во время пребывания Бакунина в Дрездене, имела для него то неприятное последствие, что русская полиция, проведав о том, кто является автором крамольной статьи, обратила на него свое благосклонное внимание, по тем временам не весьма безопасное. На Бакунина уже начали смотреть, как на человека политически неблагонадежного. Его связи с молодой Германией, с левыми гегельянцами, его вольное поведение в Дрездене обратили на него внимание. Прощаясь с друзьями по вечерам на Дрезденской променаде, он при расставании, намекая на близость революционного взрыва, напевал припев из «Гугенотов»:

В правую руку взял он саблю
И храбро устремился в бой.
Да здравствует старый Колиньи!..

Это была его любимая песня. По свидетельству Вырубова, он через 25 лет все еще напевал ее в Неаполе.

Отношения Бакунина с русской полицией еще ухудшились по следующему поводу. Революционный поэт Георг Гервег заехал в Дрезден, а так как Бакунин жил в просторной и удобной квартире, то Руге и поместил Гервега у него. За оказанное крамольному поэту гостеприимство Бакунин, по рассказу Руге, навлек на себя такое подозрение, что друзья стали опасаться за его безопасность в Саксонии. А. Рейхель рассказывает об этом так: «Бакунин, бывший тогда красивым молодым человеком, благодаря своим блестящим способностям, оказывал даже влияние на людей, которые решительно не соглашались с его уже крайне революционными взглядами; вследствие его личных связей с Гервегом, пребывание его в этой стране стало для него настолько небезопасным, что он решил покинуть Дрезден и переехать в свободную Швейцарию».

Впоследствии Бакунин признавал, что этот шаг сыграл решительную роль в его жизни. По крайней мере, в Исповеди 1851 года он так оценивает свой поспешный от'езд из Дрездена в Швейцарию:

«Тогда (т.-е. в конце 1842 года),—пишет он,—приехал из Швейцарии в Дрезден политический поэт Georg Herwegh [1]), носимый на руках целой Германии и принятый с почестью самим прусским королем, изгнавшим его вскоре потом из своих вла-

---

[1]) Георг Гервег.

дений. Оставляя в стороне политическое направление Гервега, о котором не смею говорить перед Вашим Императорским Величеством, я должен сказать, что он человек чистый, истинно благородный, с душою строгой, что редко бывает у немца,— человек, ищущий истины, а не своей корысти и пользы. Я с ним познакомился, подружился и остался с ним до конца в дружеской связи. Вышеупомянутая статья в «Deutsche Jahrbücher», знакомство с Руге и с его кружком, особенно же моя дружеская связь с Гервегом, который громко называл себя республиканцем, впрочем, связь еще не политическая, хотя и основанная на сходстве мыслей, потребностей и направлений,—не политическая же потому, что не имела решительно никакой положительной цели,— все это обратило на меня внимание посольства в Дрездене. Я услышал, что будто бы уже начали говорить о необходимости вернуть меня в Россию; но возвращение в Россию мне казалось смертью! В Западной Европе передо мной открывался горизонт бесконечный, я чаял жизни, чудес, широкого раздолья; в России же видел тьму, нравственный голод, оцепененье, бездействие— и решился оторваться от родины. Все мои последовавшие грехи и несчастья произошли от этого легкомысленного шага. Herwegh [1]) должен был оставить Германию, я отправился с ним вместе в Швейцарию,—если бы он ехал в Америку, я и туда поехал бы с ним,—и поселился в Цюрихе, в генваре 1843 года».

Здесь Бакунин излагает события не совсем точно. Как выясняется теперь из опубликованной А. Корниловым переписки Мишеля с родными, решение сделаться политическим эмигрантом сложилось у него раньше истории с Гервегом и даже раньше опубликозания его знаменитой статьи в «Немецком Ежегоднике». Это решение естественно вытекало как из тогдашней политической обстановки в Европе и в России, так и из характера Мишеля и его новых политических убеждений.

Попав за границу, Бакунин постепенно подверг радикальному пересмотру не только содержание своих убеждений, но и форму борьбы за них, т.-е., если можно так выразиться, не только свою программу, но и тактику. Мы уже видели, как мало-помалу, почти незаметно его прежние отвлеченные и смутные порывы начали облекаться плотью и принимать характер революционных, политических стремлений, направленных к борьбе за осуществление его демократического идеала. Баку-

[1]) Гервег.

нин начинает понимать всю пустоту и бесплодность теоретических разглагольствований, бесконечных рефлексий, копания в собственной душе, отвлеченного идеализма, далекого от реальной жизни, ее запросов и интересов. Его письма из-за границы переполнены такой самокритикой. Теперь он уже рекомендует своим друзьям «собрать все силы, чтобы разрушить ложный мир рефлексий» [1]). Он собирается убить в них «последний след того теоретического суемудрствования», развитию которого в них он в свое время сам «так много способствовал» [2]). В письме от 9 октября 1842 года он выражается на этот счет еще более определенно: «Вы верно точно так же, как и я, чувствуете в себе непреодолимую потребность вырваться из этого мира призраков, бессильных чувств и безжизненных мыслей, в котором мы все во время оно более или менее жили; для вас верно так же необходимо, как и мне, называть вещи их именем и жить только теми чувствами и мыслями, которые имеют силу непосредственного живого осуществления. *Только действительность может удовлетворить нас,—и это потому, что действительность есть сильная, энергическая, т.-е. истинная истина.* Всё же остальное есть вздор, призрак и, если Варенька позволит мне употреблять это выражение, постный идеализм». И, как заключительный аккорд, звучат его слова в письме от 4 ноября 1842 года: «Бросим все теории в огонь, они портят жизнь» [3]).

«Время теории прошло,—восклицает Бакунин в письме от 21 февраля 1843 г. из Цюриха,—все более или менее чувствуют это; заря нового мира уже осеняет нас». *Теория* осуждается во имя *дела*, во имя реальной действительности, во имя борьбы с существующим. Неясный вначале, этот новый взгляд Бакунина со временем приобретает все более определенные очертания. В письме от 22 октября - 3 ноября 1841 года Мишель выражается еще в терминах полумистического характера: его вера, раз'ясняет он братьям и сестрам, есть «не что иное, как вечно живое и вечно личное дело человеческого начала. Эта вера есть спасение себя посредством своего дела для вечности.

---

[1]) Письмо к сестрам от 4—16 ноября 1840 года.

[2]) Письмо, относящееся к осени 1842 года.

[3]) Эти столь решительные заявления не мешают тому, что письма самого Мишеля вплоть до 1845 года переполнены такими „рефлексиями“ и теоретическим „суемудрствованием“. Возобновляется эта манера в письмах из тюрьмы, хотя в тюремных письмах это, разумеется, понятно.

Эта вера очень далека от пассивного понимания истины, - *это действие и только действие*, это лишь то, что делает человека самим собою, т.-е. человеческое достоинство и бесконечность, источник всяческой любви и всяческого блаженства». Но, став на революционный путь, Бакунин дает понять, что он осуждает «теорию» во имя активной борьбы с существующим порядком. «Вера и идеальный азарт,—пишет он брату Павлу 17-29 марта 1845 года из Парижа, - во мне не уменьшились. Я тот же, что и прежде,—от'явленный враг существующей действительности, с тою только разницею, что *я перестал быть теоретиком*, что я, наконец, *победил в себе метафизику и философию и весь, всею полнотою души своей бросился в практический мир, в мир действительного дела и действительной жизни*».

Вступление Бакунина на революционный путь для всякого, знакомого со всем его развитием с юных лет, не может представляться неожиданностью. И Мишель был глубоко прав, когда, решив сделаться политическим эмигрантом, писал своим родным, что «рано или поздно это должно было случиться... рано или поздно я должен был вступить в эту пустыню [1])... Вся моя жизнь, все мои поступки, как бы они нелепы ни казались другим, *были необходимыми ступенями моего приближения к нему* (делу). И теперь также останусь я себе верным и, что бы там ни случилось, никогда не откажусь от того, что считаю своим призванием» [2]).

То же самое говорит он в письме к брату Павлу из Цюриха от начала марта 1843 года. «Путь, избранный мною, назначен моею судьбою, определением моей собственной сущности». И. действительно, когда читаешь юношескую переписку Мишеля, относящуюся к 30-м годам, видишь, что в смутной, неопределенной форме предчувствие грядущей судьбы уже в те времена мелькало перед его умственным взором. В одном из неопубликованных до сих пор писем к сестрам Беер, относящихся к 1836—37 г.г., Мишель говорит о том, что чувствует в себе божественную миссию, а в другом письме выражается на сей счет еще более определенно. Доказывая Наталии Беер, что он любить ее не может, а может быть лишь ее другом, Бакунин говорит: «На что Вам человек, который чувствует себя

---

[1]) Он имеет в виду одиночество, на которое обречен был тогдашний русский революционер.

[2]) Письмо от 9 октября 1812 года.

почти неспособным к личным отношениям, окрашенным эгоистической целью, который чувствует себя ослабленным такими отношениями и который бывает силен лишь тогда, когда он одинок, когда он живет лишь в себе и в своей деятельности? На что Вам человек, который не видит и не любит ничего, кроме своих идей, и который ни на минуту не поколеблется пожертвовать культу своих идей всеми самыми дорогими своими привязанностями? На что Вам человек, которого никакие внешние узы не могут и не должны удерживать, который оставит все, как только его идеи этого потребуют?» И действительно, когда идеи Бакунина вышли из стадии неопределенных порывов и оформились в «дело», в потребность активной революционной борьбы с существующим строем, когда он сознал, что его «призвание» есть борьба за революцию, за свободу, за демократию, он ни на мгновение не поколебался порвать все связи с старым миром и решительно вступить на новый путь, на котором, как он сознавал это, его ждут одиночество (по крайней мере, в первое время) и страдания (почти всегда).

Сближение с оппозиционными элементами в Германии, ознакомление с европейской жизнью и с борьбою, которая развертывалась в сороковых годах 19-го века во всех почти странах Европы, толкнули его на революционный путь, к которому он был подготовлен всею историею своего прежнего духовного развития. То или иное отдельное событие, вроде знакомства с Руге, сближения с Гервегом и т. п., могло сыграть роль лишнего толчка, повода, но не они были основною причиною его решения. Подобно Герцену, которому пришлось решать тот же вопрос семь лет спустя, Бакунин, когда ему нужно было выбирать между возвращением в николаевскую Россию, где его ждало или жалкое прозябание, или, вернее, смерть либо каторжная тюрьма, предпочел остаться в Европе, где его прельщало кипение умственной и политической жизни и где он мог, хотя бы в ограниченной мере, работать и в интересах русского освобождения. С лета 1842 года в нем начало назревать это решение, которое окончательно окрепло в нем к осени того же года.

Уже летом 1842 г. Мишель в письме к брату Алексею намекает на какие-то свои «планы», которые «в письмах не выговариваются». Ясно, что речь идет о революционных планах. В другом письме, относящемся к тому же периоду, Бакунин как бы подготовляет родных к своему решению, когда пишет

им: «Поймите только, что ваши судьбы, ваши страдания — не частные, не случайные страдания, поймите их в необходимости общего движения, а особливо в необходимости нашего родного русского развития... Достоинство заключается не в том, что мы с волками живем по волчьи [1]), но в том, что мы никогда, ни в каком случае не изменяем своим убеждениям».

К концу лета Бакунин, повидимому, уже решил для себя вопрос о верности своим убеждениям. В относящемся к этому времени письме к своей любимице Татьяне он довольно ясно намекает ей на свое решение, которое он здесь, как и в других случаях, связывает с глубокою верою в свое призвание и в предстоящее ему великоебудущее. «Не бойся за меня, друг,— пишет он,— что будет, то будет, а будет то, что должно быть. Я еще должен много сделать, и потому по всем вероятностям буду еще долго жить. Во всяком случае на этот предмет не должно смотреть с обыкновенной точки зрения. Если все ежедневно [2]), тогда и жить не стоит; если же нет, тогда и смерть не страшна, но имеет, напротив, святое, великое, прекрасное значение. Впрочем, друг, ты не должна бояться, чтобы я, как шестнадцатилетний юноша, стал делать глупости. Я *решился* [3]), но мое решение не исключает ни осторожности, ни даже возможности другого выхода; в моем решении нет ни страсти, ни гнева; оно спокойно и твердо, потому что вышло *из сознания долга* [3]). Я сделаю то, что должен буду сделать — не менее, не более. И потому не предавайся бесплодному страху, который теперь не имеет большего основания, чем и во всякое другое время. Человек беспрестанно находится в опасности потерять жизнь... С этою мыслью должно не только примириться, но ее должно полюбить, как с единственно живым и таинственным источником жизни. Если смерть есть зло, если она хоть сколько-нибудь страшна, то в жизни нет никакого смысла. И потому еще раз, не бойся, друг, но верь, ожидай всего хорошего и радуйся со мною тому, что боязнь твоя за жизнь мою, может быть, возвратит нам действительную, уже давно нами утраченную, взаимную жизнь, которая заключается в нашей взаимной любви, без которой, как ты сама знаешь, ведь нет никакой

---

[1]) Т.-е., повидимому, не в том, что мы приспособляемся к волчьим условиям существования и миримся с ними.—*Ю. С.*

[2]) Т.-е. повседневно.

[3]) Курсив мой.

жизни. Лучше одно мгновенье действительной жизни, чем ряд годов, прожитых в мертвом призраке [1])».

Повидимому, переезд из Берлина в Дрезден, состоявшийся осенью 1842 года, и связан был с окончательным решением Бакунина посвятить себя революционной деятельности. По крайней мере, из Дрездена он определенно сообщил своим родным о принятом им решении не возвращаться более в Россию. Так, в письме к родным от 9 октября 1842 г. Мишель предлагает им считать его отрезанным ломтем. «Вся семья снова соберется вместе [2]), я говорю «вся семья», так как что меня касается, то на меня вам приходится смотреть, как на мертвого члена. Бог знает, когда и как мы свидимся. Наши пути столь различны и так далеко расходятся друг с другом! С от'ездом Павла для меня начнется новая жизнь, жизнь крайне печальная, крайне суровая и крайне одинокая, но серьезная и вместе с тем деятельная. Я на нее не жалуюсь, ибо сам избрал ее, как единственно мне подходящую. Не забывайте меня совсем».

В тот же день Бакунин написал брату Николаю письмо, еще более ясное и определенное. И вот что там говорилось:

«*После долгого размышления* и по причинам, которые об'яснит тебе Тургенев, *я решился никогда не возвращаться в Россию* [3]). Не думай, чтобы это было легкомысленное решение; оно связано с внутренним смыслом всей моей прошедшей и настоящей жизни. Это моя судьба, жребий, которому я противиться не могу, не должен и не хочу. Не думай также, чтобы мне было легко решиться на это,—отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россиею и со всеми вами, как теперь, и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно, ожидающая меня впереди на чужбине,—и, несмотря на это, я безвозвратно решился. Я не гожусь теперешней России, испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, *я могу здесь действовать* [3]), во мне еще много юности и энергии для Европы.

---

[1]) Мишель отвечает здесь на опасения, выраженные в полученном им письме Татьяны. А это доказывает, что он *и раньше* писал ей о своем решении вступить на путь активной революционной борьбы.

[2]) Ввиду возвращения брата Павла из-за границы в Россию.

[3]) Курсив мой.

Одним словом, худо ли, хорошо ли, но я решился и не переменю своего решения...

«Мною руководит не эгоистическая цель, нет, а то, что есть действительно святого в моем существовании, это — моя будущность в самом широком смысле этого слова заставляет меня сказать тебе все без малейшей утайки [1])...

«Это письмо — моя духовная, а ты знаешь, что умирающие имеют право многое выговаривать...

(Письмо закончено было 10 октября).

«Друзья, не забывайте меня. Мне будет очень грустно одному. С от'ездом Павла начинается моя новая жизнь. Расставшись с ним, я во второй раз, и теперь уже решительно, расстаюсь с моим отечеством и расстаюсь с ним навсегда. Вы не можете себе вообразить, как мне грустно, более, чем грустно. Иногда мне становится страшно, — все так пусто и безотрадно впереди, я буду один, без любви, может быть, даже и без всякого живого участия. Но не бойтесь за меня, друзья,—я ведь русский человек и не позабыл слова «авось», не бойтесь за меня,—рано или поздно это должно было случиться, а вы знаете «чему быть, того не миновать». (Конец этого письма приведен выше).

Это решение Бакунина не обошлось без глубокой и продолжительной внутренней борьбы. В те времена, при почти полном отсутствии революционного движения в России, люди не становились так легко политическими эмигрантами, как впоследствии, спустя 30—40 лет. При Николае I сделаться политическим эмигрантом значило не только навлечь гонение на самого себя и на своих родственников или друзей, но, что гораздо хуже, порвать с своей родиной почти без надежды на возвращение, более того, почти без надежды найти там сочувствующие или единомыслящие элементы. Вот почему Бакунин так много говорит о предстоящем ему одиночестве, вот почему при мысли об эмиграции его охватывала грусть, а то и страх. И тем не менее он решился, ибо в нем сильно говорило, с одной стороны, *чувство долга*, а с другой — уверенность в том, что революция близка [2]), и что в этой революции,

---

[1]) Речь идет о просьбе Бакунина к брату убедить отца выделить Мишелю причитающуюся ему часть семейного имения.

[2]) „Широкое обновление, которое совершится еще в наши дни", пишет он в письме от 8-20 февраля 1843 года из Цюриха.

да и вообще в истории он, Бакунин, призван сыграть *видную роль.*

Расставшись с братом Павлом, Мишель писал родным 4 ноября 1842 года:

«Паша и Тургенев уехали... Простившись с ним, я еще раз—да, в последний раз—простился с Вами, с Премухиным, с Россией, со всем прошедшим... Пишу Вам да плачу, плачу как ребенок. Это слабость, но я не стану скрывать ее от вас... Это мои последние слезы, мне нечего более терять. Я все потерял, со всем простился,—прощайте, друзья, прощайте!..

«Мне так грустно, что несколько раз я желал смерти. Видите ли, какой я слабый...

«Не позабывайте меня, не позабывайте брата, который всегда был вам предан всем сердцем и всей душой и который вас оставляет потому, что он должен это сделать, должен для того, чтобы не изменить самому себе [1])...

«*Мне предстоит еще великая будущность.* Да, предчувствия мои не могут же меня обманывать. О, если мне удастся осуществить только малейшую часть того, чем полна грудь моя, то я не хочу ничего более. Я не хочу счастья, не думаю о счастье,—*дела, дела строгого, святого дела хочу я.* Передо мною широкое поле, и моя участь не мелкая участь...

«А все (таки) очень грустно, ну, да ведь и это пройдет. Это был последний кризис моего расставания с Россией. Теперь я опять тверд и ничего не боюсь и готов итти вперед, очертя голову...

«Бросим все теории в огонь... Махнем рукой, да и будем жить без оглядки»...

В письме, относящемся к середине ноября 1842 г., Мишель возвращается к анализу мотивов, внушивших ему окончательное решение. Обращаясь к брату Павлу и Тургеневу, он говорит: «Я иногда впадал в уныние, так безотрадна и бесплодна являлась мне иногда моя будущность. Я подверг себя строгому суду, дабы убедиться, что *мое решение—не каприз и не пустая фантазия.* И я убедился, что это именно так. Я себя не обманываю: источник моего решения чист; *я поступаю так в силу глубочайшей потребности моего существа*, иначе поступить я не могу, что бы ни случилось в будущем. Я знаю, что жизнь моя

---

[1]) Везде, где не указано противное, курсив мой.

будет чрезвычайно печальна, но я, по крайней мере, останусь верен себе, а только этого я и искал. Что же мне делать, если я чувствую и беспрестанно более и более убежден, что *здесь мое место*, что *здесь я яснее всех вижу, чувствую и знаю, что нужно?...*

«Я вас люблю, друзья, горячо люблю и остаюсь здесь, потому что *должен остаться* [1]).

«Теперь я уже очень много работаю, паруса мои распущены, и я быстро лечу к своей цели. Разобьюсь ли о скалу или, что еще хуже, сяду на мель,—не знаю» [2]).

Таким образом можно считать установленным, что уже к октябрю 1842 года решение Бакунина окончательно созрело. Играли ли здесь какую-либо роль происки русской дипломатии в Германии, о которых рассказывает со слов Бакунина Ралли (относительно Берлина в 1842 году) и сам Бакунин (относительно Дрездена),—по имеющимся материалам трудно установить. Если эти происки и имели место, то во всяком случае не они сыграли роль главного фактора в судьбе Бакунина. Как он сам неоднократно указывает, его судьба была предопределена всем предыдущим его духовным развитием. И, как мы уже теперь знаем, уже до встречи с Гервегом в Дрездене и уже во всяком случае до знакомства с Вейтлингом в Швейцарии, а тем более до рапорта проф. Блюнчли, обратившего на Бакунина внимание русской политической полиции, решение о переходе в политические эмигранты было принято Мишелем бесповоротно.

Итак, Бакунин вместе с опальным германским поэтом двинулся из Дрездена в Швейцарию, где они рассчитывали найти политическую обстановку, более свободную и более благоприятную для их тогдашних планов, по преимуществу литератур-

---

[1]) В письме к сестрам от 20 ноября 1842 г. Мишель повторяет ту же мысль: „Не произвольно и не с радостью, но с разрывающею грустью в душе отрываюсь я от вас. Поступая таким образом, я следую своему долгу, повелительному голосу своей совести, своего призвания".

[2]) Неизвестно, все ли сестры и братья сочувствовали решению Мишеля, но это, повидимому, можно сказать о его любимице Татьяне. В письме от 10 марта 1843 г. она говорит: „Бедный Миша изведал теперь всю горечь действительной жизни и остается все так же бодр, так же исполнен веры и так же предан тому, что признал за святой долг свой" (А. Корнилов—„Годы странствий", стр. 224).

ных. Впрочем, уже в пути Бакунин начал склоняться к мысли, что от'езд их был, пожалуй, несколько скоропалителен. Так, 13 января 1843 г. Бакунин пишет Эмме Зигмунд (будущей жене Гервега): «Вот мы (то-есть Бакунин и Гервег) и в Страсбурге, мадемуазель. В течение нашего долгого путешествия мы имели достаточно времени поразмыслить—и мне теперь кажется, что наше бегство из Дрездена, в особенности мое, было преждевременным; впрочем, дело сделано, и я не раскаиваюсь».

3 февраля того же года он пишет ей уже из Цюриха: «Вы не можете себе представить, с каким нетерпением Вас здесь ожидают; круг знакомых не блестящ, но приятен и, мне думается, он придется Вам по вкусу; впрочем, Вы ни в ком не будете нуждаться, раз Вы увидитесь здесь с Гервегом. Вы очень счастливы: Вы любите и любимы. Я не думаю, чтобы Вы чувствовали себя спокойно. Но это, по-моему, не так уже плохо: *я смотрю на спокойствие, которого так добиваются люди, как на величайшее из человеческих несчастий*, и Вы, верно, согласитесь со мною. Любовь соединяет для великого и постоянного дела,—в ней единственное счастье; я даже думаю, что любовь единственная добродетель, тогда как все прочее—пустота и ложь.

«Что сказать Вам еще? Говорить ли о том нетерпении, с которым я вас ожидаю?—О, я предвкушаю все прекрасные наслаждения, которые проистекут от вашего присутствия; я буду счастлив Вас видеть,—мы оба будем счастливы,—а потом, потом мы расстанемся, и каждый пойдет своею дорогой;—*у меня нет родины, так как от своей я отказался, и, подобно вечному жиду, я смиренно пойду по дороге, указанной мне судьбою и моими верованиями*. Создать себе родину невозможно, и я не буду над этим бесполезно трудиться, тем более, что *я совершенно убежден в великом демократическом будущем России.—Только под этим условием я ее и люблю* [1]), но за ее будущее я совершенно спокоен. Жюль Элизар пишет статью для «Deutsche Bote» [2]), и я надеюсь, что она будет лучше и практичнее первой».

---

[1]) Курсив везде мой.

[2]) „Немецкий Вестник". Журнал этот (полное название „Der Deutsche Bote aus der Schweiz") издавался в Швейцарии Карлом Фребелем, братом Юлия Фребеля (о нем см. ниже), а в октябре 1842 года перешел к Г. Гервегу. Упоминаемая Бакуниным статья нам неизвестна; не знаем даже, была ли она вообще им написана.

Из этого письма видно, что Бакунин уже тогда не только твердо решил не возвращаться в отечество, но и не делал из своего решения секрета от близких к нему людей [1]). Таким образом, Бакунин, на-ряду с Сазоновым, сделался одним из первых русских политических эмигрантов. И такое решение было вполне естественно для людей, которые, как Бакунин, как Герцен, знали, что не только за вольное слово, но и просто за свободную мысль их ждут на родине, стонавшей под тяжелой пятой «фельдфебеля в ботфортах» [2]), жестокие гонения, долгие годы ссылки, каторги, нечеловеческих страданий и надругательств. Особенно, если эти люди, как те же Бакунин и Герцен, чувствовали, что у них есть что сказать, что в груди у них кипят гигантские силы, что им предстоит великое, полное смысла и борьбы, будущее.

---

[1]) В. Полонский в своей книге „Бакунин", т. I, изд. 1925 г., стр. 118—119, говорит: „Все биографы, писавшие ранее о разрыве Бакунина с официальной Россией, в том числе и автор этих строк, с легкой руки Герцена изображали этот разрыв так, как будто он был ответом на попытку царя Николая I угрозами принудить к покорности непокорного гражданина. Связывая это обстоятельство с рапортом проф. Блюнчли... Герцен рассказал и т. д... Ныне же, после опубликования А. А. Корниловым переписки Бакунина за эти годы, история его разрыва с Россией получает иной вид". Не знаем, о каких „биографах", да еще „всех", говорит В. Полонский, но все, кто знаком не только с русской, но и с иностранной литературой о Бакунине, давно знали что к решению сделаться эмигрантом он пришел задолго до того, как им заинтересовалась русская полиция во главе с ее коронованным шефом, а именно в конце 1842 года. Например, в первом издании настоящей моей книги, вышедшей в Москве в 1920 году (т.-е. за 5 лет до выхода книги А. Корнилова „Годы странствий"), В. Полонский мог прочитать на стр. 101 приводимую в тексте цитату из письма Бакунина к Эмме Гервег от 3 февраля 1843 года, где недвусмысленно выражено его решение не возвращаться на родину. Из этих строк я определенно делал тот вывод, что „Бакунин уже тогда твердо решил не возвращаться в отечество". Об этом знали все, кто держал в руках книгу „1848. Письма Гервега и к Гервегу"; знал об этом, разумеется, и М. Неттлау, цитирующий эту переписку в I-м томе своей работы о Бакунине. Об этом же рассказывал и Бакунин в своем письме в „La Réforme" по поводу Головина. Таким образом исследователям этот факт был известен задолго до опубликования А. Корниловым переписки Бакунина с родными, которая только подтвердила этот факт и уточнила дату бакунинского решения.

[2]) Так Герцен назвал Николая I.

Подобно Герцену, который решился на такой же шаг через семь лет [1]), Бакунин, «отказываясь от своей родины», то-есть от добровольного возвращения на порабощенную родину, в то же время горячо верил в ее «великое демократическое будущее»—и именно за это будущее, за заложенные в ней великие революционные возможности он любил ее. Но вряд ли Бакунин рассчитывал в тот момент на близость серьезного революционного движения в тогдашней России. Для этого не было никаких более или менее основательных данных. В Европе же жизнь била ключом, и к этой жизни Бакунин стремился приобщиться. Для него это было гораздо легче, чем для такого, например, человека, как Герцен, который в Европе чувствовал себя чужим и который, к моменту своего превращения в эмигранта, совершенно разочаровался в революционных судьбах Запада. Для Бакунина такое разочарование вообще было органически невозможно, ибо он по призванию своему и по всему темпераменту был «делателем революций», а еще менее оно было возможно для него потому, что он попал за границу, когда там назревала революция, арестован был во время ее разгара и снова попал в Европу в 1862 г., когда надвигалась новая революционная волна.

Любопытно, что к этому именно моменту принятия Мишелем своего решения о невозвращении в Россию относится первое применение им приемов конспирации. В письме к брату Павлу и Тургеневу от середины ноября 1842 г. Мишель рекомендует им «пересмотреть все их вещи, бумажки, письма, прежде, чем переезжать границу, и спрятать их осторожно». В письме из Парижа от 17-29 марта 1845 года он упрекает родных за то, что они не пишут ему в течение двух лет: указывая брату Павлу на то, что, несмотря на все запрещения правительства, он (Мишель) находит средства писать родным, он прибавляет: «как же ты не догадался? Ведь путешествующих заграницу много». И дальше он поучает своих родных: «Не болтайте попустому: научайтесь хитрить у врагов ваших и бейте их собственным их оружием для того, чтобы они перестали считать вас детьми и уважали вас вполне». Затем он

---

[1]) См. знаменитую главу „Прощайте!“, в которой Герцен мотивирует свое решение остаться за границей в качестве политического эмигранта, в книге „С того берега“. Бакунин не сумел так хорошо это выразить, но чувствовал, вероятно, то же самое.

намекает брату на необходимость организовать кружки единомышленников. Увы, в этом случае, как и во многих других, наставления великого конспиратора пропали втуне [1]).

5. БАКУНИН В ШВЕЙЦАРИИ.

Покинув вместе с Гервегом Саксонию, Бакунин поселился в Цюрихе. В Швейцарии он прожил весь 1843 год.

В Цюрих Бакунин прибыл около середины января 1843 г. В связи с своим новым настроением он начал здесь сильно увлекаться романами Жорж Занд, с которою впоследствии в Париже ему довелось познакомиться лично. В то время влияние передовой французской романистки, выражавшей в своих талантливых произведениях настроения и стремления героической поры французского утопического социализма, достигло апогея. Кажется, на редких тогда российских интеллигентов, увлекавшихся социальными вопросами, влияние ее было сильнее, чем на кого бы то ни было в Европе. Об этом в частности свидетельствуют и писания Герцена. Естественно, что, войдя в период критического отношения к действительности, Бакунин отдал дань увлечению пылкими произведениями Жорж Занд, проникнутыми чувством широчайшей гуманности и сострадания ко всем униженным и оскорбленным.

«Павел,—пишет Мишель 12 февраля 1843 г. брату,—читай сам беспрестанно Жорж Занд, и сестры также. Я теперь не расстаюсь с нею». 21 февраля 1843 г. он пишет сестрам: «Это мой любимый писатель, я с ним больше не расстаюсь. Каждый раз, когда я читаю ее произведения, я становлюсь лучше, моя вера укрепляется и расширяется... Ни один поэт и ни один философ не симпатичен мне так, как она. Ни один также не выразил мне так хорошо мои собственные мысли, мои чувства и мои запросы. Читайте ее, мои добрые друзья... Для меня чтение Жорж Занд—это как бы культ, как бы молитва. Она обладает способностью открывать мне глаза на все мои недостатки, на все слабости моего сердца, не удручая и не подавляя меня. Наоборот, она при этом пробуждает во мне чувство достоинства, показывая наличие во мне сил и средств, которых я сам до того не сознавал. Жорж Занд не просто поэт, но

---

[1]) Впоследствии, сидя в крепости, Мишель составил для родных целый словарик для конспиративной переписки (см. ниже).

еще пророк, приносящий откровение. О, как мелки и жалки фантазии Беттины[1]) перед этой великой апостольской фигурой!»[2]).

К тому же периоду относится, вероятно, первое проявление интереса Бакунина к итальянским делам, в которых впоследствии, спустя десятилетия, ему пришлось принять столь активное участие. В одном письме из Цюриха, относящемся к февралю 1843 года, Мишель неожиданно сообщает брату Павлу о своих больших успехах в итальянском языке, а парой строк ниже упоминает о своей предстоящей поездке к супругам Пескантини на остров Руссо (на Биеньском озере). Но даже без этого указания мы смело можем предположить, что именно знакомство с Пескантини впервые пробудило в Бакунине интерес к Италии.

С семьей Пескантини Бакунин познакомился в Дрездене осенью 1842 года. Пескантини был мацциністом, так что в его лице Бакунин впервые встретил итальянского радикала и республиканца. Жена его была русская немка из Риги. Бакунин быстро сошелся и даже «подружился» с этими людьми, которые отвечали ему такой же симпатией. Пескантини, по словам Бакунина[3]), «прекрасный и великодушный тип итальянца; очень горячий, очень образованный и совершенный артист; его жена — лифляндка». Когда Пескантини переехали в Швейцарию, Бакунин встретился с ними и провел у них 10 дней на острове св. Петра. «Чудное место и чудные люди, — пишет он родным[4]). Я там, отложив на время все заботы[5]), был счастлив, как ребенок, гулял, пел, лазил по скалам, любовался природою, переводил Шеллинга, читал по-итальянски, фантазировал, строил воздушные замки и ждал тебя, Павел».

Учитывая затруднительное финансовое положение Бакунина, Пискантини, повидимому, предложил Мишелю поселиться у него

---

[1]) Как мы знаем, в годы „постного идеализма“ Мишель увлекался Беттиной фон Арним и приучил к тому же сестер.

[2]) В письме к Жорж Занд от 14 декабря 1847 г. Бакунин перед отъездом из Франции (после речи на польском банкете; см. ниже) говорит между прочим: „Верьте моей преданности, глубокой и неизменной, и сохраните хотя небольшую память о человеке, который Вас почитал прежде даже, чем познакомился с Вами, ибо Вы бывали для него часто и в самые печальные минуты его жизни утешением и светом“. О разрыве Бакунина с Жорж Занд см. во втором томе этой работы.

[3]) Письмо от 29 янв.—10 февр. из Цюриха.

[4]) Письмо без даты, относящееся, повидимому, к началу мая 1843 года.

[5]) Речь идет о тогдашних денежных затруднениях Мишеля.

и ссудил его некоторой суммой денег [1]). Бакунин то соглашался принять это дружеское предложение, то по соображениям щепетильности колебался. Но в мае он с Рейхелем поселились в деревне Проманту близь Ниона, городка на Женевском озере, где Пескантини купил себе виллу. Впрочем, они жили не в самом доме Пескантини. Здесь их посетил молодой Густав Фохт (с семьей которого Мишель познакомился незадолго до того в Берне после пешеходного турнэ по Альпам). Фохт с Бакуниным побывал в Лозанне, где они вместе с немецким эмигрантом Августом Беккером [2]) посещали рабочий ферейн (первое указание на связи Бакунина с рабочим миром).

Как раз в это время у Бакунина разразился острый денежный кризис, который поверг было его в крайнее отчаяние. Дело в том, что Мишель, который никогда не отличался особыми хозяйственными талантами и не знал счета деньгам, не сумел сообразовать своих расходов с доходами, т. е. с получениями от родителей, и к концу своего пребывания в Германии оказался в долгу как в шелку. В сущности он не переставал испытывать денежные затруднения с первых же дней своего выезда за границу. Письма его с самого начала преисполнены жалоб на нехватки и просьб о высылке новых сумм из дому. Бакунин занимал направо и налево, выдавая векселя; он был должен мебельщикам, портным, сапожникам, хозяевам отелей, друзьям, знакомым, Руге, Ефремову, Тургеневу, Пескантини, приятелям Руге, который за него поручился, и. т. д. Тургенев, который

---

[1]) Об этом можно догадываться по неопубликованному письму Бакунина к Руге от 13 марта 1843 года, имеющемуся в нашем распоряжении. Характерно, что в списке бакунинских кредиторов, содержащемся в письме Мишеля от 10 мая 1843 г., имеется и Пескантини, но в перечне долгов, подлежащих немедленной уплате, его имени нет. Значит, он уплаты долга не требовал.

[2]) К рассматриваемому моменту Августу Беккеру было 28—29 лет. В. Полонский (стр. 127) сообщает, что Вейтлингу удалось обратить в свою веру „пожилого Августа Беккера“. Этот Беккер был тогда таким же „пожилым“, как и Бакунин. В. Полонский явно спутал его с Иоганном-Филиппом Беккером, которого называли (но тоже лет двадцать пять—тридцать спустя) „старым Беккером“, и с которым Бакунин имел дело в Швейцарии в 60-х годах. Но и этот И.-Ф. Беккер оказался „старым“ лишь в 60-е и 70-е годы, а в начале 40-х годов тоже не был особенно „пожилым“. Итак, к сведению дальнейших русских биографов Бакунина: Август Беккер и Иоганн-Филипп Беккер — два разные лица.

легкомысленно надавал Бакунину широких обещаний, по возвращении в Россию не очень-то спешил выполнить их—отчасти, впрочем, потому, что и не мог. В результате весною 1843 года кризис разразился. В особенно тяжелом положении очутился А. Руге, который и сам отдал Бакунину свои сбережения, и поручился за него другим кредиторам. Уже летом 1842 года перед Мишелем вставал призрак долговой тюрьмы; к весне следующего года эта угроза приняла довольно реальные очертания [1]). Руге, сам прижатый к стене, написал Бакунину письмо, в котором настойчиво просил его так или иначе урегулировать вопрос о долгах. К этому моменту Бакунин задолжал около 10.000 рублей, не имея ни копейки.

Очутившись в столь тяжелом положении, Мишель обратился к братьям и сестрам с отчаянным письмом (10 мая 1843 года). Указывая на полное безденежье и задолженность, на истощение всех финансовых источников, на угрожающее ему „бесчестье и совершенный разрыв всех отношений", Мишель говорит, что, будь в нем меньше веры, он застрелился бы. „Мне не верят больше,—пишет с отчаянием Бакунин,—думают, что я обманываю и действую как профессиональный мошенник" [2]). Послав в марте для удовлетворения Руге через банкира вексель на Тургенева в 2.500 талеров, Бакунин теперь узнал, что Тургенев отказался его оплатить. Поэтому он просит родных выслать ему 16.000 рублей, 10 000 р. для уплаты долгов и 6,000 р. ему на личные расходы в течение 2—3 лет, а для этого заложить или продать часть родового имения или убедить тетю Анну Михайловну заложить свое имение. В этом письме, проникнутом настроением безвыходности, Мишель между прочим говорит: „Я готов на все, я буду бороться с обстоятельствами до последней возможности; я дам себя обесчестить, я погружусь в полное одиночество, *я стану рабочим* и поста-

---

[1]) И теперь, как некогда в Москве, Бакунин легкомысленно рассчитывал, что вскоре сумеет стать на собственные ноги и добывать средства к существованию литературным трудом. 9 октября 1842 г. он сообщает, что надеется в предстоящем году заработать 400—500 талеров. Но по характеру своему он не был способен к систематической и усидчивой работе, а его тогдашние литературные планы так и остались неосуществленными.

[2]) Chevalier d'industrie (а не „искатель приключений", как переведено у А. Корнилова, переводами которого вообще нельзя пользоваться).

раюсь сохранить в себе веру, которая так хорошо поддерживала меня до сих пор“ [1]).

Мы видим, какой смысл имели тогда слова Бакунина о намерении его сделаться рабочим. Это был не результат глубокого интереса к положению пролетариата, не желание сблизиться с рабочими, не предвосхищение грядущей идеи хождения в народ,—нет, это был порыв отчаяния, результат полного безденежья, отсутствие надежд на возможность добывания средств к жизни другим путем. В таком контексте превращение в рабочего представляется чем-то вроде социальной деградации, унижения, вызванного безнадежностью положения. Повидимому, к этой мысли Бакунин пришел еще раньше, а именно весной 1843 г. или, может быть, даже в конце 1842 г., когда для него окончательно выяснилось его безвыходное экономическое положение. По крайней мере, о своем плане он еще раньше сообщал Арнольду Руге. Об этом можно догадываться по письму его к Руге от 19 марта 1843 г., где он говорит о своем плане как о чем-то уже известном его приятелю [2]). «О моих дальнейших планах на будущее,—пишет Бакунин,—я немного могу Вам теперь сказать. Я уже писал Вам, что я решил сделать на тот случай, если не получу из России денег; при этом я остаюсь. Верьте мне, друг мой, что это не эксцентрическая причуда, а плод зрелого размышления и необходимый результат моего нового опыта и всего моего теперешнего настроения“. И Бакунин готов впредь смотреть на себя как на *пролетария.*

Любопытно, что в этом письме, относящемся к середине марта 1843 г., Бакунин уже сообщает о возможности репрессивных против него мер со стороны цюрихской полиции. «В цюрих-

---

[1]) Проекты Мишеля, разумеется, не осуществились. Мы не знаем, как он в тот момент уладил вопрос о своих долгах. Но, повидимому, часть их была впоследствии родителями Мишеля уплачена. В конце 1844 года дела семьи Бакуниных улучшились вследствие продажи леса (А. Корнилов —„Годы странствий“, стр. 311).

[2]) Это письмо Бакунина, случайно попавшее в наши руки, было, повидимому, написано в ответ на первую просьбу Руге урегулировать вопрос о долгах Мишеля. Бакунин сообщает здесь, что посылает через банкира на имя Тургенева вексель в 2.500 талеров, из коих часть должна была остаться в распоряжении Мишеля (это и есть тот вексель, выкупить который Тургенев отказался, что и вызвало новое, более резкое письмо Руге, о котором Мишель сообщает в вышецитированном письме к родным от 10 мая 1843 г.).

ской мировой политике, — иронически пишет он,—нет ничего нового. Ново только то, что, повидимому, носятся с намерением выслать меня отсюда. Я не знаю причины этого, потому что невозможно вести себя спокойнее и безобиднее, чем я это делаю. Я почти никого не вижу и по целым дням сижу дома. Но, повидимому, мне оказывают честь считать меня опасным и значительным человеком. Я спокойно буду ждать результатов, тем более, что ничего другого мне и не остается. Что я предприму в случае, если меня действительно вышлют отсюда, я не знаю и в настоящее время очень мало об этом забочусь. Если до этого дойдет, тогда видно будет. Мое теперешнее положение настолько смехотворно, что я действительно с некоторым безразличным любопытством выжидаю результата. С того момента, как *я нашел для себя в пролетариате радикальное средство против всех превратностей судьбы* [1]), я вполне успокоился насчет своей будущности и всецело погрузился в настоящее моих трудов".

6. БАКУНИН И ВЕЙТЛИНГ.

То обстоятельство, что цюрихская полиция обратила свое внимание на Бакунина, об'яснялось тем, что здесь он сошелся с немецкими коммунистами, группировавшимися вокруг портного Вейтлинга.

Портняжный подмастерье Вильгельм Вейтлинг родился в 1808 г. в Магдебурге. В середине 30-х годов он прибыл в Париж, где примкнул к „Союзу справедливых", тайному обществу немецких ремесленников, составлявшему отдел бланкистского „Общества Времен Года". Здесь Вейтлинг окончательно проникся идеями коммунизма и написал памфлет „Человечество, как оно есть и каким должно быть". После восстания 12 мая 1839 года в Париже, жестоко подавленного правительством Луи-Филиппа, Вейтлингу пришлось уехать из Франции, и с весны 1841 года он окончательно поселился в Швейцарии, чтобы вести там революционную пропаганду.

С помощью нескольких товарищей Вейтлинг основал здесь тайный „Союз справедливых", распространившийся сначала по французской, а затем и немецкой Швейцарии. Однако союз не отказывался и от открытых выступлений и даже издавал свою

---

[1]) Курсив мой. О том, как следует понимать эти слова, мы говорили выше.

азету. В декабре 1842 г. Вейтлинг выпустил свою главную работу „Гарантии гармонии и свободы“, снискавшую ему широкую популярность“ [1]).

Вейтлинг занимал промежуточное место между утопическим и пролетарским социализмом. Он преодолел уже наивные мечтания мирных утопистов, ожидавших освобождения рабочих от-властителей и капиталистов, он понимал, что пролетариат может освободиться лишь путем революционной борьбы с буржуазией, но он не дошел еще до правильного понимания приемов и средств пролетарской борьбы и придумывал их из собственной головы. Его пропаганда носила во многих отношениях сектантский характер, он идеализировал первобытное христианство и проникнут был смутными бунтарскими стремлениями, возлагая свои надежды в деле социального переворота на босяков, уголовных преступников и прочие деклассированные элементы низших слоев общества. Он носился с фантастическими планами организации воровской банды для партизанской войны против имущих классов, мечтал об освобождении из тюрем 40.000 грабителей и разбойников для составления из них революционной армии и т. п. Кончилось все это тем, что Вейтлинг, озлобленный преследованиями и разочарованный слабостью руководимого им движения, окончательно впал в сектантство и стал проповедывать идею „второго Мессии“, который придет устроить царство божие на земле. Этот христианско-революционный социализм изложен им в „Евангелии бедного грешника“, написанном весною 1843 г.

Как раз эти недостатки Вейтлинга и могли подействовать на Бакунина. С вейтлингианцами последний сблизился через

---

[1]) К этой именно книге относятся восторженные отзывы Л. Фейербаха, Энгельса и Маркса, который выразился о ней так: „Может ли буржуазия—со всеми своими философами и учеными—представить такое сочинение об эмансипации, политической эмансипации, как „Гарантии гармонии и свободы“ Вейтлинга? Если сравнить трезвенную, робкую посредственность немецкой литературы с этим смелым блестящим дебютом немецких рабочих; если сравнить эти исполинские детские сапоги пролетариата с карликовыми размерами стоптанных политических башмаков буржуазии, то немецкой Золушке нужно предсказать в будущем атлетическое сложение“. Это не помешало Марксу впоследствии разойтись с Вейтлингом (как с Прудоном, литературный дебют которого он так же горячо приветствовал), когда он усмотрел в нем помеху для дальнейшего развития коммунистического движения.

Гервега, с которым они поддерживали некоторые отношения, имея отчасти в виду возможность использовать для дела капиталы его жены (дочери банкира). В Цюрих Вейтлинг перебрался в мае 1843 г. Здесь и сошелся с ним Бакунин, который уже раньше был знаком с идеями Вейтлинга по его литературным произведениям. Примитивные коммунистические концепции Вейтлинга как нельзя больше подходили к смутным социальным воззрениям самого Бакунина, выходца из экономически отсталой страны. Точно так же ему должны были прийтись по вкусу сектантские мечтания Вейтлинга относительно пришествия Мессии, идеализация первобытного христианства, бывшая тогда в ходу и нашедшая, как мы увидим, отголосок в писаниях самого Мишеля. Наконец, на Бакунина, очевидно, повлияла мысль об использовании уголовных преступников в интересах социальной революции, опять-таки соответствовавшая русским традициям, по которым разбойник, как протестант против самодержавно-помещичьего гнета, признавался стихийно народным революционером. По крайней мере, эту идею Бакунин впоследствии развивал неоднократно.

«Бакунин, — рассказывает Рейхель в своих воспоминаниях,—нашел при своем прибытии в Швейцарию зародыши коммунистического движения, и его тянуло примкнуть к этому движению лично, чтобы придать наиболее правильное направление революционным тенденциям».

Увлечение Бакунина вейтлингианским движением вряд ли могло вылиться в какие-нибудь определенные формы и привести его к систематическому и планомерному участию в коммунистической агитации.

Упомянутый выше д-р Мюллер-Стрюбинг, встречавший часто Бакунина в Цюрихе, рассказывает: «Немецкая философия и коммунистическое влияние боролись в нем; однако надо заметить, что Бакунин стремился скорее их соединить; новую идею он воспринимал с обычным энтузиазмом, но не склонялся к односторонней позиции».

Среди вейтлингианцев Бакунин завел ряд знакомств, а с некоторыми из них даже сдружился. Из этих людей мы можем указать на Августа Беккера, Симона Шмидта, Себастиана Зайлера (все они упоминаются самим Бакуниным в его письмах). Кроме того назовем проф. А. Фоллена, швейцарского демократа, брата жены проф. Фохта (этого Фоллена вейтлин-

гианцам, впрочем, не удалось втянуть в свои предприятия). Из них, пожалуй, наиболее серьезным человеком, который мог повлиять на Бакунина в смысле пробуждения в нем симпатий к рабочему классу, был скорняк Симон Шмидт, один из самых развитых членов немецкого рабочего ферейна в Лозанне и ближайший помощник Вейтлинга (на-ряду с А. Беккером). Впоследствии, с разгромом вейтлингианского движения, С. Шмидт поддался тяге в Америку, рисовавшейся тогда многим европейским радикалам в виде девственной обетованной страны, и, несмотря на отговаривания Бакунина, летом 1847 года оставил Европу (см. ниже). В 1848 г. он был в Нью-Йорке членом „Союза Освобождения“ и пытался оттуда оказать содействие начинавшемуся в Германии рабочему движению.

Август Беккер, прозванный Rothbart (рыжебородым или «рыжим» Беккером), был к тому времени одним из «старых» немецких эмигрантов. Родившись в 1814 году в Гохвейзе в Великом герцогстве Гессенском, Беккер принимал активное участие в революционном движении германской интеллигенции в 30-х годах XIX века. Будучи студентом богословия в Гессене, А. Беккер примкнул к заговору молодого республиканца Георга Бюхнера (тоже гессенского уроженца). С появлением Вейтлинга в Швейцарии А. Беккер увлекся его планами и сделался деятельным его пособником. Несколько бестолковая и путаная голова, но преданная народному делу, А. Беккер был типичным представителем революционной интеллигенции того героического периода и во многих отношениях походил на тогдашнего Бакунина, с которым естественно сошелся. Вскоре после ареста Вейтлинга А. Беккер одно время спутался с подозрительным мистиком и шарлатаном Кульманом; затем пытался возобновить коммунистическую агитацию в Цюрихе, где привлек к работе учителя Я. Трейхлера, но после неудачи этой попытки впал в состояние разочарования. О переселении в Америку он подумывал уже в 1844 году, а после революции 1848 года действительно уехал в Соед. Штаты, где и скончался в 1871 году в Цинциннати.

Себастиан Зайлер, мелкий чиновник из Силезии, из демократа превратился в Швейцарии в коммуниста. Здесь он тоже принимал деятельное участие в вейтлингианской агитации. Впоследствии, в 1846 году, он был одним из немецких коммунистов, группировавшихся в Брюсселе вокруг К. Маркса. С ним уже в 1844 году у Бакунина установились враждебные отношения.

Сам Бакунин рассказывает в «Исповеди» о своем знакомстве с Вейтлингом следующее:

«Гервег, находясь уже в Арговийском кантоне, прислал ко мне с рекомендательною запискою коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, на дороге зашел к нему для того, чтобы с ним познакомиться; Гервег же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю—узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уж обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился: он человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность порабощенного большинства. Он, впрочем, недолго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов; но тогда он пришелся мне очень по сердцу; я так был прикормлен приторною беседою мелкохарактерных немцев-профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но энергического и верующего. Я просил его посещать меня; он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также и о немецких только-что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством; тем ограничились мои отношения с Вейтлингом. Другой связи у меня ни с ним, ни с другими коммунистами ни в это время, ни потом решительно не было, и я сам никогда не был коммунистом».

То, что Бакунин открещивается в своей «Исповеди» от коммунизма, отнюдь нельзя об'яснять его страхом перед Николаем. В той же «Исповеди» он наговорил на себя более страшных, с точки зрения Николая, вещей и признался в более серьезных преступлениях, чем платоническое сочувствие коммунистическим идеям или даже активное участие в коммунистической агитации. Но дело в том, что по совести Бакунин и не мог признать себя коммунистом, ибо таковым он действительно никогда не был [1]).

---

[1]) Единственный раз Бакунин признал себя коммунистом в письме к Зольгеру от октября 1844 года (см. ниже). Но это было временное и случайное настроение.

Бакунин еще находился тогда в процессе выработки своего мировоззрения. Он не вполне еще отделался от своих философских увлечений, только начал заинтересовываться вопросами политической борьбы, плохо разбирался в начинавшемся социальном движении пролетариата и не был достаточно знаком с экономическими вопросами. Не инстинкт влек его в крайнюю левую сторону. Не сочувствуя коммунизму, как таковому, он отдавал все-же свои симпатии трудящимся и угнетенным и потому не мог не увлечься движением Вейтлинга. Одно время он собирался даже сделаться ремесленником [1]) и примкнуть к какой-нибудь вейтлингианской общине. Но в общем увлечение это носило чисто-головной характер и не вызвало изменений в жизни Бакунина.

Единственным литературным выражением этого увлечения была статья о «Коммунизме», подписанная тремя звездочками и появившаяся в №№ 44, 45 и 47 (от 2, 6 и 13 июня 1843 г.), издававшегося Ю. Фребелем в Цюрихе «Швейцарского Республиканца».

Принадлежала ли эта статья Бакунину? Неттлау полагает, что да. И он приводит в пользу своего мнения довольно веские доводы [2]). Правда, Бакунин в своей «Исповеди» не упоминает об

---

[1]) Впрочем, как мы видели выше, намерение Бакунина сделаться рабочим об'ясняется его тогдашним тяжелым материальным положением. Но возможно, что здесь играла некоторую роль и идейная сторона. Вероятно, мотивы, побудившие Бакунина склониться к такому решению, были более подробно изложены в том письме к Руге, о котором он упоминает в цитированном выше письме от 19 марта 1843 г. К сожалению, это первое письмо до сих пор неизвестно где находится.

[2]) Цит. соч. т. I, стр. 55 и след. Сущность их сводится к следующему: Юлий Фребель в своих мемуарах, написанных уже в пожилом возрасте, когда этот бывший демократ стал реакционером, рассказывает, что приглашенный к сотрудничеству в „Швейцарском Республиканце“ Бакунин, „верный своему нигилистическому призванию“, по мере сил способствовал гибели журнала. Это, впрочем, вздор, ибо статья о коммунизме вовсе не навлекла гонений на журнал. Но из слов Фребеля вытекает, что Бакунин писал в журнале. Что же именно? На это дает ответ сотрудник журнала, Яков Трейхлер, который рассказал Неттлау, что однажды в Цюрихе на квартире Бакунина последний продиктовал ему длинную статью, которую Трейхлер записал правильным немецким языком. Трейхлер прибыл в Цюрих в конце мая 1843 года, к этому же времени с Петеринзеля вернулся в Цюрих Бакунин. По словам Трейхлера, статья, продиктованная ему Бакуниным, касалась Вейтлинга, а единствен-

этой статье, хотя говорит о других своих статьях, менее значительных. Но возможно, что он не считал нужным рассказывать Николаю I о статье по поводу коммунизма, имевшей слишком отдаленное отношение к заботам русской политической полиции и потому мало интересной для его коронованного духовника. Между тем в «Исповеди» Бакунина имеется ряд указаний, делающих вероятным предположение Неттлау (но оставшихся, конечно, неизвестными последнему). Знакомство свое с Ю. Фребелем, знакомым и даже приятелем Гервега (Фребель издал между прочим в 1841 году первый том стихотворений Гервега «Gedichte eines Lebendigen», составивший автору громкую славу революционного поэта), Бакунин признает. Точно так же он подробно останавливается на борьбе между консервативной и демократической партиями в Цюрихе (хотя тут же прибавляет, что стоял в стороне от этой мелочной грызни), и на полемике между главными органами этих двух партий, «Der Schweizerische Beobachter», защищавшим консервативную партию, во главе которой стоял Блюнчли, и «Der Schweizerische Republikaner», бывшим

ная статья в этом роде, появившаяся в это время в „Швейцарском Республиканце", и есть статья о коммунизме, помещенная в №№ 44—47 журнала (со 2 по 13 июня). У Неттлау только здесь описка: он приводит дату 1842 года, тогда как по всему видно, что речь идет о 1843 годе, когда Бакунин и проживал в Цюрихе (в 1842 году летом он был еще в Берлине). В подтверждение своей догадки Неттлау приводит письмо А. Фоллена к Гервегам от 4 июля 1843 года. В этом письме Фоллен сообщает, что Бакунин должен был поспешно уехать из Цюриха к Пескантини вследствие того, что он написал ряд блестящих статей против реакционеров, и что авторство его стало известно. По всем этим соображениям Неттлау приходит к довольно правдоподобному выводу, что статья эта принадлежит Бакунину.

В. Полонский во втором издании своей книги „Бакунин", т. I, вышедшей в 1925 году (стр. 36), выражается на этот счет гораздо более категорически, чем Неттлау и я. „Эта статья Бакунина",—уверенно пишет он, но не перечисляет тех доказательств, которые привели его к такому решительному выводу.

Кстати, у нас полагали, что слово „нигилисты" впервые придумал Тургенев, который употребил его по отношению к революционным демократам - шестидесятникам в романе „Отцы и дети". Но оказывается, что для обозначения крайних социалистов и даже демократов оно применялось европейскими реакционерами еще в начале 40-х годов, в том числе и к самому Ю. Фребелю и к его сотрудникам (впоследствии он применил его к Бакунину). Да и у нас, правда в другом смысле, Надеждин применил его к Пушкину в 30-х годах. Оказывается, ничто не ново под луною.

газетою демократической партии. В этой последней газете и появилась статья о коммунизме, вызванная нападками упомянутой консервативной газеты. Серьезным доводом в пользу авторства Бакунина служат также его рассуждения по поводу коммунизма в «Исповеди, часто совпадающие до мелочей с содержанием статьи о коммунизме (как читатель убедится из приводимых дальше выдержек из статьи и из Исповеди).

Наконец, авторство Бакунина выдается стилем статьи. Этот стиль поразительно напоминает и в общем, и в деталях стиль его юношеских писем. Всякий, кто знаком с письмами Бакунина 30-х годов, даже не полностью и не в оригиналах, а хотя бы по тем выдержкам из них, которые приведены в книге А. Корнилова «Молодые годы Михаила Бакунина», сразу узнает манеру их автора при чтении статей о коммунизме. Если бы М. Нетт-лау знал в то время про эти письма, то он еще с большей уверенностью приписал бы эту статью Бакунину и был бы совершенно прав. Стоит только натолкнуться на фразу: «познают истину, и она освободит их», чтобы сразу вспомнить письма к отцу, к сестрам, к Беерам, где он особенно часто приводит именно эту фразу. Да, эту статью писал Бакунин: настолько слог, манера, мысли статьи совпадают со стилем его юношеских писем.

Так вот, если статья о «Коммунизме» действительно принадлежит Бакунину, то она вместе со статьею Ж. Элизара показывает, как далеко ушло его политическое развитие за два года заграничной жизни. В ней автор выступает в роли вполне сформировавшегося политического радикала с явными социалистическими симпатиями. Уже в России Бакунину за последнее время пришлось отказаться от огульного отрицания «французского» (т.-е. политического) элемента. Здесь, в самом средоточии «германского» духа, уважением к которому был проникнут кружок Станкевича, в Берлине, который в лице своих «молодых» и передовых деятелей сам в сильнейшей мере питался из французского источника, Бакунин еще быстрее должен был проделать свою начавшуюся на родине эволюцию. Он воспринял не только наследие великой французской революции, на опыте которой учились все тогдашние радикалы и социалисты, но и идеи французских утопистов, оказывавших тогда сильное влияние повсюду, в том числе и на германских и русских левых.

Мы видели уже, что прежде Бакунин мало интересовался политическими и социальными вопросами. Но еще в России Баку-

нин, хотя и был поглощен преимущественно философией, не мог не знать, если не самих сочинений, то о сочинениях главных утопистов—Сен-Симона и его школы, Фурье, Пьера Леру, которыми очень увлекались в кружке Герцена и о которых последний наверно говорил Бакунину во время их споров в Москве. В Берлине те кружки левых гегелианцев, среди которых вращался Бакунин, очень интересовались французским социальным движением и утопическими школами, так что и здесь Бакунин мог познакомиться хотя бы с главными течениями тогдашней французской социалистической мысли. Рейхель рассказывает, что в 1842 году Бакунин особенно интересовался Руссо и Жорж-Занд. Об увлечении последнею Бакунин сам говорит в своих письмах к родным, приведенных выше. Наконец, как он сам сообщает в своей Исповеди, с конца 1842 года он жадно набросился на сочинения французских утопистов, с взглядами которых он, как и многие радикалы того времени в Германии, впервые познакомился из книги проф. Л. Штейна. Но, конечно, более основательно Бакунин ознакомился с социальными системами позже, во время пребывания в Париже. Во всяком случае к моменту составления статьи о коммунизме Бакунин уже имел общее представление о социальном вопросе.

По общему духу статья о коммунизме представляет, с одной стороны, шаг вперед, а с другой—шаг назад в сравнении со статьей Ж. Элизара. Философский идеалистический жаргон и дух сентиментализма, занимающие еще довольно видное место в незаконченной статье о коммунизме, гораздо менее заметны в статье «Реакция в Германии». Но зато в последней громко звучит преимущественно голос политического радикализма и общего революционного протеста, социальному же вопросу в узком смысле отводится меньшее место, тогда как в статье о коммунизме специальное внимание автора обращено именно на социальный вопрос, общий характер и общественно-исторические источники которого схвачены довольно верно. Впрочем, плохо знакомый тогда с экономической стороной вопроса, Бакунин и не мог иначе говорить о нем, как в общих философских терминах.

Обе статьи (О реакции в Германии и О коммунизме) принадлежат, повидимому, одному и тому же лицу: тот же слог, вплоть до совпадения выражений, тот же гордый дух протеста, тот же революционный пыл и та же уверенность в близости предстоящего коренного переворота. А если это так, то это показы-

вает, с какой головокружительной быстротой развивалось мировоззрение Бакунина. За несколько месяцев, протекших от появления первой статьи до опубликования второй, пройден огромный этап.

В виду того, что статья о коммунизме, вероятно, вышла из-под пера Бакунина и представляет его первый опыт в новом духе, мы приведем из нее довольно обширные выдержки.

Статья написана в виде полемики с консервативным журналом «Швейцарский Наблюдатель» (см. выше), выступившим против проповеди коммуниста Вейтлинга, который, как мы говорили, вел тогда энергичную пропаганду среди швейцарских рабочих и немецких ремесленников, проживавших в Швейцарии.

Автор статьи «во избежание недоразумений» спешит отмежеваться от коммунизма, особенно в том виде, какой ему был придан Вейтлингом (как известно, впрочем, и сам Маркс, который во время разрыва с Вейтлингом был вполне сложившимся революционным коммунистом, также высказался против формы, в которую Вейтлинг облек свою коммунистическую пропаганду). Но автор статьи высказывается не только против вейтлинговского коммунизма, он отрекается и от коммунизма вообще. «Раз навсегда заявляем,—говорит он,—что мы не коммунисты, и что у нас столь же мало охоты, как и у господ из «Наблюдателя», жить в обществе, устроенном по плану Вейтлинга, которое представляет не свободное общество и не действительно живое об'единение свободных людей, а организованное с помощью принуждения и насилия стадо животных, преследующее исключительно материальные интересы и не желающее ничего знать о духовной стороне жизни и о доставляемых ею высоких наслаждениях».

Но вместе с тем автор признает за коммунизмом большое значение; более того, он считает его вопросом мировым. Коммунизм угрожает самому существованию современного государства—и именно потому, что он не является злокозненной выдумкой отдельных лиц, а «проистекает из общего состояния государственного организма». Философия и радикализм (политический) имеют много пунктов соприкосновения с коммунизмом. «Современная философия необходимо должна иметь с коммунизмом много общего, так как оба они родились из духа нашего времени и представляют самые могучие его откровения».

Цель философии—познание истины. Но истина не есть нечто отвлеченное, она должна найти практическое приложение, она

должна влиять на общественные отношения людей в духе свободы. «До настоящего времени философия не прекращает упорной борьбы со всеми предрассудками, со всем тем, что мешало людям достигнуть их высокой и святой цели: осуществления свободного и братского общества—царства божия на земле... Это и есть пункт соприкосновения философии с коммунизмом: оба стремятся к освобождению людей. Здесь же, однако, начинается их существенное расхождение. Философия по существу своему только *теоретична*..., коммунизм же, напротив, практичен. Из этих особенностей и вытекают преимущества и недостатки обоих. Правда, мысль и дело, теория и практика—одно и то же, составляют в конечном счете единую, нераздельную сущность; правда, величайшая заслуга современной философии и заключается в признании и познании этого единства; но с этим признанием она дошла до своего предела, которого она, как философия, не может перешагнуть, ибо по ту сторону этого предела начинается нечто большее, — а именно: действительное, одушевленное любовью и вытекающее из божественной сущности первобытного равенства, *общество* свободных людей, посюстороннее осуществление того, что составляет божественную сущность христианства, *истинный коммунизм*».

Соглашаясь с «Наблюдателем», что Вейтлинг игнорирует значение национального принципа, автор статьи признает эту ошибку исторически необходимой как неизбежную ступень в развитии коммунизма. Коммунизм теоретически и научно еще далек от законченности и от правильного понимания, во всей их полноте, выводов, вытекающих из его собственного принципа. Ошибка коммунизма в оценке национального принципа об'ясняется и тем, что в исторической действительности этот принцип осуществляется в искаженном виде, являясь не носителем идеи человеческого единства, а поводом к его обособлению и к национальному эгоизму.

Космополитизм у коммунистов не является какой-нибудь безжизненной абстракцией. «Коммунизм—не безжизненная тень; он произошел из народа, который никогда не рождает тени; народ—*а под народом я разумею большинство, массу, бедных и угнетенных* [1]),—*народ*, говорю я, *всегда был единственно творческою почвою, на которой произросли все великие исторические явления, все освободительные революции; все дела того, кто чужд народу, заранее обречены на бессилие; творить действительно*

[1]) Курсив мой.

можно, лишь соприкасаясь с народом [1]); Христос и Лютер вышли из народа, из *простого* [2]) народа, а героям французской революции потому удалось заложить смелой рукой фундамент будущего храма свободы и равенства, что они обрели новые силы в соприкосновении с бурным народным океаном.

«Таким образом протесты коммунизма против принципа национальности гораздо важнее и значительнее протеста просвещенных космополитов прошлого (т.-е. XVIII) века; коммунизм основывается не на теоретических соображениях, а на практическом, народном, безошибочном инстинкте; его протесты направлены против того, что национальность затемняет сейчас святое, всеми взыскуемое единство человечества».

Автор статьи, вполне в духе того времени, преувеличивает историческую роль христианства и впадает в идеализацию первобытного христианства (от этого недостатка, впрочем, не свободен был и разбираемый им Вейтлинг). Но он уже перерос христианские догмы и отодвигает его значение в прошлое; теперь он воодушевляется идеями французской революции с теми дополнениями, которые внесены были сюда пропагандой утопического социализма.

«С тех пор,—говорит он,—как христианство перестало быть связующим и одухотворяющим европейское государство цементом, что продолжает в нем сохранять согласие и любовь, возвещенные христианством? Священный дух свободы и равенства, дух чистой человечности, в громе и молнии открывшиеся людям во время французской революции и, подобно семенам новой жизни, разнесенные во все стороны посредством революционных войн. Французская революция — начало новой жизни. Многие так слепы, что полагают, будто ее мощный дух укрощен. Как ужасно будет ваше пробуждение, наивные люди! Нет, революционная драма еще не закончена. Мы родились под революционной звездой, живем и все без исключения умрем под ее влиянием. Мы—на заре великого революционного переворота, мы—накануне новой борьбы, тем более опасной, что она будет носить не просто политический, но и принципиальный, религиозный характер. Да, не нужно обманываться: дело идет

---

[1]) Курсив мой.

[2]) Курсив автора. В подлиннике сказано „gemeinen“: это—будущее „простонародье“, „черный люд“, „чернорабочая чернь“ анархиста Бакунина.

к чему-то неменьшему, чем новая религия, к религии демократии, которая над старым знаменем с надписью: «Liberté, Egalité et Fraternité» (свобода, равенство и братство) начнет свою новую борьбу, борьбу на жизнь и на смерть.

«Вот дух, породивший коммунизм. Этот дух ныне невидимо сплачивает воедино все народы без различия национальности: с этим духом, блестящим преемником христианства, воюют так называемые христианские правительства, монархи, князья и властители, так как все они прекрасно сознают, что их мнимому христианству и их корыстным делам не вынести его огненного взора. И что только они ни делают, к каким только средствам они ни прибегают, чтобы затруднить его победное шествие! Они разжигают в народах национальные чувства в ущерб человечности и любви, они, именуя себя христианскими правительствами, проповедуют ненависть и убийство во имя национальной идеи!

«В сравнении с ними Вейтлинг и коммунизм безусловно правы, так как, по принципам самого христианства, все противоречащее духу любви подлежит уничтожению» [1]).

Сопоставим с этим то, что Бакунин говорит о коммунизме в своей «Исповеди» (1851г.), не забывая, конечно, что он писал ее в крепости по приказу кровожадного деспота.

«Я знал впоследствии многих французских, немецких, бельгийских и английских социалистов и коммунистов, читал их сочинения, изучал их теории, но сам не принадлежал никогда ни к какой секте, ни к какому обществу и решительно оставался чужд их предприятиям, их пропаганде и действиям. Я следовал с постоянным вниманием за движением социализма, особенно же коммунизма, ибо смотрел на него как на естественный, необходимый, неотвратимый результат экономического и политического развития Западной Европы [2]); видел в нем юную, элементарную, себя еще не знающую силу, призванную или обновить, или разрушить вконец западные государства. Об-

---

[1]) На этих словах статья обрывается: продолжения не было.

[2]) „Я говорю только о Западной Европе, потому что на Востоке и ни в одной славянской земле,—разве только кроме Богемии и отчасти Моравии и Шлезии,—коммунизм не имел ни места, ни смысла".

Прим. Бакунина.

щественный порядок, общественное устройство сгнили [1]) на Западе и едва держатся болезненным усильем; сим одним могут об'ясниться и та невероятная слабость, и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии; но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же самая участь. В Западной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверье и разврат, развал, происходящий от безверья; начиная с самого верху общественной лестницы, ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в призванье и право; все шарлатанят друг перед другом и ни один другому, ниже себе самому не верит: привилегии, классы и власти едва держатся эгоизмом и привычкою, слабая препона против возрастающей бури! Образованность сделалась тождественна с развратом ума и сердца, тождественна с бессильем, и посреди сего всеобщего гниенья один только грубый, непросвещенный народ, называемый чернью, сохранил в себе свежесть и силу, не так, впрочем, в Германии, как во Франции. Кроме этого, все доводы и аргументы, служившие сначала аристократии против монархии, а потом среднему сословью против монархии и аристократии, ныне служат, и чуть ли еще не с большею силою, народным массам против монархии, аристократии и мещанства. Вот в чем состоит, по моему мнению, ценность и сила коммунизма, не говоря о возрастающей бедности рабочего класса, естественного последствия умножения пролетариата, умножения, в свою очередь необходимо связанного с развитием фабричной индустрии так, как она существует на Западе. Коммунизм, по крайней мере, столько же произошел и происходит сверху, сколько и снизу; внизу, в народных массах, он растет и живет как потребность не ясная, но энергическая, как инстинкт возвышенья; в верхних же классах, как разврат, как эгоизм, как инстинкт угрожающей заслуженной беды, как неопределенный и беспомощный страх, следствие дряхлости и нечистой совести; и страх сей, беспрестанный крик против коммунизма чуть ли не более способствовал к распространению последнего, чем самая пропаганда коммуни-

[1]) О „гниении“ Запада Бакунин говорит только в „Исповеди“, где он приспособляется к казенно-российской философии истории. В его речах и сочинениях, в отличие от герценовских, мы таких заявлений не встретим.

стов [1]). Мне кажется, что этот неопределенный, невидимый, неосязаемый, но везде присутствующий коммунизм, живущий в том или другом виде, во всех без исключения, в тысячу раз опаснее того определенного и приведенного в систему, который проповедуется только в немногих организованных тайных или явных коммунистических обществах. Бессилье последних явно оказалось в 1848 году в Англии, во Франции, в Бельгии, а особливо в Германии; и нет ничего легче, как отыскать нелепость, противоречие и невозможность в каждой доселе известной теории, так что ни одна не в состоянии выдержать даже трех дней существования».

Знакомство с вейтлингианцами не прошло для Бакунина бесследно. Цюрихское правительство решило положить конец коммунистической пропаганде и заодно убить начавшееся радикальное движение среди местной буржуазии. По жалобе священников, обвинявших Вейтлинга в богохульстве, открыто было гонение на коммунистов. Назначена была особая комиссия для расследования коммунистических происков в Швейцарии; в начале июля Вейтлинг и ряд его товарищей были арестованы; многие иностранцы высланы из Швейцарии. Профессор Блунчли, составивший шпионский доклад от имени комиссии, позволил себе опубликовать найденные у Вейтлинга письма частных лиц. В дело оказался замешанным и Бакунин.

Скоро цюрихская полиция обратила внимание на русского революционера, находившегося в близких сношениях с подозрительными лицами. В рапорте цюрихскому правительству упоминается, как о коммунистическом деятеле, о Бакунине. 25 июля 1843 года русское посольство в Берне, получив цюрихский доклад о коммунистах, пожелало иметь более подробные сведения об упомянутом там Бакунине; услужливая цюрихская полиция поспешила поделиться с агентами русского правительства имеющимися у нее сведениями о Бакунине, а русское посольство уведомило об этом русское правительство в Петербурге.

Слухи об аресте Вейтлинга и о роли Бакунина распространились в русском обществе. Некоторые даже думали, что

---

[1]) „Брошюра Bluntschli, напр., изданная им в 1843 году от имени цюрихского правительства по случаю процесса Вейтлинга, была вместе с упомянутою книгою Штейна одною из главных причин распространения коммунизма в Германии". *Прим. Бакунина.*

Речь идет о докладе Блюнчли, изданном в виде брошюры.

среди захваченных коммунистов находится и Бакунин. Герцен отметил в своем дневнике:

«Die Kommunisten in der Schweiz. Wörtlicher Abdruck des Komissionalberichtes an die Regierung von Zürich [1]). Первое, что удивило в этой книге, это фамилия Бакунина, названного не только в числе коммунистов, но упомянутого как один из «venin» (яд). Они были захвачены, следовательно, и он. Странная судьба этого человека. Jules Elysard указал великую перемену — его консеквентность не могла остановиться. Что с ним будет? Коммунистическое движение в Швейцарии имело представителем своим Вейтлинга, прежде портного, потом энергического писателя, потом пропагандиста. Места из его писаний, приведенные комиссией, красноречивы и сильны. Распространение коммунизма шло очень быстро между работниками швейцарскими и германскими. Начала их известны: Eine volkommene Gesellschaft hat keine Regierung, sondern eine Verwaltung [2])—организация работ, равенство in factô [3]), война собственности etc., etc. Много одушевления; слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповеди, прекрасно определяют они свое отношение к либералам. Есть нелепости (например, теория воровства), но есть зато резкая истина» (Дневник, 4/XI, 1843).

Бакунин в действительности остался на свободе, но русское правительство уже обратило на Бакунина внимание [4]).

---

[1]) „Коммунисты в Швейцарии. Точная перепечатка доклада, представленного комиссией цюрихскому правительству".

[2]) В совершенном обществе нет правительства, а есть лишь управление.

[3]) На деле.

[4]) Впрочем, для Бакунина это не было неожиданностью. За несколько месяцев до того, как русское посольство в Швейцарии ознакомилось с докладом Блюнчли, Бакунин в письме к Руге 19 марта 1843 г. предвидел поход против него русской полиции. Сообщая, что он давно не имеет вестей из России вследствие происков царской полиции и что он сам боится теперь писать туда из опасения скомпрометировать своих родных, Бакунин прибавляет: „Что касается меня лично, то я уже ничего больше не боюсь, так как *я давно и абсолютно скомпрометирован* (курсив мой). Теперь я ежедневно жду приказа моего правительства (т.-е. приказа о возвращении в Россию.—*Ю.* С.), и мне не приходится говорить Вам, что́ я на это отвечу. Я предпочитаю свободу и нищету позолоченному блестящему рабству". После того, что мы уже знаем о решении Бакунина не возвращаться в Россию, нас эти слова удивить не могут.

7. ЦАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБ'ЯВЛЯЕТ БАКУНИНУ ВОЙНУ.

15/27 сентября 1843 г. русский поверенный в делах в Швейцарии А. Струве телеграфировал министру ин. дел Нессельроде о причастности Бакунина к коммунистическим происками. Нессельроде, конечно, поспешил донести обо всем всесильному шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу. Струве сообщал, что Бакунин знаком с Гервегом, «составившим себе печальную репутацию своими революционными и безбожными стихами». Далее он доносил, что Бакунин, по предложению Фребеля и других, составил брошюру о взаимоотношениях России и Польши, но после заарестования брошюры Вейтлинга взял свою рукопись из типографии обратно. Наконец, он сообщил, что Бакунин нигде в Швейцарии не прописывался, не оставался долго на одном месте, а, будучи в Берне, в русское посольство не явился. Впрочем, Струве считает нужным отметить, что до сих пор Бакунин, повидимому, не сходился с польскими эмигрантами, проживавшими в Швейцарии (а в те времена русскую полицию это интересовало больше всего).

Насколько швейцарская консервативная буржуазия уже тогда подхалимствовала перед русским царизмом, видно из того, что цюрихский бургомистр и государственный советник Муссон составил о Бакунине доклад т. с. Крюднеру, русскому посланнику в Берне. В этом докладе он сообщает, что Бакунин проживал в Цюрихе с 16 января, что из Цюриха он выехал незадолго до ареста Вейтлинга (26 июня), при чем по от'езде оставил долги [1]). Из этого рапорта между прочим выясняется, что никакой брошюры о России и Польше Бакунин не сочинял, а лишь переводил какую-то брошюру по этому вопросу.

Получив сведения о появлении нового русского революционера, Третье Отделение всполошилось. Бенкендорф уведомил о деятельности Бакунина министра внутренних дел, который с своей стороны запросил тверского губернатора о родных Бакунина. Тверской губернатор дал самый лестный отзыв о ста-

---

[1]) Этот вопрос преследовал Бакунина всю его жизнь. Долги он оставил после себя и в Дрездене. Так, 13/25 сентября 1844 г. саксонский посланник в Петербурге формальным отношением просил старика Бакунина заплатить долг его сына Мишеля в 445 экю, которые тот остался по векселю должен содержателю отеля в Дрездене. Переписка шла через III Отделение. Пришлось заплатить.

рике Бакунине и его жене; далее, отметив увлечение детей их «умствованиями» немецкой философии, все-же подчеркнул, что они, повидимому, не пытаются применить свои философские учения на практике. Тогда Бенкендорф просил министра передать через тверского губернатора отцу Бакунина, чтобы тот немедленно истребовал своего сына из-за границы и прекратил всякую посылку ему денег. В ответ старик Бакунин от 23 ноября сообщил, что с мая он никаких денег сыну не посылал вследствие расстройства своих дел и, выразив осуждение его деятельности, заявил, что вытребовать его домой не может, так как не знает, где он находится. А в письме к Бенкендорфу от 28 декабря, старик, потрясенный мыслью, что и его заподозрили в «неблагонадежности» [1]), и опасавшийся за участь остальных детей, ибо он знал мстительность николаевских жандармов, старался выгородить и старшего сына. Рассказав шефу жандармов о своем согласии на заграничную поездку Мишеля, данном в надежде, что, довершив там свое учение под руководством знаменитых профессоров, он возвратится в Россию и «с пользою» поступит на государственную службу, старик прибавляет, что в согласии своем скоро «стал каяться, заметив, что мнимая премудрость германских мудрецов увлекла его от полезной цели, и тщетно советовал ему возвратиться в Россию. Гибельная фантасмагория увлекла, к крайнему прискорбию моему, молодого и пылкого человека, но никак не могу поверить, чтобы он, изменив долгу своему и присяге, действительно питал какие-либо вредные отечеству своему замыслы, и если завлечен был каким-то мнимым либерализмом за пределы своих обязанностей, то непременно поздно или рано возвратится на истинный путь».

1 декабря 1843 года шеф жандармов Бенкендорф обратился к министру иностранных дел Нессельроде с просьбой «поручить нашим заграничным посольствам и миссиям об'явить Михаилу Бакунину, чтобы он немедленно и не ссылаясь ни на какие предлоги возвратился в Россию, и что, в случае неисполнения сего, он подвергнется ответственности по всей строгости законов». Еще до того Бенкендорф положил резолюцию: в случае возвращения Бакунина на родину подвергнуть его полицейскому надзору.

---

[1]) Относительно этого пункта жандармы, впрочем, поспешили его успокоить.

28 декабря 1843—9 января 1844 г. Струве донес, что Бакунин явился в Берне в русскую миссию для визирования своего паспорта на проезд в Мангейм, куда он собирался для свидания с сестрой Варварой. В разговоре со Струве Бакунин «признал себя виновным по первому пункту (знакомство с коммунистами), что же касается брошюры, он решительно отрицал свое авторство и даже знание о ней. Он, кроме того, заверил честным словом [1]), что никогда не принадлежал к какому-либо тайному и незаконному обществу и что поддерживал связь с коммунистами лишь для того, чтоб ознакомиться с идеями, породившими эту новую секту, но им не разделяемыми» [2]).

Тем временем распоряжение Бенкендорфа дошло до Берна. 25 января—6 февраля 1844 года Струве передал Бакунину требование правительства о немедленном возвращении его в Россию. Бакунин выдал Струве расписку в том, что распоряжение правительства ему об'явлено. Струве понял разговор с Бакуниным так, что последний согласен вернуться в Россию. Но на следующий же день Бакунин уехал из Берна и 8 февраля написал из Базеля Струве, что важные дела призывают его в Лондон.

В Лондон Бакунин, конечно, не поехал. Он остался в Швейцарии. 21 февраля 1844 года Струве, повидимому, следивший за ним через своих агентов и пользовавшийся содействием швейцарской полиции, доносит, что «повсюду он (Бакунин [1]) поддерживает сношения с самыми радикальными элементами, стремящимися перенести свою деятельность за пределы Швейцарии для ниспровержения правительств и существующего общества».

Бакунин решил не возвращаться на родину, прекрасно зная, что его там ждет под властью Николая I. Правительство, из рук которого ускользнула новая жертва, рассвирепело. 18 марта 1844 г. Бенкендорф сообщил министру юстиции Па-

---

[1]) К этому приему в сношениях с представителями власти Бакунин неоднократно прибегал и впоследствии (в крепости, при побеге из Сибири и пр.). При этом он отнюдь не считал себя связанным таким „честным словом“.

[2]) Приблизительно то же Бакунин говорил впоследствии в „Исповеди“. Разумеется, он лицемерил, об'ясняя сближение с коммунистами чисто теоретическим интересом, хотя правда, что коммунистом он никогда не был.

нину, что царь велел поступить с Бакуниным так же, как незадолго до того было повелено поступить с дворянином И. Головиным (тоже отказавшимся подчиниться требованию о возвращении в Россию), т.-е. «по всей строгости законов». А 20 марта Бенкендорф предложил Нессельроде уведомить через российских послов «правительства всех земель», где будет жительствовать Бакунин, о его вредности и для других государств.

Словом, Бакунину была об'явлена война. Бюрократическая машина заработала. 22 марта Панин предложил правительствующему сенату рассмотреть дело о Бакунине. Холопский суд признал отставного прапорщика Михаила Бакунина 28 лет виновным «в преступных за границей сношениях с обществом злонамеренных людей и в ослушании вызову правительства и высочайшей воле о возвращении в Россию, за что постановил лишить его чина и дворянского достоинства и сослать, в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а принадлежащее ему имение, буде таковое окажется, взять в секвестр». На этом мнении сената и Государственного Совета император Николай написал 12 декабря 1844 года: «быть по сему».

Признавая, что этот шаг сыграл решающую роль в его жизни, Бакунин впоследствии все же утверждал, что в дело Вейтлинга он оказался замешанным совершенно случайно. В этом отношении он был, конечно, прав. Но не будь дела Вейтлинга, нашлось бы что-нибудь другое, и жизнь Бакунина все равно пошла бы по тому же пути.

В «Исповеди» Бакунин приписывает все свои злоключения происках Блунчли. «Я,—пишет он,—не мог принадлежать ни к одной секте социалистов или коммунистов, как меня в том несправедливо обвиняли. Разумея причину существования сих сект, я не любил их теорий; не разделяя же последних, не мог быть органом их пропаганды; а наконец, и слишком ценил свою независимость для того, чтобы согласиться быть рабом и слепым орудием какого бы то ни было тайного общества, не говоря уж о таком, которого я не мог разделить мнений.— В это же время, т.-е. в 1843 году, коммунизм в Швейцарии состоял из малого числа немецких работников: в Лозанне и Женеве явно, в виде обществ для пения и чтения и для общего хозяйства, в Цюрихе же состоял из пяти или шести портных

и сапожников. Между швейцарцами коммунистов не было: природа швейцарцев противна всякому коммунизму, а немецкий коммунизм был тогда еще в пеленках. Но для того, чтобы придать себе важность в глазах правителей Европы, отчасти же в тщетной надежде скомпрометировать цюрихских радикалов, Bluntschli [1]) составил фантастического страшилу, он, по собственному признанью, знал о приходе Вейтлинга в Цюрих, терпел его присутствие два или три месяца, потом велел схватить его, надеясь найти в его бумагах довольно важных документов для того, чтобы замешать цюрихских радикалов, и ничего не нашел кроме глупой переписки и сплетней [2]),—а против меня два или три письма Вейтлинга, в которых он говорит обо мне несколько незначительных слов, извещая в одном своего приятеля, что он познакомился с одним русским, и называя меня по фамилии, в другом же называя меня «Der Russe» [3]) с прибавлением «Der Russe ist ein guter» или «ein prächtiger Kerl» [4]) и тому подобное. Вот на чем были основаны обвинения господина Bluntschli против меня; другого же основания и быть не могло, ибо мое знакомство с Вейтлингом ограничилось одним любопытством с моей и охотой рассказывать с его стороны; а кроме Вейтлинга я ни одного коммуниста в Цюрихе не знал.—Услышав однакож, не знаю, справедлив ли был этот слух или нет, что Bluntschli имел даже намерение арестовать меня, и опасаясь последствий, я удалился из Цюриха.—Жил несколько месяцев в городе Nyon [5]) на берегу Женевского озера, в совершенном уединеньи и борясь с нищетою, а потом в Берне, где и узнал, в январе или феврале 1844 года, от господина Струве, секретаря посольства в Швейцарии, что оное, полу-

---

[1]) Блунчли.

[2]) „В доказательство, что все обвинения, заключенья, догадки господина Bluntschli и все на них основанное здание были суетны и ложны, я приведу только одно: Вейтлинг был осужден приговором Верховного Суда на годовое или двухгодовое содержание в тюрьме, и не за коммунизм, а за глупую книгу, напечатанную им незадолго перед тем в Цюрихе. Немедленно по произношеньи приговора, Bluntschli посадил Вейтлинга не в тюрьму, а выдал его прусскому правительству, которое, рассмотрев дело, через месяц выпустило Вейтлинга на свободу".

Прим. Бакунина.

[3]) „Русский".

[4]) „Этот русский славный" или „прекрасный парень".

[5]) Нион.

чив донос против меня от Bluntschli, писало о том в Петербург, откуда и ждало приказаний.—В этом доносе, по сказанию господина Струве, Bluntschli, не довольствуясь обвинением меня в коммунизме, утверждал еще ложно, что будто бы я писал или сбирался писать против русского правительства книгу о России и Польше.

«Для обвинения меня в коммунизме была хоть тень правдоподобия: мое знакомство с Вейтлингом; но последнее обвинение было решительно лишено всякого основания и доказало мне ясно злое намерение Bluntschli; ибо не только что у меня еще тогда и в мысли не было писать или печатать что о России, но я старался даже не думать об ней, потому что память о ней меня мучила; ум же мой был исключительно устремлен на Западную Европу. Что ж касается до Польши. то могу сказать. что в это время я даже не помнил о ее существованьи; в Берлине избегал знакомства с поляками, виделся с некоторыми только в университете; в Дрездене же и в Швейцарии ни одного поляка не видел».

Оставаться в Цюрихе Бакунину было действительно неудобно. Он прожил еще некоторое время в других городах Швейцарии, между прочим в Берне. Отсюда он совершил с друзьями несколько экскурсий в горы. Здесь же он летом 1843 года познакомился и после вошел в близкие отношения с семьею Фохтов и особенно с будущим профессором бернского медицинского факультета, Адольфом Фохтом, интимным другом которого он сделался. Это была демократическая семья, примыкавшая к немецкому радикальному движению [1]).

---

[1]) Во главе семьи стоял старый профессор Ф. Ф. В. Фохт (1789—1861) и его жена Луиза, урожденная Фоллен (из Берна). У них было четыре сына, все сделавшие профессорскую карьеру: 1) Карл (1817—1895 г.), известный натуралист, демократ, деятельный участник германской революции 1848 г., заклятый враг К. Маркса; 2) Эмиль. (—1883) впоследствии профессор права в Берне; 3) Адольф (1823—1907), с 1877 г. профессор гигиены в Берне; 4) Густав (1829—1901), позже профессор в Цюрихе. Несмотря на свою органическую ненависть к немецкой профессорской корпорации (правда, развившейся в нем позже), Бакунин для семьи Фохтов делал исключение и относился ко всем ее членам с большой симпатией, на которую они отвечали таким же чувством. Особенно хорош был Бакунин с Ад. Фохтом, почти на руках которого он и умер, но он был дружен и с другими братьями.

За время пребывания в Швейцарии Бакунин сделал еще один шаг вперед, и взгляды его еще более определились. Если прежде он просто склонялся к политическому радикализму, то теперь, под влиянием новых впечатлений, знакомств и размышлений, воззрения его начали окрашиваться социалистическим цветом. В бурные 40-е годы, годы выступления рабочего класса на политическую арену, в период социалистической бури и натиска, Бакунин не мог надолго застыть на позиции буржуазного демократизма. В этом отношении он начал быстро обгонять своих приятелей из буржуазно-демократического лагеря вроде Руге, Фребеля и т. п. Бакунин не только проникается сочувствием к начинающейся борьбе пролетариата, но и приходит к сознанию, что масса является главным двигателем исторического процесса, и что только ее действие может оставлять по себе прочные завоевания. Он начинает понимать, что его инстинктивные порывы к абсолютной свободе, внушенные ему усвоением идеалистической философии, могут получить осуществление лишь путем борьбы рабочих масс за свое освобождение. Конечно, цельного, продуманного социалистического миросозерцания у Бакунина пока еще не было (это пришло гораздо позже), но тяготение в сторону социализма уже наметилось довольно ясно. Вместе с тем настроение Бакунина становилось все более решительным, а вера его в близость коренного переворота все более крепла. Это, впрочем, было в те годы довольно распространенным, чтобы не сказать—общим настроением у передовых элементов.

Когда Руге после закрытия «Deutsche Jahrbücher» решил перенести издание журнала в Париж, Бакунин был приглашен им в сотрудники. В мае 1843 г., т.-е. еще во время своего пребывания в Швейцарии, он написал с Петрова острова (Peterinsel, île de St.-Pierre, на Биеньском озере), где гостил у своих друзей Пескантини, письмо-статью для нового журнала, вышедшего в начале 1844 г. в Париже под названием «Немецко-французский Ежегодник» [1]). Письмо проникнуто восторженно-революционным тоном и служит ответом на уныло-пессимистические

---

[1]) „Deutsch-französische Jahrbücher“. Вышел всего один (двойной) выпуск в марте 1844 г., после чего издание прекратилось вследствие разногласий в среде редакции. Сотрудниками журнала были, кроме Маркса и Руге, Гервег, Г. Гейне, И. Якоби, Ф. Энгельс, Фейербах. Бакунин и др.—Статья Бакунина была письмом к А. Руге.

тирады Руге, за которыми, как это вскоре обнаружилось, в сущности скрывалось мещанское равнодушие их автора. Первая книжка журнала открывалась перепиской между Руге, Марксом, Бакуниным и Фейербахом. Маркс критиковал взгляды Руге с научной стороны, спокойно и веско, как вполне сложившаяся умственная и политическая величина. Бакунин противопоставлял беспомощному хныканью Руге свой революционный энтузиазм, бурный темперамент и глубокую веру в неминуемую близость коренного переворота.

Бакунин уговаривает своего друга не терять веры в будущность своего народа. «Подумайте,—восклицает он,—я, русский, я, варвар, не теряю этой веры, не отчаиваюсь в судьбе Германии». Конечно, до немецкого 1789 года еще далеко, но отсюда не следует, что можно сложить руки на груди и впасть в малодушное отчаяние. Бакунин горячо верит в победу человечества над попами и тиранами—той верой, которая одушевляла Руссо и Вольтера. Философии предстоит еще раз сыграть ту освободительную роль, которую она с такой славой сыграла в XVIII веке во Франции [1]). Сейчас (т.-е. в 1843 г.) Германия переживает эпоху Руссо и Вольтера, т.-е. канун революции, и Бакунин твердо уверен, что современники его увидят великие дела и великие перевороты.

Мы, говорит Бакунин, имея в виду демократическую левую, должны порвать с собственным прошлым. «Мы разбиты, и хотя бы поступательному движению мысли и творчества противилась только грубая сила, эта грубость была бы невозможна, если бы мы не жили изолированной жизнью на небе ученой теории, *если бы мы привлекли на свою сторону народ. Мы не сделали его судьей в его собственном деле.* Иначе поступили французы. Если бы была возможность, то подавили бы и их освободителей». Придавая такое решающее значение самодеятельности масс, Бакунин допускает, что они не сразу проснутся к защите собственных интересов. Это придет рано или поздно. «Но мы не вправе оставлять дело народа даже тогда, когда он сам его оставляет».

---

[1]) Как это далеко от предисловия к „Гимназическим Речам" Гегеля, где Бакунин признавал французскую революцию величайшим несчастием для человечества и бранил французскую философию за подрыв религиозного чувства! Теперь он уже прямо говорит, что „французы все еще остаются нашими учителями; в политическом отношении они опередили нас на столетие".

Революционеров пока меньшинство, реакционеров—большинство. Но это не смущает Бакунина. «На чьей стороне будет народ?—спрашизает он:—на их или на нашей?». Страх реакционного большинства перед слабой пока революционной партией уже есть победа последней. И кончается письмо Бакунина следующими восторженными и энергичными словами:

«Здесь, только здесь и начинается борьба. И наше дело настолько прочно, что мы, несколько разрозненных людей со связанными руками, одним своим боевым кличем повергаем в трепет и ужас их бесчисленные полчища (мириады). Вперед же! И я, скиф, хочу разрешить ваши узы, германцы, желающие стать греками. Посылайте мне ваши произведения! Я напечатаю их на острове Руссо и огненными буквами начертаю на небосклоне истории: Смерть персам!» [1]).

Вместе с письмом Бакунина напечатано было также письмо Фейербаха, тоже возражавшего против отчаянного настроения Руге. Последний признал себя побежденным в споре с «новым Анахарсисом» [2]) и новым философом [3]).

---

[1]) Письмо Бакунина целиком перепечатано в книге Fritz Brupbacher—Marx und Bakunin (Фриц Брупбахер—Маркс и Бакунин), Мюнхен, 1913, стр. 26—29; 2-е изд., Берлин, 1922, стр. 34—37, а также в „Литературном Наследии“ К. Маркса и Фр. Энгельса, т. I, и в собрании сочинений Маркса и Энгельса, выходящем под ред. Д. Рязанова, т. I. Оно написано несколькими днями раньше вышеизложенной статьи о коммунизме.

[2]) Новым Анахарсисом здесь назван Бакунин. Анахарсис был молодой скиф, путешествовавший по древней Греции; Анахарсисом называл себя немецкий анархист Клотц, принимавший деятельное участие в великой французской революции. Вероятно, обе эти фигуры имел в виду Руге, называя этим именем Бакунина, „скифа“ и „варвара“; да их имел в виду и сам Бакунин, давая себе эти эпитеты и этим, так сказать, посвящая себя в звание нового Анахарсиса, т.-е. выходца из отсталой страны, примыкающего к движению более передовых стран, куда занесла его судьба.

[3]) Когда Август Беккер, после провала вейтлингианцев в Швейцарии, начал было подумывать о переселении за океан, Бакунин высказывался против этой мысли, исходя из соображений относительно предстоящей европейской революции. „Я рад,—писал Беккеру Бакунин из Брюсселя в июне 1844 года,—что ты не едешь в Америку и остаешься с нами: на поездку в Америку приходится теперь смотреть как на абстрактный, трусливый выход, как на своего рода самоубийство. Надо иметь силу, несмотря ни на что, остаться жить в Европе, чтобы впоследствии сохранить право действовать в Европе“. В письме к госпоже Фохт от 5/VIII 1847 г. Бакунин сообщает, что он старается всеми

В рассматриваемом письме Бакунин, признавая политическое превосходство французов, говорит между прочим, что «поездка во Францию и даже долговременное проживание в Париже принесли бы нам величайшую пользу». Это пожелание он скоро и осуществил. Преследуемый русской полицией, взятый под подозрение швейцарской полицией, Бакунин принужден был покинуть Швейцарию, откуда весной 1844 года уехал в Бельгию вместе с своим другом Рейхелем.

Из Брюсселя Бакунин в июне 1844 года написал письмо своему приятелю, сотоварищу Вейтлинга, Августу Беккеру. Из этого письма видно, с какой симпатией Бакунин относился лично к Вейтлингу, а отчасти также к его делу: «Поведение цюрихского правительства по отношению к Вейтлингу позорно,—пишет Бакунин,—оно повергло меня в крайнее уныние и бешенство: это совершенно своеобразные плоды швейцарского своеобразия. Две бельгийские газеты, а также «Насиональ» уже энергично высказались по этому поводу, но какая польза от всего этого нашему бедному Вейтлингу! И как этого не предвидели цюрихские радикалы и либералы? Как это они не проявили достаточно заботы, если не о Вейтлинге—так далеко их тряпичный либерализм не идет,—то, по крайней мере, о себе, о своей национальной чести, чтобы воспрепятствовать такому позорному акту? [1]). Неужели было так трудно освободить его? А что делается теперь в Валлисе? Не знаешь ли ты, быть может, как обстоит дело с нашим бедным (имя неразборчиво)? Я твердо рассчитывал на то, что кантон Во вмешается [2]). Но Швейцария все-таки поганая страна, она безжалостно обращается со слабыми и безоружными и уважает законы там, где святой долг заключается в том, чтобы нарушить закон. Где находится теперь Вейтлинг? Действительно ли он выдан Пруссии? Тогда он пропал, и только всеобщее потрясение в Германии может его освободить. Жаль его, жаль из-за него и из-за дела!».

силами отговорить Симона Шмидта от переселения в Америку. „Мне кажется,—прибавляет Бакунин,—что теперь такое время, когда лучшие, самые живые и сильные люди нам необходимы, так как уже недалек момент, когда придется действовать. Нехорошо оставлять теперь Европу". Шмидт все-таки уехал в Америку летом 1847 г., а Беккер только после 1848 года.

[1]) Речь идет о выдаче арестованного Вейтлинга Пруссии.

[2]) Речь идет об избиении клерикалами свободомыслящих в Валлисе год в мае 1844а.

8. БАКУНИН В БРЮССЕЛЕ И ПАРИЖЕ.

Бакунину было тогда уже 30 лет. По мыслям и направлению он, по словам его в «Исповеди», был «совершенным и отчаянным демократом», но «в жизни неопытен, глуп и почти невинен как дитя». Его революционные и социалистические стремления носили совершенно отвлеченный, общий и философский характер. От вопросов практической политики он стоял попрежнему далеко. Можно верить ему, что в тот момент он мало задумывался над вопросом о революции в России и особенно о начатии там революционной агитации. Поездка в Брюссель сыграла в этом отношении решающую роль. Здесь он встретился с поляками, которые вели не словесную только, а действительную борьбу с российским деспотизмом; здесь он впервые столкнулся с политикой не в отвлеченно-философском, а в конкретном и реальном смысле; здесь внимание его было привлечено к польскому вопросу, а отсюда последовательно и логически перед ним стал вопрос о революционной работе для России.

«В Брюсселе,—рассказывает Бакунин в своей «Исповеди»,—я познакомился с Лелевелем [1]). Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше; бывши тогда уж совершенным демократом, я стал смотреть на них демократическим глазом, хотя еще неясно и очень неопределенно: национальное чувство, пробудившееся во мне от долгого сна, вследствие тренья с польскою национальностью, пришло в борьбу с демократическими понятиями и выводами. С Лелевелем я виделся часто, расспрашивал много о польской революции, о их намерениях, планах в случае победы, о их надеждах на будущее время,—и не раз споривал с ним, особенно же насчет Малороссии и Белоруссии, которые, по их понятиям, должны бы были принадлежать Польше, по моим же, особенно Малороссия, должны были ненавидеть ее, как древнюю притеснительницу. Впрочем, из всех поляков, пребывавших тогда в Брюсселе, знал и видел я только одного Лелевеля, да и с ним отношения мои, хоть мы и часто виделись, никогда не выходили из границ простого знакомства. Правда, что я перевел было на русский язык

---

[1]) Иоахим Лелевель—польский историк, профессор Варшавского и Виленского университетов, демократ по убеждениям,—играл видную роль в польской революции 1831 года, затем в эмиграции. Родился в 1786 г., умер в 1861 г. в Париже.

тот манифест к русским, за который он был изгнан из Парижа; но это было без последствий: перевод остался ненапечатанный в моих бумагах.

«Пробыв несколько месяцев в Брюсселе, я отправился с Рейхелем в Париж [1]), от которого, равно как прежде от Берлина и потом от Швейцарии, ждал теперь себе спасения и света. Это было в июле 1844 года».

К моменту приезда Бакунина в Париж последний представлял арену самой живой идейной борьбы. В политическом отношении Франция стояла в то время впереди всех наций. Правда, мещанская монархия казалась весьма прочной, оппозиционные и революционные стремления были временно придавлены после неудачных открытых выступлений, последним из которых было восстание тайных обществ в 1839 году. Буржуазия торжествовала и наживалась; государством управляла кучка «легальной страны», то-есть избирателей, удовлетворявших требованиям высокого имущественного ценза; всюду, в политической жизни, в парламенте, в прессе, в финансах царили разврат и подкуп. Но торжество крупного капитала вызывало все сильнее растущие протесты. Мелкая буржуазия, мелкая торговля и промышленность, некогда бывшие опорами престола «короля-гражданина» Людовика-Филиппа, разорялись и все решительнее переходили в оппозиционный лагерь. Таким образом, политический радикализм, которого шансы одно время сильно упали, вдруг нашел новый источник силы в недовольстве широких масс мелкой буржуазии. Последняя из ненависти к крупному капиталу на время перестала с прежней враждой относиться к движению пролетариата. Французский рабочий класс, созданный быстрым развитием крупной промышленности и разорением кустарных промыслов и старого ремесла, организовывался в национальную силу. Восстаниями 1831 и 1834 годов в Лионе он показал, что ставит себе революционные и социалистические цели. В мастерских велась республиканская и социалистическая пропаганда. Тайные общества, находившиеся, главным образом, под влиянием бланкистов, проникнуты были духом революционного коммунизма. Кое-где начали уже проповедываться анархические принципы.

---

[1]) В Париже Бакунин побывал в течение нескольких дней и раньше, как видно из цитированного выше письма его к А. Беккеру (повидимому, это случилось в мае или июне 1844 года). За этот короткий приезд он познакомился, между прочим, с Э. Кабе.

Но открытое движение выражалось в растущей борьбе за уничтожение ценза и введение всеобщего избирательного права.

Париж представлял тогда кипящий котел социальных и политических теорий. Буржуазный идеализм в последний раз поднимал голову в лице Мишле и Кинэ, внося свою долю разложения в царство самодовольного и тупоголового мещанства. Но главное место, конечно, принадлежало различным социалистическим школам и учениям, начиная от утопических и кончая коммунистическими и даже анархическими. Это было время Луи Блана, Кабэ, Пьера Леру, Прудона, сен-симонистов, фурьеристов, романов Эженя Сю и Жорж-Занд, тайных бланкистских обществ и «союзов подмастерьев». И в это же время в Париже научный коммунизм в лице Маркса и Энгельса начинал выделяться из смутной туманности многообразных социалистических систем.

Подготовлялось мощное движение 1848 года. Попав в этот бурный водоворот, приобщившись к самому источнику новых политических стремлений, Бакунин не мог ни остаться в стороне от этого движения, ни уйти из-под его влияния. Годы пребывания в Париже оказали решающее влияние на духовное развитие Бакунина и сильно способствовали дальнейшей выработке его социальных и политических воззрений.

Вот как сам Бакунин четверть века спустя охарактеризовал идейное движение, совершавшееся во Франции в 40-х годах XIX века, за несколько лет до февральской революции:

«Французская революция, провозгласив право и обязанность каждого человеческого индивидуума сделаться человеком, пришла в своих последних выводах к бабувизму [1]). Бабэф, один из последних энергичных и чистых граждан, которых революция создала и убила в таком количестве, и имевший счастье насчитывать в числе своих друзей таких людей, как Буонаротти, соединил в себе, по странному сочетанию, политические традиции античного отечества с совершенно современными идеями социальной революции. Видя, что революция как-то чахнет за недостатком коренного преобразования, тогда, впрочем, по всей вероятности, и невозможного по экономической структуре общества, верный, с другой стороны, духу этой революции,

---

[1]) Революционно-коммунистическая система и движение, названные так по имени их основателя и руководителя, Гракха Бабэфа (в 1795—96 г.г.).

которая кончила тем, что на место всякой личной инициативы поставила всемогущее действие государства, он измыслил политическую и социальную систему, согласно которой республика, выражающая собой коллективную волю граждан, должна была конфисковать всякую личную собственность и управлять ею в интересах всех, наделяя каждого в равной мере воспитанием, обучением, средствами к существованию, удовольствиями и принуждая всех без исключения, по мере сил и способностей каждого, к мускульному и нервному труду. Заговор Бабэфа не удался, он был гильотинирован вместе с несколькими друзьями. Но его идеал социалистической республики с ним не умер. Воспринятая его другом Буонаротти, величайшим конспиратором этого столетия, эта идея была передана этим последним, как священный залог, новым поколениям, и благодаря тайным обществам, основанным Буонаротти в Бельгии и Франции, коммунистические идеи зародились в народном воображении.

«Они нашли с 1830 до 1848 года талантливых выразителей в Кабе и Луи Блане, которые окончательно основали революционный социализм. Другое социалистическое течение, вытекшее из того же революционного источника, направляющееся к той же цели, но совершенно иным путем, течение, которое мы бы охотно назвали доктринерным социализмом, было основано двумя замечательными людьми: Сен-Симоном и Фурье. Сен-симонизм был комментирован, развит, переработан и основан в виде почти практической системы, в виде церкви, отцом Анфантеном, вместе со многими друзьями, из которых большая часть сделалась ныне финансистами и государственными людьми, страстно преданными Империи [1]). Фурьеризм нашел своего истолкователя в «Мирной демократии», издававшейся до 2 декабря [2]) г. Виктором Консидераном.

«Заслуга этих двух социалистических систем, впрочем, во многих отношениях различных, заключается, главным образом, в глубокой, научной, строгой критике современного устройства общества, чьи чудовищные противоречия они смело раскрыли; затем в том важном факте, что эти системы с силой боролись и в значительной мере потрясли христианство во имя реабилитации и оправдания материи и человеческих страстей, оклеве-

---

[1]) Речь идет о Второй Империи (1851—1870).

[2]) Т. е. до государственного переворота 2 декабря 1851 года, совершенного Луи Бонапартом, впоследствии Наполеоном III.

танных и в то же время так широко практикуемых христианскими священниками. Сен-симонисты хотели поставить на место христианства новую религию, основанную на мистическом культе плоти, с новой иерархией священников, новых эксплоататоров толпы привилегиями гения, способностей и таланта.

«Фурьеристы, много больше и, можно сказать, даже искренние демократы, придумали фаланстеры, управляемые избранными всеобщим голосованием вождями, где каждый, по мысли фурьеристов, должен был найти себе работу и место в соответствии со своими вкусами. Ошибки сен-симонистов слишком очевидны, чтобы стоило о них говорить. Двойная ошибка фурьеристов заключалась, во-первых, в том, что они искренно верили, что единственно силой убеждения и широкой пропагандой они сумеют до такой степени тронуть сердца богатых, что те, в конце концов, сами придут сложить у порога фаланстера излишек своих богатств; во-вторых, в том, что они вообразили, что можно теоретически, a priori, построить социальный рай, в котором навеки успокоилось бы человечество. Они не поняли, что хотя для нас и возможно предвозвестить великие принципы будущего развития человечества, тем не менее, практическое осуществление этих принципов должно быть предоставлено опыту будущего.

«Вообще регламентация была общей страстью всех социалистов до 1848 года, за исключением одного. Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-симонисты—все были одержимы страстью выдумывать и устраивать будущее, все были более или менее государственники.

«Но вот явился Прудон, сын крестьянина, в сто раз больший революционер и в делах и в инстинктах, чем все эти доктринерные буржуазные социалисты; он вооружился критикой столь же глубокой и проницательной, сколь неумолимой, чтобы уничтожить все их системы. Противопоставив свободу—власти, он в противоположность этим государственным социалистам смело провозгласил себя анархистом и имел мужество бросить в лицо их деизму или пантеизму заявление, что он просто атеист или, точнее, *позитивист*, подобно Огюсту Конту.

«Социализм Прудона, основанный как на индивидуальной, так и коллективной свободе и на деятельности свободных ассоциаций, не подчиненный другим законам, кроме как общим законам социальной экономии, как открытым, так и предстоящим открытию; стоящий вне всякой правительственной регла-

ментации и всякого покровительства со стороны государства и подчиняющий политику экономическим, интеллектуальным и моральным интересам общества, должен был с течением времени притти в силу необходимой последовательности к федерализму.

«Таково было положение социальной науки до 1848 года. Полемика журналов, летучих листков и социалистических брошюр внедрила в умы рабочих классов массу новых идей; умы были ими переполнены и, когда разразилась революция 1848 года, социализм проявился, как мощная сила» [1]).

В эту атмосферу споров, борьбы мнений и политических конспираций Бакунин окунулся с головой. В Париже он снова встретился с Гервегом и его женой; познакомился с проживавшими там русскими, в том числе с Сазоновым и Я. Толстым; с польскими эмигрантами; с французами вроде Пьера Леру [2]), Ламеннэ, Э. Кабэ, поэта Беранже, Жорж-Занда, Прудона; с К. Марксом, Ф. Энгельсом, М. Гессом и с другими немцами, руководившими тогда пропагандой среди проживавших в Париже немецких ремесленников. Со множеством тогдашних демократических деятелей Бакунин, впрочем, познакомился до приезда в Париж. Так, в Швейцарии он сблизился с семьей радикального немецкого профессора Фохта; также познакомился с Фребелем, с Зольгером (германский радикал), с А. Беккером, Фолленом и другими. На широкий круг своих политических знакомств Бакунин сам указывает в письме к брату Павлу из Парижа от 17—29 марта 1845 года [3]) «Я,—говорит он с чувством видимого

---

[1]) „Федерализм, социализм и анти-теологизм". М. Бакунин—Собрание сочинений, изд. Балашова, т. I, 65--68.

[2]) С Пьером Леру Бакунин познакомился, повидимому, еще задолго до своего приезда в Париж (разумеется, по переписке). Вообще о „Петре Рыжем" он наверное слыхал еще в России, где Пьер Леру, как один из популярнейших тогда представителей французского утопического социализма, был хорошо известен, например, в кружке Герцена. Что у Бакунина была какая-то связь с П. Леру (повидимому, литературного свойства) еще во время пребывания Мишеля в Швейцарии, видно из письма его к Руге от 19 марта 1843 года, в котором он, между прочим, сообщает, что собирается написать небольшую статью о немецких делах (вероятно, в связи с закрытием „Немецкого Ежегодника") и послать ее Пьеру Леру для его „Revue Indépendante".

[3]) Это, кстати, первое из сохранившихся писем Бакунина к родным после от'езда его из Швейцарии. Остальные, по словам А. Корнилова, пропали, если только вообще существовали. Но что они несомненно

удовлетворения,—узнал после твоего от'езда множество людей в Германии, Швейцарии, Бельгии и Франции, познакомился со многими и самыми замечательными демократическими знаменитостями».

В Париж Бакунин прибыл с самом восторженном настроении. Подобно тому, как за четыре года до того он рвался в Берлин, от которого ждал нового духовного крещения, теперь он ждал от «города-светоча», бывшего тогда центром оживленнейшего умственного брожения, крещения огнем революции. И, по крайней мере, в течение первых лет его пребывания в Париже, это повышенное настроение не оставляло Бакунина.

«Париж не такой город, как Брюссель,— пишет Бакунин Зольгеру 14 октября 1844 года,—жить здесь это действительно наслаждение». А в первом же сохранившемся письме из Парижа к родным от 17—29 марта 1845 г. Бакунин в следующих выражениях описывает свое настроение и чаяния: «Я до сих пор, несмотря на трудности и препятствия, встречающиеся мне на каждом шагу [1]), жив, здоров и крепок. Верю по-старому, крепче старого и иду своим путем вперед». Отнеся себя к числу «истинных демократов, апостолов освобождения», которых «так мало», Бакунин продолжает: «Ты видишь, Павел, вера и идеальный азарт во мне не уменьшились; я тот же, что и прежде,—от'явленный враг существующей действительности, с тою только разницею, что я, наконец, победил в себе метафизику и философию и весь, всею полнотою души своей, бросился в практический мир, в мир действительного дела и действительной жизни. Верь мне, друг, жизнь прекрасна; теперь я имею полное право это говорить, потому что давно перестал смотреть на нее через очки теоретических построений и знать ее только в фантазии, потому что я испытал на деле всю ее горечь и много, много страдал и часто впадал в отчаяние».

Дальше следуют интересные строки, которые А. Корнилов, а за ним и В. Полонский, по-моему, неправильно истолковали

существовали, видно, во-первых, из начала этого письма („еще нашелся случай писать к тебе"), во-вторых, из упреков Мишеля родным за то, что они ему не пишут, тогда как он не пропускает оказий, чтобы переправлять им письма, а, в-третьих, из указания его в письме к Зольгеру от 14 октября 1844 г., что ему, Бакунину, „удалось установить сношения с семьей, конечно, тайным образом".

[1]) Повидимому, здесь речь идет о затруднениях денежного характера, которые не оставляли Бакунина и в Париже.

как проявление любовного увлечения Бакунина какой-то неведомой иностранкой [1]). Мы полагаем, что по всему контексту этого отрывка здесь говорится об увлечении Бакунина революцией и о его планах революционной работы: *предмет его пылкой любви—угнетенный народ*, в котором он хочет пробудить чувство самоуважения и протеста. Изложено же все это в аллегорической форме, повидимому, по соображениям конспирации. Уже одно то, что рассказ об увлечении таинственной особой непосредственно связывается с «политическим, социальным и религиозным исповеданием веры» Бакунина, свидетельствует в пользу нашего толкования этого отрывка, непосредственно примыкающего к указаниям Бакунина на сохранение своей «веры и идеального азарта» и на его непримиримую вражду к существующей действительности. Впрочем, вот этот отрывок и тогдашняя profession de foi Бакунина, которая, как мы увидим дальше, осталась у него на всю жизнь и которую мы здесь встречаем сформулированной впервые (если не считать его юношеских писем, где она формулируется хотя и в более абстрактных, но приблизительно таких же выражениях [2]).

«Я люблю, люблю страстно. Не знаю, могу ли я быть любим так, как хотел бы, но я не отчаиваюсь. Во всяком случае я знаю, что ко мне питают большую симпатию. Я должен и хочу заслужить любовь той, которую я люблю, любя ее религиозно, т.-е. деятельно. Она находится в самом ужасном и самом позорном рабстве, и я должен освободить ее, борясь с ее угнетателями и возжигая в ее сердце чувства собственного достоинства, пробуждая в ней влечение к свободе и потребность ее, инстинкты возмущения и независимости, вызывая в ней самой сознание своей силы и своих прав. Любить—это значит желать свободы, полной независимости другого; первое проявление истинной любви это — полное освобождение предмета любви.

---

[1]) Корнилов высказывает даже предположение, что дело идет о Жорж-Занд. Но, во-первых, Жорж-Занд не приходилось тогда спасать от „страшного и позорного рабства“, а, во-вторых, Корнилов сам выражает сомнение насчет существования этого „романа“ вообще, правильно указывая, что *больше ни в одном письме Бакунина об этом романе не упоминается*. Да и вообще на Бакунина такая страстная любовь к женщине непохожа.

[2]) Отрывок написан в оригинале по-французски. Мы даем свой перевод, так как перевод А. Корнилова имеет весьма мало общего с подлинником.

Истинно любить можно только совершенно свободное существо, независимое не только от всех других, но и—и даже главным образом—от того, кто его любит и им самим любим. Вот мое исповедание веры, политическое, социальное и религиозное, вот сокровенный смысл не только моих политических действий и стремлений, но, в меру сил моих, и моей частной и личной жизни. Ибо то время, когда эти две стороны деятельности могли отделяться одна от другой, давно уже прошло. Теперь человек хочет свободы во всех значениях и приложениях этого слова или не хочет ее совсем. Любя, желать зависимости того, кого любишь, значит любить вещь, а не человека, ибо человек отличается от вещи только свободой; и если бы любовь включала в себе и зависимость, то она была бы вещью самой опасной и самой отвратительной в мире, ибо она была бы тогда неиссякаемым источником рабства и отупения для человечества. Все то, что освобождает людей, все то, что, заставляя их сосредоточиваться, пробуждает в них начало собственной жизни, самобытной и действительно самостоятельной деятельности, все то, что дает им силу быть самими собой,—истинно; все остальное — ложно, свободоубийственно, нелепо. Освобождать человека—вот единственное законное и благодетельное влияние. Долой все религиозные и философские догмы! Они представляют сплошной обман. Истина это не теория, а факт, сама жизнь, это—общение свободных и независимых людей, это — святое единение любви, вытекающей из таинственных и бесконечных глубин личной свободы».

Усматривать в этом отрывке признание в любви к какой-то женщине, о которой, кстати сказать, нигде больше не упоминается, значит, по нашему мнению, неправильно его понять. Здесь, несомненно, излагается политическая profession de foi Бакунина. Основные ее элементы мы находим уже в юношеской его переписке, где они выражены в отвлеченных религиозно-философских терминах и имеют в виду только личное совершенствование кружка верных. В Германии к ним присоединились новые элементы, общественные, выражавшиеся в терминах философско-политических; здесь уже сказывается влияние демократической «молодой Германии» и в частности философии Фейербаха, которою Бакунин в то время увлекался настолько, что, как увидим ниже, собирался посвятить ей особую работу. Именно в духе этой философии Бакунин в приведенном выше

отрывке говорит, что истина это не теория, а факт, сама жизнь [1]). Наконец, в Швейцарии, под влиянием вейтлингианского коммунизма, а затем в Париже воззрения Бакунина обогатились социальным моментом, хотя и в неопределенной, инстинктивной форме. Совершенно очевидно, что к этому моменту, как явствует из приведенного отрывка, в мировоззрении Бакунина уже начинают наблюдаться зародыши его будущего анархизма. Именно такой характер предчувствия или предвещания грядущего анархизма носит его страстный гимн полной, неограниченной свободе, его слова о том, что об'ект освобождения должен быть сделан совершенно независим не только от своих прежних угнетателей, но и от тех, кто ему сочувствует и помогает освободиться. В этих словах мы усматриваем первую формулировку того взгляда Бакунина, что освобожденная масса должна с одинаковой энергией отвергнуть власть революционеров, стоявших прежде во главе освободительного движения, того взгляда, который впоследствии сделал его фанатическим противником «государственного» и «авторитарного» коммунизма Карла Маркса. В этом гимне можно с полным правом видеть предвосхищение того, что Бакунин впоследствии говорил на склоне дней своих, в начале 70-х годов, когда его анархические взгляды уже вполне сложились, и когда он в отрывке, известном под заглавием (не бакунинским) «Парижская Коммуна и понятие о государственности», писал: «Я — страстный поклонник свободы, потому что только лишь при посредстве свободы считаю возможным полное развитие мысли, человеческого достоинства и счастия среди людей» и т. д. [2]).

Приблизительно то же писал Бакунин родным в следующем письме из Парижа от 1 мая 1845 года. «Я,—гордо заявляет он,—не преклонился перед так называемыми необходимостями действительного мира и враждую с ними попрежнему и попрежнему надеюсь победить их. Моя вера, безусловная вера в гордое величие человека, в его святое назначение, *в свободу как единственный источник и единственную цель его жизни* — осталась непоколебима, не только что не уменьшилась, но увели-

---

[1]) Это отчасти напоминает известное положение Маркса в его замечаниях по поводу Фейербаха, где он говорит, что истина теории устанавливается ее проверкою на практическом опыте.

[2]) См. в моей книге „Борцы за социализм", 2-е изд., 1923 г. Ч. I. стр. 188—189.

чилась, окрепла и расширилась в борьбе. «Все или ничего»— вот мой девиз, мой воинственный клич, и я ни шаг не отступлю от своих требований. Вы видите, друзья, я не переменился» [1]). Если он и изменился в каком-либо отношении, говорит он, то лишь в сторону большего признания принципа свободы, большего уважения к чужой самостоятельности. «Я сам в старину,— продолжает он,—несмотря на мою страстную любовь к свободе, имел большую наклонность к деспотизму и часто мучил и притеснял бедных сестер... Но теперь я переменился, теперь я понял, что свобода не должна быть только отвлеченною целью отвлеченных стремлений и действий, но всегда присутствовать в жизни и проникать, оживлять и возвышать малейшие потребности жизни».

Скоро Бакунину представился случай на деле проявить свою любовь к свободе, свою ненависть к деспотизму и применить свои отвлеченные рассуждения к практическому вопросу борьбы с «действительностью» в лице российского самодержавия. Он сумел выполнить это блестяще.

9. БАКУНИН ОБ'ЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ЦАРИЗМУ.

Благодаря связям с французскими демократами Бакунин начал сотрудничать в «La Réforme», органе радикальной партии. Нам, впрочем, известна только одна статья Бакунина в этой газете. Были ли другие и какие именно, до сих пор не установлено.

Статья Бакунина, напечатанная в «Réforme» 27 января 1845 года [2]), вызвана была следующим поводом. В «Gazette des Tribunaux» («Судебной Газете»), равно как и в ряде других парижских газет, опубликованы были указы русского правительства, направленные против М. Бакунина и И. Головина (политический эмигрант, также отказавшийся подчиниться требованию

---

[1]) Сравни с письмом от 17—29 июня, где Бакунин пишет: „Я не переменился,—года и опыт не только что не разрушили моих старых верований, но укрепили и расширили их во мне".

[2]) А. Корнилов французской газеты, видимо, не имел в руках и перепечатал статью Бакунина по копии, в свое время пересланной Мишелем родным и сохранившейся в Премухинском архиве (см. письмо Бакунина сестре Татьяне от 17—29 июня 1845 г. Корнилов, op. cit., стр. 292—295). В. Полонский заимствовал эту статью Бакунина из книги Корнилова. Но текст, напечатанный в „La Réforme", в ряде деталей отличается от напечатанной Корниловым копии, сделанной, повидимому, Бакуниным с первоначального текста.

царского правительства о возвращении в Россию). Головин поместил в «Gazette des Tribunaux» письмо, в котором распространялся о мнимых правах российского дворянства, якобы нарушенных произволом Николая I. Бакунин воспользовался этим случаем, чтобы выступить перед французской публикой с резкими нападками на самодержавие и с выражением своих революционных убеждений.

В этом письме Бакунин впервые высказывает открыто свое отрицательное отношение к крепостному праву. Он характеризует царское самодержавие как систему сплошного произвола и полное отрицание всяческой свободы и человеческого достоинства. Выражая свою симпатию первым проблескам оппозиции, замечающейся среди дворянской молодежи, Бакунин все же ставит крест на русской аристократии, этом «пережитке средневековья», бесповоротно «осужденном гением истории», и высказывает свое глубокое убеждение в том, что для угнетенных стран вроде России и Польши нет другого спасения кроме демократии. Отвергая возможный скептицизм насчет судеб демократии в России, Бакунин утверждает, что кроме демократии ничто другое в России и невозможно, ибо «все другие политические формы, как бы они ни назывались, были бы столь же чужды и ненавистны русскому народу, как и существующий режим». Русский народ, подавленный, но не развращенный, насквозь проникнут демократическими инстинктами. «В его полуварварской природе чувствуется столько энергии и размаха, такое обилие страсти и ума, что нельзя не питать уверенности в том, что ему предстоит еще выполнить в мире великую миссию. Все будущее России заключается в нем, в этой бесчисленной и внушительной массе людей, которые говорят на одном языке и которые, как я надеюсь, скоро воодушевятся единым чувством, единой страстью. Ибо русский народ идет вперед вопреки злой воле правительства. Разрозненные, но весьма серьезные бунты крестьян против помещиков, бунты, учащающиеся в угрожающей форме, бесспорно подтверждают это положение. Быть может, недалек момент, когда все они сольются в великую революцию; и если правительство не поспешит освободить народ, то прольется много крови. Говорят, что император Николай подумывает об этом. Дай-то бог! Ибо, если ему действительно удастся дать крестьянам искреннюю и широкую свободу, то это будет истинным благодеянием, за которое ему можно будет простить многое, а у него немало грехов,

нуждающихся в прощении, так как его царствование до сих пор было отмечено лишь унижением всего, что отличалось еще благородной независимостью и положительными качествами в России».

Этою статьею Бакунин впервые публично выступил не только против самодержавия вообще, но и против личности коронованного деспота Николая I. В ней он впервые открыто дал убийственную характеристику царившего на Руси произвола и высказал определенные симпатии революционной борьбе с ним. В ней он, наконец, впервые с такой силой выразил свою непоколебимую веру в демократическое будущее своего отечества и в великую миссию русских трудящихся масс. Этою статьею Бакунин перед лицом всего мира бросил перчатку царскому самодержавию. Правда, в конце статьи как будто допускается возможность широкой и искренней реформы со стороны царского правительства, но делается это в чрезвычайно условной форме, при чем общий революционный тон статьи этим допущением отнюдь не нарушается. Во всяком случае в те времена, в разгар реакции сороковых годов, такие речи были для русской публики чем-то небывалым и из ряда вон выходящим. Недаром по поводу этой статьи Бакунина мы читаем в дневнике Герцена (2 марта 1845 г.) следующую заметку: «Статья Бакунина в «La Réforme» — вот язык свободного человека, он дик нам, мы не привыкли к нему. Мы привыкли к аллегориям, к смелому слову intra muros (в четырех стенах), и нас удивляет свободная речь русского так, как удивляет свет сидевшего в темной конуре!».

Между прочим, эта статья Бакунина обратила на себя внимание *польской эмиграции.* Выше мы видели, что, начиная свой поход против Бакунина, царское правительство особенно было встревожено слухами о каких-то сношениях Бакунина с поляками и о подготовлении им брошюры относительно взаимоотношений России и Польши. Этот вопрос до сих пор не может почитаться выясненным, но, повидимому, уже тогда, в 1843 г., Бакунин высказывал свои симпатии борьбе поляков за свою национальную независимость. Это было, впрочем, совершенно естественно, ибо в тогдашней политической обстановке русский революционер, начиная борьбу с самодержавием, не мог не сочувствовать полякам, бывшим в те времена главной оппозиционной силой против самодержавия [1]), а, с другой стороны, поляки не могли

[1]) Стоит только вспомнить о переговорах некоторых декабристов с поляками.

не видеть союзника в каждом русском революционере, выступавшем против общего врага. Неудивительно поэтому, что поляки должны были бы обратить внимание на статью Бакунина, открыто атаковавшую правительство Николая I, если бы в ней даже не содержалось специального упоминания о Польше. Тем более они должны были заинтересоваться автором статьи, что в ней Бакунин определенно выражал свои симпатии борьбе Польши за независимость и говорил о себе, как о *старом друге польской свободы*. Упомянув о том, что вражда русского правительства против него вызвана была его газетными статьями и связями с германскими демократами, Бакунин подчеркивал, что особенная ненависть к нему царского правительства об'яснялась тем, что он считался «сторонником благородной и несчастной польской нации и от'явленным врагом того гнусного гнета, жертвою которого она продолжает быть».

Поляки, разумеется, не могли пройти мимо таких дружественных им заявлений со стороны новоявленного русского революционера. Они поместили перевод статьи Бакунина в польском журнале «Белый Орел». Князь Адам Чарторыйский пригласил Бакунина к себе. Одновременно Бакунин получил из Англии письмо от польского политического эмигранта Карла Штольцмана, показывающее, что именно статья Бакунина в «La Réforme» *в значительной мере предопределила будущие взаимоотношения его с поляками*, а значит, и судьбы предстоявшей ему политической деятельности вообще [1]). Сообщая, что он, Штольцман, является одним из инициаторов варшавской манифестации 1831 года в память пяти казненных декабристов, Пестеля, Муравьева, Бестужева, Рылеева и Каховского, прошедшей под лозунгом «за вашу и нашу вольность!», а также вечера воспоминаний об этих же мучениках русской свободы 29 июля 1841 года в Лондоне, Штольцман прибавляет, что он вместе с другими товарищами предложил польской эмиграции ежегодно чествовать память декабристов, и что 29 июля 1845 года предстоит такое празднество в Англии. В заключение Штольцман предлагает Бакунину принять в этой манифестации личное участие и прибыть для этой цели на несколько дней в Лондон.

---

[1]) Повидимому, Мишель переслал это письмо родным, и оно сохранилось в Премухинском архиве. Полностью письмо напечатано у Корнилова „Годы странствий“, стр. 300—304.

Неизвестно, что именно Бакунин ответил на это лестное для него предложение, свидетельствовавшее о том, что своей статьей в «La Réforme» он сразу создал себе видное положение в политическом мире. В «Исповеди» (см. ниже) Бакунин сообщает, что он ответил на это предложение такими же комплиментами, но на этот раз дальше дело не пошло. Выступление Бакунина перед польской эмиграцией тогда не состоялось. Но связь, если не материальная, то моральная, во всяком случае была завязана. И когда мы впоследствии услышим, что Бакунин через два года выступил на польском банкете с речью, оказавшей огромное влияние на его судьбу, мы будем знать, что в этом выступлении не было ничего неожиданного и случайного, и что оно было подготовлено всею прежнею его политической деятельностью.

Бакунин был также в числе сотрудников немецкой газеты «Vorwärts» («Вперед»), издававшейся в Париже некиим Г. Бернштейном с начала 1844 года. В первое время она не имела никакой положительной физиономии, но после закрытия «Немецко-Французского Ежегодника» Бернштейн со своим нюхом литературного торгаша почуял, что немецкая публика нуждается в свободном слове, и с середины 1844 года придал ей оппозиционный характер, пригласив в сотрудники бывших сотрудников «Ежегодника», в том числе Гейне, Гервега, Маркса, Гесса, Руге и Бакунина [1]). Одно время Бакунин даже жил на квартире этого Бернштейна, который рассказывает об этом так: «У меня в квартире было несколько свободных комнат; в самой обширной из них жил русский, Бакунин, то-есть у него имелись в большой комнате складная кровать, сундук и цинковый бокал, составлявшие все его состояние. Это был самый нетребовательный человек в мире. В этой комнате собиралась редакция—12—14 человек, которые частью сидели на кровати или на сундуке, частью же стояли или прохаживались взад и вперед по комнате; все ужасно много курили, возбужденно и горячо споря».

Как мы знаем, к моменту переезда в Париж Бакунин успел уже превратиться в человека, не только склонного к политическому радикализму, но и проникнутого в известной степени

---

[1]) За статьи в этом „Вперед“ Маркс по требованию прусского правительства был выслан из Франции (в январе 1845 г.) вместе с десятком других немцев, сотрудничавших в газете. Бакунин тогда уцелел—возможно потому, что он не был немцем, и таким образом ускользнул от отеческих попечений прусской тайной полиции.

социалистическим настроением. Однако взгляды его в тот момент носили еще слишком абстрактный характер, отливая смутным инстинктивным бунтарством и неопределенными революционными порывами. Париж, как он и предвидел, оказался для него незаменимой школой, в которой ему удалось пополнить свое политическое воспитание. К негодованию своего прежнего сотоварища А. Руге, Бакунин в Париже явно начал склоняться к социализму.

Но этот уклон Бакунина вовсе не говорит о какой-либо определенности его новых взглядов. В письме к А. Беккеру, относящемуся к лету 1844 года и написанному из Брюсселя между первым и вторым посещением Парижа, Бакунин иронически сообщает, что «делает успехи в коммунизме и настолько уже преуспел в этом отношении, что сам начинает перенимать коммунистические глупости». «В Париже, — продолжает Бакунин, — я был у Кабэ, правда, один только единственный раз, так что я не могу много сказать о нем: он произвел на меня именно то впечатление, которого я ожидал. Немецких коммунистов я не имел случая повидать; вообще мне пришлось многое проглядеть, так как я оставался в Париже очень короткое время. 10 июля мы [1]) снова едем туда и на очень долгое время, и Вы можете быть уверены, что я дам себе труд все видеть и слышать. Я знаю лишь, что один из немецких коммунистов — я думаю, парижский корреспондент [2])—считает своей особой миссией следить за всеми и особенно за немецкими радикалами до мельчайших деталей их жизни и деятельности. Это бы еще ничего; но смешнее всего то, что он об этом торжественно об'явил Руге и другим. Руге чуть не выставил его вон и имел на это, по-моему, полное право. Этим господам так еще чужды основные требования человеческого достоинства и человеческой свободы! Разве же это не печально? Что касается меня, то я всегда буду считать лицемерием, недостойным моей чести, и унизительным пресмыкательством потворство такому отсутствию человеческих чувств и примирение с ним. Французские коммунисты в этом отношении более прогрессивны, более гуманны, горды и свободны— они полны достоинства и самосознания, а потому ценят также достоинство и свободу других».

Из этого письма ясно, что Бакунин уже тогда не сочувствовал не только коммунизму, как таковому («коммунистиче-

---

[1]) С Рейхелем.

[2]) Вероятно, Бакунин имеет в виду Моисея Гесса.

ские глупости»), но и лично коммунистам. Правда, он дает хороший отзыв о французских коммунистах, но лишь для того, чтобы тут же оттенить несимпатичные ему черты коммунистов немецких. Да и виднейший из тогдашних французских коммунистов, Э. Кабэ, видимо, не понравился Бакунину. Только так и можно, по нашему мнению, толковать фразу о том, что Кабэ произвел на него именно такое впечатление, какого он, Бакунин, ожидал. Бакунин с самого начала чувствовал отвращение к «деспотизму» и «казарменности» коммунистических учений, противоречившим, как ему казалось и тогда, и впоследствии, дорогой его сердцу полной и неограниченной свободе личности. Повидимому, беседа с Кабэ подтвердила тот взгляд на коммунистические воззрения этого писателя, какой Бакунин составил себе раньше, до знакомства с ним [1]).

Кстати из этого письма мы узнаем про один из источников сплетен относительно немецких коммунистов, сплетен, питавших и раздувавших неприязнь к ним Бакунина. Это была среда мелко-буржуазных демократов вроде старого друга Бакунина, А. Руге, с которым он снова встретился в Париже и который был с проживавшими там коммунистами, что называется, на ножах (после недолгой попытки сотрудничества в деле издания «Немецко-Французского Ежегодника», лишний раз доказавшего только непримиримость разделявших их разногласий и еще более отдалившего их друг от друга). И вот на основании нелепой сплетни Руге о мнимой «слежке» одного из коммунистов за частной жизнью демократов Бакунин спешит сделать общий вывод о характере немецких коммунистов, об их неуважении к человеческому достоинству и проч.!

Правда, в письме к Зольгеру [2]) от 14 октября 1844 года, написанном несколько месяцев спустя, Бакунин уже сообщает,

---

[1]) Как мы видели из приведенной выше выдержки из „Федерализма“ и т. д., Бакунин считал всех французских социалистов и коммунистов 40-х годов, в том числе и Кабэ, сторонниками „регламентации“ и „государственниками“. кроме одного, а именно анархиста-федералиста Прудона.

[2]) Рейнгольд Зольгер (1817 — 1866) — немецкий демократ, левый гегелианец, приятель Фейербаха и Г. Гервега, поэт, сотрудник Арнольда Руге еще со времени „Галльских Ежегодников“. Познакомился ли с ним Бакунин еще в Германии через посредство А. Руге или позже, напр., в Швейцарии (?) или в Париже в 1844 году, мы не могли установить Во всяком случае в 1847 году Бакунин, Гервег, Герцен, Зольгер и дру-

что он «много занимается политической экономией и является коммунистом от всего сердца». Но это неожиданное заявление в связи со всем тем, что нам известно о духовном развитии Бакунина за этот период, следует рассматривать, как выражение временного и скоропреходящего настроения, навеянного, повидимому, более близким знакомством с немецкими коммунистами, собиравшимися в редакции газеты «Форвертс» [1]), и в частности с Марксом, который, несомненно, с начала их знакомства произвел на Бакунина весьма сильное впечатление [2]).

10. БАКУНИН, МАРКС И ПРУДОН.

В деле идейно-политического самоопределения Бакунина на него несомненно повлияло знакомство, с одной стороны, с Карлом Марксом, а с другой—с Прудоном.

К Прудону он стоял, впрочем, ближе. Прудон, по сравнению с человеком строгой беспощадной логики—Марксом, дол-

---

гие встречались в Париже в общей компании. Зольгер с перерывами прожил в Англии с 1843 по 1847 год, затем во время германской революции 1848 года находился на левом демократическом фланге, участвовал в баденском восстании, после которого эмигрировал в Швейцарию, а в 1853 году из Лондона уехал в Америку, где и умер в 1866 году (кажется, в качестве директора банка). Бакунин после своего побега из Сибири встретился с Зольгером на своем пути в Лондон. Это тот самый Зольгер, которого Герцен назвал „самым остроумным“ из своих противников, полемизировавших с его пессимистическими взглядами на судьбы Запада. О Зольгере имеется в нашей литературе статья Л. Каменева, сначала напечатанная в „Вестнике Европы“ (1914, № 4), а затем перепечатанная в его книге „О Герцене и Чернышевском“, Петроград, 1916.

[1]) Что это так, видно, между прочим, и из того, что парой строк ниже Бакунин заговаривает о „Форвертсе“, предлагая Зольгеру прислать туда свои стихи. Бакунин говорит, что „Форвертс“—„пока еще дрянной листок, но скоро станет хорошим“. Туда должна была войти в качестве сотрудников группа немецких коммунистов во главе с Марксом.

[2]) Что Бакунин посещал в Париже коммунистические клубы (вероятно, немецкие), видно, между прочим, из цитируемого ниже письма Ф. Энгельса, который рассказывает, что в один из таких клубов его ввел именно Бакунин (повидимому, в сентябре 1844 года). В том же письме Энгельс относит Бакунина, не называя его, определенно к коммунистам. „Мы делаем большие успехи среди живущих в Париже русских. Тут имеется трое или четверо русских дворян и помещиков, которые являются радикальными коммунистами и атеистами“. Повидимому Бакунин в течение известного короткого периода (в 1844 г.) искренне считал себя коммунистом.

жен был привлекать Бакунина большей спутанностью и бессистемностью своих воззрений, неясностью и невыработанностью своих взглядов, наконец, совершенно абстрактным характером своей критики. Это роднило его с Бакуниным, который тогда тоже находился в процессе брожения мысли, в процессе формулирования своего мировоззрения, отличавшегося еще вполне абстрактным характером. С другой стороны, к Прудону его привлекали скептическое отношение последнего к политическим партиям и отрицание государственности. Эти взгляды гораздо более соответствовали настроению Бакунина, чем коммунизм К. Маркса, и совпадали с его смутным революционизмом, неопределенными порывами к бесформенному разрушению, к бунту, к протесту вообще.

Выходец из отсталой в социально-политическом отношении страны, Бакунин не мог, как следует, понять происходившей тогда в Западной Европе политической борьбы, взаимного отношения столкнувшихся общественных классов и выставленных каждым из них политических задач. Для таких разграниченных общественных программ и определенных политических требований в тогдашней крепостной России, с отличавшим ее отсутствием сформировавшихся классов современного общества—буржуазии и пролетариата, для таких политических задач, для такой сознательной и планомерной политической борьбы не было еще почвы. Там свирепствовал страшный политический гнет, казалось, одинаково обрушивавшийся на все классы; там государство представлялось неразвитой политической мысли совершенно оторванным от общества, а корни, связывавшие его с социальными группами, ускользали от неискушенного взора; там господствовали крепостное право и соответствующий ему всесильный полицейский абсолютизм, а в виде глухого инстинктивного протеста по временам вспыхивали стихийные и разрозненные крестьянские бунты. Если не было отчетливости и определенности в общественных отношениях, ее не могло быть и в головах хотя бы передовых людей такого общества. И совершенно естественно, что сын такой страны, «скиф» и «варвар», как он любил себя называть. Бакунин не очень-то разбирался в деталях политической борьбы, что он несколько по-«скифски» подходил к запутанным вопросам европейской жизни и довольствовался общим революционным настроением, смутной враждой к государству и его органам и стремлением их уничтожить, раз-

рушить, развязать общественные узы. Это-то анархическое настроение, пока еще не осознанное и не оформившееся, а чисто инстинктивное, нутряное [1]), и сближало его с Прудоном.

Несколько иначе обстояло дело с Марксом [2]). Если на Прудона Бакунин мог в некоторых областях сам влиять, то у Маркса ему уже безусловно приходилось учиться. Хотя Прудон был старше Бакунина на 5 лет (он родился в 1809 году) и к рассматриваемому времени был уже довольно популярным в левых кругах писателем (его нашумевшая книга «Что такое собственность?», вызвавшая одинаковый восторг и Герцена, и Маркса, и Бакунина, вышла в 1841 г.), тем не менее у него, как у самоучки, вышедшего из рабочей среды, было много пробелов, особенно в области философских вопросов, где Бакунин зато чувствовал себя как дома. И вот Бакунин, на ряду с Марксом, стал посвящать Прудона в тайны гегелевской диалектики. Здесь он чувствовал себя с Прудоном не только на равной ноге, но в известном смысле и в положении учителя. С Марксом отношения сложились иначе.

Хотя Маркс, в отличие от Прудона, был моложе Бакунина на 4 года (он родился в 1818 году), но, как умственная величина, стоял во всех отношениях гораздо выше его. Да и с точки зрения политического стажа он во многом превосходил Бакунина. Последний был тогда лишь дилетантом литературы и революции; за ним не было политического прошлого, кроме дискуссий в товарищеском кругу и пары—другой газетных статей. Маркс же к тому времени был уже признанным главою левого крыла демократической партии в Германии; за ним было уже прошлое редактора крупной демократической «Рейнской Газеты», закрытой прусским правительством в начале 1843 года; за ним установилась уже слава чуть ли не самого блестящего литератора в левой немецкой публицистике. Но главное было то, что в течение последних двух лет Маркс проделал громадную умственную работу, основательно изучил историю французской революции и существовавшие тогда социалистические системы

---

[1]) Это настроение было, повидимому, общим у русских революционеров того времени. Герцен рассказывает, что в 1848 г. он на пароходе поспорил с одним европейцем, который в конце беседы заметил ему: „Вы, русские, знаете только одни крайности: вы или рабы, или анархисты“.

[2]) Маркс жил в Париже с ноября 1843 г.

и даже успел в общем познакомиться с основными творениями классической школы политической экономии—предмет, о котором Бакунин, по собственному признанию, имел тогда очень слабое понятие. В общих чертах Маркс успел к рассматриваемому времени выработать основные начала своей будущей социально-политической системы. И не только по сравнению с Бакуниным, но даже по сравнению с такими людьми, как Прудон и большинство тогдашних социалистов и демократов, Маркс уже был ученым человеком с железной логикой и с сознанием своего умственного превосходства.

Влияние его на неустоявшегося Бакунина не могло не быть значительным. Впрочем, Бакунин и не скрывал этого и впоследствии, даже в разгар борьбы с Марксом, открыто признавал, что тот оказал громадное влияние на сформирование его взглядов. Во французской рукописи 1871 года, то-есть в пылу борьбы между ним и Марксом за господство в Интернационале, Бакунин, между прочим, писал:

«Маркс был тогда гораздо более крайним, чем я, да и теперь он, если не более крайний, то несравненно ученее меня. *Я тогда и понятия не имел о политической экономии, и мой социализм был чисто инстинктивным* [1]). Он же, хотя и был моложе меня, уже был атеистом, ученым материалистом и сознательным социалистом. Именно в это время он вырабатывал первые основания своей настоящей системы. Мы довольно часто встречались, потому что я очень уважал его за его знания и за его страстную и серьезную преданность делу пролетариата, хотя к ней всегда примешивалось личное тщеславие; и я жадно искал беседы с ним, всегда поучительной и остроумной, если только она не вдохновлялась мелкой злобой, что, к сожалению, случалось очень часто. Однако между нами никогда не было полной близости. Этого не допускали наши темпераменты. Он называл меня сантиментальным идеалистом и был прав; я называл его мрачным, тщеславным и вероломным человеком и тоже был прав» [2]).

---

[1]) Курсив мой.

[2]) О Ф. Энгельсе, с которым Бакунин тоже познакомился в Париже, он выражается так. „Около 1845 г. Маркс стал во главе немецких коммунистов (на самом деле это случилось в 1847 г.—*Ю. С.*) и вслед затем вместе с г. Энгельсом, неизменным своим другом, столь же умным, хотя менее ученым, но зато болеее практическим и не ме-

Смысл бакунинских упреков и разговоров насчет недостатков Маркса мы поймем впоследствии, но во всяком случае не мпдлежит сомнению и ясно вытекает из собственных заявлений Бакунина, что *именно влияние Маркса окончательно направило его мысль в социалистическое и материалистическое русло.* Бакунин сам признает, что до встречи с Марксом он был сантиментальным идеалистом, не имевшим понятия об экономических вопросах, а значит, и о социализме, который рисовался ему в каком-то абстрактно-философском виде, что он даже не был тогда материалистом, окончательно разделавшимся с религиозными предрассудками (другого смысла не может иметь его похвала Марксу за то, что тот «уже тогда был атеистом»), что социализм его был «чисто инстинктивным». Маркс просветил его по всем этим основным вопросам; он толкнул его мысль к материалистической философии, побудил его окончательно порвать с последними остатками идеалистической философии, на которой Бакунин воспитался, и заинтересовал его экономическими вопросами, всей роли которых Бакунин до того не понимал. Особенно важное значение Бакунин впоследствии придавал исторической философии Маркса, помогшей ему оторваться от старой идеалистической пуповины, хотя по самой сущности своего миросозерцания он никогда не в состоянии был правильно ее понять, так что в его голове она переплеталась с пережитками старого идеализма [1]). Но любопытно, что в полемике Маркса

нее способным к политической клевете, лжи и интриге, основал тайное общество германских коммунистов или государственных социалистов" М. Бакунин—Государственность и Анархия, Петерб., 1919 стр. 247). Д. Рязанов в своей книге „Очерки по истории марксизма", М., 1923, стр. 50, приводит выдержку из письма Энгельса, указывающую на знакомство его с Бакуниным. „В Париже, по дороге на родину.—пишет Энгельс,—я посетил один коммунистический клуб. Меня ввел туда русский, который прекрасно говорит по-французски и очень искусно развивал взгляды Фейербаха". По всей вероятности, здесь речь идет именно о Бакунине, который в то время работал над книгой о философии Фейербаха (см. ниже). Но не ирония ли это истории, что в коммунистический клуб Энгельса ввел как раз Бакунин?!

[1]) Впоследствии (1870—71 г.), когда Бакунин почувствовал, что теория исторического материализма не мирится с его анархическими воззрениями, он начал вносить в нее оговорки и настаивать на ее относительном значении. „Одной из главных ошибок (марксистской школы) было то, что она приняла за основание своих теорий принцип, глубоко верный, когда его рассматривают в верном освещении, то-есть

с Прудоном (начавшейся еще до выхода прудоновских «Экономических противоречий или философии нищеты»,на которую Маркс ответил своей знаменитой «Нищетой философии», в 1847 г.), Бакунин решительно становится на сторону первого или, вернее, ему казалось, что он становится на сторону первого— за исключением одного только пункта, а именно анархии и анти-государственности.

Глубокая эрудиция Маркса не могла не действовать на Бакунина, всегда отличавшегося некоторой слабостью по этой части. Указав на мнимые недостатки идейного вождя Интернационала, связанные, дескать, с его еврейским происхождением (!), Бакунин выражается следующим образом об этой «замечательной личности»:

«Редко можно найти человека, который бы так много знал и читал и читал так умно, как г. Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже в это время (то-есть в 1843—44 г.) наука экономическая. С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других положительностью познаний и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгою критикою и добросовестною смелостью выводов. Но ко всему этому г. Маркс прибавлял еще два новых элемента: диалектику самую отвлеченную, самую причудливо-тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля и которую доводит нередко до шалости, до разврата, и точку отправления коммунистическую.

«Г. Маркс перечитал, разумеется, всех французких социалистов, от Сен-Симона до Прудона включительно, и последнего, как известно, он ненавидит, и нет сомнения, что в беспощадной критике, направленной им против Прудона, много правды: Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления— абстрактная идея права; от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс, в провотиположность ему, высказал и доказал ту несомненную истину, потдверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что

с точки зрения относительной, но который, рассматриваемый и выставленный вне связи с условиями, как единственное основание и первоисточник всех других принципов (как это делает эта школа), становится совершенно ложным» („Кнуто-Германская Империя“ Пет., 1919, стр. 137—139).

экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г. Маркса» [1]).

Проводя параллель между Марксом и Прудоном (в упомянутом уже французском манускрипте), Бакунин пишет: «Прудон, несмотря на все свои усилия поколебать традиции классического идеализма, все же остался неисправимым идеалистом, вдохновляющимся, как я ему это сказал за два месяца до его смерти [2]), то Библией, то римским правом и оставаясь метафизиком до конца. Его несчастие заключалось в том, что он никогда не изучал естественных наук и не был знаком с их методом. У него были гениальные проблески, открывавшие ему правильный путь, но увлекаемый дурными идеалистическими привычками своего ума, он каждый раз впадал в свои старые заблуждения: вследствие этого Прудон был вечным противоречием, мощным гением, революционным мыслителем, постоянно боровшимся с призраками и никогда не умевшим их победить.

«Маркс, как мыслитель, идет правильным путем. Он установил тот принцип, что в истории все политические, религиозные и юридические эволюции суть не причины, а следствия экономической эволюции. Эта великая и плодотворная мысль не им придумана: она была предусмотрена, а отчасти и выражена многими другими; но в конечном счете ему принадлежит честь ее солидного обоснования и признания ее основой всей его экономической системы [3]). С другой стороны, Прудон гораздо лучше его понимал и чувствовал свободу. Когда Прудон не доктринерствовал и не впадал в матафизику, он обладал настоящим инстинктом революционера: он поклонялся Сатане и провозглашал анархию. Вполне возможно, что Маркс *теоретически* может возвыситься да еще более рациональной системы свобо-

---

[1]) „Государственность и Анархия“, Пет., 1919 , стр. 246—247.

[2]) Прудон умер 19 апреля 1865 г.

[3]) Как видим, в этом пункте Бакунин гораздо лучше усвоил дух марксова учения, чем те критики марксизма, которые готовы были признать правильной философию истории Маркса, но отвергали его экономическую теорию (как некоторые буржуазные теоретики) или готовы были признать верным его экономическое учение, но отвергали его историческую философию, т. н. „экономический материализм“ (как русские народники). Последним отчасти грешил иногда, впрочем, и сам Бакунин.

ды, чем Прудон, но ему недостает инстинкта свободы: как немец и как еврей, он с ног до головы авторитарий» [1]).

Впоследствии нам еще придется много говорить об отношении Бакунина к Марксу и Прудону. Теперь же для нашей цели достаточно и сказанного. Совершенно очевидно, что Маркс оказал решающее влияние на выработку социалистических взглядов Бакунина и обратил его внимание на экономические вопросы, которые до того находились вне круга его интересов. Но вместе с тем ясно также, что истинно приятельских отношений между Марксом и Бакуниным уже тогда не существовало. Правда, в первом же письме Ф. Энгельса к Марксу от конца сентября 1844 г., напечатанном в их «Переписке» [2]), он посылает дружеский привет Бакунину, на ряду с другими приятелями, из которых названы только два немецких социалиста— Эвербек и Герман Криге (под псевдонимом Герье); правда, в письме от 20 января 1845 г. Энгельс, которого Бакунин впоследствии так ошельмовал, об'явив величайшим интриганом и клеветником, осведомляется столь же дружески, почему Бакунин не пишет в «Форвертсе» и пишет ли он по-французски, то-есть работает ли во французской печати [3]). Это показывает, что вначале оба друга хорошо относились к Бакунину, который, однако, не платил им тою же монетою. Он сразу не взлюбил их, особенно же Маркса, но, повидимому, не выказывал им своего истинного к ним отношения.

Сам Бакунин, как мы знаем, об'ясняет эту неприязнь якобы несимпатичными чертами марксова характера и различием их темпераментов. Позже, когда Бакунин уже выступал в качестве вождя анархического крыла Интернационала, он, в об'яснение своей вражды к Марксу, приводил и другие аргументы более общественного характера, «государственнический» или «авторитарный» социализм Маркса, его мнимое стремление к диктатуре в Интернационале, его пангерманизм и чуть ли не прислужничество к Бисмарку и т. п.; но и тогда он напирал на личные недостатки

---

[1]) Г. Богучарский, приведя эту цитату (в своем „Активном народничестве"), счел почему-то нужным опустить слова: „как немец и как еврей". Странный исторический прием! Или же он просто незнаком с цитируемым произведением и взял его из вторых рук без проверки?

[2]) Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx, Stuttgart, 1913, т. I, стр. 4.

[3]) Там же, стр. 13.

Маркса, которые, дескать, делали для него, Бакунина, дружбу с вождем коммунистов невозможной. Но, конечно, здесь дело не в темпераментах или, по крайней мере, не в одних темпераментах.

Причина этой антипатии—сначала односторонней, со стороны Бакунина, а затем взаимной—лежала гораздо глубже, и позже это выянилось с достаточной определенностью. Она об'яснялась различием двух культур, двух миросозерцаний, двух исторических положений и вытекавших отсюда стремлений и настроений. В то время, как выходец из крепостной России, воспитавшийся на идеалистической философии и долго бывший не в состоянии освободиться от ее влияния, оставался абстрактным и сентиментальным социалистом, каковым он, по собственному признанию, был во время встречи с Марксом, в середине 40-х годов,—Карл Маркс уже стал на почву материализма, в политике был уже революционным реалистом и, критически переработав материал, доставленный ему изучением истории французской революции, политической экономии, учений утопического социализма и фактического развития рабочего движения, приступил уже, по крайней мере, в собственной голове и в устных беседах с друзьями и противниками, к построению своей революционно-коммунистической системы или «научного социализма». В то время, как перед умственным взором Бакунина носился национальный идеал стихийных мужицких бунтов, восстаний в роде тех, которые происходили в XVII и XVIII веках в России под предводительством Стеньки Разина и Пугачева,—Маркс работал над подготовлением сознательного политического переворота, в котором главную роль предстояло играть радикальной демократии и социалистическому пролетариату, то-есть элементам, как раз отсутствовавшим в тогдашней России и органически чуждым и непонятным молодому Бакунину. Как мы увидим ниже, Бакунин настолько еще не вышел тогда из приготовительного класса социализма, что не понимал суровой критики, которой Маркс подвергал буржуазную демократию, и искренно возмущался его нападками на таких хороших людей, искренно об'ясняя их, по своей политической наивности, дурным характером и властолюбием Маркса.

На отношение Энгельса и Маркса к Бакунину легла первая тень лишь через два года после их первого знакомства. Правда, тень эта скоро рассеялась, но мы считаем нужным

упомянуть об этом эпизоде, так как здесь начинается то роковое недоразумение, которое затем долго преследовало Бакунина и впоследствии подало повод людям неосведомленным или враждебным Марксу говорить об его клевете на Бакунина.

Дело заключалось в следующем. Членом тогдашней русской колонии в Париже был некий Яков Николаевич Толстой, как и Бакунин, происходивший из помещичьей семьи Тверской губернии [1]). Друг Пушкина и Грибоедова, бывший член «Союза Благоденствия», Я. Толстой, выехав за границу в 1823 г., не порывал сношений с декабристами и оказался замешанным в их дело. Сделавшись одним из первых русских политических эмигрантов, Я. Толстой скоро превратился в шпиона и в заграничного осведомителя русского правительства. Об этом в первое время не знал никто; не знал, конечно, и Бакунин. Последний, по приезде в Париж, встретился там с Толстым, который был уже парижским старожилом. Об этом Толстом Бакунин мог слышать еще раньше в своей семье, ибо, как мы знаем, и отец Бакунина в молодости примыкал к «Союзу Благоденствия». О действительном характере «службы» Я. Толстого Бакунин, конечно, и не подозревал. По всей вероятности, именно через посредство Бакунина познакомились с Толстым Маркс и Энгельс.

Толстой вращался в разных кругах, поддерживал связи и с революционерами; познакомившись с Марксом и Энгельсом, он получил возможность войти в сношения и с немецкой колонией, в частности с редакцией «Форвертса», а затем и с польской колонией. Таким образом, его «служебное» положение упрочивалось, ибо он мог одновременно осведомлять русскую политическую полицию о проживающих за границей русских и поляков, а прусскую — о немцах и тех же поляках, которыми одинаково интересовались правительства русское и прусское, оказывавшие друг другу тогда, как и впоследствии, дружеские услуги в деле борьбы с крамолой [2]). Но, в конце-концов, Я. Тол-

---

[1]) Подробно о нем см. у Рязанова „Карл Маркс и русские люди сороковых годов“, Петроград, 1918. Рязанов полагает, что Я. Толстой и был тот русский „аристократ“, который обещал Марксу продать свои имения и вырученные деньги употребить на дело революции. Толстой, между прочим, рекомендовал Марксу Анненкова.

[2]) Что русские шпионы вроде Я. Толстого следили и за немецкими революционерами (в связи с польским движением), видно, между прочим, из опубликованного М. Лемке (в примечаниях к собранию сочинений Герцена, т. XIV, стр. 19—20) „списка лиц, о которых упоминается в

стой был разоблачен в 1846 г. другим эмигрантом-аристократом И. Головиным, тоже проживавшим в Париже и выпустившим в конце 1845 г. книгу «La Russie sous Nicolas I» (Россия при Николае I), обруганную по обязанностям службы провокатором Толстым.

Эта разоблачение наделало шума среди эмигрантских колоний, которые почувствовали, что к ним протягивается лапа российского самодержавия, и без того составлявшего предмет всеобщей ненависти для тогдашних европейских демократов. Энгельс, незадолго до того переехавший в Париж, в письме от 19 (16) сентября 1846 г., поспешил уведомить об этом скандале К. Маркса, проживавшего после высылки своей из Парижа в Брюсселе. Рассказав о появившейся во «Всеобщей Аугсбургской Газете» от 21 июля 1846 г. корреспонденции из Парижа, в которой Толстой определенно назван «доверенным лицом двора» (русского) и «действительным русским послаником в Париже», Энгельс продолжает: «Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, тот самый дворянин, который наврал нам, будто собирается продать в России свои имения. Этот господин, кроме одной квартиры, в которую он нас водил, имел еще блестящий особняк на улице Матюрен, где он принимал дипломатов. Поляки и *многие* французы давно уже знали об этом, ничего не ведали только немецкие радикалы, в среду которых он считал более удобным втереться под маской радикала... Что после этого рекомендованный им Анненков—тоже русский шпион, c'est clair (это ясно). Даже Бакунин, который *должен был знать* обо всей истории, так как другие русские знали ее, тоже возбуждает большое подозрение».

Эта подозрительность Энгельса не должна нас удивлять. Тогда русский революционер был совершенной новинкой. Во-

---

разных полученных из-за границы сведениях впродолжение 1850 года и которых приказано иметь в виду". В этом списке, подшитом в обложку 4-й части дела III Отделения „о политических переворотах в Европе", на ряду с польскими эмигрантами, упоминается и ряд немцев, как буржуазных демократов (Струве, Блинд, Геккер), так и коммунистов (Маркс, Вольф, Энгельс, Виллих, Шаппер). Маркс даже назван дважды—первый раз в числе „германских пропагандистов в Лондоне, которые стараются действовать на Германию посредством сочинений", а второй раз в числе „члена германского клуба в Лондоне". Что русская и немецкая полиции дружески обменивались имевшимися у них сведениями, вряд ли подлежит сомнению.

обще же европейская демократия знала русских как преданных слуг своего царя. Бакунин в то время был для Маркса одним из тех «аристократов», о которых Маркс так насмешливо отзывался в своем известном письме от 12 октября 1868 г. к Кугельману. Рассказывая о том, что в 1843—44 г. русские увивались около него, а затем раскупали его книги «Нищета Философии» и «Критика политической экономии», Маркс прибавляет, что этому нельзя придавать серьезного значения. Подобно французской аристократии XVIII века, русская аристократия, обучающаяся в молодых годах в немецких университетах и в Париже, жадно набрасывается на самые крайние учения Запада. Но это, замечает Маркс, просто гурманство, ничуть не мешающее этим господам, как только они поступают на государственную службу, превращаться в негодяев.

На этот раз инцидент не имел дальнейших последствий. Толстому удалось как-то вывернуться и оправдаться, при чем Бакунин принял его сторону против Головина. Даже перед немецкой колонией Толстой сумел реабилитировать себя, и в письме от 15 января 1847 г. Энгельс сообщает Марксу, что Бернайс (соредактор Бернштейна по «Форвертсу») [1]) выдумал всю эту историю самостоятельно или под влиянием Бернштейна. Этим, естественно, снималось всякое подозрение и с Бакунина, и отношения между ним и Марксом восстановились попрежнему. И в письме к Гервегу от 27 октября 1847 г. Маркс, как ни в чем не бывало, просит Гервега узнать у Бакунина, каким образом он, Маркс, мог бы переслать через него письмо Толстому [2]).

Но после февральской революции роль Толстого определенно была установлена, и недоверие Маркса к русским должно было после этого еще усилиться. Ниже мы увидим, как это отразилось на судьбе Бакунина.

Но все это, повторяем, случилось через два с лишним года после первого знакомства Бакунина с Марксом, и, очевидно, не этот инцидент мог повлиять на характер их взаимных отношений. Как мы еще увидим ниже, инициатива неприязненных отношений (за исключением инцидента, имевшего место в

---

[1]) В. Полонский (Цит. соч., стр. 195) говорит о каком-то „революционере Барнайсе". Такого не знают ни Меринг, ни Рязанов, ни другие историки. Надо полагать, что речь идет именно о Бернайсе.

[2]) 1848. Briefe an und von Georg Herwegh. München. 1898, стр. 89.

1848 г., о чем мы говорим в следующей главе) исходила от Бакунина. Он относился к Марксу хуже, чем тот к нему. И выше мы постарались выяснить причину этой органической антипатии Бакунина к основателю научного социализма. Совершенно иные чувства питал он к Прудону—мы тоже старались об'яснить, почему.

Кроме личных симпатий, их связывали и сходственные теоретические стремления. Интересно, что не только крайний Бакунин, но и умеренный Герцен имел тяготение к прудонизму и к анархизму. Значит, было нечто общее, что влекло тогдашних русских революционеров в анархический фарватер. И столь же замечательно, что как Герцен, не имевший о марксизме никакого понятия, так и Бакунин, имевший о нем некоторое, хотя и извращенное понятие, одинаково преувеличивали роль Прудона в истории революционнго движения, его значение в истории науки и вообще достоинства его системы. Послушать их, так это был «самый свободный француз» XIX столетия (слова Герцена), самый замечательный мыслитель века, самый смелый боец революции и т. п. Правда, и Маркс встретил первые литературные выступления Прудона с чрезвычайной благожелательностью. Особенно прельщало молодого Маркса то обстоятельство, что Прудон был сам выходцем из рабочей (точнее сказать, крестьянской) среды, а его сочинение «О собственности» Маркс называл даже манифестом французского пролетариата. В середине 40-х годов естественно было преувеличивать значение Прудона и не замечать его слабых сторон, но после революции 1848 года считать этого человека, в котором консерватизм и мелкобуржуазная ограниченность превышали и заглушали все остальное, самым передовым представителем социализма могли только люди, сами плохо разбиравшиеся в социальных теориях. А, между тем, и Герцен, и особенно Бакунин до конца возводили «безансонского мужика» на незаслуженный им пьедестал [1]).

Мы видели выше, как оценивает Бакунин значение Прудона в отрывке из сочинения, написанного в 1868 году («Федерализм, социализм и антитеологизм»). Мы приводили его отзыв о Прудоне из рукописи *1871* года, в которой Бакунин решительно отдает Прудону предпочтение перед Марксом с точки зрения революционности. Тогда же, то-есть в *1871* г.,

---

[1]) О взглядах Прудона см. в моей брошюре „Прудон, отец анархии“, 2-е издание, Ленинград, 1925.

Бакунин, уже вполне выработавший свое анархическое миросозерцание, говорил, что сочинения Прудона содержали в зародыше всю социальную революцию. И, наконец, свою собственную систему Бакунин называл «анархической системой Прудона, нами (то-есть Бакуниным) расширенной, развитой и освобожденной от всего ее метафизического, идеалистического и доктринерского убранства».

Неудивительно, что в середине 40-х годов, когда Бакунин в области социализма чувствовал себя совершенным новичком, он должен был относиться к Прудону, не успевшему тогда проявить всей своей мелкобуржуазной сущности, с еще большим уважением. Мы не станем подробно останавливаться на вопросе, кто из них обоих оказал на другого большее влияние—Прудон на Бакунина или наоборот. Для решения этого вопроса прежде всего не имеется достаточных данных. Следует думать, что влияние здесь было взаимным—с перевесом в сторону Прудона, ибо не следует забывать, что в рассматриваемое время Бакунин, при всех своих способностях, был все же новичком в социализме, тогда как Прудон был уже почти сложившейся умственной величиной и в общем наметил главные черты своей системы (поскольку таковая вообще у него была) в своих первых произведениях.

По свидетельству Ралли, стоявшего одно время (в начале 70 годов) очень близко к Бакунину, сам Бакунин склонен был смотреть на Прудона скорее как на своего ученика, чем на учителя. Но если он так выражался в устных беседах, то в своих писаниях он, как мы видим, говорил совершенно иное и рассматривал себя лишь как продолжателя Прудона, развившего его анархическое учение и очистившего его от засорявших его примесей. Бесспорно со стороны философского образования Бакунин стоял выше Прудона. Последний ознакомился с немецкой философией и особенно с философией Гегеля главным образом через Бакунина (а также через Маркса и впоследствии через Карла Грюна, который, впрочем, мог только окончательно сбить его с толку). Зато Прудон был гораздо более Бакунина сведущ в экономических и социальных вопросах, а главное, он имел, худо ли, хорошо ли, систематизированную систему воззрений.

Очень вероятно, что Прудон повлиял на выработку слагавшегося тогда бакунинского мировоззрения своими полити-

ческими взглядами и, в частности, своими формулами анархии и федерализма, зародыши которых, быть-может, в области иррационального вынесены были Бакуниным (как и Герценом) из общения с московскими славянофилами. Последние, как известно, идеализировали первобытные общественные отношения славянских народов, и многие русские социалисты, даже из числа тех, которые в свое время вели с славянофилами решительную борьбу (как тот же Герцен), впоследствии сами оказались в плену у этих же воззрений. И это неудивительно, ибо здесь сказывалось влияние окружавшей их общественной обстановки и уровня культуры, достигнутого тою страною, идеологами которой они были.

Вот почему Бакунин легко мог воспринять от Прудона его сакраментальные формулы анархии и федерализма, которые должны были в существенном совпадать с его собственными смутными взглядами, и которые впоследствии сформулированы были и Герценом, как основные черты русского социализма. Но в то время, как анархия Прудона носила определенно мелкобуржуазный характер и выражала недоверие и ненависть разоряемого мелкого товаропроизводителя к государству, содействующему в современном обществе росту крупного капитала, Бакунин попытался освободить анархическую идею от этой мелкобуржуазной, консервативной оболочки и придать ей чисто революционный и пролетарский характер [1]). В этом отношении Бакунина нельзя рассматривать

---

[1]) В. Полонский (Бакунин, 1, 2-е изд., стр. 423—4) считает по этому пункту нужным полемизировать со мною. Он пишет: „Даже Ю. М. Стеклов не безгрешен в этом вопросе (т.-е. в вопросе о дате бакунинского анархизма—*Ю. С.*) В своей книге (имеется в виду 1-е издание настоящей книги.—*Ю. С.*) ...он пишет, будто Бакунин „попытался освободить анархическую идею от (В. Полонский пропускает слово: „этой", т.-е. прудонистской.—*Ю. С.*) мелкобуржуазной, консервативной оболочки и придать ей чисто революционный, пролетарский характер" (у меня сказано: „чисто революционный и пролетарский характер".—*Ю. С.*). Из текста можно заключить, что намерение это Ю. М. Стеклов относит к эпохе до 1849 года, но кому же неизвестно, что анархический период Бакунина начался с 1864 г., что до 1849 года, когда он был арестован, и даже в 1862 году, Бакунин был революционным панславистом с весьма расплывчатыми демократическими симпатиями (?)" и т. д.

Этот выпад В. Полонского показывает только, что, когда он смотрит в книгу, то видит там... не то что написано. Десятки раз я

ни как прудониста, ни как марксиста, а как нечто промежуточное между обеими системами, отдельные элементы которых он пытался связать воедино.

В 1847 г. Бакунин встретился в Париже с Герценом, оставившим к этому времени Россию. В своих воспоминаниях Герцен рассказывает о всенощных бдениях обоих отцов анархизма. «Я встречал его (Прудона) раза два у Бакунина, с которым он был очень близок. Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной в rue de Bourgogne (на Бургонской улице). Прудон часто приходил туда слушать рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля,—философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всенощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1844 г. Карл Фохт, живший тоже в rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем: им обоим надобно было итти к Jardin des Plantes (Ботаническому саду): его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина: он приотворил дверь; Прудон и Бакунин сидели на тех же местах перед потухшим камином и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор».

подчеркиваю в своей книге (кстати, основанной на изучении не только русской, но и иностранной литературы о Бакунине), что в 40-х годах у Бакунина не было еще определенной системы воззрений. Десятки раз я указываю на то, что анархические взгляды его сложились в законченную систему гораздо позже (на это я указывал в своих статьях и в немецкой книге о Бакунине еще в 1913 году). Несколькими строками выше цитаты, выхваченной В. Полонским из текста моей книги, я говорю о том, что, в отличие от Бакунина, не имевшего тогда (в 40-е годы) определенных политических воззрений, Прудон имел худо ли, хорошо ли систематизированную систему воззрений. Страницей выше я цитирую отзывы Бакунина о Прудоне, данные в начале *70-х годов*, поясняя, что они относятся к тому времени, когда Бакунин уже вполне выработал свое анархическое миросозерцание. Неоднократно я указываю, что именно в этот период Бакунин характеризовал свою систему, как улучшенное и исправленное издание системы Прудона. А. В. Полонский, рассудку вопреки и наперекор ясному и недвусмысленному „тексту“, пытается навязать мне утверждение, что эту реформу прудонизма Бакунин произвел якобы в 40-х годах.

Это, впрочем, не значит, чтобы уже до 1849 года в миросозерцании Бакунина не было никаких элементов его будущей анархической —

11. ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ БАКУНИНА.

Типичный представитель богемы, Бакунин и в Париже продолжал вести ту же жизнь, какую вел в Москве: вечная беготня по знакомым, нескончаемые разговоры, приятельские беседы за полночь и отвращение к усидчивому, систематическому труду,—эти внешние черты бросались в глаза всякому, кто наблюдал его парижское времяпрепровождение.

«Когда я прибыл в Париж по весне 1846 г.,—рассказывает Анненков в своих литературных воспоминаниях,—я уже застал там целую русскую колонию с главными и выдающимися ее членами, Б. (Бакуниным) и С-вым (Сазоновым), занятую непрерывным исканием и обсуждением бытовых, исторических, философских и всяких вопросов, какие постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральном короле Людовике-Филиппе». У них был сборный пункт в одном ресторанчике, где Бакунин вел вечные споры с Сазоновым о французской политике к ужасу трусливого Боткина, видевшего во всяком посетителе ресторана обязательно шпиона.

системы, как возражает В. Полонский, плохо знакомый с заявлениями Бакунина, относящимися к 40-м годам. В моей книге я привожу достаточно материалов из его статей и писем, которые показывают, что зародыши анархических воззрений были у Бакунина уже в то время, и что под влиянием Прудона они могли только укрепиться. Между прочим, говоря об участии Бакунина в революции 1848—49 г. в Германии (см. ниже), я, на основании имеющихся материалов, прихожу к к тому выводу, по-моему бесспорному, что хотя в то время у Бакунина не было вполне сложившейся, насквозь продуманной и в деталях разработанной анархической программы („подобно, например, той,—прибавляю я,—которую он выдвинул в конце 60-х годов"), и хотя по отношению к тому периоду „можно говорить лишь об известном устремлении, идейном тяготении, смутной формулировке общего направления", но „в общем эти стремления и симпатии (Бакунина в конце 40-х годов) носили характер, близкий к его последующим анархическим взглядам и позволявший отчасти предугадывать эти последние" (1-е изд. моей книги, стр. 183). Революционный панславизм этому отнюдь не противоречит, и В. Полонскому должно было бы быть небезызвестно, что даже в то время, когда анархические воззрения Бакунина вполне сложились, некоторые элементы этого „революционного панславизма" сохранились в его миросозерцании.

Так обстоит дело с *фактами*; а факты, как известно, упрямая вещь, и „отговорить" их нельзя даже неправильным чтением „текста" критикуемых произведений.

Относительно житья-бытья Бакунина в Париже говорит и Карл Грюн, вместе с ним просвещавший (после от'езда Маркса) Прудона насчет тайн гегелевской философии. «Мы встречались,—говорит Грюн в своих воспоминаниях о Бакунине,—не особенно часто. Это об'яснялось, главным образом, тем, что мы вели прямо противоположный образ жизни. Бакунин и другие русские, из которых я помню еще какого-то графа Толстого [1]), в сущности ничем не занимались, кроме чтения газет. Они превращали ночь в день и день в ночь, вставали обыкновенно не раньше 12 часов, а обедали только в шесть. Просидев в кафэ до 3, 4 или 5 часов утра, они отправлялись на покой, чтобы на другой день вновь начать эту адскую жизнь».

Руге в своем письме от 24 ноября 1844 г. также сообщает кое-какие черты из парижской жизни Бакунина. С своей филистерской точки зрения он возмущается «благородной распущенностью Бакунина в свободе разврата», которой, он, Бакунин, требует для каждого «по принципу» (речь идет о защите Бакуниным Гервега, на которого Руге нападал за его близость к баронессе д'Агу [2]). И дальше он указывает на неразборчивость Бакунина в знакомствах, а также на его легкомысленный образ жизни. Защищая от нападок своего корреспондента немецкого аристократа Рибентропа, Руге замечает о нем, что он во всяком случае стоит выше Боткина и других приятелей и собутыльников Бакунина. «Бакунин,—продолжает Руге,—находил Бернайса ниже всякой критики, когда встречал его в нашем обществе, а теперь, когда Бернайс, к счастью, не бывает больше в моем доме, он его прекрасно переносит. В Дрездене он так же относился к Кетли и Кесслеру, а с кем он сам там водился? С Бюловым и бароном Плохом и с дрезденскими аристократами [3]). Народ изучал он с птичьего полета».

---

[1]) Это тот Я. Толстой, о котором мы говорили выше. См. Рязанова цитир. соч., стр. 59.

[2]) Литературный псевдоним ее был Даниель Стерн. Под этим псевдонимом она выпустила одну из лучших книг по истории революции 1848 г. (есть и русский перевод).

[3]) Относительно дрезденской жизни Бакунина можно привести следующий факт, правда, мелкий, но весьма характерный для его среды и социальных корней. Уже после принятия им решения о превращении в политического эмигранта и революционного деятеля Бакунин был на балу у одной дрезденской аристократки Кеннериц и

И дальше Руге выражает сомнение в том, чтобы Бакунину удалось когда-либо осуществить свои планы: уж очень долго он собирается, а там, пожалуй, так же бесследно пройдут и остальные годы. Вообще деятельность Бакунина представлялась ему столь же бесплодной, как впоследствии и Герцену. За попойками, шляньем по кафэ, бесконечными разговорами они не замечали серьезной умственной работы, совершавшейся в Бакунине, и не дооценивали тех связей, которые Бакунин заводил среди тогдашних революционных деятелей. Одно замечание Руге следует, впрочем, признать справедливым: Бакунин сходился в то время, главным образом, с представителями революционной интеллигенции: с рабочими, не только с массой, но с передовыми рабочими, группировавшимися в тайных обществах, он, повидимому, постоянных связей не имел.

Кстати, по поводу планов Бакунина, о которых говорит Руге. Здесь, повидимому, речь идет о его литературных планах. И надо сказать, что скептицизм Руге вполне оправдывается фактами. За все девять лет своего пребывания за границей на воле Бакунин в этой области ничего не дал кроме нескольких газетных статей и брошюры «Воззвание к славянам». Правда, писание никогда не было сильной стороной Бакунина, который не был литератором по призванию, но у него в разное время были литературные планы, которые однако так и не выходили из области проектов. Судьба его заграничных планов оказалась такою же, как и судьба аналогичных проектов, которые он сочинял в России до от'езда в Берлин.

Какую-то крупную работу Бакунин задумал еще в 1842 году. В письме от 13 ноября 1842 г. он сообщает брату Павлу и Тургеневу, что к январю 1843 г. его «книга будет непременно кончена». О какой книге идет здесь речь? Можно догадываться, что это была работа по философии и, вероятно, та самая книга о Фейербахе, о которой говорится и в других источниках. В письме к А. Беккеру от июня 1844 г. Бакунин

„танцовал... с женою французского посланника, которая очень мила и умна“ (письмо от 4-16 ноября 1842 года из Дрездена). Повторяем, это мелочь. Но и относительно Брюсселя, рассказывая в „Исповеди“ о своей жизни в этом городе в 1847—48 г., Бакунин сам признает, что, избегая общества немецких ремесленников-коммунистов, он проводил свое время в аристократических кругах. Нечто подобное он проделывал в 1848 году в Берлине, а впоследствии в сибирской ссылке.

пишет следующее: «Я все продолжаю работать над моим бессмертным произведением, но в последнее время я работал над ним меньше, так как я занят теперь выработкой своего французского стиля; поэтому я должен на некоторое время воздержаться от писания по-немецки, ибо ничто так не мешает хорошему французскому языку, как немецкий». Итак, задуманная на немецком языке работа к лету 1844 года попрежнему предполагается быть написанной на этом языке.

Но в письме к Зольгеру от 14 октября 1844 года говорится уже о работе на француэском языке. Бакунин сообщает, что он «много успел, стал французом и очень прилежно работает над «Exposé et développement des idées de Feuerbach». (Изложение и развитие идей Фейербаха)». Вряд ли здесь речь идет о новой работе. Перед нами очевидно попытки реализации старой мысли. Но абсолютно никаких следов этой работы Бакунина не сохранилось и, кроме него самого, никто о ней нигде не упоминает (если не считать иронического упоминания А. Руге о планах Бакунина, которым не суждено осуществиться). Можно предполагать, что работа эта вряд ли далеко двинулась вперед, и на французском языке ей так же мало посчастливилось, как и на немецком. А это жаль: было бы весьма интересно видеть работу о Фейербахе, вышедшую из-под пера Бакунина. Этим была бы отчасти заполнена мало ясная до сих пор страница биографии Бакунина и его развития от правого гегельянства через левое к атеизму и материализму.

Забегая вперед, скажем, что в письме к жене проф. Фохта от 5 августа 1847 года Бакунин снова туманно говорит о какой-то своей литературной работе, близкой якобы к концу, но и эта работа никогда не увидала света, если она вообще когда-либо существовала [1]).

А, между тем, материальное его положение попрежнему оставалось крайне тяжелым, а, главное, неопределенным. Реши-

---

[1]) Возможно, что это та самая работа, о которой говорит А. Рейхель в своих воспоминаниях о Бакунине. Рейхель с добродушной иронией называет эту работу Бакунина „вечной книгой“, которую „он писал каждый день с тем, чтобы никогда не кончить“. Судя по словам Рейхеля, эта работа, основанная на изучении французских революций, должна была трактовать о движущих силах революции, о революционной тактике и т. п. Но все это, повидимому, не вышло из сферы обычных бакунинских проектов, и вряд-ли эта работа когда-либо была „близка к окончанию“.

тельно непонятно, на какие средства он существовал в Париже и Брюсселе при отсутствии как литературного, так и других заработков. В цитированном письме Зольгеру, непосредственно за сообщением о подготовке упомянутой выше книги и о заработках Рейхеля, имеется настоящий вопль души человека, доведенного материальной нуждой до крайности: «Мне,—пишет Бакунин,—тоже обещаны уроки русского языка в русских семьях по 10 и $7^1/_2$ франков. Кроме того, мне прислали немного денег из России с торжественным обещанием положить конец моему тяжелому положению [1]). Господи-боже, тогда я сумею уплатить свои долги и стать свободным человеком» [2]).

А впредь до осуществления этих радужных, но так никогда и не осуществившихся надежд, Бакунин принужден был пользоваться помощью друзей—Рейхеля, Гервега, позже Герцена и других.

Разумеется, такое плохое материальное положение не могло оставаться без влияния на настроение Бакунина. Но, во-первых, к денежному вопросу он, как мы знаем, всегда относился легко, особенно в молодости, а, во-вторых, слишком крепкая была у него натура, чтобы позволить ему надолго поддаваться унынию. Безденежье в общем ничуть не действовало на его оптимизм и ожидание скорого поворота к лучшему, в частности, на его веру в близость революционных потрясений.

Когда Герцен, прибывший в 1847 г. в Париж, отправился отыскивать Бакунина, он встретил его на углу какой-то улицы: тот шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедывал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. Скоро обнаружилось, что приятели настроены не по одному ключу. На этот раз роли переменились; некогда Герцен возмущался по-

---

[1]) Неясно, кто послал ему деньги—родные или Тургенев. И те, и другой могли дать ему такое „торжественное обещание“. От этого дело мало изменялось, тем более, что с 1843 года связь у Бакунина с семьей почти обрывается. Он писал, а ему не отвечали.

[2]) Характерно для Бакунина, что, находясь сам в затруднительном материальном положении, он горячо заботился о других. Так, сообщая г-же Фохт в августе 1847 года о тяжелом положении А. Беккера, Бакунин жалеет, что не мог послать ему более 50 франков. Там же он пишет, что в Страсбурге находится также дочь Чеха (бургомистра из Сторкова, казненного за покушение на прусского короля в 1844 году), и говорит, что все сделает для того, чтобы помочь ей и Беккеру.

литическим индиферентизмом Бакунина, теперь Бакунин, уйдя гораздо дальше, обращал к своему старому другу аналогичные упреки. Ему мало было слов и абстрактного интереса; он ждал дела, практического приложения своих идей. Герцен же был настроен гораздо более скептически. «Сазонов [1]) и Бакунин,— рассказывает Герцен, по обыкновению стараясь выставить себя в более выгодном свете, чем своих оппонентов,—были недовольны (как впоследствии Высоцкий и члены польской централизации), что новости, мной привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847 г.!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной» революции и французских вопросов, чтобы понимать, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами и двух Филаретов митрополитами Без правильных сообщений, без русских книг и журналов они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей исскуственное освещение всякой дали» [2]).

Эти строки Герцен писал уже в состоянии разочарования, да, впрочем, он всегда чувствовал отвращение к практической политике, морально удовлетворяясь литературной работой. Бакунин же, наоборот, не был профессиональным литератором (за перо он брался преимущественно по необходимости, для практических целей); он был агитатором, практиком. Герцен никогда этого не понимал и скептически относился к хлопотам своего друга, как к революционной чесотке. Кроме того, Бакунин, уже давно проживавший за границей и убедившийся, что там в скором времени предстоят серьезные потрясения, надеялся, что на этот раз они захватят и Россию. Поэтому он, естественно, горячо интересовался всем, что в России совершалось, и хотел услышать от Герцена подтверждение своих чаяний. В одном Герцен прав: Бакунин и Сазонов с головой

---

[1]) Политический эмигрант, некогда (в 1833 г.) привлекавшийся с Герценом по одному делу в Москве. О нем см. у Рязанова „Маркс и русские люди 40-х годов“ и в комментариях М. Лемке к выходящему под его редакцией собранию сочинений А. И. Герцена.

[2]) *Герцен*—„Сочинения“, IX, стр. 114 (загран. изд.).

ушли в «интересы всемирной революции», но они связывали ее с переворотом в России.

Сам Герцен в другом месте [1]) рассказывает, что Бакунин в 1847 г. чувствовал усталость, был печальнее, чем в России, но очень далек от отчаяния: он верил в близость революции. Конечно, сообщения Герцена могли его разочаровать, раздосадовать, огорчить, но Бакунин не был таким человеком, которого можно было привести в отчаяние или расхолодить. Он мог сказать, перефразируя слова Базарова: «а зачем я должен слушаться действительности? пусть она меня слушается».

Что на такого скептика и меланхолика, как Герцен, революционный энтузиазм и пылкие надежды Бакунина могли действовать раздражающе,—это неудивительно [2]). Гораздо удивительнее, что они подействовали расхолаживающим образом и на Белинского, который к тому времени был крайне революционно настроен.

Белинский тоже приехал в Париж в 1847 году. О старых недоразумениях и ссорах уже не вспоминали—оба достаточно созрели, и друзья стали часто бывать друг у друга. Естественно, что говорили много о политических и социальных вопросах и, конечно, о шансах на революцию в России. Теперь оба друга снова стояли на одинаковой почве: только теперь это уже не было прежнее наивное примирение с «разумной действительностью», а борьба с существующими безобразиями. Белинский и Бакунин оба давно уже распрощались с «философским колпаком» Гегеля, оба были левыми, оба склонялись к социализму. Но Белинский, в котором реалистическая жилка билась сильнее, который больше сидел корнями в России, в отличие от Бакунина, давно выехавшего оттуда, был настроен не так радужно, тем более, что тяжелый недуг, который уже раз'едал его больную грудь, должен был скоро свести его в могилу, и он чувствовал себя больным, усталым, замученным и озлобленным.

---

[1]) „М. Бакунин“ (Письмо к Мишле). Соч. под. ред. Лемке, VI, стр. 480.

[2]) В „Исповеди“ Бакунин дает следующую характеристику Герцена: „Он человек добрый, благородный, живой, остроумный, несколько болтун и эпикуреец; я видел его в Париже летом в 1847 году; тогда он не думал еще эмигрировать и более всех других смеялся над моим политическим направлением, он же занимался всевозможными вопросами и предметами, особенно литературою“. Герцен уже тогда оказывал Бакунину денежную помощь: „один раз,—пишет Бакунин,—он мне прислал денег через Рейхеля“.

Революционный фанатизм Бакунина не подбодрил, а, напротив, отрезвил и расхолодил «неистового Виссариона», которого укатали горки и овраги самодержавной России.

«Странный я человек,—писал он через полгода,—когда в мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удается выколотить ее из меня доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, пиэтистами и фантазерами, помешанными на той же мысли,—тут я и назад... Мой верующий друг (Бакунин) и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ». «Общественное мнение в Берлине,—пишет он же (29 сентября 1847 г.) Анненкову,—решительно за поляков... А все-таки будет так, как угодно деспотизму и неправде, а не как общественному мнению, что бы ни говорил об этом верующий друг мой Бакунин».

Между прочим, Бакунин мечтал об основании в Париже русской революционной колонии. Он находил, что могучий талант Белинского, скованный цензурными цепями, глохнет в России и что, при условиях свободной печати, он мог бы принести делу революции гораздо больше пользы. Бакунин явно мечтал создать *заграничный революционный центр русской пропаганды*—то, что вспоследствии осуществил Герцен. Но Белинский не чувствовал в себе достаточно сил и не имел веры Бакунина, чтобы порвать с своей литературной работой, которой он, при всем сознании ее недостатков, придавал (и правильно) большое значение. По сообщению вращавшейся тогда в этих кругах Головачевой-Панаевой, Белинский сознавал, что в обстановке николаевской России он преждевременно погибнет (предчувствие, которое его, к сожалению, не обмануло). И, однако, он решительно отказался от выполнения бакунинского плана и от превращения в добровольного эмигранта.

«Между ним и мною,—говорил он,—огромная разница: во-первых, он—космополит в душе, во-вторых, со своим знанием языков и энциклопедическим образованием он может чувствовать твердую почву под своим ногами, где бы он ни очутился. А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы и от моей деятельности, в которую я вложил свою душу? Я также прекрасно вижу, что не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего... Это он зафантазировался. Ведь это было бы одно и то же, что за-

хотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и посадить на плодотворную почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже. Бакунин, блестящий теоретик, слишком увлекается своими отвлеченными фантазиями. Он воображает, что все делается как в сказке: окунулся Ванька-дурак в чан и вынырнул оттуда красавцем, весь в золоте, и зажил царем!» [1]).

Близкий личный друг Бакунина, музыкант Рейхель, следующим образом описывает происходившую у него на глазах эволюцию Бакунина после переезда в Париж:

«До сих пор (то-есть до прибытия во Францию) Бакунин направлял предварительные усилия к революции, может быть, слишком ожидаемой, скорее теоретическим и спекулятивным образом, но в Париже он не только нашел подходящий случай присоединиться деятельно к революционным элементам (в этом ему помогли знание французского языка и отношения с редактором «National», Марра), но и был поощрен к дальнейшему развитию своих нравственных сил, для того, чтобы быть в состоянии принять участие в движении, которое могло вскоре наступить. Так, он занимался все с большим и большим увлечением революциями, уже бывшими во Франции, словами и действиями государственных людей, которые направляли их течение или погибали в них. Это давало мне часто повод подшучивать над его *вечной* книгой, которую он писал каждый день с тем, чтоб никогда не кончить. Я не могу отрицать, что при наших все более и более тесных отношениях у нас было много пунктов разногласия: так как взрыв, к которому фатально должны были привести разрушительные идеи, был еще слишком далек от моего мирного образа мыслей, то я не мог, подобно Бакунину, говорить с удовольствием об этих вопросах. Однако я не мог и не хотел противоречить его симпатиям, и это еще более усиливало его революционные стремления. И, как уже сказано, эти стремления направлялись к изменению не только политического, но и общественного строя, и сам Прудон, который в своей книге «*Что такое собственность?*» бросил перчатку буржуазии, не пренебрегал советами этого русского, известного за решительного гегельянца» [2]).

---

[1]) Головачева-Панаева—„Воспоминания“, стр. 138—139.

[2]) Рейхель—„Восп. о Бакунине“ (цит. по плохому переводу Дра-

В первый момент Париж, повидимому, разочаровал Бакунина. Попавши в этот бурный водоворот, Бакунин как бы растерялся и не сразу нашел себе место.

«Париж,—говорит он в «Исповеди»,—подействовал на меня сначала как ушат холодной воды на горячечного; нигде я не чувствовал себя до такой степени уединенным, отчужденным, дезориентированным, как в Париже. Общество мое в первое время почти исключительно состояло из немцев демократов, или изгнанных, или самовольно приехавших из Германии, для того чтобы основать здесь демократический французско-немецкий журнал, с целью привести в согласье и связь духовные и политические интересы обоих народов [1]). Но так как немецкие литераторы не могут быть между собою без ссор, брани и сплетней, то и все предприятье, возвещенное с большим шумом, кануло в воду, окончившись несчастным и подлым еженедельным листом «Vorwärts» [2]), который также пробыл недолго, потонув скоро в своей собственной грязи; да и самих немцев выгнали из Парижа, к моему немалому облегчению [3]).

«В это время, то-есть в конце осени 1844 года, я в первый раз услышал о приговоре, осудившем меня вместе с Иваном Головиным на лишение дворянства и на каторжную работу; услышал же не официально, но от знакомого, кажется, от самого Головина, который по этому случаю написал и статью в «Gazette des Tribunaux» [4]) о мнимых правах русской аристократии, будто бы оскорбленных и попранных в нашем лице; ему же в ответ и в опроверженье я написал другую статью в демократическом журнале «Réforme» в виде письма к редактору. Это письмо, первое слово, сказанное мною печатным образом о России, явилось в журнале «Réforme» с моею подписью, в конце 1844 года [5])...

«По от'езде моем из Брюсселя я не видал ни одного поляка до самого этого времени. Моя статья в «Réforme» была поводом к новому знакомству с некоторыми из них. Во-первых, пригласил меня к себе князь Адам Чарторыйский через одного

гоманова, за отсутствием под рукой подлинника). Относительно „вечной" книги см. выше.

[1]) Речь идет о „Немецко-Французских Ежегодниках".

[2]) То есть „Вперед" Бернштейна.

[3]) Очевидно, Бакунин имеет здесь в виду главным образом Маркса.

[4]) „Судебная Газета".

[5]) Бакунин ошибается: статья его появилась в „Réforme" 27 января 1845 года (см. выше).

из своих приверженцев; я был у него один раз и после этого никогда с ним более не видался. Потом получил из Лондона поздравительное письмо с комплиментами от польских демократов, с приглашением на траурное торжество, совершаемое ими ежегодно в память Рылеева, Пестеля и проч.[1]) Я отвечал им подобными же комплиментами, благодарил за братскую симпатию, а в Лондон не поехал, ибо не определил еще в своем уме то отношение, в котором я, хоть и демократ, но все-таки русский, должен был стоять к польской эмиграции, да и к западной публике вообще; опасался же еще громких, пустых и бесполезных демонстраций и фраз, до которых никогда не был я большой охотник (!). Тем кончились на этот раз мои отношения с поляками, и до самой весны 1846 года я не виделся более ни с одним из них, исключая Алоиза Бернацкого (занимавшего место министра финансов во время польской революции), доброго, почтенного старика, с которым я познакомился у Николая Ивановича Тургенева[2]) и который, живя вдалеке от всех политических эмиграционных партий, занимался исключительно своею польскою школой. Также видел иногда и Мицкевича, которого уважал в прошедшем, как великого славянского поэта, но о котором жалел в настоящем, как о полуобманутом, полу же обманывающем апостоле и пророке новой нелепой религии и новом Мессии. Мицкевич старался обратить меня, потому что, по его мнению, достаточно было, чтобы один поляк, один русский, один чех, один француз и один жид согласились жить и действовать вместе в духе Товянского для того, чтобы переворотить и спасти мир; поляков у него было довольно, и чехи были, также были жиды и французы, русского только недоставало; он хотел завербовать меня, но не мог».

Среди своих французских знакомых Бакунин называет в «Исповеди»: редактора «Siécle» («Век») Шамболля, редактора «Constitutionnel» («Конституционалист») Мерюкана, Эмиля Жирардена, редактора «Courrier Français» («Французский Курьер») Дюрье, Леона Фоше, Фредерика Бастиа, экономиста Воловского—все это умеренные буржуазные либералы; далее из буржуазных республиканцев: Беранже, Ламеннэ, Этьена и Эмануэля Араго, сотрудников «Насионаля» Марра и Бастида; из

---

[1]) Об этом письме К. Штольцмана см. выше.

[2]) Эмигрант-декабрист, в доме которого в Париже встречались русские.

демократов: Годфруа Кавеньяка (известного республиканца, брата будущего усмирителя июньского восстания 1848 г., генерала Эжена Кавеньяка), Флокона, Луи Блана, фурьериста Виктора Консидерана, редактора «Мирной Демократии», Паскаля Дюпра, редактора «Revue Indépendante» («Независимый журнал»), Феликса Пиа, защитника негров Виктора Шельшера, историков Мишле и Кинэ, Прудона, Жорж-Занд и др. (насколько хорошо Бакунин относился к Прудону, видно из того, что, сопроводив его имя эпитетом «утопист», он спешит прибавить в «Исповеди» перед Николаем: «и, несмотря на это, без всякого сомненья один из замечательнейших современных французов»).

«С одними,—продолжает Бакунин,—виделся реже, с другими — чаще, не находясь ни с одним в близких отношениях. Посещал несколько раз, в самом начале моего пребывания в Париже, французских увриеров [1]): общество коммунистов и социалистов, не имея, впрочем, к тому никакого другого побуждения, ни цели, кроме любопытства; но вскоре перестал ходить к ним, во-первых, для того, чтобы не обратить на себя внимания французского правительства и не навлечь на себя напрасного гонения, а, главное, потому, что не находил в посещении сих обществ ни малейшей для себя пользы[2]). Чаще же всех бывал,—не говоря о Рейхеле, с которым жил неразлучно, — бывал чаще у своего старого приятеля Гервега, переселившегося также в Париж и занимавшегося в это время почти исключительно естественными науками, и у Николая Ивановича Тургенева: последний живет семейно, далеко от всякого политического движения и, можно сказать, от всякого общества, и, сколько я мог, по крайней мере, заметить, ничего так горячо не желает, как прощенья

---

[1]) Рабочих.

[2]) Обращаем внимание читателя на это указание Бакунина, разумеется, им не выдуманное ad usum Delphini и подтверждающее то, что мы выше говорили об отсутствии у него в то время связей с рабочим миром. Сначала он побывал в рабочем обществе, но, удовлетворив этим свое любопытство, прекратил дальнейшие посещения. Как это не похоже на Маркса и Энгельса, которые жадно искали сближения с передовыми рабочими, писали, говорили речи и читали доклады именно для них, залагая таким образом основу для будущей рабочей партии! Бакунин же предпочитал исключительно вращаться в среде интеллигенции, притом далеко не всегда революционной. Только впоследствии он начал понимать значение рабочего класса для современного революционного движения—да и то не вполне, как мы увидим дальше.

и позволенья возвратиться в Россию, для того, чтобы прожить последние годы на родине, о которой вспоминает с любовью, нередко со слезами. У него я встречал иногда итальянца графа Маттиани, бывшего потом папским министром в Риме, и неаполитанского генерала Рéрé» [1]).

Тогдашняя русская колония в Париже состояла по большей части из богатых людей, приезжавших в Париж «пить французское вино и целовать французских женщин». Естественно, что Бакунии мало с ними сходился.

«Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они—богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам, «avec grisettes et lorettes» [2])—образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, ни, еще менее, средств. Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. Я не говорю, чтоб я не пробовал никогда, а именно начиная от 1846 года, обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха: они слушали меня с усмешкою, называли меня чудаком, так что после некоторых тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда и то весьма изредка помогали [3]).

«Я жил большею частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитанья, отчасти же науками: историей, статистикою, политическою экономиею, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то-есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками».

В общем, в первое время Бакунину жилось, если верить его «Исповеди», далеко неважно. Внося даже известные поправки в его повествование, писавшееся из-под палки, мы все же

---

[1]) Ген. Пепе командовал революционной армией во время революции в Неаполе 1822 г.

[2]) С гризетками и лоретками (веселыми женщинами).

[3]) Здесь Бакунин подчеркивает, что при всей бедности, в которой он жил, он систематически отказывался от предложений писать о России за деньги.

должны признать, что в общем тогдашнее настроение передано им верно, ибо вообще «Исповедь» написана очень откровенно [1]).

«Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже... не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись, наконец, от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом; напротив, чем более жил за границею, тем глубже чувствовал, что я русский и что никогда не перестану быть русским. К русской же жизни не мог иначе обратиться, как преступным революционерным путем, в который тогда еще плохо верил, да и впоследствии, если правду сказать, верил только через болезненное, сверх'естественное усилие, через насильственное заглушение внутреннего голоса, беспрестанно нашептывающего мне о нелепости моих надежд и моих предприятий [2]). Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование?».

Бакунин об'ясняет это тяжелое настроение господствовавшей тогда повсюду реакцией.

«Мир, казалось, заснул и заснул так глубоко, что никто, даже самые эксцентрические демократы, не верили в его скорое пробуждение. Тогда еще никто не предвидел, что эта тишина была перед бурею, французы же, как известно, отлагали все надежды до смертного часу покойного короля Людвига-Филиппа. Правда, что еще в конце 1844 года мне Marrast (Марра) раз сказал: «La révolution est imminente, mais on ne peut jamais prédire quand et comment se fera une révolution française; la France est comme ce chaudron à vapeur toujours prêt á èclater et dont nul ne sait prévoir l'explosion» [3]). Но и Marrast, и его приятели,

---

[1]) Вспомним, что и Герцен говорит о печальном настроении Бакунина в 1847 г., хотя тут же прибавляет, что Бакунин все же был далек от отчаяния и верил в близость революции.

[2]) Эти слова, конечно, нужно отнести на счет условий, в которых они писались.

[3]) „Революция неизбежна, но нельзя заранее предсказать, когда и как произойдет французская революция; Франция подобна тому паро

и вообще все демократы ходили еще тогда, повеся нос, и находились в превеликом унынь. Консервативная же партия торжествовала, обещала себе жизнь без конца, а публика от скуки занималась скандалезными электоральными и иезуитическими происшествиями, да еще заморским движением английских «freetraders» [1]).

12. ПОПЫТКИ СБЛИЖЕНИЯ С ПОЛЬСКИМИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ.

С середины 40-х годов в Европе начинается политическое оживление. Вместе с этим оживляется и Бакунин, который начинает теперь из области теории переходить в область практической политики, хотя долго еще остается в стороне от активных политических выступлений.

«До 1846 года я был чужд всем политическим предприятиям. С польскими демократами не был знаком, немцы, кажется, тогда еще решительно ничего не предпринимали, французы же, с которыми я был знаком, мне ничего не говорили. Находясь издавна в тесной связи с польскими демократами, они без всякого сомнения знали о готовившемся польском восстании, но французы умеют держать тайну, а так как отношения мои с ними ограничивались простым внешним знакомством, то я и не мог узнать от них ничего, так что познанские замыслы, попытка в Царстве Польском, краковское восстание и происшествия в Галиции [2]) меня, по крайней мере, столько же поразили, как и всю прочую публику. Впечатление же, произведенное ими в Париже, было неимоверно: в продолжение двух или трех дней все народонаселение жило на улице; незнакомый говорил с незнакомым, все требовали новостей и все ожидали известий из Польши с трепетным нетерпением. Это внезапное пробуждение, это всеобщее движение страстей и умов охватило также и меня своими волнами, я сам как будто бы проснулся и решился во что бы то ни стало вырваться из своего бездей-

---

вому котлу, который всегда готов взорваться и взрыва которого никто не в силах предусмотреть".

[1]) Фритредеры, боровшиеся за свободу торговли в Англии.

[2]) Речь идет о восстании польских патриотов в Кракове (1846 г.), окрашенном демократическим цветом и жестоко подавленном австрийским правительством с помощью обманутых галицийских крестьян, которым это движение было представлено как бунт помещиков против императора, защищающего крестьянские интересы.

ствия и принять деятельное участие в готовящихся происшествиях.

«Для этого я должен был вновь обратить на себя внимание поляков, уже успевших забыть обо мне, и с такою целью написал статью о Польше и о белорусских униатах, о которых была тогда речь во всех западно-европейских журналах. Сия статья, явившаяся в «Constitutionnel» в начале весны 1846 года, находится, без сомненья, в руках правительства. Когда я отдал ее Mérucan, gérant du «Constitutionnel»[1]), он мне сказал: «qu'on mette le feu aux quatre coins du monde pourvu que nous sortions de cet état honteux et insupportable!»[2]) — я ему напомнил эти слова в феврале 1848 года, но он уж тогда каялся, испугавшись, равно как и все либералы династической оппозиции, страшной и вместе странной революции, ими же самими накликанной!»...

Эта статья Бакунина, насколько мы знаем, совершенно неизвестна в русской литературе [3]). Как и первая статья Бакунина во французской прессе (в «La Réforme»), она имеет вид письма в редакцию. Помечено это письмо Бакунина датою «6 февраля 1846 года» и напечатано в № 78 «Le Constitutionnel» от 19 марта 1846 года. Статья посвящена вопросу о жестоких преследованиях католиков на Литве и в Белоруссии, проводившихся, с благословения Николая I и под руководством пресловутого столпа православия, епископа Семашко, под флагом воссоединения униатов с православной церковью. В этой статье, написанной так же открыто и смело, как и прежняя его статья в «La Réforme», Бакунин снова бросает перчатку царскому правительству и еще более определенно, чем до тех пор, провозглашает свою солидарность с борьбой поляков за свое национальное освобождение.

«Я — русский, — так начинает Бакунин, — и люблю мою страну, вот почему я, подобно очень многим другим русским,

---

[1]) Мерюкану, редактору „Конституционалиста".

[2]) „Пусть мир вспыхнет со всех четырех сторон, лишь бы мы вышли из настоящего постыдного и невыносимого положения."

[3]) А. Корнилов, пользовавшийся только премухинским архивом, этой статьи Бакунина не знает. Не знает ее потому и В. Полонский, хотя Бакунин в своей „Исповеди" определенно указывает на факт помещения им этой статьи и даже говорит, что написал ее со специальной целью возобновить свои связи с польской эмиграцией. Таким образом в биографии Бакунина статья эта играет важную роль.

горячо желаю торжества польскому восстанию. *Угнетение Польши — позор для моей страны, а свобода Польши послужит, быть может, началом нашего освобождения*».

Дальше Бакунин подтверждает точность сообщенных в европейской прессе сведений о гонениях на католицизм в Северо-Западном крае и ссылается при этом на свой личный опыт, вынесенный им из своей кратковременной военной службы на Литве. Он дает убийственную характеристику личного состава и действий русской администрации в Польше, связывая их с общей политикой самодержавия, направленной к полному уничтожению польской национальности в интересах контр-революции, и возлагает ответственность за жестокое преследование униатов лично на Николая I, облекшего Семашку неограниченными полномочиями.

Общий смысл статьи, помимо разоблачения низостей царизма, сводится к подчеркиванию солидарности польских и русских революционеров в деле борьбы с самодержавием и к установлению тесной связи между освобождением Польши и освобождением русского народа от их общего угнетателя и врага.

В жизни Бакунина эта статья безусловно сыграла крупную роль. Если даже верить заявлению его в «Исповеди», что непосредственно появление ее по ряду причин не дало желательных для Бакунина результатов и не привело к установлению более близких отношений между ним и польскими эмигрантами, то не подлежит сомнению, что главной своей цели Бакунин все-таки добился. Статья эта не могла не обратить внимания польской эмиграции на русского революционера, не только выступающего с невиданной до тех пор резкостью против всесильного деспота и всей самодержавной системы, но и определенно и демонстративно подчеркивающего свое полное сочувствие борьбе польской нации за свою свободу. С этого момента, несмотря на некоторую сдержанность и недоверие, если не вся польская демократическая эмиграция, то, по крайней мере, известная ее часть окончательно должна была увидеть в Бакунине своего союзника. Таким образом известное выступление Бакунина в следующем году на польском банкете, имевшее такое значение в его судьбе, было политически и психологически подготовлено как его первой статьей в «La Réforme», лишь косвенно затрагивавшей польский вопрос, так и в особен-

ности второй его статьей в «Constitutionnel», специально посвященной вопросу о национальной борьбе поляков.

«Вскоре по появлении вышереченной статьи, — продолжает Бакунин в «Исповеди», — я отправился в Версаль, без всякого зову, собственным движением, для того, чтобы познакомиться и, если было бы возможно, сблизиться и согласиться на общее дело с пребывавшими там тогда членами централизации Польского Демократического Общества: Я хотел им предложить *совокупное действие на русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии*, предполагая, что они имеют в сих провинциях связи, достаточные для деятельной и успешной пропаганды. Целью же поставлял *русскую революцию и республиканскую федерацию всех славянских земель*, — основание единой и нераздельной славянской республики, федеральной только в административном, центральной же в политическом отношении.

«Попытка моя не имела успеха. Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтиться; во-первых, вследствие разногласия в наших национальных понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограничены, исключительны, ничего не видели кроме Польши, не понимая перемен, происходивших в самой Польше со времен ее совершенного покоренья; отчасти же потому, что *они мне не доверяли* [1]) да и не обещали себе, вероятно, большой пользы от моего содействия. Так что, после нескольких бесплодных свиданий в Версале, мы совсем перестали видеться, и движение мое... не могло иметь на сей раз никакого... последствия.

«От конца лета 1846 года до нояря 1847 я опять оставался в полном бездействии, занимаясь по-старому науками, следя с трепетным вниманием за возраставшим движеньем Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное участие, но не предпринимал еще ничего положительного. С польскими демократами более не виделся, а видел много молодых поляков, бежавших из края в 1846 году и которые впоследствии почти все обратились в мистицизм Мицкевича. В ноябре месяце я был

---

[1]) Курсив мой. Обращаю внимание читателей на эти слова. Итак, уже в 1846 году поляки Бакунину не доверяли не потому, что это был Бакунин (в то время мало кому известный), а потому, что он был русский. Возможно, что *его горячность и добровольное предложение им своих услуг еще усиливали недоверчивость поляков*, при тогдашних условиях вполне естественную.

болен и сидел дома с выбритою головою, когда ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая произнесть речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляками и французами в память революции 1831 года. Я с радостью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании 17/29 ноября 1847 года».

Мы видим таким образом, что, сближаясь с заграничными демократами и социалистами, *Бакунин* в то же время *мечтал о революции в России*. А так как последняя тогда тесно связана была с борьбой за освобождение Польши, то Бакунин (равно как и Сазонов, как впоследствии Герцен) сошелся с польскими эмигрантами.

Общность интересов польской и русской демократии сознавалась уже во времена декабристов, которые, как известно, вели переговоры с польскими тайными революционными обществами. Лозунгом был тогда выставленный на знаменах польских повстанцев клич: «За вашу и нашу вольность». Но Бакунин шел дальше. Вместе с немецкими демократами он признавал, что свобода Польши связана с свободою Германии, которая вместе с русским царизмом учавствовала в историческом преступлении, направленном против польской нации, и в разделе Польши. В письме к Гервегу из Парижа от 6 сентября 1847 года Бакунин определенно высказывает взгляд о *солидарности интересов польской и немецкой демократии*. Выражая недовольство по поводу уклончивой тактики, которой держался тогда на процессе польский патриот Мерославский, преданный суду прусским правительством за свою революционную деятельность в Познани, Бакунин пишет: «В момент, когда одна смелая прямота может действовать на умы, и когда сама Германия начинает понимать, что дело Польши есть дело Германии, он, пустившись на ложную и неудачную хитрость, наполовину свернул польское знамя, утверждая, что в конечном счете они намерены выступить против одной только России, а не против Пруссии и Австрии также, и этой половинчатостью он, повидимому, дискредитировал себя в германском общественном мнении» [1]).

Из всего того, что мы уже знаем об отношении Бакунина к польскому вопросу, выступление его на польском банкете не может представляться для нас чем-либо случайным и неожи-

---

[1]) Briefe an und von Georg Herwegh, стр. 14—15.

данным. Мы видели, что с первого же момента пробуждения в Бакунине политических интересов мысль его естественно обратилась к борьбе польской нации за свободу,—борьбе, удачный исход которой Бакунин связывал с возможной революцией в России. Мы видели его выступление в 1845 г., когда он в статье, помещенной в газете «Réforme», признал себя сторонником поляков в их освободительной борьбе, и еще более определенное выступление его в «Constitutionnel», за которым последовала его попытка практического сближения с поляками. Правда, по свидетельству самого Бакунина и Анненкова, бывшего свидетелем этих попыток, они наталкивались, с одной стороны, на глухое недоверие поляков к Бакунину, как к русскому, а с другой—на некоторые национальные разногласия или, вернее, национальные инстинкты, присущие обоим контрагентам, как полякам, так и Бакунину (о чем он сам говорит в «Исповеди»). Возможно, что отсюда и вытекало недоверие поляков к Бакунину, в котором они могли усматривать некоторые пережитки великорусского национализма. Но все это не охлаждало Бакунина, тем более, что при почти полном тогда отсутствии революционного движения в самой России, *он усматривал в польском национальном движении зацепку для практического осуществления своих собственных чисто-русских революционных планов.* Поляки, с своей стороны, приблизительно так же смотрели на русских революционеров вроде Бакунина, которых они тоже рассчитывали использовать в интересах *своих* собственных задач. Разумеется, для поляков—как в тот момент, так и впоследствии, в 1862—1863 годах,—сближение с Бакуниным было в большей степени «браком по расчету», чем для самого Бакунина, который действовал преимущественно под влиянием революционного энтузиазма.

Что выступление Бакунина на ноябрьском польском банкете не было чем-либо неожиданным, видно—помимо того, что нам вообще известно о его связях с поляками,—еще из письма его к г-же Фохт от 5 августа 1847 года, в котором Бакунин сообщает, что он «живет почти только с поляками и всецело бросился в польско-русское движение» [1]). А через три месяца после написания этих слов состоялось его знаменитое выступление.

29 ноября 1847 г. Бакунин произнес в Париже свою упомянутую выше речь на банкете в годовщину польского восста-

---

[1]) Кстати, это несколько расходится с тем, что Бакунин говорит в своей „Исповеди“ об отсутствии у него связей с поляками.

ния 1831 г. в присутствии $1^1/_2$ тысячи человек. В этой речи, которая была первым крупным публичным выступлением Бакунина, он указывал на необходимость сближения польских и русских революционеров для общей борьбы с самодержавием. Воспринимая традицию декабристов, Бакунин предложил полякам союз от имени «настоящей русской нации». В качестве революционных сил в России он указал на «страшную массу крестьян, которые не ждут более от императора своего освобождения, и которых бунты с каждым днем становятся все более часты», на «класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов очень различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение», и, наконец, на армию, на которую революционеры возлагали большие надежды даже еще в шестидесятых годах.

Вот несколько отрывков из этой речи:

«Итак, да, мы еще народ рабский. У нас нет свободы, нет достоинства человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданным в своих капризах, неограниченным в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов. Нельзя вообразить положения более несчастного и более унизительного.

«Извне наше положение не менее плачевно. Будучи пассивными исполнителями мысли, которая нам чужда, воли, которая противна нашим интересам, как и нашей чести, мы страшны, ненавидимы, я хотел даже сказать, почти презираемы, потому что на нас повсюду смотрят, как на врагов цивилизации и человечества. Наши повелители пользуются нашими руками для того, чтобы сковать мир, чтоб поработить народы, и всякий успех их есть новый позор, прибавленный к нашей истории...

«Для меня, как русского, это — годовщина позора, да, великого позора национального! Я говорю это громко: война 1831 года была с нашей стороны войной безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата...

«Да, потому что вы враги императора Николая, враги России официальной, вы натурально, даже того не желая, друзья народа русского. (Аплодисменты).

«Я знаю, в Европе вообще думают, что мы с нашим правительством составляем нераздельное целое, что мы чувствуем себя очень счастливыми под управлением Николая, что он и его система, притеснительная внутри и наступательная вовне, прекрасно выражают наш национальный дух.

«Все это неправда.

«Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастье было возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх происхождения немецкого, который не поймет никогда ни нужд, ни характера народа русского, и которого правительство, странная смесь монгольской грубости и прусского педантизма, совершенно исключает национальный элемент...

«Мы не избавлены ни от какого стыда, ни от какой муки, и мы имеем все несчастия Польши без ее чести...

«Природа этого народа (русского) попорчена только на поверхности: сильной, могучей и молодой, ей надо только опрокинуть препятствия, которыми смеют ее окружать, чтобы показаться во всей первобытной красоте, чтоб развить все свои неведомые сокровища, чтоб показать, наконец, всему свету, что русский народ имеет право на существование не во имя грубой силы, как думают обыкновенно, но во имя всего, что есть наиболее благородного, наиболее священного в жизни народов, во имя человечности, во имя свободы.

«Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна, терпение ее готово истощиться. Знаете ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что царствование Николая похоже на царствование Людовика XV. Все предчувствуют грозу, грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с радостью. (Шумные аплодисменты).

«Внутренние дела страны идут ужасно дурно. Это полная анархия со всеми видимостями порядка. Под внешностью иерархического формализма, крайне строгого, скрываются отвратительные раны; наша администрация, наша юстиция, наши финансы — все это одна ложь: ложь, чтобы обмануть заграничное мнение, ложь, чтоб усыпить чувство безопасности и сознание

императора, который поддается ей тем охотнее, что действительное положение дел его пугает. Это, наконец, организация на большую руку, организация, так сказать, обдуманная и ученая, несправедливости, варварства и грабежа, потому что все слуги царя, начиная от тех, которые занимают наивысшие должности, и оканчивая самыми мелкими уездными чиновниками, разоряют, обкрадывают страну, совершают несправедливости самые вопиющие, самые отвратительные насилия, без малейшего страха, публично, среди белого дня, с нахальством и грубостью беспримерными, не давая себе даже труда скрывать свои преступления перед негодованием публики,—настолько они уверены в своей безнаказанности...

«Имея опорой своей только две самые гнусные страсти человеческого сердца: продажность и страх, действуя вне всех национальных инстинктов, вне всех интересов, всех полезных сил страны, правительство России ослабляет себя каждый день своим собственным действием и расстраивает себя страшным образом [1])...

«Враги его повсюду: во-первых, эта страшная масса крестьян, которые не ждут более от императора своего освобождения и которых бунты с каждым днем умножаются и показывают, что они устали ждать; далее, класс промежуточный, очень многочисленный и состоящий из элементов очень различных, класс беспокойный, буйственный, который бросится со страстью в первое революционное движение. Наконец и особенно это—бесчисленная армия, которая покрывает все пространство империи.

«Господа, я вам предлагаю союз от имени этого нового общества этой настоящей нации русской! (Аплодисменты).

«Мысль о революционном союзе между Польшей и Россией не нова. Она уже зародилась, как вы знаете, между заговорщиками обеих стран в 1824 г. Господа, воспоминание, которое я вызвал сейчас, наполняет мою душу гордостью. Русские заговорщики первые тогда переступили через пропасть, которая, казалось, нас разделяла.

«Вы простите мне, господа, эту минуту невольной гордости. Русский, который любит свое отечество, не может холодно говорить об этих людях; они—наша самая чистая слава,

---

[1]) Эта критика самодержавного режима в смягченном виде по существу повторена Бакуниным в „Исповеди“, как мы увидим в части IV.

и я счастлив, что могу провозгласить это посреди этого большого и благородного собрания (аплодисменты), они—наши святые, наши герои, мученики нашей свободы, пророки нашего будущего (аплодисменты).

«Я—не единственный в России, кто любит Польшу...

«От имени их, господа, от имени всего, что есть живого и благородного в моей стране, протягиваю я вам братскую руку (живые аплодисменты)...

«Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не сможет противиться нашему общему действию. Примирение России и Польши—дело огромное и достойное того, чтоб ему отдаться всецело.

«Это освобождение 60-ти миллионов душ, это освобождение всех славянских народов, которые стонут под игом иностранным, это, наконец, падение, окончательное падение деспотизма в Европе».

В этой блестящей речи [1]) мы видим Бакунина почти сформировавшимся как политическая фигура. Здесь мы находим уже его надежды на крестьян и на разночинную интеллигенцию («класс промежуточный, беспокойный и буйственный» и т. д.), его веру в неминуемость близкого революционного потрясения, наконец, славянский характер его революционных надежд. Последним элементом в значительной степени окрашена была его деятельность в период революции 1848—49 г.г.

13. НАЧАЛО КЛЕВЕТЫ НА БАКУНИНА.

За эту речь французское правительство, по ходатайству русского посла Киселева, выслало Бакунина из Франции [2]).

---

[1]) Киселев доносил Нессельроде 23 ноября (5 декабря) 1847 г., что „аудитория выразила свое удовлетворение, устроив (Бакунину) овацию, которая была самой выдающейся стороной этого вечера". Об овациях сообщает и отчет в газете „La Réforme", целиком поместившей речь Бакунина в номере от 17 декабря 1847 г. Речи предпослана следующая заметка редакции: „В собрании и т. д. один русский эмигрант М. Бакунин произнес речь, полную самых благородных чувств и содержащую совершенно новые и крайне смелые взгляды на положение России". Отчет заканчивается словами: „Долго еще по окончании речи в собрании царило сильное возбуждение".

[2]) Киселев требовал также от Гизо распущения польского Демократического Общества и высылки из Парижа польских эмигрантов. Но это ему не удалось.

Что сам Бакунин придавал серьезное значение своему выступлению, видно из письма его к Жорж-Занд от 14 декабря 1847 года, написанного накануне изгнания его из Франции [1]). Сообщая о произнесении им речи, приложенной при письме, Бакунин говорит: «Это очень незначительно с точки зрения литературной. но я смотрю на это первое выступление как на *серьезное начало великого и доброго дела или такого образа действий, который я признаю не только возможным, но и необходимым и неотвратимым*,—и только в качестве такового я и повергаю ее на ваш суд. Я надеюсь, что Вы поверите искренности моих намерений и что Вы простите мне бедность и ошибки языка во имя величия и святости моей цели».

Не довольствуясь высылкой своего врага из Франции, Киселев под рукой распустил слух, будто Бакунин был агентом посольства, которое, в виду его невоздержности в языке, сочло нужным отказаться от его услуг [2]). Бакунин протестовал против этой клеветы, а французский министр внутренних дел Дюшатель, интерпеллированный в палате депутатов, отделался туманными намеками, которые способны были лишь придать характер вероятности гнусной сплетне.

---

[1]) Заимствовано из статьи Влад. Каренина—„Герцен, Бакунин и Жорж-Занд“. „Русская Мысль“, 1910, № 3, стр. 48—49.

[2]) Рязанов в своей цит. книжке „Маркс и русские люди“ высказывает предположение (по-нашему, довольно вероятное), что клеветнические слухи насчет Бакунина мог распространять упомянутый выше шпион Я. Толстой, чтобы отвести подозрение от себя, взвалив его на другого. Характерно, что впоследствии тот же Киселев, занимая уже пост русского посланника во Флоренции, продолжал действовать против Бакунина с помощью таких же приемов, когда последний проживал в Италии и работал там среди итальянских революционеров. В письме к Герцену от 23 мая 1867 г. из Неаполя Бакунин пишет: „Кажется, что русское правительство добирается до меня и в отдаленном Неаполе. На-днях я узнал, что здешний префект Marquese Gualterio, архи-консорт и государственный мелкий делец, об'явил Рангоци свое подозрение. что я—главный зачинщик всех движений в Сицилии, именно в Palermo (Палермо) и вообще в южной Италии, и что я делаю и распространяю фальшивые банковые билеты, покрывшие последние (т.-е. расходы по движению.—*Ю. С.*). Нет для меня сомнения, что тут действует рука Киселева, моего старого парижского приятеля, а теперь посланника во Флоренции. Надеюсь все разузнать и сделать во-время должный отпор“. (Переписка, изд. Драгоманова). Об этом мы еще будем говорить во 2-м томе нашей работы.

По поводу этих гнусных намеков министра, вызвавших протесты демократической прессы, Бакунин обратился к графу Дюшателю с открытым письмом, датированным «Брюссель, 7 февраля 1848 г.» и напечатанным в газете «La Réforme» 10 февраля того же года. Охарактеризовав по заслугам низкую выходку министра, Бакунин требует от него доказательств допущенной им инсинуации, выражая, впрочем, уверенность в том, что письмо его останется без ответа, как это случилось и с первым письмом, посланным Бакуниным Дюшателю с просьбою указать ему мотивы его высылки из Франции. И Бакунин заканчивает свое открытое письмо следующими замечательными и гордыми словами:

«Повторяю, я уверен в Вашем молчании. Но это молчание для честных людей будет достаточным ответом. *Возможно, что есть и даже немало людей, которые при встрече с русским приходят в изумление, когда открывают в нем либерала, демократа, друга поляков, и, быть может, именно трудность моего положения облегчила Вам нападение на меня* (курсив мой). Так вот, М. Г., с негодованием отвергая звание русского «подданного», какое Вы мне даете, я оставляю себе честь принадлежать к русской нации. Я не так одинок в моей стране, как думают. Я знаю, что все чувства, которые я имел счастье выражать, находясь в стране свободы, в сущности разделяются очень многими моими соотечественниками. Если сильные чувства вылились в сильных выражениях, то я не раскаиваюсь в них. Деспот, управляющий Россией, быть защитником которого Вы и г. Гизо считаете для себя честью, не стесняется по-своему расправляться со всеми, кто противится ему, кто возбуждает в нем подозрение, не исключая и вашего правительства, хотя последнее употребляет немало усилий, чтобы загладить грех своего революционного происхождения. Почему же я, говоря от имени всех моих страдающих и угнетенных братьев, не смею употребить единственные выражения, которыми можно охарактеризовать это подлое правительство? Вы можете искать союза с ним, но инстинкт Франции его отвергает и отрицает.

«Ни инсинуация, ни клевета, ни более или менее откровенные преследования со стороны русского правительства, его союзников и друзей не остановят меня в выполнении того, что я считаю своим долгом. Здесь все честное и независимое на моей стороне. Там за меня симпатии всех, кто страдает и надеется. Время будет судьею между нами, г. министр, не между

Вами и мною лично, а между Вашим и моим делом. Как Вы думаете, кому принадлежит будущее?».

Подписано: «Михаил Бакунин, русский эмигрант».

Таков был первый источник тех нелепых обвинений, которые впоследствии так упорно преследовали этого непримиримого революционера.

Смысл и цель этой клеветы вполне понятны. Царскому правительству не могло быть приятно сближение русских и польских революционеров для совместной борьбы против него. И вот его агенты сразу попытались, используя естественное недоверие поляков ко всему русскому, вырыть глубокую пропасть между ними и представителями немногочисленной русской оппозиции. Как мы увидим ниже, клевета эта пала на благодарную почву и дала ядовитые всходы [1]).

Впоследствии Бакунин, говоря об этой клевете, систематически выдвигавшейся против него и в конце 40-х, и в 50-х, и в 60-х годах, и ошибочно воображая, что главную роль в этом деле играл враждебный ему кружок Маркса [2]), писал:

«Многие мои друзья [3]) утверждали и утверждают, что клеветники состояли на жалованьи у русской дипломатии [4]).

---

[1]) Как мы видели выше, поляки еще в 1846 году отнеслись к Бакунину недоверчиво. Это было до Киселева... И до Маркса!

[2]) О действительной роли Маркса в деле клеветы на Бакунина мы подробно будем говорить в следующих главах. В то время, когда Бакунин писал эти строки, еще позволительно было ошибаться на этот счет (особенно самому пострадавшему),—теперь это более невозможно.

[3]) Здесь имеется отчасти в виду А. Герцен, который сам заблуждался и своими ошибками вводил в заблуждение Бакунина насчет мнимого участия Маркса в клеветах, распространявшихся против русского революционера в 50-х годах (см. ниже).

[4]) По отношению к Я. Толстому, если бы Бакунин догадывался тогда об его роли и если бы верно было предположение Н. Рязанова, эти слова были бы вполне применимы, равно как и по отношению к г. Киселеву. Но относительно противников, которых Бакунин имеет здесь в виду (Боркгейм, Либкнехт, Гесс и пр.), это утверждение было, конечно, глупо. Они нападали на Бакунина в конце 60-х годов именно из вражды к царскому правительству, именно потому, что—основательно или неосновательно, это другой вопрос—видели в нем вовсе не „русского агента“ (об этом см. ниже), а панслависта, который, в качестве такового, мог быть *бессознательным* орудием царизма. Впрочем, дальше Бакунин сам отвергает это „утверждение“ о связи его противников с русской дипломатией.

В этом нет ничего невозможного, и я тем более должен был бы верить этому, что знаю положительно, что в 1847 г. после произнесенной мною в Париже на одном польском собрании речи против императора Николая, за которую г. Гизо, тогдашний министр иностранных дел, выслал меня из Франции по просьбе русского посла Киселева, этот последний, при посредстве самого Гизо, которого он ввел в заблуждение, пытался распространить в польской эмиграции слух о том, что я не кто иной, как русский агент. Русское правительство, равно как его чиновники, не отступает, разумеется, ни перед какими средствами, чтобы уничтожить своих противников. Ложь, клевета, всякие бесчестные поступки свойственны их природе, и когда они употребляют эти средства, они лишь пользуются своим неопровержимым правом официальных представителей всего, что есть гнусного на свете, не хуже, впрочем, патриотической, буржуазной, дворянской, официозной и официальной Германии [1]), которая нынче—должен смиренно признать это—поднялась до политического, морального и гуманного уровня императора всея России.

«Однако, говоря откровенно, я не думаю, чтобы кто-либо из клеветников,—хотя и столь мало почтенных, ибо клевета—гнусное ремесло,—чтобы кто-либо из них или, по меньшей мере, главные из них когда-либо по крайней мере сознательно, находились в сношениях с русской дипломатией. Они вдохновлялись, главным образом, своею глупостью и злобностью, вот и все [2]). И если и было постороннее внушение, так оно исходило

---

[1]) Здесь Бакунин ошибается. Как раз официозная и официальная, буржуазно-дворянская Германия не участвовала в клевете на него по той простой причине, что она сочувствовала русскому самодержавию и ничего не имела против его агентов, с которыми, напротив, сама состояла в связи. Если бы она думала, что Бакунин—русский агент, она бы его не преследовала. На эту сторону вопроса указал Маркс, когда в 1853 г. вмешался, *в защиту Бакунина*, в полемику, поднятую английской газетой „Morning Advertiser“ вокруг имени Бакунина. Маркс писал тогда, что только глупец может не понять, почему „консервативные газеты не могли *опубликовать* клевет, *тайно* распространявшихся против Бакунина по всей Германии, тогда как самая революционная немецкая газета обязана была их опубликовать“. Здесь имеется в виду „Новая Рейнская Газета“ (см. главы III и IV, а также том второй нашей работы).

[2]) Здесь Бакунин явно намекает на Боркгейма, Либкнехта и Гесса (см. в следующих томах главы об Альянсе и Базельском конгрессе

не из С.-Петербурга, но из Лондона [1]). Это все они, мои добрые друзья, вожди немецких коммунистов, законодатели будущего общества, которые, оставаясь сами среди лондонских туманов, на подобие Моисея в облаках Синая, наслали на меня, словно стаю шавок, целую толпу русских и немецких еврейчиков [2]), из коих один глупее и развязнее других» [3]).

14. В ОЖИДАНИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВЗРЫВА.

Высланный из Парижа Бакунин уехал в Брюссель. Здесь он был дружественно встречен проживавшими в Брюсселе польскими эмигрантами, которые уже знали Бакунина, как одного из немногих тогда русских революционеров, сочувствовавших освобождению Польши и настроенных непримиримо враждебно к царскому деспотизму. По поводу этой встречи Бакунин писал Анненкову в письме от 28 декабря 1847 года: «Прием, сделанный мне поляками, наложил на меня огромную обязанность, но вместе показал и дал мне возможность действовать». В чем выражалась эта деятельность, точно неизвестно, но существуют указания на то, что Бакунин пытался об'единить различные польские фракции и вместе с поляками и славянскими деятелями основать «славянскую лигу». Между прочим, он пытался вовлечь в союз вождей тогдашнего польского движения, с одной стороны, знаменитого польского демократа Лелевеля, с которым был знаком с 1844 года и с которым теперь снова встре-

---

Интернационала). В письме в редакцию газеты „Réveil“ (о нем тоже ниже), написанном в октябре 1869 г., почти все это место содержится целиком от слов „многие мои друзья“ и до слов „вот и все“. Письмо в свое время в печати не появилось, и Бакунин через 2 года перенес это место во 2-ой выпуск „Кнуто-Германской Империи“, который, впрочем, тоже увидал свет лишь 34 года спустя. В первоначальном наброске, то-есть в письме в редакцию газеты „Réveil“, Бакунин в этом месте прямо называет Боркгейма и Гесса. Письмо это опубликовано в V томе сочинений Бакунина (Oeuvres, V, стр. 241—294).

[1]) Намек на Маркса, проживавшего после 1849 г. в Лондоне, и на тесно связанного с ним Энгельса, тоже жившего в Англии. Это, впрочем, ясно из следующих слов.

[2]) Об антисемитических выходках Бакунина нам подробнее придется говорить ниже, особенно во втором и третьем томах нашей работы. Среди „русских еврейчиков“ Бакунин имеет в виду главным образом Н. Утина, среди немецких—упомянутых выше лиц.

[3]) „Кнуто-Германская империя“, изд. „Голос Труда“, стр. 141.

тился в Брюсселе, а с другой—графа Тышкевича [1]). Несомненно, Бакунин имел кое-какое отношение и к «Демократическому Обществу для об'единения всех стран», основанному незадолго до его приезда в Брюссель (окончательно сложилось оно 7—15 ноября 1847 г.), об'единявшему бельгийских демократов с политическими эмигрантами всех национальностей, проживавшими в Брюсселе, в том числе немцами и поляками, и имевшему таким образом международный характер. Но держался Бакунин все же ближе к полякам, хотя присущий им дух эмигрантской склоки (как он писал Анненкову) был ему несимпатичен. На банкете, устроенном польскими и бельгийскими демократами 14 февраля 1848 года в годовщину казни польского патриота С. Конарского (повешенного по приказу Николая I в Вильне в 1839 г. за подготовление восстания), главными ораторами были Лелевель и Бакунин.

«Когда Бакунину, по требованию российского посольства приказано было за... речь выехать из Франции,—рассказывает Б. Лимановский в своей книге по истории польской демократии [2]),—поляки в Брюсселе встретили его по-братски и об'еди-

---

[1]) Пользуемся случаем, чтобы исправить одну ошибку, имеющую вследствие упорного повторения все шансы быть увековеченной (впредь до издания подготовляемого нами полного собрания сочинений и переписки Бакунина). Известное письмо Бакунина к П. В. Анненкову из Брюсселя от 28 декабря 1847 г. было напечатано в книге „Анненков и его друзья“ со многими ошибками. Эти ошибки повторил и М. Драгоманов в своем предисловии к „Письмам Бакунина к Герцену и Огареву“, а затем их стали повторять все, кто цитировал это письмо. В письме содержится фраза, напечатанная в таком виде: „Я, вероятно, скоро должен буду снова ораторствовать. Покаместь не говорите об этом. кроме Т., никому. Я боюсь, чтобы через Сазонова не узнали об этом славянщики“ и т. д. Прежде всего начали гадать, кто скрывается под буквой Т. Одни думали. что это Тургенев, другие, что Я. Толстой и т. п. Оказывается, что в подлиннике фамилия напечатана полностью, а именно: Тургенев. Это раз. Далее, начали гадать, что означают таинственные „славянщики“. Драгоманов по этому поводу сочинил целую гипотезу. А дело и здесь об'ясняется очень просто: в подлиннике никаких „славянщиков“ нет, а сказано: „товянщики“, т.-е. последователи известного польского мистика Товянского, проживавшего тогда в Париже. Между прочим, дальше имя этого Товянского названо в этом же письме.

Так иногда возникают исторические загадки, разрешающиеся просто путем обращения к оригинальному документу.

[2]) B. Limanowski—„Historya Demokracyi Polskiej w epoce porazbiowej“. Zurych, 1901, стр. 352—353.

нили поминки по расстреленном Конарском с поминками по умершим русским революционерам. «Будущность наша,—сказал Лелевель, обращаясь к Бакунину,—темна и неясна во многих отношениях». Оставим эту будущность, не будем заботиться о ней: не от нас зависит устранение преград к ней и решение судьбы народов. Прежде всего уничтожим угнетающего нас тирана, душащую нас тиранию, поставим вопрос о народе, пробудим его демократический дух, и все устроится и уладится согласно обоюдной воле добившихся народоправства обеих наций... Да, не может быть разделения между теми русскими и поляками, которые любят свободу. Братья спешат на спасение братьев. Не оставляй, Бакунин, начатого тобою дела, доведи его до конца, держись крепко против ожидающих тебя препятствий... Друг Бакунин, подай нам братскую руку и обнимемся сердечно»!

Речь, произнесенная Бакуниным на этом собрании, не сохранилась, но по существу содержание ее сообщается в его «Исповеди».

«Там (то-есть в Брюсселе),—пишет Бакунин,—меня встретил Лелевель новым торжеством; я произнес вторую речь, которая была бы напечатана, если б не помешала февральская революция. В этой речи, бывшей как бы развитием и продолжением первой, я много говорил о России, об ее прошедшем развитии, немного о древней вражде и борьбе между Россиею и Польшею; говорил также и о великой будущности славян, призванных обновить гниющий [1]) западный мир; потом, сделав обзор тогдашнего положения Европы и предвещая близкую европейскую революцию, страшную бурю, особенно же неминуемое разрушение Австрийской империи, я кончил следующими словами: «Préparons nous et quand l'heure aura sonné que chacun de nous fasse son devoir» [2]).

Но скоро Бакунину пришлось ознакомиться с оборотною стороною медали. Гнусная клевета, пущенная против него,

---

[1]) Как мы указывали выше, Бакунин, в отличие от Герцена, вообще не говорил о „гниении“ Запада. Таких заявлений мы не встретим ни в его речах, ни в его писаниях. Здесь же он явно приспособляется к психологии своего августейшего духовника, которому, конечно, приятны были такие речи.

[2]) „Приготовимся, и, когда пробьет урочный час, пусть каждый исполнит свой долг“.

исподволь делала свое дело, и скоро Бакунин почувствовал себя окруженным атмосферою недоверия. Вот как он рассказывает об этом в «Исповеди»:

«Впрочем, в это время, кроме взаимных комплиментов и более или менее симпатичных фраз, несмотря на мое сильное желание сблизиться с поляками, я ни с одним не мог сблизиться. Наши природы, понятия, симпатии находились в слишком резком противоречии для того, чтоб было возможно между нами действительное соединение. К тому же в это самое время *поляки более, чем когда-нибудь, стали смотреть на меня с недоверием* [1]); к моему удивлению и немалому прискорбию, пронесся в первый раз слух, что будто бы я тайный агент русского правительства. Слышал я потом от поляков, что будто бы русское посольство в Париже на вопрос министра Guizot (Гизо) обо мне ответило: «C'est un homme qui ne manque pas de talent, nous l'employons, mais aujourd'hui il est allé trop loin» [2]), и что Duchâtel (Дюшатель) дал знать об этом князю Чарторыйскому; слышал также, что министр Duchâtel донес обо мне к бельгийскому правительству, что я не политический эмигрант, а просто вор, укравший в России значительную сумму, потом бежавший, и за воровство и за бегство осужден на каторжную работу. Как бы то ни было, но эти слухи, вместе с другими вышеупомянутыми причинами, сделали всякую связь между мною и поляками невозможной».

О своей жизни в Брюсселе Бакунин далее рассказывает: «В Брюсселе меня было ввели в общество соединенных немецких и польских коммунистов и радикалов, с которыми находились в связи и английские шартисты [3]), и французские демократы,— общество, впрочем, не тайное, с публичными заседаниями; были, вероятно, и тайные сходбища, но я в них не участвовал, да и публичные-то посетил всего только два раза, потом же перестал ходить, потому что манеры и тон их мне не понравился, требования их были мне нестерпимы, так что я на-

---

[1]) Курсив мой. Все это нужно помнить, чтобы понять дальнейший инцидент с „Новой Рейнской Газетой“ (см. главу III), который без этих подробностей будет не совсем ясен.

[2]) „Это—человек, не лишенный способностей, мы пользуемся его услугами, но теперь он зашел слишком далеко“.

[3]) Чартисты, боровшиеся за демократическую хартию.—Речь идет об упомянутом выше „Демократическом Обществе“.

влек даже на себя их неудовольствие и, можно сказать, ненависть немецких коммунистов, которые громче других стали кричать о моем мнимом предательстве [1]). Жил же я более в кругу аристократическом; познакомился с генералом Скржинецким и через него с графом Mérode (Мерод), бывшим министром, и с французом графом Montalambert (Монталамбер), зятем последнего; то-есть жил в самом центре иезуитской пропаганды. Меня старались обратить в католическую веру, и так как о моем душевном спасении вместе с иезуитами пеклись также и дамы, то мне было в их обществе довольно весело. В то же время я писал статьи для «Constitutionnel» о Бельгии и о бельгийских иезуитах, не переставая, однако, следовать [2]) за ускорявшимся ходом политических происшествий в Испании и во Франции».

В письме к Гервегу (без даты, но относящемся к концу 1847 года) Бакунин пишет: «Из Демократического Общества может выйти нечто действительно хорошее (дальше следует известная выходка против немецких коммунистов, о которой см. ниже)... Лелевель остался все тем же милым старцем, но уж сильно одряхлел и ослабел; имеется здесь еще один еврей, выдающий себя за поляка, некий господин Люблинер [3]). Он принадлежит к Демократическому Обществу и является самым несносным существом, какое только можно себе вообразить.— Вчера я побывал также у Скржинецкого и Тышкевича. Все встретили меня хорошо, но я оставался сдержанным и спокойным, ибо я должен еще разобраться. — Р., президент Общества [4]),—дельный, умный и действительно прекрасный человек.

---

[1]) Совершеннейшая фантазия Бакунина. Здесь он, быть-может, невольно напутал, смешав это время с летом 1848 г., когда в газете Маркса появилось против него аналогичное обвинение (см. главу III). О действительных причинах его расхождения с немецкими коммунистами см. ниже.

[2]) Галлицизм, каких не мало попадается у Бакунина (впрочем, не столько, сколько у Герцена). Нужно понимать: „следить“.

[3]) Увы!—уже в этот период в Бакунине начинает сказываться этот душок, не оставлявший его до конца и навеянный его дворянским происхождением. Ниже мы увидим много проявлений этого душка.

[4]) О каком Р. (R. в книге переписки Гервега) здесь говорится, непонятно. Почетным президентом Дем. Общества был генерал Мелине, действительным президентом—адвокат Жотран, товарищами председателя—Маркс от немцев, Эмбер от французов и Лелевель от поляков. Возможно, что здесь просто опечатка.

Ты непременно должен с ним познакомиться. Я вообще хочу много писать тебе о Демократическом Обществе, смотря по моим впечатлениям, не считаясь с тем, что последние по временам будут друг другу противоречить».

В Брюсселе Бакунин снова встретился с Марксом, который проживал здесь с 1845 года, после своего изгнания из Франции. Это был один из самых плодотворных периодов в жизни Маркса. Он окончательно порвал здесь с последними остатками старых воззрений и мощным усилием ума вырабатывал основы своего материалистического и революционно-коммунистического мировоззрения. В печати и в устных беседах, в «Немецко-Брюссельской Газете», издававшейся Борнштедтом [1]), в лекциях перед рабочими (часть из них впоследствии составила известную брошюру «Наемный труд и капитал»), в публичных лекциях (сюда относится известная «Речь о свободе торговли», произнесенная в названном Демократическом Обществе), в печатных работах, как «Нищета философии», направленная против Прудона, в многочисленных циркулярах, рассылавшихся друзьям и распространявшихся среди тогдашних кружков немецких рабочих преимущественно за границей, наконец, в «Манифесте Коммунистической Партии», то-есть в программе, лично проведенной и защищенной Марксом на лондонском с'езде немецких коммунистов в ноябре 1847 года, и т. д. — Маркс, совместно со своим другом Энгельсом, выковывал духовный меч пролетариата. Вместе с тем они залагали первые основы будущего Интернационала, пока выразившиеся в основании скромной организации «Союза Коммунистов», об'единившего существовавшие тогда, главным образом, немецкие рабочие кружки.

Но для Бакунина вся эта деятельность оставалась непонятной, а во многом, вероятно, даже просто неизвестной. Он жил тогда в другом круге интересов. Для Маркса буржуазная демократия была к тому времени уже пройденным этапом, для Бакунина же,—несмотря на то, а может быть именно потому,

[1]) Адальберт фон-Борнштедт был отставным прусским офицером. Уже тогда, в Брюсселе, он вызвал некоторое подозрение у эмигрантов, но недоверие это было рассеяно процессами, которые были против него возбуждены по настоянию прусского правительства (известный полицейский прием!). Впоследствии данные, почерпнутые из берлинских и венских архивов, неопровержимо установили, что этот господин состоял на службе у прусской и австрийской политической полиции.

что в нем уже бродили смутные анархические стремления,— идеи буржуазного революционаризма с их романтикою заговоров и восстаний еще не утеряли своей прелести (да не утеряли их еще долго после 1848 года, как мы ниже увидим). Бакунин был рубаха-парень, веселый собутыльник, рубака революции, но не теоретик движения, не основоположник новых начал. Роль рабочего класса, значение которого для Маркса уже тогда было ясно, Бакунину была еще непонятна. Он вращался преимущественно в кругах буржуазных революционеров [1]), людей, полных иллюзий эпохи 40-х годов, плохо разбиравшихся в классовой борьбе и даже не желавших в ней разбираться. Усилия Маркса над развитием классового сознания в рабочей массе, его «возня» с ремесленниками, его разоблачение мелкобуржуазных остатков в идеологии тогдашних социалистов прямо не нравились Бакунину, отталкивали его от Маркса, — может быть, потому, что удары, наносимые им староверам утопического социализма, больно задевали и самого Бакунина, который, как мы знаем это из его собственных признаний, торчал еще тогда обеими ногами в утопическом болоте. И романтически настроенному Бакунину даже казалось, что пропаганда Маркса развращает подпавших под ее влияние рабочих, «портит» их, убивая в них революционный дух. Впоследствии, когда мы познакомимся с взглядами Бакунина на рабочую «аристократию» и на лумпен-пролетариат, «простонародную, чернорабочую чернь [2]»), мы не будем особенно удивляться этому отношению его к пропаганде Маркса и его друзей.

В том же письме к Анненкову от 28 декабря 1847 г., в котором он рассказывает о своих отношениях с польскими эмигрантами [3]), Бакунин следующим образом выражается о работе Маркса: «Маркс treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie vorher (то есть занимается тем же суетным делом, что и раньше.— *Ю. С.*), портит работников, делая из них резонеров. То же самое теоретическое сумашествие и неудовлетворенное, недовольное собой самодовольствие». А в письме к своему другу Георгу

---

[1]) И даже в кругах аристократических, как он сам рассказывает в „Исповеди“ (см. выше).

[2]) Конечно, в рассматриваемый момент эти взгляды Бакунина окончательно еще не сложились, но они, повидимому, уже бродили в его голове.

[3]) Анненков и его друзья. 1887, стр. 622.

Гервегу приблизительно около того же времени он еще яснее излагает причину своего недовольства марксистским кружком. Одобрительно отзываясь о Демократическом Обществе (на этом месте мы как раз оборвали цитату, которую теперь продолжаем), он противопоставляет ему немецких коммунистов. «Немцы же, ремесленники, Борнштедт, Маркс и Энгельс [1]) — и в особенности Маркс, сеют свое обычное зло. Тщеславие, злобность, дрязги, теоретическое высокомерие и практическое малодушие, рефлектирование о жизни, деятельности и простоте и полное отсутствие жизни, дела и простоты, литераторствующие и умствующие (discurierende—проводящие время в дискуссиях) ремесленники и противное заигрывание с ними,—«Фейербах—*буржуа*», и словечко, *буржуа* сделалось до тошноты повторяемым эпитетом,—а сами все с ног до головы насквозь захолустные буржуа. Одним словом, ложь и глупость, глупость и ложь. В этом обществе нельзя дышать свободно. Я держусь в стороне от них и решительно заявил, что не вступлю в их коммунистический ремесленный союз и не желаю иметь с ним ничего общего».

В этих словах [2]) в сущности намечены как все прежние, так и последующее разногласия между Бакуниным и Марксом. Бакунин вообще плохо понимал, а в то время, можно сказать, совсем почти не понимал значения пролетариата в современных

[1]) В книге „Briefe von und an G. Herwegh“ (стр. 12) эта фраза напечатана так: „die Deutschen aber, Handwerker Bornstädt, Marx und Engels“, что можно перевести или: „немцы же, ремесленники Борнштедт, Маркс и Энгельс“, или: „немцы же, ремесленник Борнштедт, Маркс и Энгельс“. То и другое не имеет смысла, ибо ни одно из названных лиц не было ремесленником. Предположить, что Бакунин употребил здесь слово „ремесленник“ или „ремесленники“ в ироническом смысле, трудно, ибо в таком случае он бы взял это слово в кавычки. Остается единственное допущение, что в подлинном письме Бакунина после слова Handwerker (ремесленники) была запятая, пропущенная в печати. Мы ее поставили там в переводе, предположив при этом, что слово Handwerker употреблено во множественном числе.

[2]) Как мы видим, ни в письмах к Гервегу, ни в письмах к Анненкову Бакунин ни звуком не заикается о том, что немецкие коммунисты распространяют про него позорящие слухи. Да и впоследствии Бакунин, неоднократно возвращавшийся к клевете на него, всегда указывал, что немецкие коммунисты впервые обвинили его в 1848 г., поляки же и русские чиновники гораздо раньше. В „Исповеди“ Бакунин явно напутал, но впоследствии он своего неосновательного обвинения против немецких коммунистов больше не повторял.

революциях. Он считал совершенно излишней и даже вредной выработку рабочей интеллигенции, вооруженной своею собственною пролетарскою идеологиею и независимой (теоретически и практически) от влияния буржуазных партий и буржуазной идеологии. То, что играло главную роль в работе Маркса,— организация рабочих и выработка в них классового сознания,— меньше всего интересовало Бакунина, мало удовлетворяло его и не понималось им. И это естественно: те группы, на которые Бакунин возлагал уже тогда свои надежды, разночинная интеллигенция и разоряемое крестьянство полу-буржуазного общества, меньше всего способны были к прочной, планомерной организации, и им чуждо было классовое сознание промышленного пролетариата. Им нужны были порыв, революционная страсть, смутный инстинкт протеста и разрушения—элементы, которые и характеризовали стремления самого Бакунина. Некоторая неопределенность воззрений, неотмежеванность от буржуазной идеологии, спутанность с нею являются нераздельным спутником движений симпатичных Бакунину общественных групп, которые, конечно, не могут особенно сочувствовать тому резкому размежеванию со всеми пережитками буржуазного мышления, которое тогда характерно было для Маркса и которое приводило Бакунина в негодование.

Весьма знаменательно, что Бакунина глубоко возмущает характеристика Фейербаха как буржуа. Конечно, Маркс не с меньшим уважением относился к Фейербаху и не хуже Бакунина понимал его значение в истории философии и в развитии германской общественной мысли: ведь и Маркс и Энгельс (подобно Чернышевскому и тому же Бакунину) подверглись в свое время сильнейшему влиянию философии Фейербаха, через посредство которой и пришли к материалистическому мировоззрению. Но это не мешало им признавать, что в области социально-политической Фейербах не дошел до конца и остался чужд коммунистическим течениям того времени [1]). Видеть в этом

---

[1]) Интересно, что в молодостн Энгельс надеялся завербовать Фейербаха в коммунисты. Из Бармена юный революционер написал в начале 1845 г. (повидимому, вместе с столь же юным последователем Фейербаха и новоиспеченным коммунистом, Германом Криге) Фейербаху письмо, приглашая его открыто выступить в качестве коммуниста. Философ ответил пылким агитаторам, что предварительно должен основательно разделаться с религиозным сором, прежде чем заняться коммунизмом настолько, чтобы выступить печатно в его

«ложь и глупость» мог только человек, сам еще не высвободившийся из-под влияния буржуазной идеологии и весьма слабый в вопросах социализма. Точно так же только очень плохой социалист способен был презрительно относиться к «литераторствующим и рассуждающим ремесленникам», т.-е. к передовым рабочим, добившимся некоторого образования и абсолютно необходимым для руководства движением своего класса и для высвобождения его из-под влияния буржуазных партий. Все это показывало, что Бакунин в сущности был в тот момент психологически и идейно чужд начинавшемуся тогда рабочему движению, и, как мы увидим ниже, так продолжалось почти сплошь до конца 60-х годов, когда он примкнул к Интернационалу. Но и туда он внес пережитки своих старых идейных шатаний.

Бакунин, как это видно из его цитированного выше письма к Гервегу, не рассчитывал долго оставаться в Брюсселе. Он собирался в Лондон, но предварительно хотел хорошенько осмотреться. Может быть, он не надеялся на терпимость бельгийской полиции, так как, будучи маленьким государством, Бельгия слишком внимательно прислушивалась к желаниям великих держав, Франции, Пруссии и России. Об этом можно судить по выдержке из того же письма его к Анненкову. «Может статься,—писал он,—что меня и отсюда также прогонят,—пусть себе гонят, и я буду тем смелее, чутче и метче говорить. Вся жизнь моя определялась до сих пор почти невольными изгибами независимо от моих собственных предположений; куда она меня поведет—бог знает. Чувствую только, что возвратиться назад я не могу и что никогда не изменю своим убеждениям. В этом вся моя сила и все мое достоинство, и в этом также вся действительность и вся истина моей жизни: в этом моя вера и мой долг, а до остального мне дела нет: будет, как будет».

Бакунин, видимо, не нашел еще для себя почвы. Но он уже сознавал, что он—человек обреченный в том смысле, что ему

пользу. Впрочем, он-де коммунист, и для него лишь стоит вопрос о способе осуществления последнего. Летом Фейербах предполагал поехать на Рейн, а там Энгельс надеялся его обработать и затащить в Брюссель. Но Фейербах на Рейн не поехал, а его последующие выступления показали, что он не в состоянии совлечь с себя ветхого Адама. См. переписку Маркса, и Энгельса, т. I, стр. 15, а также Mehring (Меринг)—Karl Marx (Карл Маркс), стр. 117. Вряд ли Бакунин знал обо всем этом.

предстоит бродяжническая, кочевая, бурная жизнь профессионального революционера[1]). И он не боялся этого, он призывал бурю, он ждал ударов освежительной революционной грозы.

6 сентября он писал Гервегам из Парижа: «В Италии дела обстоят хорошо; папа, повидимому, дельный человек (!). Швейцария тоже идет вперед; даже Франция начинает шевелиться... Во всем и во всех чувствуется известное, принимающее все более определенные формы, брожение. Высшее общество и официальный мир в большой тревоге... Говорят о скором и серьезном восстании народа... Словом, даже за пределами Франции чувствуется l'approche de l'orage (приближение бури). Поверьте мне, скоро дела пойдут хорошо, скоро для нас начнется жизнь, и мы снова вместе заживем и заработаем широко и бурно, в чем все мы чувствуем потребность... Я жду своей или, если хотите, нашей общей суженой — революции. Только тогда мы будем действительно счастливы, т.-е. станем самими собою, когда весь земной шар будет охвачен пожаром»[2]).

Предчувствия не обманули Бакунина.

Надвигались крупные события, и в жизни его должна была открыться новая, блестящая страница. Приближался 1848 год, назревала революция, в которую Бакунин должен был окунуться с головой.

---

[1]) Еще в феврале 1843 г. он писал из Цюриха Эмме Гервег: „Я не думаю, чтобы ваша жизнь могла быть спокойной. Но это не беда, ибо на мой взгляд это хваленое спокойствие есть величайшее несчастье, какое может постигнуть человека“. (Переписка Гервега, стр. 11). Это письмо мы полнее приводим выше.

[2]) Briefe an und von G. Herwegh, стр. 14–17.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

БАКУНИН В 1848 И 1849 ГОДАХ.

1. В РЕВОЛЮЦИОННОМ ПАРИЖЕ.

Революция 24 февраля вновь открыла Бакунину двери Франции. Он поспешил вернуться в Париж, но ему не пришлось долго здесь оставаться. Герцен, который по возвращении из Италии уже не застал Бакунина в Париже, рассказывает об его пребывании в революционной столице следующее:

«Первые дни после Февральской революции были лучшими днями жизни Бакунина. Возвратившись из Бельгии, куда его вытурил Гизо за его речи на польской годовщине 29 ноября 1847 г., он с головой нырнул во все тяжкие революционного моря. Он не выходил из казарм монтаньяров, ночевал у них, ел с ними и проповедывал, все проповедывал, коммунизм et l'égalité du salaire [1]), нивеллирование во имя равенства, освобождение всех славян, уничтожение всех Австрий, революцию en permanence [2]), войну до избиения последнего врага. Префект с баррикад, делавший «порядок из беспорядка», Коссидьер [3]), не знал, как выжить дорогого проповедника, и придумал с Флоконом [4]) отправить его в самом деле к славянам с братской акколадой [5]) и уверенностью, что он там себе сломит шею и мешать не будет. «Quel homme! Quel homme!» [6]),— говорил Коссидьер о Бакунине:—в первый день революции это просто клад, а на другой день его надобно расстрелять».

---

[1]) Равную заработную плату.

[2]) Непрерывную.

[3]) Коссидьер, бывший член тайных обществ при монархии, после февральской революции—префект полиции в Париже.

[4]) Флокон — радикал, член Временного Правительства после февральской революции.

[5]) Поцелуй.

[6]) „Что за человек! Что за человек!“

По рассказу Головина, Бакунин предводил большой манифестацией рабочих против национальной гвардии [1]). Головин передает слова Флокона, что Францией невозможно было бы управлять, если бы в ней было 300 Бакуниных. По его словам, Флокон вручил Бакунину французский паспорт, дал ему 3.000 франков на дорогу и поручил ему революционизировать Германию. Так или иначе, но поездка в Германию улыбалась Бакунину, так как он рассчитывал оттуда пробраться поближе к Польше и к русской границе, а затем перебраться и в Россию, если бы там вспыхнуло революционное движение.

Вот как сам Бакунин через 3 года описывал свое впечатление от французской революции и парижского пролетариата (в «Исповеди»):

«Наконец, грянула февральская революция. Лишь только я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомого на всякий случай паспорт, отправился обратно во Францию. Но паспорт был не нужен; первое слово, встретившее нас на границе, было: «la République est proclamée à Paris» [2]). У меня мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие; в Valenciennes [3]) пришел пешком, потому что железная дорога была сломана; везде толпа, восторженные крики, красные знамена на всех улицах, плацах и на всех публичных зданиях. Я должен был ехать об'ездом, железная дорога была сломана во многих местах, я приехал в Париж 26 февраля, на третий день по об'явлении республики. На дороге мне было весело, что ж скажу... о впечатлении, произведенном на меня Парижем! Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и досягавшие крыш, а на них, между каменьями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, épiciers [4]), с поглупевшими от ужаса лицами;

---

[1]) Вероятно, речь идет о манифестации 17 марта 1848 г. Но в других источниках не встречается указаний на участие Бакунина в ней. Возможно, что он был здесь вместе с другими эмигрантами и клубистами, но вряд ли играл руководящую роль.

[2]) „В Париже провозглашена республика".

[3]) Город Валансьен.

[4]) Бакалейщики, мелочные торговцы.

на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры [1]), торжествующими ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоенья, все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже, можно увидеть подобную вещь! — Я жил потом с работниками более недели в Caserne des Tournons [2]) в двух шагах от Люксембургского дворца; казармы сии были прежде казармами муниципальной гвардии [3]), в то же время обратились со многими другими в червленно-республиканскую крепость, в казармы для Коссидьеровской гвардии [4]). Жил же я в них по приглашению знакомого демократа, командовавшего отделением пятисот работников. Таким образом я имел случай видеть и слышать сих последних с утра до вечера... Ни в одном классе, никогда и нигде, не нашел я столько благородного самоотверженья, столько истинно трогательной честности, столько сердечной деликатности в обществе и столько любезной веселости, соединенной с таким героизмом, как в этих простых необразованных людях, которые всегда были и будут в тысячу раз лучше всех своих предводителей! Что в них особенно поразительно, это глубокий инстинкт дисциплины; в казармах их не могло существовать ни установленного порядка, ни законов, ни принуждения; но дай Бог, чтоб любой вымуштрованный солдат умел так точно повиноваться, отгадывать желания своих начальников и так свято соблюдать порядок, как эти вольные люди; они требовали приказаний, требовали начальства, повиновались с педантизмом, со страстью, голодали на тяжкой службе по целым суткам и никогда не унывали, а всегда были веселы и любезны. Если бы эти люди, если бы французские работники вообще нашли себе достойного предводителя, умеющего понимать и любить их, то он сделал бы с ними чудеса.

---

[1]) Рабочие.

[2]) Казарма на улице Турнон.

[3]) Городская полицейская стража, нечто вроде жандармерии.

[4]) Красная полиция, организованная бывшим членом тайных обществ Коссидьером, захватившим префектуру полиции (парижское градоначальство).

«Я не в состоянии отдать ясного отчета в месяце, проведенном мною в Париже, потому что это был месяц духовного пьянства. Не я один, все были пьяны: одни от безумного страху, другие от безумного восторга, от безумных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа по утру, а ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях; одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и без конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялись в одной гуляющей бесчисленной толпе; говорил со всеми и не помнил, ни что им говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия. К поддержанию и усилению всеобщей горячки немало способствовали также известия, приходившие беспрестанно из прочей Европы; бывало только и слышишь: «On se bat à Berlin; le roi a pris la fuite après avoir prononcé un discours!—On s'est battu à Vienne, Metternich s'est enfui, la République est proclamée! — Toute l'Allemagne se soulève. Les Italiens ont triomphé à Milan, à Venise les autrichiens ont subi une honteuse defaite!—La République y est proclamée; toute l'Europe devient République... Vive la République!» [1])... Казалось, что весь мир переворотился; невероятное сделалось обыкновенным, невозможное возможным, возможное же и обыкновенное бессмысленным. Одним словом, ум находился тогда в таком состоянии, что если бы кто пришел и сказал: «le bon Dieu vient d' être chassé du ciel, la République y est proclamée!» [2]), так все бы поверили и никто бы не удивился. И не одни только демократы находились в таком опьянении; напротив, демократы первые оправились, потому что должны были приняться за дело и укрепить за собою власть, упавшую в их руки каким-то неожиданным чудом. Консервативная партия и династическая оппозиция, сделавшаяся через день консервативнее самих консерваторов, одним словом,

---

[1]) „В Берлине дерутся; король бежал, произнеся перед этим речь! Дрались в Вене. Меттерних бежал, провозглашена республика! Вся Германия восстает. Итальянцы одержали победу в Милане, в Венеции австрийцы потерпели позорное поражение! Там провозглашена республика. Вся Европа становится республиканской. Да здравствует Республика!“

[2]) „Бог прогнан с неба, там провозглашена республика!“

люди старого порядка верили во все чудеса и во все невозможности более, чем все демократы; они уж думали, что дважды два перестало быть четыре, и сам Thiers [1]) об'явил: «il ne nous reste plus qu'une chose, c'est de nous faire oublier» [2]). Сим одним и об'ясняется та поспешность и то единодушие, с которыми все города провинции и классы во Франции признали республику»...

Но Бакунин чувствовал, что его место не в Париже, а в России или, по крайней мере, на русской границе. И скоро он стал туда собираться.

«После двух или трех недель такого пьянства я несколько отрезвился и стал себя спрашивать: что ж я теперь буду делать? Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе; туда стремится теперь польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я, для того чтобы действовать в одно и то же время на русских и на поляков, для того чтобы не дать готовящейся войне сделаться войною Европы против России: «pour refouler ce peuple barbare dans les déserts de l' Asie» [3]), как они иногда выражались; и стараться, чтоб это не была война онемечившихся поляков против русского народа, но славянская война, война соединенных вольных славян против русского императора...

«Решившись ехать на русскую границу и не имея денег для этой поездки, я долго искал у приятелей и у знакомых и, не найдя ничего, скрепя сердце, решился прибегнуть к демократическим членам Провизорного Правительства [4]); вследствие этого написал и послал в четырех экземплярах, к Flocon, Louis Blanc, Albert и Ledru-Rollin [5]) короткую записку следующего содержания: «Изгнанный из Франции падшим правительством, возвратившись же в нее после февральской революции и теперь намереваясь ехать на русскую границу, в Герцогство Позанское, для того, чтоб действовать вместе с польскими патриотами, я

---

[1]) Тьер.

[2]) „Нам осталось только одно: дать о себе забыть".

[3]) „Чтоб отбросить этот варварский народ в пустыни Азии".

[4]) Временное Правительство.

[5]) Флокон, Луи Блан, Альбер и Ледрю-Ролен (члены Временного Правительства). С Луи Бланом и Флоконом Бакунин был хорошо знаком, с Ледрю-Роленом мало, с Альбером познакомился только после революции. Встречался в этот месяц Бакунин с Луи Бланом, Флоконом и Коссидьером.

нуждаюсь в деньгах и прошу демократических членов Провизорного Правительства дать мне 2000 франков *не даровою помощью, на которую не имею ни желания, ни права, но в виде займа*, обещая возвратить эту сумму, когда будет только возможно». Получив сию записку, Flocon [1]) просил меня к себе и сказал мне, что он и друзья его в Провизорном Правительстве готовы мне ссудить сию незначительную сумму и, если я потребую, более, но что прежде он должен переговорить с польскою Централизациею, ибо, находясь с нею в обязательных отношениях, он связан ею во всем, что хоть несколько касается Польши. Какого рода были эти переговоры и что польские демократы сказали обо мне Flocon, мне неизвестно; знаю только, что на другой день он мне предлагал гораздо большую сумму, что я взял у него 2000 франков, и что, прощаясь, он меня просил писать ему для его журнала «Réforme» из Германии и Польши.—Я писал ему два раза: из Кельна в самом начале, потом из Кельна в самом конце 1848 года при посылке своего «Воззвания к славянам». От него же не получал ни писем, ни поручений и не имел с ним никаких других ни прямых, ни косвенных отношений.—Денег не отдал потому, что жил в Германии в постоянной бедности».

Был ли тогда у Бакунина какой-нибудь определенный план работы, было ли у него точное соглашение с польскими революционерами? Сам он категорически это отрицает, и мы можем в том ему поверить, ибо это, помимо всего прочего, подтверждается всей его дальнейшей деятельностью.

«Я,— пишет Бакунин в «Исповеди»,— знал в это время толпу польских эмигрантов, и она меня знала, знала даже лучше, чем я мог знать каждого, потому что она была без числа, я же только один русский посреди их; слышал, что они говорили: их гасконады, фантазии, надежды,—слышал, одним словом, что всякий мог бы слышать, если б только захотел; но не участвовал в заседаниях и не был поверенным тайн действительных заговорщиков. В это время в Париже существовало только два серьезные польские общества: общество Чарторыйского и общество демократов. С партией Чарторыйского я никогда не имел сношений, его же видел всего один раз. В 1846 году я хотел было войти в связь с демократическою централизациею, но

---

[1]) Флокон.

попытка моя не имела успеха, а в Париже после февральской революции я не встретил даже ни одного из ее членов, так что я в это время гораздо менее знал о замыслах польских демократов, чем о бельгийских, итальянских, особенно же немецких современных предприятиях .., находясь в дружеской связи с Гервегом, который принимал в них деятельное участие. Я видел начало насчастного похода Гервега в Баден, знал его средства, его помощников, его вооруженье, обещанья провизорного правительства, число работников, вписавшихся в его полк, а также и его отношение с баденскими демократами: знал много потому, что был друг Гервега; но никаким образом не связывал ни себя, ни свои намерения с его намерениями».

Тогдашние интимные переживания Бакунина очень живописно изображены им в своей «Исповеди». Мы приводим это описание его собственными словами, ибо в передаче оно потеряло бы свою оргинальную красочность.

«Взяв деньги у Flocon (Флокона),— пишет Бакунин,— я пошел за паспортом к Коссидьеру, взял же у него не один, а два паспорта, на всякий случай, один на свое имя, другой же на мнимое, желая по возможности скрыть свое присутствие в Германии и в Познанском Герцогстве. Потом, отобедав у Гервега и взяв у него письма и поручѐнья к баденским демократам, сел в дилижанс и поехал на Страсбург. Если бы меня кто в дилижансе спросил о цели моей поездки и я бы захотел ответить ему, то между нами мог бы произойти следующий разговор:

«Зачем ты едешь?»— Еду бунтовать.—«Против кого?»— Против императора Николая.— «Каким образом?»— Еще сам хорошо не знаю.—«Куда ж ты едешь теперь?»— В Познанское Герцогство.—«Зачем именно туда?»—Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения и что оттуда легче действовать на Царство Польское, чем из Галиции.—«Какие у тебя средства?»—2000 франков.—«А надежды на средства?»—Никаких определенных, но авось найду.—«Есть знакомые и связи в Познанском Горцогстве?»—Исключая некоторых молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, я там никого не знаю.—«Есть рекомендательные письма?»—Ни одного.—«Как же ты без средств и один хочешь бороться с русским царем?»—Со мной революция, а в Позене надеюсь выйти из своего одиночества.—«Теперь все

немцы кричат против России, возносят поляков и собираются вместе с ними воевать против русского царства. Ты русский, неужели ты соединишься с ними?»—Сохрани Бог! лишь только немцы дерзнут поставить ногу на славянскую землю, я сделаюсь им непримиримым врагом; но я затем-то и поеду в Позен, чтоб всеми силами воспротивиться неестественному соединению поляков с немцами против России.—«Но поляки одни не в состоянии бороться с русскою силою?»—Одни нет, но в соединеньи с другими славянами, особенно же если мне удастся увлечь русских в Царстве Польском...—«На чем основаны твои надежды, есть у тебя с русскими связи?»—Никакой; надеюсь же на пропаганду и на могучий дух революции, овладевший ныне всем миром!»

Впоследствии Бакунин готов был сам смеяться над своими тогдашними неосновательными надеждами. Но не забудем, что, во-первых, такую готовность он из'являл в 1851 году, т.-е. после полного разгрома всей европейской революции, а, во-вторых, делал это в «Исповеди», которую писал по принуждению, в крепости, находясь во власти беспощадного палача Николая Романова. В тот же момент, когда он ехал из Парижа в Германию, он надеялся *на возможность всеобщего переворота, в том числе и в России*; во всяком случае он считал своим долгом сделать все возможное для ускорения этого переворота.

2. В РЕВОЛЮЦИОННОЙ ГЕРМАНИИ.

«Приехав во Франкфурт в первых числах апреля,—пишет Бакунин в «Исповеди»,— я нашел здесь бесчисленное множество немцев, собравшихся из целой Германии на Vor-Parlament [1]), познакомился почти со всеми демократами, отдал письма и поручения Гервега и стал наблюдать, стараясь найти смысл в немецком хаосе и хоть зародыш единства в сем новом вавилонском столпотворении. Во Франкфурте я пробыл около недели, был в Майнце, в Мангейме, в Гейдельберге, был свидетелем многих народных вооруженных и невооруженных собраний, посещал немецкие клубы, знал лично главных предводителей баденского восстания и о всех предприятиях, но ни в одном не принимал деятельного участия, хоть и симпатизировал им и желал им всякого успеха, оставаясь во всем, что касалось собственно до меня и до моих

---

[1]) Предварительный парламент.

собственных замыслов, в прежнем совершенном уединеньи. Потом, на дороге в Берлин, пробыл несколько дней в Кельне, ожидая там свои вещи из Брюсселя. Чем ближе к северу, тем холоднее становилось мне на душе; в Кельне мной овладела тоска невыразимая, как будто бы предчувствие будущей гибели [1]). Но ничто не могло остановить меня. На другой день моего приезда в Берлин я был арестован; сначала был принят за Гервега, а потом в наказание за то, что я ехал с двумя паспортами. Впрочем, меня продержали только день, а потом опознали, взяв с меня слово, что я не поеду в Познанское Герцогство и не останусь в Берлине, а поеду в Бреславль. Президент полиции Minutoli удержал у себя паспорт, написанный на мое собственное имя, но возвратил мне другой на имя небывалого Леонарда Неглинского, от себя же дал мне еще другой паспорт на имя Вольфа или Гофмана, не помню, желая, вероятно, чтоб я не терял привычки ездить с двумя паспортами. Таким образом, ничего другого почти не увидев в Берлине, кроме полицейского дома, я отправился далее и приехал в Бреславль в конце апреля или в самом начале мая» [2]).

Сохранился и другой документ, характеризующий тогдашнее настроение Бакунина. Это—его письмо, написанное из Кельна 14 или 17 апреля 1848 г. Анненкову.

«Любезный друг Анненков! Я так спешил и забегался в последний день в Париже, что не успел даже проститься с Вами и с Тургеневым. Вы не можете себе вообразить, как мне это было грустно, но в последнее время я был как сума-

---

[1]) То же чувство выражено в приводимом дальше письме Бакунина к Анненкову, написанном в Кельне.

[2]) На самом деле (чего Бакунин тогда не мог знать) он был арестован по требованию русского посольства в Пруссии. Повидимому уже в то время русское правительство располагало за границей хорошей агентурой. По крайней мере, судя по депеше русского посла в Берлине, Мейендорфа, от 10 апреля 1848 г. (имеющейся в „Деле“ Бакунина), Мейендорф заранее знал о предстоящем приезде Бакунина и предупредил об этом Минутоли. Бакунин прибыл в Берлин 9/21 апреля, был сейчас же вызван к Минутоли и на другой день выслан под конвоем в Кельн. Возможно, что относительно последнего Минутоли просто надул Мейендорфа, потому что ни о какой высылке под конвоем сам Бакунин не говорит. Что касается фальшивого паспорта, выданного ему полицей-президентом, то возможно, что Минутоли рассчитывал с его помощью лучше следить за передвижениями Бакунина по Германии.

сшедший, не мог ни прийти в себя, ни вздохнуть свободно; только здесь в Германии и, еще определеннее, здесь только в Кельне опомнился. Во Франкфурте я все еще был в лихорадке, здесь лихорадка невозможна, потому что, несмотря на мнимое, кажущееся движение, здесь царствует филистерское спокойствие. Странная вещь! Большая часть Германии в беспорядке, но без собственной революции, что не мешает немцам говорить, запивая рейнвейном: «Unsere Revolution» [1]). Впрочем, в Берлине, говорят, живее, а в Баден-Бадене без всякого сомнения уже дерутся. *Отсутствие всякой централизации теперь ощутительнее, чем когда-нибудь* [2]). В Ахене (6 часов езды от Кельна) вот уже два дня как работники отчаянно дерутся против bourgeoisie [3]), а здесь мертвое спокойствие; правда, что клубов и здесь много, где немец с гордостью пользуется безопасностью слова, но революции здесь решительно нет. Во Франкфурте было гораздо живее и опять будет живо в мае месяце, когда соберутся депутаты со всех сторон Германии. Я познакомился там, по крайней мере, с 50-ю живыми, энергичными и влиятельными демократами и подружился особенно с тремя: с Jacobi [4]) из Кенигсберга, с графом Рейхенбахом из Силезии и с отставным поручиком артиллерии Willich [5]), выгнанным из прусской службы за распространение коммунистических мыслей. Последнему вверено теперь начальство над соединенною революционерною армиею баденских крестьян и немецких выходцев из Парижа и Швейцарии, там и наш друг Гервег теперь действует; об нем я ничего не слышал... Беда, если им не удастся, потому что реакция, хотя и сломана, но обломки ее еще являются везде и грозят беспрестанно: теперь сильны не короли и князья, но bourgeoisie [6]), которая отчаянно отвергает республику, как

---

[1]) Наша революция.

[2]) Курсив мой. Тогда Бакунин признавал еще важность „централизации“ для успеха деятельности и не приписывал единоспасающего значения „анархии“ в приемах борьбы, как впоследствии в Интернационале.

[3]) Буржуазии.

[4]) Иоганн Якоби—видный прусский демократ, в 70-х годах примкнувший к социал-демократии.

[5]) Виллих—позже сделался в эмиграции членом „Союза Коммунистов“ („левого“ крыла); известно его столкновение с Марксом в 1851 г.

[6]) Буржуазия.—Дальше в оригинале: „которые отчаянно отвергают“ и т. д.

ведущую за собой социальные вопросы и торжество демократии. Впрочем, республика в Германии неминуема: старая власть везде рушится, везде лишена инициативы; анархия без революции — вот положение Германии, и только республика может стать на место убитого и обруганного Германского Союза и дать единство, этот идеал всякого немца, Германии. «Deutsche Einheit» [1])— вы не можете себе вообразить, сколько глупостей наговорено уже на эту тему. В продолжение этих 14 дней немец много говорил и хочет, чтобы все, что он говорил, было напечатано. *Что живо в Германии,—это начинающий двигаться пролетариат и крестьянское сословие* [2]); здесь будет еще революция страшная, настоящий потоп варваров; потоп этот смоет с лица земли развалины старого мира, и тогда доброму говорливому Bürger'у [3]), будет плохо, очень плохо. Симптомы этой революции уже везде показываются: денег мало, покупателей еще менее, фабрики останавливают работы, и работники без работы с каждым днем умножаются. Демократическая революция начнется здесь никак не позже двух или трех месяцев; теперь предводители ее организуют мало-помалу свои силы и стараются ввести единство в революционерное движение целой Германии; есть умные, дельные люди, и они действуют хорошо. Филистер же теперь занимается тремя вещами: во-первых, он готовится к выборам в Германский парламент, который должен открыться 1-го мая во Франкфурте и должен решить, какую форму правления будет иметь Германия: Republik oder Monarchie [4]), во-вторых, принимает всевозможные меры против народа, вооружается со страхом пополам и, в-третьих, высылает молодых людей против Дании для спасения немецких братьев in Schleswig und Holstein [5]); это Schleswig-Holstein'ское движение совершенно реакционерное; во главе его прусский король: «Es soll bewiesen werden, dass die Könige auch für die deutsche Herrlichkeit und für die Würde der deutschen grossen Nation sorgen»! [6]). И странная вещь! немец об'являет Шлезвиг немецкою землею, несмотря на то, что половина народонаселения там состоит из датчан; а в Позене, где немец поселился

---

[1]) „Немецкое единство".
[2]) Курсив мой.
[3]) Бюргеру, буржуа, мещанину.
[4]) „Республика или монархия".
[5]) Шлезвиг-Гольштиния.
[6]) „Нужно доказать, что и короли также заботятся о немецкой чести и о достоинстве великой германской нации".

насильственно, всякою неправдою и всеми подлыми средствами, филистер не хочет признать священного права поляков. Вообще позенские немцы ведут себя самым подлым образом, что вам, впрочем, должно быть известно из газет; для нас это хорошо.

«Теперь несколько слов обо мне. Я сижу здесь пять дней в ожидании своих вещей из Брюсселя, но вещи не пришли, и сегодня вечером отправляюсь в Берлин. В Берлине пробуду не более двух дней и оттуда прямо в Позен. Сказать ли вам, Анненков, чем ближе к северу, тем становится мне грустнее и страшнее: там темная сила русского»... (Конец письма не сохранился) [1]).

Мы видим из этого письма, что Бакунин сразу понял реакционную роль, которую играла в 1848 году буржуазия, и возлагал все свои надежды на пролетариат и революционное крестьянство. С другой стороны, он ожидал широкого движения в славянских странах, мечтал о славянской федерации и с этой точки зрения готов был даже приветствовать «подлое» отношение познанских немцев к полякам.

Четверть века спустя [2]) Бакунин дал следующую характеристику германской революции 1848 года и ее движущих сил:

«Все чувствовали ее приближение не только во Франции, в Италии, но даже в Германии; да, именно в Германии, которая в продолжение этого третьего периода, между 1840 и 1848 годами, успела набраться французского крамольного духа. Этому французскому настроению умов нисколько не мешал гегелианизм, который напротив очень любил выражать на французском языке, разумеется, с приличною тяжеловесностью и с немецким

---

[1]) В первом издании нашей книги мы привели это письмо в том виде, в каком оно (со многими ошибками, как и вышецитированное письмо к Анненкову) было напечатано в книге „Анненков и его друзья". После того нам удалось разыскать оригинал письма, и теперь оно печатается нами впервые в его подлинном виде.—Кстати, дата на письме поставлена рукою Анненкова. Означает ли она дату получения письма, неясно. Вернее, что нет. Притом нельзя разобрать, проставлена ли здесь цифра 14 или 17 (апреля). Мы склоняемся скорее к последней дате, судя по тому, что Бакунин, как видно из письма, собирался выехать из Кельна в день написания письма, а в Берлин он прибыл 21 апреля. Поэтому цифра 17 является более вероятной. Возможно даже, что письмо написано 19 апреля.

[2]) В „Государственности и Анархии", написанной в 1873 году. См. петерб. изд. 1918 г., стр. 244 и сл.

акцентом, свои отвлеченные революционерные выводы. Никогда Германия не читала так много французских книг, как в это время. Она, казалось, забыла собственную литературу. Зато литература французская, особенно же революционная, проникла всюду. История жирондистов Ламартина, сочинения Луи Блана и Мишле были переведены на немецкий язык вместе с последними романами. И немцы стали бредить героями великой революции и распределять между собою на будущее время роли: кто вообразил себя Дантоном или любезным Камиль Демуленом (der liebenswürdige Camille Desmoulins!), кто Робеспьером или Сен-Жюстом, кто, наконец, Маратом. Самим же собою почти не был никто, потому что для этого надо быть одаренным действительною природою. У немцев же все есть, и глубокомысленное мышление и возвышенные чувства, только нет природы, и если есть, то холопская...

«Все в Германии ждали если не социальной, то, по крайней мере, политической революции, от которой чаяли воскресения и обновления великого германского отечества, и в этом всеобщем ожидании, в этом хоре надежд и желаний, главная нота была патриотическая и государственная. Немцам стало обидно то ироническое удивление, с которым, говоря о них, как о народе ученом, глубокомысленном, англичане и французы отрицали в них всякую практическую способность и всякий смысл действительности. Поэтому все их желания и требования были устремлены, главным образом, к одной цели: к образованию единого и могучего пан-германского государства, в какой бы форме оно ни было, республиканской или монархической, лишь бы это государство было достаточно сильно, чтобы возбудить удивление и страх во всех соседних народах [1]).

---

[1]) Ср. то, что Бакунин пишет по этому поводу в „Кнуто-Германской Империи“ (изд. „Голоса Труда“, 1919 г., стр. 110): „Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала и не хотела свободы. Она живет в своем рабстве, спокойная и счастливая, как мышь в сыре, и хочет только, чтобы сыр был большим. С 1815 года до наших дней она хотела лишь одного. Но этого одного она хотела с настойчивой, *энергичной* и достойной более благородного об'екта страстью. Она хотела чувствовать себя под рукою могущественного господина, будь он жестокий и грубый деспот, лишь бы он мог дать, в награду за ее необходимое рабство, то, что она называет своим национальным величием, лишь бы он заставлял дрожать все народы, включая сюда и немецкий народ во имя германской цивилизации“.

«В 1848 г., вместе с обще-европейской революцией, наступил четвертый период, последний кризис германского либерализма, кризис, окончившийся его совершенным банкротством.

«Со времени плачевной победы, одержанной в 1525 г. соединенными силами феодализма, приближавшегося уже видимо к своему концу, и новейших государств, только что начавших образовываться в Германии, над громадным восстанием крестьян, победы, обрекшей окончательно всю Германию на продолжительное рабство под бюрократическо-государственным игом, в этой стране никогда еще не скоплялось столько горючего материала, столько революционных элементов, как накануне 1848 года. Неудовольствие, ожидание и желание переворота, за исключением высшей бюрократии и дворянского класса, было всеобщее, и чего не было в Германии ни после падения Наполеона, ни в двадцатых, ни в тридцатых годах, теперь среди самой буржуазии оказались не десятки, а многие сотни людей, называвших себя революционерами и имевших право называть себя этим именем, потому что, не довольствуясь литературным пустоцветом и риторическим праздноглагольствованием, были действительно готовы положить свою жизнь за свои убеждения».

Охарактеризовав фракции мелкобуржуазной, радикальной демократии, лишенные «коллективного инстинкта», коллективной воли и мысли, состоявшие из «индивидуальных революционеров без всякой почвы под ногами» и потому фатально осужденные на идейно-политическое подчинение либеральной партии крупной буржуазии, Бакунин указывает на народные силы тогдашней Германии.

«В Германии существовал тогда, как и теперь, революционный элемент еще более серьезный — это городской пролетариат; он доказал в Берлине, в Вене и во Франкфурте-на- Майне в 1848 г. и в 1849 г., в Дрездене, в Ганноверском Королевстве и в Баденском Герцогстве, что способен и готов к восстанию серьезному, лишь только находил сколько-нибудь толковое и честное предводительство. В Берлине нашелся даже элемент, которым славился до тех пор только один Париж, это уличный мальчишка—гамен, революционер и герой...

«Наконец, в Германии был еще элемент, которого ныне уже нет, это революционное крестьянство или, по крайней мере, способное сделаться революционным. В то время в большей половине Германии существовал еще остаток старого крепост-

ного права, как оно существует еще поныне в двух герцогствах Мекленбургских. В Австрии крепостное право преобладало вполне. Было несомненно, что немецкое крестьянство способно и готово к восстанию. Как в 1830 г. в Баварском Пфальце, так и в 1848 г. почти в целой Германии, едва только стало известным провозглашение Французской республики, все крестьянство зашевелилось и приняло сначала самое горячее, живое, деятельное участие в первых выборах депутатов в многочисленные революционные парламенты. Тогда немецкие мужики еще верили, что парламенты смогут и захотят что-нибудь для них сделать, и посылали в них своими представителями людей самых отчаянных, самых красных—насколько, разумеется, немецкий политический человек может быть отчаянным и красным. Вскоре, увидав, что от парламентов им не дождаться никакой пользы, мужики охладели; но вначале они были готовы на все, даже на поголовный бунт.

«В 1848 г., как и в 1830 г., немецкие либералы и радикалы больше всего боялись этого бунта...

«Решительное противодействие, которое было оказано немецкими радикалами попыткам крестьянского восстания в самом начале революции 1848 г., чуть ли не было главною причиною печального исхода этой революции.

«Она началась неслыханным рядом народных торжеств. В продолжение какого-нибудь месяца после парижских февральских дней были сметены с лица немецкой земли все государственные и правительственные учреждения и силы почти без всяких народных усилий. Едва в Париже восторжествовала народная революция, как обезумевшие от страха и от презрения к себе правительства стали падать в Германии одно за другим. Было, правда, нечто вроде военного сопротивления в Берлине и Вене, но они были так ничтожны, что об них и говорить нечего.

«Итак, революция победила в Германии почти без всякого кровопролития. Все оковы разбились и все преграды сломились сами собой. Немецкие революционеры могли сделать все. Что же они сделали?..

«Вожаки и политики демократической партии Германии... предпочитали бескровные и безопасные битвы в парламентах, которые барон Иелачич—хорватский бан и одно из орудий габсбурго-австрийской реакции—живописно прозвал «*заведениями для риторических упражнений*».

«Парламентов и учредительных собраний в Германии было тогда без счета. Между ними первым считалось национальное собрание во Франкфурте, которое должно было создать общую конституцию для целой Германии. Оно состояло приблизительно из 600 депутатов, представителей всей германской земли, выбранных прямо народом. Были также представители собственно немецких областей Австрийской империи; славяне же богемские и моравские отказались послать туда своих депутатов, к большому негодованию немецких патриотов, никак не могущих, а, главное, не хотящих понять, что Богемия и Моравия, по крайней мере насколько они населены славянами, вовсе не немецкие земли. Таким образом во Франкфурте собрался из всех концов Германии цвет немецкого патриотизма и либерализма, немецкого ума и немецкой учености. Все патриоты и революционеры двадцатых и тридцатых годов, имевшие счастье дожить до этого времени, все либеральные знаменитости сороковых годов встретились в этом верховном общегерманском парламенте. И вдруг, к общему изумлению, с самых первых дней оказалось, что, по крайней мере, три четверти депутатов, вышедших прямо из народного избирательства, реакционеры. И не только реакционеры, но политические шалуны, очень ученые, но чрезвычайно невинные.

«Они не на шутку вообразили, что им стоит только извлечь из своих мудрых голов конституцию для целой Германии и провозгласить ее во имя народа, чтобы все немецкие правительства тотчас подчинились ей. Они поверили обещаниям и клятвам немецких государей, как будто впродожение более, чем тридцати лет, от 1815 года до 1848 года, не испытали и на самих себе, и на своих товарищах их нахального и систематического вероломства...

«В начале революции несколько изолированных голосов, правда, требовали, чтобы на всей немецкой земле приостановлены были платежи податей и вообще исполнение всяких повинностей натуральных и денежных, пока не будет водворена и не установлена в ней новая конституция. Против такого предложения, встретившего много сомнений в самом народе, особливо в крестьянах, поднялся грозный, единодушный хор порицаний со стороны всего буржуазного мира, не только либералов, но и самых красных революционеров и радикалов...

«Прусские радикалы совершенно ушли в парламентскую игру и потеряли смысл для всего остального. Они серьезно по-

верили в силу парламентских решений, и самые умные между ними думали, что победы, одерживаемые ими в парламентских прениях, решают судьбу Пруссии и Германии...

«Июльские дни, победа военного диктатора и республиканского генерала Кавеньяка над парижским пролетариатом, должны были бы открыть глаза демократам Германии. Июньская катастрофа была не только несчастием для парижских работников, но первым и, можно сказать, решительным поражением для революции в Европе. Реакционеры всех стран скорее и лучше поняли трагическое и столь выгодное для них значение июньских дней, чем революционеры, и в особенности немецкие...

«Мудрено ли, что народ к ним охладел совершенно, потерял к ним и к их делу всякое доверие, так что в ноябре, когда прусский король вернул свою гвардию в Берлин, назначил первым министром генерала Бранденбурга с явною целью полнейшей реакции, декретировал распущение конституанты и даровал Пруссии свою собственную конституцию, разумеется, совершенно реакционерную, те же самые берлинские работники, которые в марте так единодушно встали и так храбро дрались, что принудили гвардию удалиться из Берлина, теперь не пошевелились, даже не пикнули и равнодушно смотрели, как:

«Демократов гнали солдаты».

«Этим собственно кончилась в действительности трагикомедия германской революции. Еще прежде, а именно в октябре, князь Виндишгрец восстановил порядок в Вене, правда, не без значительного кровопролития,—вообще австрийские революционеры оказались революционнее прусских.

«Что же делало в это время национальное собрание во Франкфурте? В конце 1848 г. оно вотировало, наконец, основные права и новую пан-германскую конституцию и предложило прусскому королю императорскую корону. Но правительства австрийское, прусское, баварское, ганноверское и саксонское отвергли основные права и новоиспеченную конституцию, а прусский король отказался принять императорскую корону, а затем отозвал своих депутатов.

«Реакция торжествовала в целой Германии. Революционная партия, взявшись поздно за ум, решилась организовать всеобщее восстание к весне 1849 года. В мае потухающая революция бросила последнее пламя в Саксонию, в баварский Пфальц и в Баден. Это пламя было везде задушено прусскими солдатами, вос-

становившими, после недолгой борьбы, впрочем достаточно кровопролитной, старый порядок в целой Германии, при чем принц прусский, нынешний император и король Вильгельм I, командовавший войсками в Бадене, не пропустил случая повесить нескольких бунтовщиков.

«Таков был печальный конец единственной и, надеюсь, последней немецкой революции»[1]).

Здесь интересно коснуться политической программы и социальных стремлений Бакунина в рассматриваемую эпоху. Но по этому вопросу у нас имеются слишком отрывочные указания, почерпнутые отчасти из писем и воззваний самого Бакунина, отчасти из сообщений его друзей и не дающие возможности восстановить полную картину его тогдашней идейной физиономии. Судить о его программе по его тогдашней деятельности довольно трудно, так как, по самому своему положению, не Бакунин мог направлять события, развертывавшиеся помимо его воли и в обстановке, для него в значительной мере чуждой, а сам принужден был итти за ними и приспособляться к ним. И во Франции, и в Германии, и среди славян он наталкивался на сложившиеся отношения и партии, оставаясь среди них в значительной степени если не посторонним наблюдателем (этого темперамент Бакунина не допускал), то со стороны пришедшим человеком, советчиком, агитатором, не имевшим прочных корней в массах и зачастую даже не понимавшим действительного смысла развертывавшихся перед ним событий, в которых по воле истории ему пришлось принимать—иногда довольно активное—участие [2]).

---

[1]) Бакунин несколько ошибся. Но если бы он дожил до революции 1918 года, он, глядя на деяния социал-предателей Шейдеман—Носке и К⁰, нашел бы новую пищу для своих невыгодных заключений о характере немецкой нации. И снова бы ошибся, ибо поторопился бы своими заключениями до третьей революции, которую непременно произведут германские коммунисты.

[2]) В „Исповеди“ Бакунин рассказывает про свою жизнь в Бреславле: „Чаще (чем среди поляков.—*Ю. С.*) бывал между немцами, посещал их демократический клуб и пользовался между ними в то время такою популярностью, что единственно только моим стараньем Arnold Ruge (Руге), мой старый приятель, был избран Бреславлем во Франкфуртское национальное собрание. Немцы смешной, но добрый народ, я с ними почти всегда умел ладить, исключая, впрочем, литераторов-коммунистов.—В это время немцы играли в политику и слушали меня как оракула (?). Заговоров и серьезных предприятий между ними

Насколько можно судить по дошедшим до нас отрывочным сведениям, Бакунин уже в то время склонялся к анархизму. Нельзя, конечно, говорить о вполне сложившейся к тому моменту в его голове насквозь продуманной и в деталях разработанной анархической программе (подобно, например, той, которую он выдвинул в конце 60-х годов). Можно говорить лишь об известном устремлении, идейном тяготении, смутной формулировке общего направления. В рассматриваемый период Бакунин сам шел ощупью, осматриваясь, присматриваясь, ориентируясь в сложном переплете для него самого неясных событий, приспособляясь к развертывавшейся борьбе, которая часто шла по путям, им не предусмотренным и даже ему несимпатичным. Но насколько в этом запутанном потоке лиц и фактов можно выделить личные стремления и симпатии Бакунина, приходится сказать, что в общем эти стремления и симпатии носили характер, близкий к его последующим анархическим взглядам и позволявший отчасти предугадывать эти последние.

Как тень, блуждал Бакунин в середине 40-х годов среди калейдоскопа быстро мелькавших перед ним людей и событий, никем недовольный, ничем неудовлетворенный, не нашедший себя и смутно ждавший великих потрясений, всеочищающего огня революционного пожара. Мы видели в части II, как он ждал этого пожара, который должен был охватить весь «земной шар», для того, чтобы Бакунин мог зажить полной жизнью и почувствовать себя «самим собою» (письмо к Гервегам от 6 сентября 1847 г.). А через полтора месяца, выражая свое недовольство жизнью и неудовлетворенность окружающими, он пишет Эмме Гервег: «Мне иногда кажется, что пресловутый шведский доктор уже заморозил меня вплоть до лучших времен, настолько часто меня покидает всякое чувство и сознание жизни». Ему надоели «бесплодное воодушевление, платоническая любовь к свободе, оторванное от жизни умствование и все эти симпатии и порывы, которые могут найти осуществление где-нибудь в Турции, через 200—300 лет, надоела эта приторная музыка и набившая оскомину песня» (письмо из Парижа от

не было, а шуму, песней, потребленья пива и хвастливой болтовни много: все делалось и говорилось на улице, явно; не было ни законов, ни начальства: полная свобода, и каждый вечер, как бы для забавы, маленькое возмущенье. Клубы же их были ничто иное, как упражнение в красноречии или, лучше сказать, в пусторечьи".

18 октября 1847 г.). Правда, не следует принимать буквально этих строк в интимной дружеской переписке, тем более, что в них ясно сквозит добродушная насмешка над самим собой и над бесплодным времяпрепровождением эмигрантских кружков, шатаньем по кафе, бесконечными осточертевшими разговорами. Но тем не менее настроение Бакунина накануне февральской революции передано в них, вероятно, довольно верно именно потому, что это сказано в интимной переписке, где человек чаще всего выступает без маски и незастегнутый на все пуговицы официальных деклараций.

Бакунин ждал близкого революционного взрыва, который на этот раз должен был захватить не только Западную Европу, как это бывало до тех пор, но и Европу Центральную, а через посредство славянских народов восточной Германии и Австро-Венгрии; а также—и главным образом—через посредство Польши должен был распространиться и на Россию. Какой же характер должна была, по мысли и чаяниям Бакунина, носить эта революция, если не всемирная («весь земной шар»), то, по крайней мере, общеевропейская? Будет ли эта старая революция по буржуазному образцу, которая поставит границы абсолютизму, внесет некоторый порядок в государственное управление, ограничится провозглашением формальных свобод и прав гражданина, оставив неприкосновенным весь уклад буржуазной культуры и буржуазного государства?

Нет, не так представлял себе желательный ход революции Бакунин. Влияние Прудона было в нем очень сильно [1]), притом Прудона, понятого не консервативно и не по-мещански, как настроен был сам французский анархист, а революционно и по-бунтарски. Признавая своим миром «мир разрушения» (Жюль Элизар вспомнил свою знаменитую фразу!) [2]), Бакунин ждал от

[1]) В письме к Гервегу от середины 1848 года, о котором мы будем еще говорить не раз, Бакунин, излагая свои анархические стремления, вдруг заговаривает о Прудоне и называет его „единственным в Париже, единственным в политическо-литературном мире человеком, который что-нибудь понимает“. Это сильно напоминает герценовское выражение о Прудоне, как „единственно свободном французе“, сказанное, примерно, годом позже.

[2]) „Страсть к разрушению“ господствовала в нем, впрочем, над „страстью к созиданию“. В его письме к родным из Дрездена от 8—20 ноября 1842 г. встречается характерная в этом отношении фраза: „Вы не знаете, сколько радости заключается в разрушении“. В письме от 29 января—10 февраля 1843 г. брату Павлу он говорит: „Я из моих

революции конца буржуазного общества, полного крушения буржуазной цивилизации, совершенного уничтожения государства и всех связанных с ним учреждений. Из сообщений А. Руге, встречавшегося с Бакуниным в первые дни революции после приезда последнего в Германию, видно, что Бакунин уже и тогда не придавал серьезного значения парламентской деятельности, а возлагал все надежды на непосредственную революционную борьбу. Еще интереснее в этом отношении следующее место из упомянутого письма его к Гервегу: «Я, впрочем, очень мало интересуюсь парламентскими дебатами; эпоха парламентской жизни, ассамблей, учредилок, национальных собраний и т. п. уже прошла. И если задать себе прямо вопрос, то каждый должен признать, что в сущности он уже не чувствует никакого интереса или чувствует лишь принужденный, воображаемый интерес к этим старым формам. *Я не верю в конституции и в законы*, самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить. Нам нужно нечто иное: порыв и жизнь и новый, беззаконный и потому свободный мир».

Это звучит уже в достаточной мере по-анархически. Но поставленный в обстановку буржуазной революции (ведь только во Франции, где Бакунин в революционный период побывал мимоходом, пробивалась уже сильная социалистическая струя), очутившись посреди мелкобуржуазной Германии и еще более мелкобуржуазных и отсталых, по преимуществу крестьянских, славянских народов, Бакунин не мог последовательно проводить свою точку зрения [1]). Даже по вопросу о парламентаризме у него замечались колебания, как рассказывает тот же А. Руге [2]),

---

размышлений и особенно из моего жизненного опыта знаю, что отрицание составляет единственную пищу и основное условие всякой живой жизни". А в письме к Гервегу от августа 1848 года Бакунин прямо говорит, что „наш мир—мир разрушения". Словом, как он заметил впоследствии, в 1848 году (да и раньше и позже) он больше увлекался отрицательной, чем положительной стороной революции. Это было вообще в характере Бакунина.

[1]) Впрочем, анархические устремления Бакунина, с другой стороны, как раз и питались инстинктивными анархическими стремлениями крестьянства, с ненавистью относящегося к полицейскому и буржуазному государству.

[2]) Руге рассказывает в своих воспоминаниях, что Бакунин способствовал его избранию во Франкфуртский парламент. Приведенная нами выше (в примечании) выдержка из „Исповеди" Бакунина подтверждает слова Руге.

как указывает он сам в том же письме к Гервегу, где, вслед за общим теоретическим осуждением буржуазного парламентаризма, как уже пройденной ступени развития, Бакунин выражает интерес к дебатам венского национального собрания, мотивируя это тем соображением, что по ним можно себе составить понятие о состоянии этой мало известной империи (мотив, как видим, довольно серьезный).

Насколько смутны и невыяснены были тогдашние взгляды Бакунина, видно из того, что в его уме анархия об'единялась с централизацией и диктатурой, притом не непременно диктатурой определенного класса, а даже диктатурой единоличної, близкой поэтому к деспотии [1]). Ниже, когда мы будем говорить о его чешских предприятиях, мы изложим его план, во многом приближающийся к основам организации советской власти. Сейчас же мы приведем из «Исповеди» изложение его тогдашних взглядов, показывающее, что в тот момент у него далеко еще не было законченного анархического мировоззрения.

«*Я желал республики*,—пишет Бакунин о своих планах в 1848 году.—Но какой республики? *Не парламентской* [2]). Представительное правление, конституционная форма, парламентская аристократия и так называемый экилибр [3]) властей, в котором все действующие силы так хитро расположены, что ни одна действовать не может, одним словом, весь этот узкий, хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участья, ни даже моего уважения; и в это время я стал презирать его еще более, видя плоды парламентских форм во Франции, в Германии, даже на славянском конгрессе, особенно в польском отделении, где поляки так же играли в парламент, как немцы играли в революцию. К тому же русский парламент, да и польский также, был бы только составлен из дворян,— в русский могло бы еще войти купечество,—огромная же масса народа, тот настоящий народ, оплот и сила России, в котором заключается ее жизнь и вся ее будущность, народ, думал я, остался бы без представителей и был бы притеснен и обижен

---

[1]) Как увидим дальше, такая, на первый взгляд противоестественная, комбинация проявлялась в его воззрениях и в эпоху зрелого анархизма (в братствах и в Альянсе).

[2]) Курсив мой.

[3]) Равновесие.

тем же самым дворянством, которое теснит его ныне. Я думаю, что в России более, чем где, будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышеньем и просвещеньем народных масс, — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатаньем книг свободного содержания, но без свободы книгоиздательства; окруженная единомысящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным действием, но не ограниченная никем и ничем. Я говорил себе, что вся разница между таким диктаторством и между монархическою властью будет состоять в том, что первое, по духу своего установления, должно стремиться к тому, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость народа; в то время как монархическая власть должна, напротив, стараться о том, чтоб существование ее не переставало бы никогда быть необходимым, и потому должна содержать своих подданных в неизменяемом детстве».

Эти именно взгляды, державшиеся в Бакунине долго, побудили его в Сибири в 50-х годах прочить Муравьева-Амурского в диктаторы будущей «вольной славянской федерации» и еще позже мечтать о диктатуре даже в разгар своей анархической деятельности в Интернационале.

Но сила Бакунина была уже и тогда не в теоретических исследованиях и рассуждениях и даже не столько в организационной работе, сколько в революционной агитации и в чисто разрушительной, боевой работе, расчищающей пути для дальнейшего творчества. Что будет после разрушения старого мира, если оно удастся, этим Бакунин не очень интересовался; для него важно было убрать с дороги старые преграды, мешавшие проявлению народных стремлений, а последние, как он думал, были по существу анти-государственными. И весьма характерно, что установления «нового беззаконного мира» он ждал не столько от пролетариата, сколько от крестьянства, нелюбовь которого к государству и его учреждениям была ему известна. Вот почему после неудачи первых шагов буржуазной революции он связывал свои главные надежды с «анархической крестьянской революцией», апеллируя для этого к так называемым «дурным страстям»—дурным с буржуазной точки зрения, хорошим, революционным, творческим—с точки зрения Бакунина (см. ниже выдержки из его письма).

Как он сам писал впоследствии, Бакунин был в то время больше увлечен отрицательной стороной революции, чем организацией нового общества [1]). Но *прежде всего его интересовало освобождение славянских народов*. Хотя уже и в то время Бакунин был интернационалистом и по связям, и по симпатиям, но славянский вопрос как тогда, так и вплоть до второй половины 60-х годов был ближе всего его сердцу. Он мечтал о разрушении российской, прусской, австрийской и турецкой монархий, на развалинах которых должна была вырасти великая вольная славянская федерация, при чем Бакунин был уверен, что эта федерация будет носить анархический или близкий к тому характер. Его тянуло на восток, в славянскую среду, поближе к России, участие же его в революциях французской и германской было для него побочным, случайным явлением и имело место постольку, поскольку оно так или иначе связано было с работой для славянского дела.

Но в глубине души он, видимо, сам не очень-то верил в успех своего предприятия и в осуществимость славянской федерации, особенно же в возможность революции в России. Вероятно, этим смутным предчувствием об'ясняются его заключительные слова в цитированном выше письме его к Анненкову, а также аналогичное признание в «Исповеди». По мере приближения к русской границе сомнение, грусть и страх (не за себя, конечно, а за дорогое дело) закрадывались в его душу.

В этом же письме Бакунин упоминает про известную инсуррекционную попытку немецкого «демократического легиона», сформированного во Франции при участии Гервега. Меринг в своей биографии К. Маркса рассказывает об этом инциденте следующим образом: «Уже 6 марта Маркс мог обнаружить свою выдающуюся проницательность, выступив на многолюдном собра-

---

[1]) Поклонник Бакунина Ф. Брупбахер говорит, что в рассматриваемую эпоху, как часто и впоследствии, в Бакунине философ-идеалист брал верх над политиком. „Часто, — замечает он, — невольно напрашивается сравнение Бакунина с Дон-Кихотом. Но кого по существу человечество больше любит, Дон-Кихота или политика Санхо-Пансо? Да и самому политику разве не нужна близость к психологии Дон-Кихота, хотя бы для того, чтобы быть политиком?“ (Fritz Brupbacher — „Marx und Bakunin“, 1913, стр. 32—33). Еще более любопытно то, что в „Исповеди“, как увидим ниже, Бакунин сам сравнивает себя с Дон-Кихотом (правда, в припадке „покаяния“). Содержания „Исповеди“ Брупбахер, конечно, не мог знать.

нии проживавших в Париже немцев против авантюристического плана вооруженного вторжения в Германию в целях ее революционизирования. Придуман был этот план двуличным Борнштедтом [1]), которому, к сожалению, удалось склонить на свою сторону Гервега. Бакунин, который впоследствии в этом раскаивался, тоже высказался за эту затею. Временное Правительство поддерживало этот план не из революционного воодушевления, а с задней мыслью отделаться от иностранных рабочих в виду царившей безработицы; оно согласилось доставить им походные квартиры и добавочное жалование по 50 сантимов в день до границы. Сам Гервег не обманывался насчет «эгоистического мотива (Врем. Правительства), желавшего сбыть с рук несколько тысяч ремесленников, оказывавших конкуренцию французам», но по присущей ему политической недальновидности довел авантюру до жалкого конца при Нидердоссенбахе» [2]).

Таким образом, Маркс и его друзья решительно высказались против авантюры «демократического легиона». Они рекомендовали членам «Союза Коммунистов» не принимать в ней никакого участия, а советовали им возвращаться в Германию поодиночке и там стараться стать во главе местного движения, что с большой пользой для дела и было выполнено [3]). По этому поводу Маркс резко нападал на Гервега, а Бакунин выступил в защиту своего друга, что повело к разрыву между ними. Впоследствии (в 1871 г.) Бакунин писал: «В этом вопросе, как я теперь думаю и откровенно это высказываю, правы были Маркс и Энгельс: они лучше понимали общее положение дел. Но они нападали на Гервега с развязностью, присущей их нападкам, а я горячо защищал против них отсутствующего в Кельне. Отсюда и наша ссора».

Дело, очевидно, было в том, что Маркс и Энгельс уже тогда определенно высказывались против всяких необдуманных

[1]) Как мы указывали, этот Борнштедт был немецким полицейским агентом.

[2]) Franz Mehring—„Karl Marx". Leipzig, 1918, стр. 159—160. — Авантюра кончилась полным разгромом легиона и бегством Гервега.

[3]) Всюду, где революционное и рабочее движение в тогдашней Германии принимало мало-мальски серьезный характер, во главе его большей частью стояли члены „Союза Коммунистов", который оказался прекрасной подготовительной школой революции (известна роль Шаппера в Нассау, Стефана Борна в Берлине и Дрездене, Вольфа в Бреславле, Маркса и Энгельса на Рейне и пр.).

вспышек и авантюр, тогда как Бакунин в силу своей бунтарской природы и смутности своих воззрений готов был, очертя голову, броситься во всякое стихийное возмущение. По этому поводу существует интересный анекдот. Где-то в Богемии, кажется, Бакунин натолкнулся на толпу крестьян, осаждавших баронский замок, но не бывших в состоянии овладеть им; Бакунин соскочил с тележки, построил крестьян в боевой порядок, дал им нужные наставления, и, когда он снова влез на тележку, чтобы ехать дальше, замок уже пылал со всех четырех сторон [1]).

В Берлине Бакунин оставался лишь в течение нескольких дней: там, как мы знаем, он был арестован и получил приказ выехать из города. 23 апреля он выехал оттуда в Лейпциг, где снова увиделся с Арнольдом Руге. Последний находился на митинге, где должны были обсуждаться кандидатуры в германский предварительный парламент, в том числе и его собственная. Когда ему передали карточку с именем Бакунина, он вышел на улицу и нашел его в коляске.

— Садись сюда,—закричал он,—брось своих филистеров и поезжай со мной в Hôtel de Pologne [2]). Я тебе имею рассказать бесконечно много.

Руге просил дать ему пару часов, опасаясь, что в его отсутствие его вычеркнут из списка кандидатов. Но Бакунин настаивал:

— Пойдем, старый друг, мы выпьем бутылку шампанского, а тех оставим выбирать, кого они хотят. Ничего из этого не выйдет—одним обществом упражнения в красноречии больше, и больше ничего.

Руге дал себя уговорить, и опасение его оправдалось: кандидатура его была похерена.

Из беседы выяснилось, что Бакунин был недоволен французской революцией и предвидел скорое наступление реакции. Он смотрел на движение с широкой интернационалистической точки зрения и считал большим промахом Франции то, что она

---

[1]) Герцен говорит, что это случилось в Шварцвальде. „По дороге (из Парижа в славянские земли Австрии) в Шварцвальде он (Бакунин) встретился с осаждавшими замок повстанцами-крестьянами. Бакунин вспоминает о своем звании артиллериста, обучает их необходимым для взятия замка военным действиям, дает им инструкции и снова садится в экипаж, чтобы продолжать путешествие“ (цит. письмо к Мишле. Соч. Герцена, т. VI, стр. 481).

[2]) „Польская гостиница“.

не оказала поддержки Испании и Италии; о немецкой же и славянской революции в Париже, по его словам, не имели никакого понятия, и ему с большим трудом удалось получить средства на агитацию в России (речь идет, очевидно, о тех 2.000 франков, которые выдал Бакунину Флокон). Теперь он направлялся в Бреславль, чтобы *быть поближе к русской границе*. Во время беседы Руге узнал о провале своей кандидатуры, и, когда упрекнул в этом Бакунина, тот утешал его: «Ничего, когда пойдет наша славянская революция, мы тебя вознаградим за неблагодарность этих саксонских филистеров». Они провели в разговоре время до глубокой ночи, и всякий раз, когда Руге собирался уходить, Бакунин удерживал его, восклицая: «Руге, ты знаешь, что утрачено во мгновение, того никакая вечность не возвратит» [1]).

Из Лейпцига Бакунин на другой день уехал в Бреславль, который он намеревался сделать своей генеральной квартирой в деле польско-русского и вообще славянского движения. В России он возлагал особенные надежды на разночинную интеллигенцию и в частности на семинаристов [2]). Проживая в Бреславле, Бакунин завязал многочисленные знакомства и старался сгруппировать вокруг себя славянских демократов, в том числе русских и чехов. Попытки его сблизиться с польскими демократами снова не удались—и опять-таки вследствие того недоверия, которое он им внушал. Получается такое впечатление, *что чем сильнее Бакунин старался с ними сойтись, тем больше они его подозревали.*

«В Бреславле,—пишет Бакунин в «Исповеди»,—я пробыл безвыездно до самого славянского конгресса, т.-е. до конца мая, почти месяц. Первым моим делом было знакомство с бреславскими демократами; вторым же—отыскивать поляков, с которыми бы мог соединиться. Первое было легко, а второе не только что трудно, но оказалось решительно невозможным. В это время в Бреславле с'ехалось много поляков из Галиции, из Кракова, из Герцогства Познанского, наконец, эмигранты из Парижа и Лондона. Это было нечто вроде Польского Кон-

---

[1]) Кстати, Бакунин, при всех своих анархических симпатиях, сильно интересовался кандидатурой Руге в Бреславле и даже, как мы видели, сильно помогал его избранию (Ruge—„Briefwechsel“, т. II, 49).

[2]) Иначе нельзя понимать тех Popensöhne (поповичей), о которых говорит Руге, передавая слова Бакунина.

гресса: Конгресс сей, сколько мне, по крайне мере известно, не имел важных результатов, я не присутствовал в его заседаниях, но слышал, что было много шума, сильная распря и разногласия провинций и партий, вследствие чего все поляки раз'ехались, не положив ничего существенного. Мое положение между ними было с самого начала тяжелое и странное: все знали меня, были со мной очень любезны, говорили мне тьму комплиментов; но я чувствовал себя между ними чужим; чем слаще были слова их, тем холоднее становилось мне на сердце, и ни я с ними, ни они со мною не могли сойтиться. К тому же в это время, *вторично и сильнее, чем в первый раз, пронесся между ними слух о моем мнимом предательстве; более всех верили этому слуху и распространяли его эмигранты, особенно же члены Демократического Общества* [1]). Они потом, гораздо позже, извинялись, складывая всю вину на старого болтуна графа Ледуховского, которого будто бы предостерег Lamartine [2]), а он поспешил предостеречь всех польских демократов. Поляки, видимо, ко мне охладели, и я, потеряв наконец терпение, стал от них удаляться, так что до Пражского Конгресса не имел с ними никаких сношений, виделся же только с немногими без политической цели» [3]).

Неудачи польских движений в Познани и Кракове заставили Бакунина на время стушеваться. Может быть, потому, что он был в Западной Европе все-таки по преимуществу посторонним зрителем и таким образом, при всем своем энтузиазме, мог рассуждать спокойнее и замечать то, что ускользало от внимания непосредственных участников движения, Бакунин уже в апреле—мае 1848 года почувствовал, что революция как будто начинает вступать в критический период. Неудача высту-

---

[1]) Об этом факте Бакунин упоминает и в своем письме из Кенигштейнской крепости к своему адвокату Отто от 17 марта 1850 года (см. это письмо в четвертой части этого тома).

[2]) Ламартин, член французского Временного Правительства.

[3]) Курсив мой. Снова и снова обращаем внимание читателей на источник порочащих слухов о Бакунине. Эти слухи шли из среды *польской* эмиграции и в частности из ее *демократического* (т.-е. особенно враждебного царскому правительству) крыла. Это важно для правильной оценки анархической легенды о том, будто первоисточником этих слухов были немецкие коммунисты и особенно группа Маркса, якобы ненавидевшие Бакунина за его *славянские* симпатии и за вражду к германизму.

плений крайних левых во Франции, особенно неуспех манифестации 15 мая, сильно поразили его, показав, что Париж, этот очаг и вдохновитель европейской революции, начинает уставать. Так, по крайней мере, он рассказывает в своей «Исповеди». И если он не терял окончательно надежды, то лишь потому, что рассчитывал еще на *движение славянских народов, которое, по его мнению, могло дать новый толчок замиравшей европейской революции.*

«В продолжение всего мая,—пишет он,—я оставался в полном бездействии, скучал, тосковал и ждал удобного часа. Унынию моему немало способствовали также и тогдашние политические обстоятельства: неудачное восстание Познанского Герцогства, хоть и постыдное для прусского войска, изгнание поляков (эмигрантов) из Кракова и вскоре потом из Пруссии, совершенное кораблекрушение баденских демократов, наконец, первое поражение демократов в Париже были явными предзнаменованиями тогда уже начавшегося революционерного отлива. Немцы этого не видели и не понимали, но я понимал и в первый раз усумнился в успехе. Наконец, стали говорить о славянском конгрессе; я решился ехать в Прагу, надеясь найти там архимедовскую точку опоры для действия».

3. БАКУНИН И СЛАВЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.

Революция 1848 года дала сильный толчок развитию национального движения среди всех народов. Она, как говорит Маркс, «разом пробудила во всех угнетенных нациях притязание на самостоятельное существование и на право самостоятельно устраивать свои собственные дела» [1]).

Другими словами, эти угнетенные народы (преимущественно славянские) начали добиваться права на самоопределение [2]).

---

[1]) Маркс—„Революция и контрреволюция в Германии“. См. Собрание исторических работ. С.-Петерб., 1906 г., стр. 327 и сл. (работа эта, как известно, принадлежит собственно Ф. Энгельсу).

[2]) Итальянцы находились в другом положении. В то время, как славянские народы (кроме русских) были тогда порабощены иными нациями целиком (отчасти Германией, главным образом Австрией, Венгрией и Турцией), итальянцы лишь частично подверглись завоеванию со стороны Австрии. При первых шагах революции в Ломбардии началось восстание против австрийцев, поддержанное другими итальянскими государствами.

Это относится, главным образом, к таким сравнительно развитым национальностям, как *поляки*, у которых носителем идеи национального освобождения было дворянство, и *чехи*, у которых эту роль играло отчасти среднее дворянство, отчасти нарождавшаяся буржуазия, особенно мелкая, ремесленники и интеллигенты. Другие славянские народы, по преимуществу крестьянские, как словаки, словенцы, хорваты, сербы, стояли еще на слишком низкой ступени развития. У них национальное чувство выражалось, главным образом, в ненависти к непосредственному угнетателю—помещику и отчасти чиновнику—и связано было с холопской преданностью монарху, т.-е. в Австрии—династии Габсбургов. Видя врага в немецком буржуа, в венгерском магнате, которые в 1848 году стояли во главе революционного движения против самодержавной монархии, эти отсталые крестьянские массы сыграли вольно или невольно крайне реакционную роль и помогли абсолютизму справиться с революцией.

Австрийские демократы понимали, какую опасность славяне представляли для революции. Эту опасность они усматривали в возможности *союза между реакционным двором и отсталыми славянскими массами*—угроза, которая в последствии и оправдалась на деле. Но немецкая буржуазия не нашла общего языка с этими массами. Носительница идеи великодержавия германской нации, она с презрением относилась к славянским народам, считала их самой судьбой предназначенными для германизации и цивилизирования их немецкими культуртрегерами, третировала их, называла их языки «звериными звуками» и высокомерно отвергала даже самые законные их требования. Фразы «о великом германском отечестве» в устах этих людей звучали прямым вызовом по адресу славян. Даже революционные немцы с презрением относились к чехам, самой культурной тогда славянской нации, и готовы были пером поэта Грильпарцера благословлять шпагу генерала Радецкого, которая в то время терзала тело итальянцев, а через некоторое время положила конец самой австрийской революции.

Националистические страсти, которые вообще являются плохим советчиком, толкнули тогда на реакционные шаги не одних славян, но и тех немецких демократов, которые потом с пеной у рта—и основательно—обвиняли славян в предательстве революции. Маркс, также не совсем беспристрастно относившийся к этому вопросу, констатирует в своей «Революции и

контрреволюции в Германии» [1]), что «те самые люди, которые в Вене дрались на баррикадах, в течение первых шести месяцев 1848 года все еще охваченные энтузиазмом, поспешили в армию, которая сражалась против итальянских патриотов». Правда, он спешит прибавить, что «такая печальная спутанность идей продолжалась недолго», но, во-первых, факт остается фактом, а во-вторых, если славянские народы сыграли реакционную роль, то как угнетенные, пытавшиеся стряхнуть с себя иго, тогда как немецкие демократы, шедшие давить поляков в Познани, датчан в Шлезвиг-Гольштинии, итальянцев в Ломбардии, старались удержать другие народы в порабощении. Именно немецкая буржуазия и в Пруссии, и в Австрии помогала войскам своих монархов (в Познани и в Италии) одержать свои первые победы над угнетенными народностями после поражения, понесенного ими во время революционных боев, и таким образом способствовала тому, что дисциплина в войсках была восстановлена, что офицерская каста вернула себе власть и использовала ее для разгрома националистически настроенных демократов и вместе с ними всей революции.

И не напрасно историк австрийской революции М. Бах в результате анализа национальных конфликтов, нанесших смертельный удар революции, принужден, на ряду со славянами, признать *и немцев* (мы можем прибавить сюда *и венгров*) *ответственными за неудачу революционного движения.* «На национальную отсталость немцев,—говорит он,—тоже падает своя доля вины за пагубное действие национальных противоречий на революцию» [2]).

С первых же дней революции стало ясно, что германская буржуазия в первую голову стремится к созданию мощной немецкой империи завоевательного характера. Эта тенденция естественно должна была породить сильнейшую тревогу и возбудить оппозицию среди буржуазных групп славянских наций, чувствовавших, что с образованием такой великой единой Германии положение славянского меньшинства в ней еще ухуд-

---

[1]) Повторяем, работа эта (целиком или в большей своей части) написана Ф. Энгельсом, но печаталась (и до сих пор печатается) за подписью Маркса, который таким образом также отвечает за ее содержание.

[2]) Макс Бах—„Австрия в первую половину XIX века“, СПБ., 1906 г., стр. 370.

шится. Поэтому когда началась агитация в пользу выборов во Франкфуртское национальное собрание, долженствовавшее символизировать и учредить германское единство, среди славянских наций возникло стремление создать, в противовес этому общегерманскому представительному учреждению, своего рода *общеславянский контр-парламент*. Так сложилась идея славянского с'езда в Праге.

Мысль о нем впервые подана была из Аграма, хорватским писателем Кукульевичем. Весьма возможно, что она была если не подсказана, то поддержана реакционными кругами, решившими опереться на славянскую отсталость для борьбы с революционными стремлениями немцев. Во всяком случае обращенное к неславянам пояснение, приложенное к приглашению на Пражский конгресс, было составлено в таком духе, что не могло не понравиться австрийской камарилье. Там говорилось об «исконной, ненарушимой верности... габсбургско-лотарингскому дому», и доказывалось, что «все начинание по существу своему имеет охранительный характер». Неудивительно, что демократы с недоверием отнеслись к этой затее и были уверены, что *с'езд этот внушен реакцией*, которая с помощью отсталых славянских народностей намеревалась сломить революционные стремления венгров и австрийских немцев.

На эту сторону Пражского с'езда указывает в своей «Исповеди» и Бакунин.

«Династическое правительство в Инспруке,—говорит он,—покинутое всеми и лишенное почти всяких средств, стало искать спасения в национальном движении славян [1]).

«Первая мысль собрать в Праге славянский конгресс принадлежит чехам, а именно Шафарику, Палацкому и графу Туну. В Инспруке ухватились за нее с радостью, потому что надеялись, что славянский конгресс будет служить противоядием конгрессу немцев во Франкфурте. Граф Тун, Палацкий, Браунер создали тогда в Праге нечто вроде провизорного правительства, были признаны Инспруком и сносились с ним прямо помимо венских министров, которых не хотели ни признавать, ни слушаться, видя в них враждебных представителей германской национальности. Таким образом составилась полуофициальная

---

[1]) Речь идет о придворной камарилье, бежавшей вместе с императором в Инспрук, чтобы там собрать реакционные силы для борьбы с революцией и с венским революционным правительством.

чешская партия, полуславянская и полуправительственная; правительственная потому, что она хотела спасти династию, монархическое начало и целость австрийской монархии; однако не безусловно, требуя зато: во-первых, конституции, во-вторых, перенесенья имперской столицы из Вены в Прагу, что им и было действительно обещано, разумеется, с твердым намерением не сдержать обещания; и, наконец, совершенного превращения австрийской монархии из немецкой в славянскую, так что уже не немцы более и не мажиары [1]) притесняли бы славян, но обратно... Предприятие невозможное, в котором они должны были быть или обманутыми, или обманщиками.

«Но чешская партия не довольствовалась сим общим преобладанием славянского элемента в австрийской империи. Опираясь на свой полуофициальный характер и на льстивые инспрукские обещания, она хотела еще устроить в свою пользу нечто вроде чешской гегемонии и утвердить между самими славянами преобладание чешского языка, чешской национальности...

«Таковы были притязания чешских политиков. Они, разумеется, встретили сильное сопротивление в словаках, в шленза-ках [2]), более же всего в поляках. Последние приехали в Прагу совсем не для того, чтобы покориться чехам, да если правду сказать, так и не вследствие чрезвычайного влечения к славянским братьям и к славянской мысли, а просто в надежде найти тут опору и помощь для своих особенных национальных предприятий. Таким образом, с самых первых дней произошла борьба, не между массами приезжих славян, только между их предводителями, сильнее же всех борьба между поляками и чехами, между поляками и русинами, борьба, окончившаяся ничем, как и весь славянский конгресс. Южные славяне были чужды всем прениям и занимались исключительно приготовлениями к венгерской войне, уговаривая и прочих славян отложить все внутренние вопросы до совершенного низложения мажиар и, как иные говорили, до совершенного изгнания оных из Венгрии. Поляки ни на то, ни на другое не соглашались, предлагали же свое посредничество, которого ни южные славяне, да, сколько я слышал, и сами мажиары не захотели принять. Одним словом, все тянули на свою сторону и все желали сделать себе из других скамью для сво-

---

[1]) Мадьяры, венгерцы.

[2]) Силезцах.

его собственного возвышения; более всех чехи, избалованные инспрукскими комплиментами, а потом и поляки, избалованные не судьбой, но комплиментами европейских демократов».

Славянский с'езд в Праге открылся под председательством Палацкого 1 июня 1848 года. В нем участвовало 340 человек: из них 237 чехов, 42 южных славян, 60 поляков и русин и 1 русский—М. А. Бакунин (вернее, двое: был еще один старообрядческий поп, но из Буковины) [1]).

«Когда Бакунин прибыл в Прагу,—рассказывает Герцен,—он застал там славянский конгресс уже в полном сборе. Представленный одним галицийским депутатом, он получил приглашение принять участие в трудах этого первого совещания племени, которое просыпалось, наконец, от многовекового летаргического сна. Там говорили на всех славянских языках; недоставало только одного русского. Никто в мире не мог быть лучшим представителем революционных идей крошечного меньшинства своей родины, чем Бакунин—сам русский, друг Польши, вооруженный всем, что могла дать немецкая наука, и в то же время социалист, как наиболее передовые люди Франции,—и потому с самого своего появления Бакунин приобрел огромное влияние и очень большую популярность. Его благородная и совершенно славянская наружность, энергия, открытый характер, глубина и ясность речи соединили вокруг него всех истинных революционеров Богемии и славянских владений Австрии» [2]).

Встреча с славянскими деятелями произвела на Бакунина весьма сильное впечатление.

«До тех пор, — рассказывает он в «Исповеди», — исключая поляков и не говоря уже о русских, я не был знаком ни с одним славянином, а также никогда не бывал в австрийских владениях. Знал же о славянах по рассказам некоторых очевидцев да по книгам. Слышал также в Париже о клубе, основанном Cyprien Robert [3]), заместившим Мицкевича на кафедре славянских литератур, но не ходил в этот клуб, не желая мешаться

---

[1]) Это был старообрядческий священник Олимпий Милорадов из Белой Криницы, великорусской колонии в Буковине. Впоследствии, в 1862 г., Бакунин пытался возобновить свое знакомство с Милорадовым, а через него и других вовлечь старообрядцев в революционное движение, но из этого ничего не вышло.

[2]) „М. Бакунин (Письмо к Мишле)", цит. соч., стр. 481.

[3]) Сиприен Робер.

со славянами, предводимыми французом. Поэтому знакомство и сближение со славянами было для меня опытом новым, и я много ждал от Пражского Конгресса, особенно надеясь, с помощью прочих славян, победить тесноту польского национального самолюбия.

«Ожидания мои, хоть и не сбылись во всей полноте, не совсем были обмануты. Славяне в политическом отношении — дети, но я нашел в них неимоверную свежесть и несравненно более природного ума и энергии, чем в немцах. Трогательно было видеть их встречу, их детский, но глубокий восторг; сказали бы, что члены одного и того же семейства, разбросанные грозною судьбою по целому миру, в первый раз свиделись после долгой и горькой разлуки: они плакали, они смеялись они обнимались,—и в их слезах, в их радости, в их радушных приветствиях не было ни фраз, ни лжи, ни высокомерной напыщенности; все было просто, искренно, свято. — В Париже я был увлечен демократическою экзальтациею, героизмом народного класса; здесь же увлекся искренностью и теплотою простого, но глубокого славянского чувства. *Во мне самом пробудилось славянское сердце, так что в первое время я было почти совсем позабыл все демократические волнения, связавшие меня с Западною Европою* [1]). Поляки смотрели на прочих славян с высоты своего политического значения, держали себя несколько в стороне, слегка улыбаясь. Я же смешался с ними и был с ними и делил их радость от всей души, от полного сердца; и потому был ими любим и пользовался почти всеобщим доверием.

«Важность славянского конгресса состояла, по моему мнению, в том, что это было первое свиданье, первое знакомство, первая попытка соединенья и уразуменья славян между собой. Что же касается до самого конгресса, то он, равно, как и все другие современные конгрессы и политические собрания, был решительно пуст и бессмыслен».

Положение Бакунина на Пражском с'езде было двусмысленным. Ему приходилось бороться с реакционными поползновениями мелких славянских народностей и особенно с сознательным консерватизмом таких заправил славянского движения, как Палацкий. Во-первых, он добивался и вместе с другими единомышленниками добился превращения с'езда из чисто-австрий-

[1]) Курсив мой. Здесь говорит не только обстановка, при которой писалась „Исповедь".

ского, ставившего себе сепаратные, местные задачи, в общеславянский, рассчитывая придать ему, таким образом, менее исключительный, менее приходский и более общечеловеческий, общереволюционный дух. Во-вторых, он, в противовес тенденции Палацкого, стремившегося к миру с венским двором, пытался убедить представителей славянства, что интересы славянской демократии солидарны с интересами немецких революционеров и стремившихся к независимости венгров. Но большинство с'езда не разделяло революционных стремлений Бакунина.

„Конгресс,—пишет Бакунин,—состоял из трех отделений: *Северного*, в котором были поляки, русины, шлензаки; *Западного*, состоявшего из чехов, моравов, словаков, и *Южного*, в котором заседали сербы, хорваты, словенцы и далматы. По первоначальному определению Палацкого, главного изобретателя и руководителя славянского конгресса, конгресс сей должен был исключительно состоять из австрийских славян, не-австрийские же должны были присутствовать в нем только, как гости; но определение сие было в самом начале отвергнуто; вошли в конгресс не как гости, но как действительные члены много поляков из Польши, эмигранты, несколько турецких сербов и, наконец, двое русских: я да еще один старообрядческий поп, которого позабыл фамилию [1]), — ее можно, впрочем, найти в печатном отчете Шафарика о славянском конгрессе; поп или, вернее, монах из старообрядческого монастыря, существовавшего в Буковине со своим особенным митрополитом и уничтоженного, кажется, в это же время по требованию русского правительства; он ездил с отставленным митрополитом в Вену, потом, услышав о славянском конгрессе, приехал один в Прагу.

«Я вступил в Северное, то-есть в польское отделение и при вступлении произнес короткую речь, в которой сказал, что Россия, отторгнувшись от славянской братии через порабощение Польши, особенно же предав ее в руки немцев, общих и главных врагов всего славянского племени, не может иначе возвратиться к славянскому единству и братству, как через освобождение Польши, и что поэтому мое место на славянском конгрессе должно было быть между поляками. Поляки приняли меня с рукоплесканиями и выбрали депутатом в южно-славянское отделение сообразно с моим собственным желаньем. Ста-

---

[1]) Олимпий Милорадов („отец Алимпий“).

рообрядческий поп вместе со мною вступил в отделение поляков и по моему ходатайству был даже избран ими в Общее Собрание, состоявшее из депутатов трех главных групп... Мне приходило на мысль употребить попа этого на революционную пропаганду в России. Я знал, что на Руси много старообрядцев и других расколов, и что русский народ склонен к религиозному фанатизму. Поп же мой человек был хитрый, смышленый, настоящий русский плут и пройдоха, бывал в Москве, знал много о старообрядцах да и о расколах вообще в русской империи; да, кажется, и монастырь тоже находился в постоянной связи с русскими старообрядцами. Но я не имел времени заняться им, сомневался отчасти в нравственности такого сообщества, не имел еще определенного плана для действия, ни связей, а главное не имел денег; без денег же с такими людьми и говорить нечего. К тому же я был в это время исключительно занят славянским вопросом, видел его редко, а потом и совсем потерял его из виду.

«Дни текли, конгресс не двигался. Поляки занимались регламентом, парламентскими формами, да русским вопросом; вопросы более важные переговаривали не на конгрессе, а на собраниях особенных и не так многочисленных. Я в их собраниях не участвовал, слышал только, что в них продолжались отчасти бреславские распри и была сильная речь о Кошуте и о мажиарах, с которыми, если не ошибаюсь, поляки уже в то время начали иметь положительные сношения, к великому неудовольствию прочих славян. Чехи были заняты своими честолюбивыми планами, южные славяне предстоявшей войною. Об общем славянском вопросе мало кто думал. Мне опять стало тоскливо, и я начал чувствовать себя в Праге в таком уединеньи, в каком был прежде в Париже и в Германии. Я несколько раз говорил в польском, в южно-славянском, а также и в общем собрании; вот главное содержание моих речей:

«Зачем вы с'ехались в Прагу? Для того ли, чтобы толковать здесь о своих провинциальных интересах, или для того, чтобы слить все частные дела славянских народов, их интересы, требования, вопросы в один нераздельный, великий славянский вопрос? Начните же заниматься им и покорите все частные требования славянскому делу. Наше собрание есть первое славянское собрание; мы должны положить здесь начало новой славянской жизни, провозгласить и утвердить единство всех

славянских племен, соединенных отныне в одно нераздельное и великое политическое дело».

Раскритиковав австрийскую ориентацию части славянских лидеров и выставив свой любимый тезис, что славянское единство, свобода и возрождение славян достижимы лишь путем совершенного разрушения австрийской империи, Бакунин переходил *к критике российской ориентации славянства.* Впрочем, предоставляем слово ему самому.

«Не менее ошибаются и те,—говорил он на с'езде,—которые для восстановления славянской независимости надеются на помощь русского царя. Русский царь заключил новый тесный союз с австрийскою династиею, не за вас, но против вас, не для того, чтобы помогать вам, а для того, чтобы возвратить вас насильно, вас, равно как и всех прочих бунтующих австрийских подданных, в старое подданство, к старому безусловному повиновению. Император Николай не любит ни народной свободы, ни конституций, вы видели живой пример в Польше. Я знаю, что русское правительство уже с давних времен обрабатывает вас, равно как и турецких славян, своими агентами, которые об'езжают славянские земли, распространяя между вами панславистические мысли, обольщая вас надеждою на скорую помощь, на приближающееся будто бы освобождение всех славян могучею силою русского царства, и не сомневаюсь, что оно видит в далекой, в весьма далекой будущности момент, когда все славянские земли войдут в состав Российской империи. Но никто из нас не доживет до желанного часа, хотите вы ждать до тех пор? Не вы одни, славянские народы успеют одряхлеть до того времени. Теперь же вам нет места в недрах русского царства: вы хотите жизни, а там мертвое молчанье, требуете самостоятельности, движенья, а там механическое послушанье, желаете воскресенья, возвышенья, просвещенья, освобожденья, а там смерть, теснота и рабская работа. Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы во гроб всякой народной жизни и всякой свободы. Правда, что без России славянское единство неполно и нет славянской силы; но *безумно было бы ждать спасенья и помощи для славян от настоящей России.* Что же остается вам? Соединитесь сначала вне России, не исключая ее, но ожидая, надеясь на ее скорое освобождение; и она увлечется вашим примером, и вы будете освободителями российского народа, который, в свою очередь, будет потом вашей силой и вашим щитом.

«Начните же свое соединенье следующим образом: об'явите, что вы, славяне не австрийские, а живущие на славянской земле в так называемой австрийской империи, сошлись и соединились в Праге для заложенья первого основания *будущей вольной великой федерации всех славянских народов*, и что, в ожиданьи присоединенья славянских братий в русской империи, в прусских владениях, в Турции,—вы, чехи, моравы, поляки из Галиции и Кракова, русины, шлензаки, словаки, словенцы, хорваты и далматы, заключили между собой крепкий и неразрывный оборонительный и наступательный союз на следующих основаниях» (основы славянской политики Бакунина изложены дальше).

Несмотря на все старания Бакунина, перевес получило умеренное направление Палацкого, который стоял на той точке зрения, что в интересах славян Австрию необходимо сохранить и что, если бы ее не существовало, то ее нужно было бы выдумать. Бакунин же, как мы знаем, считал Австрию главным врагом славянства, неизлечимо больным, которого надо уничтожить для того, чтобы на ее развалинах могла создаться вольная славянская федерация. С'езд принял несколько решений, имеющих целью превращение Австрии в федерацию равноправных народностей, высказался платонически за улажение русско-польской распри и за освобождение славян из-под турецкого ига, а также постановил опубликовать манифест к европейским народам. Бакунин (вместе с Либельтом) принял участие в составлении этого воззвания, которое, однако, принято было 12 июня в переработанной и смягченной Палацким форме. А петиция с выражением пожеланий австрийских славян заканчивалась уверениями в ненарушимой верности и преданности императорскому дому.

Мы видим, таким образом, что *Бакунин не играл особенной роли на славянском с'езде*, да и не мог ее играть. За ним не было никакой организованной силы; говорить о его праве на представительство России не приходилось (да он на таковое и не претендовал), а воззрения его совершенно не совпадали с настроением большинства участников с'езда. Взгляды Бакунина нашли более ясное выражение в отвергнутых комитетом с'езда «Основах новой славянской политики», текст которых был напечатан еще летом 1848 года в польском, чешском и немецком переводах. Сущность относящегося сюда проекта «Основ славянской федерации» сводится к образованию вольной

славянской федерации, построенной на принципах общего равенства, свободы и братской любви, на уничтожении крепостной зависимости и сословий и на праве каждого славянина на земельный участок в пределах общей славянской территории [1]).

В «Исповеди» Бакунин об'ясняет, что своим проектом славянской федерации он преследовал двоякую цель: во-первых, *разрушение Австрийской империи*, неизбежное, по его мнению, как в случае отказа ее от славянского об'единения, так и в случае согласия на него, а во-вторых, *создание базы для внесения революции в русские пределы.*

«Другая же и главная цель моя,—говорит он,—была найти в соединенных славянах точку отправленья для широкой революционерной пропаганды в России. Я не мог соединиться с немцами: это была бы война Европы и, что еще хуже, война Германии против России; с поляками также не мог соединиться: *они мне плохо верили* [2]), да и мне самому, когда я узнал ближе их национальный характер, их неисцелимый, хоть исторически и понятный мне эгоизм, мне самому стало уже совестно и совершенно невозможно мешаться с поляками, действовать с ними заодно против родины. В славянском же союзе я видел, напротив, отечество еще шире, в котором, лишь бы только Россия к нему присоединилась, и поляки, и чехи должны бы были уступить ей первое место».

Бакунину приходилось считаться с настроением деятелей, задававших тон в тогдашнем славянском движении, и потому ему приходилось выражаться очень осторожно, туманно и в самых общих терминах, чтобы провести свои тезисы. В конце-концов это ему не помогло, и тезисы его, даже в смягченном и затушеванном виде, были все-таки отвергнуты комиссией Пражского с'езда. И это неудивительно. Славянские деятели в тогдашней Австрии стояли по существу на буржуазной точке зрения. Они добивались конституционных гарантий, националь-

---

[1]) „Основы новой славянской политики“ появились в журнале „Slavische Jahrbücher“ (Славянский Ежегодник) за 1848 г., под заглавием „Statuten der neuen slavischen Politik“. Перепечатано вместе с „Основами славянской федерации“ и „Внутренним устройством славянских народов“ в книге „Бакунин. Избранные сочинения в четырех томах“, т. I, Лондон, 1915, стр. 40—46. По словам Бакунина (в „Исповеди“), опубликование его проекта, да и то в отрывках, состоялось без его ведома.

[2]) Снова подчеркиваем отношение поляков к Бакунину задолго до появления заметки о нем в газете Маркса.

ного равноправия и стремились к устранению вопиющих крайностей полицейского государства. Они не только не помышляли ни о каких социализмах, но в большинстве случаев не были даже демократами и революционерами, а придерживались чрезвычайно умеренных, подчас же довольно реакционных взглядов в политике. Социальные их требования не шли дальше отмены, а у некоторых даже просто смягчения крепостной зависимости крестьян и создания нормальных условий для развития буржуазного общества. Бакунин же мечтал о полном разрушении государства, о создании вольного мира на анархических началах, а свою славянскую федерацию он и представлял себе как некую безгосударственную, анархическую организацию. Естественно, что между этими двумя системами не было ничего общего, кроме ненависти к германизации и симпатии к славянству.

Большинство Пражского с'езда боролось за то, чтобы доставить славянству возможность безболезненного буржуазного развития; ни о каких особых путях для славянства, по существу отличающихся от обычной европейской эволюции, они не мечтали. Бакунин же как раз, наоборот, именно не хотел, чтобы славяне пошли по проторенной дорожке европейской цивилизации, т-е. по пути буржуазного прогресса. Он мечтал о совершенно иных путях развития для славянских народов. В этом смысле можно сказать, что Бакунин разделял славянофильскую точку зрения, но он развивал одну ее сторону — антигосударственную, общинно-анархическую. Взгляды Бакунина иногда называли *революционным панславизмом*, и нужно сказать, что до конца 60-х годов он действительно держался воззрений, которые заслуживают подобной характеристики (несмотря на всю ненависть Бакунина к панславизму казенному). Эти взгляды Бакунин начал развивать уже с конца 40-х годов, т.-е. раньше Герцена. Но в то время как у Герцена они в значительной мере явились результатом глубокого разочарования в судьбах западно-европейской цивилизации, у Бакунина они совершенно не связывались с таким настроением и скорее исходили из оптимистической *веры в неминуемость всемирной социальной революции*. Вместе с тем у Бакунина эти взгляды никогда не доходили до таких крайностей, можно сказать, до такой болезненности, как у Герцена, и именно потому, что родились они у него не из отчаяния и разочарования, а сложились и развились свободно, как одна сторона его общих воззрений.

Как мы знаем, Бакунин меньше возился в свое время с московскими славянофилами, чем Герцен. Он считал себя настолько далеким от них, что его сравнительно мало трогали их дикие взгляды и мракобесные выходки, которые выводили из себя более родственного им по духу Герцена. Тем не менее одна сторона славянофильских воззрений присуща была и Бакунину: это—*вера в особые исторические пути русского народа и славянства вообще.*

Славянофилы исходили из верной по существу мысли, что в основе исторического развития лежит развитие экономических отношений. Только они придавали этой мысли догматический характер и, основываясь на косности и медленности социальной эволюции отсталых крестьянских народов, в том числе и России, не замечали этой эволюции вообще. Констатируя наличность в жизни русского и других славянских народов таких экономических форм, как сельская община и т. п., они делали отсюда вывод о качественном, а не количественном различии и, не замечая, что европейские народы уже пережили эту стадию, умозаключали отсюда, что путь развития России не имеет ничего общего с историческим развитием Запада. В частности они думали, что общинное владение землей, мирское устройство крестьян и артельные формы труда предохранят Россию от капитализма, от пролетариата и социальной революции.

Левые славянщики, вроде Герцена и Бакунина 40-х годов, принимали первый вывод и отвергали второй. Они допускали, что, благодаря своеобразным формам экономического быта, славяне избавятся от капиталистического фазиса развития, но тем легче вступят в социалистический его фазис. В сохранившихся у русского народа общине и артели они усматривали наличность социальных начал, до которых Запад доработался с таким трудом. Поэтому как раз эти отсталые экономические формы могут послужить отправным пунктом развития в социалистическом духе и облегчить роды нового общества, к которому западные народы придут только путем тяжелой кровавой борьбы.

Присущ ли анархизм славянофильству по существу? И да, и нет. Славянофильство исходило из идеализации отсталых форм экономической, по преимуществу сельской жизни. Но в отсталых земельных отношениях есть два фактора, две стороны: барин и мужик, землевладелец-эксплоататор и эксплоати-

руемый земледелец. И вот, смотря по тому, какой интерес ближе сердцу теоретика, его воззрения могут принимать или реакционный, монархический, или революционный, анархический характер. Ибо помещику-барину соответствует в качестве политической надстройки самодержец-монарх; мужику, ненавидящему государство и не втянутому еще в идеологию буржуазной общественности, рисуется смутный безгосударственный, анархический идеал.

Московские славянофилы, по преимуществу люди дворянской и буржуазной среды, из своих положений делали в общем реакционные выводы в пользу неограниченной монархии. Но даже они, поскольку им приходилось оперировать с идеологией крестьянства полунатурального общества, иногда неожиданно приходили к выводам, весьма сильно отдававшим безгосударственностью. Аксаков, например, говорил «что ложь лежит не в той или иной форме государства, а в самом государстве». Это писалось в 1858 году. Само собой разумеется, что в молодости да еще в приятельской беседе говорилось более определенным языком. И в письме к издателям «Колокола» от 3 мая 1867 г. Бакунин пишет: «К. С. (Аксаков), вместе со своими...друзьями [1]), был уже тогда (то-есть в конце 30-х годов. — *Ю. С.*) врагом петербургского государства и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил нас».

Само собою разумеется, что Бакунин и Герцен (в особенности первый), не связанные дворянскими и купеческими предрассудками московских славянщиков, пошли в этом отношении гораздо дальше, а Бакунин—до конца. Герцен, начиная с 1849 года, систематически развивал ту мысль, что «нет в Европе народов, более подготовленных для социальной революции, чем все неонемеченные славяне, начиная с черногорцев и сербов и кончая народностями России в недрах Сибири. Образ жизни и обычное право славян в основе своей представляют картину общинной организации и общинных обычаев, иначе коммунистических, в полуварварской, первобытной форме» [2]). Быт славянских племен, сохранивших независимость и собственную физиономию, представляет «нечто вроде колеблющегося, неопределенного, неустоявшегося анархизма». Славянские народы враждебно отно-

---

[1]) Бакунин имеет здесь в виду известных славянофилов Хомякова и братьев Киреевских.

[2]) „Письмо в редакцию Польского Демократа“ (1853 г.).

сятся к государству и к централизации. Для них самой народной формой была бы вольная федерация [1]).

Это мысли взяты, по существу, из общего фонда московского славянофильства, только им придан социалистический характер. Бакунин шел еще дальше. Герцен допускал возможность мирного перехода к этому идеальному строю и даже чувствовал отвращение к насильственным средствам. Бакунин же был убежден, что прийти к этой федерации можно лишь путем насильственной революции и разрушения государства, которое он призывал всеми силами души.

Но, конечно, прямо выступить со своими идеями перед публикой Пражского с'езда он не мог. Однако, читая его «Основы славянской политики», мы видим в них, правда придушенное и затушеванное, изложение любимых его мыслей. Первый пункт гласит: «Хотя последние пришлецы в развитии европейского образования, славяне чувствуют себя призванными к осуществлению того, что другие народы Европы приготовили через свое развитие, т.-е. к осуществлению того, что теперь считается за конечную цель гуманности, свободы и счастья всех, принимающих участие в святом и братском единении, как отдельных личностей, так и народов».

Таким образом, в первом пункте в туманных выражениях формулируется вера в призвание славянских племен к осуществлению социализма («конечная цель гуманности, свободы и и счастья всех»). В пунктах третьем и четвертом поясняется, что формою славянского общежития будет безгосударственный строй, анархия.

Так, параграф третий гласит: «Кроме того, они (т.-е. славяне.—*Ю. С.*) слишком долго были жертвою хитрости и насилия, чтобы начать черпать новую жизнь и новую силу в чем-либо другом, кроме как в чистой святой истине, в чистой свободе, в чистой справедливости без всякого ограничения, без всякой задней коварной мысли; поэтому они устраняют столько же во внутренней, сколько и во внешней политике дипломатию и ее соображения, все, что искусственно и что могло бы иметь целью какую бы то ни было центральную власть насчет свободы, будь то индивидуума или народов. Новая политика славянских народов будет не государственная политика, а политика народов, политика независимых свободных людей». А пункт

[1]) „Письма к Линтону", 1854 г.

четвертый поясняет, что славянская федерация не будет знать государственной централизации: «Они основывают свое новое могущество на неразрывном и братском союзе всех народов, составляющих славянское племя, и не будут искать никакой другой централизации, кроме той, какая вытекает из соединения всех славян».

В этом документе бросается в глаза его отвлеченный и абстрактно-гуманитарный характер. Ни малейшей попытки классового анализа, никакого внимания к социальным отношениям внутри самого славянства мы там не находим. Все славянские народы рассматриваются в нем как одна сплошная однородная масса, противостоящая лишь внешнему врагу и угнетателю. Как будто различные славянские племена не стояли на различных ступенях развития, как будто внутри отдельных славянских народов не было классов и их взаимной борьбы, не было дворянства и крестьянства, не было зачатков буржуазии и пролетариата. Неудивительно, что, подходя к славянскому вопросу с такой чисто гуманитарной меркой, нельзя было не повиснуть в воздухе и оказаться совершенно бессильным повлиять на ход событий. Полная беспочвенность бакунинской точки зрения бросается в глаза, и невольно вспоминаешь характеристику, которую он сам дал себе впоследствии (в 1871 г.), когда, под влиянием Маркса, заинтересовался социальным вопросом и когда у него раскрылись глаза на характер классовой борьбы в капиталистическом обществе. Да, Бакунин и в 1848 году оставался еще «сантиментальным идеалистом» и «инстинктивным социалистом», не имевшим понятия об экономических вопросах и закрывавшим глаза на социальные отношения вследствие преобладания в нем национальной точки зрения.

Такой именно фигурой и выступает перед нами Бакунин на Пражском с'езде. Самый с'езд не имел особенного практического значения; еще меньше значения могла иметь на нем деятельность Бакунина. С'езд успел принять манифест к европейским народам, в составлении первоначального проекта которого участвовал и Бакунин, и холопский адрес (петицию) на имя австрийского императора. Но предполагалось еще заложить основы союза всех славянских народов и выработать статут этой федерации. Однако довести с'езд до конца не удалось вследствие восстания, неожиданно вспыхнувшего в Праге 12 июня 1848 года, в день Святого Духа.

Это неожиданное восстание сорвало и начавшуюся работу Бакунина по организации тайного общества. По словам Бакунина в «Исповеди», это было *первое тайное общество*, в котором он участвовал. Как мы знаем, не найдя в поляках искомой точки опоры для революционной работы в России среди славянства, Бакунин стал искать ее в славянах. Славянский Конгресс разочаровал его и в славянах-участниках с'езда. Убедившись, что и в славянском конгрессе он подходящей почвы не найдет, Бакунин стал собирать людей вне конгресса и составил было тайное общество под названием «Славянских друзей». Туда входило несколько словаков, моравов, кроатов и сербов. Общество просуществовало всего несколько дней и распалось вследствие высылки славян из Праги после подавления восстания. Оно не успело ни организоваться, ни выработать план действия, ни установить способа сношений и рассеялось бесследно.

Вопреки росказням реакции, пражское восстание вовсе не было результатом широко разветвленного «панславистского заговора», как впоследствии старалась доказать военно-следственная комиссия, учрежденная генералом Виндишгрецом, усмирителем Праги. Восстание вспыхнуло стихийно и было ответом на провокационные действия правительства, успевшего оправиться после мартовской революции и начавшего поднимать голову. Что панславизм здесь был ни при чем, видно из того, что немцы и чехи одинаково пополняли ряды бойцов с правительственными войсками. С другой стороны, весьма характерно, что на баррикадах преобладали студенты и пролетарии, буржуазия же, как таковая, отсутствовала. После двухдневной бомбардировки восстание было подавлено, а славянский с'езд, в виду наступившего военного положения, естественно закончил свое существование.

Какова была роль Бакунина в этом восстании? По некоторым указаниям, первые выстрелы по войскам раздались из гостиницы «Голубой Звезды», где проживали Бакунин и несколько польских членов с'езда. Некоторые чешские писатели утверждают, что восстанием руководило какое-то «тайное правительство», в которое входил «Бакунин со своей компанией». А Шпрингер [1]) говорит, что в числе наиболее горячих подстрекателей, призывавших жителей Праги строить баррикады, был

---

[1]) Springer.—„Geschichte Oesterreichs seitdem Wiener Frieden", т. II, 342 и сл.

член славянского с'езда словак Туранский, который впоследствии оказался агентом-провокатором, посланным венгерским правительством с целью скомпрометировать с'езд.

Во всяком случае не подлежит сомнению, что Бакунин принял активное участие в сопротивлении войскам, хотя сомнительно, чтобы он был одним из зачинщиков восстания, которое вспыхнуло совершенно неожиданно. Вот что пишет о нем в 1861 году один чех, оставшийся верным идеалам 1848 года, Фрич: «Можно утверждать, что среди всеобщей растерянности он один не потерял головы и твердо *стремился превратить легкомысленно спровоцированные реакцией беспорядки в настоящую революцию.* Он являлся всюду, где грозила малейшая опасность, помогал там, где никто не умел подать совета, участвовал во всех тайных и явных совещаниях, переходил с баррикады в комнату совещаний, вел переговоры с посылавшимися из провинции в Прагу депутациями и сам отправился в провинцию с целью возбудить общее движение, которое должно было оказать поддержку горсти окруженных в городе бойцов. Нам пришлось бы войти в слишком большие подробности, если бы мы захотели об'яснить, почему все это осталось безрезультатным. Достаточно того, что Бакунин сделал все, что было в его силах, и в несколько дней добился такого значения и такого доверия революционной партии, что сношения с ним постоянно поддерживались и впоследствии» [1]). Но «тщетно старался Бакунин,—пишет Сметс,—предотвратить распыление сил и тщетно требовал он низвержения центрального комитета и введения строгой дисциплины» [2]).

«Позже,—говорит чешский писатель Иречек,—выяснилось, что тайное правительство восстания сидело в Клементинуме[3]). Там сидел Бакунин со своей компанией около стола, на котором лежали планы Праги, и оттуда давал приказания о продолжении сопротивления»[4]). Однако, по рассказу Фрича, лишь после того, как посланная делегация вернулась ни с чем и каждую минуту можно было ожидать приступа, Бакунин, пригласив несколько

---

[1]) „Pameti", Прага, 1886, цит. у Неттлау, т. I, прим. 467 и в добавлениях (XI+47).

[2]) „Das Jahr 1848". I, 360 (цит. у Неттлау).

[3]) Клементинум—здание семинарии в Праге.

[4]) Слова Иречека приводятся у Yakub Maly—Nase snovuzrozeni. II, 81 (цит. по Драгоманову).

человек, развернул планы и стал обдумывать, как противостоять штурму. Потом, под руководством Бакунина, были даны соответствующие указания: назначены командиры, поставлены у баррикад часовые и т. д. В заключение Бакунин сказал горячую речь, и все присутствовавшие поклялись бороться не на жизнь, а на смерть и умереть с оружием в руках.

«Так обстояло дело, — заканчивает Фрич, — с ужасным и таинственным правительством» [1]).

Сам Бакунин рассказывает в «Исповеди» о своем отношении к пражскому восстанию следующее:

«Славянский конгресс в последнее время изменил несколько свое направление: отчасти уступая напору поляков, отчасти же и моим содействием, а также и содействием единомыслящих со мною славян, он стал двигаться понемногу в духе более общеславянском, либеральном, не говорю демократическом, и перестал служить особенным видам австрийского правительства. Это было его смертным приговором. Пражское восстание было, впрочем, произведено не конгрессом, а студентами и партиею так называемых чешских демократов. Последние были тогда еще весьма немногочисленны и, кажется, не имели определенного политического направления, придерживались же бунта, потому что бунт был тогда в общей моде. В это время я был с ними мало знаком, ибо они почти совсем не посещали заседания конгресса, а находились большею частью вне Праги, в окружных деревнях, где возбуждали мужиков к принятию участия в приготовленном ими восстании. Я ничего не знал ни об их именах, ни даже о замышляемом движении и был им столько же поражен, сколько и все прочие члены славянского конгресса. Только вечером, накануне назначенного дня, и то неопределенно и смутно, услышал я в первый раз об имевшем быть восстании студентов и рабочего класса и вместе с другими уговаривал студентов отказаться от невозможного предприятия и не давать австрийскому войску случая к легкой победе. Явно было, что генерал князь Виндишгрец ничего так ревностно не желал, как такого случая для восстановления упавшего духа солдат и ослабевшей воинской дисциплины, для того, чтобы после стольких постыдных поражений подать Европе первый пример победы войск над крамольными массами. Он многими мерами как бы хотел раздразнить пражских жителей, явно вызывал их на

[1]) См. Nettlau, I, 89.

бунт, а глупые студенты своими неслыханными требованиями, которых ни один генерал не мог бы исполнить, не обесчестившись перед целым войском, подали ему желанный повод к началу военных действий.

«Я пробыл в Праге до самой капитуляции, отправляя службу волонтера; ходил с оружием от одной баррикады к другой, несколько раз стрелял, но был, впрочем, во всем этом деле более как гость, не ожидая от него больших результатов. Однако напоследок советовал студентам и другим участвовавшим свергнуть ратушу, которая вела тайные переговоры с князем Виндишгрецом, и посадить на ее место военный комитет с диктаторскою властью; моему совету хотели было последовать, но поздно; Прага капитулировала, я же на другой день рано отправился обратно в Бреславль, в котором я пробыл сей раз, если не ошибаюсь, до первых чисел июля».

Этот рассказ, написанный по свежей памяти и не вызывающий сомнений в своей правдивости, кладет конец всяким разговорам о тайном правительстве, в котором якобы участвовал Бакунин, о его якобы руководящей роли в движении и т. п. В действительности Бакунин ничего не знал о подготовлении восстания (да и вообще сомнительно, чтобы имело место какое-нибудь планомерное подготовление), возражал против него, а когда оно все же вспыхнуло, принял в нем участие в качестве рядового бойца.

В конце-концов Бакунин убедился, что в Богемии движение в данный момент не имеет шансов на широкое развитие, особенно вследствие бесхарактерности, проявленной мелкобуржуазными элементами, и отправился в Кельн, оттуда в Бреславль и, наконец, беспокоимый полицией, приехал в середине июля в Берлин.

4. СНОВА КЛЕВЕТА.

В Берлине Бакунин встретился с Марксом, и между ними произошло об'яснение по следующему поводу:

6-го июля 1848 г. в «Новой Рейнской Газете», выходившей в Кельне под редакцией Маркса, появилась корреспонденция из Парижа, в которой говорилось: «По поводу славянской пропаганды нас вчера уверяли, что Жорж-Занд имеет в своем распоряжении документы, сильно компрометирующие изгнанного отсюда русского, Михаила Бакунина, которые изображают его как

орудие или недавно завербованного агента России и приписывают ему главную роль в недавних арестах несчастных поляков. Жорж-Занд показывала эти документы некоторым из своих друзей».

Бакунин немедленно протестовал против этой клеветы письмом от 9 июля 1848 г., напечатанным в №151 бреславльской газеты «Allgemeine Oder-Zeitung».

«Уже с некоторого времени мне стало известно,—так начинает Бакунин,—что обо мне и о цели моего пребывания в Бреславле распространяются клеветнические слухи[1]). Мне было больно оказаться столь непонятым, но я полагал, что должен молчать, так как я, во-первых, считал ниже своего достоинства отвечать на тайные заподозривания, бегущие от дневного света; во-вторых, мое положение и интересы представляемого мною дела требуют привлечения к себе возможно меньшего внимания; а в-третьих—и это было главным мотивом,—я глубоко убежден в том, что в наше время следует доказывать свои взгляды не столько словами, сколько делами, ибо скоро каждый будет иметь случай действительно показать, кому он служит и какими идеями одушевлен.

«Теперь однако,—продолжает Бакунин,—я вынужден нарушить свое молчание. Выдвинутое против меня в «Новой Рейнской Газете» открытое, формальное обвинение требует от меня формального же ответа. Дать такой ответ я обязан перед самим собою и перед моими немецкими друзьями, и я надеюсь, господин редактор, что Вы предоставите столбцы Вашей газеты иностранцу, не располагающему никаким другим орудием кроме гласности. Я имею дело с сильным и непримиримым врагом, который с тех пор, как я напал на него в одной из моих публичных речей в Париже, систематически и неутомимо преследует меня и который настолько ловок, что умеет даже моих естественных союзников—демократию и ее органы—использовать и эксплуатировать как средство для своих целей. Перед правительствами он выставляет меня в виде способного на все преступления демагога и одновременно путем распространения

[1]) Эти слова Бакунина показывают: 1) что порочащие его слухи распространялись *до* заметки в газете Маркса; 2) что они связаны были с его пребыванием в Бреславле, которое казалось *непонятным*; 3) что они исходили из *польских* демократических кругов, что явствует из дальнейших слов Бакунина.

слухов, будто я (правительственный) агент, пытается дискредитировать меня в глазах общественного мнения. Он очевидно воображает, что таким способом сможет утомить и обезвредить меня, но он должен убедиться и убедится в том, что он напрасно старался» [1]).

Далее Бакунин сообщает о посылке им письма Жорж-Занд и оставляет за собою право сделать газете дополнительное сообщение.

Вместе с тем, через Рейхеля Бакунин обратился к Жорж-Занд с просьбою раз'яснить эту историю (протест Бакунина был перепечатан в «Новой Рейнской Газете» от 16 июля, не дожидаясь ответа Жорж-Занд).

В письме к Жорж-Занд Бакунин, приведя заметку из «Н. Рейнской Газеты», продолжает: «Я настоятельно прошу Вас, во имя той симпатии, которую Вы всегда ко мне проявляли, опровергнуть эту публичную ложь. Примите во внимание, что дело идет о моей чести, которая, под прикрытием Вашего имени, недостойным образом задета, и что такие слухи бросают на меня тень *как раз в тот момент, когда я больше, чем когда-либо, нуждаюсь в доверии в интересах того дела, которому я служу* [2]).

«Если же Вы, вопреки моему ожиданию, действительно являетесь источником тех слухов, то я апеллирую уже не к Вашей симпатии, а к Вашему чувству справедливости и к Вашей порядочности... Я предлагаю Вам немедленно опубликовать все те бумаги, которые меня якобы компрометируют, дабы я мог их опровергнуть и узнать имена авторов этой бесстыдной клеветы. Я имею право требовать этого, так как, обвинив меня, Вы этим самым взяли на себя священную обязанность передо мною и перед общественным мнением доказать свои обвинения».

Ответ Жорж-Занд был передан редакции «Новой Рейнской Газеты» Бакуниным через поляка Косцельского с требованием напечатать его или дать ему удовлетворение оружием. Письмо это, датированное 20 июня 1848 г., было напечатано в газете Маркса 3 августа и гласило: «Факты, изложенные

---

[1]) Мы видим, что Бакунин попрежнему считал главным источником позорящей его клеветы русское правительство, а польских демократов, придавших ей веру, его бессознательными орудиями.

[2]) Курсив мой.

вашим корреспондентом, совершенно ложны. Я никогда не располагала ни малейшим доказательством инсинуаций, распространяемых вами против Бакунина; таким образом у меня никогда не было оснований высказывать какие бы то ни было сомнения в лойяльности его характера и искренности его убеждений. Я обращаюсь к вашей чести и вашей совести с просьбой немедленно напечатать это письмо в вашей газете».

«Новая Рейнская Газета», которая уже раньше перепечатала протест Бакунина из «Одерской Газеты», немедленно поместила (3 августа) также письмо Жорж-Занд, снабдив его следующим предисловием: «В № 36 нашей газеты мы сообщили циркулирующий в Париже слух, будто Жорж-Занд располагает документами, устанавливающими связь русского эмигранта Бакунина с агентурой императора Николая. Мы напечатали это потому, что получили *одновременно две аналогичные корреспонденции*. Мы таким образом исполнили обязанность прессы строго следить за поведением общественных деятелей и вместе с тем дали возможность г. Бакунину рассеять подозрения, которые действительно высказывались против него в некоторых парижских кругах. Мы перепечатали также из «Новой Одерской Газеты» об'яснения г. Бакунина и письмо его к Жорж-Занд, не ожидая с его стороны просьбы об этом. Теперь печатаем точный перевод письма Ж.-Занд к издателю «Новой Рейнской Газеты», прекрасно раз'ясняющего все дело».

Если бы творцы анархической легенды дали себе труд немного подумать, они должны были бы признать, что опубликованием слуха, распространявшегося про Бакунина тайком (и, как мы знаем, не в одних парижских кружках), в конечном счете только можно было помочь ему, дав возможность гласно потребовать доказательств от клеветников и гласно опровергнуть клевету. Последняя опасна именно тогда, когда змеей ползет в тиши, передаваясь конфиденциально, и перестает быть опасной, когда ее вытаскивают на свет божий. Конечно, в первый момент эта операция крайне болезненна для того, кто является жертвой клеветы, но в результате он получает возможность очиститься и опровергнуть обвинение, если оно неосновательно. Так именно и было с Бакуниным. А затем господа анархисты, исписавшие груды бумаги по поводу «злобности» Маркса, должны были бы задуматься над подчеркнутой нами фразой и спросить себя: что это за *второй* источник

клеветы на Бакунина? И тогда, порывшись немного в историческом материале, они поняли бы, что этот второй источник— *польская революционная эмиграция*. Так оно и было. «Новая Рейнская Газета», кроме корреспонденции М. Гесса (кстати сказать, старого приятеля Бакунина), получила одновременно аналогичное сообщение из польских эмигрантских кругов. При таких условиях становится понятным, почему «Новая Рейнская Газета», крайний демократический и революционный орган тогдашней Германии, боровшийся с реакцией во всех ее видах (и с русской, и с германской, и с австрийской, и с французской), стоявшая на страже революционной борьбы, сочла себя вынужденной и обязанной извлечь эти келейные разговоры из-под спуда и предать их гласности [1]).

В тот момент, когда широкая публика не знала о слухах, распространявшихся про Бакунина, опубликование их в «Новой Рейнской Газете» могло показаться чем-то необычным и преследующим какие-то специальные цели. Сама редакция газеты, видимо, не вполне была посвящена в дело, ибо она говорит только о слухах, высказывавшихся «в известных кругах Парижа». тогда как мы знаем, что они высказывались и в Брюсселе, и в Бреславле, и в Праге и т. д. И шли эти слухи, как мы видели, вовсе не из кругов русского посольства в Париже или,

---

[1]) В письме к Лассалю от 3 марта 1860 года Маркс по этому поводу пишет: „Я поместил в „Новой Рейнской Газете“ разоблачение насчет Бакунина из Парижа, полученное из двух совершенно независимых источников. Одним из этих источников был знакомый мне поляк. Вторым была *Парижская Литографированная Корреспонденция*, которая таким образом ставила в известность об этом разоблачении все газетные редакции, даже если бы я ее не напечатал. *Публичное* обвинение было в интересах дела и в интересах Бакунина. Протест Бакунина в „Новой Одерской Газете“ я немедленно перепечатал. Косцельский, которого он прислал ко мне в Кельн с картелем, по ознакомлении *с парижскими письмами* был *настолько убежден*, что я в качестве редактора *обязан* был опубликовать разоблачение (которое я напечатал как корреспонденцию, без комментариев), что он *немедленно* написал Бакунину, что слагает с себя обязанности секунданта. Косцельский сделался одним из лучших и полезнейших друзей „Новой Рейнской Газеты“. Бакунину я дал полное публичное удовлетворение в „Новой Рейнской Газете“, лично помирился с ним в Берлине (в августе 1848 г.), а позже выступил в его защиту в „Трибуне“ (1851)“. Имеется в виду нью-йоркская „Трибуна“, в которой Маркс сотрудничал в 50-х годах. Письмо Маркса напечатано в „Briefwechsel zwischen Lassale und Marx“, издаваемой Густавом Майером, 1922, том III, стр 282.

вернее, не только из этих кругов, но и из рядов польской *демократической* эмиграции. Вот основной первоисточник порочащих слухов про Бакунина, к которому поляки относились недоверчиво еще в 1846 году, т.-е. за полтора года до сплетни, пущенной про него в Париже Киселевым. Если и реакционеры (как Гизо), и либералы (как Ламартин), и радикалы так легко поверили этой сплетне, так это случилось именно потому, что она подтверждалась разговорами, циркулировавшими среди польских эмигрантов.

Для нас, знающих теперь (в значительной мере по «Исповеди» самого Бакунина, а также по другим, опубликованным с тех пор, сведениям), что эти слухи распространялись про Бакунина *задолго* до их опубликования в газете Маркса, это опубликование не представляет ничего неожиданного, тем более ничего возмутительного. Демократическая газета, считавшая русский царизм опаснейшим врагом мировой революции, сочувствовавшая борьбе польской нации за свободу и видевшая контр-революционную опасность славянского движения, используемого реакцией (что видел и сам Бакунин), *обязана* была гласно поднять вопрос о Бакунине, раз против него выдвинуто было обвинение в содействии видам русского правительства, особенно в критический для революции момент. Не понимать этого могут только тенденциозные писатели-анархисты, пытающиеся запоздалым путем чеканить теперь монету для своих партийно-политических целей из несчастья, постигшего Бакунина по причинам, не зависевшим ни от чьей доброй или злой воли.

Именно анархисты [1]), отчасти вслед за Герценом, и создали легенду о том, что *впервые* указанное обвинение против Бакунина было выдвинуто «Новой Рейнской Газетой». Приведенные нами до сих пор многочисленные факты, заимствованные по преимуществу из писаний главного заинтересованного лица, т.-е. самого Бакунина, показывают, насколько эта легенда расходится с действительностью. Сам Бакунин отлично знал, в чем дело, знал, откуда идут порочащие его слухи, знал, что Маркс здесь ни при чем. В «Исповеди» он прямо говорит, что «*польские демократы были, если и не первыми изобретателями*

---

[1]) Особенно старались в этом отношении Гильом, Неттлау, В. Дав и Черкезов. Масса анархистов, по незнанию и по доверию к этим великим авторитетам, слепо повторяет за ними все выдуманные ими благоглупости (придуманные отчасти тоже по незнанию).

(таковым он считал посла Киселева.—*Ю. С.*), *то без сомнения главными распространителями моего* (*Бакунина*) *незаслуженного бесчестья*». И в той же «Исповеди» он об'ясняет, что *возникли эти слухи на почве его неоднократных попыток войти в доверие к польским демократам и добиться сближения с ними для общей революционной работы.*

Этим и об'ясняется, почему он сравнительно беззлобно отнесся к появлению инкриминируемой заметки в «Новой Рейнской Газете» и так легко признал себя удовлетворенным ее об'яснениями В то время (в 1848 г.) и в «Исповеди» (1851 г.) он был глубоко убежден, что вся эта сплетня идет от русского посольства в Париже, с одной стороны, и от поляков-эмигрантов, с другой. И только через много лет, отчасти под влиянием уверений Герцена (как мы позже узнаем), отчасти из политических целей, для вящей славы анархии, начал ставить вещи в иную перспективу и приписывать ненавистным немецким коммунистам гораздо большую роль во всей этой истории, чем они в действительности играли. А от него уже это перешло впоследствии в анархическую легенду, усердно питаемую и раздуваемую господами Гильомами, Неттлау и Черкезовыми в партийных целях.

При аресте Бакунина в мае 1849 г. среди отобранных у него документов найдено два, относящихся к этому делу. Первый из них представляет нечто вроде наброска статьи для газеты; второй представляет, повидимому, проект письма в редакцию «Новой Рейнской Газеты», написанный уже после появления в этой газете опровержения первой парижской корреспонденции [1]).

Вот что гласит первый документ (без даты):

«*Новая Рейнская Газета* взяла на себя оглашение слуха, который, по ее утверждению, циркулировал в известных кругах Парижа, слуха о том, что я—агент или шпион русского правительства. У госпожи Жорж-Занд якобы имеется этому письменное доказательство. Позже «Новая Рейнская Газета» по определенному требованию госпожи Занд напечатала ее письмо, решительно отрицающее ссылку на нее. При этом газета заявила, что опубликованием слуха она думала оказать мне услугу, дав мне возможность оправдаться. Пусть будет так,

---

[1]) Оба документа написаны по-немецки; мы даем их в переводе.

хотя такого рода дружеская услуга кажется мне довольно оригинальной, между прочим еще и потому, что редакция должна же была понимать, что не все те, кто читал первую статью или слыхал о ней, узнают и о последовавшем опровержении. Однако я не хочу вдаваться в поиски другого мотива, который мог руководить редакцией названной газеты. Ибо, во-первых, теперь не время для личных счетов, а затем я, по собранным сведениям, действительно убедился, что *такие слухи на мой счет на самом деле шли в известных углах* [1]). Как ни неприятно узнавать подобные вещи, тем не менее к ним приходится быть готовым с того момента, как занимаешь известное общественное положение. Но что меня поистине огорчает, так это то, что, как я убедился, *распространение этой клеветы не обошлось без участия известной части польской эмиграции* [2]). Должен сознаться, я думал, что в праве рассчитывать на большее доверие со стороны польской эмиграции.

«Но как бы там ни было, я с своей стороны очень хорошо знаю, что *единственным источником распространяемых про меня клеветнических слухов является русское правительство* [3]). После того, как я около 5 лет тому назад за прежние литературные нападки на него и за отказ возвратиться на родину был заочно приговорен к каторжным работам в сибирских рудниках, оно потребовало и добилось от г. Гизо моей высылки из Парижа, где я жил в качестве эмигранта, за речь, которую я год тому назад произнес на польском национальном празднестве. Не довольствуясь этим, оно пыталось убить меня морально, внушив г-ну Гизо, что я—способный человек, услугами которого оно-де пользовалось, но так как я зашел слишком далеко, то оно не может более терпеть моего пребывания во Франции. После этого я переехал в Брюссель, где, как мне достоверно известно, оно через посредство г. Дюшателя старалось распустить слух, что я бежал из Сибири, но не по политическим причинам, а потому, что я похитил крупную сумму денег. Когда я позже поехал в Берлин, тамошняя полиция была уже предупреждена, что я направляюсь в Петербург, чтобы там вместе с другими русскими совершить цареубийство. Впоследствии я с той же целью послал

---

[1]) Курсив мой.
[2]) „ „
[3]) „ „

якобы в Петербург двух поляков [1]). Но в то же время я оказываюсь русским шпионом, на которого, по словам «Рейнской Газеты», ложится главная доля ответственности за недавние аресты несчастных польских патриотов. Какая еще ответственность в ближайшем будущем ляжет на меня, я не могу предвидеть; но я хорошо знаю, что фантазия русского правительства, раз возбуждена его злоба, неутомима, и от нее можно ждать всяких сюрпризов. Поэтому я впредь не стану возражать на всякую отдельную клевету; но чтобы раз навсегда отнять у честных и разумных людей возможность подозревать меня в том, что я действую в интересах нынешнего русского правительства, я на следующих страницах вполне точно охарактеризую всю мою политическую позицию, равно как и преследуемую мною цель».

Дальше идет примыкающий сюда отрывок, представляющий, повидимому, начало бакунинской profession de foi.

«Я имел счастье очутиться в положении, позволившем мне открыто высказать то, что многие мои земляки чувствуют, знают и хотят так же, как и я, а может быть, и лучше, чем я. А это было крайне неприятно для русского правительства, ибо его политика относительно Европы заключается как раз в стремлении окружить Россию китайской стеной, через которую не мог бы из этой великой империи прорваться ни один звук, будь это стон боли или возмущения. Вся сила русского царя основывается на лжи—лжи внутри и лжи вовне: это такая колоссальная и искусная система лжи, какой, пожалуй, еще не существовало во всемирной истории.

«Разрушение этой системы мой друзья и я поставили задачей своей жизни. Нисколько не скрывая от себя величайших трудностей, с которыми нам придется бороться, мы твердо уверены, что наша цель достижима. Ибо ни одна страна в Европе не стоит, пожалуй, так близко к радикальному перевороту и не получает столько революционных толчков, как Россия» (здесь рукопись обрывается).

---

[1]) Между прочим, в „Деле“ III отделения о Бакунине нет указания на то, что русская полиция подозревала его в замыслах на цареубийство. А между тем такое обвинение выдвинуто, со слов прусской полиции, в обвинительном акте саксонского суда против Бакунина. Возможно, что русское правительство, само не подозревая Бакунина в подобном умысле, распускало про него такие слухи за границей, чтобы вернее добиться его выдачи.

Второй документ (тоже без даты), представляющий проект письма в редакцию «Новой Рейнской Газеты», гласит следующее:

«Только сегодня я вернулся в Берлин [1]) и мог прочесть Ваше, относящееся ко мне заявление в №... «Новой Рейнской Газеты». Я спешу Вам ответить. Напечатав адресованное Вам письмо Жорж-Занд, уличающее во лжи Вашего парижского корреспондента, Вы, господин редактор, об'являете инцидент исчерпанным. К сожалению, я не могу в данном случае с Вами согласиться, так как для меня он только начинается. Не сварливость и еще менее тщеславное желание занимать публику своей личностью побуждают меня углубляться в эту противную историю; поверьте, если бы мне позволительно было следовать своему внутреннему чувству, я бы не нарушил молчания и оставил бы клевету Вашего корреспондента без ответа. Время теперь слишком серьезное для того, чтобы испытывать большую охоту возиться с личностями, а вдобавок существуют такие нападки, которые столь неожиданны и нелепы и возбуждают такое отвращение, что только с величайшим трудом можно заставить себя обратить на них внимание. Такое чувство Вы наверно испытали бы, если бы кто-нибудь обвинил Вас в краже серебряных ложек. К сожалению, я не в праве оставить без внимания брошенное против меня и столь мало затрагивающее меня обвинение; как ни скучно, ни противно и даже ни оскорбительно для меня такое занятие, я все же должен продолжать раз начатое мною расследование до тех пор, пока не получу полного удовлетворения. Для всех должно стать ясно, что меня оклеветали самым низким образом; это я обязан сделать в виду своей политической деятельности и еще более перед моим отечеством, единственным демократическим представителем которого в Германии и на немецкой границе Польши являюсь я один.

«Русское правительство является основным источником всех этих клевет. Оно исполнено непримиримой ко мне вражды, так как я тяжко перед ним провинился: в публичной речи [2]) я обрисовал его глубокую безнравственность и его еще большее бессилие; я разрушил старательно распространяемую им иллюзию,

---

[1]) Судя по этому указанию, письмо относится к августу 1848 г. Заявление редакции „N. R. Z." появилось в номере от 3 августа.

[2]) Бакунин имеет в виду свою речь на польском собрании в Париже в ноябре 1847 г.

будто оно представляет нечто единое с русским народом и действует и живет согласно с живым национальным сознанием; я обнаружил трещину, отделяющую его от народа, и доказал, что эта трещина с каждым днем все более расширяется в пропасть, в которую оно скоро свалится со всеми своими мерзостями и неправдами. Я предсказал близкое крушение этого правительства и появление освобожденной русской нации из развалин российской империи.—И от имени русской революционной партии, от имени всех бродящих в народе сил, рвущихся к свету и свободе, я предложил польскому народу революционный союз против нашего общего врага, против царя Николая и его правительства.

«Такова была моя вина, вина тем большая, что я действовал не по самонадеянности или по капризу и не из тщеславного желания безнаказанно назвать могучее правительство, а по соглашению с моими политическими единомышленниками в России [1]) и по глубокому и твердому убеждению. Моя вина была тем большей, что я выражал не иллюзии и благочестивые пожелания, а действительно существующее сознание моего народа. и что я произнес эту речь не для одних красивых слов, а с твердым решением при первой возможности перейти от слов к делу и доказать правоту моих утверждений на практике.

---

[1]) Понимать надо не „в России“, а „из России“. Если Бакунин просто не присочинил этого соглашения для красного словца, то трудно понять, кого он здесь имеет в виду. Речь могла бы итти только о Н. Сазонове, Н. И. Тургеневе, отчасти провокаторе Я. Толстом и, конечно, о Герцене, которого в тот момент не было в Париже, но который по существу был в этом вопросе солидарен с Бакуниным. О соглашении с живущими в России единомышленниками не может быть, разумеется, и речи. Но возможно, что здесь Бакунин хотел пустить пыль в глаза немецким демократам, уверив их, что у него есть связи с революционерами в самой России. По отношению к славянам он пускался на такие приемы, для того чтобы поднять их настроение. В этом он отчасти сознается в „Исповеди“; об этом же говорится и в обвинительном против него акте австрийского суда, где мы встречаем следующее указание: „Кроме того, *Бакунин*, насчет указаний в его брошюре („Воззвание к славянам“) на Россию, об‘явил, что хотя он был всегда убежден, что революция в России есть вещь весьма отдаленная и не может воспоследовать прежде восстановления Польши,—но что он старался утверждать, особенно чехов, во мнении, что в России существует много революционных элементов, для того, чтобы тем ободрить их, а с другой стороны, для противодействия надеждам панславянской партии на монархическую Россию“.

«Русское правительство, естественно, не могло быть мне за это благодарным. Правда, я ничего нового ему не открыл; оно хорошо знает, что я сказал чистую правду, высказал истины, которые ежедневно выражаются в самой России, почти в каждом доме, только с большей энергией и злобой; в конце концов моя вина или заслуга заключалась только в том, что я имел счастье оказаться в таком положении, которое позволяло мне открыто высказать то, что множество моих земляков думают, чувствуют и хотят так же хорошо, как и я, а может быть, и много лучше, чем я. Но именно это должно было быть крайне неприятно для русского правительства, так как вся его политика относительно Европы заключается как раз в стремлении окружить Россию китайской стеною, через которую не мог бы из этой великой империи прорваться ни один звук, будь то стон боли или возмущения. Ложь—это сокровенная душа его, на лжи основывается вся сила великого царя — лжи внутри и лжи вовне: это колоссальная и искусная система лжи, подобной которой еще не существовало во всемирной истории. Было бы невозможно скрыть от глаз всего мира, что русская правительственная система представляет ужаснейший деспотизм, постыдное господство кнута; но Европа должна думать, будто русский народ так глубоко пал, так глуп и даже так низок, что он любит и боготворит свое правительство, другими словами, что кнут служит выражением его сокровенного существа.

«Европа должна думать, будто русский народ так особенно устроен, что он чувствует себя счастливым и возвышенным только тогда, когда его бьют, жмут и сдирают с него шкуру. Всему этому Европа должна верить для того, чтобы быть в состоянии верить вообще в могущество русской империи; ибо без единомыслия со своим народом никакое правительство не может быть сильным, а такое единомыслие было бы для русского народа возможно только при указанных позорных условиях. Таким образом, в интересах царя лежит распространение и упрочение этого предрассудка в мире» (здесь рукопись обрывается).

Оба наброска остались, повидимому, незаконченными. Письмо в редакцию «Новой Рейнской Газеты» не было послано. Когда Бакунин писал его, им отнюдь не руководило желание вступать с газетой в какую-нибудь полемику личного свойства. Напротив, как мы ниже увидим, он, по его собственному сви-

детельству, счел себя в тот момент вполне удовлетворенным об'яснениями редакции. Поэтому его заявления о том, что он несогласен с мнением редакции, будто инцидент исчерпан, не следует понимать так, что он собирался продолжать с нею личные пререкания или требовать нового удовлетворения. Об'яснение дается его дальнейшими словами, что для него лично инцидент только начинается. Это значит, что Бакунин считал нужным рассеять накопившиеся вокруг него недоразумения и раз навсегда отнять, как он выражается, у честных людей всякую возможность сомневаться в его политической лойяльности. Достигнуть этого он думал изложением своего символа веры, для чего и начал составлять приведенные выше два наброска. Почему он в тот момент не довел начатого дела до конца, мы не знаем. Вернее всего, он был отвлечен от него в сторону начавшейся у него революционной работой, в частности составлением «Воззвания к славянам». С другой стороны, он, вероятно, предпочел доказать нелепость распространяемых на его счет клеветнических слухов делом, практикой, революционной работой, в которую скоро ушел с головою. Лишь через 20 лет [1]) он вернулся к своей старой мысли дать изложение своей profession de foi —тоже в виде письма в редакцию, на этот раз брюссельской газеты «Liberté», в 1869 г., каковое письмо, скоро разросшееся в брошюру, он так и озаглавил «Исповедание веры русского демократа-социалиста» [2]). Но и это письмо тоже осталось незаконченным и не увидало света. Такова, впрочем, была участь большинства литературных опытов Бакунина.

В своей «Исповеди» Бакунин рассказывает, что с порочащими его слухами он снова столкнулся, когда приехал из Праги в Бреславль.

«Слух о моем шпионстве уж не ограничился глупою болтовнею поляков [3]), но нашел место в немецких журналах. D-r Marx [4]), один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захо-

---

[1]) Если не считать письма к адвокату Отто в 1849 г., которое не могло рассчитывать на особенно широкое распространение.

[2]) Об этом см. в 3-м томе нашей работы.

[3]) Итак, Бакунин снова устанавливает, что первоисточником порочащих его слухов кроме, разумеется, русского правительства были *польские круги*.

[4]) Доктор Маркс.

тел быть принужденным посетителем их общества и собраний [1]), был в это время редактором «Rheinische Zeitung» [2]), выходившей в Кельне. Он первый напечатал [3]) корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил много поляков [4]); а так как «Rheinicshe Zeitung» была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде и уж громко говорили о моем мнимом предательстве. С обеих сторон стало мне тесно; в глазах правительств я был злодеем, замышлявшим цареубийство [5]), в глазах публики—подлым шпионом. Я был тогда убежден, что оба клеветливые слухи происходили из одного и того же источника [6]). Они безвозвратно определили мою участь: я поклялся в душе своей, что не отстану от своих предприятий и не собьюсь с дороги, раз начатой, и пойду вперед, не оглядываясь, и буду итти, пока не погибну, и что погибелью своею докажу полякам и немцам, что я не предатель».

В 1871 г., т.-е. даже тогда, когда он уже начал творить анархическую легенду, Бакунин писал об этом следующим образом: «В 1848 году я был моложе и впечатлительнее и вследствие этого менее терпелив и индифферентен, нежели теперь; поэтому, как только я прочел эту корреспонденцию из Парижа в газете г-д Маркса и Энгельса, я сейчас же поспешил написать

---

[1]) Любопытно, что здесь Бакунин устанавливает причину расхождения между ним и Марксом: это—враждебное отношение Бакунина к коммунистической пропаганде среди немецких рабочих в Брюсселе. Об этом мы говорили выше. Но о „пангерманизме“ Маркса, как причине вражды к славянину Бакунину, здесь нет и речи. А к общему тону „Исповеди“ (см. главу IV) такая выходка весьма бы в данном месте подходила.

[2]) Бакунин дает неполное название газеты („Рейнской“ она называлась в 1842 г., а теперь она называлась „Новой Рейнской Газетой“).

[3]) Итак, вина Маркса не в том, что он сочинил сплетню, а первый ее опубликовал. Выше мы уже указывали, что он обязан был это сделать.

[4]) Опять не точно. Корреспонденция в этом Бакунина не упрекала, а говорила, что у Жорж-Занд есть документы, якобы доказывающие вину Бакунина.

[5]) В это же время распространялись, очевидно, русскими дипломатическими агентами и просто агентами за границей слухи, будто Бакунин вместе с поляками подготовляет покушение на Николая I. Бакунин решительно отрицает такой умысел.

[6]) То-есть из русских посольских источников.

письмо г-же Жорж-Занд, которая тогда была гораздо революционнее, чем в настоящее время, и к которой я питал тогда искреннее и глубокое уважение. Это письмо, в котором я просил у нее об'яснения приписываемых ей выражений на мой счет, было передано ей моим другом Адольфом Рейхелем. М-me Жорж-Занд ответила мне очаровательным письмом, в котором выражала мне самую лойяльную дружбу. Одновременно она послала г. г. Марксу и Энгельсу энергичное письмо, в котором с возмущением требовала у них отчета в злоупотреблении ее именем для оклеветания ее друга Бакунина, к которому у нее столько же дружеских чувств, сколько и уважения. С своей стороны я попросил своего друга, поляка Косцельского, отправлявшегося в Кельн по своим делам, потребовать от моего имени у редакторов «Новой Рейнской Газеты» или публичного отказа от своих слов, или удовлетворения оружием. Под таким двойным давлением (?) эти господа оказались крайне любезными и предупредительными. Они опубликовали письмо, посланное им Жорж-Занд и чрезвычайно неприятное для их самолюбия, и прибавили несколько строк, в которых выражали сожаление по поводу того, что в их отсутствие появилась в их газете нелепая корреспонденция, затрагивающая честь их «друга Бакунина», ими также очень ценимого и уважаемого. После такого заявления... мне, понятно, не приходилось требовать у них другого удовлетворения» [1]).

Мы видим, что в этом письме Бакунин, вопреки своим не по разуму усердным поклонникам, признает, что Маркс и Энгельс дали ему тогда достаточное удовлетворение. То же самое, в еще более определенных выражениях, он повторяет в другом месте, написанном приблизительно около того же времени. Мы имеем в виду примечание Бакунина ко второму выпуску «Кнуто-Германской Империи», каковое мы уже отчасти цитировали выше, когда излагали конфликт между Бакуниным и Марксом по поводу «демократического легиона» Гервега [2]). Рассказав о том, что размолвка между ним и обоими друзьями произошла вследствие защиты им Гервега, Бакунин продолжает:

«Я скоро ощутил это. В Кельнской газете («Die Rheinische Zeitung»), которую они издавали в эту пору, появилась коррес-

---

[1]) „Письмо в брюссельскую газету „Liberté“, 1871 г. (Bacounine.— „Oeuvres“ т. V, стр. 364—5.).

[2]) См. издание „Голоса Труда“, 1919 г., стр. 139 сл.

понденция из Парижа, написанная с теми подлыми намеками и с тем искусством в ядовитом инсинуировании, секретом которого обладают одни лишь корреспонденты немецких газет (!)».

«Корреспондент вложил в уста госпожи Жорж-Занд весьма странные и совершенно позорящие слова на мой счет: она будто бы сказала (я не знаю, и сам корреспондент, конечно, не знал, ни где, ни кому, ни как, ибо он все изобрел, и, по всей вероятности, корреспонденция была сфабрикована в Кельне), что я—русский шпион. Мадам Занд благородно, энергично протестовала. Я послал к ним одного друга. Мне хочется думать, что их собственное чувство справедливости и уважение к себе самим больше, чем мое требование об'яснений и формальный протест г-жи Занд, заставили их напечатать тогда в их газете *вполне удовлетворительное*[1]) опровержение»[2]).

Но в первый момент публично высказанное обвинение, конечно, подействовало крайне болезненно на Бакунина, тем более, что на время парализовало его революционную работу, естественно смутив людей, с которыми ему приходилось вести конспиративные дела. Сам Бакунин впоследствии, в начале 70-х годов, так рассказывал о впечатлении, произведенном ужасной инсинуацией: «Это обвинение, как камень, внезапно свалилось мне на голову в ту самую минуту, когда я был в разгаре революционной организаторской работы, и на несколько недель парализовало мою деятельность. Немецкие и славянские друзья покинули меня. В то время я был первым русским, который активно вмешался в революционные дела. И мне нет надобности напоминать про чувство обычной и традиционной недоверчивости, которую испытывают европейцы, слыша разговоры о русских революционерах».

Как удручающе подействовало это публично брошенное обвинение на Бакунина, как тяжело он чувствовал себя в это время, насколько он был временно выбит им из колеи, видно по тому, что он пишет об этом в своей «Исповеди». Даже когда он сидел за семью замками в Петропавловской крепости, без надежды когда-либо выйти из душного каземата на волю, даже когда он беседовал с бездушным палачем Николаем, который, конечно,

[1]) Курсив мой. Эти слова нужно запомнить для надлежащей оценки тех литераторов, которые впоследствии старались использовать против Маркса этот инцидент.

[2]) „Кнуто-Германская империя“, изд. „Голоса Труда“, стр. 139—140.

меньше всего мог сочувствовать огорчениям Бакунина по поводу выдвинутого против него обвинения в принадлежности к царской политической полиции, воспоминание об этих ужасных днях и тяжелых переживаниях исторгает из его груди скорбные и негодующие ноты.

«После нескольких об'яснений,—говорит Бакунин,—отчасти письменных и личных, отчасти же напечатанных в немецких журналах, не находя более никакой пользы, ни цели моему пребыванию в Бреславле, я в начале июля отправился в Берлин,—пробыл в нем до конца сентября. В Берлине виделся часто с французским посланником Emanuel Arago [1]), встречал у него турецкого посланника, который неоднократно просил меня посещать его; но я у него не был, не желая, чтобы обо мне говорили, что я какими бы то ни было образом служу турецкой политике против России, в то время как я желал, напротив, освобождения славян из-под турецкой власти и совершенного разрушения последней. Видал также многих немецких и польских членов прусского законодательного или конституционного собрания, большею частью демократов, однако держал себя от всех в великом отдаленьи, даже от тех, с которыми был прежде довольно близок в Бреславле: мне все казалось, что на меня все смотрят как на шпиона, и я готов был каждого за это ненавидеть и от всех удаляся. Никогда... не было мне так тяжело, как в то время; ни прежде, ни потом, ни даже тогда, когда, лишившись свободы, я должен был перейти через все испытания двух криминальных процессов. Тут я понял, сколь тяжко должно быть положение действительного шпиона, или как подл должен быть шпион для того, чтобы переносить равнодушно свое существование. Мне было очень тяжело!»

Об'яснить этот печальный инцидент злой волей Маркса и Энгельса, преследовавших Бакунина сознательной клеветой (как это делают анархисты-писатели), конечно, смешно. Нельзя допустить, чтобы уже в 40-х годах Маркс и Энгельс предвидели, что через 20—25 лет им придется вести с Бакуниным отчаянную борьбу за направление международного рабочего движения, тем более, что в рассматриваемый период Бакунин не имел к нему никакого отношения. Причины этого рокового недоразумения, преследовавшего Бакунина почти до конца жизни, лежали гораздо глубже.

---

1) Эмануэль Араго.

Бакунин сам указывает на эти причины. Выше мы видели, что он говорит о застарелой недоверчивости тогдашних европейских людей к такому новому и непонятному для них явлению, как русский революционер [1]). И он, конечно, прав. Что отношение это было тогда общим, что оно распространялось не на одного Бакунина, видно из слов Герцена, который по поводу обвинений, выдвигающихся против Бакунина, говорит: «Не знаю, почему так выходит, но всякий раз, когда видят русского революционера, его принимают за царского шпиона; иногда не находят способа *согласовать аристократическое происхождение с убеждениями демократа*, иногда удивляются тому, что богатые люди делаются социалистами. Наша привычка сорить деньгами, наш откровенный радикализм шокирует буржуазный мир»...

«Я слышал несколько раз следующее замечание: «Как ухитрялся Бакунин иметь деньги? Его семья не присылала ему ничего, и, однако, иногда деньги у него бывали; по меньшей мере, имеешь право заподозрить, что они ему доставались от русского правительства».

— «А почему вам не приходит в голову, что эти деньги исходят, напротив, от врагов русского правительства?» [2]).

В действительности Бакунину помогали его знакомые и друзья, русские и иностранные; но большею частью он страшно бедствовал всю свою жизнь.

В дополнение к словам Герцена о том, что русских революционеров в те отдаленные времена принимали «за царских шпионов», мы можем привести следующий факт, о котором сообщает сам Бакунин. В своем «Rapport sur l'Alliance» [3]) он рассказывает, что и А. Серно-Соловьевича швейцарские интернационалисты одно время об'являли «русским шпионом». А ведь дело происходило в конце 60-х годов, и Серно-Соловьевич не был даже панславистом, а напротив решительным врагом панславизма, в том числе и революционного, и вел борьбу с Герценом и тем же Бакуниным.

Неудивительно, что в сороковых годах, когда русский революционер был в полном смысле слова белой вороной, и когда

---

[1]) Эту именно мысль Бакунин высказал и в своем открытом письме к графу Дюшателю, пустившему эту инсинуацию с парламентской трибуны в 1847 году (см. выше выдержку из этого письма).

[2]) „Бакунин. (Письмо к Мишле)". — Соч. Герцена, т. VI, стр. 484—485.

[3]) Bakounine. „Oeuvres", VI, 216.

русский абсолютизм, в качестве международного жандарма, кошмаром навис над европейской демократией, повсюду усматривавшей фатальную руку петербургского кабинета, это недоверие было еще распространеннее и сильнее. Не забудем, что Бакунин был первым русским революционером, открыто выступившим в Европе в качестве активного деятеля и участника европейских революционных движений. Европейская демократия, смотревшая тогда на Россию как на оплот реакции в Европе и даже проповедывавшая против нее крестовый поход, с величайшим недоверием относилась к русским, которых по общему правилу знала тогда как верноподданных слуг своего правительства. Зная, кроме того, что русская дипломатия стремится использовать все европейские потрясения в своих интересах и даже не прочь возбуждать через своих агентов смуты, — как, например, среди славянских народностей, особенно в Турции, — европейские демократы, для которых русский революционер был невиданной новинкой, не могли сразу понять Бакунина и смотрели на него с подозрением и опаской, *тем более, что в его проповеди им слышались панславистские нотки,* которые должны были еще сильнее настраивать их на подозрительный лад, так как панславизм был излюбленным орудием российской дипломатии [1]). Теперь подобное недоразумение, подобное смешение понятий, конечно, невозможно, но в то время оно было довольно естественно, и его отнюдь нельзя об'яснять злой волей замешанных в нем лиц.

В цитированном примечании в «Кнуто-Германской Империи», равно как в ряде других мест, Бакунин сам связывает распространение клеветы против него с подозрением в панславизме. Что Бакунин не был панславистом в обычном смысле этого

---

[1]) Насколько европейские демократы того времени боялись панславизма и каким кошмаром он тяготел над ними, видно, между прочим, из воззвания „Европейского Демократического Комитета“ от 20 июля 1850 г. к полякам. Там, между прочим, говорится: „Федерация славянских народов, но не панславизм. Панславизм... это не мир свободы. Это чудовищное понятие, вытекающее из военного деспотизма; вся Европа отвергла бы его. Разве он не был, впрочем, изобличен, начиная с 1825 года, даже на берегах Невы? Панславизм — это царь. Но не с ним, а с мучениками русской свободы, с Пестелем, Муравьевым, Бестужевым и с их товарищами, может и должен народ польский возобновить отношения“ (цит. у Лемке, прим. к собр. соч. Герцена, т. XIV, стр. 18).

слова, что он, напротив, старался отгородиться от реакционного панславизма и подчас вел с ним ожесточенную борьбу, это доказывается всей его работой. Но что его деятельность как 1848 г., так и значительно позже, вплоть до середины 60-х годов, окрашена была совершенно чуждым для современного социализма духом своеобразного революционного панславизма, это не подлежит сомнению. И хотя он в славянофильских увлечениях никогда не доходил до крайностей Герцена и не изрекал хулы на всю европейскую цивилизацию, тем не менее, у него этот революционный панславизм еще более резко бросался в глаза, потому что он не ограничивался литературной пропагандой, а вмешивался в самую гущу жизни и борьбы. Это особенно возбуждало против него недоверие и вражду европейских демократов, видевших в панславизме опаснейшее орудие царизма, направленное против революции. К революционному панславизму они относились не менее враждебно и подозрительно, чем к казенному. Ибо, даже допуская личную честность и политическую порядочность выразителей первого, они находили, что об'ективные его результаты столь же реакционны, анти-революционны, как и действие казенного панславизма [1]).

Весьма характерно, что *парижская корреспонденция*, из-за которой весь сыр бор загорелся в 1848 году, *прямо связывала подозрение против Бакунина с его тогдашней работой среди славян.* Инкриминируемая заметка начиналась словами: «Несмотря на наше внутреннее брожение, здесь очень внимательно следят за борьбой славянской расы в Чехии, Венгрии и Польше. В связи с славянской пропагандой нас уверяли», и дальше идет выпад против Бакунина.

Интересно, что клевете на Бакунина верили не только немцы, якобы ненавидевшие его по пангерманистским мотивам, но и поляки, которых даже Бакунин ни в каком пангерманизме заподозрить не мог. Об этом сообщает и он сам, и Герцен, кото-

---

[1]) Сам Бакунин, конечно, ставил вопрос иначе. Не отрицая связи между подозрительным отношением к нему и его славянской деятельностью, он об'яснял все дело немецким национализмом своих противников, доходя в этом отношении до геркулесовых столбов и об'являя пангерманистами и бисмаркианцами даже Маркса, Энгельса, Либкнехта и пр. А между тем, как мы увидим ниже, бакунисты были в хороших отношениях как раз с той германской фракцией (швейцерианцы, лассальянцы), которую единственно можно было обвинять в бисмаркианстве.

рый в цитированном «Письме к Мишле» пишет: «Находились немцы и, к несчастью, поляки, распространявшие постыдный слух, будто Бакунин состоит агентом русского правительства». Таким образом, ясно, что здесь действовали причины общего характера, и что «германский патриотизм» в данном случае ни при чем [1]).

Бакунин сам прекрасно понимал эти причины общего характера. В той же «Кнуто-Германской Империи» он ясно выражается на этот счет. «Немецкие рабочие,.— говорит он, — естественно страстные враги союза с Россией и русской политики. Русские революционеры не должны удивляться, ни даже слишком огорчаться, если иногда немецким рабочим случается распространять и на самый русский народ столь глубокую и столь законную ненависть, которую им внушают существование и все политические акты Всероссийской Империи... Не смешивают ли они (немецкие рабочие), часто, слишком часто, следуя в этом примеру и советам многих своих вожаков [2]), русскую империю и русский народ в одном и том же чувстве презрения и ненависти, даже не подумав, что этот народ есть первая жертва и непримиримый враг и вечный бунтовщик противника этой империи, как я часто имел случай доказывать это в моих речах и моих брошюрах?.. Но немецкие рабочие могут возразить, что они не считаются со словами, что их суждение основано на фактах, и что все русские действия, о которых известно за границей, это — действия анти-гуманные, жестокие, варварские, деспотические. На это русским революционерам нечего ответить. Они должны будут признать, что до известной степени немецкие рабочие правы. Каждый народ более или менее солидарен за действия, совершенные его государством

---

[1]) У Герцена все-таки выходит, что поляки здесь—так себе, между прочим („и, к несчастью, поляки"), главная же вина падает на зловредных немцев (конечно, „марксидов", как он их после называл). За цитированными словами у него идет: „Такая клевета преследовала его до темницы, благодаря одному газетному пасквилянту" (и дальше следует рассказ об инциденте с „Новой Рейнской Газетой"). Насколько неточен был Герцен, видно из того, что, по его словам, опровержение „Новой Рейнской Газетой" было опубликовано якобы „лишь тогда, когда кости несчастного мученика трещали под пыткой", т.-е., будто бы через год. На самом деле опровержение появилось тогда же и Бакунин в это время был еще на свободе.

[2]) Опять намек на „марксовскую клику".

от его имени и его руками, до тех пор пока он не перевернет и не разрушит это государство» [1]).

Но так спокойно Бакунин мог рассуждать через 25 лет. В 1848 году он, конечно, не так философски отнесся к ужасному обвинению, затрагивавшему его политическую честь. Но после того, как редакция «Новой Рейнской Газеты» дала ему требуемое удовлетворение, он успокоился. Встретившись с Марксом в конце августа в Берлине, Бакунин об'яснился с ним и помирился. Друзья заставили их даже обняться [2]). Но неприятный осадок в сердце Бакунина от всей этой истории все же должен был остаться.

Следует прибавить, что 13 октября 1848 года «Новая Рейнская Газета» решительно напала на прусское министерство за высылку Бакунина из Пруссии, а передовица этой газеты от 14 февраля 1849 г., направленная против воззвания Бакунина к славянам (об этом см. ниже), прямо начинается словами: «Бакунин—*наш друг*, но это не может помешать нам подвергнуть его листок строгой критике».

5. ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ.

В Берлине же Бакунин встретился с Максом Штирнером [3]), а также с давно знакомым ему кружком Мюллера-Стрюбинга, в котором он чувствовал себя уютно и хорошо.

По сообщению Неттлау, Бакунин вращался в кругах депутатов прусского национального собрания, имевших обычай собираться в одной гостинице. Он познакомился с Максом Штирнером, если только не знал его уже в 1841 году. Передают, что Штирнеру он импонировал, и что последний прекло-

---

[1]) „Кнуто-Германская Империя“, изд. 1919 г., стр. 99.

[2]) Впоследствии (в рукописи 1871 г.) Бакунин передавал следующий маловероятный разговор, имевший будто бы место между ним и Марксом при этом свидании: „Знаешь ли ты, — сказал ему Маркс,— что я стою теперь во главе тайного коммунистического общества с такой строгой дисциплиной, что если бы я сказал какому-нибудь из его членов: „Убей Бакунина!“,--он бы тебя убил? Анекдот уже потому малоправдоподобен, что никакого „тайного коммунистического общества“ тогда в распоряжении Маркса не существовало, да и вообще Маркс был не охотник до романтических кинжалов.

[3]) Известный анархист-индивидуалист, автор книги „Единственный и его собственность“ (есть русские переводы).

нялся перед его славянским происхождением и перед его сильной, свежей, могучей природой.

Варнгаген [1]), встречавшийся тогда с Бакуниным, рассказывает про это в своем дневнике:

«Вчера вечером (т.-е. 22 июля) пришел русский Бакунин, как всегда, здоровый и полный мужества, гордый и веселый, полный сладких надежд. Его гигантское тело доставляет ему все удобства. Рассказывал мне про свои приключения в Париже, Праге, Бреславле; здесь он чувствует себя до некоторой степени в безопасности и полагает, что ему надо что-нибудь попробовать, так как накопилось много сил. Он, видимо, имеет обширные связи; он говорит, что в России у него много (?) друзей, в особенности таких, которые стали его друзьями с тех пор, как его стали преследовать. Он напечатал в 10 тысячах экземпляров воззвание на русском языке, в котором проповедуется свобода всех славян, поляков, чехов, иллирийцев и т. д... Живет он здесь под именем Жюля, министры Кюльветтер и Мильде об этом знают, граф Рейхенбах [2])—его друг. Он работает над одним произведением [3]) и держится замкнуто. От меня он пошел к Араго, с которым хорошо знаком со времени пребывания в Париже».

Вообще же Бакунин, как мы видели выше, чувствовал себя в Берлине прескверно. К этому присоединялось действие политической обстановки. Бакунин ясно видел начало надвигающейся реакции и чувствовал себя бессильным для борьбы с нею. Разочарования принесло ему и славянское дело: юго-славы под предводительством кроатского бана Иелачича выступили против венгров и явно играли роль орудия в руках контр-революции; с другой стороны, и венгерским вождям во главе с Кошутом, не ставшим еще открыто на демократический путь и тоже заигрывавшим со двором, Бакунин также не мог сочувствовать.

«При всем этом,—продолжает он,—я был пригвожден к Берлину безденежьем. Если бы у меня были деньги, то я, может быть, поехал бы в Венгрию для того, чтобы быть очевидцем... Но денег у меня не было, я не мог пошевелиться

---

[1]) К. А. Варнгаген фон Энзе, немецкий дипломат и литератор (1785—1858). Дневник его был опубликован после его смерти (в 1861—62 г.г.).

[2]) С ним Бакунин был знаком в Франкфурте и Бреславле.

[3]) „Воззвание к славянам“.

с места. Также не было и сношений с славянами; исключая одного незначительного письма Людвига Штура, на которое я хотел, но не мог ответить, ибо не знал его адреса,—я не получил из Австрии ни строки и сам ни к кому не писал. Одним словом, до самого декабря месяца я оставался в полном бездействии, так что не знаю, что даже сказать об этом времени, разве только, что я ждал у моря погоды, твердо намереваясь ухватиться за первую возможность для действия... Это было для меня самое тяжелое время. Без денег, без друзей, прокричан как шпион, один посреди многолюдного города, я не знал, что делать, за что приняться, а иногда даже не знал, чем и как буду жить на другой день. Не одним безденежьем я был пригвожден к Берлину, к Пруссии и вообще к северной Германии—еще и клеветливыми слухами, распространившимися на мой счет; и хоть политические обстоятельства уж, видимо, изменились и были такого рода, что я почти совсем перестал ожидать и надеяться, однако, я не мог и не хотел возвратиться в Париж, единственное прибежище, которое мне оставалось, не доказав сперва на живом деле искренность своих демократических убеждений. Я должен был выдержать до конца для того, чтобы спасти свою запятнанную честь. Я сделался зол, нелюдим, сделался фанатиком, был готов на всякое головоломное, только не подлое, предприятие, и весь как бы превратился в одну революционную мысль и в страсть разрушения».

В конце сентября Бакунин, по требованию русского посольства, был подвергнут обыску и выслан из Берлина, не подав к тому, как он замечает в «Исповеди», с своей стороны никакого повода. Депеша Мейендорфа от 17/29 сентября 1848 года приподнимает краешек завесы над этой историей, оставшейся в тот момент не совсем ясной для самого Бакунина. Вот что сообщает русский посол при прусском дворе:

«Бакунин, пробывший около 2 недель [1]) в Берлине, на-

---

[1]) На самом деле Бакунин жил в Берлине с середины июля. Берлинская полиция знала о его пребывании в городе, но его не тревожила, тем более, что он сидел там довольно смирно и в немецкие дела не мешался. Если бы не дружеская услуга русских шпионов, его бы, может быть, долго еще не трогали. Видимо, прусская полиция, уверив Мейендорфа, что Бакунин прожил в Берлине только две недели, просто обманула его, дабы не раздражать посла могучего „всеевропейского жандарма“.

не имел другой цели, как ознакомление с его бумагами, рассмотрение коих не указало никаких следов его связей с Россией, но показало очень тесные его сношения как с польской эмиграцией, так и с республиканцами этой страны (т.-е. Германии.—*IO. C.*).

«Полагают, что Бакунин, как человек действия, принял бы командование над баррикадами в случае конфликта, и его считают более опасным для спокойствия Германии, чем России. Поэтому он безотлагательно будет выслан из Пруссии, а Австрии доставлены будут необходимые сведения, дабы он не мог долго оставаться в ней.

«Если бы здесь произошли народные движения, он одним из первых был бы арестован и заключен в крепость» [1]).

Таким образом русская полиция старалась по мере сил удружить Бакунину, всюду возбуждая против него преследования и восстанавливая против него все правительства указанием на его опасность для них, как человека дела, способного к руководству активными революционными выступлениями. 22 сентября Бакунин выехал из Берлина в Бреславль, но уже в октябре был выслан и оттуда с воспрещением возвращаться в пределы Пруссии и с угрозой, что в противном случае он будет выдан русскому правительству. А последнее уже давно точило на него зубы. Такой угрозы для Бакунина было достаточно, и после этого он не думал уже возвращаться в прусские пределы. Хотел было он обосноваться в Дрездене, но был изгнан и из Саксонии, по недоразумению, как сказал потом саксонский министр, и на основании старого требования русского посольства. В те времена рука русского царя доставала далеко. Тогда он, «гонимый из края в край», уехал через Лейпциг в Кэтен и нашел безопасное убежище в Ангальте, который, странным образом, расположенный посреди прусских владений, представлял тогда нечто вроде свободного оазиса в Германии. В Кэтене Бакунин встретил нескольких старых товарищей по Берлинскому университету и спокойно прожил несколько месяцев в мирной, уютной провинциальной обстановке, занимаясь с друзьями охотой на зайцев. Здесь он, между прочим, познакомился с министрами Гебрихтом и Коппе.

---

[1]) На этой депеше Мейендорфа Дубельт сделал характерную надпись: „Если бы прусское правительство действовало твердо, то оно выдало бы нам этого мошенника“.

Отдыхая, Бакунин понемногу занимался конспирациями, особенно с чехами, и писал свое «Воззвание к славянам». Друзья, которых он приобрел за это время, впоследствии помогали ему, когда он сидел в крепости; напротив, поляки, с которыми он был прежде так близок, оставили его на произвол судьбы, что страшно его возмущало. «Я мог бы многое сказать о польской надежности и благодарности [1]). Моими вернейшими друзьями остаются, таким образом, немцы. Разве это не замечательно? Славянин, русский находит своих лучших друзей в Германии»,—писал он Рейхелю 9 декабря 1849 г. из Кенигштейнской крепости.

В письмах к Гервегу Бакунин выражал свои впечатления от хода дел в Германии. В письме от начала августа 1848 г. он высказывает свое негодование и презрение немецким демократам-филистерам, храбрым в теории и на словах и ничтожным на деле и на практике. Тем не менее, он не падал духом.

Приводим письмо его к Гервегу от первой половины августа, весьма важное для характеристики тогдашнего настроения и взглядов Бакунина.

«Георгу. 1848.

«Дорогой, после того письма, которое я послал тебе из Кельна и про которое я не знаю, получил ли ты его, я не написал тебе ни одного слова.—С тех пор многое переменилось; однако наша дружба и вера друг в друга остались теми же.—Не изменились также наши главные мысли и заветные стремления, и я убежден, что при свидании мы, как и прежде, сразу поймем друг друга, как и раньше. Моя вера, моя религия еще более укрепилась, несмотря на все превратности и низости, посреди которых я живу уже в продолжение нескольких месяцев; я весьма далек от того, чтобы терять надежду, а, наоборот, вижу, не делая себе на этот счет никаких иллюзий, как приближается наш мир, мир разрушения.

«О славянстве я мог бы рассказать тебе много интересного, что тебя порадовало бы, но так как я сейчас пишу брошюру обо всех этих обстоятельствах, то не буду надоедать ни себе, ни тебе; в скором времени ты прочтешь об этом нечто

---

[1]) Возможно, что это отношение поляков к Бакунину стояло в связи со сплетнями, распространявшимися тогда на его счет.

в печати.—Германия представляет ныне интереснейшее и своеобразнейшее зрелище; однако это не призрачная борьба, а борьба теней, принимающих себя за действительность и ежеминутно чувствующих и невольно выказывающих свою бесконечную слабость. Официальная реакция и официальная революция соперничают в ничтожестве и глупости,—и при этом все пустые, философски-религиозно-политически-поэтически-добродушно-тяжеловесные фразы, которые так долго бродили в немецких головах, теперь выходят на свет божий. По правде сказать, мы с тобою часто говорили и повторяли, что пришел конец буржуазии и старой цивилизации,—и мы верили тому, что говорили, но никогда мы не думали, что мы в такой форме и настолько правы. Реакция,—я понимаю здесь реакцию в самом широком смысле слова,—реакция есть мысль, которая вследствие старости превратилась в глупость. Но революция скорее инстинкт, чем мысль, она действует и распространяется как инстинкт; и как инстинкт она дает свои первые битвы. Вот почему философы, литераторы и политики, имеющие в кармане готовые системки и пытающиеся заковать в определенные формы и границы этот необ'ятный океан,—вот почему они так же оказываются столь же глупыми и бессильными. В них нет ни капли этого инстинкта, и они боятся выкупаться в волнах этого океана.—Но революция все-таки существует, милый друг, она действует и бродит повсюду, я везде чувствовал и находил ее,—и не боюсь реакции. Теперь, Георг, ты должен-таки признаться, что Прудон, против которого ты всегда был враждебно настроен, сейчас единственный человек в Париже, единственный в политическо-литературном мире, который еще что-нибудь да понимает. Он выказал большое мужество, его речь в это мерзкое и лицемерное время была действительным, благородным делом.—Если бы он пришел к власти и его доктринерство из отрицательного перешло в положительное, то нам, конечно, пришлось бы вступить с ним в борьбу, так как в конце концов и у него ведь за пазухой своя системка. Но теперь он с нами, и во всяком случае ты согласишься, что он выказал большое и достойное удивления мужество.—Я, впрочем, очень мало интересуюсь парламентскими дебатами; эпоха парламентской жизни, ассамблей, учредилок, национальных собраний и т. п. уже прошла, и если задать себе прямо вопрос, то каждый должен будет признать, что в сущности он уже не чувствует

никакого интереса или чувствует лишь принужденный, воображаемый интерес к этим старым формам. Я не верю в конституции и в законы; самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить.—Нам нужно нечто иное: порыв и жизнь и новый, беззаконный, а потому свободный мир.—Впрочем, меня все-таки интересуют дебаты в Вене, так как посредством них выясняется состояние этого государства, о котором мы так долго ничего не знали.—Крушение Австрии составляет вопрос жизни для нас, славян, и для всей революционной партии.—Вмешаются Франция и Италия или нет? Я этого не боюсь. Буржуа предчувствуют, что война в Италии может превратиться во всеобщую войну, которая повлечет за собой великую революцию. Руге здесь—все-таки он до сих пор был во Франкфурте одним из лучших, если не лучшим.—Я его еще не видал.

До свидания, дорогой, я спешу. *М. Б.*».

А в замечательном письме к тому же Гервегу от 8 декабря 1848 года Бакунин писал: «Если бы немецкая нация состояла исключительно из широкой, к сожалению, слишком широкой массы мещан, буржуазии, из того, что можно теперь назвать официальной, видимой Германией, если бы под этой официальной немецкой нацией не имелось *городских пролетариев*, *а особенно многочисленной крестьянской массы*, то мне пришлось бы сказать: нет больше немецкой нации, Германия будет завоевана и уничтожена. *Только анархическая крестьянская война*, с одной стороны, и исправление буржуазии банкротством,—с другой, могут спасти Германию». Демократические вожди боятся такой крестьянской войны и не хотят будить так называемых «дурных страстей», т.-е., поясняет Бакунин, социальных стремлений в народе. Но, полагает он, «дурные страсти вызовут крестьянскую войну, и это меня радует, так как *я анархии не боюсь*, *а желаю ее от всей души*; она одна в состоянии нас вырвать из той проклятой среды, в которой нам приходится так долго прозябать».

Отдыхать долго Бакунину в Кэтене не пришлось. «Судьба готовила ему гробовой отдых в крепостном заключении»,—как писал он после в «Исповеди». Еще в октябре, когда бан Иелачич, минуя Пешт, двинулся прямо на Вену, а князь Виндишгрец оставил с войсками Прагу, Бакунин собирался поехать в этот город, чтобы возбудить новое восстание чешских демократов.

Но не зная настроения пражских деятелей, не имея связей с чехами, ожидая сильного сопротивления со стороны умеренной партии Палацкого, Бакунин раздумал и в Прагу не поехал. Тогда-то ему и пришло на ум написать воззвание к славянам. Он сам об'ясняет мотивы, руководившие им при составлении этой прокламации, следующим образом:

«В Праге,—думал я,—меня уже давно успели забыть,—и отчасти для того, чтоб напомнить о себе пражским жителям, и для того, чтоб дать по возможности славянскому движению направление другое, более сообразное с моими собственными как славянскими, так и демократическими ожиданиями, отчасти же *для того, чтоб доказать полякам и немцам, что я не русский шпион, и проложить себе дорогу к новому сближению с ними* [1]),—я начал писать воззвание к славянам, «Aufruf an die Slaven», которое и было напечатано потом в Лейпциге. Я писал его долго, более месяца; откладывал, потом опять за него принимался, несколько раз изменял и долго не решался печатать. Я не мог выразить в нем чисто и ясно своей славянской мысли, потому что хотел опять сблизиться с немецкими демократами, считая сближение сие необходимым, я должен был лавировать между славянами и немцами, род плавания, к которому у меня не было ни большой способности, ни привычки, а еще менее охоты. Я хотел убедить славян в необходимости сближения с германскими, равно как и с мажиарскими [2]) демократами. Обстоятельства уже были не те, как в мае: революция ослабела, реакция везде усилилась, и только соединенными силами всех европейских демократий можно было надеяться победить реакционный союз правителей» («Исповедь»).

Пока Бакунин обдумывал свое воззвание, среди русской полиции поднялась большая суматоха по следующему поводу. К русскому поверенному в делах в Карлсруэ, Озерову, явился в ноябре 1848 г. эмигрант-поляк Бзовский с доносом, крайне взволновавшим николаевских жандармов, которые больше всего тогда боялись, чтобы революция не перебросилась в русские пределы. Наигрывая на этом страхе, хитрый мошенник начал дурачить Озерова, сообщая ему самые вздорные сведения о замыслах Бакунина, которого он в своем первом доносе называет автором идеи «славянского карбонарства». Сущность заявлений

---

[1]) Курсив мой.

[2]) Венгерскими.

Бзовского, принятых на веру Третьим Отделением, усматривается из нижеследующего письма Нессельроде к шефу жандармов Орлову от 29 ноября 1848 года:

«К нашему поверенному в делах в Карлсруэ ст. сов. Озерову явился под вымышленным именем *Ремера* польский выходец Бзовский. Он сделал показание касательно замыслов польской пропаганды произвести восстание в южных губерниях России, а именно в Подолии и Волыни, через посредство эмиссаров, имеющих пробраться к нам через Сербию и Княжества Молдавии и Валахии.

«Копию с депеши Г. Озерова, равно как и с приложения, в коем заключаются сии показания, имею честь препроводить у сего к Вашему Сиятельству, присовокупляя, что посланник наш в Берлине, барон Мейендорф, уже сообщил графу Медему и князю Варшавскому заключающиеся в сих бумагах сведения.

«Полагая, что показания Бзовского заслуживают внимания нашего правительства, я с своей стороны не премину предписать генеральному консулу нашему в Белграде наблюдать за действиями польской пропаганды и в особенности Бакунина, намеревающихся основать на австрийско-сербской границе, в городе Землине, главную квартиру своих злоумышленных действий.

«К сему равномерно долгом считаю присовокупить, что сии показания будут мною доведены до сведения г-на военного министра и ген.-майора Дюгамеля, находящегося ныне в Бухаресте.

«Предоставляя себе, впрочем, лично об'ясниться с Вашим Сиятельством по сему предмету, покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Получив столь важные указания, пошла писать губерния. Третье Отделение разослало копии этого донесения всем генерал-губернаторам южной и западной России, петербургскому генерал-губернатору, кронштадтскому и т. д., и т. п., а также киевскому сатрапу Бибикову и варшавскому сатрапу Паскевичу. Такие же предостережения рассылались всякий раз, как приходил новый донос Бзовского, при чем каждый из них был глупее и вздорнее предыдущего. Сколько этот Иуда выжал серебренников из царской казны, неизвестно, но что он задал много работы охранным писарям, это несомненно. Вместе с тем он раздул деятельность Бакунина в глазах николаевских жандармов до невероятных размеров.

Характерным образчиком этого ливня предостерегающих жандармских предписаний является следующее, относящееся,

впрочем, к несколько более позднему времени, письмо гр. Орлова к министру финансов Вронченко от 1 мая 1849 года:

«Получено сведение, что польский центральный комитет предположил в настоящее время стараться о возмущении в тех местах, которые приближены к театру действий мятежника *Бема*, и для этого *Бакунин* должен пробраться через Галицию в Валахию, в сопровождении многих галицийских уроженцев, что они рассчитывают в этом случае на офицеров армии, расположенной в Краковской области, между которыми граф *Морчин* и его сын стараются распространять пропаганду. Кроме того, комитет имеет в своем распоряжении много паспортов, английских и американских, для назначенных в Россию эмиссаров, и некоторые из этих эмиссаров, по всему вероятию, прибудут в С-.Петербург на пароходе *Дюнкирхен*, английские паспорты между прочим будут иметь *Джон I. Гудсон*, Роберт *Кромптон*, и Марк Исаак *Левис*, а американские—Джон *Бибингтон*, *Вебер*, Вилиам Кралан и Ромео Виллис. Лицо, открывшее нашему правительству упомянутые замыслы, обещает обозначить паспорты эмиссаров красным пятном, вверху на левом углу каждого паспорта.

«Сообщив всем г.г. Генерал-Губернаторам по Западной и Южной границам России о сделании распоряжения к наистрожайшему наблюдению за появлением лиц с вышеозначенными паспортами и задержанию их, если бы они проникли в наши пределы, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство сделать такое же распоряжение и по таможенному ведомству».

А тем временем, пока жандармы били тревогу по поводу мнимых разоблачений Бзовского, Бакунин, ничего не ведая об этой мышиной возне в охранном подполье, трудился над своей брошюрой, которой придавал важное значение.

6. ВОЗЗВАНИЕ К СЛАВЯНАМ И «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПАНСЛАВИЗМ».

«Воззвание к славянам русского патриота Михаила Бакунина, члена славянского с'езда в Праге», вышло в начале 1849 г. При всем его тогдашнем абстрактно-сентиментальном отношении к славянскому вопросу, Бакуниным руководил верный революционный инстинкт, заставлявший его избрать правильное направление в своей практической работе. Уже в то время *Бакунин ставил во главу угла общие интересы революции.* Видя, что

реакция старается использовать славян в своих интересах, и что многие из них легко на это поддаются, Бакунин делал все возможное, чтобы об'единить славянских революционеров с немецкими, а особенно с венгерскими. На первом плане здесь стояли, конечно, поляки, а затем чехи — два наиболее развитых тогда славянских племени. Между прочим, имеются указания [1]) на участие Бакунина в с'езде поляков всех направлений, от демократического до аристократического, созванном Генрихом Дембинским на 5 мая 1848 г. в Бреславле (с'езд этот остался, впрочем, безрезультатным, как и другие аналогичные попытки, в которых участвовал и Бакунин, напр., в Брюсселе). После от'езда из Праги Бакунин не оставлял своих усилий и, в противоположность Палацкому, старавшемуся сохранить лойяльность по отношению к австрийскому двору, делал попытки *об'единить славянских демократов с венграми, боровшимися за независимость Венгрии, и с немецкими революционерами.* На этих переговорах, в которых участвовали и поляки, со стороны венгров присутствовал гр. Телеки [2]).

Это стремление Бакунина *вырвать славян из-под влияния реакционеров и из орудия реакции превратить их в пособников революции* сказалось и в его воззвании к славянам.

Сущность этого воззвания заключается в попытке Бакунина убедить славян соединиться с немецкими и венгерскими революционерами, «отважно и радостно схватить протянутые руки демократов всех стран и в тесном союзе с ними сражаться за их и наше общее спасение, за их и нашу общую будущность». Теперь весь мир, — говорит Бакунин, — разделен на два стана: революционный и контр-революционный; славяне в своих собственных, правильно понятых интересах должны примкнуть к первому и вместе с ним добиваться *всеобщей федерации европейских республик*. С одной стороны, он предостерегает славян от политики австрийского правительства, старающегося натравить славян на немцев и наоборот, и упрекает их в том, что они оставили венскую демократию, «нашего естественного друга и союзника», на произвол судьбы и «пристали к своему заклятому опаснейшему врагу, династической политике и деспотизму». Но, с другой, он протестует против «нахальных притя-

---

[1]) „Колокол", № 119—120, 15 янв. 1862 г.— Мы говорили об этом выше, цитируя соответствующее место из „Исповеди".

[2]) Там же.

заний франкфуртского парламента, этого сборища, ставшего уже теперь посмешищем всей Европы, которое хотело онемечить нас», и против попытки четырех миллионов мадьяр господствовать над восемью миллионами славян. Понимая, что одной из главных причин, толкнувших славян в лагерь реакции, было национальное угнетение их более цивилизованными (немецкою и мадьярскою) нациями, Бакунин пытается *соединить и примирить национальные стремления славянства с революционными задачами.* Он убеждает славян заглушить в себе голос чувства, забыть старые обиды, соединиться с мадьярами против Виндишгреца и подать руку немецкому народу, отозвать своих солдат из Италии, ибо позор для славян, которые сами борются за свою независимость, прилагать свои руки к делу порабощения благородного народа. Он советует им отказаться от своей позорной роли опоры реакции и стать на путь «политики возвышенной, великодушной» и в то же время единственно выгодной для славянства. Центральным пунктом сражения является Австрия, и демократы должны желать совершенного разрушения Австрийской империи.

Для большей наглядности приведем несколько отрывков из «Воззвания» [1]).

«Мир разделен на два стана. Между ними не проложено никакой средней дороги. И ни одна часть не может безнаказанно отделиться от великого неразрывного союза, в котором стоят все, кто преследует одинаковую цель, и кто все вместе должны победить или покориться.

«Мир разделен на два стана. Здесь *революция*, там *контрреволюция*, — вот лозунги. На один из них должен решиться каждый, и мы, и вы, братья, должны решиться.

«Средней дороги нет. Те, которые ее указывают и прославляют,—или обманутые, или обманщики.

«Обмануты, если верят в ложь, будто можно вернее всего проскользнуть к цели, уступая понемножку обеим борющимся партиям, чтобы успокоить обе и помешать взрыву необходимой открытой битвы между ними.

«Обманщики, если хотят уверить вас, будто вы по примеру хитрых дипломатов должны стать вне обоих лагерей, что-

---

1) Воззвание перепечатано в цитированных „Избр. сочинениях Бакунина в 4-х томах". Лондон, 1915, стр. 13—39.

бы, улучивши время, примкнуть к сильнейшему и при его помощи счастливо обделать ваше собственное дело...

«Если реакция конспирирует по всей Европе, если она при помощи принятой организации действует соединенно и сплоченно, то и революция должна создать себе соответственную силу действия. Священная обязанность нас всех, борцов революции, демократов *всех* стран, соединить наши силы, постараться друг друга понять и сплотиться вместе для того, чтобы в союзе мы могли отразить и победить врагов нашей общей свободы...

«Конечною целью всего поставлена была— *всеобщая федерация европейских республик.*

«Что сделали тогда деспоты? Они говорили между собою: восстание славян грозит нам гибелью; поищем средств, чтобы превратить славянское восстание в якорь нашего спасения. Какие же средства? Вот они: натравим славян на немцев, а немцев—на славян! Собьем с толку этих еще неопытных в политике детей разными кажущимися доводами и обаятельными обманами; пусть они воображают себя мудрецами, ступая по дороге, ведущей к нашей цели. Вызовем для этого всю старую закоренелую ненависть, все справедливые и несправедливые предрассудки, все едва поколебленные причины взаимного подозрения и недоверия, шепнем это им в уши, чтобы отравить сердце, возмутить умы, ослепить души и распалить их друг против друга! Мы раздуем в неугасимый пожар этот зажженный нами огонь льстивыми обещаниями с нашей стороны, которых мы никогда не исполним...

«Но различайте хорошо, братья славяне! Если вы ждете спасения от России, то предметом вашего упования должна быть не порабощенная, холопская Россия со своим притеснителем и тираном, а возмущенная и восставшая для свободы Россия, сильный русский народ.

«От имени этого народа говорю я вам, я русский: *все наше спасение в революции и нигде более...*

«Встаньте же, славянские братья! Вы, которых призвание в том, чтобы сражаться в передовых рядах, встаньте! Во имя миллионов, которые должны скоро дать главное сражение, во имя северных славян, которые когда-нибудь потребуют от вас строго отчета, что вы сделали для нашего святого дела, во имя этого народа еще и еще раз взываю я к вам: *порвите с реакцией раз навсегда; порвите с дипломатией, порвите со*

всякой половинной и недостойной вас политикой и бросьтесь отважно и всецело в об'ятия революции!..

«Вы должны отдаться революции всецело и безусловно.

«Революционною должна быть ваша политика внутри и вне родины.

«Вы должны быть друзьями и союзниками всех народов и партий, сражающихся за революцию.

«Какие народы и партии сражаются за революцию?

«Все, которые сражаются за свою собственную независимость и вместе с тем за свободу всех, а потому в союзе против одного общего врага, против конспирации деспотов.

«Что поставила себе ближайшей задачей конспирация деспотов?

Сохранение Австрии. Австрия есть центральный пункт сражения.

«Чего должны мы вследствие этого желать?

«Противоположного тому, чего они желают: *совершенного разрушения Австрийской империи.*

«Не надо более этой администрации австрийскими чиновниками.

«Не надо этих вождей, которые наполовину возбуждают, наполовину успокаивают народ. Пусть погибнут эти злые люди, которые вечно говорили всем: агитируйте, но не слишком, потому что опасно возбуждать народ; можно достигнуть цели более кроткими, парламентарными, дипломатическими средствами. Не верьте этим людям. Освобождение наших народов может выйти только из одного бурного движения их. Дух нового времени говорит и действует только среди бури. Наша славянская натура не такова, как у отжившего старика, которому подходит только расслабленное и разжиженное; она не погибла и не испортилась, она проста и велика, и только прямота и цельность действуют на нее. Славяне должны быть огнем, чтобы творить чудеса. Агитируйте среди славянских масс без оглядки, без удержу! Зажигайте в них святой огонь. Идите апостолами пробуждающегося славянства! Соединитесь, вы, славянские народы Австрии! Соединитесь все вместе и заключите между собою священный оборонительный союз! Союз не под прикрытием австрийской династии, а союз против нее, союз для освобождения от Австрии! Союз для основания федерации, которая скоро должна соединить между собою все славянские народы. Будьте

опять, как уже были однажды в Золотой Праге, для нас, славян севера и Турции, предвестниками, сверкающей грозовой тучей всех нас освобождающей революции.

«Тогда воскреснет славянство!»

Брошюра Бакунина привела николаевских жандармов в неслыханное негодование. В «Деле» Бакунина сохранилась записка (вероятно, Нессельроде к Орлову или, может быть, Мейендорфа к Нессельроде), при которой адресату была прислана брошюра. Вот что она гласит:

«Посылаю Вам брошюру *Бакунина* так же гнусную, как и все, что он написал. В настоящем сочинении только замечательна уверенность, с которою он говорит о духе, обнаруживающемся, вследствие революции, в наших войсках, и о республиканских стремлениях в Москве. Все слухи, касающиеся этих двух пунктов, — выдумка Бакунина. Может быть, он их распространяет только для того, чтобы нас тревожить. Он поощряет к решительным мерам, но, сколько мне известно, он не находится в связях ни с одним из русских путешественников и не имеет сношения с Россиею. Иногда рождается у меня мысль, что этого подлого человека можно склонить принять помилование, с условием жить в одной из внутренних губерний империи, под строгим присмотром полиции и со внушением ему, чтобы он вел себя смирно».

С своей стороны, ознакомившись с брошюрой, Дубельт писал шефу жандармов: «Я с ужасом читал ядовитые возгласы Бакунина и простите меня, Ваше Сиятельство, ежели осмелюсь сказать, что грешно будет нашим посольствам не употребить тайных стараний задержать его и доставить в Россию. Оскорбление величества этим извергом, его желание уверить немцев в нечистоте намерений и действий государя, возбудить в наших вольнодумцах неповиновение и развить в них разрушительный дух Запада может рано или поздно принести горькие плоды, а потому было бы необходимо послать даже отсюда верных людей, чтобы схватить этого злодея» [1]). На этом докладе гр. Орлов надписал: «Об этом лично я докладывал г. императору и сказал его величеству, что у меня не только духу недостало пред-

---

[1]) Дубельт явно не договаривает своей мысли. Посланным из III Отделения „верным людям“ легче было бы убить Бакунина, чем схватить его за границей и доставить в Россию. Для приемов, применённых екатерининским Орловым по отношению к кн. Таракановой.

ставить ему сих скверностей, но сам едва мог оные прочитать с омерзением».

Не считая этой жандармской критики, против взглядов, изложенных в брошюре Бакунина, раздались возражения с двух сторон: из лагеря реакционеров, а также из лагеря немецких демократов.

В «Новой Рейнской Газете» от 14 и 15 февраля 1849 г. появилась большая статья Энгельса «Демократический панславизм», посвященная резкой критике бакунинского воззвания. Энгельс упрекает Бакунина в абстрактно-сантиментальной постановке вопроса, в уклонении от анализа реальных отношений и в попытке заменить этот анализ отвлеченными гуманитарными разглагольствованиями». Горький опыт научил нас, что «братство европейских народов» достигается не посредством пустых фраз и благочестивых пожеланий, а только путем глубоких потрясений и кровавой борьбы; что дело идет не о братстве всех европейских народов под одним республиканским знаменем, а о союзе революционных народов против контрреволюционных, — союзе, который осуществляется не на бумаге, а исключительно на поле битвы». Для Бакунина, по мнению Энгельса, слово «свобода» заменяет все: о действительности не говорится ни слова, а если и говорится, то она изображается в виде чего-то абсолютно прочного, произвольно созданного конгрессами деспотов и дипломатов. Этой скверной действительности противопоставляется мнимая народная воля с ее мнимым категорическим императивом, с абсолютным требованием «свободы». Реакционная роль славян во время революции 1848 г. опровергла все мечтательные иллюзии демократических панславистов. Угнетение слявян немцами и мадьярами Энгельс считает голой фразой. Более того, он полагает, что за исключением поляков, русских и, быть может, турецких славян ни один славянский народ не имеет будущности по той простой причине, что всем этим славянским народам недостает основных исторических, географических, политических и экономических условий для самостоятельного существования. Энгельс идет еще дальше и старается доказать, что подчинение,

---

в тогдашней Европе уже не было места, для применения же столыпинских приемов (отравление Черняка на пароходе) было еще слишком рано. Повидимому, гениальный проект, зародившийся в голове Дубельта, остался втуне.

даже насильственное, этих отсталых славянских народов более развитым немцам и венграм совершается в интересах цивилизации; при этом он приводит такие аргументы, которыми теперь обыкновенно оправдывают колониальную политику. Сантиментальным разглагольствованиям Бакунина Энгельс противопоставляет решительные угрозы беспощадным террором по адресу реакционных славянских народностей. «Борьба беспощадная, борьба на жизнь и на смерть с предающим революцию славянством; истребительная борьба и беспощадный террор не в интересе Германии, а в интересе революции»—вот последнее слово, которым Энгельс надеялся убедить славян и наставить их на истинный путь [1]).

Что изложенные взгляды составляли достояние не одного Энгельса, а были общи ему и Марксу, видно из того, что те же положения во многих местах до буквального совпадения отдельных выражений повторяются в статьях, печатавшихся в 1852 г. в «Нью-Иоркской Трибуне» и впоследствии составивших известную брошюру «Революция и контр-революция в Германии»,—правда, в статьях, принадлежащих перу того же Энгельса, но помещавшихся в газете от имени Маркса.

Общий тон глав этой брошюры, посвященных славянскому вопросу (VIII и IX), представляет как бы попытку оправдать германизацию славянских областей, даже завоевательную и насильственную, общими интересами цивилизации. Мы хорошо понимаем, что написанные под свежим впечатлением разгрома революции, в котором славяне сыграли такую отвратительную роль, они не могли быть свободны от невольного чувства вражды по отношению к виновникам торжества реакции. Но если Бакунина можно справедливо упрекать в абстрактности и беспочвенности его славянолюбия, то по адресу тогдашних взглядов Маркса и Энгельса на славянский вопрос можно обратить аналогичный упрек, но только в обратном смысле. Здесь история и реальный анализ употребляются для того, чтобы, как ехидно выразился Маркс по другому случаю, оправдать кнут только потому, что этот кнут исторический.

Рассказав о том, как революция 1848 года пробудила во всех угнетенных нациях порыв к самоопределению и в частности среди поляков стремление к восстановлению Польши

---

[1]) „Aus dem litterarischen Nachlass“ („Литературное Наследие“) Маркса и Энгельса, т. III, стр. 246—268.

автор статей продолжает (трудно разобрать, от своего ли имени или от имени немецкой буржуазии): «Но с другой стороны, приходилось (?) поставить вопрос: неужели следует уступить (!) целые области, населенные преимущественно немцами, и большие города, совершенно немецкие, уступить народу, который до сих пор не дал ни одного доказательства, что он способен выйти из состояния феодализма, основывающегося на несвободе сельского населения? Вопрос был довольно запутанный». Чтобы выйти из этого «запутанного» положения, автор указывает «единственно возможный» выход: войну против России, наивно об'ясняя, что «с поляками, если бы они получили обширные территории на Востоке, было бы легче договориться на разумных основаниях относительно Запада».

Относительно других славянских народов автор выражается еще более решительно. Моравы и словаки «давно утратили всякие следы национального сознания и жизни, хотя в значительной степени сохранили свой язык». Но даже чехов он признает народом конченным в национальном смысле—и в доказательство приводит неудачу их попыток и насильственное подавление их движения реакцией. «Как это часто бывает, умирающая чешская национальность, умирая согласно свидетельству общеизвестных фактов за последние четыре столетия, — в 1848 году сделала последнее напряжение, чтобы вновь обрести прежнюю жизненную силу, — напряжение, *уже одно крушение которого*, помимо всех революционных соображений *должно доказать, что Богемия может существовать впредь лишь в качестве составной части Германии*, хотя бы часть ее жителей в течение нескольких веков все еще продолжала пользоваться не немецким языком».

Исходя из таких посылок, автор брошюры подвергает жестокой критике панславизм. Но при таких его взглядах вполне естественно, что на ряду с сильными и верными положениями в его критике встречаются и слабые, мало убедительные утверждения.

Богемия и Кроация, говорит он, были родиной так называемого панславизма. «В кабинетах некоторых дилетантов исторической науки возникло то нелепое анти-историческое движение, которое ставило своей целью не много не мало, как подчинение цивилизованного Запада варварскому Востоку, города—деревне, торговли, промышленности, знания—примитивной

агрикультуре славян-крепостных. Но за нелепой теорией стояла ужасающая действительность русского царства, того царства, которое всяким своим движением обнаруживает притязание всю Европу рассматривать как область славянской расы и в особенности единственно сильной части этой расы, именно русских; того царства, которое в двух главных городах, в Петербурге и Москве, все еще не может найти своего центра тяжести, пока *город царя* (Константинополь называется по-русски Царь-град, город царя), который всякий русский крестьянин (!) считает истиным центром своей религии и своей нации, пока он не сделался фактически резиденцией русского императора [1]); того царства, которое за последние 150 лет благодаря всем войнам, какие только начинало оно, ни разу не теряло, но всегда приобретало землю. И средняя Европа хорошо знает интриги, при помощи которых русская политика содействовала вновь вошедшей в моду системе панславизма, — системе, настолько соответствующей ее целям, что лучшую трудно было бы вообразить себе. Следовательно, богемские и кроатские панслависты работали прямо в интересах России, некоторые преднамеренно, другие не сознавая этого; они предавали дело революции из-за

---

[1]) Для того чтобы читатель не удивлялся рассуждениям автора о Царь-граде, мы напомним ему, что захват этого города не только издавна входил в программу русского дворянства и буржуазии (а не „всякого русского крестьянина"), но даже рекомендовался такими людьми, как Герцен. Так, в письме к Маццини от 20 ноября 1849 г. Герцен писал: „Взятие Константинополя было бы началом новой России, началом славянской федерации—*демократической и социальной* (!)". И это не было у Герцена простой обмолвкой, ибо к мысли о завоевании Константинополя он возвращался неоднократно. В письмах к Линтону (20 февраля 1850 г.) он говорил: „Настоящая столица об'единенных славян—Константинополь, Рим восточной церкви" (даже о православной церкви позаботился!). И вокруг этого центра должны были собраться „пробужденные социализмом" славяне. Бакунин до таких нелепостей не договаривался (не считая „Исповеди", которую здесь можно не принимать в расчет), но где там было европейским демократам, в большинстве не знавшим русского языка, разбираться в таких тонкостях? Для них важно было, что такие вещи вообще говорились людьми, стоявшими тогда во главе русской революционной и социалистической мысли. И немудрено, что западные демократы с величайшим недоверием относились к такому социализму, одно из требований которого удивительным образом совпадало с стародавним стремлением петербургского самодержавия. См. мою брошюру „А. И. Герцен (Искандер)" Москва, 1920, стр. 25.

призрака национальности, которую в лучшем случае ожидала бы судьба польской национальности под русским господством». И дальше идет похвала полякам за то, что они в большинстве не поддались панславистским козням.

Говоря о пражском конгрессе, который «должен был подготовить братское об'единение всех славян», автор брошюры замечает, что и без вмешательства австрийских войск с'езд все равно кончился бы неудачей. Славянские языки настолько отличаются один от другого, что для взаимного понимания делегаты с'езда, «у которых общим чувством только и была общая ненависть к немцам», вынуждены были прибегнуть к ненавистному немецкому языку, единственно понятному для всех его участников. «Как раз в это самое время,—ехидно прибавляет автор,—в Праге собрался еще один славянский конгресс в виде галицийских улан, кроатских и словакских гренадер и богемских канониров и кирасир; и этот реальный вооруженный славянский конгресс под командою Виндишгреца менее чем в 24 часа выгнал из города основателей воображаемой славянской супрематии (?) и рассеял их во все стороны».

Как будто такую же иронию нельзя применить к немецким солдатам, подавившим революцию в Германии, и к французским канонирам и кирасирам, убивших сначала пролетариат, а затем республику во Франции! Но увлекаемый враждебным отношением к славянскому движению, которое так ловко было использовано в Австрии реакциею, автор брошюры не замечает неубедительности своего насмешливого сопоставления. Верно в его критических указаниях то, что славяне (впрочем, кроме чехов и особенно поляков, которые сами пострадали от *прусских* и иных гренадер и уланов) действительно сыграли реакционную роль в истории 1848 года. И понятно злорадство автора брошюры, когда он, после перечисления всех низостей славянских вожаков, снюхавшихся с венским двором, заключает: «Они достигли лишь того, что славянской национальности теперь (в 1852 году.—*Ю. С.*) по всем пунктам угрожает австрийская централизация—результат, которым они обязаны своему собственному фанатизму и своему собственному ослеплению».

А ведь в другом месте автору брошюры приходится, как мы уже выше упоминали, признать, что если славянские верхи оказывали помощь реакции по мотивам национального озлобления, то и более развитая немецкая буржуазия поддерживала

свои правительства в еще худшем деле—в подавлении восстаний угнетенных народов, напр., в Италии, и что как раз подавлением славянских движений немецкие правительства подготовились к последующему подавлению собственных народов.

«Прусская армия в Польше, австрийская армия в Праге (тут можно было бы прибавить: и в Ломбардии, куда поспешили в качестве добровольцев на помощь Радецкому венские баррикадные бойцы!—*Ю. С.*) восстановили доверие к своим собственным силам».

Так что одних славян обвинять не приходится, и во всяком случае не угрозами расправы и не отрицанием за ними права на самоопределение можно было вернуть эти отсталые народы к поддержке германских и венгерских революционеров, ибо, когда последние начинали с ними говорить на «языке, который ломает кости», то эти славяне начинали видеть в них тех же германизаторов, колонизаторов и «цивилизаторов» [1]).

Совершенно очевидно, что в этом споре правда была скорее на стороне Бакунина. Прежде всего необходимо заметить,

[1]) Характерно, что автор брошюры говорит о войне с Данией из-за Шлезвиг-Гольштейна. Области эти он признает „несомненно немецкими по национальности, языку и симпатиям“. Но тут же приводит такие аргументы: „Эти страны необходимы для Германии в видах ее безопасности и для развития ее мореплавания и торговли“. И даже такой, [что за отделение этих областей от Дании „говорили между прочим и государственные договоры“. Войну с Данией за Шлезвиг и Гольштинию, затеянную немецкой буржуазией в империалистических, как мы сказали бы теперь, целях, он называет „единственно популярной, единственной хотя отчасти революционной войной“ и упрекает немецкие правительства в том, что они не проявили достаточной энергии в этой войне и „допустили даже вмешательство иностранной дипломатии“. Мы приводим эти выдержки не для того, чтобы доставить себе сомнительное удовольствие покритиковать Энгельса и Маркса или похвастать тем, что мы теперь, в 1920 году, после опыта мировой империалистической войны, правильнее ставим вопрос о национальностях и самоопределении наций, а для того, чтобы показать, что в рассматриваемое время не только Бакунин, но и более его образованные социалистические теоретики не придали национальному вопросу постановки, вполне определенной, законченной и выдержанной в коммунистическом и интернационалистическом духе. Это был недостаток эпохи, а не отдельных лиц. Национальный вопрос тогда только ставился, и если уж сравнивать, то, при всех своих недостатках, точка зрения Бакунина ближе к современному пониманию этого вопроса, чем позиция, занятая тогда Марксом и Энгельсом.

что вопреки тому, что автор брошюры говорит о всех панславистах без исключения, у Бакунина славянская национальность вовсе не стояла на первом плане, вытесняя революцию; напротив, он все время старался теснейшим образом связать национальные стремления славян со служением революционным задачам и вообще не отделял немецкой демократической революции от славянской. Он вовсе не закрывал глаз на постыдную и вместе с тем неразумную роль славян. Напротив, в своем воззвании он подчеркивает ее и вместе с тем старается выяснить славянам ее бессмысленность даже с точки зрения их национальных стремлений. «Что за люди,—восклицает он,—бомбардировали под начальством Виндишгреца славянскую Прагу? Были ли это мадьяры? Были ли это немцы? Были ли это итальянцы? Нет, это были славяне и только славяне: чехи, поляки, словаки». Он убеждает славян «повсюду отозвать славянских солдат из австрийской службы, которая их позорит, чтобы ими не пользовались больше как палачами, потому что это дает право и другим быть палачами по отношению к ним». И, конечно, если бы агрументами вообще можно было повлиять на ход исторических событий, то призывы Бакунина могли скорее оказать такое действие, чем своеобразная философия истории Маркса и Энгельса, убеждавшая славян в отсутствии у них всякого будущего, приглашавшая их заклать себя на алтаре «цивилизации» и угрожавшая им беспощадным террором в случае ослушания. Ясно, что этот конфликт способен был только питать взаимные недоразумения и подозрения, при чем Маркс и Энгельс подозревали Бакунина в панславизме, а тот их—в пангерманизме.

Бакунин прекрасно понимал, что недоверчивое к нему отношение (в 1848 году со стороны демократов вообще, а в конце 60-х годов среди марксистского крыла Интернационала, о чем ниже) основывается в значительной мере на его деятельности в области «славянского дела», в частности на его упомянутой брошюре. По поводу статей Боркгейма, выступившего в 1869 году с обвинениями Бакунина в панславизме, он, возвращаясь в 1871 году к своей брошюре 1848 года, писал следующее:

«Они [1]) обвиняли меня в панславизме и, чтобы доказать мое преступление, цитировали одну брошюру, изданную мною

---

[1]) Бакунин имеет в виду своих противников из лагеря немецких коммунистов, ибо он был убежден (и ошибочно), что статьи Боркгейма

в Лейпциге в конце 1848 года, брошюру, в которой я старался доказать славянам, что вместо того, чтобы ожидать своего освобождения от Всероссийской Империи, они могли ожидать ее лишь от ее совершенного разрушения, ибо эта империя есть не что иное, как отделение немецкой империи, как гнусное господство немцев над славянами. «Горе вам,—говорил я им,—если вы рассчитываете на эту императорскую Россию, на эту татарскую и немецкую империю, которая никогда не имела ничего славянского. Она поглотит вас и будет мучить вас, как она делает это с Польшей, как она делает это со всеми русскими народами, заключенными в ее недрах». Правда, что в этой брошюре я осмелился сказать, что разрушение Австрийской империи и Прусской монархии было так же необходимо для торжества демократии, как и разрушение империи царя, и вот чего немцы, даже демократы-социалисты Германии, никогда не могли мне простить.

«Я прибавил еще в той же самой брошюре: «Остерегайтесь национальных страстей, которые стараются оживить в ваших сердцах. Во имя этой Австрийской монархии, которая никогда не делала ничего иного, кроме угнетения наций, подверженных ее игу, вам говорят теперь о ваших национальных правах. С какой целью? Да для того, чтобы раздавить свободу народов, разжигая братоубийственную войну между ними. Хотят порвать революционную солидарность, которая должна об'единить их, которая составляет их силу, самое условие их одновременного освобождения, поднимая их одних против других во имя узкого патриотизма. Дайте же руку демократам, социалистам-революционерам Германии, Венгрии, Италии, Франции:—ненавидьте лишь ваших вечных угнетателей, привилегированные классы всех наций, но об'единитесь сердцем и действием с их жертвами, с их народами».

«Такой был дух и содержание этой брошюры, в которой эти господа вздумали искать доказательств моего панславизма. Это не только низко, это глупо. Но более низко, чем глупо, то, что, имея эту брошюру перед глазами, они цитировали из нее отрывки, разумеется, искаженные и переделанные, но ни одного из тех слов, коими я клеймил и проклинал русскую империю, заклиная славянские народы остерегаться ее. А между

подсказаны ему Марксом и Энгельсом (об этом см. в 3-м томе нашей работы).

тем брошюра переполнена такими фразами. Это может служить мерилом честности этих господ.

«Признаюсь, что сначала, когда я читал статьи, говорившие о моем столь хорошо, как видите, доказанном этой брошюрой панславизме, я был поражен. Я не понимал, как можно так далеко зайти в бесчестности. Теперь я начинаю понимать. Эти статьи продиктованы не только очевидной недобросовестностью автора [1]), это было еще родом национальной и патриотической наивности, очень глупой, но весьма заурядной в Германии. Немцы так много и так хорошо мечтали посреди своего исторического рабства, что кончили очень наивным отождествлением своей национальности с человечеством, так что в их мнении ненавидеть немецкое господство, презирать их цивилизацию добровольных рабов значит быть врагом человеческого прогресса. Панслависты в их глазах все славяне, которые с отвращением и гневом отвергают эту цивилизацию, которую им хотят навязать.

«Если таков смысл, который он приписывает слову панславизм,—о, тогда я панславист и от всего сердца! Ибо поистине мало есть на свете вещей, которые я ненавидел бы так глубоко, как это бесчестное господство и как эту буржуазную, дворянскую, бюрократическую, военную и политическую цивилизацию немцев [2]). Я всегда буду продолжать проповедовать славянам во имя мирового освобождения народных масс мир, братство, действие и организацию, солидарную с пролетариатом Германии. Но не иначе, как на развалинах этого господства и этой цивилизации и с единственной целью разрушения всех империй, славянских и немецких» [3]).

---

[1]) Снова напоминаем, что Бакунин имеет в виду статьи Боркгейма, которые он ошибочно приписывал внушению Маркса.

[2]) Обращаем внимание читателей на славянские корни бакунинского анархизма и на анархический источник его германофобии.

[3]) Конец неоднократно цитированного нами примечания к началу 2 выпуска „Кнуто-германской империи“, цит. изд., стр. 142—143. Приведенная нами выдержка в значительной своей части (от слов: „Горе вам“ до слов: „мерилом честности этих господ“) представляет повторение аналогичного места из письма Бакунина в редакцию парижской газеты „Réveil“, написанного в октябре 1869 года по поводу статей Боркгейма и Гесса, которых он там и называет. Начинается это место в письме в „Réveil“ так: „Если могло быть нечто определенно анти-панславистское и анти-русское, в казенном смысле этого слова,

К развитию этой мысли Бакунин возвращался неоднократно, особенно после 1869 года, когда ему пришлось снова выдержать атаку по обвинению в панславизме. Подробному изложению этой мысли посвящена в значительной мере его книга «Государственность и анархия» (1873 года). Приведем еще цитату из неопубликованного документа интимного содержания, а именно из письма Бакунина к юрским товарищам, написанного в момент решения старого борца отказаться от политической работы и уйти из Интернационала (1872 г.).

«В 1848 году, на первом славянском конгрессе... в брошюре, опубликованной мною в октябре [1]), в то время, как Вена осаждалась усмирителем Праги, генералом и князем Виндишгрецем, я изо всех сил старался доказать австрийским славянам, что они непременно погубят свое справедливое дело, если вздумают заключить союз с московским правительством, и что их дело, дело действительного освобождения народных масс, связанное с восстановлением их собственных национальных прав, не имело врага более ярого, свирепого и опасного, чем Российская империя.

«Мне не трудно было доказать им это на примере Малороссии и Польши. Первая добровольно признала протекторат русского царя; вторая была подчинена и задушена этой так называемой защитницей славян с помощью двух больших немецких государств. В настоящее время и Малороссия, и Польша низведены до жалкого и печального существования, которое трудно представить себе даже славянским странам, живущим под владычеством немцев и турок. Я им, наконец, указал на пример самой Великороссии, где попрано все достойное и честное, а жизнь и благосостояние народов зависят от грубого и корыстного своеволия чиновников, где все систематически подчиняется единой имперской религии и могуществу царя, вмешивающегося как во внутреннюю, так и во внешнюю жизнь.

«Уже тогда, не интересуясь бесплодными обвинениями, всегда направленными против отдельных лиц, в большей или меньшей степени представлявших эту державу, я главным обра-

---

так это была упоминаемая брошюра (воззвание к славянам 1849 года). Что я там проповедовал? Разрушение всероссийской империи, как основное, совершенно необходимое условие освобождения славянской расы“ („Oeuvres“, V, стр. 258).

[1]) Здесь Бакунин ошибается. Брошюра была издана в начале 1849 года.

зом старался показать, что бедствия и преступления, в которых проявляется политическая жизнь этой империи и которые позорят ее, неразрывно связаны с самим принципом государства [1]), и что разрушение этой империи есть единственный путь к освобождению славянских и неславянских народностей, стонущих под игом царей. Я говорил, что, пока существует империя, русские, как неизбежные союзники немцев, будут не братьями, а фатальными врагами славян. Я говорил (славянам): «пока империя будет существовать, вы всегда будете ее видеть на стороне немецких деспотических государств, Австрии и Пруссии, неизбежным соучастником которых она является, всегда замышляя действия и действуя вместе с ними против свободы славянских и неславянских народов».

«По этим причинам я советовал австрийским славянам отвергать, как опасных обманщиков и предателей, и пропагандистов *московского панславизма;* но я также советовал им не слушать проповедников нового *австрийского славизма*, который был придуман или, точнее, публично выражен в том же году чешским историком, доктором Палацким, и который насчитывал в числе своих приверженцев Ригеров, Браунеров, Тунов и множество других политических эквилибристов, о которых я уже имел случай высказаться выше. Я им советовал полностью принять принцип народной революции, демократической и социальной, забыть все исторические разногласия и, откинув глупые расовые предрассудки, протянуть братскую руку тем из немецких и венгерских революционеров, которые, с своей стороны, отбросив мысль о господстве, признают откровенно право славян на самостоятельное существование. Свою брошюру я заключал, наконец, выражением глубокой уверенности, что освобождение славянских, немецкого, итальянского и венгерского народов и свободная их федерация не может осуществиться иначе, как на развалинах русской, австрийской, прусской и турецкой империй».

---

[1]) Тоже ошибка. Здесь Бакунин переносит свои взгляды 1872 года в эпоху конца 40-х годов, когда у него не было еще определенно выраженной анархической системы. В 1848—49 г.г. он действовал рука об руку с немецкими демократами, с польскими патриотами, с венгерскими революционерами, которые *все стояли на государственнической точке зрения.* Да и в своих обращениях к славянам он вовсе не развивал последовательной анархической программы; скорее это была *демократическая программа.*

Впоследствии Бакунин, впрочем, признал неосновательность своих надежд на славян. «Я сильно ошибся тогда в наших славянах, предполагая, что политически они более подготовлены к роли инициаторов славянского освобождения, нежели мы, русские. В Бреславле и потом в Праге я нашел элементы хорошие, но, с одной стороны, обстоятельства, а с другой — отсутствие средств разрушили все мои планы... В 1848 году я серьезно пытался создать центральное бюро из славян в Бреславле и потом в Праге, это бюро должно было взять на себя организацию славянского освобождения, прежде всего от германо-австрийского владычества, а потом и московского» [1])... А вспоминая о своем споре с Марксом по поводу славянского вопроса, он писал в 1871 г.: «В 1848 г. мы разошлись во мнениях, и я должен сказать, что прав-то был скорее он... Опьяненный революционным движением, я гораздо больше увлекся отрицательной, чем положительной стороной этой революции... Но в одном пункте я был прав против него. В качестве славянина я хотел освобождения славянской расы из-под немецкого ига.., а Маркс в качестве немецкого патриота не признавал тогда, как не признает и теперь (?), права славян на освобождение от немецкого ига, полагая как ныне, так и тогда, что немцы призваны их цивилизовать, т.-е. германизировать, добровольно или насильно» [2]).

7. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПЛАНЫ БАКУНИНА.

Несмотря на явные признаки надвигавшейся реакции, Бакунин все еще надеялся, что революция в Германии вспыхнет с новой силой. В ноябре, вслед за подавлением революции в Вене, было разогнано прусское национальное собрание. В Кэтене собралось несколько бывших депутатов, в том числе Гекзамер и Дестер, члены Центрального Комитета союза демократических клубов Германии. Это была сначала открытая организация, но в виду разгула реакции комитет приступил к организации тайных обществ по всей Германии. В подполье закипела лихора-

---

[1]) Ралли. „Из моих воспоминаний". „Мин. Годы" 1910, октябрь, стр. 146.

[2]) Французская рукопись (1871 г.). Цитировано по биографическому очерку Бакунина, составленному Гильомом, в предисловии ко второму тому „Oeuvres" (сочинений Бакунина), стр. XXI. Имеется и русский перевод очерка Гильома в „Былом". (1906, август).

дочная работа по подготовке к новому революционному выступлению. Бакунин почувствовал себя в своей атмосфере. Он горячо приветствовал начавшийся поворот к активным выступлениям и к образованию тайных обществ и решил войти в более тесные сношения с немецкими демократами, ожидая к весне 1849 г. решительного боя. Сначала и здесь мешала ему ходившая против него сплетня, но он скоро преодолел это препятствие.

«Я,—рассказывает он в «Исповеди»,—Дестера и Гекзамера видел в первый раз в Берлине, но тогда был еще мало с ними знаком, ибо удалялся от них, равно как и от всех прочих людей, немцев и поляков. В Кэтене познакомился с ними ближе; они сначала мне не доверяли, думая в самом деле, что я шпион; потом, однако, поверили. Я с ними много говорил и спорил о славянском вопросе; долго не мог убедить их в необходимости для немцев отказаться от всех притязаний на славянские земли; наконец, успел убедить их в этом. Таким образом, начались наши политические сношения—*первые положительные сношения с определенной целью, которые я имел с немцами, да и вообще с какою бы то ни было действующею политическою партией* [1]). Они мне обещали употребить все свое влияние на немецких демократов, для того чтобы искоренить из оных ненависть и предубеждение против славян; я же им обещал действовать в таком же духе на последних. Сим ограничились на первый раз наши взаимные обязательства. Так как они уже меня не боялись, то я знал их замыслы, приготовления, об образовании тайных обществ, слышал также и о только что тогда начавшихся сношениях с иностранными демократами, но решительно сам не вмешивался в их дела, даже не хотел спрашивать, опасаясь возбудить в них новые подозрения. Сам же спешил окончить «Воззвание к славянам», которое и напечатал вскоре потом в Лейпциге».

Приступив к практической работе, Бакунин не мог дольше оставаться в Кэтене. Ему нужно было жить поближе к Богемии, на которую он собирался направить главные свои усилия. Сверх того пронесся слух, что прусское правительство намерено принять репрессивные меры по отношению к демократам, сосредоточившимся в Кэтене, и перехватывать их, когда они будут проезжать через прусскую территорию. По всем этим причи-

[1]) Курсив мой.

нам Бакунин в конце декабря 1848 года оставил Кэтен и вместе с Гекзамером и Дестером переселился в Лейпциг.

Здесь он привлек на свою сторону нескольких чешских студентов, в том числе братьев Густава и Адольфа Страккa, раньше бывших почитателями бана Иелачича, а затем сделавшихся еще более страстными поклонниками Бакунина. В своих воспоминаниях Август Реккель (о нем ниже) сообщает: «Во время его (Бакунина) тайного пребывания в Лейпциге около него собрался кружок чешских студентов, которые беззаветно были преданы ему, как учителю, и внимательно относились к каждому его слову; с их помощью он надеялся встряхнуть Богемию и вывести ее из уныния и спячки».

От братьев Стракка Бакунин узнал, что «Воззвание к славянам» нашло в Праге горячий отклик и частью было напечатано в чешском демократическом журнале, выходившем под редакцией д-ра Сабины. Это породило в нем мысль созвать в Лейпциге совещание из чехов и поляков, для того чтобы столковаться с немецкими демократами и выработать общий план действий. С этой целью он послал Густава Стракку в Прагу с поручением к упомянутому Сабине и к Арнольду, редактору другой чешской демократической газеты, с которыми лично, впрочем, тогда не был еще знаком. С тем же Страккой Бакунин послал адрес к Славянской Лиге (чешский умеренно-демократический клуб), но Сабина, найдя его слишком опасным, удержал адрес у себя. Одновременно Бакунин обратился с аналогичным предложением к знакомым полякам в Герцогстве Познанском, но из них никто в Лейпциг не приехал и даже не отвечал ему [1]). Приехал из Праги только Арнольд, не передавший приглашения Сабине.

Настроение Бакунина и замыслы его в тот момент описаны им самим в «Исповеди». Вот что он там говорит:

«Моя политическая горячка, раздраженная и разгоряченная предыдущими неудачами, нестерпимостью моего странного положения, а наконец, и победою реакции в Европе, достигла в то время своего высочайшего пароксизма: я был весь превращен в ре-

---

[1]) Это об'ясняется, вероятно, отчасти тем, что поляки не нуждались в посредничестве Бакунина для установления связи с немецкими и венгерскими революционерами, но отчасти также, быть может, застарелым недоверием их к Бакунину. Во всяком случае это обстоятельство заслуживает быть отмеченным.

волюционное желание, в жажду революции и был, я думаю, между всеми червленными республиканцами и демократами червленнейшим. План мой был следующий:

«Немецкие демократы готовили всеобщее повстанье Германии к весне 1849 года. Я желал, чтобы славяне соединились с ними, а равно и с мажиарами, находившимися уже тогда в явном и решительном бунте против императора австрийского. Желал, чтобы они соединились как с теми, так и с другими, не для того, чтобы слиться с Германией или покориться мажиарам, но для того, *чтобы вместе с торжеством революции в Европе утвердилась также и независимость славянских племен* [1]). Время же казалось удобно для такого уразуменья; мажиары и немцы, наученные опытом и нуждаясь в союзниках, были готовы отказаться от прежних притязаний. Я надеялся, что поляки согласятся быть посредниками между Кошутом и славянами венгерскими, и хотел взять на себя посредничество между славянами и немцами. Я желал, чтобы центром и главою сего нового славянского движения была *Богемия, а не Польша* [2]). Желал того по многим причинам: во-первых, потому, что вся Польша была так истощена и деморализована предыдущими поражениями, что я не верил в возможность ее освобождения без чужой помощи, в то время как Богемия, почти еще нетронутая реакцией, пользовалась в то мремя полною свободой, была сильна, свежа и заключала в себе все нужные средства для успешного революционного движения. Кроме этого я не желал, чтобы поляки стали во главе предполагаемой революции, боясь, что они или дадут ей характер тесный, исключительно польский, или даже, пожалуй, если им это покажется нужно, предадут прочих славян своим старым союзникам, западно-европейским демократам, а еще легче мажиарам. Наконец, я знал, что Прага есть как бы столица, род Москвы, для всех австрийских, непольских славян, и надеялся, я думаю, не без основания, что если Прага восстанет, то и все прочие славянские племена последуют ее примеру и увлекутся ее движением,—наперекор Иелачичу и другим, впрочем, не столь многочисленным, приверженцам австрийской династии. Итак, от немцев я ожидал согласия, симпатии, а если будет нужно, так и вооруженной помощи против прусского правительства, которое, увлекшись российским

---

[1]) Курсив мой.
[2]) Тоже.

примером и опасаясь заразы, не захотело бы, вероятно, быть бездейственным зрителем революционного пожара в Богемии. От поляков ожидал посредничества с мажиарами, участья офицеров, а более всего денег, которых у меня не было и без которых всякое предприятие становится невозможным. Но мои главные ожидания и надежды сосредоточились на Богемии».

На какие же общественные элементы рассчитывал, главным образом, Бакунин для осуществления своих революционных замыслов? *На пролетариев,* которые, по его словам, являются естественными революционерами, *и на крестьянство,* которое в силу тогдашнего положения было настроено революционно и могло бы легко, по его убеждению, быть вовлечено в революционные выступления, если бы не ошибки буржуазной демократии. Мы видели эти мысли Бакунина выраженными в его письмах к Гервегу. Интересно, что те же мысли он подробно развивает в своей «Исповеди». А так как именно события революции 1848 года дали ему материал для будущих анархических построений, то читатель не посетует на нас, если мы приведем рассуждения Бакунина по этому вопросу, высказанные им в 1851 г. в крепости, где он мог подвести итоги своим впечатлениям, вынесенным из потрясений бурного года.

«Я,—говорит Бакунин,—надеялся еще более на богемских, чешских, равно как и немецких крестьян, чем на Прагу, чем на городских жителей вообще. Огромная ошибка немецких, да сначала также французских демократов, состояла, по моему мнению, в том, что пропаганда их ограничивалась городами, не проникла в села; города, как бы сказать, стали аристократами, и вследствие того села не только остались равнодушными зрителями революции, но во многих местах начали даже являть против ее враждебное расположение. А ничего, казалось, не было легче как возбудить революционный дух в земледельческом классе; особливо в Германии, где еще существовало так много остатков древних феодальных постановлений, удручающих землю, не исключая также и самой Пруссии, которая, при общей свободе собственности и людей, сохранила в некоторых провинциях, напр., в Шлезии [1]), следы прежнего подданства, и в которой возле, впрочем, довольно многочисленного класса вольных собственников существует класс еще многочисленнейший неимущих крестьян, так называе-

---

[1]) Силезии.

мых Häusler [1]), и даже совсем бездомных людей. Но нигде земледельческий класс не был так склонен к революционному движению, как в Богемии. В Богемии до 1848 г. феодализм существовал еще во всей полноте, со всеми его тягостями и притеснениями: господские суды, феодальные налоги и сборы, десятины и другие духовные повинности подавляли собственность имущих крестьян. Класс же неимущих был еще многочисленнее, и положение его тягостнее, чем в самой Германии. К тому же в Богемии есть много фабрик, а вследствие того и много фабричных работников, а фабричные работники как бы судьбою призваны быть рекрутами демократической пропаганды».

В письмах к Гервегу Бакунин говорит, что *ждал и желал анархической крестьянской революции.* То же самое он подтверждает в «Исповеди». Он составил план действительно народной революции, переворачивающей вверх дном все существующие отношения и дерзновенно протягивающей руку к самой основе народного порабощения—к частной собственности на орудия и средства производства. Уже здесь он намечает свой *план социальной ликвидации,* сводящейся к захвату частновладельческих имений, к уничтожению всех документов, обосновывающих права владельцев на чужой труд, к отмене частных долгов и пр. И глубоко убежденный в значении «пропаганды фактами», он был уверен, что, начавшись в одной стране, в данном случае в Богемии, такая народная революция обязательно распространится и на другие страны и увлечет их своим примером. Будущий основатель «Альянса социальных революционеров» встает перед нами уже теперь во весь рост.

«Я,—пишет Бакунин,—желал в Богемии революции решительной, радикальной, одним словом, такой, которая, если бы она и была побеждена впоследствии, однако успела бы все так переворотить и поставить вверх дном, что австрийское правительство после победы не нашло бы ни одной вещи на своем старом месте. Пользуясь тем благоприятным обстоятельством, что все дворянство в Богемии да и вообще весь класс богатых собственников состоит исключительно из немцев, я хотел *изгнать всех дворян.* все враждебно расположенное *духовенство и, конфисковав без разбора все господские имения, отчасти разделить их между неимущими крестьянами, для поощрения их к революции, отчасти*

---

[1]) Усадебники.

же превратить их в источник для чрезвычайных революционных доходов. Хотел *разрушить все замки, сжечь* в целой Богемии решительно *все процедуры, все административные, равно как и судебные, как правительственные, так и господские бумаги и документы, и об'явить все гипотеки, а также и все другие долги,* не превышающие известную сумму, напр., 1.000 или 2.000 gulden [1]), *запачеными* [2]). Одним словом, революция, замышляемая мною, была ужасна, беспримерна, хоть и обращена *более против вещей*, чем против людей. Она бы в самом деле все так переворотила, так бы в'елась в кровь и в жизнь народа, что, даже победив, австрийское правительство не было бы никогда в силах ее искоренить, не знало бы, что начинать, что делать, не могло бы ни собрать, ни даже найти остатков старого, навек разрушенного порядка и никогда бы не могло помириться с богемским народом. Такая революция, уже не ограничивающаяся одною национальностью, увлекла бы своим примером, своею червленно-огненною пропагандою не только Моравию и австрийскую Шлезию, но также и прусскую Шлезию да и вообще все пограничные немецкие земли, так что и *германская революция, бывшая до тех пор революцией городов, мещан, фабричных работников, литераторов и адвокатов, сама бы обратилась в общенародную.*

«Но сим не ограничивались мои замыслы. Я хотел *превратить всю Богемию в революционный лагерь,* создать в ней силу, способную не только охранять революцию в самом краю, но и действовать наступательно, вне Богемии, возмущая на пути все славянские племена, призывая все народы к бунту, разрушая все, что только носит на себе печать австрийского существования,— итти на помощь мажиарам, полякам, воевать, одним словом, против вас самих, государь!

«Моравия, издавна связанная с Богемией своими историческими воспоминаниями, обычаями, языком и никогда не переставшая смотреть на Прагу, как на свою столицу, а тогда находившаяся с ней еще и в особенной связи посредством своих клубов, Моравия, думал я, необходимо последует за богемским движением. С нею вместе увлекутся также и словаки и австрийская Шлезия. Таким образом, революция обойдет край пространный, богатый средствами, центром которого будет Прага. *В Праге должно заседать революционное правительство с неограниченною*

---

[1]) Гульденов.

[2]) Т.-е. отмененными, аннулированными.

диктаторскою властью. Изгнаны дворянство, все противоборствующее духовенство, уничтожена в прах австрийская администрация, изгнаны все чиновники, и только в Праге сохранены некоторые из главных, из более знающих, для совета и как библиотека для статистических справок. *Уничтожены также все клубы, журналы, все проявления болтливой анархии, все покорены одной диктаторской власти.* Молодежь и все способные люди, разделенные на категории, по характеру, способностям и направлению каждого, были бы разосланы по целому краю, для того чтобы дать ему провизорную революционную и военную организацию. Народные массы должны бы были быть разделены на две части: одни, вооруженные, но вооруженные кое-как, оставались бы дома, для охранения нового порядка, и были бы употреблены на партизанскую войну, если бы такая случилась. Молодые же люди, *все неимущие, способные носить оружие, фабричные работники и ремесленники* без занятий, а также *и большая часть образованной мещанской молодежи* составили бы *регулярное войско,* не Freischaren [1]), но войско, которое должно бы было формировать с помощью старых польских офицеров, а также и посредством отставных австрийских солдат и унтер-офицеров, возвышенных по способностям и по рвению в разные офицерские чины. Издержки были бы огромны, но я надеялся, что они покроются отчасти *конфискованными имениями, чрезвычайными налогами и ассигнациями* [2]) вроде кошутовских. У меня был на то особенный, более или менее фантастический финансовый проект»...

Таков этот замечательный план, создавшийся тогда в голове Бакунина и делающий его программу *самой передовой из тогда существовавших.* При всей своей крайности она же является и наиболее практичной, и можно смело сказать, что если бы она была осуществлена, то революция 1848 года не окончилась бы таким позорным крахом и увлекла бы за собой славянские, по преимуществу крестьянские, народы. Но самой замечательной стороной бакунинского плана является то, что он в ряде пунктов как бы предвосхищает существо советской власти и как бы предсказывает в общих чертах ход великой русской Октябрьской революции 1917 года. В этом смысле он является колоссальным историческим пророчеством—и уже одно это дает Бакунину пра-

---

[1]) Партизанские отряды.

[2]) Курсив в этой выдержке везде мой.

во на увековечение в памяти российского и международного пролетариата.

Анархизм Бакунина всегда во многом отличался от воззрений и практики его будущих последователей. Мы это увидим еще ниже. Но сейчас важно отметить существенные черты построенной им программы действий, весьма близко напоминающей практику советской революции в России (а также в Венгрии и в других странах, которые станут на путь социальной революции и неизбежно должны будут в общем применить ту же тактику).

Бакунин развивает в своем проекте план народной революции. Какой? Анархической—воскликнут его горячие сторонники. Нет,—скажем мы,—*не анархической, а скорее коммунистической.* Меры, рекомендуемые им, в современных терминах можно охарактеризовать как политическую и экономическую экспроприацию землевладельцев и буржуазии. Но есть ли тут пресловутое «разрушение государства»—не в будущем, конечно, не в идеале, а сейчас, непосредственно, в первый момент социальной революции? Нет, его не только здесь нет, но, напротив, Бакунин предлагает установление революционного правительства, да еще какого! С неограниченною диктаторскою властью. И это понятно. Бакунин предвидит период долгой революционной войны—оборонительной от покушений контр-революции и наступательной для расширения территории социальной революции. Для этого нужна строгая организация и централизация революционных сил, для этого нужно установление революционной диктатуры, той, которую мы сейчас называем диктатурой пролетариата и революционного крестьянства. Бакунин не употребляет в точности этих терминов, хотя очень близко подходит к ним, как мы видели из его собственных заявлений.

Что должна делать эта революционная власть, облеченная диктаторскими полномочиями? Изгнать и обезоружить все контр-революционные силы (дворянство, духовенство, чиновников), разрушить старый бюрократический аппарат и создать свой. При этом Бакунин предусматривает даже использование части специалистов для надобностей революционного рабоче-крестьянского правительства. Ну, а как насчет пресловутых «свобод», о которых так пекутся анархисты и по поводу которых и сам Бакунин впоследствии не прочь был пролить слезу во время полемики с зловредными коммунистами? На время революционной диктатуры и революционной войны Бакунин без всякой церемонии рас-

правляется с этими свободами—и печати, и собраний, и слова,—подчиняя все одной диктаторской власти. Далее он рекомендует всеобщую революционную и военную мобилизацию, всеобщее народное вооружение и проектирует создание революционной армии, построенной на тех же в общем принципах, что и Красная армия Советской России. В состав ее допускаются только «неимущие», почти одни пролетарии; формируется она по принципу принудительной мобилизации; во главе ее стоят красные командиры, и носит она не партизанский характер (это допускается только для вспомогательных отрядов), а является регулярной армией. Средства революционное правительство добывает путем конфискации частной собственности, выпуском бумажных денег и чрезвычайными налогами.

Это, конечно, не анархизм в специфическом смысле этого слова, а скорее советская власть, диктатура пролетариата. И можно только поражаться, читая этот план, выработанный Бакуниным в 1848 году и намечающий как бы основные вехи будущей действительной социальной революции. Это—великое завещание, оставленное Бакуниным грядущим поколениям, программа, которую во многих чертах он сохранил до конца, но от других существенных пунктов которой (вроде революционной диктатуры на переходный период) он впоследствии отказался—отнюдь не к выгоде для своей системы.

Для осуществления такого широкого плана, для требуемых подготовкою его сношений нужны были средства, а у Бакунина их, конечно, не было. Он не имел даже денег для личного пропитания и жил на небольшую сумму, присланную ему Рейхелем [1]). Для того, чтобы раздобыть нужные средства, Бакунин хотел было с'ездить в Париж, но узнав из письма Рейхеля, что вследствие корреспонденции в «Новой Рейнской Газете» французские демократы также усумнились в нем [2]), он отказался от этой мысли.

[1]) Шредер в депеше из Веймара на имя Нессельроде от 14/26 февраля 1849 г. сообщает, что Бакунин в Лейпциге очень нуждался, что по мнению Шредера, доказывало неуспех его пропаганды. Бакунин, по его словам, оказался „ниже своей репутации".

[2]) Это соображение Бакунина (в „Исповеди") или Рейхеля, на письме которого Бакунин основывается, вряд ли можно признать основательным. Французские демократы не нуждались в заметке кельнской газеты, чтобы составить себе то или иное мнение о Бакунине. Ведь как раз из Парижа и шли компрометирующие Бакунина слухи (Киселев, Дюшатель, Гизо, Ламартин, польские эмигранты). Вернее всего, что и здесь

Когда вышло «Воззвание к славянам», Бакунин из Кэтена послал один экземпляр его Флокону. В длинном препроводительном письме Бакунин изложил свои взгляды на положение в Германии и на славянский вопрос, извещал его о полном своем согласии с немецкими демократами, о готовящейся второй германской революции и о своем вышеизложенном плане. Предлагая прислать доверенного французского демократа в Лейпциг, куда Бакунин собирался выехать, он далее упрекал Флокона в том, что тот мог поверить пущенной против него клевете, и заканчивал письмо торжественным заявлением, что, как единственный русский в лагере европейской демократии, он должен хранить свою честь строже, чем всякий другой, и что если Флокон ему не ответит и не докажет положительными действиями своего безусловного доверия, то он, Бакунин, сочтет себя обязанным прервать с ним всякие отношения. Флокон ничего не ответил и уполномоченного не прислал, в виду чего Бакунин счел невозможным даже для цели, которую считал священной, искать нового сближения с ним и с его партией, не говоря уже о польских демократах, которые, по словам Бакунина (уже приведенным выше), были «если и не первыми изобретателями, то главными распространителями» клеветы на него [1]). По той же причине Бакунин не ждал пользы для своего дела от знакомства с представителем Кошута, графом Телеки, зная, что тот «находился в тесной дружбе с польскою эмиграциею». Пришлось ограничиться помощью бедных лейпцигских, а затем дрезденских демократов, и, по словам Бакунина, с января до мая 1849 г. он издержал не более 400—500 талеров. «Вот какими денежными средствами,—восклицает он,—я хотел поднять всю Богемию!»

Горячо сочувствуя новой германской революции, «как демократ», и считая ее сверх того необходимой для революции богемской, Бакунин (как он утверждает в показаниях, данных на заграничных процессах, о коих ниже, и в «Исповеди») сам не принимал непосредственного участия в подготовительных действиях

сказалось влияние польской демократической эмиграции, которая никак не могла отделаться от недоверчивого отношения к Бакунину. А она имела старые связи с парижскими демократами и с Временным Правительством.

[1]) Бакунин тогда не знал, что Флокон перепечатал все „Воззвание к славянам“ в своей газете, что то же самое сделали поляки в своем журнале „Demokrata Polski“ („Польский Демократ“), и счел молчание Флокона за „оскорбительный знак недоверия“ („Исповедь“).

германских демократов, ограничиваясь только ободрением и поощрением знакомых ему немцев. От немецких демократов он требовал лишь признания славянской независимости, в каковом смысле ими и были сделаны соответственные заявления. Вместе с тем Бакунин через знакомых немецких демократов, особенно упомянутых выше Гекзамера и Дестера [1]), старался рассеять вековые недоразумения между богемскими немцами и чехами.

Главные усилия Бакунин направил на славян, особенно на чехов. Стараясь завербовать приехавшего к нему из Праги д-ра Арнольда, пользовавшегося влиянием на мелкую буржуазию («чешскую молодежь, чешское бедное мещанство, особенно же на чешских мужиков»), Бакунин предложил ему организовать сначала в Праге, а затем и по всей Богемии *тайное общество,* план которого был уже у Бакунина готов. Замечательно, что этот план в основных чертах напоминает устройство будущих тайных обществ, которые Бакунин организовал в 60-х годах, и потому мы приводим его собственными словами автора.

«Общество должно было состоять из трех отдельных, друг от друга независимых и друг о друге не знающих обществ, под разными названьями: одно общество для мещан, другое для молодежи, третье для сел. Каждое было подчинено *строгой иерархии и безусловной дисциплине,* но *каждое* в своих подробностях и формах *сообразовалось характеру и силе того класса, для которого оно было назначено.* Общества сии должны были ограничиться малым числом людей, включив в себя по возможности всех людей талантливых, знающих, энергичных и влиятельных, которые, *повинуясь центральному направлению,* в свою очередь и как бы *невидимо действовали бы на толпы.* Все три общества были бы связаны между собою посредством центрального комитета, который бы состоял из трех, много из пяти членов: я, Арнольд, остальных следовало бы выбрать.—Я надеялся посредством тайного общества ускорить революционные приготовления в Богемии, надеялся, что оные будут сделаны во всех пунктах по одному плану. Ожидал, что мое тайное общество, которое не должно было распасться после революции, но, напротив, усилиться, распространиться, наполняя себя всеми новыми живыми и действительно сильными элементами, обхватывая постепенно все славян-

---

[1]) Последние задумали созвать в Лейпциге публичный славяно-немецкий конгрес; но Бакунин „решительно воспротивился сему нелепому проекту“, очевидно, полагая, что теперь не время для конгрессов.

ские земли,—я ожидал, говорю я, что *оно даст также и людей для различных назначений и мест в революционной иерархии.* Надеялся наконец, что посредством его я создам и укреплю свое влияние в Богемии, ибо в то самое время, *без ведома Арнольда*, я поручил одному молодому человеку, немцу из Вены (студенту Оттендорф, бежавшему после в Америку), организовать по тому же самому плану общество между богемскими немцами, в центральном комитете которого я *не участвовал бы явно* сначала, но *был бы его тайным предводителем;* так что, если бы проект мой пришел к исполнению, *все главные нити движения сосредоточились бы в моих руках,* и я бы мог быть уверен, что замышленная революция в Богемии не собьется *с пути, ей мною назначенного.* Насчет же революционного правительства, из скольких людей и в каких формах оно должно будет состоять, я не имел еще определенных мыслей; хотел прежде познакомиться поближе с самими людьми, равно как и с обстоятельствами; не знал, приму ли я в нем явное участие, но что я буду участвовать в нем и участвовать непосредственно, сильно, в этом я не сомневался. Не самолюбие и не честолюбие, но убеждение, основанное на годовом опыте, убеждение, что никто между знакомыми мне демократами не будет в состоянии так обнять все условия революции и принять тех решительных энергических мер, которые я считал необходимыми для ее торжества, заставили меня, наконец, откинуть прежнюю скромность» [1]).

Здесь перед нами встает, как живой, Бакунин революционных конспираций, каким его живописно изобразил Герцен и каким мы встретим его накануне вступления в Интернационал и во время пребывания в нем. Замечательно, что и в конце 40-х годов, когда Бакунин держался смутных анархических взглядов, и через 20 лет, в конце 60-х годов, когда он определенно стал на анархическую точку зрения и открывал кампанию против «диктаторских замашек» и организационного централизма марксистов, *Бакунин на деле был архи-централистом в организационных вопросах и доводил диктатуру своей личности до таких пределов, о которых никогда и не смел бы мечтать Карл Маркс.* Впоследствии мы познакомимся с этой стороною дела подробнее. Но и в организационном плане, выработанном Бакуниным в начале 1849 года, эти черты его сказываются в достаточно рельефной форме.

---

[1]) Курсив везде мой.

Организация—тайная, но не только для внешнего мира. В ней самой имеются три организации, остающиеся тайными одна для другой. В «Альянсе социальных революционеров» мы впоследствии найдем три этапа, три стадии, целую революционную иерархию, ступени которой проходятся одна за другой—для *одной и той же общественной группы:* это дальнейший шаг вперед в организационных построениях Бакунина. Здесь мы имеем пока дело с тремя отдельными организациями для *трех различных общественных групп* (молодежи, мещан, крестьян), что представляется более естественным.

В обществах господствует, конечно, строгая иерархия и «безусловная» дисциплина; все они «повинуются» центральному направлению и действуют на толпу, на массу «невидимо». Тот же принцип по отношению к массе будет проводиться Бакуниным и впоследствии, во время работы в Интернационале, даже тогда, когда он и его анархические соратники будут вопить против марксистов, желающих якобы сделать рабочую массу орудием для своих политических видов. Все три общества об'единяются посредством центрального комитета. Из кого должен состоять этот комитет? Ну, конечно, в первую голову из самого Бакунина—это естественно, хотя он скромно ставит сам себя на второе место. Первое же отводится им Арнольду—человеку, которого он только что увидал, с которым, по его собственным словам, не успел даже толком поговорить, которого считал умеренным, не разделяющим его взглядов, и которого подозревал даже в интриганстве по отношению к д-ру Сабине.

Но последняя черта не могла смущать Бакунина. В этой области он готов был дать всякому Арнольду сто очков вперед. Увлеченный своим революционным энтузиазмом, Бакунин никогда особенно не разбирался в средствах. Предоставляя Арнольду первое место в будущем Центральном Комитете, он делал дипломатический ход, льстил его самолюбию, которое сам считал мелким, и привязывал его этим к себе. И вводя Арнольда в святая святых своего Центрального Комитета, поручая ему ответственнейшее дело организации тайного общества по всей Богемии, которую он считал центром своей будущей народной революции, Бакунин в то же время не считал нужным посвящать его в свои другие предприятия, теснейшим образом связанные с первым, и таким образом лишал своего соратника возможности составить себе общий взгляд на положение дел. Именно одновременно с по-

ручением, данным Арнольду, Бакунин без ведома Арнольда поручил молодому венскому студенту Оттендорфу, с которым тоже наверно успел обменяться только парой слов, организовать по такому же плану тайное общество между богемскими немцами, т.-е. в той же самой Богемии, где должен был действовать Арнольд.

Что Бакунин отводил себе место «тайного предводителя» и в немецком обществе, держась в то же время в тени, что, в случае осуществления своего проекта, он рассчитывал сосредоточить все нити движения в своих руках и повести революцию по пути, «назначенному ей» им самим,—это само собою разумеется. Проектируемое тайное общество должно было дать также людей на все ответственные посты в революционном правительстве. Последнее, как мы знаем по приведенным выше заявлениям Бакунина, должно было носить неограниченно-диктаторский характер. В этом революционном предательстве Бакунин рассчитывал играть главную роль, а значит, отводил себе место неограниченного диктатора.

Мы говорим это отнюдь не потому, что намерены в данном случае пускаться в запоздалую критику этого плана с точки зрения его неосуществимости. Мы не собираемся также предаваться «моральному негодованию» по поводу «интриг», «диктаторских стремлений», превращения массы «в орудие вожаков» и т. п.: это мы предоставляем анархистам, сделавшим себе специальность из такой «критики» Карла Маркса. Мы не хотим также отрицать, что из всех тогдашних славянских политиков Бакунин был единственным, который мог стать во главе народной революции. Мы желаем здесь только отметить источник будущих организационных построений Бакунина, из-за которых впоследствии разгорелся такой ожесточенный спор в Интернационале. Уже в 40-х годах Бакунин, как мы видим, стоял в общем и целом на той организационной точке зрения, которую проводил затем в 60-х и 70-х годах. Ясно, что он мог заимствовать ее не из практики развитого массового рабочего движения, а в лучшем случае из практики маленьких тайных рабочих кружков 30-х и 40-х годов XIX века. Но даже в тайных рабочих кружках того времени такой централизации и тайны не существовало. А потому организационные построения Бакунина надлежит отнести, как к своему первоисточнику, к тайным обществам карбонариев и т. п., действовавшим в первой половине прошлого века. И для оценки будущей работы Бакунина в Интернационале надлежит

помнить, что *он пытался привить (да и то в преувеличено крайнем виде) организационные формы первичных буржуазно-демократических, революционных и национальных движений заговорщического типа к массовому политическому движению современного социалистического пролетариата.*

Арнольд был поражен и смущен смелостью бакунинских планов [1]). Он обещал Бакунину приступить к работе и держать его в курсе дела, но хотя Бакунин видел, что Арнольд несовсем подходящий человек, и понимал слабость средств, с которыми он приступал к такому грандиозному делу, как задуманная им народная революция, он, однако, очертя голову, шел вперед. «Тогда,—пишет он в «Исповеди»,—ничто не было в состоянии остановить меня. Я рассуждал таким образом: *революция необходима, следовательно, возможна* [2]). Я был сам не свой, во мне сидел бес разрушения; воля или, лучше сказать, упорство мое росло вместе с трудностями, и бесчисленные препятствия не только что меня не пугали, но разожгли, напротив, мою революционную жажду, поджигали меня на лихорадочную неутомимую деятельность,—я был обречен на погибель, и предчувствовал это и с радостью шел на нее. Жизнь мне уже тогда надоела» [3]).

---

[1]) Как мог Бакунин надеяться при радикализме своего революционного плана привлечь на свою сторону «Славянскую Лигу», умеренно либеральное общество в Праге, это остается его секретом. Правда, за последнее время эта Лига, убедившись в обмане австрийского правительства, стала выходить из-под опеки Палацкого и выражать даже сочувствие венгерским революционерам; но от этого еще было далеко до анархической революции. Впрочем, по мысли Бакунина, надлежало для святого дела использовать всякие элементы, при чем одни не должны были знать, что делают другие, а все нити сосредоточивались бы в руках Бакунина. Он только не знал тогда, что такими приемами ничего прочного не создашь.

[2]) Курсив мой.

[3]) Это неожиданное заявление (впрочем, не совсем неожиданное, если вспомнить, что выше Бакунин рассказывал о своих переживаниях в Париже, когда он готов был броситься в Сену) мы оставляем на его совести. Ведь в Париже Бакунин изнывал от бездействия, от невозможности приложить свои силы, теперь же перед ним развертывалась громадная задача. Но если принять во внимание ясное для него начало реакции, мелькавшую временами в мозгу догадку о беспочвенности его надежд, а главное, психическое состояние вследствие распространенной против него клеветы, то можно допустить, что в отдельные моменты Бакунин впадал в меланхолию. Но все же мы думаем, что в приведенных словах содержится значительное преувеличение. Возможно

В это время на горизонте вырисовывалась угроза вооруженного вмешательства российского самодержавия в европейские дела; готовился поход царской армии против венгерской революции. Известие это побудило Бакунина написать второе «Воззвание к славянам» (перепечатанное в «Dresdener Zeitung»). В этом воззвании Бакунин более популярным языком и в еще более энергичных выражениях призывал славян к революции и к войне против австрийских и российских войск, пока последние являются орудием царя. Воззвание это было в большом числе экземпляров напечатано в Лейпциге на чешском и немецком языках и отправлено в Богемию для распространения [1]).

Арнольд ничего Бакунину из Праги не писал. Но последний случайно нашел постоянного пражского корреспондента в лице молодого венского демократа Геймбергера, поселившегося в Праге. Из его сообщений Бакунин узнал, что хотя Арнольд особенной деятельности не развивал, однако, настроение в Праге становится день ото дня все решительным. Тогда он решил лично с'ездить в Прагу, чтобы на месте выяснить положение дел.

Поездка эта состоялась в конце марта или в начале апреля 1849 года. По дороге Бакунин остановился на несколько дней в Дрездене. Там он познакомился с некоторыми из вождей саксонской демократической партии, в том числе с депутатом Рекке-лем, которому впоследствии пришлось играть видную роль как в пражском заговоре, так и в дрезденском восстании. Здесь же Ба-

---

что, сидя в Петропавловской крепости, попав в цепкие руки холодного убийцы Николая, после крушения всех своих надежде, после общего разгрома европейской революции, Бакунин временами поддавался унынию и, незаметно для себя, переносил ретроспективно свое тогдашнее настроение в период 1849 года.

[1]) В статье, помещенной через 15 лет в газете „La Cloche“ („Колокол“ на французском языке, выходивший в Брюсселе) от 15 сентября 1863 года, Бакунин писал: „В 1849 году царь Николай заключил союз с Австрией, чтобы задушить вполне законное восстание венгров. Этому преступному союзу я старался противопоставить священный союз народов и прежде всего славян Чехии с немцами и итальянцами. Мои усилия не остались совершенно безрезультатными. Немцы и славяне подали друг другу руку, чтобы подняться или восстать одновременно. И если бы это дело удалось, Италия и Венгрия были бы спасены. в Польше вспыхнула бы революция, которая *перекинулась бы в Россию* (курсив мой). Однако все это случилось слишком поздно. Всеобщее попятное движение чувствовалось в Европе уже тогда. Время принадлежало реакции. Мы принуждены были отступить“.

кунин завязал, по его словам, *первые положительные сношения с поляками.*

Бакунин случайно встретился с деятельным членом польского демократического общества Крыжановским, которого он знал еще по Брюсселю с 1847 года, и который теперь проезжал через Дрезден в Париж из Галиции, откуда он должен был бежать вследствие преследований со стороны австрийской полиции. Когда Бакунин стал упрекать Крыжановского за клевету, распространяемую на его счет польскими демократами [1]), последний уверил Бакунина, что ни он, ни его друг Гельтман не только не верили никогда этой клевете. но даже собирались пригласить Бакунина в Галицию, где он мог бы быть полезен. Тогда Бакунин сообщил ему о своих планах на революцию в Богемии, указав, что он «желал давно соединиться с поляками для того, чтобы действовать с ними вместе, но что до сих пор все (его) попытки для сближения с ними не только что остались без всякого успеха, но навлекли еще на (него) гнусную клевету» [2]). В результате этого об'яснения Бакунин решил вступить через Крыжановского в официальные переговоры с Демократическою Централизациею на предмет установления связи между венгерскими, немецкими, польскими, чешскими и иными славянскими демократами для общих действий. Особых практических последствий этот план не имел, если не считать того, что Бакунин получил от Крыжановского английский паспорт, с которым он поехал в Прагу.

В Праге Бакунин был неприятно поражен тем, что там ничего не было сделано, а тайному обществу не было положено даже основания. Впоследствии Арнольд, кажется, взялся за дело ревностнее, но в тот момент подготовительные к революции работы находились в самом плачевном положении. На состоявшемся у него совещании с чешскими демократами Бакунин пришел к выводу, что они—пустые болтуны и любители клубного риторства, те же были напуганы резкостью вырвавшихся у Бакунина выражений. Последний «убедился в том, что, оставив широкое поле

---

1) Снова обращаем внимание читателя на эти слоза Бакунина (в „Исповеди“).

2) Итак, Бакунин снова определенно указывает, что *клевета против него имела своим источником его систематические попытки сблизиться с поляками для общей революционной работы*. Это необходимо хорошенько запомнить. Именно это место „Исповеди“ мы имели в виду, когда выше, при изложении инцидента с „Новой Рейнской Газетой“, старались выяснить источник порочащих Бакунина слухов.

для их самолюбия и уступив им все внешности власти, (ему) *не-трудно будет овладеть самою властью, когда революция нач-нется»*[1]).

Из бесед с некоторыми из чешских демократов Бакунин заключил, что, параллельно с его замыслами, одновременно подготовлялось «несколько других предприятий, менее решительных, с видами более отдаленными, но клонящихся, однако, к одной и той же (?) революционной цели», и «стал думать о средствах воспользоваться ими». Для этого он должен был бы остаться в Праге, но, вследствие болтливости пражских демократов, слух о его приезде широко распространился, а так как австрийская полиция уже точила на него зубы за первое воззвание к славянам, то ему пришлось уехать из Праги, чтобы не подвергнуться аресту. За неимением других средств, ему пришлось возложить все свои надежды на братьев Стракка, незадолго до того обращенных им в свою веру, а это показывает, как слабы были его богемские связи. Дав им самые подробные инструкции относительно подготовки чешской революции и уполномочив их действовать за него и от его имени, Бакунин выехал обратно в Дрезден, вынеся из кратковременного пребывания в Праге впечатление, что почва для восстания там вполне благоприятная.

«Революционерных элементов было много,—говорит Бакунин,—следовало только овладеть ими, но на это у меня решительно недоставало средств. Однако я все еще не отчаялся. Я. поручил братьям Стракка завести наскоро тайные общества в Праге, не придерживаясь строго старого плана, для исполнения которого уже недоставало более времени, но сосредоточив главное внимание на Праге для того, чтобы приготовить ее как можно скорее к революционерному движению; *особенно просил их завести связь с работниками*[2]) и составить исподволь из самых верных людей силу, состоящую из 500, 400 или 300 людей, по возможности род революционерного батальона, на который бы я мог безусловно положиться и с помощью которого мог бы овладеть всеми остальными пражскими, менее или совсем не организованными элементами, овладев же Прагою, я надеялся овладеть всею Богемиею, ибо намеревался принудить главных предводителей чешской демократии соединиться со мною, принудить их к тому

---

[1]) Курсив мой. Ср. что выше сказано о „советском“ характере бакунинских планов.

[2]) Курсив мой.

или убеждением, или удовлетворением их самолюбия, предоставив им по вышереченному все почести и все выгоды власти, а если б ни то, ни другое на них не подействовало, так и силою.—*Просил, наконец, их опять знакомиться со всеми, однако, не высказываться,* не болтать, быть скромными, не оскорблять ничьего самолюбия и наблюдать внимательно за всеми движениями и всеми параллельными предприятиями, опасаясь, чтоб нас не предупредили,—и писать мне обо всем со всевозможной подробностью в Дрезден, откуда обещал прислать им денег и, когда придет время, приехать к ним с польскими офицерами».

Но Крыжановский и Гельтман привезли в Дрезден много комплиментов от польских и парижских демократов, но не доставили ни денег, ни офицеров, ни венгерских представителей [1]). Таким образом Бакунин лишен был возможности выполнить обещания, данные чешским демократам. Из попыток Бакунина непосредственно связаться с венгерскими революционерами не вышло тоже ничего. Чтобы хоть отчасти притти Бакунину на помощь, депутат Реккель принужден был продать свою мебель. С поляками условились положительно только об одном, а именно об установлении в Праге общеславянского революционного комитета в случае начала революции.

В Дрездене Бакунин, по его собственным словам, поселился не для Саксонии и не для Германии, а для Богемии—в виду близости этого города к Праге. Как и прежде в Лейпциге, он не посещал здесь ни клубов, ни демократических совещаний, избегал показываться публично, не зная, как отнесется дрезденская полиция к его беспаспортному пребыванию в городе [2]). Единственные два немца, с которыми он имел в Дрездене деловые отношения, были: д-р Виттис—редактор дрезденской демократической газеты, редакция которой служила Бакунину «конторою для его пражских сношений», а сама газета в славянском вопросе безусловно

---

[1]) Бакунин прибавляет, что и на этот раз между ними и им не было полного доверия: „они мне никогда ни полслова не сказали о своих польских делах; платя им скрытностью за скрытность, я с своей стороны удержал также многое от них втайне". Поляки имели в Богемии свои связи независимо от Бакунина. Как мы видим, недоверие польских демократов к Бакунину ничем нельзя было вытравить. Бакунин отдувался за грехи Николая I.

[2]) Насколько Бакунин нуждался тогда в средствах, видно из того, что он, по его словам, расходовал на себя в день не более 5—6 зильбергрошей (т.-е. 25—30 коп.).

руководствовалась мнением Бакунина,—и депутат Реккель, помогавший Бакунину вести пропаганду в немецкой Богемии в виду своих связей с пограничными саксонскими демократами.

Наконец, саксонский демократический парламент был распущен; реакция надвигалась и в Саксонии. В воздухе запахло порохом. Но саксонская революция казалась столь еще отдаленной, что Реккель, опасавшийся полицейских репрессий, решил на некоторое время удалиться из Дрездена. Бакунин уговорил его ехать в Прагу, дал ему записки к Арнольду, к Сабине, а также к братьям Стракка и поручил ему по возможности ускорить подготовления к гражскому восстанию. В день от'езда к Бакунину зашел бывший член распущенного австрийского собрания, д-р Циммер, влиятельный лидер немецкой партии в Богемии, демократ, но бывший незадолго перед тем завзятым врагом чехов. После долгого горячего спора Бакунину удалось переубедить его и склонить на свою сторону: Циммер обещал ехать немедленно в Прагу и содействовать там об'единению немцев с чехами для общей революционной борьбы.

Посылка Реккеля и Циммера была последним действием Бакунина по отношению к Богемии. Скоро пражский заговор был раскрыт вследствие найденных 7 мая 1849 года при обыске у Реккеля документов. Вот содержание рекомендательного письма, которое дано было ему Бакуниным при от'езде его из Дрездена в Прагу:

«Дорогие и уважаемые друзья!

«Подателя сего письма Реккеля, депутата только что распущенной второй палаты, одного из самых видных вождей демократической партии в Саксонии, я рекомендую вам как одного из моих лучших друзей и как вполне надежного и дельного человека. Он едет к вам, чтобы столковаться с вами и вместе с вами постараться об'единить чешское движение с движением немецким. Нам нельзя упускать времени,—его очень немного в нашем распоряжении,—чтобы все подготовить. Если в ближайшем будущем не вспыхнет восстание, то придут русские, так как реакция в Европе действует по одному плану, а Россия—опора всех реакционных предприятий. Здесь мы вступили в сношения с одним мадьярским агентом и через 2—3 дня получили из Парижа деньги; мы сейчас же пошлем вам некоторую сумму денег,, размер которой будет зависеть от того, сколько мы получим сами.

«Я бы очень желал вашего прибытия сюда, чтобы сговориться с нами, т.-е. с приехавшим мадьяром, с двумя поляками, прибывшими из Парижа в целях совместной работы, и со мной.

«Если еще возможно, приезжайте в Дрезден и обращайтесь к Виттису, редактору «Дрезденской Газеты», Остраалле, редакция «Дрезденской Газеты».

«Будьте здоровы. До скорого свиданья

Ваш М. Бакунин.

«30 апреля, Дрезден, 1849 г.

«Письмо сейчас же сожгите».

Начались в Праге повальные обыски у чешских и немецких студентов, а затем, в 1851 году, состоялся процесс в военном суде, который признал наличность соглашения между немецкими, венгерскими и чешскими демократами. Суд вынес крайне суровый приговор: целый ряд подсудимых был приговорен к смертной казни (не приведенной в исполнение) и к долголетнему тюремному заключению. Центральной фигурой процесса был Бакунин; но его сначала судили в Саксонии за участие в дрезденском восстании, а затем уже выдали Австрии, где он и получил смертный приговор за участие в австрийских делах (об этом см. в части четвертой этого тома).

8. БАКУНИН И ДРЕЗДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ.

В рассматриваемое время воздух был чреват грозными бурями. Правда, жизненный нерв революции был уже надорван, особенно после июньского поражения пролетариата во Франции, но революция еще не успела истощить всех своих сил и надеялась на близкий реванш. Брожение было всеобщим и во Франции, и в Италии, и в Германии, и в Венгрии. Во всяком случае тогда как раз было время сделать последнюю отчаянную попытку оживить революцию. Немецкие демократы решили воспользоваться нежеланием германских правительств признать имперскую конституцию, выработанную франкфуртским парламентом. Отказ саксонского правительства признать эту конституцию вызвал в Дрездене глубокое волнение и народные демонстрации, в ответ на которые солдаты стреляли в толпу. Тогда 3 мая были построены баррикады, и саксонский король принужден был бежать. Составилось временное правительство из О. Л. Гейбнера, С. Е. Тширнера и К. Тодта, и в продолжение нескольких дней революционеры вла-

дели городом. Военным начальником сначала был подполковник Гейнце, а затем молодой наборщик Стефан Борн (настоящая фамилия его была Бутермильх), бывший член «Союза Коммунистов» и основатель общегерманского союза «Рабочее Братство». Деятельное участие в этой революционной вспышке принял и Бакунин.

Маркс в своей «Революции и контр-революции в Германии», говоря о том, что силы инсургентов рекрутировались, главным образом, среди рабочих окрестных промышленных районов, замечает: «Они нашли спокойного и хладнокровного вождя в русском эмигранте Бакунине» [1]). И действительно, по свидетельствам современников, Бакунин принял серьезное участие в руководстве защитой города и, по свидетельству самых различных источников [2]), играл в нем видную роль. Его гигантский рост и звание русского революционера привлекали к нему всеобщее внимание. Вокруг его имени создалась легенда: ему приписывали самые решительные меры, вроде приказа поджигать дома для защиты го-

---

[1]) Маркс—„Собрание исторических работ.“ Спб. 1906, стр. 388 (снова напоминаем, что эти строки писались для Маркса Энгельсом). Стефан Борн в своих—„Воспоминаниях“ „Die Erinnerungen eines Achtundvierzigers“—выражается о роли Бакунина в Дрездене совершенно иначе: „Этот русский решительно незамечавший и непонимавший действительных отношений, среди которых он жил в Германии, естественно, не имел также ни малейшего влияния на ход событий. Он ел, пил и спал в ратуше—и это все“. Но, повидимому, Борн сводит здесь старые счеты с Бакуниным, с которым он разошелся по вопросу о продолжении борьбы (см. ниже). Замечательно, что и Бакунин в своей подробной и правдивой „Исповеди“ ни одним, буквально ни одним словом не упоминает о Борне и об его участии в дрезденском восстании. Думать, что Бакунин не называет Борна в силу усвоенного им в „Исповеди“ принципа не выдавать никого (см. главу IV), нельзя, ибо об участи Борна (вдобавок бежавшего) все правительства были прекрасно осведомлены. Очевидно, между этими двумя людьми существовала органическая, непримиримая вражда.

Напротив, отзыв Маркса—Энгельса о роли Бакунина в Дрездене очень похвален. Допустим, что здесь роль Бакунина в Дрездене преувеличена. Но это во всяком случае показывает, что в 1852 г., когда писались эти строки, Маркс и Энгельс вовсе не относились враждебно к Бакунину и не клеветали на него, сидящего в крепости, как впоследствии думали Герцен и Бакунин (кстати, не знавшие об этих статьях Маркса, напечатанных в американском журнале „Трибуна“) и как за ними повторяли все противники Маркса.

[2]) Указание на эти источники см. у Неттлау в I томе его цитированной работы.

рода и т. п. Между прочим, рассказывали, будто он посоветовал дрезденцам поставить на городские стены Мадонну Рафаэля и уведомить об этом прусских [1]) командиров, с предупреждением, что, стреляя по городу, они рискуют испортить бессмертное произведение искусства. Немцы, дескать, zu klassisch gebildet [2]), чтобы позволить себе стрелять по Рафаэлю. Когда Бакунина русские товарищи однажды спросили, поступил ли бы он так же и тогда, когда пришлось бы защищаться от русской армии, он ответил:

— Ну, брат, нет! Немец—человек цивилизованный, а русский человек—дикарь, он и не в Рафаэля станет стрелять, а в самую как есть в Божию Матерь, если начальство прикажет. Против русского войска с казаками грешно пользоваться такими средствами,—и народ не защитишь, и Рафаэля погубишь!

При защите Дрездена Бакунин проявил поразительное хладнокровие и непоколебимую решимость, которые сделали его имя на долгие годы пугалом для саксонских филистеров, но в то же время способствовали преувеличению его действительной роли в дрезденском восстании.

Об этом моменте жизни Бакунина Герцен рассказывает следующее:

«Под влиянием лихорадочно-нервного возбуждения, с экзальтацией отчаяния, вызванной ужасным оскорблением (от низостей и зверств тогдашних германских правительств.—*Ю. С.*), революционная партия сделала в Дрездене последнее усилие.

«Бакунин был там. Грустный, раздраженный, он не мог больше выносить всего, что творилось, как показывает письмо, посланное им перед дрезденской революцией одному из его друзей [3]). Как только поднялось движение в Дрездене, он появился на баррикадах,—его там знали и очень любили.

«Образовалось временное правительство. Он предложил ему свои услуги. Более энергичный, чем его друзья, он, не будучи облечен формальной властью, сделался военным комендантом

---

[1]) Прусские войска были посланы для спасения саксонской монархии.

[2]) Получили слишком классическое образование.

[3]) Возможно, что Герцен имеет здесь в виду письмо Бакунина к Гервегу, цитированное выше. Гервег наверно показывал его Герцену. Ведь в конце 40-х годов Гервег и Герцен были в большой дружбе и даже жили в одном доме.

осажденного города. Там-то он и обнаружил не только мужество, но и присутствие духа, геройское, непоколебимое.

«Узнав, что королевские солдаты (прусские.—*Ю. С.*) вовсе не приняли твердого решения избивать своих братьев, что у них были сомнения, что они даже щадили здания, Бакунин предложил выставить шедевры Дрезденской галлереи на стенах и баррикадах. Это, действительно, могло остановить (?) осаждающих.

«А если они будут стрелять?»—возразили члены муниципалитета. «Тем лучше, пусть падет на них позор этого варварства». Муниципальные эстетики не пожелали этого. Таким же образом был отвергнут целый ряд революционных и террористических мер, предложенных Бакуниным.

«Когда ничего нельзя было больше сделать, Бакунин предложил поджечь дома аристократов и взорвать на воздух ратушу со всеми членами правительства, в числе которых был и он сам. Он говорил это, держа в руке заряженный пистолет» [1]).

Как же в действительности обстояло дело? На это подробный ответ дает нам «Исповедь» Бакунина.

Положение Бакунина с началом волнений в Саксонии оказалось несколько затруднительным. Конечно, он горячо сочувствовал немецкой демократии и ждал революции. Но к собственно немецким делам он близко не стоял и относился к ним скорее с чувством симпатизирующего наблюдателя. Его интересовала славянская революция, в частности движение в Богемии. Между тем неожиданно разразившиеся в Дрездене волнения грозили спутать все его карты, а его самого подвергнуть личной опасности. И в первый момент он не знал, на что ему решиться.

«На другой же день по от'езде Реккеля,—рассказывает он,—т.-е. по распущении парламента, начались в Дрездене беспорядки: они продолжались несколько дней, не принимая еще решительного характера, но были уже такого рода, что не могли иначе окончиться, как революцией или совершенной реакцией. Революции я не боялся, но боялся реакции, которая необходимо кончилась бы арестом всех беспаспортных политических беглецов и революционерных волонтеров, в числе которых я занимал не последнее место. Я долго не знал, что делать, долго ни на что не решался: оставаться казалось опасно, но бежать было стыдно, решительно невозможно. Я был главным и единственным зачин-

---

[1]) „Бакунин (Письмо к Мишле)", цит. соч., стр. 282—3.

щиком пражского, как немецкого, так и чешского заговора, послал братьев Стракка в Прагу и подверг в оной многих явной опасности, поэтому не имел права сам избегать опасности. Мне оставалось еще одно средство: удалиться в окрестность и ждать вблизи от Дрездена, чтоб движение приняло более решительный, революционный характер; но на это были нужны деньги, а у меня, я думаю, не было более двух талеров [1]) в кармане. Дрезден же был центром моей корреспонденции; я ждал графа Телеки [2]), ежеминутно мог быть позван в Прагу;—я решил остаться и уговорил к тому Крыжановского и Гельтмана, которые было уж совсем собирались уехать.—Оставшись же раз, я ни по положению, ни по характеру не мог быть равнодушным и бездейственным зрителем дрезденских происшествий. Воздержался, однако, от всякого участия до самого дня выбора Провизорного [3]) Правительства».

Дрезденская революция сначала носила буржуазно-конституционный характер: добрые бюргеры выступили в защиту попранного «права», непризнанной монархами конституции. Но, по естественной логике событий, умеренные элементы с развитием движения стушевались, а на первый план выдвинулись крайние элементы, появились рабочие, революция приняла демократический характер. Во Временное Правительство, состоявшее из трех человек, избраны были два умеренные либерала, представителя монархическо-конституционной партии, Гейбнер и Тодт [4]), и только один демократ Тширнер. Гейбнера Бакунин до того совсем не знал Тодта знал еще со времени первого своего пребывания в Дрездене, т.-е. за семь лет до того; с Тширнером случайно познакомился после своего переезда в Дрезден и встретил его раза два-три в пивной, где по вечерам собирались дрезденские демократы.

С избранием Временного Правительства Бакунин начал надеяться на удачу революции. Войск тогда в Саксонии было мало, в самом Дрездене оставалось всего несколько батальонов, прусские войска подойти не успели, вооруженных демократов, особенно из рабочих пригородов, было много, но силы их, по словам

---

[1]) Талер—полтора рубля.

[2]) Представитель венгерского диктатора Кошута.

[3]) Временного.

[4]) Это нечто вроде нашего Родзянки. Тодт за несколько дней перед тем в качестве правительственного комиссара распустил парламент от имени короля.

Бакунина, были парализованы беспутными революционными руководителями.

«В день выбора Провизорного Правительства,—рассказывает Бакунин,—деятельность моя ограничилась советами. Это было, кажется, 4 мая по новому стилю. Саксонские войска парламентировали, я советовал Чирнеру [1]) не давать себя в обман, ибо явно было, что правительство хотело только выиграть время, ожидая прусскую помощь. Советовал Чирнеру прекратить пустые переговоры, не терять времени, воспользоваться слабостью войск для того, чтобы овладеть целым Дрезденом; предлагал ему даже собрать знакомых мне поляков, которых было тогда много в Дрездене, и повести вместе с ним народ, требовавший оружия, на оружейную палату. Целый день был потерян в переговорах, на другой день Чирнер вспомнил о моем совете и о моем положении, но обстоятельства уже переменились; бюргеры разошлись по домам с своими ружьями, народ охладел; прибывших Freischaaren [2]) было еще немного; и, кажется, появились уже первые прусские батальоны. Однако, уступив его просьбе, а еще более обещаниям, я отыскал Гельтмана и Крыжановского и не без труда уговорил их принять вместе со мною участие в дрезденской революции, представляя им, какие выгодные последствия могли произойти из ее успешного хода для самой богемской, ожидаемой нами, революции. Они согласились и привели с собой в ратушу, где заседало Провизорное Правительство, еще одного, впрочем, мне незнакомого польского офицера. Мы заключили тогда с Чирнером род контракта: он об'явил нам, во-первых, что если революция пойдет успешно, то он не удовлетворится одним признанием франкфуртского парламента и франкфуртской конституции, а провозгласит демократическую республику; во-вторых, обязался быть нам помощником и верным союзником во всех наших славянских предприятиях; обещал нам денег, оружия, одним словом, все, что будет потребно для богемской революции. Просил только не говорить ни о чем Тодту и Häubner [3]), которых называл предателями и реакционерами.

«Таким образом мы поселились—Гельтман, Кржыжановский, вышеупомянутый польский офицер и я—в комнате Провизорного Правительства за ширмами. Наше положение было престранное:

---

[1]) Так Бакунин пишет фамилию Тширнер.
[2]) Вольных стрелков, партизан.
[3]) Гейбнеру.

мы составляли род штаба возле Провизорного Правительства, которое исполняло беспрекословно все наши требования; но независимо от нас и независимо даже от самого Провизорного Правительства действовал и командовал революционерным ополчением обер-лейтенант Heinze [1]), занявший место начальника национальной гвардии. Он смотрел на нас с явным недоброжелательством, почти с ненавистью, и не только что не исполнил ни одного из наших требований, переходивших ему в виде повелений Провизорного Правительства, но действовал нам наперекор, так что все наши старания были напрасны. В продолжение целых суток мы ничего более не требовали, как только пятисот, даже трехсот человек, которых сами хотели вести на оружейную палату, и не могли даже собрать пятидесяти человек, не потому, что их не было, но потому, что Heinze не допускал к нам никого, разбрасывал всех по целому Дрездену, лишь только прибывали свежие силы. Я был тогда уверен, и теперь еще убежден, что Heinze действовал как изменник, и не понимаю, как он мог быть осужден как государственный преступник. Он способствовал к победе войск гораздо более, чем сами войска, которые, как я уже рассказал, действовали очень-очень робко».

На следующий день, 6 мая, когда Бакунин с Гейбнером, душою отдавшимся делу революции, пошли на баррикады отчасти для того, чтобы ободрить бойцов, отчасти для того, чтобы на месте ознакомиться с положением дел, Чирнер и поляки, испугавшись ложной тревоги, сочли за благо удалиться и советовали Гейбнеру и Бакунину поступить так же. Гейбнер и Бакунин отказались последовать их примеру. Впоследствии возвратился и Чирнер, а затем и Тодт, но последний скоро снова скрылся.

Бакунин не мог уйти; этого не допускала его натура, но это было для него также невозможно в виду распущенных про него клеветнических слухов.

«Я остался,—пишет он,—не потому, чтоб надеялся на успех. Все было так испорчено господами Чирнер и Heinze, что только чудо могло спасти демократов; не было возможности восстановить порядка, все было до такой степени перемешано, что никто не знал ни что делать, ни куда, ни к кому обратиться. Я ожидал поражения, и остался отчасти потому, что как русский, более всех других подверженный подлым подозрениям и не раз окле-

---

[1]) Гейнце.

ветанный, я считал себя обязанным, равно как и Häubner [1]), выдержать до конца».. .

Что же делал Бакунин в течение 3—4 дней, проведенных им в Дрездене, после ухода своих польских соратников?

«Я хлопотал много,—говорит он,—давал советы, давал приказания, составлял почти один все Провизорное Правительство, делал, одним словом, все, что мог, чтобы спасти погубленную и видимо погибающую революцию, не спал, не ел, не пил, даже не курил [2]), сбился со всех сил и не мог отлучиться ни на минуту из комнаты правительства, опасаясь, что Чирнер опять убежит и оставит моего Häubner [3]) одного. Собирал несколько раз начальников баррикад, старался восстановить порядок, собрать силу для наступательных действий; но Heinze разрушал все мои меры в зародыше, так что вся моя напряженная, лихорадочная деятельность была всуе. Некоторые из коммунистических предводителей баррикад вздумали было жечь Дрезден и сожгли уже несколько домов. *Я никогда не давал к тому приказаний:* впрочем, согласился бы и на то, если б только думал, что пожаром можно спасти саксонскую революцию. Я никогда не мог понять, чтоб о домах и о неодушевленных вещах следовало жалеть более, чем о людях.—Саксонские, равно как и прусские солдаты, тешились и стреляли в цель на безвинных женщин, выглядывавших из окон, и никто тому не удивлялся, а когда демократы стали жечь дома для своей собственной обороны, все заговорили о варварстве.

«Я пожаров не приказывал, но не позволял также, чтоб, под предлогом угашения пожаров, предали город войскам; когда же стало явно, что в Дрездене уже более держаться нельзя, я предложил Провизорному Правительству взорвать себя вместе с ратушею на воздух, на это у меня было пороху довольно, но они не захотели.—Чирнер опять бежал, и с тех пор я более не видался с ним. Häubner [4]) и я, разослав повсюду приказания ко всеобщему отступлению, выждали еще некоторое время, когда приказания наши были исполнены, потом удалились со всем ополче-

---

[1]) Гейбнер.

[2]) Бакунин был страстным курильщиком; поэтому для него лишение табаку было особенно чувствительным. Эту черту отмечают в нем Герцен и Гильом, которые вообще изумлялись русской манере курить не переставая.

[3]) Гейбнера.

[4]) Гейбнер.

нием, взяв с собою весь порох, всю готовую аммуницию и наших раненых. Я до сих пор не понимаю, как нам удалось, как нас допустили совершить не бегство, но правильное порядочное отступление, в то время как было легко уничтожить нас в прах на чистом поле. Я мог бы подумать, что человеколюбие остановило начальников войск, если б после того, что видел и слышал перед моим заключением и после, мог верить в их человеколюбие; и об'ясняю сие обстоятельство опять тем же, что в мире все относительно, и что немецкие войска, равно как и немецкие правительства, созданы для борьбы с немецкими демократами».

Несколько тысяч инсургентов вместе с Временным Правительством выступили 9 мая из города, чтобы направиться в Фрейберг и там, соединившись с провинциальными революционерами, дожидаться в открытом поле начала революционного движения в северной Богемии.

Но Прага не шевелилась. Бакунин хотел умереть с оружием в руках. Он мог бы спастись и бежать в Кэтен, но не хотел оставить дела. Тщетно уговаривал он Борна двинуться с остатками сил на территорию Богемии и попытаться поднять там новое восстание; Борн, назвав его сумасшедшим («Sie sind wohl toll»), отказался и распустил свои войска. Тогда Бакунин вместе с Гейбнером, Земмингом и с присоединившимся к ним Рихардом Вагнером [1]) направились в Фрейберг, но, встреченные враждебным отношением тамошних мещан, принуждены были изменить свой план. Бакунин с Гейбнером поехали в Хемниц, где надеялись найти новый опорный пункт для своих предприятий. Борн, прощаясь с ними, советовал им не останавливаться в гостинице. К несчастью, они поступили вопреки его совету. Измученные бессонными ночами, путники заснули; мещане схватили их сонных в ночь на 10 мая и на другой день выдали их в Альтенбурге прусским военным властям (Вагнеру, укрывшемуся у своей сестры, удалось бежать). Вечером того же дня их перевезли в дрезденскую тюрьму [2]).

---

[1]) Знаменитым впоследствии музыкантом-композитором.

[2]) Этот рассказ Бакунина, которому незачем было преуменьшать свои „немецкие грехи“ перед Николаем I, в общем вполне совпадает с его рассказом о своей роли в дрезденской революции, который он дал в письме к своему адвокату Отто, когда сидел в Кенигштейнской крепости и ждал саксонского суда (см. это письмо в части четвертой этого тома). Это показывает, что Бакунин сообщает правду. Рассказ

О последних часах своего пребывания на свободе Бакунин рассказывает так:

«Хотя ретирада наша была совершена довольно порядочно, войско наше было совсем деморализировано. Прийдя в Фрейберг и желая продолжать войну на границе Богемии,—я все еще надеялся на богемское возмущение,—мы старались ободрить его, установить в нем новый порядок; но не было возможности; все были утомлены, измучены, без всякой веры на успех; да и мы сами держались кое-как, последним усилием, последним болезненным напряжением. В Хемнице вместо ожидаемой помощи мы нашли предательство; реакционерные граждане схватили нас ночью в кроватях и повезли в Альтенбург для того, чтобы предать прусскому войску. Саксонская следственная комиссия удивлялась потом, как я дал себя взять, как не сделал попытки для своего освобождения. И, в самом деле, можно было вырваться из рук бюргеров; но я был изнеможен, истощен не только телесно, но еще более нравственно, и был совершенно равнодушен к тому, что со мной будет. Уничтожил только на дороге свою карманную книгу, а сам надеялся, что, по примеру Роберта Блюма в Вене, меня через несколько дней расстреляют, и боялся только одного: быть преданным в руки русского правительства. Надежда моя не сбылась, судьба сулила мне жребий другой».

Прусский офицер, сторживший его в Альтенбурге, впоследствии рассказывал, что Бакунин и в плену не изменил себе и остался тем же непоколебимо-убежденным революционером. Между прочим, он убеждал своего цербера, что в политике только успех определяет, что есть великое дело и что есть преступление.

А в Петербурге Третье Отделение с удовольствием подшивало в «Дело» о государственном преступнике Бакунине перевод выписки из «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая Газета») следующего содержания:

его окончательно разгушает историческую легенду, создавшуюся вокруг его крупной личности, поражавшей воображение современников, и устраняет обе крайности, существующие по данному вопросу (одна из них нашла свое выражение в саркастических замечаниях Ст. Борна, а другая—в словах Маркса и Энгельса, которые мы приводили выше). Оказывается, что для Бакунина дрезденское восстание было неожиданным, что он начал играть в нем известную, но далеко не решающую роль лишь в последние моменты, хотя при этом вел себя, как подобает истинному революционеру.

«Из *Альтенбурга* от 11 мая сообщают, что в числе дрезденских мятежников, захваченных жандармами в Хемнице, привезен туда и *Бакунин*. Арестанты будут отправлены в Дрезден».

И довольный Дубельт сделал на этой выписке свой характерный росчерк. Наконец-то, они держали Бакунина в своих руках!

Саксонская полиция поспешила, конечно, сообщить русской содержание бумаг, отобранных у Бакунина [1]). Просмотр этих документов и снятие с них копий потребовали некоторого времени, и только через четыре месяца русский представитель при саксонском дворе, Шредер, получил возможность отправить в Петербург копии с некоторых из этих документов и выписки из других. 8/20 сентября 1849 г. он препроводил их мин. ин. дел Нессельроде при следующем характерном письме:

«Честь имею препроводить Вашему Сиятельству копии с документов, найденных в чемодане Бакунина. Среди них имеются документы на русском языке, на немецком и, наконец, письмо и отрывок на французском. Ваше Сиятельство найдете выдержки из них в приложении к настоящему письму.

«На всех этих документах лежит отпечаток какой-то революционной горячки, внушившей автору более или менее смутные, но сплошь преступные мысли.

«В частности в немецких и французских бумагах узнаешь плоды философии Гегеля, которые Бакунин вкушал во время своего пребывания в Берлине. Последующее его проживание в Дрездене сблизило его с Руге, использовавшим в интересах атеизма подготовительные занятия своего адепта и молодого приятеля, с которым он на ты. Французское письмо весьма знаменательно в этом отношении [2]).

«В общем Бакунин лишний раз показывает, до каких пределов могут дойти в людях заблуждения и забвение долга, когда верх берет отсутствие религиозных начал.

«16/28 августа Бакунина неожиданно разбудили в 12 часов ночи и велели ему одеваться; он был так этим напуган, что на-

---

[1]) Выше мы видели, как по просьбе русских чиновников берлинская полиция произвела у Бакунина обыск специально для ознакомления с его перепиской и бумагами, нужного для Третьего Отделения.

[2]) Столь поразившее своим атеизмом письмо Бакунина, написанное, по предположению следователей, графу Иллиодору Сторчевскому в Бреславле, в своей наиболее „страшной“ части приведено нами в части второй.

чал дрожать.—«Я готов к смерти,—сказал он,—но не к выдаче». Ответ, что его переведут в Кенигштейн, его успокоил».

Среди найденных у Бакунина бумаг на русском языке было 11 документов, из которых Шредер указывает, как главные, следующие: письма Юлия Анджейковича, литовца из окрестностей Вильны, «доказывающие, что этот человек усердно занимается революционным проискам (intrigues) и что он всецело подпал под влияние и руководство Бакунина», записка о законодательстве русской империи, «составленная в крайне злобном духе», несколько писем г-жи Полудиной [1]) из Москвы, в которых политические вопросы не затрагиваются: «их содержание показывает только, что это—крайне экзальтированная женщина, сантиментальная и, повидимому, влюбленная в Бакунина»; два письма на русском языке, начертанные латинскими буквами и сошедшие поэтому за написанные по-русински: «Бакунин не хотел сказать, кому он адресовал первое письмо; второе же принадлежит Людвигу Штуру, словаку, проживающему в Вене» [2]).

Записка на русском и французском языках, подписанная «Анджейкович», гласит (сохраняем орфографию):

«Впечатление, испытанное мною по приезде в Прагу, представляет нечто вроде того, как если бы вам на голову вылили ночной горшок—мы находимся здесь среди цвета нашей аристократии, и вы можете вообразить себе, что это такое. Скажите, пожалуйства, что Вы намерены делать [3])—едете в Прагу или нет? Надеетесь ли что-нибудь сделать с тамошней аристократью? Если будет какая-нибудь шанса сделать демократическую революцию, мы там поедем. Магузинский может доставить 1.000 человек самых отчаянных; только недостает денег—чорт знает, удастся? Прощай, друг, скажи, что делаешь? Куда ехать? Варшава! Варшава! тебе пора поправить движение света».

Другое письмо на русском и французском языках, без адреса, без обозначения места, месяца и года, принадлежащее, по мнению следователей, тому же Анджейковичу, относится, очевидно,

---

[1]) На самом деле—вдовы М. И. Полудинской, сестры эмигранта Н. И. Сазонова. Впоследствии полиция ее разыскивала в Москве, но убедилась, что она к политике никакого отношения не имеет.

[2]) Кроме того, здесь имеется ряд фрагментов или набросков бакунинского воззвания к славянам, которые г. Шредер считал самостоятельными документами.

[3]) До сих пор в подлиннике писано по-французски; мы даем перевод.

к моменту выхода в свет бакунинского «Воззвания к славянам» и показывает, какое впечатление оно произвело на его единомышленников. Приводим его, сохраняя орфографию подлинника.

«Вчера вечером получил твой манифест—теперь я его прочел. Превосходно. Превосходно. Мне слезы выпали, читая, что ты про твой народ пишешь. На нас влияние он сделает ужасное. Перевести его надо—и то как можно поскорей. Я готов это сделать и начну сегодня. Только как я немножко слаб в немецком языке, то пришли мне сейчас экземпляр по-русски или по-французски. У тебя должен ведь быть. Помилуй, пиши ко мне получше, а то я письма твоего не могу прочесть. Что касается печатания, никто в Дрездене печатать не станет,—а только в Лейпциге у Бобровича или прямо у Reclam'a [1]). Не говори никому про то, что я этим займусь. Ты знаешь, я в самом деле намерен возвратиться в Россию, а хотел бы только знать твой совет на этот счет. Напиши мне, как ты думаешь. Стоит ли возвратиться или нет? Меня посадят на полгода или на год или пошлют в русские губернии. Я на это готов, ежели бы знал, что могу там быть полезным. Думаешь ли, будет со мною хуже? Думаешь, будет что-нибудь можно за границей делать? Во Франции сидят тихо потому, что боятся, дабы épiciers [2]) во время движения не сделали императором Наполеона. Скажи мне, что значит: cette immense majorité [3])? Мне писали, что провинции хуже реакцыйны, чем l'Assemblée» [4]).

Отрывок письма на русском языке (без обозначения места, числа и года) без подписи, написанного рукою Бакунина латинскими буквами и адресованного, повидимому, какому-нибудь чеху или другому славянину, излагает его обычные тогда мысли по славянскому вопросу. Вот оно в русской транскрипции:

«Брат, что делаете Вы! Вы губите славянщизну. Вы позабыли, вы жертвуете великое дело славян и действуете только в пользу императора и австрийской аристократии. Вы думаете, что дипломатия спасет вас,—она вас погубит. Вы об'явили войну революции, вы служите реакции, вы кладете бесчестье на всю славянщизну».

---

[1]) Реклам, известный германский издатель.

[2]) Мелкие лавочники, мещане.

[3]) „Это подавляющее большинство". Повидимому, речь идет о большинстве, поданном во Франции на президентских выборах за Луи Бонапарта.

[4]) Национальное Собрание (во Франции).

Далее у Бакунина был взят ответ его на какое-то письмо из Вены. Здесь Бакунин выражает свое огорчение по поводу того, что, в то время как немцы выступают в Австрии как демократы, славяне действуют там в противоположном направлении. Бакунин прибавляет, что он славянин, русский, что он любит свое отечество, что он—страстный защитник славянского дела, но что он считает себя в праве называть себя демократом и что он предпочтет скорее отказаться от своего звания русского и славянина, чем от дела демократии, «т.-е. от дела величия, счастья и свободы всего человечества». При этом он выражает уверенность, что славянская раса как по своему прошлому, так и по настоящему значению и положению призвана внести новые начала в развитие демократии, и что только с победою демократии славянство добьется своего освобождения.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

БАКУНИН В ТЮРЬМЕ И ССЫЛКЕ.

1. В САКСОНСКИХ ТЮРЬМАХ.

Теперь начался бакунинский мартиролог.

В дрезденской крепости он просидел с 10 по 24 мая; затем его перевели в нейштадтскую [1]) кавалерийскую казарму, где он пробыл до 28 августа. С августа 1849 года до середины июня 1850 года Бакунин просидел в Кенигштейнской крепости.

Из Кенигштейна Бакунин 17 марта 1850 года обратился к своему защитнику, адвокату Францу Отто, с интересным письмом, в котором излагал свою политическую profession de foi и об'яснял мотивы своих действий во время революции 1848—1849 года. То, что ему не удавалось сделать раньше—представить более или менее связное изложение своих взглядов,—он пытался сделать теперь, накануне суда, рассчитывая, повидимому, что письмо его получит широкую огласку в демократических кругах. Этот документ, в котором Бакунин старается выяснить перед европейской публикой свои заветные стремления и попутно рассеять господствовавшее на его счет в известных кругах предрассудки, представляет некоторым образом предвосхищение, а некоторым образом параллель и дополнение к другому, еще более пространному и важному для его биографии документу,—его «Исповеди», написанной через полтора года в Петропавловской крепости по приказу Николая I (которую мы уже не раз цитировали и о коей подробно говорим ниже). Но в то время как в письме к Отто Бакунин, подобно двуликому Янусу, смотрит преимущественно на Запад, в «Исповеди» 1851 года он обращается лицом, главным образом, к Востоку. Однако в существенном и главном оба документа совпадают, что придает более вероятия сообщаемым в них фактам. Разница только в том, что

---

[1]) Часть Дрездена (Новый Город).

во втором документе слышится нотка усталости и разочарования, которой еще нет в первом: повидимому, мыкания Бакунина по тюрьмам и крепостям в конце-концов повлияли на настроение и этого непримиримого бунтаря (хотя не следует забывать, что «Исповедь» была написана для одурачения николаевских жандармов, и разочарование, выражаемое в ней, было большею частью притворным).

Вот перевод этого письма [1]) к Отто в том виде, в каком оно приведено в «Деле» III Отделения о Бакунине:

«Я намерен был прежде прислать вам все мое оправдание, надеясь гораздо раньше оное приготовить, но вижу теперь, что дело это не может итти так скоро. Записка моя, хотя больше чем вполовину готова уже, но, не будучи в состоянии свободно выражаться по-немецки, я боюсь, чтобы она не заняла меня еще неделю, и потому, для выиграния времени, я решился послать вам часть моего об'яснения—о том, что относится лично до меня; остальное же, касающееся моральных причин моих действий, я доставлю вам при первой возможности.

«Я должен начать с того, чтобы вам вкратце изложить политические начала, на которых я основывался во всем том, что я писал и делал. Я не имею счастья быть с вами знакомым, наше знакомство началось в тюрьме, где мы имели слишком мало случая говорить между собою, известности я не имею никакой, и потому я должен указать вам основание, которым вы, мой защитник, должны руководствоваться при ваших обо мне суждениях, если желаете быть справедливым, в чем я, разумеется, ни мало не сомневаюсь.

«Я—русский и сердечно люблю мое отечество, но вольность я люблю еще более; а любя вольность и ненавидя деспотизм, я ненавижу русское правительство, которое считаю злейшим врагом свободы, благосостояния и чести России. Основание сих чувств я изложу вам в следующем моем об'яснении. Российское правление не имеет другой цели существования и другой возможности поддержать себя, как только завоевывать свободные народы и обращать их в рабство. Оно должно уничтожать свободу и самостоятельность Европы во всей Германии, иначе само должно погибнуть. Таким образом, оно покорило Польшу и стремится

---

[1]) В „Деле“ дан уже русский перевод письма, написанного в подлиннике по-немецки. Приводим этот перевод, хотя он далеко не удачен.

тихим, но верным путем завладеть всеми славянскими поколениями в Австрии, Пруссии и Турции. Подробное доказательство сего вы также найдете в следующей моей записке. Правительство это есть естественный враг свободы немцев, ибо она может иметь последствием единство и могущество Германии, за которыми неминуема последует война с Россией, и с нею восстановление Польши и уничтожение Царства. Здесь возникает вопрос: деспотическая Россия, усиленная славянами, задавит ли Европу и всю Германию, или свободная Европа с освобожденными и самостоятельными уже славянами внесет под покровительством Польши свободу в Россию? Последнее, по моему мнению, есть главная современная дилемма, которая не допускает другого решения; и так как я, из всеобщей любви к свободе и из особенной любви к моему отечеству, не желаю, чтобы русский кнут одержал победу над европейскою свободою, так как я знаю, что народ русский есть невольное орудие русского властолюбия, что его несчастье, его рабство усиливается с распространением границ России, и что нестерпимое уже теперь состояние русского народа делается хуже с каждым новым завоеванием; так как я вообще завоевания в Европе считаю политикой безнравственной и гибельной для свободы и так как я враг русского правления и вижу, что все могущество оного заключается только в насильстве, то я—и враг иностранной его политики.

«Как враг русского правления, я желаю всего, что противоположно настоящему стремлению России, и чистосердечно желаю Германии свободы, единства и могущества истинно германского [1]). Это должно служить и ответом моим на замечание, сделанное в обвинительном акте вследствие принятого мною с двумя поляками участия,—что не непризнание франкфуртского парламента, а что-нибудь другое было поводом к сражению в Дрездене: «Участие русского *Бакунина* и незадолго до него

---

[1]) Сопоставляя соответствующие места этой „исповеди“, так сказать, перед германским общественным мнением и следующей „Исповеди“ перед Николаем I (при чем та и другая, чего не следует забывать, написаны из-под палки), мы увидим, что в первой Бакунин, затушевывая свой панславизм, выпячивает свою преданность демократии и европейской свободе, а во второй усиленно подчеркивает свои славянские и анти-немецкие чувства. В обоих случаях ему не приходилось особенно насиловать себя, ибо в его миросозерцании оба элемента были причудливо перемешаны.

прибывших из Парижа польских выходцев *Гельтмана* и *Крыжановского*, которым едва ли можно доверить успех в деле германского уложения [1]) и проч.».

«Я желаю германского могущества и германского величия, но не угнетения славян Германией. Знаю очень хорошо, что славяне не так легко могут сделаться германцами, тем менее еще искоренить свою национальность. Ибо, благодаря Богу, они не северо-американские индейцы. В несправедливом к тому стремлении германцев я вижу величайшую опасность как для самой Германии, так и для общей свободы, ибо оно есть вернейший способ отдать всех славян в руки России.

«Кто знает славян хотя немного, тот не может сомневаться в том, что славяне скорее отдадут себя под защиту русского кнута, нежели согласятся обратиться в немцев. Итак, скажу в нескольких словах, что единство и величие Германии и вместе с ним свободы и величие славян, дружеское обоих их согласие как в охранении цивилизации и прав человечества, так и в освобождении русского народа от деспотизма есть все, что я желал и чего желаю теперь с такой искренностию и силою воли.

«Эти же самые мысли я говорил громко в Париже до февральской революции, 29 ноября 1847 года, в одном торжественном польском собрании. Я старался вразумить поляков, что устроить свою судьбу они могут только вместе с устроением судьбы России, и что они должны внести в Россию свободу и, дабы свергнуть русское иго, подать руку русским, как единоплеменным своим братьям, несмотря на то, что теперь они их притеснители. Эта речь моя была переведена на немецкий язык, и вы этот перевод найдете, может быть, в Дрездене. Речью этой я навлек на себя большую грозу,—я приобрел себе через нее могущественного и непримиримого врага. Российский посланник потребовал сейчас от бывшего тогда под влиянием России и Австрии министра иностранных дел Гизо моего изгнания из Франции, что и было обещано. Российское посольство не довольствовалось этим, оно уверило французское правительство, разумеется в большой тайне, что я был агент русского правительства, имел от оного поручения, но, выйдя из пределов данной мне инструкции, не мог быть терпим во Франции. Гизо вверил эту важную тайну некоторым знатным полякам, и таким образом я

---

[1]) Т.-е. конституции.

прослыл русским шпионом [1]). Когда же я приехал в Бельгию, я нашел там другой обо мне отзыв, полученный прямо из французского министерства к брюссельскому начальству: что я бежал из своего отечества не по политическому делу, но вследствие похищения мною ста тысяч франков. После разразившихся в Париже, Вене и Берлине революций, все ожидали общей войны освобожденной Европы против России. Доказывать вам то, что действительно так думали не только во Франции, но и в Германии и в самом Берлине, я считаю излишним. Каждый листок, даже консервативные газеты того времени наполнены нареканиями (Rodomontaden) против русского царя и выражали симпатию к полякам. Ни о чем более не было тогда говорено, как о том, чтобы Россию отбросить в Азию. Мне, как русскому, было это слишком уже чувствительно [2]). Я желал войны европейской, войны против русского правления для освобождения Польши, а не для уничтожения русского народа, который я душевно уважаю. Я знал также, что не так легко уничтожить 40 миллионов народа, и я был уверен, что если подобная война против России будет предпринята, то она будет столь же неудачна, как была для Наполеона в 1812 году, и что через это самое деспотизм в моем отечестве еще более утвердится. Я думал и думаю еще теперь, что Польша только в согласии с русским народом может освободить себя и уничтожить русское царство. Чтобы содействовать таковому согласию, я решился в конце марта 1848 г. отправиться в Великое Герцогство Познанское с возвращавшимися туда поляками.

«Как я был задержан в Берлине, вам это уже известно. Там меня обвиняли, что я агент Ледрю-Роллена и что я хотел отправиться в Польшу и Россию от Польского революционного комитета, чтобы посягнуть на жизнь российского императора [3]). К большому моему удивлению, нахожу я опять это самое обвинение в обвинительном акте, хотя комиссия неоднократно сама

---

[1]) Относительно первоисточника клеветнических слухов про Бакунина см. части II и III этого тома.

[2]) То же самое, почти буквально теми же словами Бакунин повторяет в „Исповеди“ перед Николаем (см. ниже). Значит, нельзя думать, чтобы Бакунин выражением своих русских чувств хотел умилостивить царя.

[3]) Против этих двух действительно лживых обвинений Бакунин энергично протестует и в „Исповеди“ 1851 года (см. ниже).

повторяла, что она этому не придает большой важности, потому что донос о сем поступил к здешнему начальству от берлинской полиции без подписи и без доказательства.

«В обвинительном акте значится:

«По акту стр. 65, под лит. В, № 37 I части *Бакунин* состоит эмиссаром Ледрю-Роллена для возмущения славянских народов, для обращения их в республику и для возбуждения войны между Пруссией и Россией, также послан от Парижского революционного комитета с особенным поручением в Великое Герцогство Познанское и для убиения российского императора и, наконец, в Берлине состоял в тесной связи с левою партией».

«После того, что я слышал от комиссии, я мог бы избавить себя от труда возражать на столь нелепый донос. Но так как это помещено в означенном обвинительном акте и, вероятно, включено в оный не без намерения, то я должен отвечать на это хотя в нескольких словах:

1) Мог ли кто-нибудь в продолжение моей жизни заметить во мне малейшую способность к человекоубийству?

2) Гласность моих поступков и всегдашняя откровенность, с какою я высказывал все желания мои, согласуются ли с боязливою осторожностью убийцы?

3) Убийством я гнушаюсь, а над невеждами настоящего времени смеюсь, считая их сумасбродными.

4) Если бы я имел личное знакомство со столь замечательным человеком, как Ледрю-Роллен, я бы мог этим гордиться, но я должен по справедливости сказать, что во всю мою жизнь я только один раз и притом не более пяти минут говорил с ним.

5) Когда я прибыл в Бреслав из Берлина, я, к сожалению, должен сказать, что я узнал там, что *демократические поляки распустили молву о том, что я русский шпион*[1]). Мне кажется, этого довольно, чтобы доказать несправедливость сделанного на меня доноса.

«К сему еще присовокупляю, что в продолжение кратковременного заключения в Берлине мне официально было сказано, что сей донос поступил от российского посольства, и что оно,

---

[1]) Курсив наш. Снова подчеркиваем это обстоятельство, напоминая, что прибытие Бакунина в Бреславль состоялось за три месяца до появления известной заметки о нем в „Новой Рейнской Газете“. О том же он говорит в своей „Исповеди“ 1851 г. (соответствующую выписку из нее мы привели в части третьей этого тома)

как я узнал из полуофициальных источников, три раза в продолжение моего в Пруссии задержания, с начала мая до половины октября, требовало под теми же самыми предлогами выдачи меня, и что в этом было оному отказано; даже все это время—с дозволения прусского правительства—я мог оставаться в Пруссии, и только в октябре месяце, без всякого основательного повода, изгнан оттуда, после столь долгого задержания прусскою полицией, которая, однакож, как мне известно и как само собой разумеется, следила за каждым моим шагом и ничего другого не могла на меня показать, как только то, что значится в гнусном на меня доносе, а потому из этого можно заключить как о том, что об'явление, сделанное против меня, есть ложное, так же и то, как неоднократно я об'яснял комиссии, что я никогда не вмешивался ни в какие дела Германии.

«Что же касается до того, что я делал и что хотел сделать, будучи членом славянского конгресса в Праге, то вы это уже знаете из моего воззвания к славянам и также из прежних моих показаний и из того, что я в письме сем выше об'яснил. Дальнейшее по этому предмету об'яснение я изложу вам в следующей моей записке. После насильственного разрушения славянского конгресса, возвратясь в Пруссию, я оставался там, как выше сказано, до половины октября, если не ошибаюсь. Причину того, что я остался в Германии, легко можно об'яснить: я ждал лучшей погоды и не хотел удаляться с театра, где только один я мог действовать. Вся деятельность моя в Германии заключалась в следующем: я старался употребить по возможности в пользу мои знания и отношения, чтобы привести в Германии в действие переворот мнений и образ мыслей славян. Почему я желал сего, это об'ясняется из вышесказанного. Что при этом я был более в сообществе с демократами, это об'ясняется тем, что эти люди вообще не разделяют мнения прочих партий в Германии относительно образа мыслей польских славян; что же касается того, что я до восстания в Дрездене не вмешивался ни в какие политические общества, это, я думаю, уже достаточно доказано.

«Теперь о Саксонии. Относительно пребывания моего в Лейпциге и Дрездене до дрезденского восстания я сказал уже все, что знал, и не имею ничего прибавить к тому. Никогда никакому саксонскому клубу и парижскому собранию я не принадлежал и никогда не слыхал о каких-либо тайных движениях, приготовле-

ниях или обществах, и даже по сие время не знаю о существовании оных. Я не ожидал революции в Дрездене и ни словом, ни делом, ниже другим каким-либо способом не участвовал в оной. Она меня поразила удивлением, и первою моей мыслью было удалиться оттуда. Того же мнения, как мне известно, были *Крыжановский* и *Гельтман,* которые, как сами мне говорили, приехали из Парижа в Дрезден не по дрезденскому делу, но по делу Польши, которая, как известно, ближе к Дрездену, нежели к Парижу. Чтобы не удалиться от театра действий славянского предприятия и венгерского дела после вмешательства в оное России, я остался, однако, в Дрездене. Остальное вам все известно, и я только сделаю еще некоторые замечания против моего обвинительного акта.

«Оставаться без всякого в деле участия было мне невозможно. Об образе и о подробностях участия моего в дрезденской революции я достаточно об'яснил комиссии и повторяю еще раз: ничего более, ничего менее того, что я сказал. Я полагаю, что и следствием это подтвердилось, и поэтому меня удивило, когда я прочел в акте следующее против меня обвинение:

«С сего времени, именно после удаления поляков, *Бакунин* один «управлял войной, обнаруживая притом неограниченную власть».

«В Полномочии, стр. 12, части I, сказано:

«*Гейбнер* называет его начальником генерального штаба».

«Я об'яснил ясно и надеюсь доказать, что я никогда на себя начальства не принимал и не хотел оного принять. Никогда я не был предводителем войны и никогда не имел неограниченной власти. По моему убеждению и по всему, что я видел в этом сражении, не было в нем предводителя, ибо *Гейнце* ничего хорошего не сделал, и никто не предводительствовал им. Что подразумевал *Гейбнер* под названием начальника генерального штаба, я не знаю, ко мне же это звание относиться не может, потому что мне не известна и местность Дрездена. Полномочия на неограниченную власть я никогда не желал и не получал. Всякий шаг моих действий известен, как из моих собственных показаний, так и из показаний других, и все это должно бы убедить, что я никогда не был предводителем в сражении. Из одного самолюбия я бы не должен был отрицать взведенное на меня обвинение в управлении сею войною, однакож я думаю все-таки, что

сделал лучше, не приняв на себя этого звания по незнанию мною военного искусства.

«В этой войне я участвовал симпатиею и с помощью моих ограниченных сил делал все, что только мог, для пользы оной. Я не буду повторять моих прежних показаний, но я подтверждаю все без исключения, потому что в оных заключается совершенная истина. Я не был ни зачинщиком, ни предводителем сей революции; даже не знаю, имела ли таковых эта революция.

«После удаления поляков я остался здесь потому, что, будучи русским, считал бегство позорным. Был ли я зачинщиком дрезденской революции, о том вы можете лучше меня судить, будучи юристом, я же в защиту мою более ничего не могу присовокупить [1]).

«Извините мне несвязность сего письма; сегодня я торопился и от этого хуже и неправильнее писал по-немецки, чем пишу обыкновенно; но я надеюсь, вы будете более довольны моею следующей запиской, я буду стараться как можно скорее представить вам ее».

Исполнил ли Бакунин свое обещание и написал ли он продолжение своей записки, мы не знаем. Но это для него не было уже так важно. Ведь он не столько заботился о своей голове или боялся сурового приговора суда, сколько хотел выяснить свою

---

[1]) То, что Бакунин сообщает здесь о своей роли в дрезденском восстании, вполне совпадает с тем, что он (несколько подробнее) говорит в „Исповеди“ и что мы приводили уже в части третьей, когда рассказывали о дрезденском движении. Совпадение это чрезвычайно ценно в историческом отношении, ибо придает повествованию Бакунина значительную степень достоверности. Ведь, если показание Бакунина перед саксонским судом можно было бы заподозрить в том смысле, что он, из страха суровой кары, преуменьшал там свою действительную роль в дрезденском восстании, и на этом основании отводить его сообщение в письме к Отто, то с таким мерилом никак уже нельзя подходить к тому, что он рассказывает о своем участии в дрезденской революции в „Исповеди“ перед русским царем, которого революционная деятельность Бакунина на Западе интересовала гораздо меньше, чем его связи с поляками и его замыслы относительно возбуждения революционного движения в России. А между тем и в том, и в другом документе Бакунин дает приблизительно одинаковую картину своего положения в Дрездене и своей роли в майском восстании, при чем в обоих случаях показания Бакунина разрушают историческую легенду, сложившуюся вокруг его имени и нашедшую, как мы видели в части III, отголосок даже в брошюре Маркса-Энгельса „Революция и контр-революция в Германии“.

действительную точку зрения, выразить свои заветные стремления и рассеять предрассудки, существовавшие на его счет среди европейской публики. Этой цели он в значительной мере достиг первым письмом к своему адвокату. А что от саксонского, а затем от австрийского суда ему не будет пощады, он знал слишком хорошо.

14 января 1850 года Бакунин, вместе с Реккелем и Гейбнером был военным судом приговорен к смертной казни. Этот приговор суда 1 инстанции был утвержден в апреле Высшим Апелляционным судом, но смертная казнь в начале июня была им заменена пожизненным заключением по 2-му классу, т.-е. в смирительном доме.

Герцен, который мог получить сведения от Рейхеля и других немцев, знавших Бакунина в 1848 году, рассказывает об этом следующее:

«Арестованный через несколько дней после взятия Дрездена, Бакунин был судим военным судом и приговорен к смерти вместе с двумя своими храбрыми сподвижниками, Гейбнером [1]) и Рейхелем [2]). По прочтении приговора, который не *могли* привести в исполнение, так как смертная казнь для политических преступников, отмененная Франкфуртским парламентом, не была еще восстановлена, приговоренных *обманули*, предложив им подать просьбу о помиловании. Бакунин отказался и сказал, что единственная вещь, которой он боялся, это попасть в руки русского правительства, но так как его предполагают гильотинировать [3]), то он не имеет ничего против, хотя и предпочел бы лучше расстреляние. Адвокат поставил ему на вид, что один из его товарищей, имевший жену и детей, вероятно, согласился бы просить помилования, но отказывается от этого, узнав о словах Бакунина. «Так скажите ему,—тотчас ответил Бакунин,—что я соглашаюсь, что я подпишу прошение». Больше на этом не настаивали и сделали вид, что смягчение наказания было самопроизвольным актом королевского милосердия.

---

[1]) Отто Гейбнер просидел в Кенигштейнской крепости до 1859 г.

[2]) Это ошибка. Речь идет не о Рейхеле — музыканте, как поясняет примечание М. Лемке, а о саксонском депутате Реккеле. Не имея под руками другого издания Герцена, кроме лемковского, не можем судить, ошибка ли это Герцена или редактора издания.

[3]) Здесь у Герцена описка. В Германии преступников не гильотинируют, а отсекают им голову мечом.

«Тогда-то австрийское правительство потребовало, чтобы ему выдали Бакунина» [1]).

Дальше Герцен сообщает, что, когда в Дрездене Бакунина спрашивали, по какой причине он принял столь деятельное участие в немецкой революции, он сказал: «Я продолжал здесь то, что делал всю свою жизнь, и здесь я служил делу славянской революции».

О жизни Бакунина в Кенигштейнской крепости мы можем судить по письмам его к А. Рейхелю и к его сестре [2]). Оба они не забывали старого друга: Рейхель писал Бакунину и помогал ему материально, а сестра Рейхеля даже пыталась добиться свидания с узником, но неудачно. Бакунин был глубоко благодарен им за заботы о нем и поверял им свои душевные переживания в тюрьме.

«Твое письмо,—говорит Бакунин Рейхелю 18 октября 1849 г.,—было для меня в моей пустыне словно каплею живой воды... Я здоров и спокоен, много занимаюсь математикой, чи-

---

[1]) Цит. письмо к Мишле, стр. 483.

[2]) Таких писем известно всего 8. Пять из них адресованы самому Рейхелю (15 октября 1849 г., 24 ноября 1849 г., 9 декабря 1849 г., 7 апреля 1850 г. и 11 мая 1850 г.) Они полностью помещены в рукописной работе М. Неттлау. Три письма адресованы сестре Рейхеля и полностью помещены в „Supplément“ того же Неттлау, никому недоступном. *В извлечениях* Неттлау напечатал все эти письма в № 7 белогвардейского сборника „На чужой стороне“, выходящего в Праге-Берлине под редакцией С. Мельгунова. Выдержки из писем к сестре Рейхеля пришлось брать оттуда.

Эти отрывки были перепечатаны в 7-й книге журнала „Печать и Революция“ за 1925 год с предисловием В. Полонского, в котором обращают на себя внимание следующие курьезные места: „Настоящие письма, любезно предоставленные нам д-ром Максом Неттлау, ... были им опубликованы заграницей в одном мало распространенном издании... Письма публикуются в извлечениях, но это именно обстоятельство и придает им такую экстрактивную (?) силу и выразительность“. Вот что называется делать из нужды добродетель! Почему помещение писем в извлечениях, произвольно сделанных М. Неттлау, придает им какую-то особенную силу и выразительность, решительно непонятно. Если уж печатать эти письма, то целиком — по крайней мере, те из них, которые доступны всем, и не запрятаны д-ром Неттлау. Это В. Полонский мог легко сделать, если бы знал, что пять писем к Рейхелю давным-давно опубликованы Неттлау в его биографии Бакунина, имеющейся и в России в *двух* экземплярах. Тремя письмами к сестре Рейхеля поневоле приходится пользоваться в тех извлечениях,

таю теперь Шекспира и изучаю английский язык. Математика в особенности является очень хорошим средством для абстракции, а ты знаешь, что я всегда имел отменный талант к абстракции; а теперь я волей-неволей очутился в абстрактном положении. С тех пор, как меня перевели в Кенигштейн, тот самый Кенигштейн, которым я много лет тому назад так любовался снаружи, я чувствую себя—конечно, поскольку это возможно в тюрьме—совсем хорошо. Со мной обращаются здесь чрезвычайно гуманно, а я со своей стороны стараюсь избегать всего, что могло бы послужить поводом к изменению этого отношения ко мне, и если я не весел, то я также не чувствую себя несчастным и со спокойствием жду будущего, которое мне еще совершенно неизвестно». А в приписке к этому письму, утешая друга, потерявшего незадолго до того жену, Бакунин замечает: «Что значат наши личные страдания в сравнении с той великою мукою возрождения, которая ныне овладела всем миром! Мы большей частью все еще очень одиноки, но время велико, бесконечно велико, достаточно велико для того, чтобы самому слабому внушить веру и бодрость».

В следующем письме от 24 ноября 1849 года Бакунин подтверждает неизменность своих революционных убеждений. «Мне не нужно говорить тебе,—пишет он,—что я все еще остаюсь прежним, каким ты меня знал и любил, пожалуй, богаче опытом, но с теми же убеждениями, с той лишь разницею, что они пустили еще более глубокие корни в моем сердце и голове» [1]). Далее сообщая, что теперь он не занимается ничем другим кроме математики, Бакунин просит Рейхеля выслать ему ряд перечисленных книг по различным отраслям математической науки.

какие г-ну Неттлау угодно было опубликовать до сих пор, и которые он в полном виде держит под спудом на ряду с массой других попавших, к несчастью, в его руки манускриптов Бакунина. В чем при таких условиях выразилась „любезность“ д-ра Неттлау, решительно непонятно. Пять писем к Рейхелю *уже* опубликованы и находятся в полном распоряжении всякого исследователя, который не поленится заглянуть в книгу Неттлау (правда, очень об'емистую и требующую много времени и труда для своего прочтения). Что же касается трех писем к сестре Рейхеля, то Неттлау ведь в полном виде их для печатания *не предоставил*. А перепечатать эти отрывки из русского сборника можно было и без его „любезного“ разрешения, сославшись просто на то русское издание, в котором эти извлечения появились.

[1]) Приблизительно то же самое он, спустя пять лет тюремного сидения, писал своим родным из Петропавловской крепости (см. ниже).

Эти занятия математикой, повидимому, действовали на него успокаивающим образом (что, впрочем, известно людям, сидевшим в одиночном заключении). Кроме того он выражал этими занятиями некоторый протест против своих прежних абстрактных склонностей. Хваля Рейхеля за то, что тот занялся математикой, Бакунин в письме от 9 декабря 1849 г. говорит: «Я теперь тоже не жажду ничего иного, кроме положительного знания, которое помогло бы мне понять действительность и самому быть действительным человеком. Абстракции и призрачные хитросплетения... противны мне. Мне кажется, я не мог бы теперь открыть ни одной философской книги без чувства тошноты».

В том же письме Бакунин пишет: «Надо посидеть в тюрьме, чтобы как следует оценить свободу. Благодаря некоторым друзьям я имею здесь почти все, чего можно желать, оставаясь в пределах благоразумия—удобную комнату, книги, сигары, и все-же я согласился бы годы питаться черным хлебом и жить в лесу, только бы быть свободным».

Но, повидимому, Бакунин все-таки ощущал недостаток материальных ресурсов. «А теперь,—продолжает он,—я обращаюсь к тебе с гораздо более серьезной просьбой: денег, денег, мой милый. Совершенно отрезанный от моих естественных источников [1]), я все это время был бы в величайшей нужде, если бы мне не помогали некоторые друзья в Кетене. От поляков мне нечего ждать, большинство из них сами находятся в нужде, а другие благоразумно отходят в сторону. Я мог бы кое-что порассказать о польской надежности и благодарности. Моими вернейшими друзьями все-таки остаются немцы. Не удивительно ли, что славянин, русский находит своих последних друзей в Германии?! Теперь я живу на щедроты г-на Отто. Я должен сказать тебе это для того, чтобы ты понял всю щекотливость моего положения... Неправда-ли, какой абсурд: клиент, которому платит его адвокат»!

Уговаривая Рейхеля не давать заглохнуть своей музыкальной жилке, Бакунин высказывает попутно свой взгляд на значение искусства в тогдашнюю революционную эпоху. «Из всех видов искусства,—замечает он,—музыка одна имеет теперь право гражданства в мире, ибо там, где говорят пушки и сама действительность, поэзия должна молчать. Живописи пришлось бы живо-

---

[1]) Повидимому, имеется в виду семья.

писать только безобразное, о скульптуре я уже совсем не говорю, разве что г-н де-Ламартин даст изваять себя как величайшую фразу века. Архитектура еще не нашла нового божества, чтобы воздвигать ему храмы, и должна довольствоваться постройкою теплых и удобных зал для болтающих парламентов. Музыка одна имеет место в нынешнем мире именно потому, что не претендует на высказывание чего-либо определенного и выражает только общее настроение, великое тоскующее стремление, коим пре-исполнено наше время. Поэтому она должна быть великим и трагическим искусством. Теперь нет уже места для любовных песнопений».

Считая естественным увлечение Рейхеля религиозной музыкой, Бакунин замечает, что он сам питает пристрастие к этому виду искусства, несмотря на нелюбовь к существующим религиям. «Но,—продолжает он,—мы все нуждаемся в религии, во всех партиях чувствуется недостаток ее. Очень немногие люди верят в то, что они делают; большинство или действует по абстрактной системе, словно живая жизнь—лишь поле для применения жалких абстракций, и потому они так бессильны, или же руководятся своими материальными интересами. С этими дело обстоит еще лучше всего, ибо они, хотя бы на данный момент, кажутся имеющими твердую почву под ногами, но эта почва давно уже подрыта и скоро поглотит реалистов вместе с рыцарями абстракции. Длительная Р.[1]), усыпляющий шум растущей промышленности и, наконец, внутреннее разложение старого нравственного и религиозного мира, которое невидимо, но непрерывно тянется вот уже 50 лет, все это настолько окарнало человеческую природу, что большинство даже посреди великих бурь нашего времени не может представить себе, что происходящие ныне события это действительность, а не кошмар, не дурной сон»...

Современное положение, по мнению Бакунина, долго удержаться не может.

Накануне смертного приговора он пишет сестре Рейхеля 16 января 1850 г.: «Что касается моей здешней жизни, то она очень проста и может быть описана в немногих словах. У меня очень чистая, теплая и уютная комната, много света, и я вижу в окно клочок неба. В семь часов утра я встаю и пью кофе; потом сажусь за стол и до 12-ти занимаюсь математикой. В двенадцать

---

[1]) Надо полагать, что буква Р. означает здесь начало слова „реакция“.

мне приносят еду; после обеда я бросаюсь на кровать и читаю Шекспира или же просматриваю какую-нибудь математическую книгу. В два за мной обычно приходят на прогулку; тут на меня надевают цепь, вероятно, для того чтобы я не убежал, что, впрочем, и без того было бы невозможно, так как я гуляю между двумя штыками, и бегство из крепости Кенигштейн кажется мне, по крайней мере, невозможным... Украшенный сим предметом роскоши, я немного гуляю и издали любуюсь красотами Саксонской Швейцарии. Через полчаса я возвращаюсь, снимаю наряд и до шести часов вечера занимаюсь английским. В шесть я пью чай и снова принимаюсь за математику до половины десятого. Хотя у меня нет часов, но время я знаю довольно точно, так как башенные часы отбивают каждую четверть часа, а в половине десятого вечера раздается меланхолическая труба, пение которой, напоминающее горькую жалобу несчастного влюбленного, служит знаком, что надо тушить свет и ложиться спать. Понятно, я не могу сразу заснуть и обычно не сплю за полночь. Это время уходит на всевозможные размышления, особенно о тех немногих милых людях, дружбой которых я дорожу.

«...Теперь мой внутренний мир—книга за семью печатями, о нем я не смею и не хочу говорить. Как я сказал, я спокоен, совершенно спокоен и готов ко всему. Я еще не знаю, что со мной сделают; надеюсь скоро выслушать первый приговор. Я равно готов как снова вступить в жизнь, так и расстаться с нею. Теперь я ничто, т.-е. только думающее, значит не живущее существо; ибо, как это недавно узнала Германия, между мыслью и существованием все-же огромная пропасть».

После вынесения ему смертного приговора (в январе 1850 года) Бакунин писал сестре Рейхеля (от 16 февраля 1850 г.): «Вы уже знаете, что я приговорен к смерти. Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, что приговор будет смягчен, т.-е. заменен пожизненной каторжной тюрьмой или столь же продолжительным заключением в крепости. Я говорю: Вам в утешение, потому что для меня это не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положа руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь прясть шерсть или сидеть в одиночестве, в бездействии, никому ненужным, в крепости, за решеткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен, и что впереди еще бесконечный ряд таких же безотрадных дней. Напротив, смерть только один

неприятный момент, к тому же последний, момент, которого никому не избежать... Для меня смерть была бы истинным освобождением. Уже много лет нет у меня большой жажды жизни. Я жил из чувства долга, смерть же освобождает как от всякого долга, так и от ответственности. Я вправе желать смерти, так как ничья жизнь не связана неразрывно с моей...

«За последние два года в Германии у меня было мало радости. Часто я бывал в самом затруднительном положении. Один, очень часто без средств, я был вдобавок ославлен как русский шпион, а в то же время с другой стороны на меня смотрели как на неистового, безумного якобинца. И то, что меня считали за русского шпиона, толкнуло меня на некоторые заведомо неосторожные шаги, запутавшие и скомпрометировавшие меня. Я мог, но не хотел бежать из Дрездена. Чего я хотел, я скажу Вам... Я бросился между славянами и немцами... чтобы предотвратить гибельную борьбу и повести их соединенные силы против русской тирании, не против русского народа, нет, а для его освобождения. Это было гигантское предприятие. Я был один, не имея ничего, кроме честной доброй воли, и меня, пожалуй, могли упрекнуть в том, что с моей стороны было донкихотством думать о такой гигантской работе. Я же рассчитывал на более длительный прилив движения. Я ошибся в расчете: отлив наступил раньше, чем я ожидал, и вот я засел в Кенигштейне... Собственно Дрезден был для меня случайностью; но в нем-то как раз я и потерпел кораблекрушение...

«Заслужил ли я смерть? По законам... да, по совести моей— нет... Я действовал согласно своему искреннему убеждению и для себя не искал ничего. Я сел на мель, как многие лучшие до меня, но то, чего я желал, не может погибнуть... Рано или поздно, с большим или меньшим количеством жертв, оно вступит в свои права и осуществится. В этом мое утешение, моя сила, моя вера... Пережитое нами является только слабым началом того, что еще наступит и будет долго, долго продолжаться».

А самому Рейхелю он писал 7 апреля 1850 года: «Смерть, если она мне суждена, не страшит меня. Она была бы мне милее, чем продолжительное заключение, т.-е. живой гроб. Впрочем, по всем видимостям, мне не придется умереть так скоро. Мое настроение в общем довольно хорошее, я стараюсь удержать себя в равновесии путем работы и внутренней выдержки, хотя должен сказать тебе, что пенсильванская система—самая возмутитель-

ная моральная пытка и могла быть придумана только протестантами».

Повидимому, строгое одиночное заключение удручающе действовало на него. В письме от 11 мая 1850 г. он снова возвращается к той же теме. «Не презирай свободы,—говорит он Рейхелю,—сколь бы отрицательной она тебе ни казалась. Она как хлеб насущный, и потому ее часто мало ценят, пока не лишатся ее. То же самое относится к обществу. Надо прожить целый год в одиночном заключении и, подобно мне, иметь впереди еще бесконечный ряд таких же лет,—тогда поймешь и почувствуешь, как необходимо для счастья, для развития и для нравственности каждого отдельного человека общение с людьми... Общение даже с наихудшими людьми лучше и действует более облагораживающим образом, чем одиночество...

«Моя судьба скоро решится. Ни в коем случае я не жду для себя ничего хорошего».

Бакунин был прав: его тюремные мытарства только начинались.

2. В АВСТРИЙСКИХ КАЗЕМАТАХ.

Ввиду участия Бакунина в славянских делах Австрия добивалась его выдачи, так как австрийская полиция надеялась узнать от него тайны славянского движения. Саксонское правительство, конечно, охотно пошло навстречу этому требованию и 13 июля 1850 года выдало Бакунина Австрии. В Петерсвальдене, на границе Богемии, он был передан австрийскому конвою; Бакунина в кандалах отвезли в Прагу и посадили в пражский монастырь св. Георга. Бакунин отказался отвечать на вопросы сыщиков [1]) и просидел около 10 месяцев в Гатчине, где его оставили в покое.

Впрочем, не совсем в покое, если верить рассказу Герцена. Последний сообщает о жестоком обращении австрийских следователей с Бакуниным. «Между прекрасными законами, которые управляют Австрией, есть один, разрешающий членам военного суда применять *палочные удары* в случае, если все судьи убеждены, что обвиняемый не говорит всей правды. Эти низкие варвары применили такой закон к Бакунину. Нужно вам сказать, что он не скрывал решительно ничего из того, что его касалось, но он не желал говорить о других.

---

1) Цит. письмо Герцена к Мишле, стр. 484.

«После каждого допроса Бакунина подвергали палочным ударам».

Надо полагать, что этот рассказ принадлежит к числу апокрифических. Сам Бакунин ничего об этом не сообщал: впрочем, ему могло быть неприятно говорить о таких вещах. Но, повидимому, с ним обращались в Грачине довольно гуманно. Об этом можно отчасти судить по любопытному письму И. Франца, капитана и аудитора при и.-к. военном суде на Грачине в Праге от 2 ноября 1850 года. Письмо это адресовано Гервегу и перепечатано в его переписке.

Франц передает Гервегу благодарность Бакунина (последнему самому писать не дозволялось) за присланные им в пользу узника 25 талеров. «Он очень нуждался в них, но, вопреки моим благожелательным указаниям, поступил крайне неумно, накупив себе на сравнительно большую сумму математических сочинений, твердо убежденный в том, что получит обещанную с другой стороны помощь от адвоката Отто I в Дрездене и через бывшего министра Габихта в Дессау». Франц трижды обращался к этим господам, но не получал ответа. Так как у Бакунина осталось всего 5 талеров, то сердобольный чиновник обратился за помощью к Гервегу, указывая на то, что, хотя Бакунин получал в тюрьме двойную порцию, но ему и этого нехватает, ибо он обладает большим аппетитом (ein sehr starker Esser ist), и должен будет отказаться от курения любимых сигар. Дальше он сообщает, что Бакунин совсем обносился, и от имени Бакунина просит присылки новых денег.

Ничего не добившись от Бакунина[1]), австрийские власти отослали его в марте 1851 года в ольмюцкие казематы. Его везли под сильным драгунским конвоем; усевшийся рядом с ним в тележку офицер зарядил при нем пистолет.

---

[1]) В письме к Герцену от 8 декабря 1860 г. Бакунин сообщает о своем сидении в немецких тюрьмах следующее: „Просидев год в Саксонии, сначала в Дрездене, потом в Königstein, около года в Праге, около пяти месяцев в Ольмюце, все в цепях, а в Ольмюце—и прикованный к стене,—я был перевезен в Россию; в Германии и Австрии мои ответы на допросы были весьма коротки: „Принципы вы мои знаете, я их не таил и высказывал громко; я желал единства демократизованной Германии, освобождения славян, разрушения всех насильственно сплоченных царств, прежде всего разрушения Австрийской империи; я взят с оружием в руках—довольно вам данных, чтоб судить меня. Больше же ни на какие вопросы я вам отвечать не стану“.

— Это для чего же?—спросил Бакунин.—Неужели Вы думаете, что я могу бежать при таких условиях?

— Нет, но Вас могут отбить Ваши друзья; правительство имело насчет этого слухи, и в таком случае...

— Что же?

— Мне приказано посадить Вам пулю в лоб.

Неудивительно, что австрийское правительство так тщательно охраняло Бакунина: оно имело против него большой зуб. Да оно и понятно: революционная работа Бакунина протекала, главным образом, среди славян, в частности австрийских, и направлена была почти исключительно к разрушению целости австрийской империи и к коренному перевороту в ней. Злоба австрийского правительства против Бакунина усугублялась еще тем обстоятельством, что Бакунин был иностранцем и притом представителем государства, правительство которого, при всей солидарности и внешней дружбе монархов обеих стран, справедливо подозревалось австрийцами в панславистских происках, направленных к нарушению неприкосновенности и безопасности австро-венгерской монархии. Эти чувства нашли себе выражение в следующих словах обвинительного акта австрийского суда:

«В донесении военного суда следуют показания подсудимых вместе с *Бакунины*м товарищей его: Густава и Адольфа *Страка*, *Арнольда Сабины*, *Фрича*, *Рэкеля* и *Циммера*, согласные вообще с показанием *Бакунина*. Густав *Страка*, между прочим, показал, что *Бакунин* возбуждал в приближенных к нему лицах революционный дух, имея целью содействовать к ниспровержению всех правительств и разрушению всех правил социальной жизни; что *Бакунин* надеялся распространить возмущение Богемии на Польшу и Россию, и хотя в том не сознавался, но надобно полагать, что он через Польшу имел связи в России, ибо он с достоверностью рассчитывал на то, что и там будет революция, сообщая своим товарищам, что к тому существуют там, особенно в социальном отношении, сильные элементы; что *Бакунин* сам ездил из Дрездена в Прагу, и хотя, по возвращении его, видно было, что он недоволен тамошним положением дел, но, несмотря на то, он еще настойчивее старался о взрыве там мятежа; что он ожидал денег из Парижа, но, не получив их, отправил его, *Страка*, без таковых в Прагу, для приготовления к революции, и что 9 мая 1849 года он, *Страка*, выехал из Праги в Дрезден за *Бакунины*м и польскими офицерами, которых он обещал склонить к участию в мя-

теже,—но вспыхнувшая в то же время революция в Дрездене остановила это предприятие.

«В заключении донесения военному суду *Бакунин*, независимо от демагогического вообще направления его действий и сочинений, признается вполне уличенным, как собственным его сознанием, так и собственноручными его письмами и показаниями его товарищей, в учинении государственного преступления противу Австрийской империи без всяких облегчающих вину его обстоятельств».

Суд над Бакуниным и другими привлеченными по делу о Пражском заговоре состоялся в мае 1851 года. Бакунин не мог, конечно, ждать снисходительного к себе отношения со стороны австрийского суда. Но он не столько боялся казни, как тюрьмы; особенно же он страшился выдачи его русскому правительству. Еще в Кенигштейне Бакунин просил, чтобы его расстреляли, предпочитая смерть вечному заключению; 15 мая (н. ст.) 1851 г. австрийский военный суд снова приговорил Бакунина к смерти, но и этот приговор вторично был заменен вечным заключением в тюрьме. В Австрии с Бакуниным обходились очень строго: он сидел скованный по рукам и ногам, а в Ольмюце его приковали даже к стене. Здесь он пробовал, по одному рассказу, отравиться спичками, но это не подействовало на его редкое здоровье [1]). И, чего Бакунин особенно опасался, вскоре после этого Австрия выдала его русскому правительству [2]).

Последнее давно точило зубы на Бакунина и мечтало заполучить этого опасного и неугомонного крамольника в свои руки. Австрийское правительство, спасенное вмешательством царских войск от гибели, не могло, конечно, отказать Николаю I в такой любезности, как выдача политического преступника. Русские и австрийские офицеры тогда братались в оккупированных

---

[1]) Записки Н. А. Огаревой-Тучковой, 1828—1878. „Русск. Старина", т. 68.

[2]) Герцен сообщает, что, сидя в Кенигштейнской тюрьме, Бакунин написал брошюру „Russische Zustände" (Русские дела). Герцен узнал это, повидимому, от Гервега, который в письме, относящемся, как думает М. Лемке, к марту 1850 года, между прочим пишет: „Знаешь ли, что автор брошюры „Russische Zustände"—Бакунин? Некий д-р Виллих из Дрездена, живущий здесь (т.-е. в Цюрихе.—*Ю. С.*), поправил ее слог... Бакунин... вот как бывают несправедливы к друзьям!" (Собр. соч. Герцена, т. XIV, стр. 59). Нам до сих пор не удалось достать этой брошюры и проверить правильность этого указания.

русскими войсками местностях Венгрии и Галиции. Начальник австрийских войск в Кракове Лешдич сейчас же после ареста Бакунина, когда тот еще сидел в саксонской тюрьме (в июне 1849 г.), сообщил об этом радостном событии русскому майору, исполнявшему должность краковского коменданта, на предмет выдачи Бакунина русскому правительству. Когда об этом узнал начальник III отделения, пресловутый Дубельт, то он на докладе написал: «А, как я рад!» И он, конечно, имел основание торжествовать.

Но русским жандармам, у которых уже чесались руки, пришлось потерпеть. Только через два года они заполучили, наконец, Бакунина в свои лапы. Сначала ему надлежало пройти через саксонское и австрийское чистилище, где из него старались выжать нужные для них сведения саксонские и австрийские следователи. Но все это время русские охранники не оставались спокойны и с нетерпением ждали вожделенного момента, когда им удастся, наконец, запереть Бакунина в царские казематы. Как только стало известно, что саксонское правительство собирается выдать Бакунина австрийцам, тогдашний русский посланник в Вене, граф Медем, поспешил переговорить с кн. Шварценбергом, который обещал ему, по использовании узника для целей австрийской полиции, немедленно выдать его русской. С своей стороны русский посланник в Дрездене Шредер, как только Бакунин был передан австрийцам, поспешил донести об этом в Петербург.

Российская дипломатия во главе с гр. Нессельроде не отставала в своем усердии от российской жандармерии. Она внимательно следила за каждым перемещением Бакунина, сгорая от нетерпения поскорее заполучить его в распоряжение русского правительства. Условлено было, что Бакунин будет доставлен в Краков и здесь передан русским жандармам [1]). Николай I лично сле-

---

[1]) В нашем распоряжении имеется копия хранящегося в венском архиве б. российского императорского посольства письма кн. Шварценберга к сменившему Медема на посту русского посла в Австрии бар. Мейендорфу от 8 марта 1851 года. Сообщая о том, что вскоре пражский военный суд вынесет приговор по делу Бакунина, Шварценберг обещает, что немедленно после опубликования приговора „этот преступник будет под сильным конвоем доставлен полицейским комиссаром в Краков, дабы там быть переданным русскому делегату, коему поручено будет его принять". Он просит русские власти *безотлагательно* (подчеркнуто в подлиннике) принять соответствующие меры для того, чтобы эта передача могла осуществиться без затруднений и без промедления, о чем сообщить и ему. В заключение Шварценберг реко-

дил за всеми перипетиями этого дела. В мае 1850 г. он распорядился, при передаче Бакунина русскому конвою, надеть на него ручные и ножные кандалы и безостановочно везти его в Петербург для помещения в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Как видим, уже тогда он заботился о Бакунине как «родной отец». Но и коронованному сыщику пришлось прождать целый год, раньше чем желанная добыча попала ему, наконец, в лапы.

28 марта 1851 года наместник Царства Польского донес шефу жандармов, гр. Орлову, что русский посланник в Вене сообщил ему о предстоящей в конце марта выдаче Бакунина. Вследствие этого он распорядился отправить в Краков жандармского полковника Распопова с надлежащим конвоем для принятия арестанта и препровождения его куда следует согласно указаниям Николая I. Но австрийское правительство медлило, и жандармы нервничали, сочиняя, будто австрийцы вовсе не намерены выдать им намеченную жертву, и будто соучастники Бакунина, опасаясь его «откровенности» при допросах в русских застенках, собираются его освободить. Но страхи их были напрасны: 5 мая ст. ст. Бакунин был перевезен из Ольмюца в Краков, а 11 мая он был уже доставлен в 5 камеру Алексеевского равелина [1]). На докладе

мендует соблюдать строжайшую тайну относительно всех этих переговоров в виду того, что „революционная партия неоднократно (?) делала попытки для облегчения Бакунину побега, что этою (?) партиею предназначена весьма крупная сумма для освобождения названного преступника из рук правосудия, и что поэтому весьма вероятно, что подобные попытки могут повториться во время его перевозки, если о последней станет известно". Эти страхи не были ни на чем основаны но они показывают, что австрийское правительство не меньше русского было заинтересовано в том, чтобы запрятать Бакунина подальше и не дать ему вырваться из рук палачей. Несомненно, что оно так спешило передать Бакунина русским жандармам именно потому, что, по его твердому убеждению, в российских тюрьмах удастся вернее схоронить этого опасного человека, чем в австрийских. (За доставление нам этого интересного документа выражаем благодарность т. Ауссему).

[1]) Австрийское правительство доставило русскому имевшиеся у него материалы о Бакунине; донесение упомянутого нами выше аудитора Франца военному суду, два письма Бакунина к его сообщникам, протокол военного суда и приговор, состоявшийся в Ольмюце 15 мая 1851 года н. ст. Донесение Франца, основанное на показаниях Бакунина, содержит краткий очерк его революционной деятельности с момента переезда в Париж в 1844 г. до дня его ареста в Саксонии. Как видим, человеколюбие, королевско-императорского чиновника, трога-

Дубельта Николаю об этом радостном событии коронованный палач написал: «Наконец!». Распопов был награжден за свой доблестный подвиг орденом Анны 2-й степени, а 25 июня Николай приказал приступить к допросу Бакунина, находя, видимо, что узник достаточно уже оглушен полуторамесячным пребыванием в глухом каземате.

3. ОПЯТЬ НА РОДИНЕ! «ИСПОВЕДЬ» БАКУНИНА.

На русской границе с Бакунина сняли цепи заграничного производства, но тут же надели на него отечественные кандалы, которые были гораздо тяжелее. Увидав ожидавших его русских солдат, Бакунин страшно обрадовался и воскликнул: «На родной стороне и умирать приятно!», на что жандармский офицер поспешил немедленно ответить: «Разговаривать запрещается».

Правда, в своей «Исповеди» Бакунин рассказывает (Николаю!) о гуманном обращении, которое он встретил в России и которое якобы даже поколебало его в отрицательном отношении к самодержавным порядкам.

«Не могу выразить, Государь, как я был поражен, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моем в'езде на русскую границу. Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, все, что испытал в продолжение целой дороги, от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам, по слухам, и думал, и говорил, и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усумнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумлением: не клеветал ли я?— Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений».

Но, во-первых, мы вправе думать, что здесь Бакунин просто не был искренен и своими похвалами николаевским опричникам надеялся купить благоволение их коронованного шефа; а во-вторых, если это и верно, то относится к первым двум месяцам по возвращении Бакунина в Россию. Бакунин был большим хитрецом, но шеф жандармов был не меньшим. Так как жандармы на-

---

тельно заботившегося о сигарах и о столе Бакунина, ничуть не мешало ему ревностно выполнять свои сыщицкие обязанности и подписать Бакунину смертный приговор.

деялись добыть от Бакунина нужные сведения, то в первое время они могли проявить по отношению к своему арестанту любезность и даже «гуманность». Ведь это известный жандармский прием. А затем, выжав из него то, что им нужно было, они сразу меняли тон. Во всяком случае тот же Бакунин впоследствии рассказывал об ужасных условиях своего содержания в крепости, доводивших его до страха сойти с ума и до мысли о самоубийстве.

Рассказывают, будто Николай гордился тем, что «его» отставной *прапорщик* был в Европе *диктатором* города. Похвалив его храброе поведение в Дрездене, Николай велел посадить его в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Туда он прислал к нему графа Орлова, который об'явил Бакунину, что царь желает иметь от него записку о немецком и славянском движении. «Государь,—сообщил Бакунину Орлов,—прислал меня к Вам и приказал Вам сказать: «Скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу»,—хотите вы писать?» Бакунин, подумав немного, решил, что перед судом присяжных, при условиях гласности он должен был бы выдержать свою роль до конца, но в четырех стенах, находясь «во власти медведя», можно было «без стыда смягчить формы», и потому, потребовав месяц времени, согласился и написал «в самом деле род исповеди, нечто в роде Dichtung und Wahrheit» [1]), в которой в осторожных выражениях дал понять своему «духовнику», что никакого предательства от него ждать не приходится. «Государь, вы хотите, чтобы я написал вам свою исповедь; хорошо, я напишу ее; но вам известно, что на духу никто не должен каяться в чужих грехах. После моего кораблекрушения у меня осталось только одно сокровище: честь и сознание, что я не изменил никому из доверившихся мне, и потому я называть никого не стану».

Далее Бакунин «с некоторыми умолчаниями» рассказал Николаю всю свою жизнь за границей, прибавив несколько «поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики». Письмо это, рассчитанное, с одной стороны, на безвыходность положения его автора, а с другой—на энергичный нрав Николая, было написано «очень твердо и смело» [2]). Прочитав его, Николай

---

[1]) „Вымысел и правда“ (так озаглавлена автобиография Гёте).

[2]) „Именно потому (оно) ему очень понравилось“, поясняет Бакунин (в письме к Герцену от 8 декабря 1860 г., где он, тоже с „некоторыми умолчаниями“, сообщил друзьям об этой истории). И далее

заметил: «Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать взаперти». После этой резолюции Бакунин просидел почти 3 года в Алексеевском равелине, а затем почти столько же в Шлиссельбургской крепости.

Иван Головин рассказывает, что записка Бакунина кончалась словами: «За мои иностранные преступления судите меня как русский государь», а Тучкова-Огарева передает этот конец так: «Государь, за мое откровение простите мои немецкие грехи». Все это выдумки.

Впоследствии Бакунин неохотно говорил о своем письме к Николаю I. По его словам, содержание письма было славянофильское, и в нем он придавал тогда слишком много значения России в деле освобождения славян из-под австрийского ига. Написано оно было под влиянием тех оскорблений, которые Бакунин вынес в австрийских тюрьмах. «Это была большая ошибка с моей стороны... Я много бы дал, чтобы этого письма не существовало» [1]).

В своем цитированном выше письме к Герцену Бакунин довольно точно излагает содержание своей «Исповеди». Самая «Исповедь» представляет большую рукопись в 96 страниц, написанную на листах писчего формата характерным убористым почерком Бакунина (размером около 10 печатных листов). С внешней стороны она отличается всеми свойствами бакунинских писаний, некоторой многословностью, погружением в детали, неожиданными отклонениями в сторону, но вместе с тем ясностью, увлекательностью, иногда даже образностью. С внутренней стороны она производит впечатление глубокой искренности, правдивости и горячей убежденности; но это не значит, что она свободна от присущей Бакунину дипломатичности и политической расчетливости.

Прежде всего можно поставить вопрос о самом факте исповеди перед царем, о допустимости откровенных разговоров между палачом и жертвой, о сообщении революционером целого ряда фактов монарху, главе враждебных народу сил, шефу политической полиции. Ведь Бакунин не мог не знать, кто такой Николай I. Он не мог не понимать, зачем царю понадобилась его откровенная исповедь, и какое употребление будет сделано из каждого его слова. Он знал, что исповедь будет по косточкам разбираться пресловутым Третьим Отделением собственной его импера-тор-

---

Бакунин прибавляет: „За что я ему, действительно, благодарен,—это, что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал".

[2]) Ралли, цит. соч., «Мин. Годы», 1908, октябрь, стр. 148—9.

ского величества канцелярии и по возможности будет использована этой грозной и безжалостной охранкой для своих полицейских целей. Он понимал, что Николай рассчитывает на то, что закованный в цепи и, быть может, павший духом боец даст «чистосердечное» показание и во всяком случае, даже если постарается не выдавать товарищей, то невольно проговорится и незаметно для себя даст правительству ценные сведения для новых розысков и для дальнейшей борьбы с революцией. Бакунин знал и неоднократно заявлял, что русский царизм есть самый заклятый и опасный враг свободы не только русского, но и всех народов, что самодержавный Петербург составляет центр и опору международной реакции. И все же он написал свою «Исповедь» и вручил ее царскому посланцу для передачи коронованному «духовнику».

Сам Бакунин приводит несколько оппортунистические мотивы и об'ясняет свой поступок безвыходностью своего положения (находясь «во власти медведя», он считал допустимым «в четырех стенах» не очень-то считаться с «формами»). Надеялся ли он этим путем улучшить свое положение и избавиться от вечного заточения, которого боялся больше, чем смерти? Находился ли он в тот момент действительно в состоянии упадка духа, вследствие разочарования в революции, потерпевшей полный разгром? Был ли он сразу ошеломлен удручающей обстановкой одиночного заключения в грозном Алексеевском равелине и не опасался ли он применения к нему пыток со стороны николаевских жандармов? Трудно сказать. Бакунин был большой хитрец и дипломат. Зная (или, вернее, предполагая) деспотический нрав Николая, способного, подобно всякому деспоту, на совершенно неожиданные поступки, он мог надеяться на то, что, побежденный откровенностью узника, царь, если не совсем простит ему старые грехи, то выпустит его из тюрьмы на поселение. Общий тон «Исповеди» рассчитан именно на такую captatio benevolentiae, на снискание благоволения человека, от которого зависела судьба исповедующегося в целом и в частностях. С другой стороны Бакунин надеялся на себя Повидимому, хладнокровно взвешивая и рассчитывая каждое слово, он старался написать свою «Исповедь» так, чтобы николаевские жандармы, при всех своих усилиях, не могли найти в ней материала для новых расследований и репрессий.

С нашей современной точки зрения подобный акт представляется совершенно недопустимым. Мы помним, как жестоко ка-

рало революционное общественное мнение всякие попытки вступать в «откровенные об'яснения» с жандармами, даже если эти об'яснения не носили характера «чистосердечного раскаяния» и ограничивались сообщениями «информационного свойства». Не только такие предательские показания, как сделанные террористом Гольденбергом в 1879 году и посвятившие жандармов в тайны Исполнительного Комитета партии «Народной Воли», но и «исторические записки», содержавшие очерки развития революционного движения, которые составлялись для жандармов некоторыми другими революционерами, вызывали решительное осуждение со стороны революционеров. Среди наиболее стойких из них вошло даже в обычай и вменено было в обязанность не давать никаких показаний и не вступать с жандармами ни в какие об'яснения. С этой стороны акт Бакунина является безусловно предосудительным, каково бы ни было его содержание, и с точки зрения современного революционера представляется абсолютно недопустимым. Но здесь следует принять во внимание условия исторической эпохи.

Революционер-разночинец 60-х годов и последующего периода, революционер из рабочих или крестьян являлся, перед лицом царской жандармерии, представителем другого общественного круга, человеком чуждого, враждебного класса. Первые русские революционеры 20-х, 30-х и 40-х годов XIX века находились в этом отношении в ином положении. Будучи по преимуществу сами выходцами из дворянской, а зачастую военной среды, они не чувствовали себя психологически настолько отчужденными от своих следователей и «духовников», как революционеры последующего периода. У этих революционеров из привилегированной среды в некоторые моменты сказывалась какая-то духовная связь, какая-то психологическая общность с их преследователями. На этой канве духовного сродства ловкие следователи вышивали нужные им узоры и добивались от своих пациентов интимных и откровенных разговоров. Этим в значительной степени об'ясняется характер показаний, дававшихся, например, декабристами и поражающих нас своей откровенностью, которая изумляет своей наивностью, надеждою убедить следователей и подчас граничит с прямым предательством. Не следует думать, чтобы видные декабристы были слабее духом, чем их преемники, но у них была другая психология, сближавшая их с гонителями и заполнявшая пропасть, которая отделяет политического «преступника» от представите-

ля политической полиции и государственной власти. Этим же обстоятельством в значительной мере можно об'яснить согласие Бакунина на исповедь перед Николаем I.

Бакунин отлично понимал, чего хочет от него Николай, то-есть Третье Отделение: это—показаний о замыслах польских революционеров (особенно, поскольку они касались владений русского императора), сведений о состоянии революционного движения в России и, наконец, сведений о международном положении, которое можно было бы использовать в интересах самодержавия, в частности в интересах казенного, петербургского панславизма. По первым двум вопросам Бакунин выдержал характер и не дал царскому правительству нужных ему сведений; по третьему он взял фальшивую ноту, что облегчалось для него его собственной революционно-панславистской точкой зрения, имевшей немало точек соприкосновения с панславизмом tout court. Дело не в оскорблениях, нанесенных ему в австрийских тюрьмах, а в его собственном мировоззрении, которое, как мы видели выше, не напрасно возбуждало недоверие среди европейских демократов. Эту именно сторону вопроса Бакунин признавал впоследствии своей ошибкой, о которой глубоко скорбел [1]).

Прежде всего встает вопрос: носит ли «Исповедь» Бакунина действительно покаянный характер? Уже по тому одному, что Бакунин не пошел навстречу главному желанию Николая и не дал ему желательных сведений о деятельности и замыслах польских революционеров (о русских можно не говорить—кроме Бакунина, их тогда почти не было), видно, что о настоящем покаянии не может быть и речи. Но и остальное содержание «Исповеди» приводит к тому же заключению.

С внешней стороны «Исповедь» местами носит характер *раскаяния*. Там встречаются даже прямые указания в таком смысле. Свою деятельность Бакунин называет «грехами», «преступления-

---

[1]) Интересно, что в панславизме, да еще крайнем, обвинял Бакунина... сам Герцен. В письме к Огареву от 18 сентября 1869 г. Герцен, говоря о статьях Бакунина в газете „Egalité“ (об этом см. в третьем томе нашей работы), указывает, что в этих статьях замечается поворот к положительным воззрениям, и прибавляет, что отказываться от ошибок должно. И дальше Герцен напоминает одну из ошибок Бакунина: „Бакунин был отчаянным панславистом, националистом—хотел Амурским-Муравьевым Австрию заполонить“ (Воспоминания *Т. Пассек*—„Из дальних лет“, 2-е изд., том III, стр. 199 и „Соч.“ Герцена, т. XXI, стр. 448). Об отношениях Бакунина к Муравьеву-Амурскому см. ниже в этой части.

ми», даже «неизвинительными» и «великими», дерзостью, безумством, смеется над своими былыми надеждами, к своим замыслам 1848 года применяет эпитет «преступности и дон-кихотского безумия» [1]), свою знаменитую речь 1847 г. на польском банкете квалифицирует как «начало (своих) несчастных и преступных похождений», говорит о своей «несчастной революционной карьере», жизнь свою называет «пустой, бесполезной и преступной», неоднократно говорит о своих разочарованиях (начавшихся, по его словам, еще в Швейцарии в 1843 году, продолжавшихся в Париже и окончательно сформировавшихся после ареста), упоминает о своих «мучительных сомнениях» относительно внесения революционной пропаганды в пределы России, в разных местах намекает на свое раскаяние и даже подписывает самую «Исповедь» словами: «кающийся грешник Михаил Бакунин».

Более того, Бакунин пускается на личные комплименты Николаю I, перед которым он собирается «говорить, как бы говорил перед самим Богом, которого нельзя обмануть ни лестью, ни ложью». Он молит государя «позволить ему позабыть на минуту, что он стоит перед великим и страшным царем, перед которым дрожат миллионы, в присутствии которого никто не дерзает не только произнести, но даже и возыметь противного мненья», и просит дать ему «подумать, что он теперь говорит только перед своим духовным отцом». Говоря о своих русских планах, он боится не наказания за свою дерзость, ибо после всего пережитого «надежда и страх потеряли на (его душу) всякое влияние», а ему «тяжко, совестно, стыдно говорить (царю) в глаза о преступлениях, замышленных (им) собственно против (царя) и против России», хоть преступленья сии были только преступленья в «мысли, в намереньи и никогда не переходили в действие». А оправдываясь

---

[1]) Вот одно из мест „Исповеди“, содержащих оценку Бакуниным своих революционных планов 1848 года: „Не говоря о великости преступленья, Вам должно быть очень смешно, Государь, что я один, безымянный, бессильный, шел на брань против Вас, Великого Царя Великого Царства! Теперь я вижу ясно мое безумие и сам бы смеялся, если бы мне было до смеху, и поневоле вспоминаю одну басню Ивана Андреевича Крылова (очевидно „Лягушка и вол“.—*Ю. С.*)... Но тогда ничего не видел, ни о чем не хотел думать, а шел, как угорелый, на явную гибель. И если что может хоть несколько извинить, не говорю преступность и нелепость моей выходки, так разве только то, что ехал из пьяного Парижа, и сам был пьян, да и все вокруг меня были пьяны“!

от обвинения в подготовлении цареубийства, Бакунин с умилением (явно деланым и рассчитанным) вспоминает пору своего юнкерства и из'ясняется в личной симпатии к Николаю. Это место заслуживает быть приведенным полностью:

«Мой политический фанатизм, живший более в воображеньи, чем в сердце,—пишет Бакунин,—имел также свои крепко определенные границы и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо [1]) не были моими героями. К тому же, Государь, в душе моей собственно против Вас не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в артиллерийском училище, я, также как и все товарищи, страстно люблю вас. Бывало, когда вы приедете в лагерь, одно слово: «Государь едет» приводило всех в невыразимый восторг, и все стремились к вам навстречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив, возле Вас и под Вашим покровительством искали прибежища от начальства; оно не смело итти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры: вы были грустны, Государь, мы молча окружали Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговеньем, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины, и как счастлив был тот, которому Вы скажете, бывало, слово! Потом, много лет спустя, за границей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть императора Николая; но ненависть моя была в воображеньи, в мыслях, не в сердце: я ненавидел отвлеченное политическое лицо, олицетворенье самодержавной власти в России, притеснителя Польши, а не то Живое Величественное Лицо, которое поразило меня в самом начале жизни и запечатлелось в юном сердце моем. Впечатления юности нелегко изглаживаются, Государь! Да и в самом разгаре моего политического фанатизма безумье мое сохранило известную меру; мои нападки против Вас никогда не выходили из политической сферы: я дерзал называть Вас жестоким, железным, немилосердным деспотом, проповедывал ненависть и бунт против Вашей власти; но никогда не дерзал и не хотел и не мог коснуться святотатственным языком собственно до Вашего лица, Государь, и как бы выразить это, не нахожу слов, хоть и глубоко чувствую различие,—никогда, одним словом, я не

---

[1]) Брут — убийца Цезаря, Равальяк — убийца французского короля Генриха IV, Алибо покушался на жизнь французского короля Луи-Филиппа.

говорил, не писал, как подлый лакей, который ругается над своим господином и хулит и клевещет, потому что знает, что барин или не слышит, или слишком отдален от него, для того чтобы задеть его своею дубинкой. Наконец, Государь, даже и в самое последнее время, наперекор всем демократическим понятиям и как бы против воли, я глубоко, глубоко почитал Вас! — Не я один, множество других, поляков и европейцев вообще, сознавали со мною, что между всеми ныне царствующими Венценосцами Вы только один, Государь, сохранили веру в свое Царское Призванье. С таким чувством, с такими мыслями, несмотря на свое политическое безумье, я не мог быть цареубийцею, и Вы поверите, Государь, что это обвинение ничто иное, как гнусная клевета».

Все это так, и из песни слова не выкинешь. *Но все же трудно признать «Исповедь» Бакунина покаянием в том смысле, какой обыкновенно связан с этим словом.* Не только потому, что Бакунин, в конце концов, прекрасно сознавал, что раскаяние его запоздало, и что Николай I не такой человек, чтобы простить «преступления», подобные тем, которые совершил Бакунин. «Государь, — пишет он,—я не буду стараться извинять свои неизвинимые преступления, ни говорить Вам о позднем раскаянии: раскаяние в моем положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти, а буду просто рассказывать факты и не утаю, ни умалю ни одного». Но и действительно никакого серьезного раскаяния Бакунин не испытывал, что видно по той жестокой правде, которую он говорил Николаю в этой же «Исповеди», и по отказу выдать известные ему имена и факты — то, чего Николай от него собственно добивался.

Приступая к своей «Исповеди» (он так и говорит: «я буду исповедываться Вам, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощенья»), Бакунин сразу дает понять своему тюремщику, что напрасно он ждет от него предательства.

«Молю Вас только о двух вещах, Государь, — пишет он. — Во-первых, не сомневайтесь в истине слов моих: клянусь Вам, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего. А, во-вторых, молю Вас, Государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедывал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои. *Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи*

нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем[1]). Противное же сознанье, что я изменил чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказанное при мне, по неосторожности, было бы для меня мучительнее самой пытки. И в Ваших собственных глазах, Государь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим жесточайшей казни, чем подлецом».

Такой же тон он берет, когда переходит в частности к вопросу о своих личных связях с русскими.

«Видел также иногда и русских, приезжавших в Париж. Но молю Вас, Государь, не требуйте от меня имен. Уверяю Вас только, — и вспомните, Государь, что в начале письма я Вам клялся, что никакая ложь, ниже тысячная часть лжи не осквернит чистоты моей сердечной исповеди, — и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским, ни тогда, ни потом, я не сходился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьего человека, ни перепискою»[2]).

И если ему далее приходится говорить о русских, то он выбирает таких, которые, во-первых, находятся вне пределов досягаемости для российского самодержца, а, во-вторых, не могут быть с полицейской точки зрения скомпрометированы знакомством с ним «более, чем они сами скомпрометировали себя в Париже» (Головин, Сазонов, Герцен и Николай Тургенев; других Бакунин не называет).

Даже иностранцев Бакунин называет только таких, которым русская полиция никак не могла повредить, даже донеся о них соответственным правительствам. Это или люди, уже попавшиеся и осужденные, или известные и без того как политические деятели, или, наконец, успевшие эмигрировать в Англию, Швейцарию или Америку. И очень часто, называя то или иное лицо, Бакунин намеренно подчеркивает: «уехал в Америку», или старается смягчить его роль, или, наконец, берет всю вину на себя (напр., по отношению к осужденным по Пражскому процессу братьям Стракка).

---

[1]) Курсив мой.

[2]) Это, как мы знаем, не совсем верно; но Бакунин знал, с кем имел дело, и не хотел говорить ничего, что могло бы повредить живым людям, которых могла достать длинная лапа всемогущего деспота.

Такое же чувство разочарования должны были испытывать николаевские ищейки, читая его повествование о сношениях с поляками. Никаких указаний сверх общеизвестных или таких, которые, с исторической стороны представляя интерес новизны (напр., приведенные в III главе сведения о бреславльском с'езде поляков, о славянском конгрессе в Праге, о пражском и дрезденском восстаниях), в полицейском отношении никакого материала не давали. Некоторое внутреннее освещение, конечно, получалось, но внешнего, для полицейских особенно интересного, не было [1]).

Специфический интерес для николаевского правительства должны были представлять сообщения Бакунина *о славянских делах и настроениях*. В этом чисто политическом вопросе, и притом относившемся к области иностранной политики самодержавия, Бакунин, давая внутреннее освещение да еще со своей специфической, к панславизму примыкающей, точки зрения, без сомнения, оказывал услугу самодержавию. Впрочем, вернее было бы сказать, не услугу оказывал, а шел навстречу его скрытым симпатиями, и, конечно, соответствующие места его «Исповеди» должны были доставить Николаю и его министрам большое удовольствие. Им должна была нравиться настойчиво повторяемая Бакуниным мысль о необходимости полного разрушения Австрийской Империи, об освобождении славян от немецкого, австрийского и турецкого ига, особенно когда эти рассуждения сопровождались намеками на тяготение славянства к России.

В этом отношении особенно характерно следующее место. Рассказав о своей ненависти к немцам за их национализм и про-

---

[1]) Кстати, относящиеся к вопросу о сношениях с поляками места „Исповеди“ производят впечатлене, как будто Бакунин о многом умалчивает и старается скрыть часть своих отношений к полякам. Если бы это было так, то это умолчание можно было бы об'яснить тем, что Бакунин хорошо знал злобное отношение Николая к полякам и не хотел вредить ни им, ни себе. Но вряд ли это так. Бакунин совершенно откровенно рассказывает о своих преступлениях против самодержавия, значит себя он вообще не выгораживает; бояться за поляков ему также не приходилось, ибо он имел дело с эмигрантами, до которых Николай все равно добраться не мог, да наконец никто не мог заставить Бакунина назвать имена (он их и не называл). Мы поэтому думаем, что до появления „Исповеди“ господствовало просто неверное представление о связях Бакунина с поляками; эти связи никогда не были ни широкими, ни систематичными.

явленное ими в 1848 году нетерпимое отношение к славянству [1]), Бакунин продолжает:

«Не один я, все славяне, ничуть не исключая поляков, так же чувствовали. Поляки, обманутые французским революционным правительством, обманутые немцами, оскорбленные немецкими жидами [2]), поляки стали говорить громко, что им остается одно: прибегнуть к покровительству русского императора и просить у него, как милости, присоединения всех польских австрийских и прусских провинций к России. Таков был общий (?) голос в Познанском Герцогстве, в Галиции и в Кракове; одна только эмиграция противоречила, но эмиграция в то время была почти без влияния. Можно было бы подумать, что поляки лицемерили, хотели только напугать немцев; но они говорили о том не немцам, только между собою, и говорили с такой страстью и в таких выражениях, что я и тогда не мог сомневаться в их искренности, да и теперь еще убежден, что если бы Вы, Государь, захотели тогда поднять славянское знамя, то они без условий, без переговоров, но слепо предавая себя Вашей воле, они и все, что только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю западную Европу».

Если бы Боркгейм, которого Маркс и Энгельс удерживали в 1869 году от обвинений Бакунина в панславизме, если бы сами Маркс и Энгельс знали в то время про эти места из «Исповеди» Бакунина, насколько убийственнее были бы их нападки на него! Но кроме Бакунина никто в революционном мире даже не подозревал и не мог подозревать о возможности таких заявлений в его устах. Какой бы странный и подозрительный свет бросили эти заявления на все выступления Бакунина в 1848 году и на всю его

---

[1]) До чего доходила эта ненависть, видно из следующего рассказа Бакунина: „Немцы мне вдруг опротивели, опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса, и помню, что когда ко мне раз подошел немецкий нищий мальчишка просить милостыню, я с трудом воздержался от того, чтобы не поколотить его“. Если только эта история просто не придумана Бакуниным для красного словца, вроде мифического разговора с Марксом относительно послушных последнему коммунистических брави.

[2]) При чем тут „жиды“, абсолютно не понятно. Но для Николая это было подано горячо.

деятельность в области славянского дела! Но было бы неверно оценивать работу Бакунина в разгар революции по этим неосторожным словам, вырвавшимся у него в тюрьме, в момент разочарования и, может быть, озлобления, а главное — вряд ли отвечавшим его действительному убеждению даже в тот момент. Здесь с Бакуниным просто сыграла злую шутку его агитационная жилка, его дипломатия и неразборчивость в средствах, его наивный и белыми нитками шитый расчет повлиять на Николая I и толкнуть его в сторону «славянского дела». Нужно все же признать, что «славянское дело» под «широкими крыльями» византийского орла получает особый, не очень-то приятный привкус.

Еще раз повторяем: *какая-то фальшь лежала в самой славянской позиции Бакунина.* Только эта фальшь могла натолкнуть его на заявления, подобные вышеприведенному, даже по дипломатическим соображениям. Славянские увлечения заводили Бакунина далеко в дебри даже в разгар его революционной работы. Если верить его дальнейшему рассказу в «Исповеди» (а мы не имеем основания ему не верить), то он во время пражского с'езда собирался даже обратиться к Николаю I с письмом покаянного и вместе с тем увещевательного характера.

«Тогда,—рассказывает он,—во мне родилась странная мысль. Я вздумал вдруг писать к Вам, Государь, и начал было письмо; оно также содержало род «Исповеди», более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу,—я был тогда на свободе и не научен еще опытом,—но, впрочем, довольно искренной и сердечной: *я каялся в своих грехах; молил о прощении*[1]); потом, сделав несколько натянутый и напыщенный обзор тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, Государь, во имя всех утесненных славян притти на помощь, взять их под свое могучее покровительство, быть их спасителем, их отцом и, об'явив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени! Письмо было многосложное и длинное, фантастическое и необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом,—было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум. Я разорвал это

---

[1]) Курсив мой.

письмо и сжег его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, Государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, подданный Вашего Императорского Величества, еще же не простой подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам, и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые неравно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем недемократической попытке. Но более, чем все другие причины, заставили меня отказаться от сего намерения следующие два обстоятельства, встретившиеся странным образом в одно и то же время».

Этими двумя обстоятельствами, удержавшими Бакунина от ложного шага, были: во-первых, полученное им сведение, что русское правительство требует его выдачи ввиду возникшего против него подозрения в подготовлении цареубийства (заявление Бакунина по этому поводу мы видели выше), во-вторых, распространившийся слух о том, что Бакунин — агент русского правительства (что бы сказали его обвинители, если бы узнали о его мысли и о содержании задуманного им письма к царю!). Если это так, то Бакунин должен был бы поблагодарить «Новую Рейнскую Газету», которая опубликованием парижской корреспонденции удержала его, сама о том не ведая, на краю пропасти.

Нужно, впрочем, заметить, что этот рассказ Бакунина производит впечатление выдумки. Зачем ему нужна была эта выдумка? Ясно, зачем: все для той же цели с'агитировать Николая, показав ему, между прочим, что на почве «славянского дела» он может привлечь на свою сторону даже русских революционеров. Но если бы даже рассказ был и придуман ad usum Delphini, то психология, лежащая в его основе, лишний раз показывает не только, какой сумбур царил в голове Бакунина, но и как скользка была почва его революционного панславизма.

Если верить этому показанию Бакунина, то выходит, что он (по крайней мере, в мысли) был пионером той переписки между революционерами и царем, которую впоследствии так часто практиковал А. И. Герцен, писавший послания с советами и увещаниями Александру II, за что, между прочим, Бакунин, как мы увидим, через много лет так зло над ним смеялся. К счастью, сложившиеся обстоятельства удержали Бакунина от этого послания,

подобно тому как в 1861 году расстрел манифестантов в Варшаве удержал Герцена от провозглашения тоста в честь Александра II. Все эти факты лишний раз показывают, насколько революционеры того времени, выходцы из барской среды, психологически стояли близко к правящим сферам — обстоятельство, на которое мы указывали выше, когда пытались об'яснить согласие Бакунина на исповедь перед Николаем I.

Но наряду с этими отрицательными сторонами бакунинской исповеди, о которых автор впоследствии вспоминал с понятным неудовольствием, встречаются и другие, показывающие, что *и в тюрьме, во власти беспощадного душителя, Бакунин остался старым бунтарем и революционером.* Читатель не забыл о страницах, посвященных Бакуниным коммунизму, его апостолу Вейтлингу и особенно героическому парижскому пролетариату. Каково было Николаю I и его жандармам читать восхваления «превратных учений» и «бунтовщиков», мазавших в феврале 1848 года свои сапоги освященным миром, служившим для помазания французских королей на царство! Что должны были они думать о «раскаянии» человека, писавшего такие строки? И с каким чувством читали они о его признаниях относительно планов переворота в России, особенно если вспомнить, что изложение этих планов Бакунин сопроводил убийственной критикой самодержавных порядков?!

Мы можем поверить Бакунину (ибо, помимо всего прочего, мы знаем это и из других источников), когда он в «Исповеди» утверждает, что никаких связей и сношений с Россией у него за время заграничной жизни не было. С 1842 года и до возвращения на родину в кандалах он, по его словам, получил из России не более десятка писем, и сам написал туда примерно столько же, при чем в этих письмах совершенно не упоминалось о политике. О России он знал по слухам, обычно крайне преувеличенным, зачастую просто сочиненным и во всяком случае сильно раздувавшим проявления оппозиции в стране. Но, горячо стремясь к перевороту в России, Бакунин «хватался решительно за все, что хоть несколько могло поддержать или, лучше сказать, пробудить в европейской, особенно же в славянской публике веру в возможность, в необходимость русской революции».

Дальше Бакунин, правда, в покаянных выражениях, излагает свое заграничное настроение, внушившее ему веру в неизбежность русской революции и сознание ее необходимости в интересах трудящихся масс. Теперь, на историческом расстоянии, мы можем от-

бросить эту покаянную оболочку, органически не связанную с рассказом Бакунина и случайно приданную его повествованию благодаря обстановке, в которой оно писалось, и цели, с какою писалось. И тогда перед нами вырисуется *психология одного из первых русских революционных социалистов*, поднявших на свои плечи тяжкое бремя в годину всеобщего молчания и рабства и своими жертвами проложивших дорогу для следующих более счастливых поколений.

«Обреченный предыдущею жизнью, — пишет Бакунин, — понятьями, положеньем, неудовлетворенною потребностью действия, а также и волею на несчастную революционную карьеру, я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России, вследствие этого не мог иметь другого круга действия, кроме России, вследствие этого должен был верить или, лучше сказать, должен был заставить себя и других верить в русскую революцию... Я был в то же время обманутым и обманщиком, обольщал себя и других, как бы насильствуя мой собственный ум и здравый смысл моих слушателей. По природе я не шарлатан, Государь, напротив, ничто так не противно мне, как шарлатанизм, и никогда жажда простой, чистой истины не угасала во мне, но неестественное, несчастное положение, в которое я, впрочем, сам привел себя, заставляло меня иногда быть шарлатаном против воли. Без связей, без средств, один со своими замыслами посреди чужой толпы, я имел только одну сподвижницу: веру, и говорил себе, что вера переносит горы, разрушает преграды, побеждает непобедимое и творит невозможное, что одна вера есть уже половина успеха, половина победы: совокупленная с сильною волею, она рождает обстоятельства, рождает людей, собирает, соединяет, сливает массы в одну душу и силу, говорил себе, что, веруя сам в русскую революцию и заставив верить в нее других, европейцев, особливо славян, впоследствии же и русских, я сделаю революцию в России возможною, необходимою. Одним словом, я хотел верить, хотел, чтобы верили и другие. Не без труда и не без тяжкой борьбы доставалась мне сия ложная, искусственная, насильственная вера, не раз в уединенных минутах находили на меня мучительные сомнения, сомнения и в нравственности (?), и в невозможности моего предприятья, не раз слышался мне внутренний укоряющий голос и не раз повторял я себе слова, сказанные апостолу Павлу, когда он назывался еще Савлом: «Жестоко же есть противу рожна прати».—Но все было напрасно, я заглушал в себе совесть (!) и

отвергал сомненья, как недостойные. Я знал Россию мало, восемь лет жил за границею, а когда жил в России, был так исключительно занят немецкой философией, что ничего вокруг себя не видел... За границею, когда внимание мое устремилось в первый раз на Россию, я стал вспоминать, собирать старые, бессознательные впечатления и отчасти из них, отчасти из разных доходивших до меня слухов создал себе фантастическую Россию, готовую к революции,—натягивая или обрезывая на прокрустовской кровати моих демократических желаний каждый факт, каждое обстоятельство. Вот каким образом я обманывал себя и других. Я никогда не говорил ни о своих связях, ни о своем влиянии в России; это была бы ложь, а ложь была мне противна, но когда вокруг меня предполагали, что я имею влияние, имею положительные связи, я молчал, не противоречил, ибо в этом мнении находил почти единственную опору для своих предприятий.—Таким образом должны были произойти многие пустые, ни на чем не основанные слухи, дошедшие, вероятно, потом и до правительства.

«Русской пропаганды не было посему и в зародыше; она существовала только в мысли».

Дальше Бакунин отвечает на вопросы: почему он желал революции в России, какой порядок вещей он хотел установить вместо существующего и, наконец, какими средствами и путями он надеялся осуществить переворот? И вот здесь-то Бакунин «прибавил несколько поучительных замечаний насчет... политики» Николая I, о которых он говорит в своем цитированном в начале этой главы письме к Герцену. Нетрудно представить себе, с какими чувствами венценосный тюремщик читал «дерзкие» рассуждения своего узника о порядках, царивших в самодержавной России, и о значении свободы и гласности, существующих в Западной Европе. Эти рассуждения Бакунина били не в бровь, а прямо в глаз его духовнику. Здесь уже Бакунин не исповедывался, а допрашивал и обличал тирана.

«Когда обойдешь мир,—пишет Бакунин,—везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе, напротив, я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный, но на Западе против зла есть лекарства: публичность, общественное мнение, наконец, свобода, облагораживающая и возвышающая всякого

человека. Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят во-внутрь, с'едают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель—страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души, человеку, терпящему, одним словом, не только от притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от притеснений, падающих на соседа! Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном. Хуже всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уж никого притеснять не может и должен терпеть притеснения от всех, по этой русской же пословице: «Нас только ленивый не бьет!».

«Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду!— и во Франции, и в Англии, и в честной Германии, в России же, я думаю, более, чем в других государствах. На Западе публичный вор редко скрывается, ибо на каждого смотрят тысячи глаз, и каждый может открыть воровство и неправду, и тогда уже никакое министерство не в силах защитить вора.—В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги, все знают, но все же и молчат, потому что боятся, и само начальство молчит, зная и за собой грехи, и все заботятся только об одном, чтоб не узнали министр да царь.—А до царя далеко, Государь, так же, как и до бога высоко.—В России трудно и почти невозможно чиновнику быть не вором. Во-первых, все вокруг него крадут, привычка становится природою, и что прежде приводило в негодованье, казалось противным, скоро становится естественным, неизбежным, необходимым, во-вторых, потому, что подчиненный должен сам часто, в том или другом виде, платить подать начальнику, и, наконец, потому, что если кто и вздумает остаться честным человеком, то и товарищи, и начальники его возненавидят; сначала прокричат его чудаком, диким. необщественным человеком, а если не исправится, так, пожалуй, и либералом, опасным вольнодумцем, и тогда уж не успокоятся, прежде чем его совсем не задавят и не сотрут его с лица земли. Из

низших чиновников, воспитанных в такой школе, делаются со временем высшие, которые в свою очередь и тем же самым способом воспитывают вступающую молодежь,—и воровство, и неправда, и притеснения в России живут и растут, как тысячечленный полип, которого как ни руби и ни режь,—он никогда не умирает.

«Один страх противу сей всепоедающей болезни не действителен...

«Против такого зла необходимы другие лекарства: благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение человеческого достоинства в себе и в других, а, наконец, и публичное презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть! Но эти качества, силы цветут только там, где есть для души вольный простор, не там, где преобладает рабство и страх; сих добродетелей в России боятся, не потому, чтоб их не любили, но опасаясь, чтоб с ними не завелись и вольные мысли»... (Здесь Бакунин сам поставил многоточие).

Дав, таким образом, понять Николаю, что считает все безобразия тогдашней русской жизни неотделимыми и органически связанными с самодержавием, с отсутствием всякой свободы, с господством рабства, Бакунин подчеркивает, что *на революционный путь его толкнуло тяжелое, безвыходное положение трудящихся масс, являющихся париями самодержавного режима.*

«Более всего поражало и смущало меня, — говорит он, — несчастное положение, в котором обретается ныне так называемый черный народ, русский добрый и всеми угнетаемый мужик. К нему я чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, несравненно более, чем к бесхарактерному и блудному сословию русских дворян. На нем основывал все надежды на возрожденье, всю веру в великую будущность России, в нем видел свежесть, широкую душу, ум светлый, не зараженный заморскою порчею, и русскую силу,—и думал, что бы был этот народ, если б ему дали свободу и собственность, если б его выучили читать и писать! и спрашивал, почему нынешнее правительство, самодержавное, вооруженное безграничною властью, не ограниченное по закону и в деле никаким чуждым правом, ни единою соперничествующею силою, почему оно не употребит своего всемогущества на освобожденье, на возвышенье, на просвещенье русского народа. И много других вопросов, связанных с сим главным, основным, пред-

ставлялись душе моей!—и вместо того, чтоб отвечать на них, как должен отвечать на подобные сомненья каждый подданный *Вашего Императорского Величества:* «Не мое дело рассуждать о сих предметах, знают *Государь* да начальство, мое же дело повиноваться», вместо другого ответа, также не лишенного основанья и служащего основаньем первому: правительство смотрит на все вопросы сверху, обнимая все в одно время, я же, смотря на них снизу, не могу видеть всех препятствий, всех трудностей, обстоятельств и современных условий как внутренней, так и внешней политики, поэтому я не могу определить удобного часу для всякого действия [1]), — вместо сих ответов я дерзостно и крамольно отвечал в уме и писаниях своих: «Правительство не освобождает русского народа, во-первых, потому, что при всем всемогуществе власти, неограниченной по праву, оно в самом [2]) деле ограничено множеством обстоятельств, связано невидимыми путами, связано своею развращенною администрациею, связано, наконец, эгоизмом дворян. Еще же более потому, что оно действительно не хочет ни свободы, ни просвещенья, ни возвышенья русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе»!—Ответ сей, совершенно противный моему верноподданническому долгу, не противоречил моим демократическим понятьям».

Тут Бакунин спохватывается, не наговорил ли он для своего положения уж слишком много. Усевшись на своего революционного конька, увлекшись описанием своих былых переживаний, снова разбудив в сердце своем неутолимую ненависть к тирании и неугасаемую симпатию к угнетенному народу, он незаметно для себя преподнес царю вместо покаяния грозное обличение и вместо исповеди написал революционную прокламацию. Но, видимо, сказав себе: «еже писах, писах», он оставляет в неприкосновенности свои «дерзостные» и «крамольные» рассуждения и делает лишь слабую попытку смягчить их. Он предвидит, что его инквизитор-духовник, прочтя это место, естественно спросит его: «Как же думаешь ты теперь?». Но проснувшаяся в душе его во время писания революционная гордость не позволяет ему мало-

---

[1]) Совершенно очевидно, что Бакунин здесь зло иронизирует и „дерзостно“ издевается над своим духовником.

[2]) В подлиннике „сам“; можно читать и „сем“, но средняя буква похожа скорее на бакунинское „а“.

душно отречься от своих заветных убеждений. С рядом оговорок, экивоков и двусмысленностей, пересыпанных то наружным покаянием, то скрытой злобной иронией, он все же не решается сказать, что по существу изменил свои мысли, и на предполагаемый вопрос царя отвечает уклончивой, но знаменательной фразой: «Трудно мне будет отвечать на этот вопрос!».

Преодолев малодушное колебание, быть может, овладевшее им на минуту, когда он увидел, что́ он наговорил, и подумал, как отнесется к его крамольным рассуждениям его тюремщик, Бакунин продолжает свое обличение.

«Я спрашивал себя также: «Какая польза России в ее завоеваньях? И если ей покорится полсвета, будет ли она тогда счастливее, вольнее, богаче? Будет даже сильнее? И не распадется ли могучее русское царство, и ныне уже столь пространное, почти необ'ятное, не распадается ли оно, наконец, когда еще далее распространит свои пределы? Где последняя цель его расширенья? Что принесет оно порабощенным народам заместо похищенной независимости — о свободе, просвещеньи и народном благоденствии и говорить нечего, — разве только свою национальность, стесненную рабством! Но русская или, вернее, великороссийская национальность должна ли и может ли быть национальностью целого мира? Может ли Западная Европа когда сделаться русскою языком, душою и сердцем? Могут ли даже все славянские племена сделаться русскими? Позабыть свой язык, которого сама Малороссия не могла еще позабыть, свою литературу, свое родное просвещенье, свой теплый дом, одним словом, для того чтоб совершенно потеряться и «слиться в русском море», по выраженью Пушкина? Что приобретут они, что приобретает сама Россия через такое насильственное смешенье? Они — то же, что приобрела Белоруссия, вследствие долгого подданства у Польши: совершенное истощение и поглупенье народа. А Россия? — Россия должна будет носить на плечах своих всю тяжесть всей необ'ятной, многосложной, насильственной централизации. Россия сделается ненавистна всем прочим славянам так, как теперь она ненавистна полякам; будет не освободительницею, а притеснительницею родной славянской семьи; их врагом против воли, насчет собственного благоденствия и насчет своей собственной свободы,—и кончит, наконец, тем, что, ненавидимая всеми, сама себя возненавидит, не найдя в своих принужденных победах ничего кроме мучений и рабства. Убьет славян, убьет и себя! — Таков

ли должен быть конец едва только начинающейся славянской жизни и славянской истории?»

Путем таких рассуждений, «от вывода к выводу», Бакунин, по его словам, пришел к заключению о «необходимости и нравственности русской революции». Как мы видим, в нем говорили при этом *соображения как специально-русского, так и обще-славянского свойства.*

«Одним словом... я уверил себя, что Россия, для того, чтоб спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть... царскую власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя таким образом от внутреннего рабства, стать во главе славянского движенья; обратить оружие свое против императора австрийского, против прусского короля, против турецкого султана и, если нужно будет, также против Германии и против мажиар[1]), одним словом, против целого света, для окончательного освобожденья всех славянских племен из-под чужого ига. Половина прусской Шлезии, большая часть Западной и Восточной Пруссии, — одним словом, все земли, говорящие по-славянски, по-польски, должны были отделиться от Германии. Мои фантазии простирались и дальше: я думал, я надеялся, что мажиарская нация, принужденная обстоятельствами, уединенным положением среди славянских племен, а также своею более восточною, чем западною природою, что все молдавы и валахи, наконец, даже и Греция войдут в Славянский Союз, и что, таким образом, созиждется единое вольное восточное государство и как бы восточный возродившийся мир в противоположность западному, хотя и не во вражде с оным, и что столицею его будет Константинополь».

Здесь мы должны защитить Бакунина от него самого. В том виде, в каком он излагает свои замыслы, они действительно слишком отдают панславистским душком (при всей революционности отдельных заявлений). Особенно странно звучит назначение Константинополя будущей столицей об'единенного славянского мира (даже «государства», как выражается Бакунин). Выше, когда мы говорили о фальшивых нотах, вырывавшихся подчас у таких людей, как Герцен, и возбуждавших естественное недовольство со стороны европейских демократов, мы, между прочим, указывали, что Бакунин никогда не унижался до разговоров о «гние-

---

[1]) Мадьяр. венгерцев.

нии» Запада и о Константинополе как будущем центре единого славянства. Между тем, в *«Исповеди» такие заявления*, как мы видим, *встречаются*. Особенно неудачно заявление о Константинополе, захват которого всегда входил в планы самодержавия и казенного панславизма, но который славянские народные массы, вопреки уверениям увлекавшихся славянофилов, вовсе не считали своим средоточием, и которым они ничуть не интересовались. Царьград, как центр будущего славянского об'единения под скипетром русского царя, входил в символ веры казенных защитников казенного панславизма. Своими заявлениями в «Исповеди» Бакунин как будто становится на их позицию. Но мы не должны, во-первых, забывать, что в «Исповеди» Бакунин, быть может, незаметно для самого себя, сплошь и рядом приспособляется к пониманию своих тюремщиков (особенно в рассуждениях по славянскому вопросу) и говорит вещи, которых не сказал бы при других условиях, и которые не отвечали его действительным взглядам, а во-вторых, мы должны помнить, что *в своих публичных выступлениях Бакунин* по мере сил боролся с казенным панславизмом и уж во всяком случае *никогда не говорил о Константинополе*, как будущей столице вольной славянской федерации.

Переходя к вопросу о желательной форме правления, Бакунин спешит оговориться, что на этот счет мысли его были «неясны и неопределенны». Мы знаем из предыдущего изложения, что это в значительной степени верно. Заниматься гаданиями он, по его словам, считал бесплодным и полагал, что освобожденный от оков русский народ скажет, чего он хочет, и создаст нужные ему учреждения. Далее Бакунин набрасывает схему анархически-диктаторского строя, которую мы привели в третьей главе. Что будет после диктаторства, он не знал да над этим, по его словам, особенно и не задумывался.

На кого же Бакунин возлагал эту провиденциальную роль диктатора? Что речь шла у него не о коллективной, а о личной диктатуре, ясно из всего того, что он говорит дальше по этому поводу. В случае богемской революции он, как мы видели, отводил эту роль диктатора самому себе, считая себя единственным среди тогдашних славянских деятелей, способным взвалить на свои плечи такую задачу. По всей вероятности, он думал, что и в России эту роль придется играть никому другому, как ему. Среди русских политических фигур того времени не было ни одной, которой он по совести мог бы отдать предпочтение перед собой.

Но если Бакунин даже и мечтал о роли диктатора, то не столько по соображениям личного честолюбия, сколько в интересах революционного дела. Мы знаем, что, когда впоследствии в Сибири он натолкнулся на энергичного человека, который показался ему (насколько основательно, это другой вопрос) способным сыграть роль освободителя славянской расы, он начал прочить этого человека (Муравьева-Амурского) на место диктатора. А в конце 60-х годов, наткнувшись на Нечаева, Бакунин, тогда уже шестидесятилетний старик, охотно подчинился диктатуре этого властного, но недостаточно серьезного молодого человека. Мы можем поэтому верить тому, что Бакунин дальше говорит по вопросу о личности русского диктатора.

«А кто будет диктатором? Могли бы подумать, что я себя поставил на это высокое место. Но такое предположенье было бы решительно несправедливо. Я должен сказать, Государь, что кроме экзальтации, иногда фанатической, но фанатической более вследствие обстоятельств и неестественного положенья, чем от природы, во мне не было ни тех блестящих качеств, ни тех сильных пороков, которые творят или замечательных политических людей, или великих государственных преступников. Во мне и прежде, и в это время было так мало честолюбия, что я охотно подчинился бы каждому, лишь бы только увидел в нем способность и средства и твердую волю служить тем началам, в которые я верил тогда, как в абсолютную истину; и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убежденьи и вере.—Я не говорю, чтобы во мне не было самолюбия, но никогда не было оно во мне преобладающим; напротив, я должен был преодолевать себя и шел как бы наперекор своей природе, когда собирался или говорить публично, или даже писать для публики. Не было во мне и тех огромных пороков à la Danton [1]) или à la Mirabeau [2]), того ненасытного, широкого размаху, который для своего упоения готов поставить вверх дном целый мир. А если во мне и был эгоизм, то он единственно состоял в потребности движенья, в потребности действия. *В моей природе был всегда коренной недостаток; это любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключеньям, к предприятьям,*

---

[1]) Вроде Дантона.
[2]) Вроде Мирабо.

открывающим горизонт безграничный, и которым никто не может предвидеть конца[1]). Мне становилось и душно, и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаянье; душа моя находилась в неусыпном волненьи, требуя действия, движенья и жизни[2]). Мне следовало бы родиться где-нибудь в американских лесах, между западными колонистами, там, где цивилизация едва расцветает, и где вся жизнь есть беспрестанная борьба против диких людей, против дикой природы, а не в устроенном гражданском обществе. А также, если б судьба захотела сделать меня с молоду моряком, я был бы, вероятно, и теперь очень порядочным человеком, не думал бы о политике и не искал других приключений и бурь кроме морских. Но судьба не захотела ни того, ни другого, и потребность движенья и действия осталась во мне неудовлетворенною. Сия потребность, соединившись впоследствии с демократическою экзальтациею, была почти моим единственным движением. Что же касается до последней, то она может быть выражена в немногих словах: *любовь к свободе и непримиримая ненависть ко всякому притеснению*[3]), еще более когда оно падало на других, чем на меня самого. Искать своего счастья в чужом счастье, своего собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в свободе других, — вот вся моя вера, стремленье всей моей жизни. Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы оно ни падало. Во мне было всегда много дон-кихотства[4]), не только политического, но и в личной жизни; я не мог равнодушно смотреть на несправедливость, не говоря уже о решительном угнетеньи; вмешивался часто без всякого призванья и права, и не дав себе времени обдумать, в чужие дела и, таким образом, в продолженье всей многоволнуемой, но пустой и бесполезной жизни, наделал много глупостей, навлек на себя много неприятно-

---

[1]) Курсив мой.

[2]) Сопоставим с этими словами то, что Бакунин писал в письме к Эмме Гервег от 3 февраля 1843 года по поводу спокойной жизни (см. выше, стр. 135).

[3]) Курсив мой.

[4]) Вспомним, что биограф Бакунина и поклонник его, Фриц Брупбахер, не видавший „Исповеди“, также сопоставляет своего героя с Дон- Кихотом (см. выше), но в виде похвалы.

стей и приобрел себе несколько врагов, сам почти никого не ненавидя. Вот, Государь, истинный ключ ко всем моим бессмысленным попыткам, грехам и преступленьям. — Я говорю о том с такою уверенностью и так положительно, потому что в последние два года имел довольно досуга на изученье себя, для того, чтоб обдумать всю прошедшую жизнь; а теперь смотрю на себя хладнокровно, как может только смотреть умирающий или даже совершенно умерший.

«С таким направленьем мыслей и чувств я не мог думать о своем собственном диктаторстве, не мог питать в душе своей честолюбивых помыслов. Напротив, я был так уверен, что погибну в неравной борьбе, что несколько раз даже писал другу Рейхелю, что я с ним простился навек; что если я не погибну в Германии. так погибну в Польше, если же не в Польше, так в России. Не раз также говаривал немцам и полякам, когда в моем присутствии они спорили о будущих формах правления: «*Мы призваны разрушать, а не строить*[1]); строить будут другие, которые и лучше, и умнее, и свежее нас». — Того же самого надеялся и для России; я думал, что из революционного движения выйдут люди, новые, сильные, и что они овладеют им и поведут его к цели».

В этом отрывке чрезвычайно ценною представляется та самохарактеристика, которую дает себе здесь Бакунин. Указывая на снедающий его внутренний жар, на потребность в живой деятельности, на отвращение свое к спокойному, обывательскому существованию, на свою склонность к фантастическим увлечениям, он подтверждает все то, что мы знаем о нем и что мы могли видеть на фактах его бурной жизни. Весьма характерна его фраза: «мы призваны разрушать, а не строить». Эту мысль он высказывал в разных вариациях неоднократно; но, как мы помним из его статьи о «Реакции в Германии», он понимал ее более глубоко и не противопоставлял разрушения созиданию, а об'единял их в едином революционном процессе, говоря, что «страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть», т.-е. разрушение связано с творчеством неразрывно, как две стороны одной медали, имя которой—революция. Но самое замечательное место в этом отрывке это то, где он говорит о своей любви к свободе. И мы, читая его слова, невольно вспомнили то, что он говорил по тому же поводу 20 лет спустя в предисловии (Préambule) к второму

---

[1]) Курсив мой.

выпуску «Кнуто-Германской Империи» (1871 г.). Мы имеем в виду знаменитое место, начинающееся словами: «Я — страстный искатель истины» и продолжающееся так: «Я — фанатический сторонник свободы, считающий ее единственной средой, в которой может развиваться и расти разум, достоинство и счастье людей». Это место мы впоследствии (в третьем томе) приведем полностью [1]).

Дальше Бакунин пытается дать ответ на самый для него тяжелый вопрос, вернее, на вопрос, который его тюремщики должны были считать самым для него тяжелым. Он говорит:

«Могли бы спросить меня: как же ты при такой неопределенности мыслей, не зная сам, что выйдет из твоего предприятья, как же ты мог решиться на такую тяжелую вещь, какова *русская* революция? Разве ты не слыхал о Пугачевском бунте или не знаешь, до какого варварства, до какой зверской жестокости могут дойти русские взбунтовавшиеся мужики? и не помнишь слов Пушкина: «Избави нас Бог от русского бунта, бессмысленного и беспощадного»?...

«Государь! На этот вопрос, на этот упрек мне будет тяжелее ответить, чем на все предыдущие. Оттого тяжелее, что, хоть преступление мое не выходило из области мысли, я в мысли уж и тогда чувствовал себя преступником, и сам содрогался от возможных последствий моего преступного предприятья, — и не отказался от него! Правда, что я старался обманывать себя пустою надеждою на возможность остановить, укротить опьяневшую ярость разнуздавшейся толпы; но плохо надеялся, оправдывал же себя софизмом, что иногда и страшное зло бывает необходимым, а, наконец, утешал себя мыслью, что если и будет много жертв, то я паду вместе с ними... и Бог знает, достало ли бы у меня много характера, силы и злости для того, чтобы, не говорю совершить, но для того, чтобы начать преступное дело? Бог знает! Хочу верить, что нет, а может быть, и да. Чего не делает фанатизм! И недаром же говорят, что в злом деле только первый шаг труден. Я много и долго думал об этом предмете и до сих пор не знаю, что сказать, а благодарю только Бога, что он не дал мне сделаться извергом и палачом моих соотечественников!

---

[1]) Это предисловие впоследствии было частью издано на французском и переведено на русский язык под придуманным заглавием „Парижская Коммуна и понятие о государственности“. В свое время оно не увидало света.

«Насчет средств и путей, которые я думал употребить для пропаганды в России, я также не могу дать определенного ответа. Я не имел и не мог иметь определенных надежд, ибо находился вне всякого прикосновения с Россией; но готов был ухватиться за всякое средство, которое бы мне представилось: *заговор в войске, возмущение русских солдат, увлечение русских пленных,* если бы такие нашлись, для того чтобы составить из них начаток русского революционного войска, наконец, *и возмущение крестьян*[1])... одним словом, Государь, моему преступлению против Вашей священной власти, в мысли и в намерениях, не было ни границ, ни меры! И еще раз благодарю Провиденье, что, остановив меня во-время, Оно не дало мне ни совершить, ни даже начать ни одного из моих гибельных предприятий против Вас, моего Государя, и против моей Родины. Тем не менее, я знаю, что не так само действие, как намерение, делает преступника и, оставив в стороне мои немецкие грехи, за которые был осужден сначала на смерть, потом на вечное заключенье в рабочем доме, я вполне и от глубины души сознаю, что более всего я преступник против Вас, Государь, преступник против России, и что преступленья мои заслуживают казнь жесточайшую!».

Этих слов, конечно, нельзя принимать всерьез. Само собой разумеется, что в разгар своего революционного опьянения Бакунин никак не мог предаваться таким мыслям, какие он себе задним числом приписывает, содрогаться от возможных последствий своих революционных предприятий, испытывать заранее угрызение совести и пр. Это психологически невероятно. Вернее всего, это место представляет ответ на неизвестные нам вопросы, которые, очевидно, задавались ему жандармами, быть может, тем же Орловым, если не формально, то в частных беседах. Приближаясь к концу своей «Исповеди» (поскольку она касалась наиболее важных и интересных для Николая русских дел), Бакунин сообразил, что нужно как-нибудь замазать то, что он на себя наговорил, и смягчить негодование, которое должен был почувствовать царь, читая его откровенное сообщение. Отсюда и явилась эта покаянная интермедия, очень мало вяжущаяся с характером и действительными мыслями Бакунина. Можно пожалеть, что «непреклонный бунтарь» унизился до таких слов, но всерьез принимать их, разумеется, не приходится.

---

[1]) Курсив мой.

Покончив с «самой тяжелой частью» своей «Исповеди», Бакунин переходит к изложению своих «немецких грехов», о которых мы подробно говорили выше (см. главу 3) и к которым потому возвращаться не будем. Покончив и с рассказом о своих немецких похождениях вплоть до своего ареста после неудачи дрезденского восстания, Бакунин, подводя итоги своему повествованию, характеризует свою жизнь как «пустую, бесполезную и преступную» и благодарит Бога за то, что тот во-время остановил его на дороге к преступлениям. После этого пассажа, явно направленного к умилостивлению своего безжалостного тюремщика, Бакунин переходит к своей главной задаче, ради которой он и согласился на исповедь. Больше всего страшась пожизненного заточения, столь противоречившего его неугомонному и общительному характеру, Бакунин просит царя заменить ему заключение в крепости ссылкой в Сибирь.

«Государь,—пишет он,—я преступник великий и не заслуживающий помилованья! Я это знаю, и если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы ее как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существованья несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего Императорского Величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, Государь! если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего Императорского Величества, Государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключеньи. Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказаньем. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму ее с благодарностью, как милость; чем тяжеле работа, тем легче я в ней позабудусь.— В уединенном же заключении все помнишь и помнишь без пользы; и мысль, и память становятся невыразимым мученьем, и живешь долго, живешь против воли и, никогда не умирая, всякий день умираешь в бездействии и в тоске!—Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Königstein [1]), ни в Австрии, как здесь в Петропавловской крепости, и дай Бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашел здесь, к своему величайшему счастью! И несмотря на то, если б мне дали выбрать, мне кажется, что я веч-

---

[1]) Кенигштейн.

ному заключенью в крепости предпочел бы не только смерть, но даже телесное наказанье.

«Другая же просьба, Государь! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством; если не со всем, то, по крайней мере, со старым отцом, с матерью и с одною любимою сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она [1]).

«Окажите мне сии две величайшие милости, Всемилостивейший Государь, и я благословлю Провидение, освободившее меня из рук немцев, для того чтобы предать меня в Отеческие руки Вашего Императорского Величества.

«Потеряв право называть себя верноподданным Вашего Императорского Величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник

Михаил Бакунин».

Так кончается этот замечательный человеческий документ, представляющий уникум в исторической литературе и по богатству содержащегося в нем материала (зачастую нового и доселе неизвестного), и по личности автора, и по обстановке, в которой он составлялся.

«Исповедь» породила целую литературу [2]) и несомненно в будущем будет также усиленно обсуждаться. Но опубликованные за последнее время документы, из которых главными являются записки, тайно переданные Бакуниным брату и сестре на свиданиях с ними в крепости [3]), только подтвердили то толкование, какое я дал «Исповеди» в первом издании моей книги, вышедшем в 1920 г. Мне теперь не приходится по существу ничего изменять в той

---

[1]) Речь идет, очевидно, о Татьяне Александровне.

[2]) *Л. Ильинский* — Новые материалы о Бакунине („Голос Минувшего", 1920-21); *П. Сосман-Рощин*—Сумерки великой души („Печать и Революция", № 3, 1921); *А. Корнилов*—Еще о Бакунине и его исповеди Николаю („Вестник Литературы", 1921, № 12); *Б. Козьмин*—„Исповедь" М. А. Бакунина („Вестник Труда", 1921, № 9): *Вера Фигнер* — „Исповедь" М. А. Бакунина (бюллетень кн. маг. „Задруга"; № 1, 1921, декабрь); *М. Нетлау* — „Исповедь" Бакунина („Почин", 1922, №№ 8-9); *А. Боровой и Н. Отверженный*—Миф о Бакунине, изд. „Голос Труда", М. 1925. Это, конечно, не все. Сама „Исповедь" дважды опубликована отдельным изданием и в „Материалах для биографии М. Бакунина", под ред. В. Полонского, ГИЗ, т. I, 1923.

[3]) Эти записки впервые опубликованы А. Корниловым („Годы странствий", Ленгиз, 1925, стр. 491-498).

оценке, какую я дал этому документу, когда в 1919 году ознакомился с ним в Центральном Архиве [1]). Моя точка зрения сводилась к тому, что в «Исповеди» никакого действительного покаяния нет, хотя внешне ей придан вид нарочитого раскаяния, что писал ее Бакунин для того, чтобы одурачить Николая и добиться освобождения из крепости, но что самый факт хотя бы и внешнего, формального раскаяния свидетельствует о том, что в тот момент настроение Бакунина было пониженным—не в том смысле, чтобы он лично перестал быть революционером, чтобы у него исчезла вера в конечную победу революции, а в том смысле, что революция казалась ему отодвинутой вдаль, что у него, быть может, появилось даже критическое отношение к ее методам и деятелям. На этом я стою и сейчас, ибо к своему выводу я пришел не только путем интуиции, психологической догадки, но и путем анализа всей прошлой и последующей истории Бакунина, а также внимательного разбора самой «Исповеди» [2]).

Что анархистам не нравится и такая чисто об'ективная и историческая оценка «Исповеди», это неудивительно. К вопросу о Бакунине они подходят с чисто суб'ективной, партийной стороны.

---

[1]) Впоследствии, в 1921 г., „Исповедь“ была целиком опубликована Госиздатом с вступительной статьей В. Полонского, который совершенно не понял ее духа и смысла.

[2]) Кстати, А. Боровой в книжке „Миф о Бакунине“ (стр. 18) приписывает мне „суждение“ о том, что проблема „Исповеди“ неразрешима, и добросовестно ссылается даже на стр. 349-350 моей книги (1-го издания), где это „суждение“ будто бы высказано. Я бы посоветовал моему оппоненту внимательнее читать то, что он критикует. На самом деле „Исповедь“ рассматривается у меня на стр. 293-324, при чем я „разрешаю“ ее проблему — худо ли, хорошо ли, это другой вопрос, но разрешаю. Нигде у меня не высказано того „суждения“, которое навязывает мне А. Боровой. На указанных же им страницах у меня говорится не об „Исповеди“, а о покаянном письме Бакунина к царю в 1857 году с просьбою об освобождении из крепости и о последующих его письмах в том же духе к шефу жандармов от того же года. Высказав уверенность, что „всерьез говорить о раскаянии Бакунина“ невозможно, я прибавляю, что своим притворством он, видимо, хотел добиться освобождения или для новой революционной борьбы, или для спокойного проживания на свободе. „Какое из *этих* двух предположений вернее, вряд ли удастся когда-либо разрешить, ибо только Бакунин мог бы раз'яснить *эту* загадку; но он никогда и ни с кем не заговаривал о действительных условиях своего *освобождения из крепости*“ (стр. 350). Вот о какой „проблеме“ я здесь говорю, и нечего приписывать мне выдуманных моим критиком „суждений“.

Если, например, Л. Дейч готов после опубликования «Исповеди» поставить на Бакунине, как революционере, крест и рассматривать ее как несомненное доказательство подлинного его раскаяния в революционных прегрешениях [1]), то, с другой стороны, анархисты не могут допустить на солнце бакунинского величия никаких пятен и пытаются вывести эти пятна с помощью неправильных цитат и ложных перетолкований. Один образчик таких «критических» приемов мы только что видели при рассмотрении приписанного мне А. Боровым «суждения» о мнимой неразрешимости проблемы «Исповеди». Другой пример не менее характерен.

В той же брошюре (стр. 45) А. Боровой заявляет, что мое толкование «Исповеди» он считает в общем (?) близким к толкованию В. Полонского и прибавляет: «это (т.-е. мое) понимание только страдает большой неопределенностью и отсутствием ясности».

Что ортодоксы любой христианской церкви готовы гораздо снисходительнее относиться к язычникам, чем к членам другого христианского исповедания, расходящегося с ними в толковании отдельных догматов, это давно известно. Отцы анархической церкви не составляют в этом отношении исключения. Известна их слабость к различным разновидностям буржуазной демократии и в то же время их непримиримая ненависть к марксистам. Так и здесь. Точка зрения В. Полонского была диаметрально противоположна моей [2]): она усматривала в «Исповеди» действительное по-

---

[1]) В своей книге „За полвека“ (изд. „Грани“, Берлин, том II, 1923, стр. 222 и след.) Л. Дейч утверждает, что если бы „Исповедь“ в свое время, т.-е. в 60-е годы, стала известна, то революционная карьера Бакунина тогда же была бы закончена (так же думает и В. Полонский). Это весьма сомнительно. Во-первых, никто из сторонников и друзей Бакунина не признал бы ее доказательством его действительного покаяния, а тем паче ренегатства. Во-вторых, сам Бакунин решительно опроверг бы такое толкование „Исповеди“ и при этом мог бы сослаться на всю свою предшествовавшую деятельность и на самое содержание „Исповеди“. В-третьих, он мог бы в крайнем случае выписать из России свои записки, тайком переданные родным из тюрьмы и доказывающие, что о каком-либо раскаянии его не может быть и речи. Верно, что противники его поспешили бы, разумеется, использовать против него такой благодарный материал, но вряд ли он подействовал бы на его ярых сторонников и принес бы ему больше вреда, чем разоблачение его действий в нечаевском деле и его происков в Интернационале.

[2]) Говорю „была“, ибо теперь он принужден отказаться от своего прежнего понимания „Исповеди“.

каяние бывшего революционера и развивалась им в форме полемики со мною, тогда как я определенно с самого начала отрицал возможность такого толкования. Признавая «Исповедь» проявлением притворства, я говорил только о недопустимости таких приемов и, проводя параллель между революционерами из дворянской и разночинной среды, старался дать социально-психологическое об'яснение действиям Бакунина. Отвергая допущение о действительном покаянии Бакунина, я лишь отмечал, что факт составления «Исповеди», вероятно, об'яснялся временным упадком настроения Бакунина в результате поражения революционного движения 1848—49 годов. Вот за это-то на меня и вз'елся А. Боровой.

Но что в сущности говорит его книжка? По существу то же самое, разве только, что она старается затушевать факт временного понижения бакунинского настроения после неудачи революции и после его ареста. В написании «Исповеди» он усматривает «нечаевский» прием, который решительно осуждает. В чем же заключается моя неопределенность и неясность? Вероятно в том, что, понимая »Исповедь» как прием, направленный к одурачению врага, я в то же время усматриваю в факте ее написания и в приданной ей форме проявление временной слабости. Но в этом отношении я не говорю ничего сверх того, что сказал по этому поводу сам Бакунин в письме к Герцену, где явно чувствуется неловкость, испытываемая им при сообщении товарищам о допущенном им в «Исповеди» «смягчении форм». И оправдывает он это «смягчение форм» своим тогдашним тяжелым положением, нахождением «во власти медведя», в угоду которому—хотя, разумеется, для достижения *своих* целей—он и допустил эту неискреннюю и неприятную форму.

В. Полонский усмотрел в «Исповеди» подлинное разочарование Бакунина в революции, а значит, и искреннее покаяние его в своих прежних революционных грехах, несвободное, впрочем, от элементов притворства. Для об'яснения этого факта Полонский построил целую «теорию». Сущность ее заключается в мнимом возврате Бакунина после его ареста к гегельянскому преклонению перед разумной действительностью. Перед нами как бы возвращение Бакунина к заблуждениям юности. Сначала, дескать, он признавал существующий строй действительностью и потому осуждал бунт против него; потом, под влиянием левого гегелианства, признал бунт тоже действительностью и предался революционной деятельности; а после неудачи революции им овладел рецидив

правого гегелианства, и теперь он снова осудил революцию во имя действительности, имеющей, мол, свои законы [1]).

Теперь от этой странной «гипотезы» В. Полонский принужден отказаться. Так на него подействовали три записочки, переданные Бакуниным из крепости родным. «Если,—говорит он теперь,—до опубликования А. А. Корниловым новейших (?) документов из премухинского архива еще можно было спорить о том, притворялся Бакунин или нет, хотел провести Николая или чистосердечно каялся в своих прегрешениях, то теперь, когда мы располагаем неизвестными ранее письмами Бакунина из крепости,—для споров больше места нет. Бакунин притворялся... Его признания, и самоунижение, и лесть—все это ложь, с помощью которой он хотел купить себе свободу».

Лучше поздно, чем никогда! Мы только думаем, что если бы и не было тех записочек Бакунина, которые заставили В. Полонского стать, в конце концов, на правильную точку зрения в этом вопросе, то дело было бы ясно и без них. За наше толкование «Исповеди» говорило все прошлое Бакунина, вся его дальнейшая политическая работа, вся его психология, наконец, сама «Исповедь» от первой строки до последней. При анализе таких документов требуется, кроме желания сказать «свое слово», также некоторое психологическое чутье и некоторая историческая проницательность...

Надо полагать, что ничего подобного «Исповеди» Николаю I не приходилось читать за всю свою жизнь. И хотя в этом документе Бакунин, по соображениям самосохранения, дипломатии и агитации, во многих случаях приспособлялся к образу мыслей и даже к стилю своего тюремщика, хотя он отрекался от одних своих «заблуждений», смягчал и затушевывал другие, признавал свои деяния «преступными» (часто ехидно поясняя при этом, что они преступны с точки зрения царских законов) и даже заканчивал свою исповедь внешне-покаянным финалом, тем не менее Николай (а затем и его преемник) правильно усмотрел в писании Ба-

---

[1]) Тот же творец легенд А. Боровой замечает, что „исторический примат“ такой постановки вопроса принадлежит якобы мне. Благодарю за сомнительную честь и повторяю свой совет Боровому впредь внимательнее читать то, о чем он собирается писать. Может быть, кое в чем мне и принадлежит „исторический примат“ в „проблеме“ Бакунина вообще, но только не в этой оригинальной гипотезе о рецидиве правого гегельянства у Бакунина после 1849 года.

кунина полное отсутствие действительного или, говоря жандармским языком, «чистосердечного» раскаяния. Ибо, наряду с покаянными нотами в «Исповеди» вдруг начинал греметь язык сурового обличения, «дерзостного» порицания существующего порядка, восхваления «крамольных лжеучений» и апологии «бунтовщиков». Вероятно, никогда и ни от кого Николай не слыхал таких вещей о своем правлении, какие наговорил ему Бакунин под видом «откровенных» показаний, которые, впрочем, далеко не всегда являлись действительно откровенными.

Один экземпляр «Исповеди» был специально переписан для Николая I каллиграфическим почерком. Николай, повидимому, довольно внимательно прочел рукопись, которая испещрена его пометками [1]). Эти пометки кстати лишний раз показывают, что «незабвенный» был по существу жандармом и притом жандармом довольно ограниченным. Они же показывают, что Бакунин верно угадал характер своего коронованного тюремщика и взял в своей «Исповеди» тон, который должен был польстить его духовнику.

Правда, предупреждение Бакунина относительно того, что он не намерен каяться за других и называть имен, весьма не понравилось Николаю. Против слов Бакунина о том, что он не собирается исповедывать чужие грехи, разочарованный жандарм на полях написал: «Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих прехов, то одна *чистая, полная* исповедь, а не *условная*, может почесться исповедью» [2]). Досада Николая при чтении слов Бакунина: «видел русских, но молю, не требуйте от меня имен»—выражена поставленным с боку нотабене с восклицательным знаком.

И Николая начинает брать сомнение в действительном раскаянии своего узника. Внимание царя приковывается подозрительным заявлением Бакунина, что он и «теперь не знает, выздоровел ли он (от своей политической болезни) совершенно», и насторожженное перо быстро выводит сбоку: «NB!». И как бы забывая, что «Исповедь» уже закончена, что второй не будет (а может быть, надеясь, что узник, посидев еще, напишет вторую, более откровенную), Николай с запоздалой досадой уговаривает Бакунина

---

[1]) Экземпляр с пометками Николая хранится в Центральном Архиве (в Москве). Характерно, что все упоминания о безденежьи Бакунина Николай старательно отмечает сбоку знаком нотабене.

[2]) Подчеркнуто в подлиннике.

каяться дальше. На слова «Исповеди»: «раскаяние в моем положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти»,—царь спешит возразить: «не правда, всякого грешника раскаяние, но чистосердечное, может спасти».

Свою злобу обманувшегося в своих надеждах сыщика Николай старается скрыть лицемерным великодушием, елейным отпущением грехов заблудшему, но покаявшемуся сыну. Когда Бакунин с притворным сокрушением говорит: «более всего я преступник против вас, государь, преступник против России и преступления мои заслуживают казнь жесточайшую»,—палач, затягивая петлю на шее жертвы, благодушно замечает: «повинную голову меч не сечет, прости ему Бог! Бог да, но не Дубельт... И чтобы его не вздумали понять превратно, Николай спешит пояснить, что он прощает Бакунина «лично», на манер Робер-Макера, который говорил оскорбленному и разоренному им товарищу: «Я тебя обидел, но ничего: я на тебя не сержусь». И когда Бакунин, приняв позу кающегося Рейнеке-Лиса, собравшегося постричься в монахи, говорит: «стою перед вами, как блудный, отчудившийся, развратившийся сын перед оскорбленным гневным отцом»,—добрый папаша благодушно отвечает: «Напрасно боится, лично за меня всегда прощаю от глубины сердца» [1]).

Если Бакунин обманул ожидания Николая насчет «искренних» и «чистосердечных» показаний о других, зато он доставил своему духовнику много удовольствия своим покаянным тоном и разделкой «гнилого» Запада. Хитрец Бакунин знал чувствительные места «фельдфебеля в ботфортах».

Все самобичеванья Бакунина Николай с видимым удовольствием отмечает сбоку чертой или часто знаком нотабене. По поводу неожиданного сообщения Бакунина, что он еще в 1848 г., в разгар своей революционной деятельности, собирался писать царю (см. выше), Николай помечает: «жаль, что не прислал!» С чувством явного удовольствия Николай отчеркивает сбоку карандашом воспоминания Бакунина о благоговейной встрече царя юнкерами, а также следующую дальше похвалу «кающегося» революционера Николаю, который, посреди всеобщей катастрофы, один-де «сохранил веру в свое царское призвание» и пр.

---

[1]) В транскрипции Дубельта (всегда сопровождающей бессмертные изречения монарха) сказано: „напрасно бояться, личное на меня всегда прощаю“ и пр. Нам кажется, что мы прочли замечание Николая правильнее, чем Дубельт.

То место «Исповеди», где Бакунин переходит к изложению вопроса о революционной пропаганде в России, отмечено у Николая сбоку каким-то особым знаком, в виде крючка (может быть, это особое указание III Отделению). Сообщение Бакунина о неудаче его пропаганды среди русских туристов за границей удовлетворенно отмечено знаком, нотабене, дважды подчеркнутым от избытка чувства. Но в общем это место «Исповеди», как мы знаем, не понравилось царю, который ждал от Бакунина более конкретных указаний и прямого предательства.

Более понравилось ему то, что Бакунин писал о Западе, хотя и здесь кое-что пришлось Николаю не по душе. Так, восторженный отзыв Бакунина о парижских рабочих («мои благородные увриеры») явно не понравился царю, который, подчеркнув эти слова, сбоку поставил недоуменно-негодующее нотабене с знаком вопроса. В остальном же характеристика, данная Бакуниным положению дел в Европе, заслужила высочайшее одобрение.

Когда Бакунин говорит, что в Европе везде царит дряхлость, слабость, безверие и разврат, Николай отмечает: «разительная истинна». Слова Бакунина о том, что «неопределенный, невидимый коммунизм», разлитый якобы повсюду среди господствующих классов, опаснее другого (т.-е. распространенного среди революционных рабочих), Николай спешит подтвердить царской резолюцией: «Правда». А при чтении слов Бакунина о том, что «Франкфуртское (Национальное) Собрание вышло из бунта» и пр., Николай не в состоянии сдержать восклицания: «прекрасно!»

Смертельно боясь европейской революции 1848 г., Николай в то же время рассчитывал использовать ее в интересах самодержавия. В частности он надеялся использовать революционные потрясения в Германии и Австрии в интересах панславизма (в его официально-казенном понимании). Поэтому он с удовольствием подчеркивает все те места «Исповеди» в которых Бакунин разделывал под орех немцев. Против слов Бакунина: «В немцах преобладает анархия. Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия есть основная черта немецкого ума»— Николай замечает: «разительная истинна» и пониже ставит два восклицательных знака. А в конце указанного абзаца, где говорится о том, что политическое единство Германии невозможно вследствие этой анархии, Николай ставит даже целых три восклицательных знака. Он отмечает на полях словом «правда» заявление Бакунина о том, что мелкое соперничество мешало об'едине-

нию немецких демократов и либералов, увлекаясь констатированием приятной ему германской разрозненности настолько, что как бы выражает сожаление о ее возможном конце. Знаком нотабене сопровождает он данное Бакуниным описание неурядицы, царившей в дрезденском восстании, и, дойдя до слов Бакунина, что «немцы (ему) вдруг опротивели» (за отношение к славянам), Николай поучительно замечает: «пора было!» [1]).

Мы видим таким образом, что Бакунин рассчитал верно и что своими выпадами в германофобском и панславистском духе он стяжал одобрение и благоволение царя. Но это отнюдь не значит, чтобы Николай сочувствовал той революционной форме панславизма, которую ему придал Бакунин, или же склонялся к рекомендуемому Бакуниным революционному методу об'единения славян под скипетром русского царя. На слова Бакунина, что все славяне устремились бы под сень русского орла и единодушно выступили бы против немцев, если бы русский царь согласился возглавить их движение, Николай замечает: «не сомневаюсь, т.-е. (если) я бы стал в голову революции славянским Mazaniello [2]); спасибо!» От такой рискованной чести Николай отказывается.

В общем впечатление Николая от «Исповеди» Бакунина выражено в его надписи в начале рукописи: «Стоит тебе (наследнику, будущему Императору Александру II.—*Ю. С.)* прочесть, весьма любопытно и поучительно» [3]).

Бакунин закончил свою «Исповедь» к 15 сентября 1851 г.: значит, он писал ее свыше двух месяцев. После прочтения ее Николаем I она дана была на прочтение наследнику (вероятно, для ознакомления с основами «славянской политики»), а затем послана наместнику Царства Польского Паскевичу, очевидно, для полицейских разысканий в области польской «крамолы» (хотя никаких особенных материалов «Исповедь» Бакунина для этого не дает).

В «Деле» III Отделения о Бакунине (ч. 2, стр. 110) имеется письмо Чернышева, которому гр. Орлов, по приказу Николая, так-

---

[1]) Между прочим, против того места, где Бакунин живописует прелести свободной жизни в „Ангальт-Кетенском царстве". Николай поставил сбоку нотабене (вероятно, для сношений с прусской полицией на предмет принятия соответствующих мер или же для поучения собственной полиции на всякий случай).

[2]) Мазаниелло—вождь неаполитанского восстания в 1647 году.

[3]) Последняя надпись Николая в конце рукописи гласит: „На свидание с отцом и сестрой согласен,—в присутствии Г. Набокова".

же послал «Исповедь» для ознакомления. Судя по концу письма, Николай запрашивал мнения своих верных слуг насчет того, как быть с Бакуниным. А Чернышев мог считаться специалистом по определению степени «чистосердечного раскаяния» и настроения политических преступников: ведь он в свое время был еще одним из членов следственной комиссии по делу декабристов. И он вспоминает об этой странице своей жизни в письме, когда сопоставляет «Исповедь» Бакунина с показаниями Пестеля. Вот что пишет Орлову Чернышев, занимавший в рассматриваемый момент пост председателя Государственного Совета (26 декабря 1851 года):

«Дорогой граф, я крайне смущен тем, что так долго задерживал об'емистую «Исповедь», которую Вы мне передали по повелению Его Величества. Чтение ее произвело на меня чрезвычайно тягостное впечатление. Раз заговорило самолюбие, то уж ни ум, ни способности не в состоянии удержать от самых беспорядочных, а значит, и преступных увлечений воображения. Я нашел полное сходство между «Исповедью» и показаниями Пестеля печальной памяти, данными в 1825 году: то же самодовольное перечисление всех возрений, враждебных всякому общественному порядку, то же тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых нелепых планов и проектов; но ни тени серьезного возврата к принципам верноподданного—скажу более, христианина и истинно русского человека. Мне кажется, что при таком положении вещей было бы весьма опасно предоставлять неограниченную свободу человеку, который, к несчастью, не лишен ни смелости, ни ловкости. Какая жалость, что он дает им подобное применение!» [1]).

4. В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ.

Бакунин был оставлен в Петропавловской крепости. Это было полным беззаконием даже с точки зрения николаевской России. Посадить его туда в качестве подследственного заключенного еще можно было, но заточить его на долгие годы без суда и судебного приговора было несколько сильно даже для Николая I. Правда, имелось сенатское решение от 1844 года о лишении Бакунина прав состояния и о ссылке его в Сибирь в случае возвращения. Но, во-первых, это решение, по которому Бакунин был осужден заочно, должно было быть пересмотрено в виду его явки,

---

[1]) Письмо написано по-французски; мы даем его в переводе.

правда, недобровольной. Во-вторых, старое сенатское решение основывалось на обвинении Бакунина в отказе подчиниться распоряжению правительства о возвращении его в Россию, тогда как теперь против него выдвинуты были новые обвинения в революционной деятельности за границей и в планах революционного переворота в России. А, в-третьих, старое сенатское решение говорило о ссылке его в Сибирь, а не об одиночном заключении в крепости. Таким образом, Бакунин был посажен в крепость бессрочно и притом путем административного распоряжения. Но в николаевской России [1]) такие проявления беззакония были настолько обычны, что не только само правительство, но и жертва его не заметили всей незаконности этого распоряжения. По крайней мере, никогда Бакунин ни во время своего заключения и ссылки, ни после своего освобождения не протестовал против этого произвольного акта, который, повидимому, представлялся ему чем-то естественным.

Николай разрешил Бакунину просимое свидание [2]).

Слухи о Мишеле доходили до его родных и раньше, правда, в весьма смутной форме. После 1845 года сношения с ним, повидимому, прервались. Родные знали, что Мишель во время февральской революции был в Париже (повидимому, они думали, что он находился там и в первые дни революции), и очень беспокоились за его судьбу. В октябре 1851 года они получили о нем, на-

---

[1]) Да и вообще в царской России. Так, при Николае I большинство узников Шлиссельбургской крепости сидело там по административному распоряжению (и в течение многих лет). „Либеральный“ Александр II заключил в Шлиссельбург М. Бейдемана навсегда. При Александре III туда же был без суда посажен Лаговский (сначала на 5, а затем на новые 5 лет). При нем же был сослан на 20 лет административно в Сибирь Тырков, метальщик во время 1 марта 1881 года. Ссылка в административном порядке на 5 — 10 лет была явлением обычным.

[2]) В справке, составленной III Отделением в связи с подачею матерью Бакунина просьбы мин. ин. дел Горчакову о прощении ее сына (об этом ниже), про впечатление, произведенное „Исповедью“ на царя, говорится: „Его Величество, найдя письмо Бакунина („Исповедь“) заслуживающим внимания и поучительным, изволил передавать оное для прочтения царствующему ныне Государю Императору (т.-е. Александру II, бывшему тогда наследником. — *Ю. С.*) и всемилостивейше разрешил Бакунину видеться с его родными“. Итак, жандармерия усмотрела-таки в „Исповеди“ Бакунина начало покаяния и ввиду этого предоставила ему, если и не освобождение из крепости, как он добивался, то целый ряд льгот, по тому времени и на жандармский взгляд необычных („Дело“ Бакунина, часть 2).

конец, определенные сведения: граф Орлов официально уведомил старика Бакунина, о том, что сын его находится в Петропавловской крепости, и что ему разрешено свидание с отцом и с сестрою Татьяною.

Судя по письму Павла Бакунина к сестре Татьяне из Киева от 23 ноября 1851 года, слухи о пребывании Мишеля в крепости распространились и раньше (именно в сентябре). Замечательно, что и об «Исповеди» тоже каким-то образом в публику проникли слухи. По крайней мере, друг Алексея Бакунина, Н. А. Елагин, осенью 1851 года сообщал ему следующую «выписку из письма к Катерине Ивановне[1]) от ее придворной кузины»: «Твой прежний знакомый, брат Дьяковой, живет здесь, на самом берегу Невы, и пишет теперь свои записки, разумеется, не для печати, но для государя. Он весьма умно поправляет свои дела, увертлив как змейка; из самых трудных обстоятельств выпутывается где насмешками над немцами, где чистосердечным раскаянием, где восторженными похвалами. Нечего сказать, умен». С своей стороны, Алексей Бакунин сообщал брату в письме от 23 ноября 1851 г., что Михаил «писал подробно к государю о своей жизни, не компрометируя однако же никого из своих заграничных участников». Мы видим таким образом, что какими-то путями стал известен не только самый факт написания «Исповеди», но и довольно точное ее содержание. Повидимому, это событие произвело на придворные сферы сильное впечатление, и о нем в этих кругах много говорили.

Теперь, когда Мишель очутился в таком бедственном положении, у родных снова проснулись к нему нежные чувства. Даже старики, до тех пор косо смотревшие на старшего сына, обманувшего их надежды, и видевшие в нем отрезанный ломоть, теперь смягчились. «Отец все простил Мише,—сообщает Татьяна 27 ноября 1851 г.;—и он, и маменька говорят о нем с полною нежностью». Алексей выражает уверенность, что старший брат, некогда об'единявший всею семью, вернется к ним, «он будет нам возвращен, краеугольный камень нашего дома, без которого семья наша расползлась во все стороны». А Павел, признавая, что мир Мишеля ему чужд и непонятен, все же сознает величие старшего брата и невольно преклоняется перед ним, характеризуя его следующими удачными словами: «Им двигали железные обстоятель-

---

[1]) Не есть ли это тетка Бакунина, Ек. Ив. Полторацкая?

ства и страсти. Он был огнем в полыме». И дальше он говорит про Михаила и покойную сестру Любашу: «Они оба были наше любимое. В них мы любили красоту и энергию дома нашего. Они были лучшее, что у нас было» [1]).

Однако отец Бакунина не мог воспользоваться разрешением на свидание с сыном. Ему в то время исполнилось 84 года, он совершенно ослеп и в дальний путь пуститься не мог. Сообщая о невозможности для него лично приехать в Петербург, старик просил вместо него допустить на свидание с Михаилом сына Николая, за политическую благонадежность которого вполне ручался. Свидание Бакунина с сестрой Татьяной и братом Николаем состоялось 28 октября 1851 года в присутствии коменданта Петропавловской крепости Набокова [2]). Второе свидание с Татьяной Бакунин имел в июле 1852 г., а третье в январе 1854 года с Татьяной и братом Павлом [3]). В других свиданиях ему было отказано. Следовательно, за три года Бакунин только три раза виделся с родными, так что в этом отношении «гуманные» жандармы не очень-то его баловали.

В декабре 1851 года мать написала Бакунину письмо через III Отделение; в январе Бакунин написал ответ, который был прочтен лично царем (!) и разрешен к отправке. Вот это первое письмо Бакунина к родным, которое весьма характерно для его тогдашнего настроения и в которое он сознательно включил покаянные нотки, продолжая свою тактику дурачения врага:

«Любезные родители и вы, милые братья и сестры! Мне позволили отвечать Вам. После стольких лет разлуки, молчанья, хоть и не забвенья, после всех происшествий, приведших меня моею собственною виною в настоящее положение, лишивших меня решительно всякой надежды когда бы то либо возобновить с Вами семейные, сердечные отношения,—такое позволение для меня великая милость и великое счастье. Благодарю Вас, добрые родители, благодарю Вас от глубокого сердца за ваше прощение, за ваше родительское благословение, благодарю вас за то, что вы приняли меня, вашего блудного сына, что вы приняли меня вновь в свой

---

[1]) Письмо к сестре Татьяне от 23 ноября 1851 года.

[2]) Этот генерал Набоков приходился Бакуниным дальним родственником. Он умер в апреле 1852 г. Преемником его был назначен ген. Мандерштерн, который, повидимому, тоже относился недурно к Бакунину.

[3]) В этот раз Бакунин добился трех свиданий с родными.

семейный мир и в семейную дружбу. Свидание с Татьяной и братом Николаем возвратило мне мир и теплоту сердца; оно перестало быть равнодушным и тяжелым как камень, оно ожило, и я не могу теперь жаловаться на свое положение; я теперь живу хоть и грустно, но несчастливо[1]); беспрестанно думаю о Вас и радуюсь, зная, что в семействе нашем царствует мир, любовь и счастье. Свиданье мое с братом и сестрою было недолговременно, но достаточно, чтобы убедить меня, что Николай—добрая, верная и крепкая опора для всех близких, добрый сын, добрый брат, добрый муж и отец и хороший хозяин, что он соединяет в себе, одним словом, все те главные качества и достоинства, которые делают человека человеком; это успокоило меня насчет всех Вас и утешило несколько угрызения моей совести, которая часто напоминает мне, что я совсем не умел исполнить священных обязанностей; мои заблуждения, по крайней мере, не принесли никому кроме меня никакого вреда,—вот мне утешенье. (Дальше письмо написано по-французски; мы даем перевод). Я читал и перечитывал те несколько слов, которые велел мне передать отец, и я глубокими чертами записал их в моем сердце. Да сохранит нам его Господь надолго[2]); я не могу и не должен надеяться снова свидеться с ним когда-нибудь, но знать, что он живет среди вас, это такое счастье, за которое я готов отдать свою жизнь. Что касается Вас, дорогая матушка, спасибо, спасибо Вам за то, что Вы хотели приехать; я причинил Вам много зла, и я живо чувствую, сколько великодушия и любви содержится в Вашем прощении,—я чувствую себя достойным его, по крайней мере, по тому, что чувствую к Вам; чувства—вот единственная монета, которой я могу еще располагать, так как дела теперь для меня недоступны. Пожалуйста, пишите мне так часто, как это будет позволено, и сообщайте мне о мельчайших происшествиях вашей семейной жизни: нет скучных подробностей, если они касаются любимых людей. Мои письма будут короче в виду крайнего однообразия моей жизни, не дающей материала для длинных описаний, а время, когда я любил вдаваться в бесконечные рассуждения, давно прошло. Дорогая матушка, еще просьба: избегайте говорить о на-

---

[1]) Здесь, видимо, по смыслу должно бы быть „но не несчастливо“.

[2]) Такие выражения в переписке Бакунина, несколько неожиданные в его устах, следует запомнить, чтобы понять, откуда возник впоследствии слух, будто Бакунин в крепости стал христианином (см. ниже выдержку из писем Герцена к Мейзенбуг и к Фохту).

шей переписке безразличным людям; думаю, что для вас и для меня будет лучше, если за исключением небольшого числа людей, сердечно интересующихся мною, мир совершенно забудет про мое существование. Ты, Татьяна, будешь писать мне чаще всех, я знаю, *ведь ты моя крепостная* [1]); Николай не напишет мне ни строки, он лентяй, это его бесспорное право, приобретенное давностью и общепризнанное. Но вы, остальные братья и сестры, а также моя свояченица Анюта, пишите мне по нескольку строк, хотя бы для того, чтобы я мог видеть ваши успехи в калиграфии. Мое письмо покажет вам, что я-то никаких успехов в этой области не сделал.

Прощайте, прощайте! Ваш сын, брат и друг
М. Бакунин» [2]).

Второе письмо Бакунина, написанное по-русски и по-французски и отличавшееся большими размерами (свыше печатного листа), было уже задержано, при чем узнику поставлено на вид, что писать можно кратко и только о здоровье.

Это задержанное письмо Бакунина полно выражений раскаяния в своих прошлых грехах. Этими заявлениями Бакунин мог преследовать специфические цели, например, успокоить престарелых родителей или довести о своих покаянных чувствах до сведения читавших его письма жандармов, чтобы таким путем добиться желаемой свободы. Но нужно сказать, что Бакунин в этом отношении несколько пересаливал и, главное, совершенно напрасно: на жандармов его тон ничуть не подействовал.

Утешая брата Николая, у которого умер ребенок, Бакунин между прочим замечает: «Ты легко поверишь мне, когда я скажу, что я охотно отдал бы свою бесполезную жизнь, если бы мог выкупить ею жизнь твоего ребенка». Несколько раз он насмешливо проходится насчет немецкой философии, против которой он имел особенный зуб, повидимому, признавая ее первоисточником всех своих злоключений. Говоря по поводу брата Александра, который в семье считался горячим поклонником «немецкой метафизики», Бакунин замечает, что это, вероятно, он и оставил брату это «печальное наследство», но спешит успокоить жену Александра, что немецкая философия не может быть серьезной соперницей

---

[1]) Подчеркнутые слова написаны по-русски в оригинале. Татьяна, как мы знаем, была любимой сестрой Бакунина.

[2]) Подчеркнутые слова написаны по-русски в оригинале.

«очаровательной реальности с большими изумрудными очами» [1]), и прибавляет: «Что же касается меня, то все, что я приобрел от продолжительного изучения философии, это—глубокое отвращение ко всему абстрактному, и мои философские мечтания закончились не в сладкой области любви, а в узкой тюремной камере».

Уговаривая семейного брата не заниматься абстракциями, Бакунин называет свою жизнь фантазией и безумием, неизбежно влекущими за собою кару, как об этом свидетельствует-де его судьба. И далее он дает брату ряд советов, носящих вместе с тем характер самобичевания:

«Блюди за собой, но не мучь ни себя, ни ее (жену) пустыми страхами, фантазиями; недоверье к себе, беспрестанное углубление и, прости выраженье, оно грубо, но живописно и верно, беспрестанное ковырянье в своей душе, в своих мыслях, в своих ощущениях так же вредно, чуть ли даже не вреднее легковерной и слепой самоуверенности. Блюди только себя от эгоизма, от эгоизма в сердце, в уме, а пуще всего от эгоизма в привычках»...

«Будь всегда прям, искренен, честен, но не доводи никогда искренность до грубости; не только промолчать иногда о том, что считаешь истиной, но и исказить эту истину подчас бывает более человечно, деликатно, а следовательно, правдиво, чем грубо и бесцеремонно высказать правду; педанты истины все тщеславны, они делают палаческое дело и вреднее лжецов, ибо правда является живой и истинной только тогда, когда идет как из головы, так и из сердца, когда она соответствует людям и обстоятельствам, настроениям момента, и особенно, когда она свободна от всякой суетности... Будь же реальным человеком на реальной почве». И советуя брату заняться сельским хозяйством и агрономической наукой, Бакунин заключает: «Теоретическое изучение этой науки,

---

[1]) Что в глухой камере Алексеевского равелина Бакунин придавал „изумрудным очам“ такое значение, это по человечеству понятно. Видение этих очей настолько его поразило, что к этой теме он возвращался не раз. „Поверь мне, Александр,—пишет он через несколько страниц,—в тысячу раз лучше быть целостным человеком (un homme complet), т.-е. жить, любить и действовать, чем быть метафизиком или мечтателем и гоняться за китайскими тенями. Уверяю тебя, одна искорка этих прекрасных, знакомых тебе, изумрудных очей в тысячу раз ценнее и содержит в тысячу раз больше сокровищ и живого, истинного знания, чем вся Александрийская библиотека, сожженная, как тебе известно, одним мусульманским филантропом“.

обнимающей столько других, даст тебе, несомненно, в тысячу раз более действительного, живого, утешительного знания, чем вся немецкая философия, взятая вместе, последнее слово которой, равно как и последнее слово всякой метафизики, есть слово Montaigne: «Que sais-je?» [1]).

«Ты не философ, но и я не философ, в чем я убедился, к несчастью, несколько поздно... Для того, чтобы мой печальный опыт не совсем пропал для тебя (если только опыт одного человека может пригодиться другому), я хотел бы еще указать тебе несколько опасностей, которых я не сумел избежать. Абстрактные умы в роде наших настолько поглощены собственными мыслями, что мы, подобно шахматистам, не видящим ничего, кроме своей игры, не обращаем никакого внимания ни на то, что совершается в действительном мире, ни на мысли, чувства и впечатления окружающих нас людей. Отсюда, во-первых, вытекает то, что мы составляем себе массу ложных идей: человек никогда не бывает так глуп, как тогда, когда он думает только про себя; но, что еще хуже, мы ежеминутно, сами того не желая, задеваем и оскорбляем массу людей и превращаем их в наших врагов. Такова моя история; *ты помнишь, ведь я был в Прямухине пугалом для всех чужих*» [2]). И, обращаясь затем к брату Илье, Бакунин говорит: «Я сижу за грехи или, лучше сказать, торчу здесь как столп с предостерегательной надписью: «не ходи по этой дороге» [3]).

В своем деланном смирении Бакунин договаривается *до оправдания крепостного права.* Уговаривая брата Александра заняться хозяйством, он пускается в такие рассуждения: «С сельским хозяйством неразрывно связано еще другое великое и святое дело: попечение о благе крестьян. Великая собственность везде налагает священную обязанность печься о неимущих, но нигде так, как в России, где помещик, обладая землею, обладает также отчасти и волею обрабатывающих ее людей [4]). И я полагаю, что по духу наших учреждений эта привилегия не должна рассматриваться ни как синекура, ни как источник обогащения, но как публичная функция, как своего рода служение, политическое и вместе с тем

---

[1]) Монтень (философ-скептик). Приведенные его слова означают: „Как знать“?

[2]) Подчеркнутые слова в оригинале по-русски; остальное по-французски.

[3]) Эта фраза написана по-русски.

[4]) Дальше в подлиннике по-французски; мы даем перевод.

моральное, почти религиозное, временно возложенное правительством на дворян-помещиков скорее в качестве долга, чем права,— долга, который честно и добросовестно выполняется, к сожалению, очень немногими помещиками». Таким образом, Бакунин приводит в оправдание крепостного права те самые аргументы, которыми «идейные» рабовладельцы везде и всегда оправдывали как рабство негров, так и рабство крепостных крестьян.

Более того, в том же письме Бакунин доходит до *восхваления телесных наказаний крестьян.* Так, он советует брату Александру время от времени сечь мужиков для их же пользы и во имя богини справедливости. Увы, мы не шутим. Вот что говорит Бакунин: «Хотя я и не большой поклонник телесных наказаний, но я полагаю, что пока еще они, к сожалению, очень нужны. Вели же, милый друг, сечь, вели сечь, но сам не секи никогда: это мерзко. И наказывай всегда так, чтобы крестьяне были глубоко убеждены в справедливости понесенного наказания. Когда они убедятся, что ты справедлив, когда увидят, что ты добр и вместе с тем решителен, они, в конце концов, станут тебя уважать, а затем и любить, и тогда ты сможешь делать с ними все, что захочешь». Если даже допустить, что все это говорилось неискренне (хотя кто в данном случае тянул его за язык?), то во всяком случае приходится признать, что и в притворстве Бакунин не знал пределов и пересаливал без всякой надобности.

Заключительный аккорд письма дается обращением блудного сына к родителям, которых он просит принять его духовно под отчий кров.

«Я не знаю,—пишет Бакунин,—где найти выраженья для того, чтобы выразить всю мою горячую благодарность за Вашу любовь; она мое утешенье, моя опора, моя сила, мое счастье; да, в самом деле счастье, я был счастлив, вполне счастлив, когда читал ваши письма. Вы хотите, батюшка, чтобы я занялся переводом; я не думаю, чтобы это было возможно;—да сказать ли Вам правду, оно стыдно, но прежде всего должно быть откровенным: во мне умер нерв деятельности, всякая охота к предприятиям, я сказал бы, всякая охота к жизни, если бы не нашел новую жизнь в Вас; я не унываю, но также и ничего не надеюсь, у меня нет ни цели, ни будущности, я не жил бы, если бы не жил Вашею жизнью. Когда я не думаю о Вас, я стараюсь совсем не думать, мысли слишком мучают и гнетут меня поздним и бесплодным сожалением прошедшего, поздним раскаянием—я курю цигаретки, читаю романы и расска-

зываю себе сказки [1]). Это до известной степени жизнь курильщика опиума, вечный сон, иногда дурной сон потерпевшего крушение Дон-Кихота, иногда фантастический сон в духе Гофмана, за которым, к великому для меня счастью, довольно часто следует живая и благодетельная беседа с Вами, всегда оживляющая меня и возвращающая меня к сознанию действительности [2]). Вот вся моя история в коротких словах; но не упрекайте меня ни в унынии, ни в ропоте, мои любезные родители; я, право, не унываю и креплюсь посильно; что же касается до ропота, то я должен бы быть дураком или сумасшедшим, если бы считал себя в праве роптать. Я должен бы был быть совсем деревянным, иметь каменное сердце, чтобы не чувствовать глубокой, искренней благодарности к тому, который, вместо того, чтобы казнить меня по закону,—а я знаю, что я заслужил по законам,—передал меня в руки одного из добрейших людей в России [3]). Сознаюсь, что, когда я сидел в крепости за границей, я больше всего, гораздо больше, чем смерти, боялся быть переведенным в Россию; так вот, то, что я считал величайшим несчастьем, становится для меня счастьем, истинным счастьем; не говоря уже о данном мне разрешении переписываться с Вами, нигде я не встречал такого гуманного обращения, такой деликатной доброты. Я решительно ни в чем не нуждаюсь; я живу здесь как бы в семейной обстановке. Вы знаете генерала, поэтому я говорить о нем не стану. Но все прекрасно ко мне относятся, начиная с капитана, ежедневно наведывающегося ко мне по нескольку раз, и вплоть до последнего солдата. Капитан—это превосходнейшая и оригинальнейшая натура, какую только можно встретить; вечно с веселым словцом в запасе, и хотя без большого образования, но с той сердечной добротой, которая и составляет истинную тонкость. Не печальтесь же слишком о моей участи, дорогие родители, я имею гораздо меньше того, что я заслужил; позвольте мне по-прежнему предаваться своим фантастическим мечтам и сосредоточить то, что во мне осталось от жизни, способностей и действительности, на Вас и на Вашем семейном благополучии...

«Повторяю, дорогие родители, не горюйте обо мне. Уверяю Вас, что я не несчастен; я спокоен, я совершенно смирился, а когда думаю о Вас, то и совсем счастлив. Я счастлив. Я счастлив сознанием права называться теперь Вашим сыном и пользоваться долею

---

[1]) Дальше письмо писано по-французски; мы даем перевод.
[2]) Дальше в оригинале снова по-русски.
[3]) Отсюда снова по-французски; приводим в переводе.

в Вашей любви; сердце мое и дух очистились в одиночестве; клянусь Вам, у меня не осталось ни одной дурной мысли в голове, ни одного дурного чувства в сердце; я преисполнен любви к Вам и признательности к Тому, кому я обязан признательностью [1]). Клянусь, что если бы мне сейчас предложили свободу на условии снова начать мою прежнюю жизнь блуждающего огонька, во-время прерванную еще слишком счастливо для меня, я не согласился бы на это. Вы можете поэтому вполне спокойно назвать меня Вашим сыном и другом».

Несмотря на задержание второго письма Мишеля, переписка его с домашними все же завязалась, но в апреле 1853 г. Бакунину и семье его было указано, что писать нужно меньше и разборчивее.

Мы уже знаем, что в письмах Бакунина из крепости звучали покаянные нотки. Он издевается в письмах над своей прошлой деятельностью, вздыхает о мирном житии, предостерегает братьев и сестер от следования его пагубному примеру, восхваляет царя и его слуг, пускается в патриотические излияния. В стремлении доказать свою благонадежность Бакунин дошел до того, что, как сам сообщает в письме от 22 апреля 1853 года, «на последней неделе Великого поста говел и приобщался». Но было бы ошибкой придавать этому наружному покаянию Бакунина какое-либо серьезное значение. Он здесь продолжал ту же тактику, какую начал своею «Исповедью», играл ту же комедию в расчете перехитрить своих врагов, убедить их в искренности своего перерождения и таким путем добиться желанной свободы.

Что на самом деле Бакунин в глубине души оставался верен своему революционному прошлому, что его настроение и чаяния не изменились, несмотря на банкротство его революционных предприятий и на тяжкое тюремное заключение, видно из тех записок, которые он тайком и с громадным риском передал сестре Татьяне во время свидания в январе 1854 года, т.-е. после «Исповеди», после «покаянных» писем, после говения и «приобщения св. таин». Нужно вдобавок заметить, что к этому времени здоровье Бакунина в результате тюремного сидения успело уже основательно пошатнуться [2]), и нас еще более поразит сила духа этого человека, рево-

---

[1]) Опять кивок в сторону Николая I.

[2]) В письме Павла Бакунина от 9 февраля 1854 года, описывающем свидание его с братом, рассказывается о том, что у Михаила была распухшая щека и выпали почти все передние зубы. Это значит, что уже тогда цынга оказала на него свое разрушительное действие.

люционера-одиночки, лишенного сочувствующей среды, но сумевшего в обстановке всеобщей жестокой реакции сохранить веру в революцию и готовность посвятить ей остаток своих сил и способностей.

Всех записок было три. Написаны они были на листках, вырванных из книги A. Rastoul de Mongeot—«Lamartine, poète, orateur, historien, homme d'état», Bruxelles, 1848, первые две — по-французски, а последняя по-русски. Вот что они гласили: [1])

I.

«Мои дорогие друзья! Я знаю, какой ужасной опасности я подвергаю Вас тем, что пишу это письмо. И все-таки я пишу его. Отсюда Вы можете заключить, как велика сделалась для меня необходимость об'ясниться с Вами и сказать, хотя бы один еще раз, несомненно последний в моей жизни, свободно, без принуждения то, что я чувствую, то, что я думаю. Я подвергну Вас риску в первый, но и в последний раз. Это письмо—моя крайняя и последняя попытка снова связаться с жизнью. Раз мое положение будет, как следует, выяснено, я буду знать, должен ли я еще ждать в надежде быть полезным согласно мыслям, какие я имел, согласно мыслям, какие я еще имею и какие всегда останутся моими, или же я должен умереть.

«Не обвиняйте меня ни в нетерпении, ни в слабости; это было бы несправедливо. Спросите лучше моего превосходного капитана, ныне майора—он Вам повторит то, что часто мне говорил: что редко он видел заключенного, столь рассудительного, столь мужественного, как я. Я всегда в хорошем настроении, я всегда смеюсь, а между тем двадцать раз в день я хотел бы умереть, настолько жизнь для меня стала тяжела. Я чувствую, что силы мои истощаются. Дух мой еще бодр, но плоть моя становится все немощнее. Вынужденные неподвижность и бездействие, отсутствие воздуха и особенно жестокая внутренняя мука, которую только заключенный в одиночке, подобно мне, может понять, и которая не дает мне покоя ни днем, ни ночью, развили во мне зачатки хро-

---

[1]) Но после того, как книга была написана. нам удалось раздобыть оригиналы этих записок. В том тексте их, который опубликован в книге А. Корнилова „Годы странствий“, имеются пропуски отдельных неразобранных им слов. Мы их восстановили. Русский перевод А. Корнилова исправлен нами согласно французскому тексту.

нической болезни, которую я, не будучи врачом, не могу определить, но которая каждый день дает мне себя чувствовать все более неприятным образом. Это, я думаю, геморрой, осложненный чем-то другим, мне неизвестным. Головная боль теперь у меня почти не прекращается; кровь моя бурлит и бросается мне в грудь и в голову и душит меня до того, что я целыми часами задыхаюсь, и почти всегда в ушах у меня стоит такой шум, какой производит кипящая вода. Два раза в день у меня обязательно жар: до полудня и вечером, а в продолжение всего остального дня меня мучит внутреннее недомогание, которое сжигает мое тело, туманит мне голову и, кажется, хочет меня медленно с'есть. Впрочем, вы меня увидите. Ты меня найдешь очень изменившимся, Татьяна, даже с того последнего раза, когда мы с тобой виделись. Только один раз я имел случай посмотреть на себя в зеркало и нашел себя ужасно безобразным. Это, впрочем, мало меня беспокоит. Я давно уже отказался от того, что старики вроде меня называют суетою, а молодые с гораздо большим основанием называют самою сущностью жизни. *Для меня остался один только интерес, один предмет поклонения и веры—Вы знаете, о чем я говорю,—и если я не могу жить для него, то я не хочу жить совсем.* Поэтому меня мало трогает мое безобразие. Меня мало трогала бы также эта болезнь, если б только она захотела унести меня поскорее. Я не желал бы ничего другого, как поскорее исчезнуть вместе с нею; но медленно ползти к могиле, по дороге тупея,—вот на что я не могу согласиться. Правда, в моральном отношении я еще крепок; моя голова ясна, несмотря на все боли, которые ее постоянно осаждают; воля моя, я надеюсь, никогда не сломится; сердце мое кажется каменным; но дайте мне возможность действовать, и оно выдержит. Никогда, мне кажется, у меня не было столько мыслей, никогда я не испытывал такой пламенной жажды движения и деятельности. Итак, я не совсем еще мертв; но та самая жизнь духа, которая, сосредоточившись в себе, *сделалась более глубокой, пожалуй, более могущественной, более желающей проявить себя*,—становится для меня неисчерпаемым источником страданий, которые я не пытаюсь даже описать. Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе во всякую минуту дня и ночи: я раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решатся самые важные мировые вопросы,—и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым. Быть богатым

мыслями, часть которых, по крайней мере, могла бы быть полезной—и не быть в состоянии осуществить ни одной; чувствовать любовь в сердце—да, любовь, несмотря на эту внешнюю окаменелость, и не быть в состоянии излить ее на что-нибудь или на кого-нибудь. Наконец, чувствовать себя *полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу*—и видеть, как все эти порывы разбиваются о четыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных! Вот моя жизнь! И все это еще ничего в сравнении с другою, еще более ужасною мыслью: с мыслью об идиотизме, который является неизбежным результатом подобного существования. Заприте самого великого гения в такую изолированную тюрьму, как моя, и через несколько лет вы увидите, что сам Наполеон отупеет, а сам Иисус Христос озлобится. Мне же, который не так велик, как Наполеон, и не так бесконечно добр, как Христос, понадобится гораздо менее времени, чтобы окончательно отупеть. Не правда ли, приятная перспектива? Я еще обладаю—и думаю, что не льщу себе—всеми своими умственными и нравственными способностями; но я знаю, что так это не может долго продолжаться. Мои физические силы уже очень надломлены; очередь моих нравственных сил не замедлит наступить. Вы, надеюсь, поймете, что всякий, мало-мальски уважающий себя, человек должен предпочесть самую ужасную смерть этой медленной и позорной агонии. Ах, мои дорогие друзья, поверьте, всякая смерть лучше этого одиночного заключения, столь восхваляемого американскими филантропами!

«Зачем я так долго ждал? Кто ответит на этот вопрос? Вы не знаете, насколько надежда стойка в сердце человека. Какая?—спросите вы меня. *Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большей мудростью и с большей предусмотрительностью, быть может,* ибо *тюрьма*, по крайней мере, тем была хороша для меня, что она дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, *укрепила мой разум, но она нисколько не изменила моих прежних убеждений, напротив, она сделала их более пламенными, более решительными, более безусловными, чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: свобода*» [1]).

---

[1]) Курсив везде мой.

II.

«Дорогая Татьяна! Останься, прошу тебя, в Петербурге так долго, как только можешь, постарайся видеть меня так часто, как только это возможно. Майор (прежде капитан, который продолжает превосходно относиться ко мне) мне сказал, что всецело будет зависеть от тебя видеть меня пять раз, если ты останешься две недели, и больше, если ты останешься дольше. Правда, что по закону, как говорят здесь, разрешается только одно свидание каждые две недели, но закон этот действителен только для жителей Петербурга, которые могут иметь 26 свиданий в год. Все зависит от генерала. Майор обещал мне раз'яснить ему обычный порядок в нашу пользу, когда будет запрошен, что и произойдет после того, как ты подашь генералу твое прошение. Генерал добр. Отложи же, пожалуйста, в сторону всякие церемонии и всякую застенчивость и скажи, напомни ему, что прошло уже больше полутора лет со времени нашего последнего свидания, и что пройдет, без сомнения, еще столько же времени, прежде чем ты приедешь снова свидеться со мной. Если ты слишком застенчива и провинциальна, чтобы сделать это сама, попроси Лизавету Ивановну переговорить с генералом вместо тебя. Но не говори ей ничего об этом письме, так как письмо это составляет важное политическое преступление. Что касается меня, то я надеюсь, что это будет наше последнее свидание здесь: или я буду скоро свободен, или умру. Вот почему я прошу тебя пожертвовать несколькими днями. Необходимо, чтобы ты помогла мне выяснить наше положение. Милая моя Татьяна, у меня нет в России других друзей кроме тебя и брата Николая. Все другие меня забыли, что же касается Вас двоих, то я надеюсь, что Вы по старой памяти еще немного любите меня. Но Вы впали в плачевную апатию и чисто христианское смирение. Вы сделали наверное несколько попыток, но испугались первой же неудачи и теперь возложили все упования только на Бога. Но я не христианин и не смиряюсь. Я сумею умереть, если будет нужно; смерть для меня будет счастьем и освобождением, но прежде я должен увериться в том, что всякая надежда выйти отсюда для меня потеряна. Ибо *я еще чувствую в себе силу служить моим убеждениям и моим идеям.* — Я тебе уже написал длинное письмо, но я его уничтожил, исключая первого листа, который тебе даст понятие о моем теперешнем положении. Остальное я тебе передам при нашем втором свидании.

«Как Вы, дорогие мои друзья, не подумали о том, что иметь книги, много книг, было бы громадным утешением и необходимой поддержкой в моем ужасном одиночестве, а также иметь в Петербурге какого-нибудь умного, симпатичного человека, который мог бы без опасности для себя приобщить меня к современной мировой жизни? О, в глубине души я часто и ужасно роптал на Вас.

«Но все это я об'ясню вам в моем следующем письме».

III.

«Моя милая девочка, я эгоист, все говорил тебе только о себе, а ты больна, ты измучена, и слова мои и письмо мое встревожат и замучают тебя совершенно. Милая девочка, сделаем условие, что ни ты, ни Павел не будете спать более, что не испугаетесь первых неудач, но, не предаваясь излишней и болезненной, боязненной хлопотливости, не муча себя разными мыслями, не оставите неиспытанным ни одного средства, не потеряете ни одного случая, который мог бы служить нам. Я ж с своей стороны, чувствуя, что мое милое премухинское провидение перестало спать, надеясь на тебя, Татьяна, надеясь теперь на Павла, как на каменную гору, обещаю Вам ждать спокойно, в уверенности, что когда дело об'яснится совершенно. *Вы сами скажете мне правду и дадите средства покончить с собою* [1]). Но, еще раз, я буду терпелив—мне теперь будет легче терпеть: я вас опять видел, и Вы опять согрели меня. Я тебя больше души моей люблю, Татьяна. И тебя, Павел, люблю всею старою любовью.

М. Б.

«Татьяна, взамен моего обещания я требую от тебя торжественно другого: пусть Павел свезет тебя к умному доктору. Кроме этого я обещаю Вам, если меня выпустят, пока отец жив, оставаться в спокойствии и ничего не предпринимать неправославного.

«Милая Татьяна, хотелось бы мне сказать тебе еще что-нибудь, чтобы оживить тебя. Я люблю тебя, я глубоко, глубоко люблю и уважаю тебя. Я несколько ревновал к твоему сыну,—пусть пока я здесь, и я буду твоим сыном, и потому приезжай опять поскорее. А Павел покамест ознакомится с Петербургом и узнает все пути к властям и влиятельным людям.

---

[1]) Курсив мой.

«*Наследник может быть весьма хорошим средством* [1]), и также может быть и гордо-чувствительная Марья Николаевна. *Пусть бы мне позволили написать письмо к Орлову* [2])—постарайтесь об этом, друзья; да, да, я непременно должен написать письмо графу Орлову,—лишь бы он только на это согласился. Cela ne l'engage à rien, quant à moi je serais alors presque certain du succès [3]). Нельзя ли устроить дело через Александра Максимовича, из'яснив ему мое положение, что я гнию здесь по-прежнему, а могу сделать себя полезным? Через несколько времени будет уже поздно.

«Ты, Павел, хоть и философ, ты все-таки мой».

Таковы эти интереснейшие документы, особенно первый и отчасти второй. Записки эти показывают нам, во-первых, что вера Бакунина в революцию и желание снова послужить ей были в нем чрезвычайно сильны [4]), а, во-вторых, что он твердо надеялся добиться выхода на свободу и готов был для достижения этой цели на всякие шаги, которые могли бы для этого понадобиться. И здесь сказались врожденные качества неутомимого агитатора. Он готов стучаться во все двери, испробовать все пути, испытать все средства, использовать всех подходящих для его цели людей, будь это шеф жандармов, наследник престола, знакомые и незнакомые, друзья и недруги. Он не дает своим

---

[1]) Курсив мой.

[2]) Курсив мой. Из этих слов можно заключить, что уже тогда Бакунин обдумывал тот шаг, который он решил применить в крайнем случае, т.-е. обращение к шефу жандармов и к царю с притворным раскаянием и просьбою о помиловании. Но прежде он, видимо, хотел испытать все другие, не столь унизительные и неприятные для него, пути.

[3]) „Это его ни к чему не обязывает,—что же касается меня, то я тогда почти уверен в успехе".

[4]) В третьей записке имеется фраза, содержащая как бы известное ограничение, добровольно налагаемое на себя Бакуниным в деле служения революции. А именно он дает там обещание родным, в случае своего освобождения, „оставаться в спокойствии и ничего не предпринимать неправославного" (т.-е. революционного), пока будет жив отец. Трудно сказать, исполнил ли бы Бакунин это обещание (не забудем, что отец его был в то время уже глубоким стариком, которому недолго оставалось жить), да и вообще было ли это обещание искренно. Не применил ли он в данном случае к своим родным ту тактику, какую считал допустимым применять в отношениях с другими людьми, и не имеем ли мы и здесь примера обещаний, которые он не считал себя нравственно обязанным соблюдать?

родным успокоиться, просит их проявить настойчивость, требует от них неустанных хлопот, увещевает, грозит, дает советы. Словом, видно, что, *сидя в своей одиночной камере, Бакунин являлся действительным центром, вдохновителем и инициатором всех шагов, которые предпринимались под его постоянным давлением и нажимом его родными, для того чтобы, так или иначе, в той или иной форме, на тех или иных условиях заставить железные двери тюрьмы распахнуться перед беспокойным узником.*

Этим хлопотам не суждено было скоро привести к желательному для Бакунина результату. Месяцы проходили за месяцами, а он все продолжал заживо гнить в тюрьме.

Зимой 1852—53 г. Бакунину из дома были присланы шлафрок на беличьем меху, панталоны и сапоги, которые были переданы ему после тщательного осмотра. Получал он иногда и книги. Так, в декабре 1852 г. ему были доставлены №№ 1—2 «Отечественных Записок», №№ 1—4 «Москвитянина» и №№ 1—2 «Библиотеки для чтения» за 1852 г. с приказанием по прочтении вернуть их в III Отделение (ясно, для того, чтобы убедиться, что на книгах узником не сделано никаких пометок). Кроме того, в равелине Бакунину давались французские и немецкие романы, научные книги (по математике, физике и геологии), а также газета «Русский Инвалид». Эти же издания предоставлялись ему впоследствии в Шлиссельбурге. Во время сидения в равелине Бакунину отпускались «кормовые» в размере 18 коп. серебр. в сутки. Эта сумма повышена была до 30 коп. в сутки после перевода его в Шлиссельбургскую крепость.

5. НОВАЯ ВСПЫШКА КЛЕВЕТЫ НА БАКУНИНА.

В то время, как Бакунин изнывал в Петропавловской крепости, имя его неожиданно снова было вытащено на столбцы прессы с оскорбительными для его политической чести комментариями. Клевета, пущенная на его счет в 1847 году во Франции и повторенная в 1848 году в Германии, теперь начала пускать ядовитые ростки и в Англии. Произошло это по следующему поводу.

Старый приятель Бакунина, эмигрант Иван Головин, проживавший тогда в Лондоне и сотрудничавший в английской газете «Morning Advertiser», поместил в ней 19 августа 1853 года статью о Николае I за подписью «Русский в Лондоне». В этой статье автор между прочим упомянул о Бакунине, на котором, по его

словам, Николай проявляет свою мстительность и которого томит в заключении согласно обещанию, данному им Австрии.

Эти слова И. Головина встретили неожиданный отклик. 23 августа 1853 г. за подписью Ф. М. в газете появилось следующее письмо в редакцию: «Одно обстоятельство, о котором упоминает Ваш корреспондент «Русский в Лондоне» в Вашей газете от 19 августа, заставляет меня усумниться в точности сведений, приводимых в этой статье. Автор говорит, что «теперь Николай удовлетворяет свою месть на Бакунине, которого он обязался перед Австрией держать в тюрьме». Так вот, я вообще имею основание думать, что Бакунин вовсе не сидит в тюрьме: он скорее служит в армии на Кавказе или находится на царской службе в турецких провинциях. Он—слишком ценное орудие, чтобы держать его в тюрьме. Царю стоило больших усилий спасти его от заслуженной казни, еще большего труда—освободить сначала из саксонской, а после из богемской крепости».

В пояснение этого, на первый взгляд, бреда сумасшедшего мы должны сказать следующее. Повидимому, в некоторых европейских кругах упорные стремления царского правительства заполучить в свои руки Бакунина об'яснялись как попытка царизма спасти от наказания своего агента. Возможно, что так истолковали эти усилия и австрийские чиновники, отлично знавшие, что царизм всюду имеет своих агентов, особенно среди славян. Панславистский характер бакунинской пропаганды мог поддерживать это предположение, в данном случае—в применении к Бакунину—совершенно нелепое, но вообще не столь уже лишенное основания. Автор письма в редакцию, скрывшийся за инициалами Ф. М., и выражал эту точку зрения, порожденную вполне законным подозрительным отношением к происках и козням царской дипломатии в Европе.

Отсюда был только один шаг до предположения, что Бакунин вовсе не сидит в тюрьме, а гуляет на свободе, или, вернее, продолжает нести свою службу царскому правительству. Как мы знаем, слухи о льготах, оказывавшихся Бакунину в крепости («льготах» весьма относительных, но в николаевскую эпоху все-таки казавшихся чем-то исключительным), проникали в публику. Туда же проникали и слухи о его «раскаянии»; известно, что распространились даже слухи, дошедшие и до заграничных друзей Бакунина, о том, что старый грешник вернулся в лоно

православной церкви и сделался чуть ли не пиэтистом [1]). Все это, как водится, преувеличивалось и постепенно искажалось до неузнаваемости, а, дойдя до недругов Бакунина или, точнее, до таких заклятых врагов царской политики, как английские консерваторы, дало основание легенде о покровительстве Николая I Бакунину, как своему верному слуге, который, дескать, своею мнимо-революционною, а по существу панславистскою деятельностью в Европе только служил видам царского правительства и выполнял его директивы. Отсюда один шаг до предположения, что Николай, добиваясь «освобождения» Бакунина из австрийских тюрем, хотел лишь дать ему новое назначение («в турецких провинциях»). В лучшем случае этими кругами допускалось, что Бакунин служит в кавказских войсках—гипотеза, также имевшая за себя многочисленные прецеденты, так как при Николае I политические преступники сплошь и рядом сдавались в солдаты или даже переводились офицерами в расположенные на окраинах, в частности на Кавказе, воинские части.

Как это ни странно, но в сущности на слухах аналогичного характера построено и утверждение И. Головина, выступавшего в защиту Бакунина. Ведь и Головин исходит как будто из абсурдного предположения, что Николай I держит Бакунина в заключении не по собственной охоте, а вследствие особого соглашения с Австрией. Выходило так, что царь отпустил бы, может быть, Бакунина на свободу, но не делает этого потому, что взял на себя известное обязательство перед австрийским правительством, для которого славянская пропаганда Бакунина была невыгодна. Замечательно, что такое предположение пользовалось широкой популярностью в России. Даже семья Бакунина [2]) верила в это, и именно такою уверенностью подсказано было прошение его матери, поданное 24 декабря 1856 года министру *иностранных* дел Горчакову (см. ниже «В Шлиссельбурге»). Друзья Бакунина не замечали, что такими предположениями они только дают пищу сплетням, представлявшим Бакунина в виде агента царского правительства или во всяком случае в виде че-

---

[1]) Не сыграло ли здесь некоторую роль говение Бакунина, о котором он писал своим родным, и которое могло стать известным публике от них или через крепостное начальство?

[2]) А может быть, и он сам, ибо Бакунин лично руководил хлопотами об его освобождении из крепости и диктовал родным содержание прошений, подававшихся ими по начальству.

ловека. бессознательно игравшего своею деятельностью в руку царизма. От этой гипотезы до нелепых обвинений, выдвинутых в письме Ф. М., был один только шаг[1]).

Друзья Бакунина—и в первую голову Герцен, проживавший тогда в Лондоне,—не могли, разумеется, оставить без возражения письмо Ф. М. На следующий день в той же газете появился, под заглавием «Русский агент Бакунин», протест, подписанный Головиным и Герценом, к которому присоединились Станислав Ворцель от имени Польского Демократического Комитета и глава итальянских республиканцев Маццини. Авторы протеста исходили из предположения, что клевета идет из *немецких* кругов, при чем ссылались на заметку, появившуюся в 1848 году в «Новой Рейнской Газете», и требовали, чтобы Ф. М. назвал себя.

Однако упрямый Ф. М. продолжал свою кампанию. В номере той же газеты «Morning Advertiser» от 27 августа он поместил, опять-таки под инициалами Ф. М., новое письмо в ответ на протест Головина и Герцена, проводя ту мысль, что русское правительство, само застрахованное-де от революционной опасности, всюду через своих агентов сеет семена революционных потрясений, которые затем использует в своих интересах.

Головин и Герцен, к которым снова присоединился Маццини, ответили ему в номере от 29 августа. Указывая на то, что защитники Бакунина называют себя, они предлагали обвинителю снять маску, намекая, что под инициалами Ф. М. скрывается некто, *вовсе так не называющийся*. Таким образом, Герцен здесь довольно недвусмысленно намекал уже на авторство К. Маркса, кладя этим начало легенде, которую он впоследствии создал и пустил гулять по свету.

Полемика разрасталась. 31 августа в газете помещен был протест Арнольда Руге, 2 сентября в ней напечатано было следующее письмо К. Маркса в редакцию:

«Господа Герцен и Головин впутали в завязавшуюся между ними и Ф. М. по поводу личности Бакунина полемику издававшуюся мною в 1848—49 г.г. «Новую Рейнскую Газету». Они рассказывают английской публике, что клевета против Бакунина имеет

---

[1]) Юлий Фребель, бывший приятель Бакунина по Цюриху, к 50-м годам ставший ренегатом, рассказывает в своих воспоминаниях, будто ему удалось как-то выведать у подвыпивших Герцена и Огарева, что тюремное заключение Бакунина было фиктивным. Это, конечно, вздор, но это показывает, что такие слухи в известных кругах шли.

своим исходным пунктом эту газету, которая даже «посмела» сослаться на свидетельство Жорж Занд. Я не придаю никакого значения инсинуациям Герцена и Головина. Но так как это может послужить к выяснению вопроса о личности Бакунина, то Вы позволите мне изложить здесь действительные факты.

«5 июля 1848 года «Новая Рейнская Газета» получила два письма из Парижа. Одно письмо—литографированная корреспонденция агентства Гаваса, другое—частное сообщение одного *польского эмигранта* [1]), не имевшего ничего общего с первым источником. Оба утверждали, что Жорж Занд имела в своем распоряжении бумаги, которые доказывали, что Бакунин недавно вошел в сношения с русским правительством. «Новая Рейнская Газета» опубликовала 6 июля письмо своего парижского корреспондента.

«Бакунин с своей стороны заявил в «Новой Одерской Газете», что еще *до появления* парижской корреспонденции в «Новой Рейнской Газете» такие слухи тайно циркулировали в Бреславле, что они шли из русского посольства, и что он лучше всего может ответить на них апелляцией к Жорж Занд.

«Его письмо к последней было опубликовано одновременно с его заявлением. Как то, так и другое были сейчас же опубликованы в «Новой Рейнской Газете» («Neue Rheinische Zeitung», июль 1848 г.).

«3 августа 1848 г. «Новая Рейнская Газета» получила через Косцельского от Бакунина письмо Жорж Занд, адресованное редакции, которое было напечатано в тот же день со следующими сопроводительными замечаниями (следует текст, приведенный нами выше в части третьей: 4.—*Снова клевета*).

«В конце августа я был проездом в Берлине, встретился там с Бакуниным и возобновил тесную дружбу с ним, которая нас связывала до взрыва февральской революции.

«В № от 13 декабря 1848 г. «Новая Рейнская Газета» напала на прусское министерство за то, что оно изгнало Бакунина и пригрозило ему выдачей России, если он осмелится еще раз вернуться в Пруссию.

«В № от 14 февраля 1849 г. «Новая Рейнская Газета» поместила передовую статью о брошюре Бакунина «Воззвание к славянам». Статья эта начиналась следующими словами: «*Бакунин*—

---

[1]) Курсив мой. Ср. все, что я выше говорил о зарождении клеветы против Бакунина среди *польской демократической эмиграции*.

наш друг, но это не должно удержать нас от строгой критики его брошюры».

«В моих письмах в «Нью-Иоркскую Трибуну» о «Революции и контр-революции в Германии» я, насколько мне известно, был первым немецким писателем, который воздал Бакунину должную справедливость за его участие в нашей революции и особенно в дрезденском восстании. Вместе с тем я выразил свое негодование и против немецкой прессы, и против немецкого народа за тот крайне трусливый способ, каким они выдали Бакунина его и своим врагам.

«Так как Ф. М. одержим навязчивой идеей, что революции на континенте способствуют успеху тайных планов России, то он должен, если только он претендует на какую-нибудь логическую последовательность, об'явить не только Бакунина, но и всякого континентального революционера русским агентом. В его глазах сама революция есть русский агент; почему же не Бакунин?»

Дело казалось ясным. Если бы К. Маркс имел хотя бы малейшее отношение к этой клеветнической кампании против Бакунина, он не выступил бы с таким письмом, в котором об'являет обвинение Бакунина в служении царизму продуктом маниакальности таинственного Ф. М., а самого Бакунина называет своим другом. Тем не менее Герцен, за ним его друзья, а затем и сам Бакунин, когда получил возможность ознакомиться со слов Герцена и Маццини (в 1862 году) с этой историей, были уверены, что вся эта кампания является делом рук К. Маркса и его соратников.

Полемика на столбцах «Morning Advertiser» продолжалась. 24 сентября 1853 года в газете появилась «солидная» статья— «Russian agency and intrigues in cabinets and clubs», по всей вероятности, принадлежащая перу Д. Уркарта, знатока иностранной политики, фанатического врага России и столь же пламенного поклонника Турции. Эта статья пытается подвести теоретическую базу под обвинение, брошенное против Бакунина. По мнению автора статьи, революционные потрясения в Европе выгодны только для царизма. Запугивая европейские правительства, они ставят их в зависимость от петербургского кабинета, который таким образом получает свободные руки для своих завоеваний и захватов. В виду этого царизм в своих интересах всюду поддерживает и возбуждает через своих агентов революционные смуты. Поэтому оправдывать Бакунина от обвинения в службе царизму указанием на его революционную деятельность нельзя. Именно то

обстоятельство, что он занимался революционной работой в Европе, и доказывает, что он—агент русского правительства!

Здесь над *и* была поставлена точка. Исходный пункт этой категории обвинителей Бакунина был доведен до абсурда, ибо, как правильно заметил К. Маркс, с их точки зрения агентами царизма являются все европейские революционеры, а не только Бакунин. Уркарт до этого и договорился.

За Бакунина вступился английский журналист А. Б. Ричардс в статье «Михаил Бакунин и его обвинитель». Он указывал на то, что против клеветы на Бакунина одинаково решительно протестуют Герцен, Головин, Ворцель, Карл Маркс, Арнольд Руге, а скрывающийся под инициалами Ф. М. продолжает, ничтоже сумняшеся, стоять на своем.

И, действительно, Ф. М. с упорством маниака снова повторил свои обвинения против Бакунина, продолжая утверждать, будто он находится на свободе. Указание на участие Бакунина в дрезденском восстании Ф. М. отводил на том основании, что именно это восстание нанесло смертельный удар свободе Германии и лишь способствовало усилению зависимости этой страны от России.

Заканчивая полемику, неожиданно вспыхнувшую на столбцах «Morning Advertiser», редакция этой газеты заявила, что хотя она не знает Бакунина, но должна признать, что все говорит в его пользу, раз столько людей без всякого предварительного соглашения выступают единодушно в его защиту.

Казалось бы, тут и делу конец. Но оказалось, что эта история имела продолжение, не закончившееся до сих пор.

В своих мемуарах [1]) Герцен следующим образом излагает это происшествие:

«Через год после моего приезда в Лондон [2]) шайка [3]) еще раз (т.-е. после 1848 года.—*Ю. С.)* возвратилась на гнусную клевету против Бакунина, погребенного тогда в Алексеевском равелине.

---

[1]) „Немцы в эмиграции". Собрание сочинений Герцена под ред. М. Лемке. т. XIV, стр. 305 и след.

[2]) Герцен переехал в Англию в 1852 г.

[3]) Речь идет о группе К. Маркса („марксидах" по выражению Герцена). Этот термин „шайка" в применении к кружку К. Маркса Герцен заимствовал у своего (и Бакунина) друга, проф. Карла Фохта, который осыпал клеветами немецких коммунистов и выставлял их в виде „шайки поджигателей" (Schewefelbande, серная банда), находящихся под командою Карла Маркса. Не следует забывать, что в борь-

«В Англии, в этом стародавнем отечестве поврежденных, одно из самых оригинальных мест между ними занимает Давид Уркарт, человек с талантом и энергией, эксцентрический радикал из консерватизма. Он помешался на двух идеях: во-первых, что Турция—превосходная страна, имеющая большую будущность, в силу чего он завел себе турецкую кухню, турецкую баню, турецкие диваны; во-вторых, что русская дипломатия, самая хитрая и ловкая во всей Европе, подкупает и надувает всех государственных людей во всех государствах мира сего и преимущественно в Англии. Уркарт работал годы, чтобы отыскать доказательства того, что Пальмерстон—на откупу петербургского кабинета [1]). Он об этом печатал статьи и брошюры, делал предложения в парламенте, проповедывал на митингах. Сначала на него сердились, отвечали ему, бранили его, потом привыкли. Обвиняемые и слушавшие стали улыбаться, не обращая внимания, наконец разразились общим хохотом.

«На одном митинге, в одном из больших центров, Уркарт до того увлекся своей idée fixe, что, представляя Кошута человеком неверным, он прибавил, что если Кошут и не подкуплен Россией, то находится под влиянием человека, явным образом работающего в пользу России, и этот человек—Маццини. Уркарт, как дантовская Франческа, не продолжал больше своего чтения в этот день: при имени Маццини поднялся такой гомерический смех, что сам Давид заметил, что итальянского Голиафа он не сбил своей пращой, а себе свихнул руку.

«Человек, думавший и открыто говоривший, что от Гизо и Дерби до Эспартеро, Кобдена и Маццини все—русские агенты, был клад для шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины, Маркса [2]). Они

бе между немецкими коммунистами и буржуазными демократами не только Герцен, но и Бакунин (вплоть до разрыва с „Лигой Мира и Свободы“ в конце 1868 года) стояли ближе к последним. *Это, кстати, тоже один из источников ненависти Герцена и Бакунина к К. Марксу.*

[1]) Такого мнения о Пальмерстоне был не один Уркарт, но, например, и автор известной книги „Прогресс нации“ Портер; отчасти и Маркс, беспощадно разоблачавший контр-революционную политику этого светила британского либерализма (см. *Рязанов*—„Очерки по истории марксизма“, М., 1923, стр. 496 и след.).

[2]) Именно на почве ненависти к внешней политике царизма и к Пальмерстону, как ее пособнику, и произошло сближение Уркарта с Марксом. Но не только с Марксом, но и с *польской* и *венгерской* ре-

из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какую-то Hochschule [1]) клеветы и заподазривания всех людей, выступавших на сцену с бо́льшим успехом, чем они сами. Им недоставало честного имени: Уркарт его дал. Д. Уркарт имел тогда большое влияние на «Morning Advertiser»—один из журналов [2]), самым странным образом поставленных. Журнала этого нет ни в клубах, ни у бо́льших стэшинеров [3]), ни на столе у порядочных (!) людей; а он имеет большую циркуляцию, чем «Daily News», и только в последнее время дешевые листы [4]), вроде «Daily Telegraph», «Morning Star», «Evening Star», отодвинули «Morning Advertiser» на второй план. Явление чисто английское, «Morning Advertiser»—журнал питейных домов, и нет кабака, в котором бы его не было [5]).

«С Уркартом и публикой питейных домов взошли в «Morning Advertiser» марксиды и их друзья. «Где пиво, там и немцы [6]).

«Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Был ли Бакунин русский агент или нет?» Само собою ра-

---

волюционной эмиграцией, о чем забывает Герцен, пробавляющийся анекдотами о Кошуте и Маццини.

[1]) Университет.

[2]) Здесь и дальше в смысле „газета".

[3]) Торговец писчебумажными принадлежностями, где продаются и газеты.

[4]) В смысле „листок" (газета).

[5]) К середине 60-х годов, когда он писал цитируемые мемуары. Герцен, как указывает Д. Рязанов, забыл, какую роль играл „Morning Advertiser" в 50-х годах. Тогда это была радикальная и оппозиционная газета, где политические эмигранты, проживавшие в Англии, могли помещать свои заявления и т. п. Именно потому ее и не было в „порядочных" домах, но зато ее можно было найти в местах, где собирались „непорядочные" люди, т.-е. простая демократическая публика, в том числе и в трактирах и дешевых ресторанах. Как напоминает Рязанов, Герцен в свое время сам пытался поместить в этой газете свои статьи (цит. соч., стр. 341). Впрочем, в письме к Ф. Энгельсу от 2 сентября 1853 года К. Маркс тоже иронически называет эту газету органом „об'единенных кабатчиков".

[6]) Как это бывает с мемуарами Герцена, здесь допущен ряд неточностей, указать на которые необходимо ввиду того, что они легли в основу сочиненной Герценом легенды о клевете К. Маркса на Бакунина. Во-первых, Уркарт в то время никаким особенным влиянием на „Morning Advertiser" не пользовался, что доказывается, между прочим, поведением редакции в споре о Бакунине, в пользу которого она в конечном итоге высказалась. Во-вторых, во время этой полемики о Бакунине, т. е. в 1853 году, Маркс даже не был знаком с Уркартом.

зумеется, отвечал на него положительно. Поступок этот был до того гнусен, что возмутил даже таких людей, которые не принимали особенного участия в Бакунине.

«Оставить это дело так было невозможно. Как ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацию с Головиным,... но выбора не было. Я пригласил Ворцеля и Маццини присоединиться к нашему протесту; они тотчас согласились. Казалось бы, что после свидетельства председателя *польской* [1]) демократической централизации и такого человека, как Маццини: все кончено. Но немцы не остановились на этом:

«Они затянули скучнейшую полемику с Головиным, который с своей стороны поддерживал ее для того, чтобы собою занимать публику лондонских кабаков.

«Мой протест, то, что я писал к Маццини и Ворцелю, должны были обратить на меня гнев Маркса» [2]).

Этот рассказ, неверный от начала до конца и сплошь построенный на недоразумении, был с тех пор принят всеми на веру и лег в основу росказней анархических писателей (М. Неттлау, В. Дава, Брупбахера и др.) о коварстве К. Маркса и о клевете его на Бакунина [3]). Уж слишком соблазнительна была картина бесчестного Маркса, спокойно сидящего в Лондоне и трусливо, через

с которым познакомился только в следующем году. В-третьих, Маркс вместе с Энгельсом, Фрейлигратом и Вольфом поместил в этой газете один протест (против отношения газеты „Times“ к кельнским коммунистам) в 1852 году, т.-е. не только до знакомства своего с Уркартом, но и до начала полемики о Бакунине. Вообще же к „M. Advertiser“ ни Маркс, ни его друзья не имели в то время никакого отношения.

[1]) Курсив мой. Эти слова как бы показывают, что и Герцену известен был первоначальный источник порочащих слухов про Бакунина. Иначе каков смысл его ссылки на *польское* свидетельство, которое должно положить конец всем разговорам?

[2]) У Маркса были более основательные причины к недовольству Герценом. В частности Маркс чрезвычайно враждебно относился к Герцену за его славянофильские взгляды. Как раз в разгар полемики о Бакунине Маркс 7 сентября 1853 г. писал с негодованием Энгельсу: „бедные русские... раз'езжают теперь на том коньке, что русский народ насквозь демократичен, официальная же Россия (царь и бюрократия) -- сплошь немцы, равно как и русское дворянство. Итак, приходится бороться не с Россией в Германии, а с Германией в России! Ты знаешь Россию лучше, чем я, и если выберешь время для опровержения этих благоглупостей, то весьма меня этим обяжешь“.

[3]) К ним впоследствии присоединились и раскаявшиеся „марксисты“ вроде Э. Бернштейна, который весьма охотно прислушивается

подставных лиц, обливающего грязью беззащитного узника Бакунина, изнывающего в царской темнице и лишенного возможности защищаться,—слишком соблазнительна была эта картина, чтобы ее не попытались использовать в партийных интересах, в частности для сведения счетов с ненавистным коммунизмом и его представителями! Так оно и случилось.

Герцен определенно говорит о том, что всю эту клеветническую кампанию подняли «немцы» (из «патриотических» побуждений!—мотив, который впоследствии будет на все лады развивать сам Бакунин). Он еще более определенно указывает на ту группу немцев, которая совершила эту низость, именно на «марксидов», «серную шайку» с ее вождем, К. Марксом, во главе. А между тем в этой полемике приняли участие всего два немца: А. Руге (не марксист) и К. Маркс, при чем оба определенно высказались *в пользу Бакунина и против его обвинителей!* В чем же дело? Герцен был убежден, что за таинственным Ф. М. скрывался опять-таки если не сам К. Маркс, то кто-либо из его сторонников, и что, выступая открыто в пользу Бакунина, К. Маркс за кулисами руководил клеветнической кампанией против него. Вот почему Герцен так настойчиво требовал, чтобы Ф. М. назвался, и намекал, что инициалы эти ему вовсе не принадлежат.

И, как на зло, по странному капризу истории под инициалами Ф. М. действительно скрывался... Маркс,—только не немецкий коммунист Карл Маркс, а английский консервативный помещик Френсис Маркс [1]). Этот Ф. Маркс, которого И. Головин в своих воспоминаниях (в книге «Русский нигилизм» на немецком языке) называет лошадиным барышником и которого он там прекрасно отличает от Карла Маркса, был большим приятелем Уркарта, разделял его взгляды и давал средства на издание тех газет, где Уркарт вел свою кампанию против России и «русского агента» Пальмерстона. Он сам написал несколько памфлетов против Рос-

---

ко всяким сплетням про наших вождей и при случае сам их сочиняет (напр., про Ленина).

[1]) Заслуга документального раз'яснения этого недоразумения принадлежит т. Д. Рязанову, поместившему в „Neue Zeit“ в 1909 году статью „Маркс как клеветник“ (перепечатана в его книге „Очерки по истории марксизма“ под заглавием „По поводу одной легенды—Герцен против Маркса“). См. в той же книге статью „Анархический товар под флагом марксизма (Маркс и Бакунин в шестидесятых годах)“, тоже напечатанную предварительно в журнале „Neue Zeit“ за 1913 год.

сии, и если и был связан с немцами, то не с коммунистами из группы Маркса, а с такими людьми, как Лотар Бухер, который через десяток лет после того сделался сначала другом Лассаля, а затем агентом Бисмарка.

Уркарт, по всем своим взглядам, должен был искренно считать Бакунина агентом русского правительства. Что в своей ненависти к царской России этот предтеча современных английских империалистов доходил до мании, в этом Герцен прав. Что клевета на Бакунина и в частности письма Ф. Маркса шли из кружка Уркарта (а не К. Маркса, который с Уркартом в 1853 году даже не был знаком), это тоже верно. Но это и все. Остальное представляет выдумку Герцена, имеющую под собою лишь то фактическое основание, что за инициалами Ф. М. скрывался действительно некий Маркс. Только это был Федот, да не тот.

В свое время Герцен несомненно слыхал от Головина, имевшего связи с редакцией «Morning Advertiser», что автором клеветнических писем является какой-то Маркс. Возможно, он даже знал, что это Френсис Маркс, не имеющий ничего общего с Карлом Марксом. Но через 10 лет он об этом, видимо, позабыл и все перепутал. Эта путаница для него облегчена была его ненавистью к К. Марксу и его внутренним убеждением, что именно марксисты являются изобретателями и главными распространителями клеветнических слухов про ненавистного для них Бакунина.

Уркарт и впоследствии, например, в 1872 году, был убежден, что Бакунин—агент русского правительства. Но для него такими агентами являлись чуть ли не все революционные деятели Европы, начиная с английских чартистов и кончая вождями Первого Интернационала. В частности он считал агентом царизма не только Герцена, но и его ярого противника Н. Утина [1]).

---

[1]) Росказни Герцена, а впоследствии М. Неттлау о мнимом совпадении взглядов Уркарта и Маркса-Энгельса на международную политику столь же неосновательны. В памфлете „Herr Vogt“, направленном против Карла Фохта (1859 г.), Маркс замечает: „Сочинения Уркарта о России и против Пальмерстона заинтересовали меня, но не убедили“. А Энгельс в том параграфе своей статьи „Внешняя политика русского царизма“, который имеется в английском тексте (напечатанном в лондонском журнале „Time“ за 1890 год), но отсутствует в немецком и русском тексте (последний был напечатан в плехановском журнале „Социал-Демократ“ 1890—91 г.г.), дает такую оценку Уркарту, которую никак нельзя назвать восхвалением его, но которая старается об'ективно отметить его положительные и отрицательные

Теперь, после опубликования переписки между К. Марксом и Ф. Энгельсом, установлено, что в то время, когда английский помещик Френсис Маркс печатал в газете «Morning Advertiser» свои клеветнические письма против Бакунина, германский коммунист Карл Маркс даже не подозревал о существовании своего британского однофамильца. Только через несколько месяцев после этой полемики, в которую он против своей воли оказался втянутым,он узнал о существовании этого человека, как он пишет Энгельсу 22 апреля 1854 года, «весьма глупого сторонника Уркарта, по имени Маркса», того самого Ф. М., который об'явил Бакунина «русским агентом».

Провоцированный Головиным и Герценом, которые в 1853 году пытались использовать против него инцидент с «Новой Рейнской Газетой» 1848 года, К. Маркс хотел поместить в «Morning Advertiser» письмо такого содержания (об этом проекте он сообщает Энгельсу в письме от 2 сентября 1853 года):

стороны. Указав на все значение работ Уркарта по изучению внешней политики царской России и на насмешки, встретившие его пропаганду, Энгельс продолжает: „Он был торием старой школы и стоял перед лицом того очевидного факта, что в Англии до того времени только тории оказывали действительное сопротивление России, тогда как тактика либералов в Англии, как и за границей, включая все революционное движение на континенте, регулярно вела к дальнейшему укреплению России. Он был убежден поэтому, что всякий, кто хочет оказать серьезное сопротивление захватнической политике России, должен прежде всего быть торием (или турком), и что каждый либерал и революционер, сознательно или нет, является орудием русской политики. Постоянное занятие русской дипломатией привело к тому, что он видел в ней нечто всемогущее, единственную действенную в современной истории силу, в руках которой все остальные правительства являются только пассивными орудиями... Чтобы свести таким образом всю современную историю со времени французской революции к дипломатическому шахматному турниру между Россией и Турцией, в котором все остальные государства играли роль шахматных фигур в руках России, сам Уркарт должен был разыгрывать из себя нечто вроде восточного пророка, который не только сообщал простые исторические факты, но еще возвещал на таинственном, сверхдипломатическом языке свое эзотерическое учение с намеками на факты, не всем известные и даже вообще с трудом устанавливаемые, и, как безошибочное средство против превосходства русской дипломатии над английской, рекомендовал восстановление старого суда над министрами и замену кабинета министров тайным советом... Русские дипломаты могли бы сказать: если бы Уркарта не было, его надо было бы изобрести". Вообще знакомство Маркса с Уркартом, начавшееся с 1854 г.,

«Лучше иметь дело с умным врагом, чем с глупым другом» [1]), воскликнул бы Бакунин, если бы когда-либо увидел письмо «заграничного» Санхо-Панчи, который в субботнем номере Вашей газеты разливается в общих местах, надерганных из поговорок.

«Разве не «глупый друг» тот, кто упрекает меня в том, что я *не* сделал того, что «*избавило бы* меня от необходимости выражать сожаление по поводу приобщения моего имени к ложному обвинению»?

«Разве не «глупый друг» тот, кто удивляется тому, что известно каждому школьнику, а именно, что истина устанавливается путем спора, а исторические факты выясняются путем противоположных утверждений?

«Когда «Новая Рейнская Газета» напечатала парижское письмо, Бакунин находился на свободе. Если он в 1848 году поступил правильно, удовлетворившись публичными раз'яснениями «Новой Рейнской Газеты», то разве не «глупый друг» тот, кто в 1853 году находит их недостаточными? Если же он поступил неправильно, возобновив дружеские отношения с редактором «Новой Рейнской Газеты», то не «глупо» ли со стороны мнимого друга разоблачать перед публикою проявленную им слабость?...

«Разве не «глупый друг» тот, кто не может понять, почему консервативные газеты не *опубликовали* клеветы, *тайно* распространявшейся против Бакунина повсюду в Германии, тогда как революционная немецкая газета обязана была ее опубликовать?

«Разве не «глупый друг» тот, кто не знает, что «революционное чувство» на высшей ступени своего развития создало «зако-

---

было мимолетным; они слишком расходились во всех взглядах, да, как верно замечает Рязанов, „трудно было бы Марксу, другу Джонса и других чартистов, сойтись с человеком, который был убежден, что весь чартизм — тоже продукт деятельности русских агентов. Но как Энгельс, так и Маркс не могли из-за чудачеств Уркарта просмотреть его крупные заслуги в области разоблачения русского царизма и решительные выступления в защиту Польши, Кавказа. Ост-Индии и других стран".

[1]) „Глупый друг"—это „услужливый дурак" басни. Эту фразу употребил Головин в статье, помещенной им в „Morning Advertiser" 2 сентября 1853 г., где он открыто задел К. Маркса. Указывая на то, что консервативные газеты не опубликовали порочащих слухов про Бакунина („умные враги"), Головин говорит, что нашелся зато „глупый друг", т.-е. радикальная газета, дружественная Бакунину, которая дала место этой несуразной клевете („Новая Рейнская Газета"). Вот на эту выходку Головина и хотел ответить К. Маркс.

ны о подозрительных» и обезглавило Дантона, Демулена, Анахарсиса Клотца?

«Разве не «глупый друг» тот, кто не решился выступить против «Morning Advertiser» за напечатание письма Ф. М. во время заключения Бакунина в тюрьме в С.-Петербурге и кто в то же время выступает против «Новой Рейнской Газеты» за напечатание подобного же письма в 1848 г., когда Бакунин находился на свободе и не подвергался достойной сожаления участи иметь своим защитником глупого друга?»... [1]).

«Morning Advertiser» отказался поместить это письмо, и неизвестно, было ли оно опубликовано где-либо в другом месте. Во всяком случае оно лишний раз показывает неразумие или недобросовестность тех людей, которые могут допустить, чтобы Маркс способен был предаваться закулисным махинациям для оклеветания человека, лишенного возможности защищаться, а вместе с тем вскрывает причины, по которым революционная газета сочла себя обязанной предать гласности слух о факте, гибельном для интересов революции (если бы он оказался верным), тогда как реакционные газеты старались замолчать этот слух.

Теперь ни для кого уже не может быть сомнения, что К. Маркс не имел никакого отношения к клеветнической кампании против Бакунина, вспыхнувшей в 1853 году. Однако это подозрение висело над ним впродолжение многих лет и в 1862 году помешало ему встретиться с Бакуниным, который до своей смерти затаил вражду к Марксу, считая его (если верить самому Бакунину) одним из виновников пущенной против него позорящей клеветы.

Пока в Англии разыгрывалась вся эта история, Бакунин, ничего о ней не подозревавший, досиживал в Алексеевском равелине последние месяцы.

6. В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ.

В Петропавловской крепости Бакунин просидел до весны 1854 года, т.-е. 2 года и 10 месяцев, а затем, в начале войны с Англией и Францией, его перевели в Шлиссельбургскую крепость, так как Николай боялся, что английский флот сможет освободить его пленника. В Шлиссельбург Бакунин был доставлен 12 марта 1854 года под надежным жандармским конвоем, при чем его приказано было поместить в лучшей и надежнейшей из двух приготовленных

---

[1]) Briefwechsel, т. I, стр. 428—434.

там камер [1]), а так как Бакунин «есть один из важнейших арестантов», то «соблюдать в отношении к нему всевозможную осторожность, иметь за ним бдительнейшее и строжайшее наблюдение, содержать его совершенно отдельно, не допускать к нему никого из посторонних и удалять от него известия обо всем, что происходит вне его помещения, так, чтобы самая бытность его в замке была сохраняема в величайшей тайне». Кроме коменданта никто не должен был даже знать о том, что в крепости сидит Бакунин.

Вскоре по переводе в Шлиссельбург Бакунин обратился с рядом просьб, из которых часть была удовлетворена, а часть нет. Ему было разрешено получать от брата с'естные припасы и книги, пить перед обедом рюмку водки, гулять, иметь в камере чернила и бумагу (разумеется, в виде «пронумерованной и прошнурованной» тетради), а также писать домой письма. Зато отказано было в свидании с братом и в праве ходить в баню, которая была расположена далеко от его камеры. Из дому и от Ел. Ив. Пущиной, дочери умершего коменданта Петропавловской крепости Набокова, Бакунин получал табак, гильзы, чай, деньги и книги, в том числе «Revue Etrangère», «Revue des Deux Mondes», Готский Альманах на 1856 год. Но все это доставлялось ему, повидимому, неаккуратно и в недостаточном количестве, ибо письма его из крепости переполнены жалобами на отсутствие денег, книг, чаю и табаку, без которых он сидел по месяцам (недостаток табаку для такого страстного курильщика, как Бакунин, да еще в условиях одиночного заключения был самым чувствительным лишением). Отеческая заботливость жандармов об узнике простиралась до того, что в октябре 1854 года Бакунину переслали из Алексеевского равелина клетку с двумя канарейками, которых он завел себе в крепости. А 18 февраля 1856 г. пресловутый начальник III Отделения Дубельт, препровождая для Бакунина две банки магнезии, предписывает крепостному начальству озаботиться тем,

---

[1]) Вторым из узников был старообрядческий архимандрит Белокриницкого монастыря, Геронтий Леонов. В крепости он просидел до 1868 г., а затем, после вынужденного отречения от старообрядчества, отправлен в монастырь. Одновременно с Бакуниным в Шлиссельбургской крепости сидел и Лукасинский (известный польский революционер), Налепинский, Адельт, Медокс, Ромашев (все эти фамилии упоминаются в деле о Бакунине). Названные лица, сидевшие там до Бакунина, получали по 30 коп. кормовых в день; столько же велено было отпускать и на Бакунина.

чтобы «неумеренное употребление Бакуниным магнезии не причинило ему вреда».

Только через десять месяцев сидения в Шлиссельбурге, в январе 1855 года, Бакунину разрешено было свидание с матерью (отец его незадолго до того умер) и с братом Алексеем на квартире коменданта и в его присутствии. Родные могли выехать в Петербург только в марте. Они провели в Шлиссельбурге пять дней и в течение этого времени, кажется, ежедневно видались с Михаилом. «Свидание,—сообщает Татьяна брату Александру, который находился в это время в Севастополе на передовых позициях,—было вместе и грустно, и отрадно. Оно пробудило в душе ее (матери) всю любовь, всю нежность, которые от времени и обстоятельств могли несколько остыть». Вскоре после этого свидания мать Бакунина подала прошение царю, о котором мы говорим дальше.

Следующее свидание дано было Бакунину с теми же лицами только через год, в январе 1856 года, уже в новое царствование.

В августе того же 1856 года мать Бакунина с сыном Алексеем прибыли в Шлиссельбург, где прожили свыше недели и имели ряд свиданий с Михаилом. После этих свиданий мать Бакунина обратилась с прошением к шефу жандармов, кн. Долгорукову, которое мы приводим дальше. Эти же свидания окончательно примирили Бакунина с матерью, к которой, как мы знаем, он прежде относился с нескрываемым недоброжелательством. Свои новые чувства «любви, благодарности, почтения» он выразил в особом письме к матери, в котором называл ее скорее «старшею сестрицею» своих детей, чем матерью. Наконец, последнее свидание Бакунина с родными в Шлиссельбурге состоялось в конце ноября 1856 года, при чем на нем не присутствовала и кузина Екат. Мих. Бакунина.

В известном письме к Герцену из Иркутска от 8 декабря 1860 г., которое мы в этой главе будем цитировать неоднократно [1]), Бакунин следующим образом излагал лондонским друзьям историю своего освобождения из крепости:

«Николай умер, я стал живее надеяться. Наступила коронация, амнистия: Александр Николаевич собственноручно вычеркнул меня из поданного ему списка, и когда, спустя месяц, мать моя молила о моем прощении, он ей сказал: «Sachez, madame, que tant

---

[1]) Письмо это напечатано в изданной за границей переписке Бакунина, перепечатано у М. Лемке (в примечаниях к X тому Собрания сочинений Герцена, стр. 402–411).

que votre fils vivra il ne pourra jamais être libre» [1]). После чего я заключил с приехавшим ко мне братом Алексеем условие, по которому я обязывался ждать терпеливо еще месяц, по прошествии которого, если бы я не получил свободы, он обещал привезти мне яду. Но прошел месяц, я получил об'явление, что могу выбрать между крепостью или ссылкой на поселение в Сибирь. Разумеется, я выбрал последнее. Не легко досталось моим освобождение меня из крепости; государь с упорством барана отбил несколько приступов; раз вышел он к кн. Горчакову (министру иностр. дел) [2]) с письмом в руках (именно тем письмом, которое в 1851 г. я написал Николаю) и сказал: mais je ne vois pas le moindre repentir dans cette lettre» [3]),—дурак хотел repentir [4]). Наконец, в марте 1857 года я вышел из Шлиссельбурга, пробыл неделю в III Отделении и, по высочайшему соизволению, сутки у своих в деревне, а в апреле был привезен в Томск».

Здесь Бакунин говорит заведомую неправду. Как увидим ниже, даты и факты у него сознательно перепутаны. И это понятно: он хотел скрыть от своих друзей Герцена и Огарева действительные условия, при которых состоялось его освобождение из крепости. Бакунин изображает дело так, будто освобождение его состоялось благодаря хлопотам его родных. В действительности, как мы увидим ниже, он добился перевода из крепости на поселение только после подачи царю прошения о помиловании. Ирония его насчет «дурака, хотевшего repentir» (раскаяния), оказывается поэтому совершенно неуместною. И говорит он неправду под влиянием чувства неловкости, которое он должен был испытывать, вводя в заблуждение своих друзей относительно причины своего освобождения и вспоминая факты, сопровождавшие эту царскую милость [5]).

---

[1]) „Знайте, сударыня, что, пока ваш сын жив, он свободным не будет“. По словам Бакунина выходит, будто его мать имела личный разговор с Александром II: из „Дела“ Бакунина ничего подобного не видно.

[2]) Повидимому, этот инцидент, если он только имел место, относится ко времени подачи матерью Бакунина прошения кн. Горчакову об освобождении ее сына (см. ниже).

[3]) „Но я не вижу ни малейшего раскаяния в этом письме“.

[4]) Раскаяние.

[5]) История с ядом также изложена у Бакунина несколько неясно. Мы уже знаем, что в одной из записок, переданных в январе 1854 г., Бакунин просил у Татьяны и Павла, в случае неудачи хлопот об его

В действительности дело обстояло следующим образом:

Родные Бакунина, послушные его настойчивым требованиям, усиленно хлопотали о смягчении его участи, обращаясь к своим высокопоставленным родственникам и знакомым (особенно старался в этом отношении брат Алексей). Даже когда четыре брата Бакунин решил в 1854 году поступить в ополчение (в виду Крымской войны), то они между прочим рассчитывали таким ярким доказательством патриотизма подействовать на Николая I в смысле смягчения участи Михаила [1]).

21 марта 1855 года мать Бакунина обратилась к Александру II, вступившему на престол за месяц до того (19 февраля), с прошением, в котором ходатайствовала о разрешении сыну ее, Михаилу, вступить в царские войска, чтобы кровью смыть свои преступления. Сделала она это в виду того, что в списки государственных преступников, помилованных по случаю восшествия на престол нового государя, Бакунин не попал. Прошение это было подано матерью Бакунина вскоре после свидания с сыном в крепости. Сопоставляя это обстоятельство с содержанием наставлений, даваемых Бакуниным в своих записках, переданных из крепости (см. выше), а также с тем фактом, что и другие прошения В. Бакуниной о прощении сына следовали за новыми свиданиями с ним ее или братьев и сестер, а также с тем фактом, что, в конце-концов, он сам подал прошение о помиловании, можно быть уверенным, что Бакунин не остался чужд и первым ходатайствам

освобождении, доставить ему средства покончить с собой. Срок ожидания там не указан. Повидимому, о том же и более настойчиво Бакунин говорил с Алексеем. Но когда? В последний раз они виделись в конце ноября 1856 года. Бакунин, по его словам, обещал ждать месяц. Но ведь освободили-то его только в марте 1857 года, т.-е. не через месяц после свидания с Алексеем, как он пишет Герцену („но прошел месяц"), а через три месяца. А ведь по словам Бакунина даже выходит как будто, что свой разговор с Алексеем об яде он вел еще раньше, а именно сейчас же после неудачи прошения матери царю, поданного в марте 1855 года. Это могло иметь место во время свидания в январе 1856 года, т.-е. больше чем за год до его освобождения. Если даже допустить, что разговор происходил во время следующего свидания в августе 1856 года, то и сюда рассказ о месяце не подходит. В этом пункте рассказ Бакунина явно неточен.

[1]) Повидимому, сам Бакунин составил для переписки с родными по поводу этих хлопот особый условный словарь, приведенный у Корнилова („Годы странствий", стр. 561—2). Неизвестно, был ли этот словарик использован для этой цели.

и, быть-может, участвовал даже в их составлении (путем бесед с родными на свиданиях). При таком положении становится менее поразительным и неожиданым факт подачи им через два года аналогичной просьбы уже лично от себя.

Вот первая просьба матери Бакунина:

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ!

«Четырнадцать лет я оплакивала сына своего, как умершего; но милостию Царя он снова жив для меня. Как благодарная мать, молю Бога, да вознаградит ОН ТОГО, кто строгость ЦАРЯ и СУДЬИ смягчил милосердием ОТЦА, и да воздаст ЕМУ за утешение, мне дарованное. Не отвергни, ГОСУДАРЬ, бессильных выражений моей благодарной души и позволь мне излить перед ТОБОЮ чувства признательности и скорби, переполняющие мою душу. Дозволь мне сказать все, что мать может сказать в пользу сына, ничего не скрывая и как она не осмелилась бы говорить никому иному. Слова мои слабы, но снисхождение ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА может дать им силу.

«Я видела сына моего сокрушенного, вполне чувствующего неизреченную и незаслуженную милость в бозе почившего ГОСУДАРЯ, незабвенного ОТЦА России, превратившего для него темницу в самое легкое заключение.—Я видела его горящего желанием искупить кровию свое прошедшее. Невозможность этого составляет главное его мучение и мою величайшую скорбь. Больно матери знать, что сын ее преступник, но невыносимо думать, что он не имеет возможности загладить вину свою. Легче было бы мне видеть его истекающего кровью, если бы кровию этою смывался грех его молодости, чем видеть его изнывающего в бездейственном сознании вины и ежедневно умирающего, в ожидании бесславной смерти.

«ГОСУДАРЬ!—Сын мой не бесчестный человек, я первая отреклась бы от него, если бы заметила в нем чувства, недостойные ВАШЕГО милосердия, но я нашла в нем полное раскаяние и жажду загладить ошибки своей молодости, и тем заслужить милости, оказанные ему покойным ГОСУДАРЕМ и ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ.

«Уже пятеро сыновей моих, верные долгу дворянства, вступили на военную службу на защиту отечества; благословив их на святое дело, я осталась одна, без опоры, и могла бы, как милости,

молить о возвращении мне шестого, но я молю ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО о дозволении ему стать с братьями в передних рядах храброго ВАШЕГО воинства и встретить там честную смерть или кровию заслужить право называться моим сыном.—Ручаюсь всеми сыновьями моими, что, где бы он ни был поставлен ВОЛЕЮ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, он везде исполнит долг свой до последней капли крови.

«Неужели невозможно для него иное наказание, кроме вечного заключения?

«ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО! Простите женщине и матери, которая кроме Вас не имеет заступника и никому не дерзнула бы говорить так откровенно, как ВАМ, Своему ГОСУДАРЮ.—ВАШЕМУ милосердию вверяю я свою скорбь, и страх, и надежду, ВАШЕМУ суду предаю с упованием судьбу мою.

«Другие могли бы холодно смотреть на мою горесть, но ВАМ, ГОСУДАРЬ, не чужда скорбь ни одного из ВАШИХ подданных, и я, как мать, не могу поверить холодному суду чужих, но беспрекословно и от всей души предаюсь милосердному суду ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

«С благоволением имею счастье быть ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

«Верноподданная

«Варвара Бакунина

«Вдова Коллежского Советника.

«21 марта 1855 года.

«Жительство имею: Тверской губернии, Новоторжского уезда, в селе Прямухине».

Но достойный сынок своего «незабвенного» отца остался глух к мольбам престарелой матери и в просьбе отказал.

При втором свидании в Шлиссельбурге в январе 1856 года мать нашла здоровье сына уже сильно пошатнувшимся вследствие условий крепостного заключения и особенно вследствие отсутствия движения. Передать сыну спринцовку ей не разрешили. Так же неудачно кончилась ее просьба о разрешении ей доставить сыну токарный станок, работа на котором могла бы помочь ему сохранить здоровье при вынужденной неподвижности. Ни начальник III Отделения, Дубельт, как известно, не отличавшийся особенной сантиментальностью, ни комендант Шлиссельбургской крепости

не встретили возражений к удовлетворению этой просьбы, но обер-жандарм и обер-шпион Александр II отказал и в этом.

Напрасно Бакунин расхваливал в «Исповеди» гуманность, встретившую его на родине. О том, как его содержали «на родной стороне», где, как он говорил, и «умереть приятно» (а жить?), можно судить по тому, что этот гигант и железный человек изнемогал и готов был лишить себя жизни. В тюрьме Бакунин заболел скорбутом и потерял все зубы; в последнее время он не мог ничего есть и принужден был питаться одними щами [1]).

«Страшная вещь—пожизненное заключение,—писал он впоследствии:—влачить жизнь без цели, без надежды, без интереса. Каждый день говорить себе: «сегодня я поглупел, а завтра буду еще глупее». Со страшною зубною болью, продолжающеюся по неделям и возвращающеюся, по крайней мере, по два раза в месяц; не спать ни дней, ни ночей,—что бы ни делал, что бы ни читал, даже во время сна, чувствовать какое-то неспокойное ворочание в сердце и в печени с sentiment fixe (с навязчивой мыслью): я раб, я мертвец, я труп. Однако я не упадал духом; если бы во мне оставалась религия, то она окончательно рушилась бы в крепости.—Я одного только желал: не примиряться, не резиньироваться [2]), не измениться, не унизиться до того, чтобы искать утешения в каком бы то ни было обмане, сохранить до конца в целости *святое чувство бунта*».

Чтобы поддержать в себе это «святое чувство бунта», Бакунин в своей камере повторял про себя легенду о Прометее, этом титане-благодетеле человечества, прикованном к скале по приказу мстительного владыки Олимпа; он мечтал изложить эту легенду в драматической форме и сочинил в тюрьме нежную и жалобную мелодию для хора океанид, приносящих слово утешения жертве юпитерской мести [3]). Но опасения Бакунина были напрасны. Мощный дух его превозмог все физические и духовные лише-

---

[1]) Вероятно, в виду этого „гуманные“ жандармы разрешили ему получать апельсины (в январе 1857 г.).

[2]) Не смиряться.

[3]) Сообщение Д. Гильома, который слышал это от самого Бакунина. З. Ралли („Минувшие Годы“, 1908, октябрь, стр. 148) со слов самого М. А. рассказывает, что этим же Бакунин занимался и в Ольмюцской крепости. „Шесть месяцев я высидел на цепи (в Ольмюце),—говорил М. А.,—и выдумал целый мотив, изображавший собою Прометея, прикованного к скале; когда я его себе мурлыкал под нос, немцы удивлялись, что я такой веселый и пою“.

ния, и он вышел из крепости в том же настроении, с каким туда вошел [1]).

Конечно, если вспомнить об «Исповеди», о покаянном письме к Александру II (см. ниже), о жизни Бакунина в Сибири, то это утверждение может показаться парадоксальным. И все же, хотя у Бакунина и были моменты слабости и показного отречения, но в общем он остался тем же, каким был, а в некоторых отношениях сделался даже более крайним, что он доказал, как только вырвался из цепких лап самодержавия и окунулся в родственную ему революционную стихию. Но Бакунин всю жизнь относился с презрением к формам; он полагал, что цель оправдывает средства, и слишком презирал людей вообще, а сильных мира сего в особенности, чтобы не считать для себя позволительным обманывать и дурачить их по мере возможности. Никто, знающий Бакунина, не будет считать искренними его покаяния перед царем и жандармами. Оценивать же эти акты и лежащую в их основе мораль Бакунина предоставляется каждому по его убеждениям.

Александр II, который, вопреки легенде, созданной холопствующими историками и публицистами, был таким же безжалостным тираном, как и его отец, преследовал Бакунина своей злобой еще и потому, что в его «Исповеди», которую Александр II в свое время прочел, когда был наследником, незаметно дескать никакого раскаяния (как мы знаем, таково же было и мнение генерала Чернышева).

---

[1]) В письме к М. Мейзенбуг от 8 сентября 1856 г. Герцен сообщает, что Бакунину в крепости живется недурно, что он „обедает у коменданта (?), гуляет по крепости, имеет книги, бумагу и даже фортепиано“ (?). Далее Герцен сообщает, что Бакунин „написал письмо, чтобы опровергнуть, будто он стал христианином“. В письме к К. Фохту от 9 апреля 1857 г. Герцен возвращается к этой теме и сообщает, что „Бакунин вполне опроверг пущенный слух, будто он стал пиетистом“. Такое письмо Бакунина нам неизвестно; кто распускал про него такие слухи, тоже неясно. Шли ли они из жандармских кругов, которые думали таким образом воздействовать на „увлекающуюся молодежь“, или же от членов его семьи, которая в таком смысле истолковывала его письма из крепости, трудно сказать. Во всяком случае ясно, что слухи о шатаниях и двусмысленных заявлениях Бакунина какими-то путями проникали в публику и притом, естественно, в извращенной форме. Возможно, что к такому слуху дало повод письмо Бакунина, в котором он сообщал родным о своем говении и причащении св. таин (см. выше).

31 августа, т.-е. вскоре после свидания с сыном, мать Бакунина обратилась к новому шефу жандармов, кн. Долгорукову, с просьбой отдать Михаила на поруки ее и пяти его братьев с обещанием, что дом ее будет для Бакунина «не менее тесным и по возможности тайным заключением», чем Шлиссельбургская крепость. Гіриводим и эту просьбу в виду нашего предположения, что Бакунин не остался ей чужд.

«Ваше Сиятельство!

«Находясь в несчастном положении матери, лишенной сына, я осмеливаюсь прибегнуть к Вам с просьбою о помощи.—Сын мой, Михаил Бакунин, замешанный в немецких возмущениях 1848-го года, подвергся строгости законов и с 1849 года находится в заключении. С горестью понимая, что ни глубокое сердечное раскаяние, ни семилетнее заключение не в силах загладить вины его перед законом, я надеюсь единственно на беспредельность Царского милосердия, а Ваше Сиятельство прошу быть моим ходатаем перед ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ.

«Не распространяясь о том, как невыносимо матери видеть сына, постепенно изнывающего в бездействии и одиночестве постыдного, хотя и заслуженного заключения, я скажу одним—тяжким, но справедливым словом: легче мне было бы знать его умершим. Молю у Государя последнего благодеяния, в довершение незаслуженных, но с благодарным сердцем принятых милостей, оказанных мне и несчастному сыну моему: чтобы дозволено было ему жить и умереть при мне, чтобы дом мой служил ему не менее настоящего тесным и по крайней возможности тайным заключением, смягченным единственно семейною любовью. Пятеро сыновей моих, из коих три отцы семейств, никогда не подавшие повода сомневаться в преданности их Престолу и Отечеству, готовы стать поруками за брата, в том, что он ни в каком отношении не выйдет из назначенных ему пределов и ни малейшим образом не употребит во зло испрашиваемой мною милости. Ваше Сиятельство поверите, что сыновья, всегда при мне бывшие, дороги мне не менее того, о котором я прошу, и что, ручаясь за него их честью и жизнью, я вполне понимаю, какую тяжелую ответственность беру на себя и на них возлагаю по их собственному желанию. Но повторяю: пятеро сыновей моих готовы отвечать головами за брата своего Михаила Бакунина. Допустила ли бы я их до того,

если бы малейшим образом сомневалась в сыне, за которого они ручаются, и в возможности исполнить то, за что берутся?

«Вверяя просьбу, а с нею вместе счастие мое и всего моего семейства великодушному участию Вашему, имею честь быть с совершенным почтением

«Вашего Сиятельства

«готовая к услугам

«Варвара Бакунина».

Долгоруков отказался даже доложить эту просьбу царю. Но родные не оставляли своих хлопот. Через свою племянницу Екатерину Бакунину, настоятельницу Крестовоздвиженской общины, в рассматриваемое время (октябрь 1856 г.), проживавшую во дворце велик. кн. Елены Павловны, мать Бакунина просила последнюю хлопотать об ее сыне перед императрицей Марией Александровной. 24 декабря 1856 г., т.-е. опять-таки вскоре после свидания Бакунина с братом Алексеем и упомянутой двоюродной сестрой, Екатериной Бакуниной, имевшего место в ноябре 1856 г., мать Бакунина обратилась с новой просьбой об освобождении Михаила на поруки—на этот раз к министру иностранных дел, кн. Горчакову. Кто-то ее, повидимому, убедил в том, что Бакунина не освобождают в виду его прикосновенности к заграничным революциям, т.-е. из нежелания задеть иностранные дворы. Опять-таки возможно, что так думал сам Бакунин, и что мысль об обращении к Горчакову исходила именно от него. Но положительных свидетельств в пользу такого предположения не имеется.

Вот что писала В. Бакунина кн. Горчакову:

«Ваше Сиятельство,

«Милостивый Государь,

«Князь Александр Михайлович!

«Несчастная мать, страшась потерять сына, осмеливается обратиться к вам с мольбой о помощи. Сын мой, Михаил Бакунин, вследствие участия в немецких возмущениях 1849 года, подвергся строгости законов и уже около 8 лет находится в заключении. Здоровье его ныне уже до такой степени расстроено, что жизнь его долго не может продлиться, если не будет облегчена участь его. Он уже не тот, что был прежде. Видев его, по ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМУ позволению, в августе сего года, я

нашла в нем еще большую перемену. Он тень самого себя, убитый раскаянием в прошедшем, без утешения в настоящем, без надежды в будущем,—и чем могла я ободрить его?

«С растерзанным сердцем я обращаюсь теперь к Вам, полагая, что если ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЕ прощение не распространилось на моего сына, то причина этому та, что он действовал вне пределов России, против германских правительств, которыми и осужден был. Вы единственная надежда несчастной матери, влияние Ваше на политику иностранных дворов несомненно, и Ваше милостивое участие может устранить препятствие к облегчению горькой участи моего больного сына. Одного прошу, чтобы было дозволено ему провести остаток дней своих в родном семействе, в деревне Тверской губернии, которое ручается, что родительский дом будет служить ему не менее тесным, но не столь тягостным местом заключения. Пятеро сыновей моих, из них трое отцы семейств, и кои все в последнюю войну с оружием в руках доказали свою преданность Престолу и Отечеству, готовы быть порукой за несчастного своего брата. Ваше Сиятельство не усумнитесь, что мать не решилась бы подвергнуть тяжелой ответственности пятерых сыновей для облегчения участи одного, если бы не была совершенно уверена в нем и в его раскаянии.

«Я бы сама бросилась к ногам Вашего Сиятельства, чтобы вымолить Ваше участие, к несчастию, болезнь и лета мне в этом препятствуют и заставляют прибегнуть к письму, которое не может вполне выразить всей жестокости материнской скорби. Но я столько слышала о великодушии Вашей возвышенной и горячей души, что и теперь надеюсь более на снисходительное участие Ваше, чем на недостаточные слова наполненного горем сердца, только от Вас ожидающего отрады и утешения.

«С глубочайшим почтением имею честь быть

«Вашего Сиятельства

«готовая к услугам

«Варвара Бакунина.

«1856 года, декабря 24 дня.

«Г. Торжок.

«P. S.—Моя родная племянница, Екатерина Михайловна Бакунина, взялась лично передать Вам это письмо, она дополнит то, что горестное волнение помешало мне высказать. Да внушит ей Бог!».

И на эту просьбу последовал со стороны Александра II новый отказ. *Ему нужно было покаяние самого Бакунина.* Тиран хотел добиться унижения своего политического противника, бывшего у него в руках. Он, к сожалению, добился своего.

Знал ли Бакунин об этом последнем отказе или нет, но только, видя безуспешность всех предыдущих попыток, он решил сам вмешаться в это дело.

Возможно, что через родных или через крепостное начальство Бакунину дали понять, что он не выйдет из крепости, пока не докажет своего искреннего раскаяния в прежних заблуждениях. Сидеть Бакунину без конца надоело, и он решился вторично пренебречь «формами» и дать царю требуемые гарантии своего «чистосердечного раскаяния».

3-го февраля Бакунин обратился к шефу жандармов с письмом, в котором просил его исходатайствовать у царя право написать ему просьбу о прощении. Вот что писал Бакунин Долгорукову:

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО!

«Я болен телом и душой; от болезни телесной не надеюсь излечения, но душой мог бы и желал бы отдохнуть и укрепиться в кругу родной семьи. Не столько боюсь я смерти, сколько умереть одиноко в заточении, с сознанием, что вся моя жизнь, протекшая без пользы, ничего ни принесла, кроме вреда для других и для себя; я не в силах выразить Вам, как мучительны эти мысли, как они терзают в одиночестве заключения, и как тяжела должна быть смерть при таких мыслях и в таком заключении. Я не желал бы умереть, не испытав последнего средства, не прибегнув в последний раз к милосердию ГОСУДАРЯ.

«Обращаюсь к ВАШЕМУ СИЯТЕЛЬСТВУ с покорной просьбой исходатайствовать мне от ГОСУДАРЯ позволения писать к ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ. Долговременное заключение притупило мои способности так, что я не нахожу более убедительных слов, чтобы тронуть ВАШЕ сердце. Но ВАШЕМУ СИЯТЕЛЬСТВУ известно, чего может желать и как сильно может желать заключенный; мне же и по собственному опыту, и по словам родных известно ВАШЕ великодушие и возвышенный образ ВАШИХ мыслей; поэтому я могу надеяться, что без подробных об'яснений с моей стороны ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО примете великодушное участие в послед-

ней надежде и в последнем усилии заключенного к облегчению своей участи.

«Михаил Бакунин.

«1857 года—3 февраля».

Теперь Александр II мог торжествовать. Он поспешил согласиться на просьбу узника. И вот Бакунин написал письмо Александру II, которое 16 февраля было последнему доставлено через III Отделение. Письмо Бакунина к царю было прошением о помиловании и носило гораздо более определенный покаянный характер, чем «Исповедь». Одновременно с прошением царю [1]) Бакунин написал письмо к шефу жандармов Долгорукову. В этом письме Бакунин давал честное слово и клялся, что прошение его к государю продиктовано чувством искреннего раскаяния, и обещал не заниматься впредь революционной деятельностью (не употреблять во зло свободы, данной ему на честное слово).

Вот это препроводительное письмо, при котором Бакунин послал свое всеподданнейшее прошение:

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО!

«Препровождая при сем просьбу мою к ГОСУДАРЮ, прошу Вас принять выражение искренней и глубокой благодарности за исходатайствование мне просимого мною позволения. Оно оживило во мне надежду; но суждено ли ей сбыться? Обмануться было бы жестоко. Осмелюсь ли просить ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО просмотреть и исправить, сколько возможно, мою просьбу? Я так сдичал и отвык писать, что с трудом мог окончить ее;—трудно писать, колеблясь между страхом и надеждой, опасаясь сказать

---

[1]) Письмо Бакунина к царю и приложенная к нему „Записка“ (какая, неизвестно) были выкрадены из 3-й части дела III Отделения о Бакунине, хранящегося ныне в Государственном архиве. Документы эти были грубо вырваны из обложки, порванная нитка висела; похититель, уверенный в своей безнаказанности, не счел нужным даже скрыть следы своего преступления. Пропажа этого документа раскрылась в 1919 году, когда я в присутствии В. Н. Сторожева приступил к просмотру дела о Бакунине. Это показывает, как одно время охранялись у нас столь ценные исторические документы! Всеподданнейшее прошение Бакунина мне удалось раздобыть благодаря содействию тов. Зиновьева. Что содержалось в приложенной к прошению „записке“, я не знаю, но думаю, что эта была просто архивная справка обычно прилагающаяся при таких документах.

лишнее или не досказать нужного. Чувствую, что просьба моя к ГОСУДАРЮ написана неудовлетворительно. не полно, не ловко, может быть, и по форме не прилично; но сам исправить не в силах; только *искренность написанного — готов подтвердить клятвою и честным словом* [1]). От Вас зависит, Князь,—если Вам угодно будет оказать мне столь великодушное снисхождение,— исправить ее, сократить лишнее и, дополнив недостающее своим сильным словом, дать настоящее выражение моим искренним чувствам, не умеющим выразиться так, чтобы просьба моя нашла доступ к сердцу ГОСУДАРЯ.

«Не сомневаясь вообще в великодушном расположении Вашего Сиятельства помогать ближнему, я должен однако же, по собственной вине, сомневаться, захотите ли Вы оказать эту помощь *мне*. Это, без сомнения, зависит от степени доверия, какую я могу заслужить в мнении Вашем. Но чтобы убедить Вас в совершенной чистоте моих желаний и намерений, не имею другого способа, кроме *моего честного слова* [2]). Захотите ли Вы удовольствоваться им? Поверите ли Вы, что *честное слово свяжет меня так же крепко, как крепостные стены?*

«Князь! мне уже поздно возвращаться к деятельной жизни, если б я даже и желал того; силы мои сломаны; болезнь меня сокрушила; я желаю только умереть не в темнице. Поверьте, что *никогда не употреблю во зло ограниченной свободы, данной мне на честное слово* [3]); и не откажите в великодушном содействии Вашем, в счастливых последствиях коего для меня я никогда не подам Вам случая раскаиваться.

«Михаил Бакунин.

«14 февраля 1857 года».

А вот и самое письмо к царю:

«Ваше Императорское Величество,

«Всемилостивейший Государь!

«Многие милости, оказанные мне незабвенным и великодушным РОДИТЕЛЕМ ВАШИМ и ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ, ВАМ угодно ныне довершить новою милостью, мною не заслуженною, но принимаемою с глубокою благодарностью: позволением писать

---

[1]) Курсив мой.
[2]) Курсив Бакунина.
[3]) Курсив мой.

к ВАМ. Но о чем может преступник писать к своему ГОСУДАРЮ, если не просить о милосердии? Итак, ГОСУДАРЬ, мне дозволено прибегнуть к ВАШЕМУ МИЛОСЕРДИЮ, дозволено надеяться. Перед правосудием всякая надежда с моей стороны была бы безумием; но перед милосердием ВАШИМ, ГОСУДАРЬ, надежда есть ли безумие? Измученное, слабое сердце готово верить, что настоящая милость есть половина прощения, и я должен призвать на помощь всю твердость духа, чтобы не увлечься обольстительною, но преждевременною и, может быть, напрасною надеждою.

«Что бы, впрочем, меня ни ожидало в будущем, молю теперь о позволении излить перед ВАШИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ свое сердце, чтобы я мог говорить перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, так же откровенно, как говорил перед ПОКОЙНЫМ РОДИТЕЛЕМ ВАШИМ, когда ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ угодно было выслушать полную исповедь моей жизни и моих действий. Волю покойного ГОСУДАРЯ, переданную мне графом Орловым, чтобы я исповедался перед НИМ, как духовный сын исповедуется перед духовным отцом своим, я исполнил, не покривив душою, и хотя исповедь моя, написанная, сколько я помню, в чаду недавнего прошедшего, не могла по духу своему заслужить одобрения Государя, но я никогда, никогда не имел причины раскаиваться в своей искренности, а, напротив, ей одной, после собственного великодушия ГОСУДАРЯ, могу приписать милостивое облегчение моего заключения. И ныне, ГОСУДАРЬ, ни на чем другом не могу и не желаю основать надежду на возможность прощения, как на полной, искренней откровенности с моей стороны.

«Привезенный из Австрии в Россию, в 1851 году, и забыв благость отечественных законов, я ожидал смерти, понимая, что заслужил ее вполне. Ожидание это не сильно огорчило меня: я даже желал скорее расстаться с жизнью, не представлявшей мне ничего отрадного в будущем. Мысль, что я жизнью заплачу за свои ошибки, мирила меня с прошедшим, и, ожидая смерти, я почти считал себя правым.

«Но великодушию покойного ГОСУДАРЯ угодно было продлить мою жизнь и облегчить мою судьбу в самом заключении. Это была великая милость, и однако же милость ЦАРСКАЯ обратилась для меня в самое тяжелое наказание. Простившись с жизнью, я должен был снова к ней возвратиться, чтобы испытать, во сколько раз моральные страдания сильнее физических.

Если бы заключение мое было отягчено строгостью, сопряжено с большими лишениями, я, может быть, легче перенес бы его, но заключение, смягченное до крайних пределов возможности, оставляя мысли полную свободу, обратило ее в собственное свое мучение. Связи семейные, которые я считал навек прерванными, возобновленные милостивым позволением видеться с семейством, возобновили во мне и привязанность к жизни; ожесточенное сердце постепенно смягчалось под горячим дыханием родственной любви; холодное равнодушие, которое я принимал сначала за спокойствие, постепенно уступало место горячему участию к судьбе давно потерянного из виду семейства. и в душе пробудилась, вместе с сожалением об утраченном счастии мирной, семейной жизни, глубокая, невыразимо мучительная скорбь о невозвратной, собственною виною безумно разрушенной возможности сделаться когда-нибудь, наравне с пятью братьями, опорою своего родного дома, полезным и дельным слугою своего ГОСУДАРСТВА. Завещание умирающего отца, которого я не переставал любить и уважать всем сердцем, даже и в то время, когда поступал совершенно вопреки его наставлениям; его последнее благословение, переданное мне матерью, под условием чистосердечного раскаяния, встретило во мне уже давно тронутое и готовое сердце.

«ГОСУДАРЬ! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти: это смерть при жизни, сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревенеешь, дряхлеешь, глупеешь, и сто раз в день призываешь смерть как спасение. Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну несомненную и великую пользу: оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собою. В шуме света, в чаду происшествий легко поддаешься обаянию и призракам самолюбия; но в принужденном бездействии тюремного заключения, в гробовой тишине беспрерывного одиночества долго обманывать себя невозможно: если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в ее настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачем, и сколь бы тягостна ни была беспощадная беседа с собою о самом себе, сколь ни мучительны мысли, ею поро-

ждаемые,—раз начавши ее, ее уж прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

«ГОСУДАРЬ! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением. Однако я не был ни своекорыстен, ни зол, я горячо любил добро и правду и для них был готов пожертвовать собою; но ложные начала, ложное положение и грешное самолюбие вовлекли меня в преступное заблуждение, а раз вступивши на ложный путь, я уже считал своим долгом и своею честью продолжать его до-нельзя. Он привел и ввергнул меня в пропасть, из которой только всесильная и спасающая длань ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА меня извлечь может.

«Стою ли я такой милости? На это я могу сказать только одно: в продолжение восьмилетнего заключения, а особливо в последнее время я вынес такие муки, которых прежде не предполагал и возможности. Не потеря и не лишение житейских наслаждений терзали меня, но сознание, что я сам обрек себя на ничтожество, что ничего не успел совершить в жизни своей, кроме преступления, не сумев даже принесть пользу семейству, не говоря о уже о великом отечестве, против которого я дерзнул поднять крамольно бессильную руку; так что самая милость ЦАРСКАЯ, самая любовь и нежные попечения моих родителей обо мне, ничем мною не заслуженные, превращались для меня в новое мучение: я завидовал братьям, которые делом могли доказать свою любовь матери, могли служить ВАМ, ГОСУДАРЬ, и России. Но когда, по призыву ЦАРЯ, вся РУСЬ поднялась на соединенных врагов; когда вместе с другими ополчились и мои пять братьев и, оставив старую мать и малолетние семьи, понесли свои головы на защиту родины: тогда я проклял свои *ошибки и заблуждения и преступления* [1]), осудившие меня на постыдное, хотя и принужденное, бездействие в то время, когда я и мог бы, и должен бы был служить ЦАРЮ и Отечеству, тогда положение мое стало для меня невыносимо, тоска овладела мною, и я молил одного: или свободы, или смерти.

«ГОСУДАРЬ! Что скажу еще? Если бы я мог сызнова начать жизнь, то повел бы ее иначе, но—увы!—прошедшего не воротишь! Если бы я мог загладить свое прошедшее делом, то

---

[1]) Подчеркнуто красным карандашом в оригинале (вероятно, царем).

умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устрашился бы спасительных тягостей очищающей службы; я рад был бы омыть потом и кровью свои преступленья. Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний: болезнь сделала меня никуда и ни на что негодным. Хотя я еще и не стар годами, будучи 44 лет, но последние годы заключения истощили весь жизненный запас мой, сокрушили во мне остаток молодости и здоровья: я должен считать себя стариком и чувствую, что жить мне остается недолго. Я не жалею о жизни, которая должна бы была протечь без деятельности и без пользы; только одно желание еще живо во мне: последний раз вздохнуть на свободе, взглянуть на светлое небо, на свежие луга, увидеть дом отца моего, поклониться его гробу и, посвятив остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти.

«Перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, мне не стыдно признаться в слабости, и я откровенно сознаюсь, что мысль умереть одиноко в темничном заключении пугает меня, пугает гораздо более, чем самая смерть; и я из глубины души и сердца молю ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО избавить меня, если возможно, от этого последнего, самого тяжелого наказания.

«Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно заранее ему покоряюсь, как вполне справедливому, и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед ВАМИ, ГОСУДАРЬ, чувство глубокой благодарности к Вашему НЕЗАБВЕННОМУ РОДИТЕЛЮ и ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ за все мне оказанные милости.

«Молящий преступник
«Михаил Бакунин.

«14 февраля 1857 года».

«Искреннее» и «чистосердечное» раскаяние Бакунина подействовало и на Александра II. Царь, до тех пор упорно отказывавшийся облегчить положение Бакунина, на этот раз поддался. Прочитав «с благоволением» письмо узника, Александр II согласился смягчить его участь, заменив ему заключение в крепости ссылкою в Сибирь на поселение [1]). Тогда Бакунину и был

---

[1]) На прошении Бакунина Александр II написал: „Другого для него исхода не вижу, как ссылку в Сибирь на поселение“. Совсем освободить его, как просил Бакунин, царь не хотел и теперь.

предоставлен выбор: или остаться в крепости, или воспользоваться царской милостью. Бакунин избрал последнее. В это время он сильно страдал от цынги.

Бакунин, письменно поблагодарив кн. Долгорукова, 22 февраля 1857 г. просил разрешения провести перед ссылкой один день в Твери или Торжке с родными, а также повидаться с братьями, которые окажутся в Петербурге. Приводим и это письмо к шефу жандармов, характерное для тогдашнего настроения Бакунина.

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО!

«С благоговением принимаю милость ГОСУДАРЯ и покоряюсь ЕГО решению, которое, если и не вполне соответствует безумным надеждам и желаниям больного сердца, однако далеко превосходит то, чего я благоразумно и по справедливости ожидать был вправе. Не знаю, долго ли плохое здоровье и одряхлевшие силы позволят мне выдержать новый род жизни; но сколько бы мне суждено ни было еще прожить, и как бы тесен ни был круг, окончательно мне предназначенный, я постараюсь доказать всею остальною жизнию своею, что при всей великой грешности моих заблуждений, *несмотря на важность преступлений, мною совершенных* [1]), во мне никогда не умирало чувство искренности и чести. Из глубины сердца приношу Вашему Сиятельству благодарность за великодушное и скорое ходатайство, вследствие которого я, по милости ЦАРСКОЙ, все-таки умру не в тюрьме, а на вольном воздухе, хоть умру в одиночестве.

«Теперь же, надеясь на человеколюбивое снисхождение Ваше, мне вновь столь живо доказанное, осмелюсь ли приступить к Вашему Сиятельству с новой и последнею просьбою?

«Почти без всякой веры в возможность успеха решаюсь однако просить о позволении заехать, по дороге в Сибирь, в деревню матери, расположенную в 30 верстах от города Торжка в Тверской губернии,—заехать на сутки или даже хоть на несколько часов, чтобы там поклониться гробу отца и обнять в последний раз мать и все семейство *дома*. Я чувствую, сколь просьба моя неправильна и сколь просимая мною милость противоречит установленному порядку; но ведь для ЦАРЯ все возможно,—а для меня, хоть и не заслуживающего столь чрезвычайной милости, она будет огромным и последним утешением. Мне кажет-

---

1) Курсив Бакунина.

ся, что, побывав хоть одну минуту дома, я наберусь там доброго чувства и сил на всю остальную, невеселую жизнь.

«Если же это невозможно, то не будет ли мне разрешено увидеться и провести день со всем, наперед о том предуведомленным, семейством проездом в Твери? Мать стара, и ей трудно, да к тому же теперь было бы и слишком грустно ехать в Петербург; а между сестрами и братьями есть пять человек, с которыми я не видался со времени моего злополучного от'езда за границу, т.-е. с 1840 года.—Невыразимо тяжко было бы мне уехать в Сибирь, не повидавшись с ними в последний раз.

«Наконец, еще прежде этого свидания в Торжке или в Твери, не дозволено ли мне будет увидеться с теми из братьев, которые будут находиться в Петербурге? Я бы просил их о снабжении меня некоторыми необходимыми вещами на дорогу и на первое время жительства. На мне нет никакой одежды; нового я, разумеется, не шил, а те из старых платьев, которые устояли против восьмилетнего разрушения, уже нисколько не соответствуют моему настоящему социальному положению.

«Теперь мне остается только просить Ваше Сиятельство положить к подножию ПРЕСТОЛА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА выражение тех искренних и глубоких чувств, с которыми я принимаю ЕГО ЦАРСКУЮ милость,—а Вам самим из'явить сожаление о том, что мне никогда не будет суждено доказать Вашему Сиятельству свою благодарность и почтительную преданность.

«Михаил БАКУНИН.

«22 февраля 1857 года».

Одновременно Бакунин написал следующее письмо брату Алексею:

«Любезный Алексей!—Третьего дня я получил, через здешнего коменданта, от князя Долгорукова, об'явление о том, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, тронутый моим раскаянием и снисходя на мою просьбу, Всемилостивейше изволил смягчить мое наказание заменою крепостного заключения ссылкой на поселение в Сибирь, предоставляя мне однако право остаться на прежнем основании в крепости,—я, разумеется, принял Высочайшую милость с глубокой благодарностью, ибо вижу в оной действительное и большое облегчение своей участи.—Одно меня печалит глубоко: с маменькою и с Вами мне придется проститься навеки; но делать нечего,—я должен безропотно покориться судьбе, мною

самим на себя накликанной.—Теперь у меня остается одно желание: увидеться со всеми Вами в последний раз и проститься с Вами хорошенько. Надеюсь, что ты получишь это письмо довольно во-время, чтоб успеть присоединить свою просьбу о том к моей просьбе: надеюсь также, что мне дозволено будет проститься с нашей милой и героической монашенкой, с сестрою Катей Бакуниной [1]). Не огорчайся, Алексей, и если маменька и сестры будут слишком горевать обо мне, утешь их,—там, на просторе, мне будет лучше.

«Твой М. БАКУНИН.

«1857 года 23 февраля».

Эти просьбы Бакунина, хотя и выходившие за пределы тогда дозволенного, также были удовлетворены. 5 марта вечером Бакунин был перевезен из крепости в III Отделение, а 6 марта ему дано было свидание с сестрой и братом Алексеем. 8 марта Бакунина отправили из Петербурга в вагоне III класса, переделанном из товарного, с поездом из порожних вагонов. В Осташкове он пересел с конвоем в почтовую телегу, на которой и прибыл в Премухино, где ему разрешено было провести сутки. После этого приказано было безостановочно следовать на почтовых в Омск.

В Премухине Бакунин пробыл ровно сутки. Хотя вся семья была в сборе и хотя столь долгожданное свидание с родными должно было, казалось бы, доставить Бакунину большую радость, но он, по сообщению А. Корнилова, видимо получившего эти сведения от членов семьи Бакунина, был мрачен. Более того, он, который так любил поговорить и принужден был в течение стольких лет отказываться от этого удовольствия, был странно молчалив, ни с кем не вел особенных разговоров, даже с любимицей своей Татьяной, а большую часть времени провел за игрою в дурачки с нянюшкой Ульяной Андреевной. Чем об'яснялось мрачное настроение Бакунина—перспективою ли сибирской ссылки или грызущим воспоминанием о тех унижениях, с которыми связано было его освобождение из крепости, и притом столь ограниченное,—мы решать не беремся. Но ясно, что, добившись наконец после долгих усилий выхода из темницы, Бакунин далеко не торжествовал и не чувствовал себя победителем. А, может быть, его пугала предстоящая жизнь на воле после стольких лет

---

[1]) Это та самая Екатерина Бакунина, о которой мы говорили выше.

тюремного заключения. У многих узников после длительного пребывания в неволе возникает такая «боязнь пространства», такой страх перед забытою вольной жизнью. И не это ли чувство выразил Бакунин в своем первом письме из Сибири к матери, написанном в Омске 29 марта 1857 года, когда он говорил: «Как-то дико еще является мне мысль о своей собственной жизни,—так в продолжение восьмилетнего уединения отвык я от всякого самостоятельного существования»? [1]).

7. В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

На другой же день по прибытии в Омск, куда Бакунин приехал 28 марта 1857 года, он написал шефу жандармов новое письмо, составленное приблизительно в прежнем духе.

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО!

«Пользуясь от'ездом поручика Медведева, беру смелость писать к вам еще раз для того, чтоб в последний раз благодарить Ваше Сиятельство за могучее ходатайство, спасшее меня от крепостного заключения, и за то великодушное снисхождение, которое я имел счастие испытать в продолжение моего кратковременного пребывания в Третьем Отделении и которое сопутствовало мне до самого Омска, в лице поручика Медведева. Не мне отзываться и рассуждать об офицерах, подчиненных Вашему Сиятельству, но не могу умолчать о том, до какой степени я был тронут добродушным и внимательным обхождением поручика Медведева, который умел соединить строгое исполнение возложенного на него долга с столь благородною деликатностью, что я, вполне сознавая свою зависимость от него, ни разу не имел случая ее почувствовать. В назначении его моим сопутником в Сибирь я не мог не видеть продолжения той широкой, благородної, истинно-русской доброты, которая вызвала меня из смерти к новой, правильной жизни, и которая, смею надеяться, Ваше Сиятельство, не оставит меня в дальнем заточении.—Смею ли просить Ваше Сиятельство переслать приложенное письмо к матери? Оно хоть несколько успокоит ее. Вас же прошу принять из'явление тех искренних и глубоких чувств, для которых у меня, право, недостает выражений. «МИХАИЛ БАКУНИН.

«Город ОМСК.
«1857 года 29 марта».

---

[1]) См. „Былое", № 3 (31), 1925 г., стр. 20.

Можно ли всерьез говорить о раскаянии Бакунина? Конечно, нет. Он мог разочароваться во многом, в своих розовых надеждах, в избранных им средствах борьбы, может быть, даже на время (под влиянием полного разгрома революции в Европе и отсутствия революционного движения в России) в революционных путях вообще. Но что Бакунин по-прежнему ненавидел порабощение и эксплуатацию человека человеком, что он в особенности ненавидел гнусный российский деспотизм и сочувствовал трудящимся массам, в этом не может быть сомнения, да это мы вдобавок знаем из его записок, переданных сестре на свидании в крепости. Почему же он счел нужным и возможным каяться перед своими душителями? На этот вопрос могут быть два ответа.

Во-первых, возможно, что Бакунин уже тогда думал о побеге и о новом участии в революционной борьбе. Ведь даже сквозь толстые тюремные стены к нему не могли не проникать вести о Крымской войне (из-за которой его и перевезли в Шлиссельбург), о ее исходе и о начавшемся вследствие этого общественном оживлении. Чтобы приобщиться к разгоревшейся борьбе, ему нужно было прежде всего вырваться из крепостной неволи. А что для этого приходилось покривить душой и сделать «медведю» еще одну «формальную» уступку, это обстоятельство меньше всего могло остановить Бакунина. Вообще не очень-то разборчивый в средствах, он по отношению к врагам считал допустимым совсем не церемониться. И вот он решил обмануть царя и жандармов, чтобы приблизиться к желанной воле. За такое об'яснение его действий говорят и его секретные записки из крепости, приведенные нами выше.

Но такое об'яснение не вполне отвечает положению дел. Изучение всех документов, относящихся к периоду крепостного заточения Бакунина, делает не менее вероятной и другую гипотезу. Бакунин временно действительно разочаровался в революции в том смысле, что считал ее в ближайшее время мало вероятной. С другой стороны, заключение подействовало разрушительным образом на его здоровье, а отчасти и на психику, ибо по самим свойствам своего темперамента Бакунин был не такой человек, который был способен вынести слишком долгое сидение в тюрьме. Усталый и больной, он, возможно, просто рвался на волю, хотя бы к «ограниченной свободе». Ему хотелось просто пожить спокойной обывательской жизнью. Может быть, он надеялся, что со временем ему разрешено будет возвращение в Россию, в милое

Премухино, где он будет снова жить среди родной семьи, в уютном помещичьем доме, в халате, с чубуком в руках, читать газеты, просвещать и наставлять соседей и заезжих приятелей, вспоминая с ними минувшие дни и споря целые ночи напролет о судьбах человечества, философии и пр. И такое предположение ничуть не противоречит тому, что Бакунин говорил в своих записочках, переданных сестре на свидании. Ведь эти записочки были написаны в 1854 году, а с тех пор прошло еще три долгих мучительных года, в течение которых европейская реакция не ослабевала, а усиливалась, и в течение которых здоровье Бакунина и его самочувствие расстроились окончательно. Наконец, и в этих записочках он, подчеркивая верность своим убеждениям, прибавляет, что жизненный опыт его умудрил, и что впредь он будет действовать несовсем по старым методам.

Какое из этих двух предположений вернее, вряд ли удастся когда-либо разрешить, ибо только Бакунин мог бы раз'яснить эту загадку; но он никогда и ни с кем не заговаривал о действительных условиях своего освобождения из крепости, а потому не мог об'яснить и тех планов, которые он непосредственно связывал тогда с выходом из тюрьмы. Эту тайну он унес с собой в могилу. Русское правительство также сочло более для себя удобным хранить об этом полное молчание [1]), и только после революции, раскрывшей тайники политической полиции, стала известна эта неожиданная страница в биографии Бакунина.

Так или иначе, но он вырвался из постылой крепости, и теперь открывается новая полоса в его существовании—период жизни в сибирской ссылке.

Сначала Бакунин был назначен в Кийский округ Томской губернии, затем для житья ему была назначена Нелюбинская волость Томского округа, но, в конце концов, по болезни он был оставлен в самом Томске. Здесь он прожил около двух лет, познакомился с семьей проживавшего там поляка, Ксаверия Квятковского [2]), на дочери которого, Антонии, женился в конце 1858 года.

---

[1]) Был момент (в 1863 г.), когда русское правительство хотело было опубликовать всю эту историю для скомпрометирования Бакунина, но раздумало. Об этом см. во втором томе нашей работы.

[2]) Вопреки общераспространенному мнению, повторяемому обычно в биографиях Бакунина, Ксаверий Квятковский вовсе не был ссыльным. Он приехал в Сибирь добровольно по своим коммерческим делам. В справке III Отделения, составленной после побега Бакунина

О жизни Бакунина в Томске мы находим некоторые сведения в книге «Город Томск» [1]) и в брошюре Б. Кубалова [2]).

В Томске Бакунин сначала поселился в доме мещанина Бардакова (сам Бакунин в письме из Томска 1859 г. называет его Бородуковым). Старики очень полюбили своего квартиранта, который умел завоевать симпатии простых людей. «Вот ума палата,—говаривал о нем старик Бардаков,—был бы генералом», не сознавая, что Бакунин и без того генерал от революции. Повидимому, Бакунин в Томске не испытывал материальной нужды: надо полагать, что родные ему помогали. По крайней мере, в течение своего пребывания в Томске Бакунин ни разу не обращался за казенным пособием, отпускавшимся политическим ссыльным в размере 114 рублей 28½ копеек ежегодно. В следующем 1858 г. он даже приобрел собственный деревянный дом—возможно, в виду предстоявшей женитьбы.

Адрианов высказывает предположение, что «этот ветеран революции,... попавши в Томск, видимо угомонился и захотел, наконец, подумать о своей личной жизни, об устройстве своего гнезда. Заживись он здесь, он, несомненно, при его уме, широком образовании и необычайной энергии оставил бы в жизни захолустного в то время Томска крупный след своего пребывания... Но случилось иначе. Пребывание Бакунина в Томске носит характер лишь эпизода из его личной жизни, без особенно заметного значения в общественном смысле». То же самое можно, впрочем, сказать обо всей сибирской жизни Бакунина. Но это, вероятно, об'ясняется именно тем, что Бакунин смотрел на свое пребывание в Сибири как на кратковременный эпизод своей жизни и с первой же минуты не переставал мечтать об освобождении из ссылки, мало интересуясь поэтому местными делами.

из Сибири, о К. Квятковском сказано: „белорусский дворянин, занимающийся в Сибири по делам золотопромышленника Асташева“. А в показаниях, снятых с жены Бакунина перед от'ездом ее за границу к мужу, дочь Квятковского пишет: „Отец мой, белорусский дворянин Квятковский, живет в Иркутске (он переехал туда из Томска.—*Ю. С.*), занимается делами Бенардаки (известного откупщика, у которого одно время. как увидим ниже, служил и Бакунин.— *Ю. С.*), а прибыл в Сибирь по делам Асташева“ („Дело“ о Бакунине. ч. 4).

[1]) „Г. Томск“. Изд. Сибирского Т-ва Печатного Дела в Томске. Томск, 1912 (приложение к газете „Сибирская Жизнь“ за 1912 год). Статья *А. В. Адрианова*—„Томская Старина“, стр. 122—126.

[2]) *Б. Кубалов* — „Страницы из жизни М. А. Бакунина и его семьи в Сибири“. Иркутск, 1923.

Купив домик, Бакунин старался получше устроить свой уголок, предназначенный, видимо, для молодой жены. Для этого Бакунин пригласил садовника, который разбил на склоне усадьбы цветник, провел дорожки, а нижнюю часть засадил деревцами [1]). После женитьбы Бакунин прожил в Томске еще несколько месяцев, но, как сообщает Адрианов, Бакунины и теперь не принимали участия в общественной жизни Томска. Однако они не жили замкнутой жизнью, и дом их всегда был открыт для известного круга избранных. Между прочим часто бывал у Бакуниных заехавший в 1858 году в Томск Г. Н. Потанин, в жизни которого Бакунин сыграл немалую роль.

Задумав поездку в Петербург для поступления в университет, Потанин, в то время юный казачий офицер, а впоследствии известный этнограф и общественный деятель, обратился за поддержкой к своему родственнику, немцу Гильзену фон-Мершейду, работавшему по золотопромышленным делам. Последний направил его к своему знакомому М. А. Бакунину. Бакунин радушно принял молодого сибиряка, одобрил его план и принял деятельное участие в снаряжении не имевшего средств молодого человека, «сибирского Ломоносова», как он его называл. Он достал для него денег у золотопромышленника Асташева, устроил ему даровое путешествие при караване с золотом и снабдил его письмом к Каткову [2]). По рассказу Потанина, Катков был чрезвычайно обрадован (?) письмом и вестью о Бакунине. Он пригласил Потанина обедать и созвал своих друзей, которые одновременно с ним и с Бакуниным слушали лекции в Берлине. Катков им говорил, что Мишель остался все тем же крепким духом человеком. «А что, у него все такая же грива?»—интересовался Катков. «Нет, у него теперь лысина до половины головы»,—отвечал Потанин к огорчению своих собеседников [3]).

Очутившись в Томске, Бакунин сразу начал делать попытки к тому, чтобы расширить свою клетку и добиться свободного передвижения по Сибири. Думал ли он уже тогда о побеге, неизве-

---

[1]) Ирония судьбы захотела, чтобы впоследствии на месте усадьбы Бакунина выстроен был каменный дом, где в 1912 г. помещалось... губернское жандармское управление.

[2]) Это письмо мы в выдержках приводим ниже.

[3]) Потанина Бакунин рекомендовал также своим двоюродным сестрам Екатерине и Прасковье Михайловне Бакуниным в письме, написанном из Томска зимою 1859 г. (незадолго до своего от'езда в Иркутск).

стно; но оставаться надолго прикованным к Томску, который в рассматриваемое время был довольно захолустным уголком, он не хотел. При проезде через Томск начальника 8-го округа корпуса жандармов г.-м. Казимирского Бакунин, ссылаясь на свое стесненное материальное положение, просил исходатайствовать для него право раз'езда по Сибири, без чего он не может-де ни найти частной службы, ни заняться торговым или промышленным делом. Вот что писал Бакунин:

«Ободренный снисходительным приемом, встреченным мною у Вас, в г-де Томске, решаюсь прибегнуть к Вам с покорною просьбою, в надежде, что вы не откажетесь быть моим ходатаем перед высшим начальством.

«Милость ГОСУДАРЯ возвратила мне волю и жизнь;—пользуясь чистым воздухом, свободным движением и ободренный мыслию, что могу хоть в некоторой мере загладить прошлое, я окреп здоровьем и духом. Теперь мне нужно *дело* и сознание, что остальные дни моей жизни не протекут бесполезно для семейства и общества; мне нужно дело собственно для моего духовного здоровья, для внутреннего, равно как и для внешнего соблюдения моего личного человеческого достоинства. Вашему Превосходительству известно, что во всяком возрасте и во всяком положении бездействие—плохой советник.

«Наконец, занятия необходимы мне и как средство для жизни, для того, чтобы я мог освободить многочисленное и небогатое семейство свое от бремени, наложенного на него моею продолжительною и невольною беспомощностью: вот уже более восьми лет, как оно содержит меня без всякого вознаграждения с моей стороны, да и вся жизнь моя, преданная отвлеченностям и запутавшаяся окончательно в противозаконных направлениях, протекала доселе без всякой для него пользы. Я сгубил свою судьбу, уничтожил для себя безвозвратно всякую возможность полезного служения ГОСУДАРЮ и Отечеству,—безвозвратно, ибо я уже не молод, мне скоро минет 45 лет, так что. если бы даже неистощимая милость ГОСУДАРЯ дозволила мне со временем снова вступить в государственную службу, то и тогда бы я не мог более надеяться принесть или приобрести малейшую пользу [1]). Итак, мне остается одно: посвятить остальные дни свои пользе семейства,—стараясь

---

[1]) Эти слова показывают, что Бакунин ни за что не хотел поступить на государственную службу.

прежде всего освободить его от тягости своего содержания, хоть и небольшого, но для него значительного, а потом, если мне дастся на то возможность, и если Богу будет угодно благословить труд мой, возблагодарить его хоть в малой степени за всю его любовь ко мне, столь мало мною заслуженную, и за его безвозмездные жертвы.

«Сибирь, если не ошибаюсь, открывает передо мною, для исполнения сей цели, широкое поле. Сибирь—благословенный край, хранящий в себе богатства неиссякаемые, необ'ятные, свежие силы, великую будущность и представляющий ныне для умственных, равно как и для материальных интересов предмет неистощимый. Сибирь может обновить человека, она как будто дана Провидением России для воссоздания судьбы, достоинства и счастия тех из заблудших сынов ее, которые, посреди своих преступных заблуждений, сохранили еще в себе довольно силы и воли для новой, правильной жизни. Таково было мое первое впечатление, еще более укрепившееся во мне пристальным, хоть и недолговременным и необширным изучением этого края, и таковы мои желания и мои надежды.

«Но осуществить их я до тех пор не буду в силах, пока ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР новою милостью не соблаговолит устранить от меня те препятствия, которые ныне меня связывают. По существующему законоположению ни один государственный преступник не может удалиться от места своего поселения далее, чем на 30 верст, без особенного на то Высочайшего разрешения; таким образом, всякое полезное предприятие, торговое или промышленное, всякая служба по частным делам становятся для него невозможными. Кроме того, особенною инструкцией воспрещается политическим поселенцам искать занятий по делам золотопромышленности; но в настоящее время в Сибири для человека, не имеющего собственного капитала, есть только два занятия: по откупам или по золотопромышленности. По откупам вряд ли порядочный человек, с благородными чувствами и щекотливой совестью, решится искать службы;—в них слишком много грязи. В золотопромышленности же, напротив, я думаю, можно умною и честною службою не только достигнуть пользы для себя, но и принесть даже общественную пользу, подавая пример приобретения без обмана и без противозаконного утеснения рабочего класса. Я бы с радостью и со всем присущим во мне жаром бросился в такую деятельность, если бы имел на то возможность и право:

возможность беспрепятственно раз'езжать по Сибири и право, под своим собственным именем, заниматься делами.

«Но каким образом их достигнуть? Просить о новой милости ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, уже раз столь неожиданно и столь великодушно меня облагодетельствовавшего, я не смею,—и потому решаюсь прибегнуть к предстательству Вашего Превосходительства, надеясь, что Вы не откажетесь замолвить за меня доброе слово Его Сиятельству Князю ДОЛГОРУКОВУ, ходатайству которого я уже обязан свободою. Теперь я прошу о довершении этой свободы, о возвращении жизни моей, с возможностью дела, смысла, достоинства и содержания. прошу, одним словом. о позволении сделаться человеком полезным.

«Не мне судить о том, заслужил ли я, в короткое время моего пребывания в Сибири, доверие Вашего Превосходительства, и достоин ли я новой ЦАРСКОЙ милости. Могу сказать только одно: желания и чувства, мною здесь высказанные, искренни, и всею остальною жизнию постараюсь я доказать чистоту своих намерений и глубину своей благодарности моему Благодетелю—ГОСУДАРЮ.

«Еще раз предав судьбу свою в руки Вашего Превосходительства и в крепкой надежде на Вашу помощь, прошу Вас принять уверение в моей почтительной преданности.

«Михаил Бакунин.

«1857-го года 12 августа.

«Г—д ТОМСК».

Казимирский передал просьбу ссыльного своему шефу, присовокупив от себя, что, по собранным им сведениям, Бакунин, «чистосердечно и глубоко раскаиваясь в прежнем преступлении, чувствует все милосердие над собою Государя Императора и поведением своим заслужил общую похвалу в городе». Но шеф жандармов не признал в тот момент возможным разрешить Бакунину раз'езды по Сибири, указав, что занятия он может найти в самом Томске.

Атака на III Отделение не прекращалась. 16 апреля 1858 г. генерал-губернатор Западной Сибири Гасфорд сообщил министру внутренних дел, что за все время пребывания в ссылке Бакунин вел себя вполне безукоризненно, постоянно обнаруживал «самый скромный образ мыслей» и «искреннее раскаяние в своих заблуждениях». Признавая на этом основании, что Бакунин заслуживает

облегчения своей участи и желая дать ему возможность «употребить дарования свои на пользу отечества», Гасфорд просил министра исходатайствовать у царя дозволение на определение Бакунина в гражданскую службу... канцелярским служителем без возвращения ему дворянства и с оставлением под полицейским надзором. 24 мая шеф жандармов уведомил Гасфорда, что Александр II разрешил Бакунину, по примеру других политических преступников, поступить на гражданскую службу писцом 4 разряда. Вот каким образом царь думал использовать дарования Бакунина для любезного отечества!

Но надеть чиновничью кокарду, даже в высоком звании писца 4-го разряда, Бакунин не хотел. Тем более, что, как он прекрасно понимал, вступление на государственную службу еще сильнее привязало бы его к месту. А он все еще надеялся раздвинуть свою клетку. Очень возможно, что и на женитьбу его не осталась без влияния надежда, что *таким путем ему удастся легче добиться права раз'езда по Сибири.*

В каком настроении, далеком от былой революционной горячки, находился тогда Бакунин, видно из его письма к матери от 28 марта 1858 года, в котором он испрашивал родительского благословения на вступление в брак. «Благословите меня без страха,—писал временно угомонившийся бунтарь:—мое желание вступить в брак да служит вам новым доказательством моего обращения к истинным началам положительной жизни и несомненным залогом моей твердой решимости отбросить все, что в прошедшей моей жизни так сильно тревожило и возмущало ваше спокойствие. За будущее я не боюсь—у меня есть голова, воля, достанет и уменья».

Нужно, впрочем, не забывать, во-первых, что Бакунин знал, что письма его читаются жандармами, и потому сознательно придавал им «благонамеренный» характер [1]), а во-вторых, что он хотел утешить и успокоить старую мать, которой доставил

---

[1]) Действительно это письмо к матери было в выдержках скопировано III Отделением (копия вшита в дело о Бакунине). Что он писал в расчете на любознательность жандармов, видно из некоторых мест письма, обращенных не столько к матери, сколько к голубым мундирам. „Связанный по рукам и ногам недоверием начальства, на которое жаловаться не могу, потому что оно вполне мною заслужено... С полною верою предаюсь благодушию правительства, которое, раз спасши меня от крепостной смерти, не откажет мне теперь в средствах начать новую жизнь и не воспрепятствует мне искать нового

столько страданий, и подбавлял в свои письма «благонамеренности» и «положительности» и на ее долю (сверх жандармской). К счастью, как мы увидим, не надолго хватило у него этой «положительности», и «обращение» его к «истинным началам» оказалось недолговечным. Как только пахнуло свежим ветерком политического оживления, орел расправил опустившиеся было крылья.

Но, пока что, Бакунин собирался жениться и стать благоразумным семьянином. Тогда ему казалось, что жена его разделяет и сердцем, и мыслями все его стремления; особенно его прельщало то, что она была «славянской патриоткой».

В цитированном письме к Герцену от 8 декабря 1860 г. Бакунин пишет:

«Там (в Томске) прожил я около двух лет, познакомился с милым польским семейством, отец которого, Ксаверий Васильевич Квятковский, служит по золотопромышленности. В версте от города, на даче или, как говорится в Сибири, на заимке Астангово жили они в маленьком домике тихо и по-старосветски. Туда стал я ходить всякий день и предложил учить французскому языку и другому двух дочерей, сдружился с моею женой, приобрел ее полную доверенность,—я полюбил ее страстно, она меня также полюбила,—таким образом, я женился и вот уже два года женат и вполне счастлив. Хорошо жить не для себя, а для другого, особенно, если этот другой—милая женщина,—я отдался ей весь, она же разделяет и сердцем, и мыслью все мои стремления. Она полька, но не католичка по убеждениям, поэтому свободна также и от политического фанатизма; она—славянская патриотка».

Впоследствии ему пришлось в этом отношении сильно разочароваться и убедиться, что подруга его жизни совершенно не интересуется его общественными делами. «Она у меня глупенькая и совсем не разделяет моих убеждений,—говорил он в 1866 г. Вырубову,—но она очень мила, чрезвычайно добра и отлично переписывает мне важные рукописи, когда мне нужно, чтобы не узнавали мой почерк».

счастья на пути законном, правильном и полезном“. Намек на просимую им свободу раз'езда по Сибири. Как мы видим, Бакунин рассчитывал, что женитьба повысит доверие к нему начальства, и что с ее помощью ему легче будет добиться свободы передвижения. Отчасти его расчеты оправдались. Самый побег его был облегчен его семейным положением. Корсаков не так бы легко выпустил его из Иркутска, если бы Бакунин не сослался на то, что оставляет в его руках любимую жену (см. ниже).

«Как он дошел до женитьбы,—пишет Герцен в своей известной статье «М. Бакунин и польское дело»,—я могу об'яснить только сибирской скукой». Герцен указывает при этом на цыганские привычки, студенческие замашки и беспорядочный образ жизни, сохраненные Бакуниным после женитьбы. Но тут есть и другая сторона, уже отмеченная нами в первой главе: вообще половой момент в жизни Бакунина не играл никакой роли. Сомнительно даже, было ли ему вообще знакомо это чувство. Вся энергия этого колоссального организма уходила на работу мысли и на снедавшую его лихорадочную деятельность. Впоследствии жена его довольно открыто жила с Гамбуцци, одним из его итальянских последователей, и все дети родились у нее от этого Гамбуцци.

Наблюдавшая жизнь Бакунина в Лугано в 1876 году молодая русская революционерка Вебер, впоследствии написавшая интересные воспоминания о последнем времени его жизни под псевдонимом А. Баулер [1]), так говорит об отношениях между М. А. и его женой: «Мудрено было понять, что связывало в настоящем и прошлом этих двух людей: из ряда вон умного, блестящего старика и лишенную всякого умственного интереса, совсем еще, даже в ту минуту, молодую женщину. Бывают браки, где различие возраста сглаживается общностью умственных интересов, созвучием нравственных сторон. Но и время даже не сгладило глубокой розни между М. А. и его женой. Иногда он говорил ей вещи прямо непонятные, указывающие на полное к ней неуважение. Помню, как однажды она высказала неодобрительное мнение о ком-то из русских революционеров. Бакунин резко перебил ее заявлением, что она в этом ничего не понимает, и тут же, обращаясь ко мне, сказал: «Антония Ксаверьевна во всю свою жизнь не прочла ни одной серьезной книги. Впрочем, нет,—поправился он,—самая серьезная книга, которую она прочла, была «Les causes célèbres» [2]), да и то потому, что она была с картинками»... На такие выходки А. К. не обращала внимания, вздергивала свою тонко-скульптированную голову не то презрительно, не то совершенно равнодушно, смотрела в сторону и молчала. Но зато, если Антонии Ксаверьевне нужно было заставить Бакунина сделать что-нибудь, особенно если ей нужно было отстранить кого-нибудь от Бакунина, она была, можно сказать, всесильна. Скоро по одному тем-

---

[1]) „Былое“, 1907, июль.
[2]) „Знаменитые процессы“.

ру ее голоса я уже догадывалась, что ей надобно чего-то добиться от М. А. Знал это, по крайней мере инстинктивно, и Бакунин. Он в этом случае всегда раздражался, становился с нею резок. Но если не в эту минуту, то позднее какая-то таинственная сила приводила его именно к тому решению, какое нужно было для А. К. Бакунин властно приказывал ей тогда поступать именно так, как ей хотелось, а А. К. подчинялась этому приказанию покорно и с видом равнодушия».

Интересно, что когда Бакунин сообщил родителям А. Квятковской о своем намерении жениться на ней, старик решительно этому воспротивился, так как не хотел выдать свою дочь за ссыльно-поселенца, лишенного всех прав. Содействие в сватовстве неожиданно оказал Бакунину родственник его Муравьев-Амурский, тогдашний генерал-губернатор Восточной Сибири. Проездом из Петербурга в Иркутск Муравьев остановился в Томске, чтобы повидаться с Бакуниным. Узнав о положении дел, Муравьев лично отправился к Ксаверию Квятковскому с визитом и убедил его в том, что скоро Бакунину будут возвращены права, и что его ждет блестящая будущность. Старик сдался; при этом Муравьев из'явил согласие присутствовать на свадьбе в качестве посаженого отца. Посаженой матерью приглашена была старушка Бардакова, в доме которой прежде проживал Бакунин.

«Свадьба была отпразднована на-славу, — рассказывает Адрианов,—бал происходил в доме Бакунина. Залитый светом огней внутри и обставленный плошками на улице вдоль тротуара, дом привлек внимание толпы, также принимавшей участие в торжестве. Внимательно следя за всем происходящим в освещенном доме, за оживленно двигавшимися фигурами, толпа время от времени оглашала улицу дружными криками «ура». Можно представить себе, как импонировала окружающим, даже с чисто внешней стороны, монументальная фигура статного, красивого и энергичного Бакунина».

Что со своей женитьбой Бакунин связывал надежду на получение права передвижения по Сибири, видно еще из того, что по прибытии в Томск нового томского губернатора А. Озерского (в мае 1858 г.) Бакунин обратился к нему с прошением, в котором определенно мотивировал необходимость для него свободных раз'ездов по Сибири своим вступлением в брак. Вот что писал Бакунин:

«Снисходительное внимание, оказанное Вами мне в бытность Вашу в Томске, дает мне ныне смелость обратится к Вам с всепокорнейшей просьбою. Вашему Превосходительству известно, что я намерен жениться на молодой девушке, которая, несмотря на всю незавидность моего политического и вследствие того общественного положения, руководимая единственно великодушною привязанностью, решилась соединить свою судьбу с моею судьбою. После многих и довольно бурных испытаний, поглотивших мою молодость и приведших меня к известному Вам результату, я не был вправе ожидать для себя такого счастья, и отныне единственною целью остальных дней моих, единственным предметом всех моих помышлений должно быть и будет устроение возможного счастья, довольствия и благосостояния того существа, которое, даруя мне как бы новую жизнь, возбудило во мне и новый интерес к жизни. Вашему Превосходительству не безызвестно также, что Антония Ксавериевна Квятковская, уже несколько месяцев перед сим, признана всеми в Томске моею невестою, и, оставив в стороне мои собственные желания и чувства, одна публичность таковых отношений, репутация столь для меня драгоценной девушки, мною любимой, требует скорейшего довершения начатаго дела.—Но жениться я не могу, пока не буду сознавать себя в силах упрочить существование жены и семейства: ни у меня, ни у нее нет ничего; я должен буду жить и содержать ее своими трудами,—и ничего не желаю я так пламенно, как дельного труда, который, поглотив всю ту деятельность, к которой я чувствую себя способным, дал бы мне вместе и средства для безбедной жизни; но до сих пор я не мог найти никакого, так как политические условия моего жительства в Томске решительно не позволяют мне посвятить себя какому бы то ни было деловому и вместе хлебному занятию. После многих неудачных попыток найти такого рода деятельность я окончательно убедился, что она только тогда сделается для меня доступною, когда мне будет дозволено отлучаться от места, назначенного для моего жительства. В Сибири, кажется, других значительных дел нет, кроме транситной торговли, откупов и золотых промыслов. К первой я не приготовлен ни наукой, ни жизнью; к откупным делам не чувствую в себе ни способности, ни охоты. Остаются золотые промыслы, но для того, чтобы заниматься ими, необходимо посещать Восточную Сибирь, а я лишен этого права; кроме того, лишенный всяких прав, как политический поселенец, я не могу

ни получать доверенностей, ни заниматься какими бы то ни было делами под своим именем.

«Вашему Превосходительству верно известно, что через посредство генерала Казимирского я приносил уже раз покорную просьбу по сему предмету к генерал-ад'ютанту и шефу жандармов, Его Сиятельству князю Долгорукову, и что получил на первое искание мое отказ. Теперь, побуждаемый столь для меня важными и для всей будущности моей столь решительными обстоятельствами, ободренный равно и великодушною снисходительностью, оказанной мне Вашим Превосходительством, осмеливаюсь приступить к Вам с новою просьбою.

«Я не вправе, может быть, разбирать причины полученного мною отказа, но мне кажется, что он единственно должен быть приписан недоверию высшего начальства к моему обращению. *Во мне все еще предполагаются чувства, намерения и стремления, которые давно уже изглажены из моего сердца и тяжкими испытаниями не очень счастливой жизни, и долгим размышлением, и, более всего, пламенным и неугасаемым чувством благодарности и преданности к благодушному и милостивому ГОСУДАРЮ, возвратившему мне свободу* [1]). Каким образом уверю я правительство в искренности моих чувств?—Слова ничего не доказывают, для дел же, именно вследствие того положения, в котором я нахожусь ныне, у меня нет никаких средств. Мне кажется, что *одно мое намерение жениться могло бы служить доказательством моей твердой решимости посвятить остальную жизнь мирным и законным занятиям* [2]), но кто может представить это лучше высшему начальству, как не Ваше Превосходительство?—Ваше предстательство окажет мне, без сомнения, огромную помощь; оно может спасти меня из состояния почти безвыходного,—и, не имея другой защиты, ни другой помощи, я должен прибегнуть к Вашему великодушному покровительству.

«По кратковременности пребывания вашего в Томске, я мало имею честь быть знакомым Вашему Превосходительству; но вы верите в честь людей, *я даю вам честное слово* [3]), что никогда не подам вам повода раскаиваться в том, что вы для меня сделаете.

---

[1]) Курсив мой.
[2]) „
[3]) „

«С полною верою предаю свою судьбу в руки Вашего Превосходительства

«И остаюсь
«Вашего Превосходительства
«Покорным слугою
«МИХАИЛ БАКУНИН.

«14-го мая 1858 года.
«Город ТОМСК».

Пересылая это прошение шефу жандармов, Озерский, указывая на то, что Бакунин, «имея намерение жениться, просит моего ходатайства о даровании ему права отлучаться из Томска в Восточную Сибирь и заниматься делами по доверенности для обеспечения средств предстоящей ему семейной жизни». присовокупляет от себя: «По прибытии в Томск к управлению вверенной мне губернии, я не замедлил собрать сведения о сосланном в Томск на поселение политическом преступнике БАКУНИНЕ и удостоверился, что он ведет себя тихо и добропорядочно».

Это не помогло: шеф жандармов ответил лаконически: «Ему разрешено уже вступить на гражданскую службу».

В тот же день, как письмо его к Озерскому было доставлено в III Отделение (16 июня 1858 г.), Бакунин непосредственно обратился с аналогичным прошением к шефу жандармов. Вот это письмо:

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО!

«Удостоенный чести видеться и проститься с Вами перед отправлением меня из С.-Петербурга в Сибирь, я был утешен словами Вашего Сиятельства, возбудившими во мне надежду, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, столь милостиво освободивший меня из крепостного заключения, соблаговолит, может быть, со временем еще более облегчить мою участь. Полгода спустя по моем прибытии в Томск я, кажется слишком рано, просил о дозволении мне свободного раз'езда по Сибири и о праве посвятить свободное, ничем не занятое время делам промышленным и торговым. Такая поспешность с моей стороны, после великого Царского благодеяния, только что возвратившего мне свободный воздух и свет Божий, была, без сомнения, большою ошибкою:—я мог показаться неблагодарным, нечувствительным к милости ГОСУДАРЯ или несознающим важности своего преступления. С покорною и верующею терпеливостью должен был я ожидать всего от

Царского благодушия.—Я поступил неблагоразумно;—но нужно ли мне уверять Ваше Сиятельство, что не очерствелость сознания и чувства была виною таковой поспешности, а только жажда дела, которое могло бы дать смысл моему нынешнему бесцельному существованию, и пламенное желание освободить как можно скорее мое небогатое и многолюдное семейство от тягости моего содержания?—Мне было отказано.

«Ныне я принужден возобновить мою просьбу обстоятельствами, Вашему Сиятельству бессомненно известными. Милая и добрая девушка привязалась ко мне и любовью своею обещает мне в будущем счастье, на которое ни по летам, ни по положению я рассчитывать не мог.—Я желаю на ней жениться. Но для этого, кроме разрешения высшего начальства, я должен еще испросить право и возможность заниматься делами и трудом своим приобретать средства для содержания семейства. Иначе мне жениться будет невозможно. Следуя порядку, я уж обратился с просьбою по сему предмету к Его Превосходительству господину Томскому гражданскому губернатору, а ныне осмеливаюсь обратиться прямо к Вашему Сиятельству, прося Вас извинить великодушно смелость, внушенную мне вашею столь известною добротою и благородным снисхождением, оказанным мне Вами в прошедшем.

«Ваше Сиятельство! От Вас зависит теперь вся участь моя и возможное счастье всей моей будущей жизни. Не откажите мне, будьте для меня теперь помощником и спасителем, как Вы были им уж раз, когда решался вопрос, важнее для меня вопроса о жизни и смерти,—вопрос о свободной жизни или об ежедневной нравственной пытке в пожизненном крепостном заключении. Одно Ваше слово воскресит меня без сомнения теперь, как и тогда, и, открыв передо мною широкое и законное поприще для новой, правильной, полезной и счастливой деятельности и жизни, даст мне возможность сделаться вновь человеком,—и тогда *делом, а не словами только постараюсь доказать я, как глубоко умею ощущать благодарность и как крепко и свято намерен держать свое честное слово и свою клятву* [1]).

«МИХАИЛ БАКУНИН.

«16-го июня 1858 г.

«Город ТОМСК».

---

[1]) Курсив мой.

Препровождая это письмо по назначению, жандармский генерал Казимирский 24 июня 1858 г. от себя прибавляет: «По личному моему удостоверению, так и по отзывам о нем местного начальства и жителей Томска, (Бакунин) ведет жизнь весьма скромную и держит себя во всех отношениях прилично». Но и заступничество жандарма не помогло: просьба Бакунина оставлена была без последствий.

8. В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

Эти систематические отказы не обескуражили Бакунина. Он настойчиво добивался своего и начал хлопотать о переводе в Восточную Сибирь. С помощью еще более влиятельного покровителя, своего родственника Н. Н. Муравьева (с 1858 г. «Амурского»), бывшего тогда генерал-губернатором Восточной Сибири, он, в конце концов, добился разрешения переехать в Иркутск. Еще раньше гр. Муравьев, по случаю заключения им выгодного для России договора с Китаем, просил шефа жандармов возбудить ходатайство перед царем, в виде личной и лучшей для него награды, о «прощении» петрашевцев Буташевича-Петрашевского, Львова и Спешнева и родственника его М. А. Бакунина, но Александр II и на этот раз отказал, несмотря на предстательство такого влиятельного в тот момент человека, как Муравьев-Амурский.

Одновременно с разрешением на переезд в Иркутск Бакунин получил сообщение о приеме его на службу к Бенардаки. Повидимому, за Бакунина хлопотали, кроме Муравьева, его помощник М. С. Корсаков (впоследствии ген.-губ. Восточной Сибири, при котором Бакунин и бежал), а также двоюродные сестры Бакунина, Евдокия, Екатерина и Прасковья Михайловны Бакунины. Это видно из его письма от 4 марта 1859 года из Томска [1]), где он благодарит Корсакова, А. М. Княжевича (последнего, видимо, за рекомендацию его Бенардаки) и упомянутых сестер, которых он называет здесь своими «неизменными защитницами и помощницами». Письмо проникнуто восторженным настроением. Повидимому, Бакунин думал, что вслед за освобождением из Томска скоро придет для него полное освобождение. «Милые сестры,—восклицает он,—что ж Вы меня не поздравляете! Ведь я

---

[1]) Напечатано вместе с другими письмами Бакунина, оставшимися неиспользованными А. Корниловым, в № 3/31 „Былого“ за 1925 год.

стою на ногах, я свободен!... Итак, вырвался я из томского болота... Я скоро увижусь с моим благородным и любимым Николаем Николаевичем (т.-е. Муравьевым), с которым надеюсь провести несколько недель, а в мае двинем дальше, поедем есть устрицы на Тихом океане. Неведомый, огромный край, пустынный теперь, но богатый огромной будущностью и уже оживленный неутомимою энергией великого духа,—ведь это просто чудо: есть от чего пробудиться всей было заснувшей романтике юности и старой русской охоте к бродяжничеству. Впрочем, не бойтесь, друзья, бродяжничать и бездельничать я не буду, буду учиться делу и по лучшему разумению стараться делать дело. Первым условием моим было, что я не расстанусь с женой,—поеду с ней на Амур».

Ясно, что в Иркутск Бакунин ехал с самыми радужными надеждами.

В Иркутск Бакунин, за которым последовала вся семья Квятковских, прибыл в марте 1859 года. Здесь он поступил на службу к незадолго до того образовавшейся Амурской компании, об'ехал в следующее лето все Забайкалье, а в следующем году по протекции Муравьева поступил на службу к золотопромышленнику Бенардаки. Эта служба важна была для него главным образом потому, что давала ему право раз'ездов, право, которое он сумел впоследствии использовать для своего освобождения из царских лап [1]).

Но, пока что, он, видимо, надеялся еще получить свободу легальным путем. 5 сентября 1859 года мать его снова обратилась к шефу жандармов с просьбой исходатайствовать ее сыну полное прощение. 21 сентября Александр II снова отказал ей, повелев даже оставить ее просьбу без ответа. С своей стороны не унимался и гр. Муравьев-Амурский, который 10 октября 1860 года снова просил кн. Долгорукова о возвращении свободы Бакунину, приводя в подтверждение своего ходатайства курьезный на наш взгляд аргумент, что Бакунин является, быть может, единственным ссыльным, который никому не пишет «ни ложных доносов,

---

1) В переписке, возникшей впоследствии по поводу побега Бакунина, ген.-губ. Восточной Сибири Корсаков сообщал, что Бакунин служил у золотопромышленника Бенардаки, но, получая жалованье в течение целого года, ровно ничего не делал, „что имело весьма неприличный вид". В конце концов он отказался от этого места (еще в бытность Муравьева в Иркутске), при чем братья его выдали Бенардаки вексель на всю заплаченную Бакунину сумму.

ни дерзких просьб» [1]). Но и это повторное предстательство не помогло: царь велел «насчет Бакунина повременить» [2]).

В Восточной Сибири Бакунин со свойственной ему горячностью увлекся гр. Н. Н. Муравьевым, совмещавшим в себе либеральные поползновения с деспотическими замашками и особенно

---

[1]) Дальше Муравьев, в поучение любителям доносов, считавшим их проявлением если не гражданской доблести, то искреннего раскаяния, прибавляет: „которых, по моему мнению, Высшее Правительство терпеть не должно, и которые ни в каком случае не составляют *услуги правительству*“. Выходит, что Бакунину в высших сферах как будто ставили в вину то, что он не пишет доносов, чем, повидимому, широко занимались другие ссыльные того времени. Впрочем, не следует забывать, что местные администраторы сплошь и рядом считали доносами жалобы ссыльных на незакономерные и произвольные действия местной власти (как это имело место по отношению к Петрашевскому). На такой же точке зрения стоит и автор брошюры „Страницы из жизни М. А. Бакунина и его семьи в Сибири“ (Иркутск, 1923 г., стр. 14—15), Б. Кубалов, который пишет по поводу обвинения Бакуниным Петрашевского в писании доносов (об этом см. ниже): „Сообщая об этом Герцену, Бакунин говорил чистую правду. Неосновательные жалобы, дышащие негодованием, полные злобы и желчи доносы, составленные в неприличных выражениях доносы - прошения как Петрашевского, так и Завалишина в большом числе мы лично встречали в делах III отделения Главного Управления Восточной Сибири“. С каких это пор жалобы на произвольные действия администрации и на неправильные приговоры судов считаются „доносами“, хотя бы эти жалобы и прошения были написаны в „неприличных“ с точки зрения администрации (т.-е. достойных) выражениях? О прошениях и жалобах Петрашевского, входивших в систему его „борьбы за право“, см. в статье В. Семевского, цитируемой нами ниже.

[2]) Впоследствии, когда Бакунин бежал из Сибири, Долгоруков, делая выговор сибирским чиновникам за допущенные ими по отношению к Бакунину послабления, между прочим указывал, что царь „тем менее мог ожидать снисходительности к Бакунину, что поведение его в Сибири не соответствовало той милости, которая была ему дарована освобождением из крепости, о чем неоднократно было мною сообщаемо графу Муравьеву-Амурскому, и вследствие чего повторные ходатайства графа об облегчении его участи не были удовлетворяемы“. На какие провинности Бакунина намекает Долгоруков, решительно непонятно. Напротив, как мы видели, отзывы о Бакунине давались сибирскими чиновниками самые благоприятные. Очевидно, что у правительства имелся какой-то другой источник осведомления, еще более тайный, чем жандармерия. Во всяком случае эти слова шефа жандармов бросают свет на систематические отказы, какие встречали ходатайства Муравьева за своего родственника. В письме от 8 декабря 1860 г. Бакунин, впрочем, говорит о каких-то сибирских доносах

прельстившим его своими панславистскими мечтаниями. Муравьев дал Бакунину возможность вздохнуть и жить по-человечески и в разговорах с ним предавался мечтам о войне с Австрией и об основании славянской федерации [1]). За это увлекающийся Бакунин произвел его в передовые демократы и в уме назначил его

(не Розенталя ли? См. ниже) вследствие которых Тимашев и Долгоруков (шефы жандармов) считали его человеком „опасным“ и „неисправимым“.

[1]) М. Лемке в статье „Крестьянские волнения 1855 г.“ („Красная Летопись“, № 7, стр. 152) упрекает меня в том, что я оставил без внимания указание П. Кропоткина в его „Записках революционера“, где сообщается про Муравьева следующее: „Муравьев придерживался крайних мнений, и демократическая республика не вполне бы удовлетворила его... В его кабинете молодые люди, вместе с ссыльным Бакуниным, обсуждали возможность создания Сибирских Соединенных Штатов, вступающих в федеративный союз с С.-Американскими Соединенными Штатами“. М. Лемке полагает, что в этих мечтах „заключается вся суть дела“, что ими об'ясняется увлечение Бакунина Муравьевым. Правда, и в доносах ссыльного поляка И. Розенталя встречается аналогичное указание, но тем не менее мы в данном случае считаем себя вправе отвести свидетельство П. Кропоткина. Последний побывал в Сибири через несколько лет после от'езда из нее и Муравьева, и Бакунина. Возможно, что нечто подобное о Сибирских Соединенных Штатах и проч. он слышал от каких-нибудь жителей Иркутска, но это была легенда, создавшаяся впоследствии. Сомнительно, чтобы Муравьев питал такие планы, как отделение Сибири от России; его честолюбивые мечты шли гораздо дальше положения „президента Сибирских Штатов“ (о чем говорит М. Лемке). Бакунин также никогда не мечтал об отделенни Сибири; нигде, ни в каком своем писании Бакунин не высказывал мыслей, даже отдаленно напоминающих фантазию о создании независимой Сибирской (или другой) республики, входящей в федерацию с С.-Ам. Соед. Штатами. Напротив, он мечтает о совершенно иной федерации—всех русских, а затем и славянских земель, и именно мечту о *такой* федерации он и приписывал Муравьеву. Соображение М. Лемке о том, что Бакунин в своем известном письме к Герцену умолчал о таковом плане Муравьева (и своем!) якобы „потому, что понимал, каким ударом по всей федералистической мечте явилось бы обнаружение ее при первой неосторожности лиц, доставлявших его громадные письма в Лондон“,—это соображение не выдерживает критики. Во-первых, Бакунин никогда не отличался такой осторожностью, а во-вторых, в письме к Герцену он сообщает о своих и Муравьева планах такие вещи, что в случае обнаружения его письма опасность ему и Муравьеву грозила бы отнюдь не меньшая, чем за фантазии о Сибирских Соединенных Штатах. Если об этом Бакунин в подробнейшем письме к Герцену молчит, то просто потому, что таких планов ни у него, ни у Муравьева никогда не было. Столь же неубедительно утверждение Лемке о том, что ссыль-

главнокомандующим будущей «земской армией» и чуть ли не революционным диктатором [1]).

Как настоящий азиатский администратор, Муравьев, будучи по существу деспотом и тираном, временами не прочь был проявить известный либерализм, поскольку последний не мешал его планам, а способствовал им. Так, в частности, он держал себя по отношению к политическим ссыльным. По рассказу Загоскина. Муравьев давал ссыльным читать лондонские издания, т.-е. «Колокол» и другие. Выше мы видели, как он хлопотал за многих ссыльных, в том числе и за Бакунина. В. П. Сукачев [2]) рассказывает, что когда Петрашевский и Львов после их освобождения с каторги явились к Муравьеву, он обнял их, разрешил Петрашевскому жить в Иркутске, а Спешнева и Львова определил на службу при Главном Управлении по делам Восточной Сибири. Муравьев принимал у себя в доме и Петрашевского, и Львова, и Спешнева, с которыми был сначала в хороших отношениях. Но критическое отношение Петрашевского и Львова к мероприятиям Муравьева, связанным с заселением Амура, восстановило его против них, особенно против Петрашевского, менее сдержанного и

ные, страдавшие от произвола Муравьева, преследовались им (и Бакуниным) за то, что относились к его мечте о президентском кресле в Сибирской Республике „или только как к мечте, или несочувственно". И Муравьевым, и Бакуниным руководили в данном случае совершенно другие мотивы, как видно из текста нашей работы. Наконец, ровно ни на чем не основано предположение М. Лемке, будто провал этой затеи с от'ездом Муравьева был причиною бегства Бакунина из Сибири.

[1]) См. письмо Бакунина к Герцену в защиту Муравьева, особенно цитированное письмо от 8 декабря 1860 г. (Переписка, изд. Драгоманова, стр. 1—74; С.-Петерб. издание 1907 г., стр. 111—188). Этот Муравьев в 1860 г. подал в отставку, уехал в Петербург, где в 1861 г. был назначен членом Гос. Совета; вскоре после того выехал за границу, где и поселился. С началом русско-турецкой войны 1877—78 г.г. Муравьев просил дать ему в действующей армии какое угодно назначение, но предложение его было отклонено. Умер в 1888 г. в Париже, где и похоронен.

[2]) „Иркутск. Очерк, редактированный и изданный В. П. Сукачевым". Москва 1891, стр. 75. Про Неклюдовское дело рассказывается на страницах 71—78 этой книги, но о Бакунине там ничего не говорится. См. также статью В. Семевского — „М. В. Буташевич-Петрашевский в Сибири", „Голос Минувшего", 1915 г., № № 1, 2, 3. Сообщаемые в этой статье данные заимствовались с тех пор всеми писавшими о жизни Бакунина в Сибири.

не скрывавшего своего отношения к амурской политике всемогущего сатрапа [1]). Бакунин же относился к этой политике иначе.

Легкомысленное увлечение Бакунина Муравьевым (и даже Игнатьевым!) и все то, что он в связи с этим писал Герцену, представляет, пожалуй, самую темную страницу в биографии Бакунина. Конечно, его «Исповедь», покаянные письма к царю и жандармам, давание «честных» слов своим тюремщикам и систематическое их нарушение—все это тоже не может служить к особенной чести Бакунина. Но здесь Бакунин не был искренен, здесь он дурачил своих врагов и издевался над ними, здесь он очевидно руководился принципом, что цель оправдывает средства и что на войне с беспощадным и бесчестным противником допустимы всякие приемы. Можно по-разному оценивать эти действия и заявления Бакунина, но в них он выступал в маске, в личине, напяленной им на себя для определенной цели. Совершенно иначе обстоит дело с его похвалами Муравьеву. В них Бакунин искренен, он говорит то, что думает,—и весь скандал именно в том и заключается, что Бакунин действительно думал то, что писал.

Пусть он и здесь не свободен от своей обычной дипломатии, пусть он, требуя от Герцена напечатания полностью его письма в защиту Муравьева хотя бы за его, Бакунина, подписью, прекрасно понимал, что Герцен ни за что не согласится подвергнуть риску ссыльного друга, и таким образом просто пытался оказать на него моральное давление. Но при всех лукавых подходах, деланой откровенности и простецкой хитрости, письмо Бакунина и отзывы его о Муравьеве дышат глубокой искренностью. И в этом вся беда. Это письмо лишний раз подтверждает то, что мы выше говорили о путанности политических воззрений Бакунина и об отрицательных сторонах, присущих даже его революционным стремлениям. Из этого письма мы ясно видим, насколько революционный панславизм Бакунина стоял близко к казенному панславизму царских сановников и генералов; без этой психологической близости обоих воззрений было бы совершенно непонятно, как

---

[1]) Показной либерализм Муравьева, прельстивший наивного Бакунина, не сбивал с толку таких людей, как Петрашевский. Когда еще в тюрьме Львов задал Петрашевскому вопрос, как он относится к Муравьеву, Петрашевский ответил словами из „Игроков“ Гоголя: „штабс-капитан из той же компании“, т.-е. такой же политический шулер, как и другие подобные ему либеральничающие администраторы.

Бакунин (при всем своем легкомыслии и порывистости) мог признать взгляды Муравьева и Игнатьева «нашими» настолько, чтобы прочить Муравьева в диктаторы. С другой стороны мы видим из этого письма, как легко Бакунин от анархизма и анти-государственности перескакивал к диктатуре, и притом диктатуре личной, диктатуре генералов, абсолютно ничем не доказавших своей революционности, преданности народным интересам, совершенно не связанных с трудящимися массами, а отличившихся только в завоевательных войнах и в захватах чужих территорий (что, между прочим, Бакуниным ставится им в особенную заслугу).

Письма Бакунина к Герцену вызваны были следующими обстоятельствами.

В апреле 1859 г. в Иркутске, в отсутствие Муравьева, выехавшего на Амур, произошла дуэль (на 10 шагов) между членом Совета Гл. Управления Восточной Сибири Беклемишевым [1]) и чиновником особых поручений при Н. Н. Муравьеве, Неклюдовым, нанесшим Беклемишеву оскорбление действием. Неклюдов был убит. Местное общество, относившееся враждебно к приближенным Муравьева, державшим себя столь же высокомерно и деспотически, как и их начальник, заговорило о том, что это была не дуэль, а простое убийство, и стало требовать следствия и суда над виновными. Петрашевский и Львов также не сомневались в том, что Неклюдов был убит изменнически. При том авторитете, который Петрашевский сумел до того завоевать в среде иркутского общества, неудивительно, что он очутился во главе кампании против администрации и Муравьева.

Иркутско-Ленский окружный суд признал в деле наличность измены и приговорил Беклемишева и двух его секундантов к 20-летним каторжным работам в рудниках. В губернском суде, куда перешло дело, мнения разделились: два члена его отвергли обвинение в убийстве, а третий, Ольдекоп [2]), остался при особом мнении, считая приговор первого суда правильным. Дело дошло

---

[1]) Этого Беклемишева, бывшего верхнеудинского исправника, Д. И. Завалишин в своих „Записках декабриста“ (СПБ. 1906 год, стр. 417) прямо называет „негодяем“. Это не помешало Бакунину выступить в его защиту.

[2]) „Друг и союзник Петрашевского“, как аттестует его Бакунин; В. Семевский думает, что это тот самый Ольдекоп, который некогда посещал „пятницы“ (т. е. собрания по пятницам) у Петрашевского в 1848 году.

до сената, который 11 июня 1860 года приговорил Беклемишева к заключению в крепости на 3 года, а секундантов на 6—9 месяцев. По ходатайству Муравьева срок заключения был сокращен. В действиях окружного суда и Ольдекопа сенат признал неправосудие и предоставил генерал-губернатору возбудить против них уголовное преследование. По распоряжению Муравьева они были немедленно арестованы.

Муравьев, заступившийся за верного своего слугу Беклемишева, дал волю своему деспотическому характеру и обрушился с репрессиями на оппозицию. Еще с Амура Муравьев через Спешнева [1]), которого он взял с собою в качестве начальника своей путевой канцелярии, дал знать в Иркутск, что ему неприятна агитация Петрашевского и Львова и «советовал» им замолчать. «Львов променял мое расположение на популярность»,—с изумлением и негодованием говорил сатрап. Вернувшись 1 января 1860 года в Иркутск, Муравьев прекратил знакомство с Петрашевским и Львовым. На торжественном приеме купечества Муравьев назвал их «двумя мерзавцами, которым он из милости позволил жить в Иркутске». Помощник Муравьева, ген. Корсаков, призвав Львова, об'явил ему об увольнении его по воле Муравьева со службы в Главном Управлении Восточной Сибири ввиду того, что в газетной статье о дуэли (в «Иркутских Губернских Ведомостях», № 17, от 23 апреля 1859 года) он высказал «понятия о чести», несогласные со взглядами графа! А когда Львов подал по этому поводу жалобу в сенат, который сделал Муравьеву запрос, то последний на словах грозился повесить Львова или расстрелять его.

Муравьев далее закрыл частную библиотеку Шестунова, служившую центром общения для иркутской интеллигенции, за то, что она представляла «сборище демократов» (в ней велись разговоры о дуэли в неблагоприятном для Муравьева смысле), а самого Шестунова в административном порядке выслал за Байкал. С самим Петрашевским расправились позже: заместитель Муравьева, выехавшего за границу, Корсаков тоже административно выслал неугомонного обличителя в уединенную деревню Енисейской губернии при полном одобрении Муравьева, который по

---

[1]) Сотоварищ Петрашевского по процессу, человек в житейском отношении, повидимому, не совсем устойчивый и склонный к компромиссам.

возвращении из-за границы писал Корсакову: «Ты хорошо сделал, что выслал Петрашевского за новые его подвиги» [1]).

Борьба между местной интеллигенцией, которую поддерживала часть политических ссыльных во главе с Петрашевским и ген.-губ. Муравьевым, облеченным диктаторской властью и не стеснявшимся пользоваться ею, была неравной. Тогда решено было обратиться к содействию «Колокола», авторитет которого стоял в то время очень высоко.

Проживавший осенью 1859 г. в Париже д-р Н. А. Белоголовый, сам иркутский уроженец, незадолго до того занимавший в Иркутске место городового врача и хорошо знакомый с местными условиями, получив сведения обо всей этой истории, изложил ее в особой статье и отправил ее Герцену. Статья появилась в № 2 «Под суд!» (приложение к «Колоколу») и произвела большой переполох в Иркутске, где местная публика встретила ее с радостью, а приближенные Муравьева—со злобой [2]).

«В среде этой,—рассказывает д-р Белоголовый,—решено было не оставлять появившейся статьи без возражения, но так как Герцен не доверял официальным опровержениям и едва ли поместил бы таковое в своем издании, то составленное в Иркутске возражение отправлено было к нему при письме Бакунина, в это время только что переведенного из Томска в Иркутск на поселение. Он, как свежий человек, не мог знать ни обстоятельств дела, ни отношения иркутских партий, но, уступая желанию Муравьева, согласился выступить посредником между ним и Герценом и попросил последнего напечатать возражение. Понятно, что такая рекомендация имела в глазах Герцена громадный вес, и воз-

---

[1]) Для характеристики муравьевского либерализма следует прибавить, что когда Петрашевский начал издавать частную газету „Амур“, Муравьев 15 марта 1860 г. давал Корсакову, недовольному направлением газеты, такие советы: „запретить печатать эту газету военной типографии“, „устранить от сотрудничества обоих вышеназванных господ“ (Петрашевского и Львова), а по отношению к последним обещал по возвращении из-за границы принять „меры решительные“. Один чиновник за заметку в „Амуре“ был лишен места. Недаром Львов в непропущенной цензурою статье говорил, что при Муравьеве в Сибири нет закона, а есть произвол, нет свободы, а есть своеволие.

[2]) Н. А. Белоголовый. — Воспоминания и другие статьи. Москва, 1897, стр. 621 и сл.

ражение против моей статьи было напечатано зимой 1860—1861 г.» [1]).

Относительно поведения Бакунина в Иркутске д-р Белоголовый рассказывает следующее: «Я лично не был знаком с Бакуниным, потому что он приехал в Иркутск после моего от'езда, но из всех писем моих иркутских знакомых я уже видел, что он вскоре после прибытия *возбудил против себя всю молодежь тем, что всецело примкнул к генерал-губернаторской партии* [2]). Занятие такой позиции так категорически противоречило всей репутации и предшествовавшей деятельности знаменитого агитатора, что становило всех в тупик и могло быть об'яснено только тем, что Бакунин, попавши в Иркутск на поселение, был встречен с родственным радушием генерал-губернатором Муравьевым, которому он приходился племянником, и тотчас же сделался постоянным членом интимного кружка Муравьева. К тому же вся эта борьба двух элементов, пришлого и туземного [3]), вращавшаяся в узкой сфере провинциальных интересов, не могла интересовать его, коновода общечеловеческой революции, и, вероятно, являлась ему с высоты его орлиного полета слишком мелкой и ничем не отличающейся от обычных сплетен и дрязг провинциальной жизни. А, может быть, работая уже в голове над планом своего бегства из Сибири через Америку, который он и привел в исполнение в лето же 1861 года, Бакунин хотел для более верного обеспечения себе успеха завоевать благорасположение как Муравьева, так и властных его фаворитов и верно рассчитал, что услуга, оказанная его содействием для помещения их возражения в «Колоколе», принесет ему лично большую пользу».

Прочитав появившееся в «Колоколе» возражение, д-р Белоголовый, находившийся тогда в Москве, решил не оставлять его без ответа. Встретившись летом 1861 года в Париже с Герценом, Белоголовый беспристрастно изложил ему сущность иркутских

---

[1]) Статья в защиту Муравьева (по поводу дуэли) была помещена в №№ 6 и 7 „Под Суд!“, а в №№ 87—88 „Колокола“ от 15 декабря 1860 года напечатана статья „Императорский кабинет и граф Муравьев-Амурский“ (то-есть до получения в Лондоне пресловутого „Ответа“, письма Бакунина от 1 декабря 1860 г., которое мы неоднократно цитируем в этой главе).

[2]) Курсив мой.

[3]) Пришлый или „навозный“, как их называли, элемент—это наехавшие в Сибирь чиновники; туземный — это иркутское купечество и интеллигенция.

происшествий и просил поместить ответ на возражение, напечатанное при содействии Бакунина. Выслушав его, Герцен сказал: «Я верю совершенно, что правда на вашей стороне, а не на стороне ваших противников; даже помещенное мною против вашей статьи возражение очень неубедительно на мой взгляд и далеко не разбивает всех ваших доводов; самый тон его мне не нравится, но я не мог отказать Бакунину в его напечатании. Мало того, что с Бакуниным меня связывает старинная дружба; я никогда не могу и даже не должен забывать, что этот человек всю свою жизнь борется за человеческую свободу и чего-чего не вынес он за упорство свое в этой неравной борьбе, и за непреклонность своих убеждений сидел и в австрийских, и в русских крепостях, и вот теперь засажен, быть может навсегда, в Сибири. У меня решительно не поднялась бы рука напечатать что-нибудь против него. А потому не сердитесь на меня; я вам верю, хотя рассказ ваш заставляет тускнеть образ героя Бакунина; но вы поймете сами, что печатать мне теперь какое-нибудь разоблачение против него, когда он в ссылке и не может ничего сказать в защиту своих поступков, было бы с моей стороны более чем непростительно. Правда—мне мать, но и Бакунин—мне Бакунин».

Однако Бакунин вовсе не молчал, а напротив много говорил «в защиту своих поступков». Задетый заметками о Муравьеве в изданиях Герцена и Огарева, он, может быть, по собственному побуждению (ибо чувствовал себя до известной степени солидарным с Муравьевым) или по просьбе самого Муравьева разразился кучей посланий в Лондон в защиту своего героя и своей с ним близости. Весной 1860 года он написал Герцену огромное письмо в 20 листов (т.-е. около пяти печатных листов), которое до Герцена не дошло. 7 ноября 1860 г. он послал второе письмо в 12 листов (свыше трех печатных листов), помещенное в переписке Бакунина под № 1. 1 декабря 1860 г. он написал «Ответ *Колоколу*» (около одного печатного листа) и, наконец, 8 декабря 1860 г. большое письмо (около ¾ печатного листа).

Итак, мы видим, что Бакунин очень близко принял к сердцу инцидент с Муравьевым, хотя вряд ли он руководился при этом только теми утилитарными соображениями, которыми пытается об'яснить его поведение д-р Белоголовый. Дело скорее в том, что *Бакунин в Иркутске вообще взял сразу неверный тон.* Близость к диктатору, в интимный кружок которого он попал, поставила его в ложное положение по отношению к местной интеллигенции

и к части политических ссыльных. Какие у него создались отношения с последними, видно из того, что он говорил о них в письмах к Герцену. В то время, как самодур Муравьев превозносится им как герой, благороднейший человек, рыцарь без страха и упрека,—декабрист Д. И. Завалишин, Буташевич-Петрашевский и другие [1]) изображаются как сутяги, клеветники, доносчики, кляузники, тщеславные мелкие людишки и т. п. [2]). Он доходит до того, что оправдывает самые произвольные действия Муравьева, направленные против беззащитных и бесправных ссыльных, и одобряет административную высылку Петрашевского. Вот что

---

[1]) Среди них, кроме Раевского и Львова, Бакунин, верный своим антисемитическим предрассудкам, называет еще „полу-политического жидка Розенталя". Драгоманов считает нужным в примечании указать, что Розенталь, во-первых, поляк, а, во-вторых, не полу-политический преступник, а „целиком политический преступник, так как сослан был за попытку присоединиться к крестьянскому движению в Киевской губернии в 1855 году. Довольно подробные сведения об этом И. И. Розентале сообщает М. Лемке в статье „Крестьянские волнения 1855 года", глава „Таращанский агитатор И. И. Розенталь" („Красная Летопись", исторический журнал, № 7, стр. 132 и след.). Приговоренный за революционную агитацию среди крестьян к смертной казни, И. Розенталь, молодой студент Киевского университета, был по конфирмации, последовавшей 3 января 1857 года, сослан в Сибирь на поселение. Еще во время следствия он предлагал жандармам свои услуги в качестве осведомителя, но последние не приняли его предложения всерьез. Он действительно писал из Сибири прошения, носившие характер политических доносов. В частности с Бакуниным у него создались самые враждебные отношения. Неоднократные просьбы Розенталя об освобождении не удовлетворялись. Только в конце 90-х годов прошлого века он получил наконец, возможность выехать за границу, где и умер.

[2]) В. Семевский справедливо замечает, что характеристика, данная Бакуниным Петрашевскому в письмах к Герцену, „гораздо более роняет самого Бакунина, чем Петрашевского". Семевский напоминает кстати, что Петрашевский был единственным из своих сотоварищей по процессу, так и кончившим свои дни в Сибири. Особенно комично звучат в устах Бакунина такие обвинения против Петрашевского, как то, что он не платит своих карточных долгов, и то, что к поклонникам его политического величия относятся „несколько надорванных учителей-недоучек, несколько мелких чиновников... да еще несколько мещан, товарищей по биллиарду". Ведь если исключить товарищей по биллиарду, то остальные это, по всегдашней теории Бакунина,—соль земли, главная сила революции, „пылкая, неиспорченная молодежь, которая, очертя голову" и т. д., словом, та разночинная публика, которая должна возглавить революцию.

пишет по этому поводу Бакунин—сам политический ссыльный, лишенный прав поселенец, также подлежавший по закону наказанию плетьми:

«Муравьев ясно выразил свое негодование против Петрашевского (за агитацию против Беклемишева.—*Ю. С.*), велел напомнить ему его невыгодное политическое положение и советовал (!) ему замолчать... Терпеть действия Петрашевского он не мог ни как генерал-губернатор [1]), ни как благородный человек; что же он сделал? Он отказал Петрашевскому от дома, отрешил товарища его Львова от места, занимаемого им в главном управлении, и велел сказать им обоим, что если они не перестанут неистовствовать, он будет вынужден выслать их из Иркутска. Что же тут жестокого и тиранического и можно ли было поступить мягче?»

Бакунин намекает, что при желании Муравьев («по русским законам») мог бы и отодрать Петрашевского плетьми, но по своему рыцарству он ограничился только его высылкой. «Для того чтобы спасти Петрашевского от его собственного безумия и последствий его безумных поступков, Муравьеву ничего более не оставалось делать, как выслать его из Иркутска». И в доказательство того, что Муравьевым руководили при этом «не злость и не мелкая мстительность», а исключительно рыцарское благородство, Бакунин приводит тот факт, что Муравьев сослал его не в Туруханск или Якутск, а «в благодатный Минусинский край».

Бакунин забывается настолько, что злорадствует по поводу вынужденного молчания бесправного ссыльного, столкнувшегося с деспотизмом всемогущего царского сатрапа. «Во все время пребывания Муравьева в Иркутске Петрашевского не было слышно; он присмирел. С Муравьевым шутить неудобно (!): трудно найти человека благороднее, великодушнее, но при всей доброте он—лев, а львиный гнев вызывать опасно... Петрашевский знал Муравьева, а потому и молчал». И Бакунин издевается над трусостью Петрашевского, который, зная, что он бесправный поселенец, имеет дело с самодуром, облеченным неограниченными правами и не стесняющимся пускать их в ход, принужден был угрозами замолчать!

Вот до чего дошел Бакунин в своем желании обелить Муравьева (не говорим—прислужиться перед ним). Все дело в том,

---

[1]) Для „анархиста“ это недурно. Но мы услышим еще другие странные заявления в устах непримиримого бунтаря.

что, защищая с такой горячностью Муравьева, Бакунин в сущности защищал самого себя, ибо он не только вел себя неподобающе во время неклюдовской истории, но и до нее поставил себя в ложное положение по отношению к передовым элементам иркутского общества. Возможно, что враждебное отношение Бакунина к Петрашевскому об'яснялось тем, что к моменту приезда Бакунина в Иркутск Петрашевский уже успел занять там видное положение в обществе и добиться крупного морального влияния. Бакунин нашел первое место занятым. Отсюда, по мнению В. Семевского, и пошла вся история [1]).

Враждебное отношение Бакунина к Петрашевскому и его друзьям выражалось подчас в крайне бестактной, чтобы не сказать более, форме. По сообщению Семевского, Бакунин, политический ссыльный, будучи в гостях у губернатора Извольского, позволил себе сказать про Петрашевского и Львова, т.-е. тоже политических ссыльных, что они пишут доносы в III Отделение. Понятно, что такие выходки подрывали среди публики веру в прочность убеждений самого Бакунина. И названный нами выше владелец библиотеки в Иркутске Шестунов, сообщая о выходке Бакунина декабристу Завалишину, прибавлял: «Каков господин, по его же собственному выражению (?), плюющий на свое прошедшее!»

В инциденте с дуэлью Бакунин сыграл чрезвычайно неблаговидную роль не только в конце этого дела, но и при самом его начале. Если верить свидетельству старой смолянки В. П. Б—вой, мемуары которой цитирует Семевский [2]), то Бакунин сыграл даже в этой дуэли роль подстрекателя. Вот что она пишет: «Бакунин, недавно прибывший в Иркутск, *хотел стать авторитетом для здешнего общества* (курсив мой). Без всякого полномочия с чьей бы то ни было стороны... он начал в зале собрания (на Пасху, на музыкальном вечере, на который собралось все городское общество) отбирать мнения молодежи по поводу происшедшего столкновения между Неклюдовым и Беклемишевым, прибавляя со

---

[1]) В. Семевский, ссылаясь на воспоминания Б. А. Милютина („Истор. Вестник", 1888 г., том XXXIV, стр. 629—630), утверждает даже, что после высылки Петрашевского из Иркутска влияние Бакунина там несколько возросло.

[2]) СПБ., 1899, т. II, 47.— Надо заметить, что эта дама относится к Петрашевскому весьма враждебно и вовсе не намерена его защищать.

своей стороны, что общество должно вступиться за Беклемишева, что иначе оно поощрит каждого врываться в дом и колотить беззащитного; что Неклюдова нужно заставить стреляться, а если он не захочет, то высечь его (!). Разжигая молодежь таким способом, Бакунин достиг цели: он навербовал человек 15, которые в случае нужды готовы были подписать свои имена, что действительно секли виновного оскорбителя» [1]).

После того, как Бакунин сыграл такую активную роль в злосчастной дуэли, неудивительно, что он почувствовал себя и лично задетым кампанией Петрашевского против виновников этой истории. *Обеляя Муравьева, Бакунин хотел обелить и самого себя.* Что при этом он увяз еще глубже, это другой вопрос.

Мы видели, как Бакунин позволил себе третировать своих сотоварищей по ссылке, оказавшихся в противном лагере [2]).

---

[1]) Этот рассказ невольно наводит на сопоставление этих действий Бакунина с его поведением в конфликте с Катковым в 1840 г. Тогда Бакунин уклонился от дуэли. Правда, непосредственным оскорбителем был Катков, давший Бакунину пощечину. Но, во-первых, Бакунин ударил за это Каткова палкой, так что драка была взаимной, а, во-вторых, с точки зрения Каткова обидчиком был не он, а Бакунин, вмешавшийся в его интимные дела. Во всяком случае возможно, что воспоминание о полученной от Каткова пощечине двигало Бакуниным, когда он настаивал на принуждении Неклюдова дать удовлетворение оскорбленному им Беклемишеву.

[2]) Если верить доносам ссыльного поляка И. Розенталя, то Бакунин будто бы использовал свое влияние на генерал-губернатора для расправы с неугодными ему товарищами по ссылке. Правда, поведение Бакунина по отношению к Петрашевскому и Львову представляется весьма неприличным для революционера, но тем не менее мы должны отнестись чрезвычайно скептически к рассказам Розенталя, который в своих доносах рисуется в чрезвычайно неблаговидном свете. В июле 1860 г. Розенталь писал киевскому ген.-губернатору кн. Васильчикову: „Судьбе угодно было поставить меня в самые враждебные отношения (по причинам, совершенно не зависящим от меня, и которые нельзя поверить бумаге) с одним из самых доверенных лиц ген.-губернатора (Муравьева.—*Ю. С.*) и вместе с тем его близким родственником (речь идет о Бакунине.—*Ю. С.*). Этот бесчестный, злой и мстительный человек имеет такое могучее влияние на легковерный, подозрительный и взбалмошный характер графа Муравьева, что, несмотря на заступничество и сильное ходатайство за меня других его родственников, он не перестает смотреть на меня подозрительно и попрежнему питает ко мне затаенную злобу. Нет такой циничеcкой и бессовестной клеветы, которую бы на меня не выдумывал этот родственник, а мой враг“ (т.-е. Бакунин.—*Ю. С.*). И дальше Розенталь ссылается на преследование

Естественно, что другие политические ссыльные платили ему тою же монетою. В частности Завалишин, которого Бакунин так зло характеризовал в своих письмах к Герцену, возмущенный

Петрашевского и других, рассказывает о кулачном бое между ним и Бакуниным и об обещании последнего уничтожить его, Розенталя, во что бы то ни стало. Когда на Розенталя был сделан донос, будто он хотел отравить губернатора, Бакунин якобы заметил: „Правда, что донос нелепый, но все-таки он дает возможность сослать его (т.-е. Розенталя) в Якутск". В письме к шефу жандармов кн. Долгорукову от 12 марта 1863 г. Розенталь пишет: „Три года тому назад один из политических преступников, Михаил Бакунин (бежавший в прошлом году из Сибири), затеял одно безумное дело (якобы отделение Сибири от России.— *Ю. С.*). Я поставил ему сильную оппозицию. Но так как он был в хороших отношениях с ген.-губернатором и губернатором, то дело окончилось тем, что я высидел три дня на гауптвахте. (С той поры и по настоящее время на мне отражается это столкновение с Бакуниным посредством его многочисленных приверженцев). Наконец, гр. Муравьев-Амурский приказал мне выехать из Иркутска... Судьба сжалилась надо мною, и два самых сильных лица, преследовавших меня за Бакунина, уехали из Сибири. В должность ген.-губ. вступил ген. Корсаков, который не любил Бакунина и третировал его совершенно иначе, чем граф. Он даже не принимал его у себя в доме (?), что было известно всему городу. Кредит и сила Бакунина вдруг упали до нуля. Увидевши, что ему больше нельзя кричать и суетиться в Сибири, он за благо рассудил убежать, бросив молодую жену, которую обманул, и захватив с собой 5.000 чужих денег (?)... После падения могучего Бакунина я снова возвратился в Иркутск". Наконец, 26 августа 1866 г. Розенталь обратился с письмом к новому шефу жандармов, гр. П. А. Шувалову, в котором снова возвращался к своему столкновению с Бакуниным. „Шесть лет тому назад, — писал он,—меня постигла в Сибири неожиданная катастрофа. Здесь был в то время Михаил Бакунин, который, несмотря на свой громадный ум, все-таки *был помешан на революциях* (курсив мой.—*Ю. С.*). У него революция не была средством, а целью. Революция для революции—и только! Была ли она на саксонских рынках, на парижских ли бульварах—все равно: где бы то ни было, для чего бы ни было, лишь бы революция. Точно так же она понадобилась ему и в Сибири, да еще когда? В 1860, когда благотворные реформы следовали одна за другой. Когда *он заговорил со мной об этом в Томске в 1857 году* (курсив мой.—*Ю. С.*), я доказал ему, что это—помешательство; он рассердился—и мы разошлись. Спустя три года я приехал в Красноярск и вдруг слышу, что этот гениальный сумасброд давно уже в Иркутске и *действует на умы молодежи*, неопытной и горячей. Это уж было дело нешуточное, и я сейчас же выехал в Иркутск остановить пожар (!). По приезде я не застал ген.-губернатора и сообщил не ему, доказывая необходимость остановить сумасбродство Бакунина; с тем вместе я послал и к нему

ролью, которую играл Бакунин во всех этих сибирских передрягах, выражается о нем в своих записках далеко не лестно [1]).

«Я,—пишет Завалишин,—обличил действия лже-демократа Бакунина, показав, как лже-либералы сходятся с деспотами, и прервал все сношения с ним... Этот Бакунин, лже-либерал и лже-демократ, говоривший мне, что хотя и нельзя отрицать злоупотреблений и насилий Муравьева относительно народа, но что Муравьеву можно все простить за то, что он «революционер»,—этот Бакунин был приятель Муравьева и Корсакова (преемник Муравьева.—*Ю. С.)* и напечатал в защиту Муравьева статьи в «*Колоколе*» [2]).

письмо, предостерегая его о последствиях. К сожалению, я не знал тогда, что Бакунин, как человек необыкновенного ума, сумел уже на всех приобрести влияние. На другой день после моего приезда он явился с двумя лицами ко мне и завязал со мной кулачный бой, после чего полетел по разным местам, рассказал, что будто я имел к нему личную вражду,—следствием всего этого было то, что, не спрашивая меня ни о чем, меня же обвинили и посадили под арест как преступника. Через три дня меня выпустили... Все были на стороне Бакунина. потому что, как знакомый со всеми, он рыскал по городу и передавал все в таком свете, как ему было нужно. В довершение мести он стал распускать по городу, что я шпион и доносчик, между тем как я поступал честно и открыто и даже ему написал, что его идея сумасбродная, и что я всей силою моих убеждений буду ей противодействовать. Все двери передо мной закрылись, и Бакунин остался торжествующим".

Мы видим, что по отношению к Розенталю обвинение Бакунина (относительно писания некоторыми ссыльными доносов) остается в силе. Если действительно Бакунин вздул его за его доносительские подвиги, то приходится признать, что на этот раз кулак действительно послужил хорошему делу. Жаль только, что Бакунин не вспомнил об этом инциденте во время своей кампании против Неклюдова, оскорбившего действием Беклемишева. Видимо, в ссылке неустойчивая психика Розенталя окончательно пошатнулась. Его указания на революционное настроение Бакунина в Сибири (не говорим о революционных планах, ибо мысль об отделении Сибири — явная выдумка) были бы чрезвычайно ценны, если бы они не содержались в доносах, представленных Розенталем по начальству для облегчения собственной участи и потому не заслуживающих особенного доверия — если не в общем, то в частностях. Во всяком случае, при наличии других свидетельств, они подтверждают, что и в Сибири Бакунин, несмотря на все свои промахи, остался революционером.

[1]) Львов тоже считал поведение Бакунина по отношению к Муравьеву неблаговидным (см. у В. Семевского).

[2]) Д. Завалишин — „Записки декабриста", стр. 434 и 443. Дальше Завалишин об'ясняет действия Бакунина личными утилитарными со-

Завалишин, лучше знавший сибирские дела, повидавший на своем веку много различных сатрапов и помпадуров, далеко не разделяет восторгов Бакунина перед Муравьевым. Совершенно наоборот, он начисто отрицает заслуги Муравьева даже с казенно-государственной, не говоря уже—народной, точки зрения, рисует его личный характер с самой отрицательной стороны и указывает истинную цену его «демократизму» и «революционности». Нас в данном случае мало интересует вопрос, кто из них двоих был более прав в своей оценке Муравьева—Бакунин или Завалишин, однако, мы должны сказать, что, по нашему мнению, Завалишин, если и не во всех подробностях прав, то все же гораздо ближе к истине, чем плохо разбиравшийся в людях Бакунин, в данном вопросе проявивший неслыханное пристрастие и наивность [1]).

По мнению Завалишина, подкрепляемому рядом довольно красноречивых фактов, Муравьев был человеком своекорыстным, честолюбивым и «шарлатаном большой руки». Он гнался за шумом, внешним блеском, почестями, не очень-то разбираясь при этом в средствах. Действия Муравьева в Китае, столь восторгающие Бакунина, Завалишин характеризует как сплошной «ряд обманов, хитрости и насилия, которыми думали исправлять все промахи неискусства и трусости». Айгунский трактат, который Бакунин признавал величайшим подвигом Муравьева, Завалишин

ображениями (приблизительно вроде Белоголового). Он говорит: „Они (т.-е. Муравьев и Корсаков; между тем Муравьева во время побега Бакунина в Иркутске уже не было.—*Ю. С.*) отпустили его на Амур, прельстившись его обещаниями восхвалять их действия и противодействовать моим статьям (Завалишин в ряде статей обличал политику Муравьева на Дальнем Востоке, и Бакунин в письмах к Герцену, главным образом, и полемизирует с доводами Завалишина.—*Ю. С.*). В Николаевске приняли его как приятеля ген.-губернатора, чем он и воспользовался, так что ему дали даже взаимообразно некоторую сумму из казенных денег (?) и вывезли на казенном корабле из Николаевска; а там поехал в гости на один иностранный корабль и отправился на нем в Англию". О действительных условиях побега Бакунина см. ниже.

[1]) Замечательно, что на бакунинском „Ответе" (письмо от 1 декабря 1860 г.) чьей-то рукой (вероятно, того лица, через которое рукопись была переслана Герцену) написано: „Статья эта прислана мне для передачи. Это и есть *единственная* причина, почему я ее посылаю. В целом и в частях это—компиляция близорукая и пристрастная, которая никогда не должна увидеть печатного станка".

называет обыкновенным соглашением о демаркационной линии и прибавляет: «Договор этот, как известно, не только не был ратификован китайским правительством, но даже заключивший его уполномоченный был приговорен к смертной казни. Поэтому без взятия Пекина англичанами и французами в 1860 г. договор этот не имел бы никаких последствий. Но Муравьев вовсе и не заботился о действительных последствиях. Ему только нужно было во что бы то ни стало предупредить хоть несколькими днями Путятина, заключавшего настоящий (Тянь-Дзинский) трактат, и уверить, что именно сделке в Айгуне обязана Россия приобретением Амура, и успел получить за это награду».

По отношению к населению Муравьев, по словам Завалишина, проявлял деспотическую власть, чинил ему всяческие притеснения, совершал самые дикие и произвольные поступки, высказывал злобную мстительность по отношению к неугодившим ему политическим ссыльным, в частности, к самому Завалишину, советами которого он сначала пользовался в целях своей карьеры и которого впоследствии произвольно распорядился выслать из Читы, где он проживал, в тот же «благодатный» Минусинский край. Совершая первый об'езд своего пашалыка, Муравьев велел дать 300 розог и посадить в колодку одного крестьянина за то, что тот, по приказу начальства, производил сбор на проезд генерал-губернатора [1]). Муравьев перевел местных горных крестьян в пешее казачество. и на упрек Завалишина, по совету которого он вычеркнул было эту идею из своего первоначального проекта устройства края, дал такой характерный ответ: «Что же делать! Надобно было польстить вкусу государя, который пристрастен к казачьему мундиру» [2]). Крестьяне «были оторваны от своего хозяйства и без всяких предварительных мер переведены в марте месяце на новые места, на Карийские золотые прииски. Мудрено ли, что, при недостатке пищи и помещений, при изнурительных и непривычных работах, развились разные болезни, которые все слились потом в один повальный тиф, похитивший тысячу чело-

---

1) Это не мешает Бакунину уверять Герцена (в письме от 7 ноября 1860 г.), что Муравьев ненавидит дворянство и „верит только в секомый народ, его любит, в нем единственно видит будущность России“. Не потому ли „благородный рыцарь“ и сек мужиков?

2) Анархист Бакунин как раз особенно расхваливает Муравьева за это учреждение местного казачества, доказывая, что крестьяне от этого только выиграли.

век, а золота, несмотря на все усилия, натяжки и неправды, все-таки вымыли не более 65 пудов при совершенном почти уничтожении добычи серебра, так что в общем результате, при возвысившихся страшно расходах, чистой прибыли получено даже менее, чем в предшествовавшие годы».

С нашей (да и анархической, полагаем) точки зрения, действия Муравьева вызвали бы одинаковую оценку даже в том случае, если бы «чистая прибыль» оказалась гораздо выше. И если мы приводим эти частности, не имеющие собственно прямого отношения к нашей теме, то лишь для того, чтобы показать, что́ хвалил Бакунин и какие деяния приводили его в восторг. По словам Завалишина, в минуты откровенности Бакунин признавал отрицательные стороны Муравьева, но прощал их ему за его «революционность». Однако безжалостный Завалишин разбивает и эту последнюю иллюзию нашего «неугомонного бунтаря», странным образом забывшего о «святом чувстве бунта» по отношению к гр. Муравьеву-Амурскому.

О либерализме, демократизме и революционности Муравьева Завалишин говорит следующее: «До тех пор, пока дело не доходило до поверки слов действиями, ему легко было прослыть за либерала, тем более что либеральничанье было для него совершенно безопасно». Либеральничанье Муравьева Завалишин довольно верно об'ясняет его карьеристскими целями. Свое угодничество перед царем он оправдывал перед либералами необходимостью использовать такую силу, как самодержавие, в интересах свободы (на эту грубую удочку он, как мы знаем, поймал наивного Бакунина), «а в то же время для государя держал в запасе другой аргумент, если бы до государя дошло его запальчивое либеральничанье,—а именно, что он для того сближается с либеральною партиею и старается приобрести ее доверие, чтобы лучше наблюдать за нею. Он льстил государю и тем, что уверял его, что считает его первым патриотом и либералом, и что только невежество и злонамеренность не постигают его либерализма» [1]).

---

[1]) Цари клевали на эту удочку не хуже анархиста Бакунина Последний передает анекдот о том, что Николай I. когда ему донесли о поблажках, делаемых Муравьевым декабристам, ответил: „Наконец. я нашел человека, который меня понимает; пора же обходиться с ними, как с людьми“. Это было сказано в 1848—9 году. Бакунина и это приводит в восторг. А между тем он знал, что за бездушный злодей был

В частности, попытки Муравьева сблизиться с декабристами Завалишин об'ясняет самыми прозаическими, утилитарными мотивами. Муравьев не принадлежал к высшему аристократическому кругу; его круг был круг выслужившегося чиновничества. «Муравьевы все живут службой»,—говаривал он сам не раз. Между тем родные многих декабристов принадлежали как раз к высшей, родовой, титулованной и влиятельной знати. Если они не могли много сделать для ссыльных, то могли при случае оказать немалую протекцию такому служилому человеку, как Муравьев. Через сближение с декабристами он обеспечивал себе сильную поддержку в лице их родных, стоявших близко ко двору. Если прибавить к этому погоню за популярностью, что в тот период либеральных веяний тоже могло принести пользу, то вот, по мнению Завалишина, и все действительные причины мнимого и, во всяком случае, поверхностного муравьевского либерализма [1]).

«Своими разглагольствованиями,—говорит Завалишин,—удалось ему обморочить тех людей, которые нейдут дальше слов и не требуют поверки их действиями; так обморочил он и моих товарищей своим мнимым либерализмом и любезностями». Так, прибавим мы, обморочил он и Бакунина, который всеми своими «славянскими» и анти-немецкими устремлениями, своими мечтами о личной диктатуре шел на встречу такому обмороченью. Перед Бакуниным Муравьев парадировал уже не в виде простого либерала, а в виде ярого «революционера». При путанности своих политических взглядов Бакунин принимал эту болтовню (в которой мы, однако, не усматриваем ничего революционного) за доказательство крайнего демократизма и революционности. Но на других, менее наивных и политически более воспитанных людей, «революционная» болтовня Муравьева оказывала совершенно противоположное действие: она отталкивала их от него. Так, Завалишин рассказывает: «Коль скоро я проник попытки его обратить все на служение своекорыстным личным целям, коль

Николай и как он лично мучил декабристов. Притом Бакунин сам отмечает, что эти гуманные слова Николай изрек в 1848—9 г., т.-е. в период самой злейшей реакции. Самые гнусные жандармы любили при случае кутаться в либеральную тогу и делали это тем охотнее, чем они были гнуснее.

[1]) Характерно, что Муравьев не любил студентов, а предпочитал лицеистов (барчуки!), которых преимущественно и определял на службу.

скоро он думал привлечь меня тем, что стал разыгрывать предо мною не либерала уже, а революционера (le soleil nous a luit la journée du quatorze) [1]), тогда он сразу потерял мое доверие» [2]).

Напротив Бакунин принимал всю эту болтовню за чистую монету. Как мы знаем, он решительно выступил в защиту Муравьева от нападок «Колокола». Весьма вероятно, что, беря на себя роль его адвоката, Бакунин руководствовался отчасти чувствами личной признательности к человеку, который вызволил его из беды, дал ему возможность выбраться из Томска, пожить по-человечески и упорно хлопотал за него перед высшими сферами. Ведь в том же письме он говорит о демонстративном выражении Муравьевым уважения к нему, Бакунину, в Томске и о непрекращающихся попытках Муравьева вызволить его из ссылки. Но из того же письма видно, что Бакуниным в похвалах Муравьеву руководят соображения более высокого, идейного порядка, а именно уверенность в том, что взгляды Муравьева носят революционный (sic) характер, и что они в общем совпадают с взглядами Герцена и его самого (Бакунина).

Вдобавок не следует забывать вот чего. Если бы Бакунин увлекся только революционной болтовней Муравьева, он, конечно, обнаружил бы этим величайшую политическую наивность; однако это было бы еще с полбеды. Но ведь Бакунин имел перед глазами факты, деятельность царского окраинного генерал-губернатора, завоевателя, колонизатора, и притом колонизатора даже не на буржуазный, а на дворянско-помещичий манер, с поркой, принудительной мобилизацией и закабалением населения, с учреждением казачества и проч. Как же он, демократ, социалист, анархист, оценивал эти факты? Вот в чем вопрос. И весь скандал заключается именно в том, что к этим фактам Бакунин подходил с буржуазно-дворянской точки зрения, которую мы ныне назвали бы империалистической. Даже Завалишин, который не был социалистом, сумел критически отнестись к деятельности Муравьева—пусть не с принципиальной стороны, а со стороны критики отдельных частностей и духа его системы; но Бакунин не сумел совершенно ни с какой стороны критически подойти к работе Муравьева, обычной работе царского генерала-завоевате-

---

1) „Солнце засияло нам в день 14-го“ (т.-е., 14 декабря 1825 г. день восстания декабристов).

2) Завалишин, цит. соч., стр. 388 и сл.

ля [1]), а воспел ее в целом и в частностях, солидаризируясь с нею во всех отношениях [2]).

Прежде всего пикантно звучит в устах анархиста (а за такового пытаются выдать его не в меру усердные поклонники чуть ли не с 1842 года) систематическое восхваление Муравьева, как «гениального администратора», великого и опытного «государственного человека» и т. д. Бакунин с восторгом сообщает Герцену, что Муравьев—«страстный враг английской системы, парламентаризма, конституционализма». Но что предлагается им и Муравьевым взамен буржуазного парламентаризма? Неограниченная диктатура генеральской сабли! И все это приводит Бакунина в такое исступление, что он восклицает: «Вот вам готовый спаситель России»!

Чем же Муравьев в глазах Бакунина доказал свое право на звание «спасителя России»? Во-первых, генеральской болтовней о гнилости петербургской бюрократии, отрицанием конституционализма (который отрицал, впрочем, не с меньшей энергией и Николай I), разговорами о будущей славянской федерации (сколоченной генеральскою палкою), наконец, умеренно-либеральной. чисто буржуазной программой внутренних реформ, которая, быть-может, способна была удовлетворить тогдашнего Герцена, но анархисту и социал-революционеру должна была представляться жалкой [3]). Во-вторых, своими славными деяниями. Му-

---

[1]) В одном месте Бакунин сравнивает Муравьева с другим генералом-завоевателем, но отдает предпочтение своему кандидату в „спасители России“—с экономической точки зрения. Указав, что на „присвоение огромного края“ Муравьев израсходовал всего 540 тысяч р. Бакунин продолжает: „не уменьшая славы (!) Барятинского, покорителя Кавказа“, не надо мол забывать, что тот за три года истратил 28 милл. рублей. „Сравните и произнесите свой суд“,— торжественно заключает Бакунин (письмо от 7 ноября).

[2]) Особенно характерно в этом отношении большое письмо от 7 ноября 1860 г. (письмо в 12 листов).

[3]) В эту программу входят: освобождение крестьян с землею (очевидно, с их наделами — об экспроприации помещиков, об отмене выкупа ни слова), гласный суд с присяжными, народное образование (видимо, низшая школа) и неясное „народное самоуправление“ (видимо, волостное). Это даже не буржуазная, а умеренно-дворянская программа. Либеральное крыло дворянства шло в России гораздо дальше. Характерно, что в этой программе нет даже отмены телесных наказаний. Мы уже видели выше, что при всей любви к „секомым“ Муравьев пускал в ход розги без всяких церемоний.

Гавьев—«единственный во всем официальном русском мире, высоко себя поставивший (для кого?!) и сделавший себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом».

Что же в глазах Бакунина считалось тогда «великим патриотическим делом»? Освобождение трудящихся, борьба с деспотизмом, участие в народной революции? О, нет! «Главное его дело—присоединение Амура к России»; его «амурские подвиги» дают ему право на место в российском революционном пантеоне; Айгунский трактат, «присвоение огромного края»—вот что высоко ставит Муравьева в глазах Бакунина, сохранившего, как он говорит в начале письма, все свои прежние убеждения,—«Айгунский трактат, в силу которого Китай уступает нам (!) весь левый берег Амура,.. что мы (!) растолковали так, что фактически заняли весь Уссурийский край,—целое царство».

Вопрос о приобретении Амура Бакунин трактует с чисто буржуазной, империалистической точки зрения. «Благодаря Амуру, славянское (!) русское царство стало твердою ногою на Тихом океане, и союз с Соединенными Штатами, доселе платонический, стал отныне действительный, что ясно выражается в настоящих отношениях и переговорах с Китаем. Благодаря Амуру, мы (!) можем теперь содержать огромный, действительный флот на Тихом океане, взамен черноморских и балтийских игрушек». Бакунин настолько восторгается этими великими достижениями, что оправдывает все жертвы, вызванные ими, и даже «систему казачества и насильственного заселения Амура посредством казаков», на которую яростно нападал Завалишин. «Система колонизации,—соглашается Бакунин,—правда, несообразная с чистыми началами экономической науки, но при тогдашних обстоятельствах необходимая»—он забывает прибавить, необходимая для нечистых завоевательных целей российского самодержавия. «Скажут, 40.000 горных крестьян, весь Забайкальский край были принесены в жертву амурскому делу?» Но нашего анархо-колонизатора такие пустяки не смущают. «А если бы и так,—восклицает он,—что значит эта временная жертва в сравнении с огромностью добытых результатов?» [1]).

Назвался груздем, полезай в кузов! Взялся оправдывать муравьевскую систему колонизации, так уж оправдывай до конца.

---

[1]) Дальше Бакунин старается доказать, что от перевода в казаки крестьяне не только ничего не проиграли, но много выиграли; но мы не последуем за ним по этому пути.

И Бакунин так и делает. «В 1856 году,—пишет он далее, живописуя «амурские подвиги» своего патрона,—состоялся несчастный обратный поход 1.300 человек войска из Николаевска в Забайкалье, при чем в самом деле от голода, холода и болезней погибло около 300 человек. Я знаю, этот факт был сильно раскритикован в «Колоколе», но, любезные друзья, где ж справедливость? И разве вы не знаете, сколько англичан погибло в Афганистане (!) и северных американцев в военных экспедициях в западных равнинах и по Скалистым горам?» Итак, для оправдания зверств царской колоницазии Бакунин ссылается на самые гнусные завоевательно-колонизационные походы англичан и янки. Это, может-быть, и «справедливо», но только с точки зрения тех «анархистов», которые поддерживали свои буржуазные правительства во время войны 1914—18 годов.

В сжатой форме отношение Бакунина к Муравьеву выражено в письме от 8 декабря 1860 года. Вот что он пишет там:

«Друг Герцен, записка твоя застала меня, когда я кончал предлагаемый ответ в «Колокол». Говорить о моей глубокой, тревожной радости при виде твоего драгоценного почерка было бы лишним. Но она ободрила меня еще и в другом отношении, возбудя во мне надежду, что слова мои найдут в тебе веру. Это—мое третье письмо к тебе; первое, по крайней мере, в 20 листов, до тебя не дошло, второе, листов 12, взял с собою знакомый *** тому назад три недели. Надеюсь, что оно дойдет до тебя, если не прежде, то, по крайней мере, вместе с этим; оно не кончено, но конец пришлю скоро,—благо нашел дорогу к тебе. Все три письма главным предметом имеют Муравьева-Амурского, на которого ты с некоторого времени, по какому-то странному ослеплению, стал нападать жестоко и несправедливо. А между тем, не говоря уже о том, что твои нападения лишены всякого основания и совершенно противны истине, Муравьев, повторяю тебе в третий раз, единственный человек между всеми пользующимися силою и властью в России, которого *без малейшей натяжки*[1]) и в полном смысле этого слова мы можем и должны безусловно назвать *нашим*[2]). *Он наш по чувствам, по мыслям, по всем прошедшим делам*[3]), по стремлениям, желаниям и твердым намерениям. Каким же образом ты не узнал его? Ведь, право, стыдно, Герцен[4]). Если

---

[1]) и [2]) Курсив Бакунина.

[3]) Курсив мой.

[4]) Нападать на царского генерал-губернатора стыдно, а петь ему

бы ты знал, как любит он «Колокол», и как прискорбен ему всякий промах, компрометирующий его, как симпатично уважает тебя и как ему горько было услышать твои незаслуженные обвинения, *клеветы* [1]), раздавшиеся именно в то время, когда восстала против него со всех сторон зависть и подлая интрига под предводительством нашего Philippe Egalité [2]), самого вел. кн. Константина Николаевича. «Своя своих не познаша»—вот его слова о тебе [3]). Теперь он оставляет Сибирь и службу, едет за границу и непременно хочет увидеться с тобою; ты познакомишься с ним и скажешь, что этот человек полный во всех отношениях—и сердцем, и умом, и характером, и энергией.—*Он крепко наш и лучший и сильнейший из нас, в нем будущность России* [4]). Он решился оставить на время службу, несмотря на то, что ему хотят предложить министерство внутренних дел. Он твердо решился не принимать ничего, пока не изменится радикально правительственная система, пока не примется его программа. Программа же в немногих словах следующая: 1) Полное и безусловное освобождение крестьян с землею. 2) Публичное судопроизводство с судом присяжных и подчинение последнему всех служебных чинов по административным грехам от малого до великого. 3) Образование народа на самых широких основаниях. 4) Народное самоуправление с уничтожением бюрократии и с возможною децентрализациею России, а в Петербурге—*не конституция и не парламент, а железная диктатура, в видах освобождения славян* [5]), начиная с воссоединенной Польши, и борьба на смерть с Австриею [6]) и Турциею. Вот вся программа серьезного государственного человека,

---

дифирамбы — ничуть. „Что ж, — восклицает Бакунин в Ответе „Колоколу“,—разве стыдно называться его поклонником?“ Это зависит от вкуса.

[1]) Курсив Бакунина.

[2]) „Филипп — Равенство“, ироническая кличка герцога Орлеанского, который, в расчете добиться таким образом французского престола вместо Людовика XVI, заигрывал с либералами во время революции 1789—1793 г. г.

[3]) Здесь Бакунин приписывает эти слова Муравьеву. Но в письме от 7 ноября 1860 г. (письмо в 12 листов) он говорит эти слова *от себя*. Вот насколько он отожествил себя с „гениальным администратором“ (выражение из того же большого письма)!

[4]) [5]) Курсив мой.

[6]) Это, конечно, особенно привлекало Бакунина. „Австрийцев... он ненавидит не менее меня“,— пишет Бакунин в письме от 7 ноября 1860 года.

доказавшего, что он умеет исполнять свои замыслы.—Я отвечаю вам за искренность Муравьева, потому что знаю его, как *своего лучшего друга* [1]). Каково же мне, Вашему другу, другу Вашего «Колокола», честь и влияние которого в России, поверьте, мне не менее дороги, чем вам самим,—видеть, как, обманутые, ослепленные, вы проповедуете ложь и клевету, нападая *на единственного человека между всеми в России, стоящего, чтобы мы стояли за него горою* [2])? Теперь послушай, Герцен: если ты мне поверишь, в таком случае не печатай моего ответа в «Колоколе»; ты сумеешь без него дать Муравьеву полное удовлетворение так, как именно ты должен дать такому человеку, как Муравьев, sans réticences et sans équivoques [3]), соблюдая при этом осторожность, чтобы не слишком компрометировать его перед правительством; но, если ты не поверишь мне или поверишь только вполовину, так что в душе твоей будут оставаться сомнения, тогда именем всего, что нас связывало и связывает, я требую от тебя, чтобы ты напечатал *без выпусков* [4]) весь мой ответ и, если это покажется необходимым, пожалуй, хоть и за моей подписью. Есть случаи, когда осторожность и все другие соображения должны итти к чорту. Напечатание ответа моего будет сопряжено, я знаю, с большими неудобствами. Во-первых, оно может еще на несколько лет приковать меня к Сибири; во-вторых, преждевременно компрометирует Муравьева перед правительством и нас всех, в лице Петрашевского, перед русскою публикою, наконец, сильно компрометирует «Колокол», так грубо, так нелепо, так самоубийственно ошибающийся. А все-таки я требую напечатания, если в своем сердце и в своем уме ты не найдешь другого средства дать Муравьеву полное удовлетворение. Во всяком деле, как деле чести, один поступок той или другой стороны ведет за собою необходимо неприятные, часто тяжелые последствия для обеих сторон; но от этих последствий ни та, ни другая сторона не имеют права отказаться. Ты напечатал нападение, печатай же и ответ мой или сознайся громко, что ты был подло обманут и непростительным образом ошибся. Вот чего я жду от твоей справедливости, от твоего благородства, наконец, от твоей преданно-

---

[1]) Курсив мой.
[2]) Курсив мой.
[3]) Без умолчания и без двусмысленностей.
[4]) Курсив Бакунина.

сти *общему делу* [1]). Ты—наш судья, Герцен, это правда, но вместе с тем вспомни, что и мы—твои судьи; между нами солидарность взаимной ответственности, которой ни ты, ни мы разорвать не можем [2]).

«Но довольно об этом частном случае, поговорим вообще о положении «Колокола». Со всех сторон слышно, что в последнее время «Колокол» много утратил влияния. Одна из причин та-

---

[1]) Курсив мой.

[2]) Замечательно, что, даже очутившись за границей и погрузившись там с головой в революционные конспирации, Бакунин, по крайней мере в первое время, не освободился от своего увлечения Муравьевым. Так, в письме к Б. Кукелю от 2—14 июня 1862 г. из Лондона Бакунин говорит: „С графом я иногда переписываюсь—он все будирует и живет во Франции, теперь, кажется, в Крейснахе. *Я не потерял моей веры в него* (курсив мой), дай бог, чтоб он только верил в себя и искал бы своего пути на широкой дороге, а не в придворных происках. Наше время страшно ест людей".

При желании в этих словах можно усмотреть начало разочарования. Но окончательно Бакунин разочаровался в Муравьеве только через три с лишним года, во время подавления польского восстания. В неопубликованном письме к гр. Салиас от 5 января 1864 г. из Веве Бакунин по этому поводу пишет: „А знаете, с кем я еще встретился, едучи из Парижа в Лозанну? С графом Муравьевым-Амурским. Мы проговорили целую ночь. Мне было невыразимо грустно слушать этого человека, на которого я когда-то надеялся. Да, он тогда клонился к федерализму, теперь он централизатор, поэтому (?) поклонник Муравьева-Вешателя и Каткова. В такие минуты при очень щекотливых об'яснениях ему было совестно (!) смотреть мне прямо в глаза. Мы расстались не то, чтоб грубо, но с окончательным выражением разрыва". Все это не свидетельствует в пользу проницательности и политической разборчивости Бакунина. Герцен, всегда иронизировавший насчет увлечения Бакунина Муравьевым, в письме к сыну от 20 мая 1863 г. с насмешкою пишет: „Поздравь Бакунина: государь сел задом в муравейник, все Муравьевы около него: М. Н. (т.-е. виленский вешатель), Н. Н. (т.-е. Карский) и Помд'амурский democrate Irkoutsk (т.-е., красный, как томат, иркутский демократ)". А когда этот „демократ" подписался на икону, поднесенную Муравьеву-Вешателю, Герцен в заметке, напечатанной в № 175 „Колокола" от 17 декабря 1863 г., писал: „Имя Амурского графа в числе подписавшихся на икону, поднесенную виленскому палачу, исполнило нас умилением. Видно, мы не так-то *ошиблись* в нем, *как он говорил*,... гневаясь на нас за несколько слов, сказанных о нем по поводу беклемишевского дела. Вот он, прогрессивный ген.-губернатор, демократ-военачальник, государственный человек aux larges vues (т.-е. с широким кругозором). Какой страшный пробный камень этот 1863 год!" Слова, *подчеркнутые самим Герценом*, да и вообще вся заметка представляет явный намек на Бакунина.

кого падения заключается, без сомнения, в ложных корреспонденциях; двух—трех таких промахов в отношении Муравьева и Вост. Сибири достаточно, чтобы убить Ваше издание [1]). Вы должны соблюдать большую осторожность в выборе ваших корреспондентов. Говорят, что Россия оттаивает, но подо льдом всегда много навоза, а навоз воняет. Вполне русская жизнь, вполне русские мелкие интриги и страсти, вполне родная вонючая грязь, отстой подлых интересов и мелкого, но неумолимого тщеславия—пошлость, зависть, ненависть, пустота и сухость мертвого сердца и великодушные фразы, мелкие дела и громкие слова,—все это теперь просится наружу, и так как другого свободного органа, кроме вашего, до сих пор еще нет, все это стремится в «Колокол»,—*а скрыться под маской либерализма и демократизма ныне немудрено,—кто не знаком с благородными словами и фразами* [2])! Они стали так дешевы, так безопасны и безвредны, так кстати и некстати слышатся во всех углах, даже в Сибири, что, право, произносить их самому как-то становится стыдно. Казенный либерализм, казенный демократизм, все слова, слова да слова, а за ними такая гнусная, мелочная действительность, что становится тошно: слова в России действуют на меня, как рвотное, чем эффектнее и сильнее, тем тошнее. Верить должно только тому, в ком есть залог, что слово у него перейдет в дело; в отношении же других я поступил бы так: чем краснее кто сказал слово, тем выше построил бы я для него виселицу [3]). Многие ли из ваших корреспондентов способны, готовы к благородному делу, к которому, кажется, обязывают их великодушные фразы,— а вы их слушаете. Вы взяли на себя трудную, почти неисполнимую обязанность: в Лондоне судить лица, действующие в России. Пока действовали все лица вам знакомые, времен николаевских: Клейнмихели, Орловы, Закревские, Панины etc., etc.,—вам было легко, но теперь выступают на арену люди, вам очень мало или совсем

---

[1]) Здесь Бакунин снова начинает атаку.

[2]) Увы, к Муравьеву Бакунин этой истины не применил.

[3]) Нападки на Муравьева приводят Бакунина в такое ожесточение, что он готов переказнить и перевешать не только строптивых политических ссыльных, но и все общество. „Эта русская публика, бессмысленная, бесстрастная, но болтающая без умолку обо всем, пошлая,—просто блудное стадо, годящееся только под топор"—топор, который должен приводить в движение великий революционный диктатор Муравьев (письмо от 7 ноября).

неизвестные. Вы должны их судить по данным, присланным Вам из России. Кто вам поручится за верность данных? Не должны ли же вы иметь несколько единомыслящих людей в России, знающих край и одаренных практическим талантом и смыслом, в добросовестности и в справедливости которых вы были бы уверены, как в своих собственных, и которые бы проверяли и укрепляли своим свидетельством все эти известия, вам посылаемые? Иначе вы будете всегда обмануты и потеряете всякую силу в России. А таких людей ведь нелегко найти между пишущей братией, даже между остатками наших бывших кружков—большая часть из них окоченели, помертвели и живут, и действуют, и болтают, как мертвые между мертвыми [1]).

«Странное явление представляет ныне русская публичная жизнь, официальная и неофициальная! Это—царство теней, в которых подобия живых людей двигаются, говорят, кажется, мыслят и действуют, а между тем не живут; есть в них риторика всех страстей, нет страсти; нет действительности, ни общего преобладающего характера, ни характеров. Все литература, писание да болтание, а ни капли жизни и дела—нет ни к чему действительного интереса [2]). И говорить даже ни с кем не хочется, потому что наперед знаешь, что из слов не выйдет дела. Литературе теперь лафа, это—ее царство. Панаевы торжествуют, и пишущая братия бьет себя страстно в пустую грудь, а грудь издает громкий звон, потому что в ней нет сердца, в головах полированные засушники с готовыми категориями и словами, а не живой производительный мозг; в мышцах нет силы, а в жилах нет крови,—все тени, красноречивые, пустозвонные тени, и сам между ними становишься тенью. Они ведут теперь мелочную торговлю с помощью небольшого капитала, собранного Станкевичем, Белинским, тобою, Грановским; они спят, бредят вслух, размахивая руками, и только тогда пробуждаются к чувству действитель-

---

[1]) Материал против Муравьева и его фаворитов, как мы уже знаем, доставлен был Герцену доктором Н. А. Белоголовым, очень хорошо знавшим все условия местной жизни, тогда как именно Бакунин в них не разбирался.

[2]) Здесь невольно припоминаются приведенные нами в частях второй и третьей письма Бакунина к Гервегу от 1847 г. (по поводу брюссельских коммунистов и марксистов) и от 1848 г. (по поводу германских буржуазных либералов). Те же мысли повторяются теми же словами.

сти, когда затронуто их лицо, их тщеславие,—единственная действительная страсть между так называемыми людьми порядочными, точно так же, как карманная страсть исключительно преобладает во всех прочих слоях русской *публики* [1]). От теней ли ждать чудес? [2]). А между тем Россия может быть спасена только чудесами ума, страсти да воли. Я ничего не жду от известных в литературе имен, *верю же в сплошную силу народа, верю в среднее сословие* — не в купечество, оно гнилее дворянства,—но в *фактическое, официально не признанное среднее сословие, образующееся постоянно из отпускных людей, приказчиков, мещан, поповских детей* [3]),—в них сохранились еще и русский сметливый ум, и русская удалая предприимчивость; верю также, что в самом дворянском сословии кроется много... [4]).

«Я спрашиваю даже: много ли уцелело из наших? Деятельность утомляет, сжигает людей, но русская обыденная пошлость их стирает и стаптывает. Тургенев, Кавелин, Корш—живые ли люди? Ваших прочих друзей и знакомых я не знаю,—жизнь сохранилась ли в них? Мне обещают [5]), что в нынешнюю весну я получу позволение ехать в Россию; буду искать людей,—для меня это интерес первостепенный. Здесь, кроме Муравьева, я узнал *еще одного человека* [6]), это—молодого генерала Николая Павловича Игнатьева, сына санкт-петербургского генерал-губернатора и,

---

[1]) Курсив Бакунина.

[2]) И подумать, что это писалось в разгар литературной деятельности Чернышевского, Добролюбова и их кружка, в лучшую пору „Современника"! И писалось человеком, который тут же расхваливал Муравьева, как „нашего", как единственную надежду России и т. п.! Характерно, что, давая характеристику тогдашним литературным деятелям, *Бакунин, имея очевидно в виду именно кружок Чернышевского, характеризует его словами, заимствованными из писаний Герцена*, рассчитывая таким образом задобрить последнего в пользу Муравьева.

[3]) Но как только это „среднее сословие", как в инциденте с Муравьевым, очутилось в противном лагере, Бакунин, как мы видели, жестоко над ним издевается (недоучки-учителя, мещане из биллиардной и т. п.).

[4]) На этих словах оканчивается первый лист письма. Затем второй другого формата, но нумерованный — 2, начинается, как напечатано далее, представляя в начале вариант окончания первого листа. — *Примечание М. П. Драгоманова.*

[5]) Повидимому, такое обещание давал ему Муравьев, надеявшийся добиться прощения для своего родственника.

[6]) Курсив мой.

если я не ошибаюсь, твоего знакомого, Герцен. Он возвращается теперь из Китая, где он наделал *чудес* [1]). С 19 казаками, в виду английского и французского посланников лорда Эльгина и барона Gros с их армиями, *он сумел сыграть самую блистательную, первую роль и извлечь для России наибольшие выгоды* [2]), *несравненно большие, чем сами французы и англичане.* О трактате, им заключенном. вы узнаете из газет, но о чем не услышите, это—о беспримерном варварстве английских, особливо же французских войск в Китае. Первые довольствовались большею частью грабежом и состоят притом по преимуществу из сипаев, но вторые—чистые французы—по всей дороге до Пекина насиловали женщин и потом топили, убивали их, отрезывали у них ноги. Этим воспользовались русская сметливость и русская дисциплина; во главе 19 казаков Игнатьев явился как спаситель Китая,—и теперь мы стали уже совершенно крепкою ногою на Тихом океане. Но возвратимся к Игнатьеву; это человек молодой, лет тридцати, вполне симпатичный и по высказываемым мыслям и чувствам, по всему существу своему, **смелый, решительный**, энергичный и в высшей степени способный. Он честолюбив, но благородно горячий патриот, требующий в России реформ демократических и во вне—*политики славянской* [3]), одним словом,—с легкими различиями того же, чего требует Муравьев. Они сошлись и будут действовать заодно. *Вот с такими-то людьми не худо бы вам было войти в постоянные сношения* [4]), они не резонерствуют, мало пишут, но зато много знают и, редкая вещь в России, *много делают*» [5]).

Вот что писал и думал в конце 1860 года, т.-е. незадолго до своего побега из Сибири и до возвращения к активной политической работе, человек, который через несколько лет после того выступил в роли претендента на руководство революционной борьбой международного пролетариата! Если бы марксисты и иные политические противники Бакунина, подозревавшие его в панславизме, знали это письмо, их задача была бы сильно облегчена, ибо никакой враг не мог бы так оклеветать Бакунина, как он сам это сделал в цитируемом письме. Не мешает прибавить, что другой идеал Бакунина, Н. П. Игнатьев [6]), был никто иной

---

[1]) [2]) [3]) [4]) [5]) Курсив мой.

[6]) Факты, приводимые Бакуниным относительно подвигов Игнатьева в Китае, перепутаны и изложены весьма неточно, как можно убедиться из любого жизнеописания этого „славянского“ героя.

как один из предтеч российского империализма, бывший русский военный агент в Лондоне в 1856 г., состоявший там в распоряжении русского посла в Париже, гр. Киселева, в 1858 г. орудовавший в Хиве и Бухаре, затем интриговавший в Китае (что привело в такой восторг Бакунина); что это тот самый Игнатьев, который впоследствии с 1864 по 1877 г. был послом в Константинополе, вел там панславистскую политику, прославился как представитель «воинствующего панславизма» и явился одним из главных виновников войны с Турцией 1877—78 г.г.; что своими лживыми донесениями о мнимой слабости турецкого правительства он способствовал страшным потерям, понесенным русскими войсками; что с мая 1881 г. по май 1882 г. он был министром внутренних дел, способствовал разгрому партии «Народной Воли», был одним из лидеров крайней реакции, основателем «Священной дружины», этой белогвардейской террористической организации, проводником самых жестоких репрессий против революционеров и трудящихся масс, инициатором еврейских погромов, и т. д., и т. п. Все это показывает, как плохо Бакунин разбирался в людях, как мало требователен он был в политическом отношении, какая путаница царила у него в голове, и как легко было соблазнить его парой фраз в «славянском» духе [1]).

Тогдашняя политическая наивность (или неразборчивость?) Бакунина видна еще из того, что он писал письма Каткову, стараясь внушить ему гуманные чувства к польской нации, хотя будущий вождь российской реакции к тому времени уже успел достаточно обнаружить свою истинную физиономию. Впрочем, ошибка Бакунина, оторванного от русской жизни, могла еще об'ясняться тем, что он помнил Каткова из того периода, когда тот либеральничал и вертелся около Белинского. Катков уверял также, что Бакунин просил у него взаймы денег.

Впоследствии, занявшись разоблачением нигилистов, в частности нечаевцев и связанного с ними Бакунина, Катков писал [2]): «В 1859 г., когда Бакунин еще проживал в Сибири и служил по

---

[1]) Анархические жизнеописатели Бакунина стараются обходить молчанием эту и подобные страницы его биографии. Они предпочитают распространяться о „клеветах“ Маркса, Энгельса и Либкнехта, облыжно обвинявших, дескать, великого революционера в панславистских устремлениях.

[2]) „Моск. Ведомости“, 1870 г., № 4. — Перепечатано у Неведенского в его известной книге о Каткове (стр. 503 и сл.).

откупам [1]), мы получили от него неожиданно письмо. в котором он припоминал о нашем давнем знакомстве, и которое показалось нам искренним. Мы предложили ему попробовать писать в наш журнал [2]) из его далекого захолустья, которое для ума живого и любознательного должно представлять много новых и интересных сторон. В течение 1861—1862 г.г. [3]) мы получили от него еще два-три письма через ссыльных из поляков, которые, быв помилованы, возвращались на родину. Оказалось, что он жил в Сибири не только без нужды, но и в избытке (?), ничего не делал и читал французские романы, но на серьезный труд, хотя бы малый, его нехватало. Русскую литературу он не обогатил своими произведениями. В письмах его к нам проглянул прежний Бакунин: от них веяло хотя благонамеренным, но пустым и лживым фантазерством. Местами он заговаривал тоном вдохновения, пророчествовал о будущих судьбах славянского мира и взывал к нашим русским симпатиям в пользу польской нации. Переписки с своей стороны мы не поддерживали. Последнее послание мы получили от него уже в эпоху варшавских демонстраций [4]). Прежний Бакунин явился перед нами во всей полноте своего, ничуть не поврежденного существа. Он потребовал от нашей гражданской доблести присылки ему денег, по малой мере 6.000 рублей. Дабы облегчить для нас это пожертвование, он дозволил нам открыть в его пользу подписку между людьми, ему сочувствующими и его чтящими, которых, по его расчету, долженствовало быть немало. Зачем же вдруг и так экстренно понадобилась ему вышеозначенная сумма? Вот зачем: однажды его осенило сознание, что он получал даром жалование от откупщика, у которого состоял на службе, ни-

---

[1]) Здесь Катков пытается набросить тень на Бакунина. Последний действительно служил у откупщика Бернардаки, но не по его откупным, а по золотопромышленным делам (да и по этим ничего не делал).

[2]) Т.-е. в „Русский Вестник", который тогда еще не сделался определенно реакционным органом, а выражал взгляды умеренного дворянского либерализма.

[3]) Здесь Катков безбожно путает. В октябре 1861 г. Бакунин бежал из Сибири. Каким же образом Катков мог получать от него письма в 1862 г., когда Бакунин находился уже за границей? Разве допустить, что Бакунин написал Каткову письмо незадолго до побега и что оно дошло до адресата лишь в 1862 г.

[4]) Варшавские демонстрации имели место в 1860 г. и в начале 1861 г. Отсюда ясно, что первое указание Каткова на получение писем от Бакунина в 1862 г. им же опровергается.

чего не делая; он вдруг сообразил, что откупщик выдавал ему ежегодно, в продолжение трех лет, по 2.000 рублей единственно из утождения генерал-губернатору, которому Бакунин приходился сродни. Сознание это не давало ему-де покоя, и он решился, во что бы то ни стало, возвратить откупщику всю в продолжение трех лет перебранную сумму. Благородный рыцарь, он хотел подаянием уплатить подаяние и из чужих карманов восстановить свою репутацию во мнении откупщика. Мы не могли ему быть полезны, и письмо его осталось втуне. Но прошло затем несколько месяцев, и мы узнали, что Бакунин все-таки добыл сумму, которую (?) требовалось возвратить откупщику, но откупщику ее не возвратил, а бежал с полученными деньгами из Сибири».

Нам известны только три письма Бакунина к Каткову, подлинники которых (к сожалению, в довольно поврежденном виде) хранятся ныне в Пушкинском Доме при Академии Наук. Первое письмо от 21 января 1859 года из Томска, второе от 21 июня 1860 года из Иркутска и третье от 2 января 1861 года также из Иркутска [1]). Существовали ли еще другие письма Бакунина к Каткову, неизвестно. Катков говорит, что после первого письма из Томска он получил еще 2—3; но насчет трех он легко мог ошибиться, так как писал, очевидно, по памяти, судя по тому, что безбожно перепутал даты. В 1862 году он не мог получать от Бакунина писем, так как тот бежал из Сибири в октябре 1861 года. Можно было бы допустить, что Бакунин писал Каткову незадолго до своего побега, и что это неизвестное нам письмо дошло до адресата только в 1862 году; но это предположение опро-

---

[1]) Эти письма были опубликованы в журнале „Печать и Революция“, 1924 г., книга четвертая, стр. 78—88, с предисловием В. Полонского. Считаем нужным отметить в этом предисловии две существенные неточности. 1) Предисловие начинается словами: „печатаемые ниже четыре письма Бакунина“, тогда как на самом деле дается только три, да иначе и быть не может, ибо всего-то имеется три таких письма. Последнее письмо, начатое и датированное 2 января 1861 г., продолжалось по обычной бакунинской манере 15 января; но что это одно письмо, видно хотя бы по тому, что первый отрывок, написанный 2 января, не подписан и состоит всего из 9 печатных строк, а второй представляет — непосредственно продолжение первого, трактуя о неудаче попыток Муравьева добиться освобождения Бакунина (на *подлиннике* это совершенно очевидно). 2) По поводу слов Каткова, что первое письмо он получил от Бакунина в 1859 году, В. Полонский считает нужным поправить Каткова и пишет: „Катков ошибся. Первое письмо написано годом раньше“. Ошибся-то не Катков, а В. Полонский

вергается указанием самого Каткова, что последнее послание Бакунина он получил в эпоху варшавских демонстраций. А так как эти демонстрации происходили в конце 1860 и в начале 1861 года, то ясно, что письмо Бакунина от 2 января 1861 года и было действительно последним его письмом к Каткову. Это однако не значит, чтобы Бакунин не писал ему раньше. По крайней мере, есть основание предполагать, что между первым и вторым письмом, нам известными, Бакунин посылал Каткову еще письма. Это можно заключить из первых слов второго письма Бакунина к Каткову (от 21 июня 1860 года). Оно начинается следующими словами: «Мой милый друг (sic!), не помню уж, сколько я писал тебе писем, не получая от тебя (ни) строчки. После твоего первого письма ты замолчал так упорно» и т. д. А так как первое письмо Каткова было ответом на первое же письмо Бакунина от 21 января 1859 года из Томска, то представляется довольно вероятным, что в промежутке между датою своего первого письма, т.-е. 21 января 1859 г., и датою второго письма, т.-е. 21 июня 1860 г., Бакунин отправил Каткову еще несколько писем, которые или не дошли до адресата, или не сохранились [1]).

Катков несомненно имел право рассказывать об этих письмах Бакунина в ироническом тоне. Настолько они наивны по содержанию и по слишком прозрачной цели снискать благоволение Каткова подлаживанием к его взглядам и неумеренною лестью по его адресу. Умеренно-либеральный, дворянско-англоманский журнал Каткова «Русский Вестник» (тогдашней окраски) Бакунин называет истинным «делом», «действительно благородной

крайне невнимательно отнесшийся к документам, которые он взялся комментировать. Правда, первое письмо Бакунина датировано: „21 января 1858 г. Томск". Но это явная описка, обычная в письмах, писанных в начале нового года, когда рука пишущего механически ставит по привычке цифру прошедшего года. Что это так, видно из слов Бакунина в середине письма: „Я женился три месяца тому назад и вполне счастлив". Биографу Бакунина следовало бы знать, что Бакунин женился в октябре 1858 г.; следовательно, ясно, что письмо писано в январе 1859 г. При рассмотрении исторических документов, особенно писем, следует помнить прутковское правило: „не верь глазам своим".

[1]) Если, конечно, не допустить, что слова Бакунина о письмах оставшихся без ответа, не представляют просто фасон де парле. Он мог перестать писать Каткову, а встретив через полтора года надобность в возобновлении сношений, присочинить отправку нескольких писем с целью смягчить тот факт, что он сам не ответил в свое время на письмо Каткова.

и умной силой» (вспомним, что в письме к Герцену через два года он характеризовал литературную деятельность кружка «Современника» как сплошную болтовню!). «Артист», «художник», «философ»—Катков ни от кого, пожалуй, не слыхал столько похвал, сколько от Бакунина, который в глубине души вряд ли относился к нему с уважением или симпатией. И если он считал нужным и допустимым осыпать Каткова цветами лести и пускаться с ним в интимные излияния, то несомненно потому, что хотел использовать и Каткова для своих целей—как личных, так и общественных: на случай возвращения в Россию—иметь такую связь, как Катков с его растущим влиянием; на случай побега—попытаться раздобыть у него или с его помощью нужные для этого средства; наконец, попытаться внушить Каткову свои мысли относительно славянского и в частности польского дела и, таким образом, пером Каткова проводить их во влиятельном тогда «Русском Вестнике». Как настоящему агитатору, Бакунину в особенности присуще было правило гоголевского Осипа, что и веревочка при случае может пригодиться. Все это—проявление его обычной тактики по отношению к людям, которых он старался, незаметно для них самих, делать орудием своих планов, что, впрочем, часто шито было слишком белыми нитками, а потому приводило подчас к обратным результатам.

Особенно восхваляет Бакунин Каткова за то, что тот «решительно поднял знамя непримиримой, разрушения ее жаждущей, вражды к Австрии или, вернее, к Австрийской империи». И далее он старается раз'яснить Каткову все значение славянского вопроса с своей, бакунинской, точки зрения, при чем, приспособляясь к настроениям своего адресата, в ряде пунктов впадает в казенную постановку этого вопроса. Впрочем, делает это Бакунин с хорошей целью—незаметно привести Каткова к более гуманной трактовке русско-польского вопроса, который-де «легче всего разрешается в славянской среде». И Бакунин силится убедить Каткова, что именно русские «для собственного блага должны признать их (поляков) право и подать им дружескую руку» и «должны сделать первый шаг и потому, что в настоящее время мы—виновные, мы—торжествующие». Ссылаясь на свой сибирский опыт, вынесенный им из общения с поляками, Бакунин уверяет, что среди поляков найдутся элементы, которые пойдут на примирение с передовыми слоями русского общества.

Письмо это Бакунин переслал с Г. Н. Потаниным (см. выше). «Он,—пишет Бакунин про Потанина,—принадлежит к казацкому сословию в западной Сибири и насилу и не совсем освободился от обязательств, налагаемых этим странным николаевским средневековым, а у нас совершенно нелепым созданием [1]). Григорий Николаевич Потанин учился в Омском кадетском корпусе, где в нем пробудилась редкая благородная любознательность, и, дослужившись до чина поручика в казачьем войске, с большим трудом выхлопотал себе отставку—с целью ехать в Петербург и учиться там при университете. Он сам лучше меня расскажет Вам, как и чему он хочет учиться. Он—человек дикий, неопытен и наивен часто до детства, но в нем есть ум действительный и огромный, хотя и не всегда проявляющийся, благородное стремление ко всему лучшему, жажда знания и редкая между русскими способность трудиться, редкое равнодушие ко всем внешним удобствам и наслаждениям жизни, есть также и упорное постоянство, залог успеха. Эти качества заставляют меня думать, что из него может что-нибудь выйти, несмотря на настоящую, впрочем, при неведении его довольно естественную, неопределенность и неясность стремлений». Дальше Бакунин просит Каткова оказать Потанину поддержку и в частности взять у него статьи по вопросам сибирской жизни, о которой этот «сибирский Ломоносов» собрал много интересных сведений.

Таким образом оказывается, что Бакунин в известном смысле «открыл» Потанина [2]). Характеристика, данная Бакуниным своему молодому протеже, показывает вместе с тем, что при случае он умел очень хорошо разбираться в людях и определять их отличительные свойства. Кроме того эта история свидетельствует и об отзывчивости Бакунина, которую он, впрочем, проявлял всегда.

[1]) Как мы знаем, когда Бакунину впоследствии пришлось взять на себя защиту политики Муравьева-Амурского, он не столь отрицательно отнесся к этому „нелепому средневековому“ институту.

[2]) В письме к Герцену и Огареву от 8 октября 1865 г. Бакунин пишет: „Потанина я не только знал лично, но был, можно сказать, его создателем или, вернее, открытелем. Я освободил его из-под казачьего ярма и отправил его в Петербург. С пошлою наружностью, это необыкновенно умный, честный и энергичный молодой человек, деятель без устали, без тщеславия, без фраз“ („Переписка“, изд. Драгоманова, Женева, 1896, стр. 161).

Второе письмо Бакунина от 21 июня 1860 г. из Иркутска интересно его соображениями о ходе крестьянской реформы и о роли либерального дворянства. Иронически запрашивая Каткова, «чем-то кончатся ваши мировые реформы», Бакунин предостерегает от результатов промедления с разрешением вопроса о крепостном праве и от возможных последствий извращения крестьянской реформы. «Смотри [1]), пишет он,—чтоб дв(орянская) глупость, а главное—петербургские ребячество, легкомыслие не вызвали (из) глубины народной жизни страшного подземного духа, в России еще страшнейшего, чем где бы то либо». Вряд ли Бакунин боялся этого «духа», но в письмах к Каткову он считал нужным выдерживать этот «благонамеренный», либеральный тон. Возможно, что именно этим об'ясняются высказываемые им радужные надежды на роль либерального дворянства, к которой он непосредственно и переходит.

«Впрочем, не все дворянство глупо,—продолжает Бакунин, видимо, внимательно следивший в своем захолустье за ходом реформы,—в иных губерниях есть умное меньшинство, и дай бог, чтобы (оно) увлекло за собою всю массу дво(рян). Я прочел соображения Унковского [2]), (без) сомнения тебе известные, и кроме одного пункта, а именно того, в котором тверское дворянство требует для себя особенной привилегии на службу по выборным должностям, *вполне с ним согласен* [3]). Этот пункт—чистая уродливость. Что дворянство по материальному и духовному преобладанию своему будет искать и найдет должное влияние на внутреннее управление, *я нахожу это не только натуральным, но законным—я желаю такого влияния* [4]). Но чтобы это влияние перешло в юридическую привилегию, было признано за ним как исключительное право, вот где я вижу вредную нелепость. Аристократия никогда не привьется в России, а создавать искусственную аристократию опасно и глупо» [5]).

[1]) Со второго письма Бакунин по-старому переходит с Катковым на „ты“. Подал ли к этому повод сам Катков в своем ответе на первое письмо Бакунина, мы не знаем, так как этот ответ до сих пор неизвестен.

[2]) Тогдашний лидер тверского либерального дворянства.

[3]) Курсив мой.

[4]) Курсив мой.

[5]) Тут же Бакунин высказывает полное одобрение переходу части передового дворянства к буржуазно-капиталистическому способу ведения хозяйства посредством вольнонаемного труда. „Порадовало

Бакунин об'ясняет включение этого единственно несимпатичного ему пункта в программу либерального дворянства желанием ее авторов увлечь за собою большинство, которому с этою целью и сделана была уступка. Вообще же принципы тверского либерального дворянства, за исключением вышеозначенного пункта, ему «безусловно нравятся»—и притом по причине, странно звучащей в устах того Бакунина, который через несколько лет решительно стал звать крестьян к «топору». «Мне кажется,—говорит он,—что только широкое и безотлагательное применение их (т.-е. либерально-дворянских «начал») *может спасти Россию от революции*» [1]).

Вот какие заботы Бакунин счел нужным выражать в своей переписке с Катковым [2]). Очень возможно, что высказанные здесь взгляды не во всем отвечали действительным тогдашним воззрениям Бакунина, и что он, излагая их Каткову, преследовал при этом какие-то специфические цели. Но, во-первых, и в муравьевских письмах к Герцену, перед которым Бакунину не приходилось *в этом* отношении лицемерить, высказываются взгляды, далеко не прогрессивные, а, во-вторых, как мы увидим в следующем томе, период, если так можно выразиться, либеральных увлечений Бакунина продолжался еще в течение изрядного времени и после его побега из Сибири.

Третье письмо Бакунина к Каткову в большей своей части написано было в половине января 1861 года. В это время Бакунин рассчитывал еще на возможность легального возвращения в Россию благодаря хлопотам Муравьева. «Надеюсь,—пишет он,—что

меня особенно то,—пишет он,—что братья (Бакунина) и другие единомыслящие с ними дворяне приступили к фактическому освобождению крестьян с землей и к (пре)образованию своего хозяйства на основании вольнонаемного труда". Бакунин даже не задается мыслью о том, чем вызвано это „благородство" отдельных дворянских групп, владевших плохой и дешевой землей, которую для них выгодно было навязать крестьянам по повышенной оценке.

[1]) Курсив мой.

[2]) В высшей степени интересна следующая фраза в письме Бакунина: „Остается решить один вопрос: освободив общину, как освободить лицо от общины? А это столь же необходимо, без этого не будет жизни в России". Бакунин, этот страстный поклонник свободы, в отличие от Герцена никогда не был безусловным сторонником общины. Впоследствии, говоря о его деятельности после побега из Сибири, мы будем иметь случай привести его слова о „гнусном деспотизме" общины, убивающем всякую личную инициативу.

сила Муравьева возьмет свое. Пора мне (ехать, здѣсь) делать нечего». Дальше он действительно обращался к Каткову с просьбою *раздобыть для него денег* (4.000 рублей сер.) в видах возвращения Бенардаки полученного от него двухлетнего жалования. «Думал я, думал,—пишет Бакунин,—и, наконец, решился прибегнуть к твоей личной дружбе и к политической симпатии твоих друзей (!!)—в кому же и прибегать в крайних случаях, как не к политическим друзьям, если такое выражение имеет уже смысл, стало возможно в России? Залогом уплаты должны служить остаток моей небольшой части в имении братьев и моя будущая деятельность (?); ты, кажется, не потерял веры в последнюю, да и я чувствую себя вправе о ней говорить, потому что сознаю в себе еще много силы и охоты на дело». И дальше Бакунин наивно указывает адрес, по которому ему можно переслать деньги и письма—иркутского гражданского губернатора, П. А. Извольского, «моего большого приятеля», как он поясняет.

Затем Бакунин переходит к политике. Побранив Каткова за проявленные им симпатии к Австрии, Бакунин снова доказывает, что в интересах России—разрешить польский вопрос и стать во главе общеславянского движения, не допуская Австрию сделаться федеративной державой и центром притяжения для славянских народов. «Нет, милый друг,—говорит Бакунин,—я крепче стою за Россию. Она, наперекор своей рабски-патриархальной неподвижности и нынешней тупости ее правителя и правителей, она должна сделаться средоточием славянского возрождения, она должна раздробиться на административно-самостоятельные части, органически связанные друг с другом [1]), и возродиться в русской славянской федерации».

В конце письма Бакунин сообщает, что Муравьев-Амурский навсегда оставляет Сибирь. «Блистательный трактат, заключенный в Пекине молодцом Игнатьевым, увенчал его (Муравьева) дело,—пишет Бакунин,—и ему в Сибири делать более нечего—его мало знают в России. Он необыкновенный человек и умом, и энергией, и сердцем. Он принадлежит к разряду, редкому и весьма немногочисленному в России, людей делающих. Умей он лучше выбирать своих исполнителей, он был бы человек гениальный. Но выборы его были большею частью несчастны, и доверенные его

---

[1]) Имеются в виду Литва, Белоруссия, Украина. Этот проект кстати снова показывает, что Бакунину свойственна была глубокая политическая проницательность, заглядывающая далеко вперед.

часто его компрометировали [1]). Он—человек страстный и потому способный к увлечениям, к ошибкам, но этот недостаток вознаграждается огромным, быстрым, метким умом и в высшей степени благородным сердцем, которые в большей части случаев исправляют ошибки его страстного нрава, впрочем, уж очень угомонившегося. Он человек будущности России. Я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Сходи к нему и скажи, что ты пришел по моей просьбе. Только предупреждаю тебя, что он ненавидит англичан... лордов; он более демократ, чем либерал..., впрочем, либеральный демократ, поборник (децен)трализации и самостоятельного общинного (упра)вления, враг бюрократии [2]). Узнай его, по крайней мере, как человека. несомненно исторического, если и не в настоящем. то в будущем и, надеюсь, в близком будущем». Надо думать, что рекомендация Бакунина не помогла, а сильно повредила Муравьеву в глазах Каткова... [3]).

С Бенардаки дело обстояло так. По рекомендации А. М. Княжевича и М. С. Корсакова, бывшего тогда близким сотрудником гр. Муравьева-Амурского, Бенардаки согласился принять Бакунина на службу в Амурскую Компанию. На службе он был зачислен с 1 марта 1859 года с годовым окладом в 1.000 руб. сер. и с добавочным содержанием 50 руб. сер. в месяц за время, проводимое им по делам компании вне Иркутска. При переезде в Иркутск из Томска Бакунин кроме того получил 700 руб. под'емных, в том числе 350 руб. на счет компании, а 350 руб. заимообразно, с вычетом из жалованья. Прибыв в Иркутск в половине марта

---

[1]) Это новая нота в отзывах Бакунина о Муравьеве. Видимо, Бакунин начал в нем или, вернее, в результатах его политики несколько разочаровываться. В письмах к Герцену Бакунин не указывает на этот недостаток Муравьева—неумение выбирать людей, ибо это уже есть начало критики, которой в письмах к Герцену не замечается совершенно.

[2]) Пропуски, пробелы и т. д. в письмах Бакунина к Каткову об'ясняются тем, что письма эти повреждены огнем. Некоторые слова приходится восстанавливать, вернее, дополнять по догадке и по смыслу.

[3]) Когда в Интернационале в связи с деятельностью Бакунина начались трения. Маркс и Энгельс естественно заинтересовались его прошлым. Боркгейм, давно имевший зуб против Бакунина, которого он считал панславистом, начал доставлять им сведения о нем. В частности он указал Марксу на статью Каткова в „Моск. Ведомостях“. которая сообщала о переписке с ним Бакунина (Боркгейм, видимо, все эти материалы тщательно подбирал). По этому поводу Маркс 19 февраля 1870 г. писал Энгельсу, что Боркгейм показал ему „статью в

1859 г., Бакунин до 1 июня оставался без всякого дела. Хитрый откупщик, привыкший к обирательству со стороны чиновной братии, повидимому, не принимал всерьез службы Бакунина и смотрел на выдаваемое ему содержание как на своего рода взятку родственнику всесильного генерал-губернатора. Бакунин скоро сам стал замечать это, и, не желая получать «даровой пенсии» [1]), он по собственной инициативе предложил считать его службу не с 1 марта, а с 1 июня, а 250 руб., взятых им за март, апрель и май, считать за деньги, взятые им взаймы, равно как и все 700 рублей, полученных им на под'ем из Томска, если он не заключит контракт с компанией на следующий год.

С 1 июня по 1 декабря 1859 года Бакунин провел в Забайкалье по делам компании, получив за это время 500 руб. жалования и 300 руб. содержания, всего 800 рублей. После этого он оставил службу вследствие своего убеждения, что при сложившихся обстоятельствах не может принести компании никакой пользы. Но под влиянием уговоров Ю. А. Волкова, служащего компании, Бакунин, рассчитывая в будущем все-таки получить у компании подходящую работу, стал забирать у Волкова деньги «не в подарок, а заимообразно, в счет будущего жалованья», надеясь, как он об'ясняет, в крайнем случае уплатить этот долг из принадлежавшей ему части в имении братьев. Весною 1860 года Бакунин ездил к Волкову в Красноярск, где прожил полтора месяца, выясняя свое дальнейшее служебное положение. В конце концов договорились на том, что Бакунин отправится в Иркутск

газете Каткова, где последний, во-первых, заподозривает Бакунина в некоторых денежных историях, во-вторых, называет его своим сибирским корреспондентом, а, в-третьих, упрекает его в том, что он из Сибири или незадолго до своей высылки туда—точно не припомню—написал *царю Николаю верноподданнейшее письмо*" (курсив Маркса). На это Энгельс резонно отвечал Марксу 22 февраля: „Сообщения Каткова о Бакунине немногого стоят. *Кому* были якобы адресованы покаянные письма, там не сказано. Манера перехватывать деньги—слишком обычное русское средство существования, чтобы один русский мог упрекать в этом другого. То же, что Бакунин употребил занятые им 6.000 рублей на побег, а не на уплату откупщику, прямо смешно. А то, что сосланный в Сибирь человек раз обращается к Каткову, хотя в остальном не имеет с ним ничего общего, тоже ничего не значит. Бакунина это огорчит, но я не думаю, чтобы Годиссар (Боркгейм) мог много из всего этого извлечь" („Briefwechsel", IV, стр. 247—249).

[1]) Все эти подробности мы заимствуем из письма самого Бакунина к Д. Е. Бенардаки от 11 января 1861 г.

в качестве чиновника особых поручений по всем делам Бенардаки *кроме откупных* и будет получать, впредь до окончательного решения самого Бенардаки, находившегося в Петербурге, по 150 рублей в месяц. Тогда же Бакунин написал Бенардаки письмо, в котором выражал надежду, что компания даст ему подходящее назначение, в противном случае просил предоставить ему годичный срок для уплаты сделанного им долга. О том же он снова писал Бенардаки в августе.

От Волкова Бакунин получил в августе письмо из Петербурга с уверением, что дело его скоро и благополучно устроится. Тем временем вернулся в Сибирь М. С. Корсаков, который, уезжая из Иркутска, обещал Бакунину переговорить о нем с Бенардаки. «Он возвратился,—пишет Бакунин Бенардаки,—и я узнал от него, что вы изволите смотреть на деньги, полученные и получаемые мною, как на подарок или как на даровую пенсию, жертвуемую в пользу не знаю кого и чего... Если бы вам было угодно прочесть мои письма, то вы не позволили бы себе судить о мне так низко... Вы судили о мне по множеству других прибегающих к вашей щедроте под разными благовидными предлогами... Я не принадлежу к разряду продажных людей, берущих деньги за дела нечистые или даром».

Убедившись, продолжает Бакунин, что Бенардаки не намерен предоставлять ему настоящего дела, Бакунин считает нужным немедленно оставить службу у него и сполна возвратить ему все суммы, им от Бенардаки полученные. По его расчету, он забрал у компании по 1 мая 1860 года 3.375 рублей, а прибавив к ним 1.800 рублей, взятых у нее за службу «без всякого дела» с 1 марта 1860 г. по 1 марта 1861 г., получится 5.175 рублей, «даром полученных» и подлежащих возврату. Сообщая, что он поручил своему брату, как «естественному представителю своей чести и своих обязательств», договориться с Бенардаки об уплате этой суммы, Бакунин снова просит предоставить ему для этого годовой срок.

Брату Николаю он писал через три недели (1 февраля 1861 г.) несколько в ином духе. Повидимому, Бакунин все же не считал своих отношений с Бенардаки совсем порванными и даже рассчитывал получать с него деньги и в дальнейшем. «Я просил [1]) тебя,

---

[1]) Письмо, на которое здесь ссылается Бакунин и в котором он, видимо, сообщал брату о своих денежных отношениях с Бенардаки, в премухинском архиве не сохранилось.

Николай,—пишет Бакунин,—*если это возможно без ущерба для моей чести,* не разрывать моих отношений с Бенардаки, напротив, определить, укрепить и устроить мои деловые с ним отношения, не скромничая, не донкишотничая и соблюдая по возможности мои выгоды. Тут представляются два возможные случая: или мне дадут позволение ехать в Россию, или нет [1]). В первом случае он должен знать, что я поеду в мае, и, вероятно, не откажется дать мне средства ехать в Россию, как делает это для всех служащих по его делам. Во втором же я б желал, чтобы он мне дал поручение на Амур до Николаевска [2]); он узнал бы от меня, без сомнения, всю истину насчет того, что делается и что можно сделать и предпринять в этом крае... Во всяком случае я не возьму менее 3.000 руб. сер. жалованья при его полном содержании, как это делается в Сибири, и чувствую себя способным принести ему пользы и на 6.000 руб. жалованья. Говорить нечего, что я не соглашусь остаться в его службе, если он мне не даст настоящего дела и не сознает своей ошибки. Если вы найдете необходимым разорвать мои отношения с Бенардаки, не худо бы было, если бы вы рекомендовали меня другому петербургскому или московскому капиталисту. Но в этом отношении на вас надежда плоха. То ли было бы дело, если б я сам мог побывать в Москве или Петербурге».

А в приписке Бакунин просит, в случае неудачи хлопот об его освобождении и об оставлении на службе у Бенардаки, продать принадлежащую ему часть имения, уплатить его долги, а остаток выслать ему в Сибирь. Сообщая, что он живет в долг, Бакунин заключает: «Тесно и плохо и мало надежды, а все-таки я не теряю ни веры, ни духа. Буду до конца бороться».

Такова эта история со службой Бакунина, лишний раз свидетельствующая о его легкомысленном отношении к денежным вопросам, отношении, которое не раз ставило его в тяжелое положение. Весьма сомнительно, чтобы братья Бакунина были такого же высокого мнения о его деловых способностях, как он сам. Вряд ли брат Николай особенно энергично настаивал перед

---

[1]) Как мы ниже увидим, Бакунин в тот момент допускал возможность восстановления своего в правах и разрешения ему легально вернуться в Россию.

[2]) Этот план, вероятно, связан с начавшей уже складываться у Бакунина мыслью о побеге. Этим путем, как мы увидим, он вскоре и бежал из Сибири.

Бенардаки на оставлении или, вернее, на новом приеме Бакунина на службу, да еще с повышенным окладом. Точно также мало вероятно, чтобы он рекомендовал Бакунина, как делового человека, другим московским или петербургским капиталистам. Никакой работы Бакунин не получил. Как разрешен был вопрос об уплате долга, сделанного Бакуниным, в точности неизвестно. В своей цитированной выше брошюре (стр. 22), Б. Кубалов сообщает, что, не добившись успеха у Каткова, Бакунин обратился за помощью к братьям. Те помогли ему выйти из неприятного положения, выдав Бенардаки вексель на забранную у него Бакуниным сумму [1]). О том же сообщает ген. Корсаков в письме к кн. Долгорукову от 17 сентября 1861 года, излагающем обстановку побега Бакунина из Сибири...

20 апреля 1861 г. мать Бакунина в последний раз просила государя о разрешении ее сыну возвратиться в Россию [2]). По словам Герцена, Александр II ответил, что, покуда он жив, Бакунин из Сибири ссвобожден не будет. В действительности он просто положил резолюцию: «По моему невозможно», но сущность была та же. Между тем *Бакунин рвался на волю, чувствуя приближение нового исторического периода.* В Сибири он занимался пропагандой между поляками, убеждая их отказаться от своей национальной исключительности и примириться с новой Россией. Сам же Бакунин рассчитывал возвратиться в Россию, где в то время происходило глубокое общественное брожение, вызванное разгромом николаевщины в Крымскую войну, крестьянской реформой и начавшимся революционным движением. Это видно из его письма к Герцену от 8 декабря 1860 г. Вот что он там писал:

«Ген.-губ. Западной Сибири Гасфорд, без моего ведома, выхлопотал мне высочайшее соизволение на вступление в гражданскую службу, первый шаг к освобождению из Сибири, но я не мог решиться воспользоваться им; мне казалось, что, надев кокарду,

---

1) Как мы видели, немалую. Надо было обладать безалаберностью и широтою натуры Бакунина, чтобы при тогдашних низких ценах в Сибири умудриться прожить за два года свыше 5.000 рублей, не считая других получек, которые за это время наверное были. Тот же размах он выказал и во время побега.

2) Как увидим ниже, и это прошение подано по требованию самого Бакунина.

я потерял свою чистоту и невинность; хлопотал же я о переселении в Восточную Сибирь и насилу выхлопотал; боялись для меня симпатии Муравьева, который приезжал в Томск отыскивать меня и явно, публично, высказал мне свое уважение. Долго не соглашались, но, наконец, согласились. В марте 1859 года я переселился в Иркутск, вступил в службу только что образовавшейся Амурской компании; ездил в следующее лето по целому Забайкалью, а в начале 1860 года оставил компанию, убедившись, что в ней прока не будет. Теперь ищу службы по золотопромышленным делам у Бернадаки, до сих пор еще дела мои не увенчались полным успехом, а хотелось бы обойтись без помощи братьев. Они не богаты, и к тому, не ожидая петербургского решения, они фактически освободили своих крестьян с землею и производят все работы наемным трудом, что сопряжено с большою тратою капитала. Как бы то ни было, живу я здесь в обстоятельствах довольно стеснительных, но надеюсь, что дела мои скоро поправятся. *Пора в Россию* [1]). До сих пор все старания Муравьева выхлопотать мне право возвращения были безуспешны. Тимашев и Долгоруков, основываясь на каких-то сибирских доносах, считают меня человеком опасным и неисправимым. Впрочем, Муравьев уверен, что ему удастся освободить меня ныне весною. Теперь я сильно надеюсь на успех, *и ехать в Россию стало для меня действительною необходимостью. Я не рожден для спокойствия, отдыхал поневоле сколько лет, пора опять за дело* [2]). Деятельность моя в Сибири ограничилась пропагандой между поляками, пропагандою, впрочем, довольно успешною: мне удалось убедить лучших и сильнейших из них в невозможности для поляков оторвать свою жизнь от русской жизни, а потому и в необходимости примирения с Россиею; удалось убедить также и Муравьева в необходимости децентрализации империи и в разумности, в спасительности славянской федеративной политики. Теперь надо в Россию, чтобы искать людей, вновь познакомиться со старыми и открыть новых, чтобы ознакомиться живее с самой Россией и постараться угадать, чего от нее ожидать можно, чего нельзя. Странно будет, если внутреннее движение, возбужденное крестьянским вопросом, вместе с внешним, порожденным, по-видимому, Наполеоном, в сущности же далеко не умершею революциею, которой Наполеон только один из органов,—странно,

---

[1]) и [2]) Курсив мой.

говорю я, если все это вместе не расшатает Россию. Будем надеяться, пока есть возможность надеяться,— а до тех пор, друзья, прощайте».

А в письме от 7 ноября 1860 г. из Иркутска (первое из дошедших до Герцена писем Бакунина из ссылки) Бакунин пишет: «Восьмилетнее заключение в разных крепостях лишило меня зубов, но не ослабило, напротив укрепило мои убеждения; в крепости на размышление времени много; инстинкты мои, двигатели всей моей молодости, сосредоточились, пояснились, как будто стали умнее и, мне кажется, способнее к практическому проявлению. Выпущенный из Шлиссельбургской крепости почти четыре года тому назад, я окреп и здоровьем, женат, счастлив, в семействе, и несмотря на это, готов попрежнему, да и с прежнею страстью, удариться в старые грехи, лишь бы только было из чего. Я могу повторить про себя слова Фауста:

«Ich bin zu alt, um nur zu spielen,
Zu jung, um ohne Wunsch zu sein» [1]),—

а будущее, даже близкое будущее, кажется, обещает многое. Началась и для русского народа погода, и без грома и молнии, кажись, не обойдется. Русское движение будет серьезным движением; ведь фантазерства и фраз мало, а дельного склада много в русском уме, а русское широкое, хотя и беспечное сердце пустяками удовлетвориться не может. Мы здесь живем день ото дня, яко чающие движения воды, следим за всеми знамениями [2]). прислушиваемся ко всем звукам, ждем и готовимся» [3]).

---

[1]) „Я слишком стар, чтоб лишь играть,
И слишком юн, чтоб не желать".

Эти слова Бакунин, впрочем, приводил и в письмах 1843 г., когда был не так стар.

[2]) В статье „М. А. Бакунин", напечатанной в № 119—120 „Колокола" от 15 января 1862 г., т.-е. вскоре по прибытии Бакунина в Лондон, Герцен рассказывает об этом со слов самого Бакунина: „Трепет новой жизни прибегал по России; разбитая (Францией и Италией в 1859 г.—*Ю. С.*) Австрия отступила; итальянское знамя развевалось в Милане. Бакунин рассказывал нам жадность, с которой он в Иркутске следил за Гарибальди, за полуостровом. выступавшим ярче и ярче на свет свободы. Обречь себя на эту роль страдательного зрителя в дальней ссылке, в 47 лет от роду и чувствуя полный пульс, было тяжко... Он решился тайно оставить Сибирь" (Собр. соч., под ред. Лемке, т. XV, стр. 20).

[3]) После этих слов, в которых встает перед нами во весь рост старый и вечно юный Бакунин Дрезденской променады и 1848 года, идут

А в приписке к этому большому письму, датированной 15 ноября, Бакунин выражает даже надежду встретиться с друзьями в России: «Авось встретимся еще в России». Это показывает, что в тот момент он был настроен довольно радужно и допускал возможность успешного революционного движения, ибо только в случае победы русской революции он мог рассчитывать на возвращение Герцена и Огарева на родину.

9. БЕГСТВО ИЗ СИБИРИ.

Но эти же самые революционные надежды должны были толкнуть Бакунина на побег, раз он убедился в невозможности легального возвращения в Россию. Принимая во внимание, с одной стороны, оживление, вызванное в России крестьянским вопросом и Крымской войной, а с другой—категорическое заявление императора и неудачу всех стараний Муравьева выхлопотать ему право возвращения в Россию, Бакунин решился бежать. Этому решению несомненно содействовал от'езд Муравьева из Сибири (в начале 1861 года). С его от'ездом для Бакунина исчезла последняя надежда на возвращение в Россию легальным путем.

Это видно и по письму его к брату Николаю от 1 февраля 1861 года. Развивая перед родными план новой кампании ходатайств, Бакунин пишет: «Лучше всего было бы, разумеется, если бы, возвратив мне права, мне просто и без всяких ограничений позволили ехать в Россию: к этому должно стремиться всеми силами. Но если они уж считают меня до такой степени человеком опасным, что во избежание моего постоянного пребывания в России готовы отказать мне во всем,—тогда можно сказать им, что я прошу только шести- или даже четырехмесячного отпуска с тем, чтоб, повидавшись с матушкой и с вами, ехать обратно в Сибирь. Разумеется, что нужно, чтоб у меня было в Сибири дело и средства к существованию. Мне кажется, что хорошо бы было, если б маменька обратилась с прямою просьбою к государю: одна старость ее дает ей на это право [1]). Наконец, если вы убедитесь

неприятно поражающие нас дифирамбы Муравьеву и проклятия его врагам (о чем мы выше говорили).

[1]) Как мы знаем, так и было сделано, но без результата.

в решительной невозможности выхлопотать мне позволение теперь ехать в Россию,—но только в случае решительной невозможности,—то пусть мне возвратят права без права возвращения в Россию, на первое время: такое решение было об'явлено на-днях политическому преступнику Веберу, представленному Муравьевым к полному освобождению [1]). Через это он хоть в Сибири сделался человеком свободным, равноправным со всеми, а я, ведь, до сих пор связан по рукам и по ногам. Я предвижу всевозможные случаи, предоставляя вам полную свободу действовать, как вам покажется лучше. Вспомните только, что вы никогда не найдете более удобного времени, и что, если вам не удастся освободить меня теперь, то, вероятно, никогда не удастся. От вас, от вашего уменья, от вашей веры в успех,—ведь на свете нет ничего невозможного,—и от вашей энергии зависит теперь вопрос: увидимся ли мы на этом свете или нет?».

Итак, Бакунин в то время допускал еще возможность легального возвращения в Россию, в худшем случае восстановление его в правах и предоставление ему права свободного передвижения по Сибири. Думал ли он использовать то и другое для скорейшего выезда за границу,— если возможно, тоже легально, если нет, то нелегально,—мы не знаем. Но что он ни за что не хотел примириться с мыслью о вечном прозябании в сибирском захолустье, он, ощущавший в себе, еще огромный запас сил, веривший в свое политическое призвание и чувствовавший пробуждение новой жизни во всем мире, в том числе и в России,—это ясно. И непосредственно после того, как он набросал для родных план кампании, он продолжает: «В Сибири я не сгнию, это верно. Только, отказавшись от правильного планетного течения, мне придется опять-таки сделаться кометою. А не хотелось, да и не легко—с женою очень будет трудно, один бы я не задумался. Но с нею я не расстанусь; прежде ж, чем предпринять что-нибудь с нею вместе, надо 10 раз подумать. Обдумав дело, я решился подождать еще немного, пожалуй, еще год, но никак уж не более, если увижу *действительную и на чем-нибудь определенном* основанную надежду на скорое освобождение. От вас же жду во всяком

---

[1]) Повидимому, речь идет о том самом Вебере, который впоследствии выступил в роли добровольного шпиона и чуть не провалил побег Бакунина из Сибири (см. ниже).

случае полной искренности и правды. Вы поступили бы очень худо, если б вздумали обмануть меня насчет моего положения. Так позволено поступать врагам, а не вам,—а малейшей нелепости, недобросовестности, противоречия с вашей стороны будет достаточно, чтоб подвинуть меня на самые головоломные предприятия. Я стал ко всему и ко всем недоверчив, и меня обмануть, убаюкать будет трудно, а если б и удалось, то я никогда не прощу обмана».

Последние слова Бакунина, переходящие даже в угрозы, представлялись бы непонятными, если бы мы не знали (и притом от самого Бакунина), что его родные относились несочувственно к его полному освобождению, опасаясь, что неугомонный бунтовщик начнет снова выкидывать революционные штуки. Возможно, что они боялись за свое собственное благополучие и спокойствие, которые могли быть нарушены неукротимым братцем. Вдобавок, они не сочувствовали его политическим взглядам, будучи (да и то не все) не более чем умеренными либералами в дворянском духе. Записочки, которые Бакунин в свое время передал им из крепости и которые свидетельствовали о его решимости при удобном случае вернуться к своим революционным предприятиям, способны были их только напугать, а не пробудить в них желание особенно энергично добиваться его полного освобождения [1]). Во всяком случае сам Бакунин не только определенно их в этом подозревал, но и высказал им это открыто, как только очутился на воле.

В письме к Н. С. Бакуниной (бывш. Корсаковой) от 3/15 апреля 1862 г. из Лондона он пишет: «Ты просишь меня не компрометировать братьев прокламациями. Я вижу, что братцы и сестрицы представили тебе меня как какого-то абстрактного, безмозглого и бессердечного революционера, шумящего без цели, без толку и с утра до ночи пишущего прокламации... и что за слово смешное: кто пишет и кто читает теперь прокламации!».

---

1) Они даже редко писали ему, пока он находился в ссылке. По крайней мере, в письме к Н. С. Корсаковой (сестре ген.-губ. Вост. Сибири и будущей жене Павла Бакунина), относящемся к началу 1861 г., он говорит, что уже целый год не получает от родных писем. А в письме к ней же из Лондона от 3—15 апреля 1862 г. он говорит, что братьям и сестрам не пишет и писать не будет, так как ему надоело писать, не получая ответа.

И дальше Бакунин переходит в атаку и высказывает то, что давно накипело у него на душе против родных. «Такое же мнение о себе,—продолжает он,—я прочитал в одном письме брата Николая к Тургеневу, да и давно знаю, что оно укоренилось в голове братьев. Сначала это огорчило меня, потом я махнул рукой. Кружки бывают часто бессознательно самодовольны и всегда упорны. Этим мнением о моей персоне об'ясняется странный факт, болезненно поразивший меня два года тому назад и услышанный мною впервые от графа Н. Н. Муравьева-Амурского, а, именно, что *братья не только не желали, но боялись моего освобождения* [1]). Оно же (было) причиною неудовольствия, восчувствованного ими при получении известия о моем бегстве. При всей дружбе ко мне, в которой я не сомневаюсь, они порешили вопрос—*и сестры подтвердили* [2]), что мне следует оставаться в Сибири. Оно было бы и для всех покойно, и для дела полезно. И когда услышали о моем бегстве, так безжалостно разрушившем устроенный ими порядок. они, без сомнения, воскликнули, и брат Николай обиняком написал: «Ну, вырвался полоумный, то-то будет нам, умным, мешать!». Поверь мне, милая Натали, горюет об этом не мое самолюбие, но моя надломленная вера.. Мне жаль той святой солидарности, которая между нами некогда существовала и теперь существовать могла бы, должна бы, но разорвана...».

И дальше Бакунин говорит: «Правительство, братья осудили меня на гниение в Сибири. Но я не считал себя вправе и просто не хотел хоронить в сибирских пустынях тех сил, той мысли и того призвания на дело, которые я в себе ощущал, наперекор мнению братьев. Убедившись из письма брата Николая, полученного мною в апреле 1861 года, и из других источников, что меня из Сибири выпустить не хотят, я решился. Я знал, что мое бегство возбудит неудовольствие Премухина, но не предчувствовал, правда, чтобы оно могло простираться так *далеко*, что братья и сестры не захотят написать даже одного доброго слова жене—das war ein ganz neues Erlebniss [3]). Знал, что он будет стоить денег, и что у меня кроме долгов ничего нет. Знал, что

---

[1]) Курсив мой.
[2]) Курсив мой.
[3]) Это было совершенно новое переживание.

оно навлечет большие неприятности на Михаила Семеновича [1]) и что я не мог иначе совершить его, как обманув его безбожно. Я оставлял жену в Иркутске, бедную, грустную, молодую, беспомощную, без всякой другой опоры кроме семейства ее, доброго, истинно благородного, но бессильного, не обеспеченного даже в своем собственном существовании,—не знал, правда, что я потерял право рассчитывать для нее на *сердечную* поддержку моего премухинского семейства—на том основании, что у нас разные политические штандпункты. Знал, что ей будет и горько, и тяжело без меня в Иркутске, а она вместе с *моим* делом—для меня все в жизни, и, несмотря на все это, посоветовавшись с нею одною, решился—решился, уверяю тебя, не легкомысленно, но после долгого, долгого размышления, после упорной и мучительной внутренней борьбы, с полным сознанием всех трудностей, неудобств, всех возможных последствий и жертв, сопряженных с моим предприятием. И теперь говорю: я сделал то, что должен был сделать, а судьи мне—*моя* совесть, да *мои* друзья. Другого суда над собой я не признаю. Если братьям угодно присоединить голос свой к укоряющей меня части публики, они вольны, но для меня этот суд не существует».

В последующем письме к братьям от 4/16 мая 1862 года Бакунин, извиняясь за резкий («бранчивый») тон предыдущего письма, по существу подтверждает свои обвинения против родных. «Ясно,—пишет он,—что вы не хотели моего возвращения из Сибири в Россию. Спешу оговориться. Причины вашего нежелания видеть меня у себя были исключительно политического свойства: я не подходил под вашу систему, и вы боялись, чтобы я не помешал ее правильному развитию... По тем же самым причинам вы были очень недовольны моим бегством из Сибири. Решаясь бежать, я предугадывал это. Вы отпели меня не только в умственном, но и в нравственном отношении, и потому мое воскресение не могло быть вам приятно. Вы полагали, что во мне не осталось способности быть полезным, поэтому вам казалось удобнее, чтоб я оставался в Сибири. Я рассудил иначе. Видя, что у меня нет поддержки в России, убедившись окончательно из письма Николая, что я осужден и правительством, и вами на

---

[1]) Ген. Корсáков, брат адресатки.

тихое гниение в Сибири, я решился бежать. И, по старой привычке, между решением и делом не прошло много времени» [1]).

Итак, мы можем теперь с достаточной точностью установить момент, в который у Бакунина окончательно сложилась мысль о побеге. После неудачи прошения, поданного его матерью царю в апреле 1861 г., и после получения около того же времени письма от брата Николая, из какового письма Бакунин понял, что братья особенно горячо хлопотать об его освобождении не хотят (Муравьева к тому времени уже не было), после того как он, таким образом, убедился, что его ждет вечное прозябание в Сибири, и что в Россию ему легально вернуться не удастся, он решил бежать. Это решение созрело у него, повидимому, к маю 1861 г., и тогда же он начал предпринимать необходимые шаги, стал запасаться деньгами и проч.

Охарактеризованное выше отношение братьев Бакунина к его побегу не было единичным явлением. Для тогдашнего низкого уровня политического развития русских либералов характерно, что Кавелин писал Герцену по поводу бегства Бакунина: «Ушел он из России нехорошо, нечестно». Вероятно, г. Кавелин находил, что зато засадили Бакунина в крепость и зарыли его в Сибири «хорошо» и «честно». И Герцену пришлось *оправдывать* Бакунина за его побег [2])!

Итак, Бакунин решился сам взять свободу, которую ему вернуть не хотели [3]). Очутившись в стесненном материальном положении, а, может быть, начав прикапливать деньги для побега, Бакунин обратился к гражданскому губернатору (т.-е. к своему «приятелю» Извольскому) с просьбой о выдаче полагающегося

---

[1]) Дальше Бакунин отмечает: „Приветственных писем из Петербурга и Москвы я получил (в Лондоне) много, от вас — ни слова". Это характерно.

[2]) Со стороны „либерала" и „демократа" Кавелина это, впрочем, и неудивительно. Ведь радовался же он через пару лет аресту Чернышевского и оправдывал реакционные меры правительства против революционеров, которым приписывал петербургские пожары! См. в моей книге о Чернышевском, стр. 398.

[3]) Перед от'ездом своим из Иркутска Бакунин писал Герцену и Огареву: „Не видя никакой надежды возвратиться в Россию путем правильным, т.-е. с высочайшего разрешения, я решился взять свободу, которой мне дать не хотели".

ему, как ссыльному, казенного пособия за три года, 1857—1859 [1]). Не добившись положительного ответа, Бакунин в мае 1861 года [2]) подал о том же прошение новому генерал-губернатору Восточной Сибири, Корсакову. Последний разрешил выдать Бакунину пособие только за 1860 год в сумме 114 рублей $28^1/_2$ копеек. Эта сумма, была, конечно, каплей в море бакунинской нужды, и ему пришлось для побега занять деньги у ряда знакомых. При от'езде у Бакунина было всего 800 рублей (кроме того 200 рублей он оставил жене).

5/17 июня 1861 года Бакунин выехал из Иркутска, простившись с женой и условившись с ней, что она поедет в деревню к его родным, а оттуда, по получении известия о благополучном его прибытии в Европу, выедет к нему в Лондон.

Как впоследствии доносил в своих оправдательных об'ясниях тогдашний генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков [3]), Бакунин в Иркутске сильно нуждался и неоднократно жаловался ему на свое затруднительное положение. Когда Бакунину удалось, наконец, получить от купца Сабашникова тысячу рублей [4]) для обследования возможности торговых дел на Амуре, Корсаков сначала не хотел отпускать его туда. Но Бакунин притворился глубоко оскорбленным этим недоверием и указал Корсакову, что в Иркутске он оставляет любимую жену. Тогда Корсаков взял с него честное слово, что он не употребит во зло невозможность бдительного надзора в обширной Амурской области

---

[1]) Кубалов пишет: 1856—1859, но это, видимо, ошибка у него или в прошении Бакунина, так как в ссылку Бакунин приехал только в 1857 году.

[2]) У Кубалова опечатка (1869). По смыслу выходит, что это происходило накануне побега Бакунина.

[3]) Бакунину везло на ген.-губернаторов. Этот Корсаков тоже приходился Бакунину сродни, ставши вслед за тем его свойственником: на его сестре Натальи женился вскоре брат Бакунина Павел.

[4]) Согласно донесению иркутского жандармского полковника Дувинга шефу жандармов Бакунин по дороге на Амур заехал в Кяхту, набрал у местных купцов комиссии на 3.500 рублей и уехал дальше. Это несомненная ложь. Судя по письму Бакунина к родным от 22/I—3/II 1862 г. из Лондона, содержащему точный отчет в произведенных им расходах на дорогу, он уехал из Сибири с 800 р., взятых в Иркутске, так что, приехав в С.-Франциско, он имел всего 30 долларов и принужден был сделать там заем для дальнейшего путешествия.

и что до окончания навигации вернется в Иркутск. Бакунин слово дал [1]).

4 июня 1861 года генерал-губернатор Корсаков выдал Бакунину открытое предписание, по которому все командиры казенных пароходов, находившихся в плавании по рекам Шилке, Амуру, Уссури и Сунгари, обязаны были принимать его на пароходы без всякого препятствия. В тот же день иркутский гражданский губернатор Извольский, с которым он, как мы знаем, был в приятельских отношениях, выдал Бакунину вид на свободный проезд в Приморскую область Восточной Сибири и обратно в Иркутск, при чем в этом виде Бакунин значился бывшим прапорщиком, получившим высочайшее разрешение на вступление в гражданскую службу, тогда как на самом деле он был ссыльно-поселенцем, лишенным всех прав состояния. Правда, на следующий день Извольский, сообщая о выданном Бакунину виде военному губернатору Приморской области, прибавил, что Бакунин состоит под надзором полиции, но, к счастью Бакунина, в самом паспорте указание это отсутствовало.

2 июля 1861 года Бакунин с открытым предписанием иркутского губернатора прибыл в Николаевск на устье Амура. Об'яснив, что он приехал с целью собрать сведения о торговле края, он просил местную администрацию дать ему возможность побывать в де-Кастри, куда как раз в это время (9 июля) отправился клипер «Стрелок». К счастью для Бакунина, казенный пакет, сообщавший о том, что он находится еще под надзором полиции, запоздал (случайно или преднамеренно, трудно решить; вернее, случайно) и доставлен был в Николаевск только 9 августа, когда Бакунин был уже вне пределов досягаемости. Ничего не подозревавший управляющий округом кап. Петровский разрешил Бакунину сесть на «Стрелка» с тем, чтобы Бакунин вернулся в Николаевск через Мариинск.

---

[1]) Не на эти ли обстоятельства намекает „благородный“ Кавелин, говоря, что Бакунин ушел из Сибири „не хорошо“ и „не честно“? По своим связям в бюрократическом мире Кавелин легко мог знать все жандармские сплетни. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях передает, будто Бакунин в Лондоне говорил: „Хоть и совестно, а пришлось и друзей обмануть, чтобы вырваться на волю“. О каких друзьях говорит здесь Бакунин, непонятно. Впрочем, полагаться на показания Тучковой-Огаревой не всегда можно. Но судя по цитированному письму от 3/15 апреля 1862 г., возможно, что речь идет о М. С. Корсакове.

В тот самый момент, когда дело уже близилось к благополучной развязке, оно чуть не было погублено непростительным легкомыслием самого Бакунина и усердием одного добровольного сыщика, каких, увы!, немало водилось в нашем отечестве. Этим доносчиком оказался политический ссыльный, поляк Г. Вебер, проживавший в Николаевске и, повидимому, сведший с Бакуниным знакомство при поездке в Иркутск (а может быть, и в Томске). Бакунин считал его своим приятелем. Прибыв в Николаевск, Бакунин зашел к этому Веберу и спросил у него адрес другого поляка, военного инженера Шатынского, с которым Бакунин тоже познакомился в Иркутске, и который в марте 1861 года уехал с Вебером в Николаевск. Узнав от Вебера, что Шатынский с месяц тому назад отправился в Иркутск, Бакунин сказал: «В таком случае постарайтесь повидаться с (инженер-механиком) Маюровым и получить от него мое письмо, адресованное на имя Шатынского. Прочитайте это письмо: авось оно рассеет вашу апатию и подвинет на деятельность на другом поприще» [1]).

Получив это письмо, Вебер узнал из него: 1) что Бакунин, прося дозволения ехать на Амур, дал честное слово ген. Корсакову, что не убежит; «давая это слово,—писал Бакунин Шатынскому,—я дал себе другое: бежать непременно»; 2) что он рассчитывает на содействие правителя канцелярии Хитрово, которого он надеется подкупить, и на делопроизводителя в штабе Филипеуса, разыгрывавшего иногда роль либерала; 3) что его зовет (?) в Лондон Герцен действовать заодно для блага России; 4) что для этой цели он готов пожертвовать даже своей женой, которую оставляет на произвол судьбы. Далее, по словам Вебера, письмо «было наполнено напыщенными фразами, общими местами и ультра-революционными возгласами».

Для чего понадобилось Бакунину писать такое письмо, которое способно было только погубить и его, и ряд других лиц, остается тайною бакунинской «конспирации», образцы которой мы еще увидим впоследствии. Во всяком случае прочтение этого письма действительно рассеяло апатию Вебера и подвинуло его к деятельности... на поприще добровольного сыска. Прочитав его, он немедленно побежал к аудитору Котюхову, которому и со-

---

[1]) Детские приемы бакунинской „агитации“, дававшие довольно часто результаты, прямо противоположные ожидаемым.

общил 8 июля, т.-е. за день до отплытия «Стрелка», о замыслах Бакунина. Свой доносительный подвиг Вебер пытался оправдать следующими мотивами: «1) Я,—писал он Котюхову,—чувствую нелицемерную благодарность к нынешнему царю за многие милости, излитые на моих соотечественников и на меня самого; 2) я глубоко убежден, что побег Бакунина сделает много зла его жене, семейству его и генералу Корсакову, а не принесет решительно никакой пользы ни человечеству, ни России, ни даже ему самому. Бакунин не в состоянии сделать никому добра: это—олицетворение эгоизма; 3) побег Бакунина повредит многим из моих соотечественников, находящимся в изгнании, потому что правительство из опасения, чтобы подобные случаи не повторялись между политическими преступниками, усугубит, без всякого сомнения, надзор за этими несчастными».

Котюхов нашел письмо только на следующий день, т.-е. 9 июля, когда «Стрелок» шел уже по лиману, но был еще недалеко от города. Не теряя ни минуты, Котюхов отправился к Афанасьеву, рассказал ему о плане Бакунина и советовал отправить в погоню за «Стрелком» другой пароход. Афанасьев, выслушав доклад Котюхова, будто бы равнодушно ответил: «А нам что за дело до Бакунина? Пусть себе бежит: отвечать за него будем не мы, а генерал Корсаков». Правда, через два дня он послал в де-Кастри записку с предложением задержать Бакунина, но, к счастью, было уже поздно.

«Стрелок» вел на буксире купеческое судно «Викерс», шедшее в залив св. Ольги. По дороге, не доходя Лазарева мыса, капитану «Стрелка» пришлось передать на «Викерс» некоторое распоряжение, для чего послал к этому судну шлюпку. Бакунин из'явил желание пересесть на «Викерс», чтобы итти с ним в залив св. Ольги. Капитан «Стрелка», не имевший никаких предписаний насчет надзора за Бакуниным, не счел себя в праве задерживать его.

Бакунин побывал с «Викерсом» в заливе св. Ольги, странствовал с ним по Татарскому заливу и по берегам Японии. 4 августа он прибыл в Хакодате на том же «Викерсе». Здесь он пробыл всего один день, виделся с русским консулом Гаткевичем, которому сообщил, что намерен проехать в Шанхай, Нагасаки, Пекин и обратно в Иркутск. Приказ о задержании Бакунина Гаткевич получил, когда Бакунин был уже далеко. 5 августа он на том же

«Викерсе» выехал дальше и 24 августа прибыл в Иокагаму. Здесь он 5/17 сентября сел на американский клипер, отправлявшийся в Сан-Франциско, куда прибыл 3/15 октября. Через 6 дней он выехал в Панаму, куда прибыл 24 октября, а 3/15 ноября добрался до Нью-Йорка. Наконец, из Нью-Йорка он уехал 2/14 декабря и 15/27 декабря 1861 г. прибыл в Лондон, сделав, таким образом, около 30.000 верст в 6 месяцев [1]).

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.

---

[1]) По поводу побега Бакунина жандармы подняли большой шум. В результате подробного расследования пострадали некоторые чиновники. Корсакову и контр-адмиралу Казакевичу, военному губернатору Приморской области, сделан был „высочайший“ выговор, а начальник штаба Приморской области, лейтенант Афанасьев, за проявленное им бездействие был в августе 1864 г. заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости на 2 месяца.

Н. Н. Муравьев-Амурский в письме своем к кн. М. С. Волконскому от 2 февр.—21 января 1852 г., говоря о нападках на Корсакова со стороны его зложелателей при дворе, упоминает о побеге Бакунина: „Что касается бегства Бакунина,—пишет удалившийся от дел сатрап,—то обвинять Корсакова была бы величайшая несправедливость, было бы явное желание только вредить ему. Мало ли сколько ссыльных бежали в свое время, никто не думал никогда и заметить мне этого, а Бакунин был в Сибири уже не ссыльный (?), а свободный человек, которому было дозволено служить и заниматься частными делами во всей Сибири, и Восточной, и Западной“ (*И. Барсуков.*—Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, в двух томах, Москва, 1891, т. I, стр. 637). Больше в этой работе Барсукова о Бакунине не упоминается. Кстати, собранные Барсуковым материалы для биографии этого бакунинского кандидата в диктаторы и спасители России лишний раз показывают, что Н. Н. Муравьев ничего общего с революцией, да еще социальной, не имел, и что Бакунин проявил поразительную слепоту в своей оценке этого царского генерала. Барсуков. рассказывая о неудаче попыток Муравьева получить место в армии во время русско-турецкой войны (1877—78 г.г.), ссылается на некоего Г. И. Филипсона, приводящего в об'яснение этого факта слух, будто наверху Муравьева считали красным. „Плохо же,—восклицает знавший Муравьева Филипсон,—различаются у нас цвета!“ (цит. соч., стр. 671). Прибавим, что они плохо различались не только царскими жандармами, но и революционером Бакуниным.

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ТОМА.

Стр.

Предисловие к первому изданию 5
Предисловие ко второму изданию 11
Часть первая: **Молодость Бакунина** 13
Глава I. — В дворянском гнезде. Семейство Бакуниных. Детские годы Мишеля в Премухинском гнезде 13
Глава II. — Начало умственного переворота. По дворянской дорожке: пора юнкерства. В маленьком гарнизоне 20
Глава III. — Уход с дворянской дорожки. Выход в отставку и начало борьбы с семейным деспотизмом. Знакомство с Н. Станкевичем. „Бегство из Мекки в Медину“, т.-е. переезд в Москву . 24
Глава IV. — В Москве. Первые проблески сознания Бакуниным своей исторической миссии 28
Глава V. — Фихтеанский период и первый бунт против действительности. Сближение с Н. Станкевичем и В. Белинским. Кружки Станкевича и Герцена. Фихтеанский период: внутреннее самоуглубление и первый бунт против существующих отношений. Мысли Бакунина о назначении человека, как зародыш его будущих воззрений 31
Глава VI. — Первая организационная попытка. Дружба с сестрами Беер. Бакунин и половая любовь. Мысль об основании религиозного братства. Бакунин и его сестры 37
Глава VII. — Бакунин и Белинский. Возвращение в Премухино; приезд туда В. Белинского; влияние Бакунина на великого критика; их взаимоотношения. Семейные неприятности и первая мысль о заграничной поездке 42
Глава VIII. — Гегель и „разумная действительность“. Углубление в изучение Гегеля; увлечение теорией „разумной действительности“. Пропагандистский талант Бакунина; его влияние на членов кружка и особенно на Белинского. Оценка гегелевской философии Бакуниным в старости. Первая статья Бакунина — предисловие к „Гимназическим речам“ Гегеля; его нападки на свободомыслие и революционный дух; связь между юношескими воззрениями Бакунина и его будущими анархическими и атеистическими взглядами. Революционный инстинкт в молодом Бакунине. Кружковая полемика по вопросу о „разумной действительности“ и начало отрезвления Бакунина 46
Глава IX. — Черты для характеристики молодого Бакунина. Влияние молодого Бакунина на окружающих; Бакунин и Рудин; „Молодой Крестоносец“ К. Аксакова. Бакунин и денежный вопрос; халатность и неусидчивость в работе. Характер Бакунина; его властность, исключительность, диктаторские замашки,

Стр.

как результат его миссионерства и агитаторской складки. Мнение В. Белинского о Бакунине 64

Глава X. — Ссора с Белинским и столкновение с Катковым. Ссора между Бакуниным и Белинским. Столкновение Бакунина с Катковым 82

Глава XI. — Отъезд за границу. Обращение за денежной помощью к Герцену; порывание за границу и упадок духа. Отъезд за границу и его обстановка 88

Часть вторая: **Бакунин за границей** 95

Глава I. — Берлинская жизнь Бакунина. Бакунин — студент Берлинского университета; страстное увлечение немецкой философией; житье-бытье русской молодежи в Берлине. Дружба с И. С. Тургеневым. Умеренные взгляды молодого Бакунина и отсутствие у него политических интересов 95

Глава II. — Пробуждение в Бакунине политических интересов. Влияние тогдашней германской жизни и российской действительности, прусский либерализм и радикализм; „левые гегельянцы“ и присоединение к ним Бакунина; его разочарование в идеалистической философии 105

Глава III. — Первое революционное выступление в литературе. Быстрое левение и превращение в политического революционера; первое революционное выступление в литературе; статья Жюля Элизара „Реакция в Германии“. Примирение с ним друзей; отзывы Герцена и Белинского; отрицательные отзывы Гоголя о Бакунине 116

Глава IV. — Жребий брошен! Переезд Бакунина в Дрездон; дружба с Руге; знакомство с А. Рейхелем и с Г. Гервегом. Решение остаться за границей; Бакунин обращает на себя внимание германской полиции; переезд из Дрездена в Швейцарию; тогдашнее настроение Бакунина; добровольное превращение в политического эмигранта 124

Глава V. — Бакунин в Швейцарии. Прибытие в Цюрих. Увлечение романами Жорж Занд. Семья Пескантини. Турнэ по Швейцарии. Денежный кризис и отчаянное настроение Бакунина 138

Глава VI. — Бакунин и Вейтлинг. Знакомство с В. Вейтлингом и с коммунистами; несогласие Бакунина с коммунизмом; статья „О коммунизме“ в „Швейцарском Республиканце“ Ю. Фребеля. Гонение на коммунистов в Швейцарии; донос Блюнчли на Бакунина 143

Глава VII. — Царское правительство объявляет Бакунину войну. Русское правительство требует его возвращения на родину; его отказ и заочный приговор к каторжным работам. Знакомство с семьей Фохтов; пробуждение в Бакунине интереса к социальным вопросам; статья его в „Немецко-Французских Ежегодниках“ 159

Глава VIII. — Бакунин в Брюсселе и в Париже. Отъезд в Бельгию; первое знакомство с поляками и первое столкновение

Стр.

с вопросами конкретной политической борьбы. Переезд в Париж; положение в тогдашней Франции; характеристика этого положения Бакуниным 169

Глава IX. — Бакунин объявляет войну царизму. Статья в „La Réforme“ и польская эмиграция; уклон в сторону социализма; неопределенность взглядов Бакунина; его колебания по отношению к коммунизму 179

Глава X. — Бакунин, Маркс и Прудон. Знакомство с К. Марксом и Прудоном; отношение Бакунина к тому и другому; отзывы Бакунина о Марксе и о Прудоне; влияние Маркса на Бакунина; причины его антипатии к Марксу и симпатии к Прудону. Инцидент с провокатором Я. Толстым. Причины тяготения тогдашних передовых русских людей к анархизму 186

Глава XI. — Парижская жизнь Бакунина. Образ жизни Бакунина в Париже; литературные планы; приезд Герцена и первые конфликты между ними, встреча в Париже с Белинским; Бакунин высказывается за переход к практической революционной работе; сообщение Бакунина об его настроении в Париже. Первая статья Бакунина о России в „La Réforme“; сближение с поляками и встреча с Мицкевичем; русская колония в Париже и тяжелое душевное состояние Бакунина 202

Глава XII. — Попытка сближения с польскими революционерами. Политическое оживление в Европе; статья о преследовании униатов; стремление Бакунина сойтись с польской эмиграцией для совместной революционной работы и, в связи с этим, появление первых клеветнических слухов насчет его политической честности. Первая публичная речь Бакунина на польском митинге 29-го ноября 1847 года; мнение его о тесной связи борьбы за свободу Польши и России 216

Глава XIII. — Начало клеветы на Бакунина. Высылка Бакунина из Парижа и оклеветание его русским послом Киселевым. Открытое письмо к гр. Дюпателю. Мнение Бакунина о том, что главным источником клеветы является кружок Маркса, опровергается его же сообщениями и фактами 225

Глава XIV. — В ожидании революционного взрыва. Переезд в Брюссель; продолжение знакомств с поляками; новое выступление на польском банкете; недоверчивое отношение к Бакунину польских демократических кругов; отношение к брюссельскому „Демократическому Обществу“; новая встреча с Марксом и враждебное отношение Бакунина к деятельности коммунистов среди рабочих. Надежды Бакунина на близкий революционный взрыв 230

Часть третья: **Бакунин в 1848 и 1849 годах** 241

Глава I. — В революционном Париже. Возвращение в Париж; впечатление Бакунина от февральской революции; восхваление парижских рабочих. Порывание в Россию; решение ехать на русскую границу для общей работы с польскими революционерами; обра-

Стр.

щение к Временному Правительству за денежной помощью. Неопределенность целей и планов Бакунина 241

Глава II. — В революционной Германии. Впечатление от германской революции; оценка германского филистерства; арест Бакунина в Берлине по требованию русского посольства и от'езд его в Бреславль. Позднейшая оценка Бакуниным германской революции 1848 года. Политические взгляды Бакунина в 1848 году; смутное тяготение к анархизму; неопределенность воззрений; признание необходимости революционной диктатуры, особенно в России; предпочтительное увлечение разрушительной стороной революции. Славянские мечтания Бакунина. Конфликт с Марксом по вопросу об отношении к „Демократическому Легиону" Гервега. Встреча в Лейпциге с А. Руге. Жизнь Бакунина в Бреславле; новое распространение клеветы на Бакунина в польских демократических кругах 248

Глава III. — Бакунин и славянское движение. Вынужденное бездействие Бакунина; оживление его в связи с славянским движением; роль славянства в революции 1848 года. Славянский с'езд в Праге; борьба различных тенденций на этом с'езде; „славянское сердце" Бакунина; двусмысленное положение его на с'езде, попытки придать ему революционный характер; борьба Бакунина с умеренным крылом и стремление направить с'езд в сторону разрушения Австрийской Империи; проект славянской федерации, революционный панславизм Бакунина; „Основы славянской политики". Пражское восстание: его стихийный характер; действительная роль Бакунина не отвечает исторической легенде; подавление восстания и конец пражского с'езда 269

Глава IV. — Снова клевета. От'езд Бакунина в Кельн, Бреславль и Берлин; появление статьи против Бакунина в „Новой Рейнской Газете"; действительное происхождение клеветы на Бакунина; опровержение анархической легенды о роли Маркса в деле оклеветания Бакунина; сообщения самого Бакунина об этом инциденте в 1848 и в 1871 годах; признание Бакунина, что Маркс и Энгельс дали ему в то время достаточное удовлетворение. Подавленное состояние Бакунина вследствие брошенного ему публично позорящего обвинения; причины недоверчивого отношения тогдашних европейских демократов к русским вообще, к Герцену и Бакунину в особенности; об'яснения самого Бакунина . . 289

Глава V. — Затишье перед бурей. Замкнутая жизнь Бакунина в Берлине, работа над „Воззванием к славянам"; безденежье; озлобление и решимость на деле показать верность своим демократическим убеждениям; обыск и высылка из Берлина; мнение о Бакунине прусской и русской полиции. Пребывание Бакунина в Ангальт-Кэтене; ожидание анархической крестьянской революции; подготовка „Воззвания к славянам" и надежды Бакунина, связанные с этим воззванием. Суматоха в III отделении по поводу мнимых революционных происков Бакунина в России . . 310

Стр.

Глава VI. — „Воззвание к славянам“ и „революционный панславизм“. „Воззвание к славянам русского патриота Михаила Бакунина“; попытка убедить славян стать на сторону германских демократов и венгерских революционеров. Полемика Маркса и Энгельса против взглядов Бакунина на славянство. Попытки Бакунина очиститься от подозрений в панславистских стремлениях; последующее разочарование Бакунина в славянстве 319

Глава VII. — Революционные планы Бакунина. Надежды Бакунина на новую вспышку германской революции; попытки его сблизить немецких демократов с славянскими. Переезд в Лейпциг; сближение с чешской молодежью; попытка создать в Богемии организационный центр будущей славянской революции. Взгляд Бакунина на роль пролетариата и крестьянства в предстоящей революции; программа радикальной народной революции; политическая и экономическая экспроприация имущих классов; революционная диктатура, красная армия. Неудачная попытка возобновить сношения с Флоконом. Попытка организации тайного общества в Праге на основах, предвосхищающих будущие заговорщические организации Бакунина; организаторские приемы Бакунина и их первоисточник; поездка в Прагу; встреча в Дрездене с польскими революционерами и об'яснение с ними; разочарование Бакунина положением дел в Праге; переселение в Дрезден; сношения с Прагой и провал Пражской организации 336

Глава VIII. — Бакунин и Дрезденское восстание. Дрезденское восстание и роль в нем Бакунина; опровержение исторической легенды собственными показаниями Бакунина; арест Бакунина в Хемнице; содержание найденных при нем бумаг . . 357

Часть четвертая: **Бакунин в тюрьме и в ссылке** 371

Глава I. — В саксонских тюрьмах. Бакунин в саксонских крепостях; его profession de foi в письме к своему защитнику. Приговор саксонского военного суда над Бакуниным. Письма из Кенигштейнской крепости 371

Глава II. — В австрийских казематах Выдача Бакунина Австрии; перевод в пражскую крепость; заключение в Ольмюце; приговор австрийского военного суда 387

Глава III. — Опять на родине. „Исповедь“ Бакунина. Выдача Бакунина русским жандармам; заключение в Петропавловскую крепость; предложение Николая I Бакунину написать „Исповедь“. Об'яснение причин, побудивших Бакунина написать „Исповедь; ее содержание и характер; была ли „Исповедь“ действительным покаянием? Мнение Николая I об „Исповеди“ Бакунина. Мнение о ней же гр. Чернышева 393

Глава IV. — В Петропавловской крепости. Льготы Бакунину; свидание с родными и переписка с ними; покаянные ноты в этой переписке Бакунина. Бакунин остается революционером; тайные записки, переданные им из тюрьмы 431

Стр.

Глава V. — Новая вспышка клеветы на Бакунина. Полемика в газете „Morning Advertiser". Ошибка Герцена. Кружок Уркарта. Кто был Ф. М.? Вмешательство К. Маркса в защиту Бакунина 448

Глава VI. — В Шлиссельбурге. Перевод в Шлиссельбургскую крепость; неверное сообщение Бакунина в письме к Герцену и Огареву об условиях его освобождения из Шлиссельбурга. Ходатайство матери перед Александром II о разрешении ее сыну вступить в армию и отказ царя. Болезнь и подавленное состояние Бакунина в Шлиссельбурге. Прошение матери Бакунина шефу жандармов об освобождении ее сына на поруки братьев; вторичный отказ. Ходатайство ее о том же перед кн. Горчаковым; новый отказ. Вмешательство в дело самого Бакунина; его письмо к шефу жандармов и прошение царю о помиловании. Замена Бакунину заключения в крепости ссылкою в Сибирь на поселение; его благодарственное письмо к шефу жандармов. Свидание с родными, посещение родительского дома перед отъездом в ссылку 462

Глава VII. — В Западной Сибири. Жизнь в Томской губернии; попытки добиться права свободного разъезда по Сибири; женитьба Бакунина на А. Квятковской и надежды, которые Бакунин связывал с этой женитьбой; новые ходатайства о праве разъезда по Сибири; обещания Бакунина оправдать доверие начальства и не заниматься впредь политической деятельностью 484

Глава VIII. — В Восточной Сибири. Предстательство Н. Муравьева-Амурского; разрешение Бакунину переехать в Иркутск; новая просьба его матери об освобождении сына; новый отказ. Ложные шаги Бакунина в Восточной Сибири; его увлечение Муравьевым-Амурским; его враждебное отношение к политическим ссыльным; защита Бакуниным политики Муравьева и его произвольных действий; резкие отзывы о Бакунине декабриста Завалишина, Петрашевского, Львова и др. Причины, по которым Бакунин увлекся Муравьевым-Амурским и Игнатьевым; его путаные революционно-панславистские взгляды; восхваление Бакуниным завоевательной и колонизаторской политики Муравьева, а также умеренной либерально-дворянской программы; предназначение Бакуниным Муравьева на пост диктатора в грядущей русской революции. Переписка с Катковым. Отношения Бакунина с Бенардаки. Надежды Бакунина на легальное освобождение и возвращение в Россию. Отказ на последнее прошение матери Бакунина об освобождении ее сына. Общественное оживление в России после Крымской войны и надежды Бакунина на близость революционных потрясений 500

Глава IX. — Бегство из Сибири. Первая мысль о побеге. Обстоятельства, данные им администрацией. Неосторожность Бакунина. Удача. 548

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строка.*	*Напечатано.*	*Надо читать.*
161	16—17 снизу	(Бакунин 1)	(Бакунин)
164	8 „	(—1883)	(† 1883)
168	1 „	1881 а	1884 года
175	8 „	го ода	города
184	1 снизу	Мойсея Гесса	Эвербека
189	4 снизу	немец-	немец-
190	3 сверху	пмдлежит	подлежит
192	11 „	да	до
198	1 сверху	главе	части
224	12 снизу	общества	общества.
229	4 снизу	главы	части
233	6 „	главу	часть
234	13 „	главу	часть
257	4 сверху	Июльские	Июньские
277	21 „	в их	в сих
292	1 „	им	вашим
302	15 снизу	главу	часть
303	2 „	т. V	т. IV
305	18 „	удаляся	удалялся
322	3 „	строго	строгого
325	13 сверху	разглагольствованиями". Горький	разглагольствованиями. „Горький
335	9—10 снизу	империей	империй
356	3 „	получили	получим
358	13 „	участи	участии
361	16 „	знал Тодта	знал; Тодта
387	12 „	Гатчине	Грачине
403	5 сверху	главе	части
413	13 снизу	приобретает	приобретет
415	13 „	главе	части
421	3 сверху	главу	часть
428	12 „	Бог!	Бог!“
442	5 снизу	Но	Уже
459	13 „	Герцена	Бакунина
464	13 „	не присутствовала	присутствовала
464	10 „	главе	части
466	6 сверху	Бакунин решил	Бакунина решили
466	8 „	доказательством	оказательством
468	20 „	благоволением	благоговением
508	4 сверху	Петрашевским	Петрашевским,
511	17 „	году	году“.
546	1 сверху	потерял	потеряю
547	9 снизу	прибегал	пробегал
551	5 „	он	оно
555	18 „	отправился	отправлялся

Издательство Коммунистической Академии

Москва, Волхонка, 14. Тел. 1-18-40.

Е. ИГНАТОВ

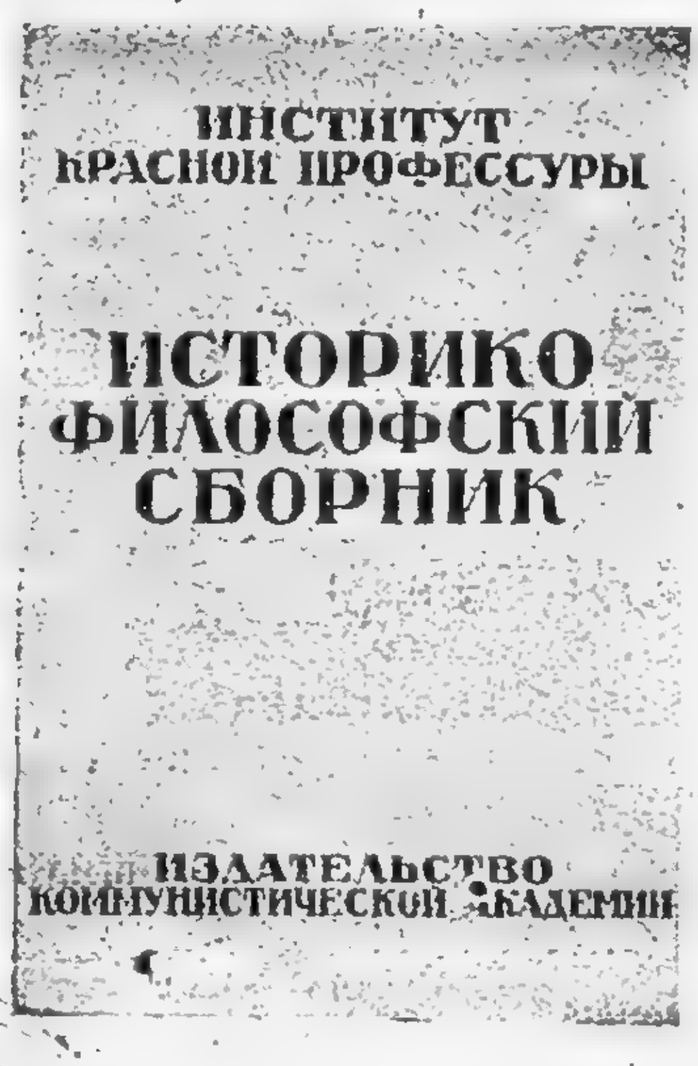
Московский совет рабочих депутатов в 1917 г.

Из отзывов печати:

...„Книга т. Игнатова излагает историю Моск. С. Р. Д. с первого дня его возникновения до момента избрания послеоктябрьского испол. комитета (14 ноября).

...Книга дает богатый фактический материал...

...Книга ценная, и появление ее следует приветствовать". **Вегер** (отец), „Известия ЦИК" № 251 за 1925 г. Стр. 472. Цена 2 руб.



Историко-Философский Сборник

Труды института Красной Профессуры.

СОДЕРЖАНИЕ:

Пре исловие Деборина.—Бобровников. „Методология Декарта".—Р. Выдра. „К вопросу об идеологическом происхождении учения Спинозы".—Кибовский. „Теория субстанции аттрибутов и модусов Спинозы".—Позднер. „Причинность и целесообразность в учении Спинозы".—Столяров. „Этика Спинозы". – Васильев. „Теоретическая философия Д. Юма".—Кибовский. „Мировоззрение Руссо".—Болотников. „Салон Гольбаха".—Альтер. „Философия Гольбаха".

Стр. 40. Цена 35 коп.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ

в книжный магазин Издательства Коммунистической Академии

МОСКВА, Ул. Герцена (б. Б. Никитская), 22.

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ ИНВ

6384

Цена 4 р. 80 коп.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
в книжный магазин издательства
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
МОСКВА, Ул. Герцена, 22